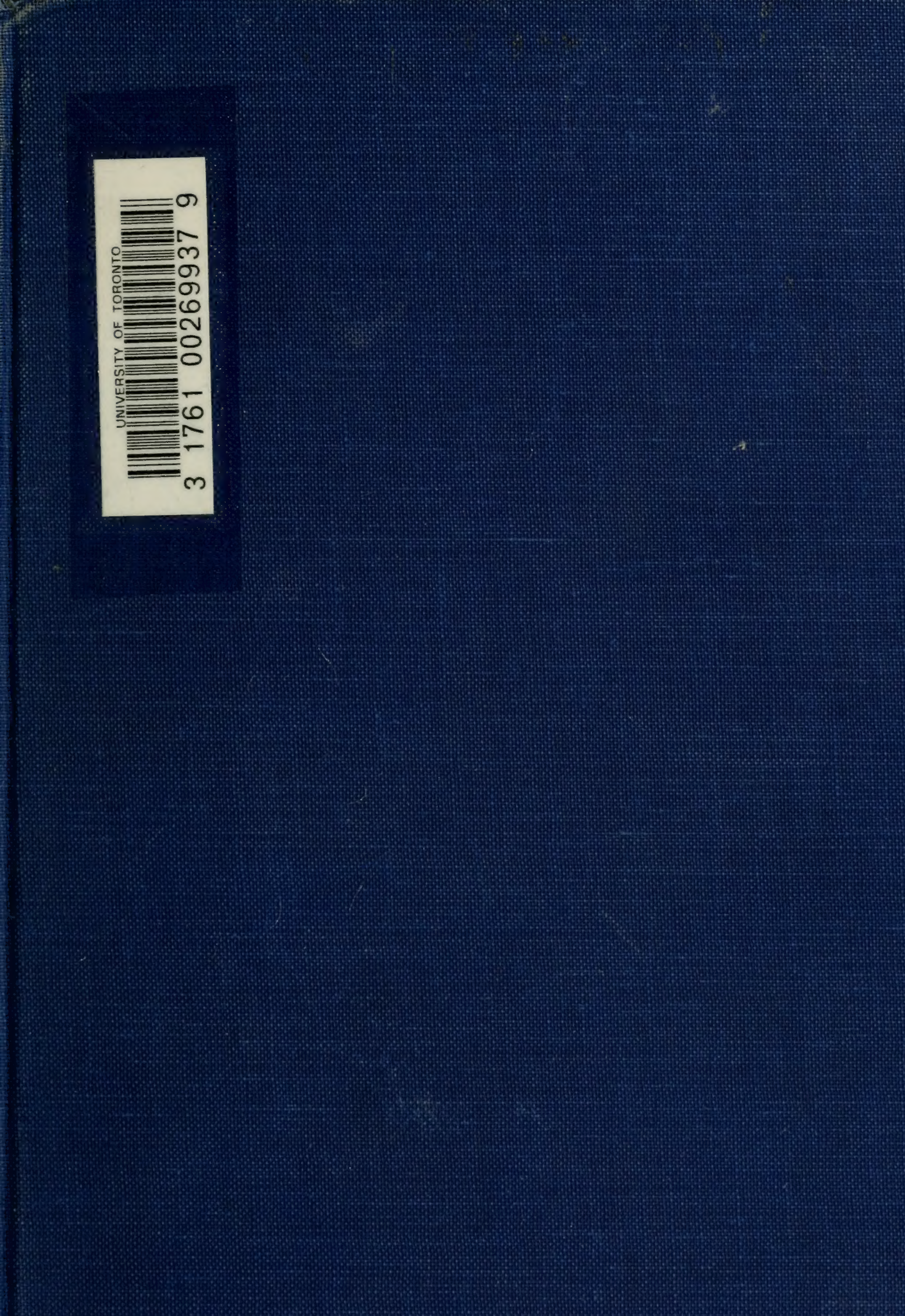

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00269937 9

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS

edited by

C. H. VAN SCHOONEVELD

Indiana University

182

1969

MOUTON

THE HAGUE · PARIS



Проф. М. Сперанскій.

РУССКАЯ УСТНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

ВВЕДЕНІЕ ВЪ ИСТОРІЮ УСТНОЙ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.
УСТНАЯ ПОЭЗІЯ ПОВѢСТВОВАТЕЛЬНАГО ХАРАКТЕРА.

ПОСОБІЕ КЪ ЛЕКЦІЯМЪ
на Высшихъ Женскихъ Курсахъ въ Москвѣ.

МОСКВА—1917.
СКЛАДЪ ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ
А. М. Михайлова.
Москва, Моховая, уг. Тверской, д. Варвар. Акц. Общ.
Телефонъ 1-20-95.



Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., соб. д.
Москва—1917.

Printed in the Netherlands

Издаваемое „Пособіе“ по исторіи русской устной словесности въ основѣ своей воспроизводитъ сдѣланныя слушательницами Московскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ записи лекцій, читанныхъ въ 1912—1913 и 1914—1915 акад. годахъ. Обработка этихъ записей для печати выразилась главнымъ образомъ въ исправленіи неточностей, немногихъ дополненіяхъ и въ присоединеніи указаній на соотвѣтствующую научную литературу по устной словесности.

Указатель научной литературы по исторіи устной словесности, помѣщенный въ концѣ книги, не претендуя на полноту, предназначенъ для желающихъ расширить свое знакомство съ тѣми научными вопросами, касающимися исторіи русской устной словесности, которые служили предметомъ настоящаго курса лекцій.

М. Сперанскій.

Октябрь 1916. Москва.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Введеніе: Исторія устной словесности, какъ отросль исторіи литературы . 1

Введеніе въ исторію устной русской словесности . . . . 3—178

Матеріалъ для исторіи устной словесности — 5; Восемнадцатый вѣкъ русской литературы и устная словесность —22; Девятнадцатый вѣкъ и устная словесность. Кирша Даниловъ — 24; Двадцатые и тридцатые годы XIX ст. и отношеніе къ устной словесности — 26; Офиціальная народность—32; Исторія изученія устной словесности—52; Ѳ. И. Буслаевъ и ученія о народности — 54; Школа миѳологовъ—62; Школа заимствованія — 78; Историческая школа — 95; А. Н. Веселовскій — 99; Антропологическая теорія — 110; Древность устной словесносности — 111; Древнѣйшія свидѣтельства объ устной словесности -- 120; Выводы изъ древнихъ свидѣтельствъ объ устной словесности — 128; Содержаніе устной поэзіи въ древности — 128; Формы устной словесности — 136; Форма стихотворная — 137; Изобразительныя средства — 143; Форма нестихотворная -- 149; Языкъ устной поэзіи — 150; Классификація произведеній устной поэзіи — 154; Процессъ творчества въ устной словесности — 159; Аккомпанементъ — 171; Географическое распространеніе устной поэзіи—173; Степень сохранности устной поэзіи. Ея теперешнее состояніе —175.

Былины . . . . 178—328

Географическое распредѣленіе былинъ — 181; Условія сохраненія былинъ — 183; Содержаніе былинъ — 191; Происхожденіе былины — 194; Классификація былины — 199; Носители и создатели былинъ — 209; Распредѣленіе былинъ по богатырямъ — 223; Отдѣльные былинные сюжеты — 225: I, Добрыня — 225; II, Илья Муромецъ — 252; III, Алеша -- 264; IV, Сауръ Леванидовичъ и Михайло Даниловичъ — 266; V, Дунай. Донъ. Сухманъ. Нѣпра — 269; VI, Былины о гибели богатырей -- 271; VIII, Дюкъ — 273; IX, Потыкъ – 275; X, Чурило — 276; XI, Михаилъ Казаринъ — 277; XII, Глѣбъ Володьевичъ — 278; XIII, Князь Романъ — 278; XIV, Садко — 280; XV, Вольга и Микула — 294; XVI, Сорокъ каликъ — 309; XVII, Василій Буслаевъ — 317; XVIII, Данило Ловчанинъ — 320; XIX, Василій Окуловичъ 320.

Стр.

Историческая пѣсня . . . . 328—358

Пѣсни эпохи Грознаго — 337; Пѣсни Смутнаго времени — 347; Пѣсни середины XVII вѣка — 349; Пѣсни эпохи Петра — 350; Солдатская пѣсня — 351; Низшая эпическая пѣсня — 355; Малорусская дума — 356.

Духовный стихъ . . . . 358—392

Источники духовнаго стиха — 359; Возникновеніе духовнаго стиха — 360; Духовный стихъ старшій и младшій — 364; Формы духовнаго стиха — 365; Носители духовнаго стиха — 366; Географическое распространеніе духовнаго стиха — 369; Отдѣльные духовные стихи — 371: О Голубиной книгѣ — 371; Объ Аникѣ воинѣ — 373; О Николаѣ Чудотворцѣ — 376; О Ѳедорѣ Тиронѣ — 378; Объ Егоріи Храбромъ — 380; Объ Алексѣѣ чел. Бож. — 384; О царевичѣ Іоасафѣ — 386; О Прасковіи-Пятницѣ—388; Старообрядческіе и сектантскіе с .хи—389; Стихи каличьи — 390; Горе-злочастіе — 392.

Сказка . . . . 392—432

Научные взгляды на происхожденіе сказки — 392; Форма сказки — 405; Носители сказки — 408; Содержаніе сказки — 411; Отдѣльные сказочные сюжеты — 415: Сказки о животныхъ — 415; О Бабѣ-Ягѣ — 418; О Кощеѣ — 420; О змѣеборцахъ — 421; О Горѣ, злочастіи, судьбѣ — 423; О морскомъ царѣ — 424; О Лихѣ одноглазомъ — 425; О чудесныхъ предметахъ — О дуракахъ — 426; О превращеніяхъ — 427; Мелкіе сюжеты — 428; Хронологія сказки — 429.

Устная легенда . . . . 432—436

Христіанская легенда — 432; Дуалистическая легенда о міозданіи — 435; Легенды о Соломонѣ — 435; Легенда о Крестномъ древѣ — 435; Легенды о святыхъ — 436.

Заговоръ . . . . 436—453

Пословица и поговорка . . . . 453—455

Загадка . . . . 455—457

Указатель литературы по устной словесности . . . . 458—467

Указатель именъ . . . . 46· —474

Введеніе.

Исторія устной словесности, какъ отрасль исторіи литературы. Исторія устной (иначе не вполнѣ точно называемой «народной») русской словесности, какъ предметъ спеціальнаго изученія, принадлежитъ къ числу дисциплинъ, еще болѣе молодыхъ, нежели исторія русской литературы вообще, литературы древней въ частности. Если относительно послѣдней болѣе или менѣе опредѣленно можно считать такъ называемую «Румянцовскую эпоху» началомъ серьезнаго изученія древней письменности, то такое же изученіе такъ называемой устной словесности слѣдуетъ признать на десятокъ, другой лѣтъ еще моложе. Правда, старшій изъ извѣстныхъ научныхъ трудовъ по изученію устной словесности, изданіе «Древнероссійскихъ стихотвореній» Кирши Данилова, выполненное на средства того же Румянцова К. Ф. Калайдовичемъ и снабженное его предисловіемъ, гдѣ видимъ первую попытку научнаго освѣщенія такъ называемыхъ былинъ, вышло еще въ 1818-мъ году, т.-е., почти одновременно со старшими научными изданіями памятниковъ древней письменности [1]); всеже устная словесность, какъ болѣе или менѣе самостоятельная область литературы, въ сознаніи ученыхъ получила признаніе значительно позднѣе, съ 30-хъ годовъ XIX ст., а современные намъ научные методы ея изученія выяснились еще позднѣе, могутъ считаться не вполнѣ опредѣлившимися въ деталяхъ и до сихъ поръ: новыя теченія въ области историческихъ наукъ особенно чувствительно вліяютъ до сихъ поръ на изученіе устной словесности, именно, въ виду того, что самые взгляды на устную словесность приходится при-

---

[1]) Подробнѣе объ этомъ см. въ моей „Исторіи древней русской литературы", изд. 2 (М. 1914), стр. 14 и сл.

знать еще менѣе прочно установившимися, нежели въ области древней письменности или современной литературы. Причина этого послѣдняго обстоятельства лежитъ въ значительной степени въ самомъ характерѣ того матеріала, который приходится привлекать къ изученію исторіи устной словесности, а также въ той роли, какую этой отрасли историческихъ наукъ пришлось играть въ развитіи нашего общественнаго самосознанія. Та и другая сторона этой молодой дисциплины, сторона ея, такъ сказать, «матеріальная» и сторона общественная, а равно какъ и особенности въ примѣненіи къ устной словесности современнаго историко-сравнительнаго метода, нагляднѣе всего выяснятся, если мы, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, познакомимся съ историческимъ ходомъ развитія у насъ изученій такъ называемой народной устной словесности.

Если мы присмотримся къ современному положенію изученія русской литературы въ цѣломъ, то замѣтимъ, что исторія такъ называемой устно-народной литературы занимаетъ въ ней довольно своеобразное мѣсто. Въ большинствѣ русскихъ университетовъ мы видимъ исторію устно-народной словесности, какъ отдѣльный предметъ преподаванія, если не отдѣльной каѳедры. Въ такомъ положеніи исторія устно-народной словесности оказывается, уже начиная съ 30-хъ годовъ прошедшаго столѣтія, и въ самой наукѣ. Если мы обратимся къ представителямъ изученія исторіи устно-народной словесности, то и тутъ мы замѣтимъ нѣкоторую своеобразность въ дѣятельности представителей этой исторіи сравнительно съ другими. Въ большинствѣ случаевъ историкъ русской литературы не охватываетъ всей этой исторіи во всемъ ея объемѣ; при этомъ, если онъ посвящаетъ себя изученію устно-народной словесности, то другія отрасли исторіи русской литературы (каковы: древняя русская литература, новая, новѣйшая) въ большинствѣ случаевъ не входятъ въ кругъ его спеціальныхъ занятій, но во всякомъ случаѣ не могутъ остаться для него и совершенно въ сторонѣ при его работахъ въ области устно-народной. Это является, повидимому, не случайностью. Такъ, извѣстный историкъ русской литературы покойный проф. Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ главные свои труды посвящаетъ именно исторіи устно-народной литературы, въ то же время соединяетъ съ этими занятіями труды и по древней русской литературѣ, хотя и менѣе самостоятельные. То же самое приходится сказать и относительно другого изслѣдователя, недавно скончавшагося академика Всеволода Ѳедоровича Миллера. Онъ тоже почти исключительно занимается исторіей устно-народной словесности, совершенно почти не касаясь другихъ областей русской литературы; но эти занятія сплетаются у него съ широкой областью востоковѣдѣнія. Старѣйшій представитель у насъ въ области изученія устной словесности— Ѳ. И. Буслаевъ—занятія эти тѣсно сочетаетъ съ лингвистическими изслѣдованіями, служащими ему подспорьемъ, для его главнаго инте-

реса. Если мы внимательно присмотримся къ трудамъ этихъ изслѣдователей (о чемъ рѣчь впереди), то замѣтимъ, что эти изслѣдователи почти никогда не имѣютъ возможности ограничиться матеріаломъ и изслѣдованіемъ только этой устно-народной словесности: въ качествѣ вспомогательнаго матеріала для ея исторіи они постоянно привлекаютъ другія спеціальныя области литературы, не только русской, но и иноземной, а также и другихъ историческихъ наукъ. Такими областями въ большинствѣ случаевъ является для нихъ: исторія древне-русской словесности, этнографія, языкознаніе, исторія иноземныхъ литературъ, исторія въ тѣсномъ смыслѣ слова. Такъ, напримѣръ, извѣстный всѣмъ намъ Ѳ. И. Буслаевъ, всю жизнь занимавшійся устно-народной словесностью, второй своей спеціальностью, при помощи которой онъ подходитъ къ этой устно-народной словесности, выбираетъ древне-русскую литературу, затѣмъ лингвистику, наконецъ, исторію искусства. Точно такъ же О. Ѳ. Миллеръ обращается къ исторіи древней словесности, которая, повидимому, является областью наиболѣе близкой, необходимой для изученія той же устно-народной словесности. В. Ѳ. Миллеръ, кромѣ того, и преимущественно, обращается къ этнографіи, исторической географіи, исторіи востоковѣдѣнія. Такія наблюденія ясно показываютъ, что область устно-народной словесности въ самой себѣ, въ своей исторіи заключаетъ нѣкоторыя такія особенности, которыя заставляютъ, съ одной стороны, выдѣлить ее въ отдѣльный кругъ знаній, при разработкѣ которыхъ приходится привлекать матеріалъ столь своеобразный и примѣнять историко-литературный методъ столь отлично отъ обычнаго, что въ концѣ-концовъ эта отрасль въ исторіи русской литературы готова выдѣлиться въ отдѣльную спеціальность (какъ это и случилось); съ другой стороны, несмотря на это, и матеріалъ и методы исторіи устной словесности всеже не могутъ, очевидно, быть цѣликомъ отдѣлены отъ того, что́ мы имѣемъ въ другихъ отрасляхъ исторіи русской литературы и другихъ наукъ: это вытекаетъ, наглядно, изъ дѣятельности упомянутыхъ ученыхъ. Причина этого лежитъ, конечно, не только въ общемъ развитіи русской науки и, въ частности, исторіи русской литературы, матеріалъ которой становится съ теченіемъ времени громаднымъ и требуетъ раздѣленія труда по спеціальностямъ; повидимому, причина этого лежитъ—и главнымъ образомъ—въ самыхъ свойствахъ и характерѣ того матеріала, съ которымъ историку устно-народной словесности приходится имѣть дѣло. Съ этимъ-то матеріаломъ намъ прежде всего и необходимо познакомиться, хотя бы въ общихъ, существенныхъ чертахъ. Необходимо съ этимъ познакомиться потому, что такимъ путемъ мы найдемъ оправданіе и существованію у насъ отдѣльной каѳедры устно-народной словесности, най-

демъ оправданіе и тому, что устно-народная словесность представляетъ отдѣльную область въ исторіи русской литературы; а, наконецъ, это имѣетъ и практическій смыслъ: ознакомленіе это до извѣстной степени приведетъ насъ къ сознательному отношенію къ тому матеріалу и тѣмъ методамъ, которыми въ настоящее время пользуются изслѣдователи исторіи русской словесности въ своихъ работахъ въ области устно-народной литературы.

Матеріалъ для исторіи устной словесности. Прежде всего постараемся представить себѣ, съ чѣмъ главнымъ образомъ приходится имѣть дѣло историку устно-народной словесности вообще и, въ частности, историку словесности русской. Стало быть, на первомъ мѣстѣ для насъ долженъ быть поставленъ вопросъ, хотя бы самый общій (болѣе детальные будутъ имѣть мѣсто впослѣдствіи), о томъ, какими характерными чертами отличается матеріалъ устно-народной словесности отъ тѣхъ матеріаловъ, съ которыми имѣетъ дѣло историкъ русской литературы древней, новой, новѣйшей и т. д.? Если мы обратимся къ этому матеріалу, то прежде всего должны будемъ отмѣтить, что предметомъ изученія устно-народной словесности являются такія литературныя произведенія, которымъ мы по привычной терминологіи даемъ названія пѣсенъ, сказокъ, загадокъ, пословицъ, былинъ, заговоровъ, устныхъ легендъ, прибаутокъ и т. д. Затѣмъ, мы знаемъ, что этотъ матеріалъ, поскольку мы его изучили, служитъ теперь для удовлетворенія художественныхъ, религіозныхъ и другихъ, преимущественно эстетическихъ, интересовъ не всего русскаго общества въ его цѣломъ, а только опредѣленной его части, и именно той его части, которая въ культурномъ отношеніи стоитъ ниже другихъ, такъ называемыхъ образованныхъ классовъ. Эта словесность, если можно такъ выразиться, теперь не столько народная, сколько простонародная, какой она была по крайней мѣрѣ и въ ближайшемъ къ намъ прошломъ. Тѣ, кому она доставляетъ эстетическое удовольствіе, удовлетворяетъ потребностямъ, запросамъ, это—прежде всего люди, среди которыхъ даже самые зачатки грамотности далеко не всегда составляютъ удѣлъ, если можно такъ выразиться, хотя, какъ увидимъ далѣе, это будетъ не вполнѣ точно: это—литература, прежде всего, людей безграмотныхъ или малограмотныхъ. Во-вторыхъ, нельзя не отмѣтить, что тотъ матеріалъ, который служитъ предметомъ исторіи устно-народной словесности, сталъ намъ, читателямъ и изслѣдователямъ, извѣстенъ сравнительно недавно, тогда какъ памятники литературы грамотной или образованной части нашего общества мы знаемъ съ довольно ранняго времени: мы не можемъ насчитать и ста лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ памятники устно-народной словесности стали доступны ученымъ. Стали

же они доступны только тогда, когда люди образованные сами пошли разыскивать эти памятники, руководясь идеями, прежде всего не столько эстетическими или научными, сколько общественными или патріотическими, и только послѣ этого матеріалы устной словесности стали достояніемъ науки. Самое положеніе этого матеріала, степень его извѣстности, время, когда съ нимъ познакомились, рѣзко будутъ отличать его отъ того, что должны мы сказать по отношенію къ остальному матеріалу русской литературы. Иначе сказать: матеріалъ устной словесности сталъ извѣстенъ намъ въ томъ видѣ, какой онъ принялъ и сохранилъ къ началу XIX в. Говоря опредѣленнѣе, мы можемъ сказать, что только въ XVII вѣкѣ, и то въ концѣ его преимущественно, впервые мы могли познакомиться съ памятниками устно-народной словесности въ болѣе точномъ видѣ этого рода литературы, во всякомъ случаѣ болѣе древней, нежели XVII в., въ большинствѣ случаевъ [1]).

Такимъ образомъ, и по времени, и по условіямъ своего появленія на научной аренѣ матеріалъ устно-народной словесности занимаетъ обособленное положеніе сравнительно съ матеріаломъ для древней литературы, которую давно въ рукописяхъ начали изучать, не говоря уже о новой литературѣ. Такимъ образомъ, это будетъ второе отличіе.

Въ-третьихъ, нужно отмѣтить, что матеріалъ устно-народной словесности, если не всегда по содержанію, то по своей формѣ, условіямъ своего сохраненія, условіямъ своего существованія или, какъ говорятъ, «бытованія», рѣзко довольно отличается отъ остальнаго матеріала исторіи

---

[1]) Въ началѣ XVII вѣка нѣсколько произведеній устно-народной словесности, по просьбѣ заѣзжаго англичанина Джемса, было записано въ Архангельской губерніи. Эту запись Джемсъ увезъ съ собой въ Англію, и только во второй половинѣ XIX вѣка она стала извѣстна русскимъ ученымъ. Впослѣдствіи, когда болѣе интенсивно стали изучать древне-русскую литературу, натолкнулись на небольшой рядъ старыхъ записей произведеній устно-народной словесности въ рукописяхъ конца XVII вѣка. Но эти записи не претендовали, разумѣется, на научность, не дѣлались въ расчетѣ на то, что онѣ станутъ предметомъ научныхъ изслѣдованій; ихъ записывали совсѣмъ не для историко-литературныхъ цѣлей, но по инымъ причинамъ. Эти произведенія казались записывавшему достойными быть включенными въ какой нибудь сборникъ на ряду съ иными, подчасъ ничего общаго не имѣющими съ устными произведеніями, какъ таковыми. И дѣйствительно, старинныя записи русскихъ былинъ XVII вѣка показываютъ, что записывавшихъ привлекало или любопытное содержаніе сказаннаго, или фантастическій колоритъ ихъ, но отнюдь не желаніе познакомиться съ этой мало извѣстной областью народнаго творчества. Также случайны и рѣдки произведенія устной словесности въ ихъ подлинномъ текстѣ и въ старшей письменности; таковъ, напр., тотъ единственный пока извѣстный духовный стихъ (объ Адамѣ), который записанъ былъ въ концѣ XV вѣка въ одномъ изъ сборниковъ Кирилло-бѣлозерской библіотеки (о немъ см. „Псалтирь Ѳеодора еврея“ (Чтенія Общ. Ист. и Др. росс. 1907 г.), снимокъ 8-й).

русской литературы, древней и новой. Начнемъ съ формы, какъ болѣе нагляднаго. Эти внѣшнія формы устно-народныхъ произведеній рѣзко отличаются отъ тѣхъ, которыя мы знаемъ въ литературѣ, какъ въ древней, такъ и въ новой. Въ устной литературѣ въ одной ея части, довольно значительной, преобладаетъ стихотворный размѣръ, такъ называемый стихъ, въ другой находимъ форму прозы. Стихотворнаго размѣра древне-русская письменная литература не знала [1]). Только въ половинѣ XVII вѣка, какъ извѣстно, появляются, и то не во всей литературѣ, а преимущественно въ юго-западной ея части «силлабическія» вирши, которыми пишутъ кіевскіе ученые, кіевскіе школьники и ихъ подражатели въ Москвѣ. Но и эта силлабическая форма не та, въ которую отливается большинство устныхъ народныхъ стихотвореній [2]). Что же касается новой русской литературы, то и новый русскій стихъ, конечно, не будетъ совпадать со стихомъ народнымъ, будучи построенъ на иныхъ основахъ. Если вы возьмете любое стихотвореніе Пушкина и сопоставите его съ какой-нибудь устной пѣсней или съ былиной, то сейчасъ же увидите, что здѣсь и тамъ не только разная форма стиха, но что и самая основа его будетъ различна въ томъ и другомъ случаѣ. И дѣйствительно, если нашъ современный стихъ основанъ, прежде всего, на чередованіи грамматическихъ удареній словъ, (такъ называемый стихъ тоническій), то народный стихъ основанъ также на чередованіи удареній, но только удареній не грамматическихъ, а логическихъ и музыкальныхъ. Существенной принадлежностью современнаго стиха въ нашей поэзіи составляетъ такъ называемая риѳма, т.-е. созвучіе въ концѣ стиха,—народный стихъ, наоборотъ, такого созвучія не знаетъ, какъ органической принадлежности формы, но знаетъ своеобразныя созвучія, которыя онъ, и то не всегда послѣдовательно, примѣняетъ и внутри стиха, а иногда и въ концѣ его. Съ тѣмъ, чтобы еще болѣе провѣрить это наблюденіе, можно сдѣлать и такого рода опытъ: взять какую-нибудь христоматію и, перелистывая стихотворенія, посмотрѣть, нѣтъ ли тамъ стихотвореній устно-народныхъ; если они есть, то вы невольно станете выдѣлять ихъ изъ ряда другихъ: настолько они будутъ отличны по формѣ съ перваго взгляда. Мало того, если тамъ попадется стихотвореніе современнаго поэта, написанное въ подра-

---

[1]) Попытка подражанія византійскимъ стихотворнымъ размѣрамъ (напр., Азбучная молитва Константина), извѣстная на югѣ славянства въ древнѣйшій періодъ, у насъ успѣха не имѣла.

[2]) Силлабич. размѣръ встрѣчается, правда, и въ устной поэзіи (поздній духовный стихъ, малорусская дума); но это результатъ уже вліянія литературы письменной, заимствованія; поэтому въ данномъ случаѣ, когда рѣчь идетъ формахъ устной поэзіи въ общемъ, суть дѣла не измѣняется.

жаніе народной поэзіи, скажемъ, «Пѣсня о купцѣ Калашниковѣ» Лермонтова, то и оно сразу бросится вамъ въ глаза своимъ оригинальнымъ характеромъ сравнительно съ остальными произведеніями, но въ то же время выдастъ свой подражательный характеръ своимъ искусственнымъ ритмомъ. Если обратимся къ прозѣ въ устной словесности—къ сказкѣ, прибауткѣ, повѣрьямъ и т. д.—мы замѣтимъ и тутъ нѣчто своеобразное сравнительно съ древней письменной и новой литературой. Сказка, несмотря на то, что она разсказывается и какъ будто не имѣетъ такой опредѣленной, разработанной формы, какъ пѣсня, все-таки она обладаетъ, тотчасъ замѣтимъ при чтеніи, стилемъ, и настолько этотъ стиль своеобразенъ, что въ настоящее время мы можемъ говорить объ особомъ «сказочномъ» стилѣ, какъ о чемъ-то особенномъ. Особенности этого стиля заключаются въ извѣстномъ подборѣ словъ, иногда въ извѣстномъ чередованіи ритмическихъ удареній во фразѣ, пожалуй, нѣчто въ родѣ стихотворнаго склада, но только безъ стиховъ. Причину этого различія въ формахъ нашей современной и древней литературы и устной, естественно, слѣдуетъ видѣть въ томъ, что каждая изъ нихъ, хотя всѣ онѣ и вырабатываютъ свой стиль примѣнительно къ основной цѣли—эстетической, художественности достигаютъ каждая своими средствами. Если мы возьмемъ, наконецъ, языкъ устно-народной словесности въ его цѣломъ, то и съ этой стороны сразу замѣтимъ большую разницу съ остальной литературой. Древняя литература, какъ таковая, разумѣется, и по языку будетъ отличаться отъ той литературы, которую мы знаемъ въ настоящее время въ устахъ народа: она въ основѣ своей рѣчи имѣетъ языкъ церковно-славянскій, хотя и претерпѣвшій рядъ измѣненій подъ вліяніемъ живой русской рѣчи; въ устно-народной литературѣ языкъ русскій живой въ основѣ; въ то же время языкъ этотъ, если и будетъ ближе, нежели нашъ литературный и языкъ образованной части общества, къ языку низшихъ слоевъ русскаго общества, всеже не будетъ онъ совпадать и съ нимъ. Такимъ образомъ, взявши въ общемъ языкъ устно-народной поэзіи, устно-народной литературы, мы должны будемъ сказать, что это не есть нашъ современный литературный языкъ, но нѣчто своеобразное, нѣчто подчиняющееся собственнымъ законамъ. Стало быть, и по формамъ матеріалъ, даваемый устно-народной литературой, представляетъ нѣчто своеобразное, что заставляетъ его выдѣлить изъ общаго матеріала по исторіи русской литературы.

Въ четвертыхъ, матеріалъ устно-народной словесности, въ особенности русской, будетъ отличаться отъ древней и новой литературы по своему прошлому, по своей судьбѣ, по условіямъ своего существованія.

Старая русская литература (какъ и всякая другая) главнымъ средствомъ для своего сохраненія и распространенія имѣетъ къ своимъ услугамъ письмо, т.-е. для закрѣпленія мыслей, формы и содержанія пользуется письменностью, какъ искусствомъ, спеціально для этого существующимъ. Позднѣйшая литература (частью древняя литература, начиная съ XVI—XVII вв.) и современная намъ литература имѣетъ еще болѣе крупное средство для того же самаго—печатный станокъ. Ни искусствомъ письма, ни тѣмъ болѣе печатнымъ станкомъ устно-народная литература не владѣетъ. Главнымъ средствомъ для развитія, распространенія и сохраненія произведеній этой словесности является живое человѣческое слово, передаваемое непосредственно въ рѣчи отъ одного лица другому; это литература—въ точномъ смыслѣ «устная». Это ея положеніе, разница въ средствахъ развитія и сохраненія этихъ разновидностей нашей литературы, несомнѣнно, оказываютъ сильное вліяніе на самый характеръ и условія существованія и развитія и самой устной словесности. Прежде всего, если необходимымъ условіемъ для сохраненія и развитія остальной литературы является долговѣчность письменнаго слова, рукописи, книги, то для устно-народной словесности является, прежде всего, этимъ условіемъ живучесть самого живого слова. Та сохраняется путемъ письменности, эта, слѣдовательно, можетъ сохраняться единственно только путемъ памяти. Пока слово сказанное помнится или тѣмъ, кто его сказалъ, или тѣмъ, кто его услыхалъ, до тѣхъ поръ это слово цѣло и мысль, въ немъ заключенная, жива. Стоитъ только умереть сказавшему это слово или сойти со сцены, утратить изъ памяти, забыть слово тѣмъ, кто слышалъ или сказалъ эту мысль, и эта мысль должна умереть, если она не передана другому, кто останется въ живыхъ и помнитъ сказанное умершимъ. Что же касается письменности, то здѣсь условія сохраненія иныя: мысль, сказанная здѣсь, закрѣплена путемъ болѣе прочнымъ, путемъ письменности; лицо, сказавшее эту мысль, можетъ умереть, но мысль его не пропадетъ; необходимо при этомъ только одно условіе: чтобы сохранилось это написанное слово, и это написанное слово, такимъ образомъ закрѣпленное, сохраняется гораздо прочнѣе, гораздо дольше, нежели слово устное, что̀ вполнѣ понятно. Этимъ и объясняется, почему мы по отношенію къ произведеніямъ письменнымъ стоимъ, въ общемъ, въ болѣе благопріятномъ положеніи, нежели по отношенію къ произведеніямъ устнымъ: несмотря на утрату многихъ письменныхъ памятниковъ, «Слово о полку Игоревѣ», памятникъ, созданный XII в., было тогда же написано (либо записано); авторъ его давно умеръ, но оно послѣдовательно переписывалось лицами, интересовавшимися «Словомъ», и если отъ времени въ немъ кое-что измѣнилось, то въ суще-

ственномъ оно осталось тѣмъ же, чѣмъ было въ XII в. Интересъ живой къ этому памятнику въ значительной степени пропадалъ, но онъ все-таки въ переписанномъ видѣ дожилъ до XIX вѣка: видимо интересъ этотъ никогда совершенно не исчезалъ; поэтому мы можемъ сказать, что мы знаемъ литературное произведеніе XII в.—«Слово о полку Игоревѣ». Рукопись «Слова» XVI вѣка доходитъ до нашего времени, хотя уже въ XVII и XVIII в. жившіе люди и забыли про существованіе «Слова». Такимъ образомъ, когда въ концѣ XVIII вѣка была найдена рукопись «Слова о полку Игоревѣ», люди XVIII вѣка легко могли познакомиться съ мыслями, съ содержаніемъ этого памятника XII вѣка. Но рукопись «Слова о полку Игоревѣ» сгорѣла въ 1812 году. Сохранилось, однако, нѣсколько печатныхъ экземпляровъ, сдѣланныхъ съ рукописи до ея погибели, и эти печатные экземпляры дали намъ возможность теперь детально изучать «Слово о полку Игоревѣ» и оцѣнить его, какъ одинъ изъ лучшихъ памятниковъ такой отдаленной для насъ эпохи, какъ XII вѣкъ. Если мы возьмемъ памятники устно-народной словесности, которые стали намъ извѣстны только съ тѣхъ поръ, когда ученые изслѣдователи, собиратели, а въ рѣдкихъ случаяхъ любители XVII вѣка стали ихъ записывать, то увидимъ, что эти памятники мы и знаемъ только въ томъ видѣ, какъ ихъ захватила запись ученаго или любителя. Чѣмъ они были раньше (а нѣкоторые, даже большинство ихъ, какъ увидимъ, возникли гораздо раньше XVII—XIX вв.), мы не можемъ сказать, потому что живая человѣческая память, разумѣется, не можетъ служить столь точнымъ и надежнымъ средствомъ для сохраненія у слушателя формы памятника столь долгое время. Такимъ образомъ, результатомъ того условія, что памятникъ устно-народной словесности сохраняется путемъ только устнымъ, а не закрѣплялся письменностью, является и другая черта этого памятника: онъ является въ своемъ текстѣ, въ своемъ содержаніи далеко, не столь устойчивымъ, какимъ является памятникъ письменности. Какъ бы ни измѣнили «Слово о полку Игоревѣ» со времени XII вѣка до XVI в., отъ котораго до насъ сохранилась рукопись, какъ бы эту рукопись ни изуродовалъ своимъ неумѣніемъ читать и понимать старый языкъ Мусинъ-Пушкинъ, издавшій ее, мы все-таки имѣемъ въ «Словѣ о полку Игоревѣ» надежное средство, чтобы методами научно-исторической критики текста представить себѣ, какимъ этотъ памятникъ былъ въ XII вѣкѣ. Если мы возьмемъ рядъ другихъ памятниковъ, которые, повидимому, болѣе измѣнились, то придемъ къ тому же результату: возьмемъ хотя бы старинныя житія святыхъ. Житіе, напримѣръ, Кирилла Бѣлозерскаго написано впервые въ XV вѣкѣ. Несомнѣнно, оно могло сохраниться и въ рукописи XV вѣка, и мы могли бы знать, въ какомъ

видѣ оно вышло изъ-подъ пера его автора. Но житіе Кирилла претерпѣваетъ видоизмѣненія, перерабатывается то Епифаніемъ Премудрымъ, то митрополитомъ Макаріемъ и т. д. Такимъ образомъ, получается рядъ редакцій житія; но такъ какъ это памятникъ письменный и закрѣплялся во всѣхъ своихъ редакціяхъ письменностью (къ письменному слову люди болѣе культурные относятся съ уваженіемъ), то несомнѣнно какъ бы его ни измѣняли, основа литературнаго произведенія, ея характерныя черты сохранятся во всѣхъ редакціяхъ. Наконецъ, рядомъ съ редакціями Макарія и Епифанія до насъ доходятъ и древнѣйшія рукописи XV в. или ихъ ближайшія копіи. Такимъ образомъ, мы можемъ довольно ясно и детально представить себѣ, чѣмъ было житіе, когда оно вышло изъ-подъ пера писателя XV вѣка. Иначе обстоитъ дѣло съ памятникомъ устнымъ. Никто въ устно-народной словесности не заботится о произведеніяхъ ея именно съ этой стороны, стороны текста. Они служатъ удовлетворенію настроеній минуты, потребности того, кто слушаетъ, кто передаетъ, и по мѣрѣ того, какъ измѣняется культура, вкусъ среды, измѣняется и самое произведеніе, и измѣненія эти въ силу «устности» памятника будутъ существеннѣе. То же самое, конечно, можно сказать и по отношенію къ переработкамъ памятниковъ письменныхъ, какъ мы видѣли выше; но при ближайшемъ разсмотрѣніи этихъ измѣненій въ томъ и другомъ случаѣ сейчасъ же замѣтна будетъ и разница: тогда какъ въ письменности сохраняются въ силу сохраненія рукописи и въ болѣе позднее время прежнія редакціи памятника, «устныя» редакціи прежняго времени совершенно почти исчезаютъ въ болѣе новое время: онѣ уже не нужны, не интересны для даннаго времени (когда произведеніе поется или сказывается); и такъ какъ для сохраненія такого памятника служитъ только живая память, то они вовсе иногда забываются, потому что ихъ мѣсто въ сознаніи и памяти человѣка занимаетъ новая, болѣе интересная редакція, и о старшей редакціи приходится лишь догадываться на основаніи новыхъ, записанныхъ въ наше время. Этимъ и объясняется, почему мы постоянно становимся передъ очень труднымъ вопросомъ о первоначальномъ видѣ, первоначальной редакціи памятника по отношенію къ произведенію устно-народной словесности. Пояснимъ это примѣромъ. А. Ѳ. Гильфердингъ, извѣстный собиратель былинъ въ Олонецкомъ краѣ, въ 60-хъ гг. прошлаго столѣтія записалъ былину объ Ильѣ Муромцѣ и Калинѣ царѣ. При изученіи ея по этой записи у насъ возникаетъ вопросъ: если, дѣйствительно, эта былина старая по содержанію (на это есть данныя), если она существовала давно, то въ какомъ видѣ, съ какимъ содержаніемъ она существовала въ прежнее время при своемъ созданіи? Если она представляетъ извѣст-

ную устойчивость въ даннюмъ текстѣ, идя отъ хорошаго пѣвца, если ея составъ подтверждается другими записями той же былины отъ иныхъ пѣвцовъ, мы можемъ болѣе или менѣе увѣренно предполагать, что и въ ближайшее къ намъ время, лѣтъ 50 назадъ до записи ея Гильфердингомъ, былина была въ приблизительно той же формѣ, съ тѣмъ же содержанiемъ, съ какими ее записалъ Гильфердингъ; на такое предположенiе мы имѣемъ нѣкоторое право, зная, какъ долго можетъ дѣйствовать память, т.-е. имѣя въ виду такъ называемую традицiонность памятника. Но чѣмъ эта былина была лѣтъ 300—200 назадъ (а она уже тогда существовала), сказать мы не можемъ: человѣческая память такъ далеко не простирается, а условiя быта, вкусы, въ столь отдаленное время, должны представляться иными въ значительной степени, нежели 50 лѣтъ назадъ. И намъ приходится почти отказываться отъ рѣшенiя подобнаго вопроса, даже при наличности хорошей традицiи въ записанной былинѣ. А въ другихъ случаяхъ мы имѣемъ наблюденiя, показывающiя, что памятники устно-народной словесности въ общемъ сильно мѣняются, далеко не такъ устройчивы въ своемъ текстѣ, какъ письменные памятники, и прочнѣе закрѣпляемые, и, какъ письменные, пользовавшiеся бóльшимъ уваженiемъ и вниманiемъ. Такъ, старшiя записи былинъ восходятъ къ XVII вѣку, но есть былины про Илью Муромца, которыя записаны были только уже въ наше время въ XIX вѣкѣ. Если мы сопоставимъ запись, которая дошла до насъ въ рукописи XVII вѣка, и текстъ, который записанъ Гильфердингомъ, то увидимъ, что при общемъ содержанiи наблюдается большая разница въ формѣ, деталяхъ, освѣщенiи, частью въ истолкованiи отдѣльныхъ фактовъ. А это значитъ, что эта былина отъ конца XVII вѣка до XIX претерпѣла рядъ измѣненiй, такъ какъ она ничѣмъ въ своей жизни не была зафиксирована, кромѣ памяти и вкуса людей, а эти память и вкусъ находятся въ движенiи въ зависимости отъ культурныхъ условiй. Такимъ образомъ, ясно, что даже былины, наиболѣе консервативныя, въ ряду памятниковъ устно-народной словесности, въ смыслѣ сохраненiя стараго облика не могутъ итти въ уровень съ памятниками письма.

Изъ сказаннаго до сихъ поръ о памятникахъ устной словесности сравнительно съ памятниками письменности мы видимъ, что находимся въ положенiи гораздо болѣе трудномъ, изучая памятникъ устный, нежели памятникъ письменный. Въ виду же того, что этотъ устный памятникъ живетъ въ совершенно исключительныхъ условiяхъ, мало имѣющихъ общаго съ условiями остальной литературы, живетъ теперь въ народной малограмотной или неграмотной массѣ, что носителемъ устной словесности является тотъ же малокультурный человѣкъ, стоящiй на

низшей ступени культуры, нежели другіе классы общества, конечно, и самые методы изученія, общіе для исторіи литературы, въ частностяхъ должны быть примѣняемы при изученіи исторіи памятника устнаго иначе, нежели при изученіи письменнаго памятника. Отсюда—отличія способовъ изученія устныхъ памятниковъ отъ изученія древнихъ и новыхъ, которыя мы видимъ въ нашей наукѣ. Эти характерныя черты памятниковъ устныхъ, несомнѣнно, говорятъ, что памятники устно-народной словесности, и съ точки зрѣнія метода, требуютъ выдѣленія ихъ въ отдѣльную область при ихъ изученіи, а въ зависимости отъ этого—и нѣкоторыхъ особенностей научнаго метода для научнаго ихъ разумѣнія.

Эти методы изученія памятниковъ устной литературы слагались исторически, вырабатывались постепенно въ связи съ общимъ ходомъ развитія русской исторической науки: знакомство съ этимъ развитіемъ приблизитъ насъ и къ знакомству съ наиболѣе установившимися современными методами изученія устной словесности. Что же касается исторіи изученія устной словесности, то она, какъ и въ другихъ случаяхъ, стоитъ въ связи съ самой исторіей разработки и накопленія матеріала; опять-таки и здѣсь мы видимъ цѣлый рядъ такихъ особенностей сравнительно съ остальной литературой, которыя поведутъ къ тому же, т.-е. оправдаютъ выдѣленіе устно-народной словесности въ отдѣльную группу.

Прежде всего, слѣдуетъ помнить, что если мы изучаемъ памятникъ устно-народной словесности, то имѣемъ передъ собою этотъ памятникъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ дошелъ до насъ въ записи близкаго къ намъ времени; мы же желаемъ изучить его исторію, т.-е. процессъ его созданія, измѣненій во времени, а исторія эта часто бываетъ довольно длинная и сложная: передъ нами сравнительно поздняя редакція древняго памятника. Поэтому, естественно, для изученія этого памятника намъ надо разыскивать матеріалъ для сужденія о памятникѣ устномъ въ его прошломъ. Этимъ и объясняется то, что въ большинствѣ случаевъ историкъ устно-народной словесности въ то же время поневолѣ долженъ заниматься какъ разъ древне-русской словесностью: какъ разъ въ этой древней-русской словесности онъ можетъ найти указанія на то прошлое памятника, котораго онъ не узнаетъ изъ самаго текста памятника, дошедшаго до него въ видѣ почти современномъ самому изслѣдователю записи. Такимъ образомъ является настоятельнымъ прежде всего рядъ общихъ вопросовъ: чѣмъ была въ древности русская устно-народная словесность? Какое она положеніе занимала по отношенію къ остальной русской литературѣ? Какими средствами она пользовалась? Какова была ея жизнь въ преж-

нее время? Имѣя удовлетворительный отвѣтъ на эти общіе вопросы, можно судить и о частномъ случаѣ—исторіи даннаго памятника. Но здѣсь, къ сожалѣнію, мы поставлены въ крайне неблагопріятное положеніе. Старая русская письменность въ силу своего происхожденія (византійско-церковнаго) установила сразу и довольно опредѣленно свое отношеніе, притомъ довольно суровое, къ устно-народной словесности. Для того, чтобы понять это отношеніе, придется напомнить, хотя бы кратко, тѣ отношенія между различными явленіями старой и новой жизни, которыя установились у насъ на Руси съ возникновеніемъ у насъ письменной литературы.

Древняя письменная литература и литература устная. Въ подробности я вдаваться не буду: это дѣло исторіи древней литературы [1]). Ограничусь тѣмъ, что напомню только нѣсколько наиболѣе для насъ важныхъ фактовъ. Наша письменность въ качествѣ орудія литературы, какъ извѣстно, возникаетъ у насъ вмѣстѣ съ христіанствомъ, появляется едва ли раньше конца X в. Устно-народная словесность, какъ увидимъ впослѣдствіи, несомнѣнно, уже существовала въ то время, когда у насъ еще не было христіанства и письменности.

Христіанство принесло намъ вмѣстѣ съ новымъ содержаніемъ литературы и новое орудіе—письменность. Устная литература, существовавшая до того времени на Руси, въ свой языческій періодъ не знала письменности. Появившееся у насъ христіанство и вслѣдъ за нимъ и христіанская литература были принесены къ намъ съ чужого, главнымъ образомъ, греческаго Востока—изъ Византіи. Съ этой точки зрѣнія совершенно яснымъ становится отношеніе письменности къ русской устно-народной словесности: къ намъ перенесены были и византійскія отношенія къ устной словесности. Византія въ религіозномъ отношеніи отличалась большою исключительностью, и эту исключительность она старалась завѣщать и тѣмъ народамъ, которые отъ нея принимали христіанство и христіанскую литературу. Это отношеніе установилось (по крайней мѣрѣ въ области письменности) и на русской почвѣ. Все, что было до христіанства, все это отрицалось цѣликомъ новой христіанской литературой, и съ этой точки зрѣнія, разумѣется, и та словесность, которая зародилась и существовала среди русскихъ до христіанства, конечно, ничего, кромѣ отрицательнаго отношенія къ себѣ со стороны новой, болѣе культурной словесности испытывать не могла съ перваго же времени встрѣчи ихъ. Отсюда ясно слѣдуетъ, что какого бы то ни было вниманія, тѣмъ болѣе бережливаго отношенія, интереса къ этой устно-народной словесности книжная старая русская

---

[1]) Ср. мою „Исторію древней русской литературы“ (изд. 2), стр. 183 и сл.

словесность проявлять не могла: она считаетъ ее «бѣсовской», какъ языческую, и не допускала ее на свои страницы. Этимъ объясняется, почему, несмотря на то, что русская письменность началась съ X—XI вѣка и представляетъ вскорѣ уже довольно богатое развитіе, она не несла въ себѣ почти совершенно памятниковъ устной, народной словесности. Правда, она сохранила отдѣльные моменты, отдѣльныя черточки изъ этой словесности, но въ иныхъ условіяхъ, нежели тѣ, которыя необходимы для историка литературы прежде всего, который хотѣлъ бы заглянуть въ эту словесность съ вопросомъ, какою она была въ XI—XII вѣкахъ? Ни одного текста устнаго памятника, цѣликомъ или въ отрывкѣ, въ его подлинномъ обликѣ, эта письменность до второй половины XVII в. намъ не дала. Тѣмъ не менѣе и этими случайно и не случайно сохранившимися черточками историку устной словесности пренебрегать нельзя: другихъ болѣе цѣльныхъ данныхъ въ его распоряженіи для древнѣйшей эпохи (XI—XII в.) нѣтъ. Итакъ, какого рода свѣдѣнія и въ какомъ объемѣ даетъ намъ объ устно-народной словесности наша древность, иначе сказать, древняя письменная литература? Какъ было указано, вслѣдствіе того отрицательнаго и неблагопріятнаго отношенія, которое установилось въ письменной литературѣ, т.-е. литературѣ болѣе образованныхъ классовъ, къ литературѣ низшихъ классовъ, менѣе образованныхъ или необразованныхъ, разсчитывать на богатство источниковъ и свѣдѣній объ устно-народной словесности въ древности въ общемъ мы не имѣемъ никакого права. И дѣйствительно, и на дѣлѣ мы видимъ, что это такъ. Въ западной Европѣ отношеніе къ старой, до-христіанской или нехристіанской, хотя и возникшей во время христіанства, мірской свѣтской литературѣ было точно такъ же отрицательное, но отрицательное отношеніе это гораздо раньше прекратилось: оно сильно смягчалось подъ вліяніемъ классическаго наслѣдія въ средневѣковой литературѣ, болѣе слабаго аскетическаго вліянія, нежели на востокѣ. Въ подробности отношеній западно-европейской письменной литературы къ устной вдаваться не стану (это выходитъ за предѣлы нашей задачи), укажу только примѣры. Знаменитый германскій народный эпосъ, главнымъ представителемъ котораго является циклъ пѣсенъ о Нибелунгахъ, сталъ извѣстенъ въ письменномъ видѣ для западно-европейскихъ читателей довольно рано. Уже въ рукописяхъ XII—XIII вѣковъ западной Европы мы имѣемъ передъ собою отрывки изъ этихъ народныхъ устныхъ сказаній германскаго племени, правда, отчасти уже переработанными. Древнѣйшія записи скандинавскаго сѣверо-германскаго эпоса дошли до насъ еще въ болѣе древнемъ видѣ. Такъ называемая «Эдда Старшая», содержащая въ себѣ космогонію (ученіе о мірозданіи) древнихъ германцевъ, дошла до насъ въ

рукописяхъ XI или XII в. Въ XIV или XV вѣкѣ эти произведенія уже служатъ предметомъ интереса, хотя, можетъ быть, и не строго научнаго: ихъ разбираютъ, дополняютъ, ихъ комментируютъ («Эдда младшая»).

У насъ ничего подобнаго мы не встрѣчаемъ. Если наша древняя литература и касается иногда литературы устно-народной, то это отношеніе исчерпывается преимущественно цѣлями полемическими. Нашъ старый древній книжникъ въ устно-народной литературѣ видитъ только остатки стараго язычества, поэтому онъ естественно, какъ христіанинъ, противополагаетъ ей литературу христіанскую, и поэтому, если ему и приходится касаться этой устно-народной словесности, то онъ касается ея, чтобы полемизировать съ нею, т.-е. чтобы, отрицая ее, доказать ея ненужность, необходимость ея изгнанія изъ житейскаго обихода. Стало быть, тѣ свѣдѣнія, которыя можетъ дать въ подобномъ случаѣ русскій книжникъ, будутъ и односторонни и до извѣстной степени тенденціозны. Это отрицательное отношеніе къ тому, что составляетъ народное міросозерцаніе, чѣмъ дальше, тѣмъ больше въ древне-русской литературѣ получаетъ свою опредѣленность. Въ половинѣ XVI вѣка, въ эпоху Стоглаваго собора, мы встрѣчаемъ уже прямо опредѣленное запрещеніе интересоваться, касаться этой поганой «языческой» народной словесности, слушать то, чѣмъ интересуются люди простые, «невѣгласи», т.-е. такіе, которые плохо знаютъ свое христіанство [1]). Это отношеніе идетъ усиливаясь и дальше; въ XVII вѣкѣ само свѣтское правительство уже заботится о томъ, чтобы положить предѣлъ не только развитію, но и сохраненію этой народной словесности. Въ 40-хъ годахъ XVII вѣка, правительство царя Алексѣя Михайловича разсылаетъ воеводамъ русскимъ въ разныхъ областяхъ совершенно опредѣленный циркуляръ, грамоту, въ которой предписываетъ имъ, какъ представителямъ государственной власти, преслѣдовать всяческими запрещеніями проявленіе тѣхъ народныхъ обычаевъ, съ которыми тѣсно связана эта литература («Наказъ верхотурскому воеводѣ») [2]). Такимъ образомъ, ясно, что отношеніе болѣе культурныхъ классовъ къ менѣе культурнымъ на русской почвѣ въ связи съ общими теченіями нашей христіанской литературы, конечно, должно имѣть результатомъ то, что какъ самые памятники, такъ и слѣды знакомства съ устно-народной словесностью въ древней литературѣ будутъ только случайностью. Полемистъ противъ языческихъ обычаевъ, противъ языческаго міросозерцанія, иногда въ видѣ примѣра, подчеркиванія, разъясненія

---

[1]) Стоглавъ по изд. въ Казани (1887), стр. 85, 87, 89—92.

[2]) Изданъ въ Актахъ Историч. (Спб. 1842), IV, 124—126.

указываетъ на тотъ или другой языческій обычай, на то или другое «языческое» произведеніе. И тутъ-то вотъ мы и встрѣчаемся съ кое-какими упоминаніями о памятникахъ народной словесности или явленіяхъ, съ ними связанныхъ, и по этимъ «отрицательнымъ» чертамъ, приведеннымъ въ полемическихъ произведеніяхъ, мы должны дѣлать заключеніе о томъ «положительномъ», чѣмъ была устно-народная словесность въ ту или другую древнюю эпоху. Разумѣется, подобные источники чрезвычайно скудны по характеру, рѣдки, и притомъ они такіе, съ которыми приходится обращаться чрезвычайно осторожно, потому что всякій полемистъ будетъ до извѣстной степени тенденціозенъ: онъ невольно преувеличитъ и подчеркнетъ односторонне въ своихъ интересахъ то, что̀ на дѣлѣ не является наиболѣе характернымъ для народной словесности, что̀ на дѣлѣ можетъ и не быть столь отрицательно, но что̀ существенно важно для него, какъ преслѣдующаго совершенно другія цѣли—внѣдреніе христіанскаго міросозерцанія, а не сообщеніе свѣдѣній о нашемъ язычествѣ и его словесномъ выраженіи. Есть, правда, и другіе источники въ той же письменности, но эти источники еще болѣе отличаются случайностью. Такъ какъ большинство русскихъ писателей, древнихъ книжниковъ выходили изъ той же народной среды, въ которой живетъ или жила устная словесность, то въ большинствѣ случаевъ они довольно близко стояли къ этой средѣ и по своему міросозерцанію и, несомнѣнно, хорошо знали и устно-народную словесность, съ которой имъ приходилось сталкиваться враждебно, и которая, несмотря на всѣ ихъ старанія, продолжала свое существованіе, давая удовлетвореніе интересамъ, не покрываемымъ новой литературой, преимущественно религіозной, церковной и аскетической. Именно, эта близкая свя́зь съ народной, простонародной даже, средой иногда оказываетъ нѣкоторую услугу и ученому изслѣдователю. Совершенно ясно, что мало культурный (конечно, все-таки болѣе культурный, чѣмъ простой безграмотный человѣкъ, но всеже недостаточно критичный) старый русскій книжникъ безсознательно сохранялъ свои симпатіи къ этой первичной словесности, хотя теоретически и считалъ себя обязаннымъ ее отрицать; поэтому онъ не всегда могъ ясно представить свое отношеніе къ этой словесности на дѣлѣ. Иногда искренно онъ увлекался ея поэтичностью, близостью къ своему міросозерцанію, иногда просто не понималъ разницы между содержаніемъ христіанской литературы и той устной словестностью (которая, кстати сказать, далеко не всегда была выраженіемъ прямо нехристіанскаго начала; міросозерцаніе все-таки съ теченіемъ времени проникается новыми мыслями, которыя будутъ уже мыслями христіанскими или болѣе или менѣе близкими къ христіанству). Въ силу этого онъ часто, не подозрѣвая самъ этого, находился

подъ вліяніемъ этой устной словесности и, пиша свои произведенія для болѣе образованныхъ классовъ, даже для классовъ болѣе низкихъ, онъ вносилъ иногда такія черты, которыя ему приходилось заимствовать изъ той устно-народной словесности, которую онъ теоретически гналъ, какъ проявленіе язычества. Но были въ русской жизни и такіе круги общества, какъ, напримѣръ, князья, дружина княжеская, придворные, для которыхъ такое ригористическое отношеніе къ тому, что́ было до христіанства или выходило за предѣлы церковнаго христіанства, не существовало въ такой степени, какъ для духовенства, главнаго дѣятеля въ области христіанской письменности, по существу ставившаго цѣлью своей дѣятельности полемику съ язычествомъ во всѣхъ его видахъ, проповѣдь христіанства, книжное слово вообще. Правда, круги эти не могли относиться съ особенной заботой, расположеніемъ (теоретически по крайней мѣрѣ) къ этой нерелигіозной народной словесности; но, съ другой стороны, византійская церковная ферула, которая была главнѣйшимъ факторомъ въ старой русской письменности, какъ средневѣковой по духу, для нихъ не была такъ строга, какъ для представителей литературы, лицъ духовныхъ. И эти люди, для которыхъ область устнаго творчества не являлась такой заповѣдной, случайно и оставили намъ въ бо̀льшемъ количествѣ элементы устно-народной словесности въ своихъ произведеніяхъ, которыя къ тому же назначены были для своего главнымъ образомъ круга. Въ видѣ примѣра можно привести опять тотъ же знаменитый памятникъ, о которомъ не разъ приходилось говорить—«Слово о полку Игоревѣ». Авторъ его, несомнѣнно, христіанинъ, несомнѣнно, книжный человѣкъ, несомнѣнно, обладавшій образованностью, повидимому, свѣтскій человѣкъ, дружинникъ, въ своемъ поэтическомъ произведеніи въ качествѣ источника, матеріала воспользовался—и довольно обильно—данными устно-народной словесности, вставляя очень кстати то поговорку, ходячую въ народѣ (напримѣръ: «ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божія не минути», либо: «тяжко ти головѣ, кромѣ плечю»), то даже цѣлое лирическое стихотвореніе, примѣнивъ его къ интересующему его случаю (припомнимъ, напримѣръ, плачъ Ярославны, который представляетъ у автора не что иное, какъ примѣненіе къ лицу жены Игоря обыкновеннаго народнаго плача, который сохранялся и сохраняется еще и до сихъ поръ въ устахъ народа), то пользуется народно-поэтичнымъ «постояннымъ» эпитетомъ и т. п. Но такой памятникъ представляется, если и блестящимъ и высоко талантливымъ, то и очень рѣдкимъ исключеніемъ. Отсюда слѣдуетъ, что даже у тѣхъ писателей, которые вольно или невольно внесли страницы элементы устно-народной словесности, эти элементы будутъ, во-первыхъ, рѣдки, а во-вторыхъ, эти элементы будутъ скудны, случайны.

Вотъ почему мы находимся въ особенности въ трудномъ положеніи, изучая исторически устно-народную словесность. Историческое прошлое ея намъ почти неизвѣстно, и намъ приходится по очень позднему виду памятника или по ряду ихъ заключать о томъ, чѣмъ они были въ предъидущее, довольно отдаленное время. Съ другой стороны, тѣ немногіе остатки, которые случайно застряли въ нашей книжной литературѣ, при критическомъ къ нимъ отношеніи таковы, что даютъ намъ увѣренность въ томъ, что въ древнемъ періодѣ русской литературы устно-народная словесность, несомнѣнно, пользовалась значительнымъ развитіемъ. Она была почти единственнымъ средствомъ для удовлетворенія эстетической потребности неграмотныхъ или малограмотныхъ классовъ, далеко еще не бывшихъ въ силахъ оцѣнить красоты христіанской литературы. Стало быть, съ одной стороны, мы имѣемъ право заключать, что эта словесность была значительно развита, а съ другой, что изъ этой словесности для насъ не дошло отъ древняго періода почти ничего; и только съ конца XVII вѣка, когда прежнее неблагопріятное отношеніе ко всему не церковному стало нѣсколько ослабѣвать подъ вліяніемъ западныхъ теченій, только въ это время мы встрѣчаемся съ первыми проблесками болѣе свободнаго отношенія къ народной словесности. Въ XVII вѣкѣ любятъ уже не только поучаться изъ книги, но и просто читать книгу, въ книгѣ интересуетъ не только нравоучительная сторона, но и самое содержаніе произведенія. Поэтому книжникъ въ своихъ рукописяхъ, сборникахъ, въ текстахъ, которые онъ пишетъ, старается удовлетворять и этому интересу, и у него появляется интересъ къ устно-народной словесности, которая и близка ему и представляется привлекательной по поэтическому содержанію. Благодаря этому измѣненію взглядовъ читателя и писателя, не безъ вліянія западныхъ и отчасти старыхъ своихъ образцовъ, русскій книжникъ начинаетъ заносить на страницы своихъ сборниковъ повѣствовательныя произведенія народной словесности, которыя онъ ставитъ наравнѣ съ другими, пришедшими изъ чужихъ источниковъ. Такъ, въ одномъ и томъ же сборникѣ вмѣстѣ съ Бовой Королевичемъ и Ерусланомъ Лазаревичемъ, съ тѣми народными сказаніями, которыя восходятъ къ среднимъ вѣкамъ западной Европы (откуда они пришли), онъ записываетъ былину о походѣ Ильи Муромца на Царьградъ. Для него подвиги Ильи Муромца, разсказываемые въ былинѣ, по содержанію и по интересу представляются равноцѣнными съ тѣми, которые онъ вычитываетъ въ пришедшихъ изъ чужихъ странъ разсказахъ о Бовѣ, Ерусланѣ и т. д. Отожествляя въ своемъ созданіи устную пословицу съ переводными изреченіями сборниковъ, содержащихъ житейскую мораль (ср. «Пчелы»), составляетъ онъ сборникъ такихъ посло-

вицъ, ходящихъ въ его время [1]). Такимъ образомъ, только съ тѣхъ поръ, когда произошло ослабленіе односторонняго направленія русской книжности, впервые мы встрѣчаемся съ произведеніями устно-народной словесности въ видѣ записей. Если въ XVII вѣкѣ такіе случаи рѣдки еще, зато мы имѣемъ здѣсь памятникъ устной словесности въ его болѣе или менѣе старинномъ видѣ. Это былъ уже большой шагъ впередъ, но это движеніе въ сторону интереса къ устно-народной словесности продолжается сравнительно недолго, и идетъ довольно медленно. Такое въ общемъ неблагосклонное, отчасти прямо враждебное, отношеніе наиболѣе культурныхъ слоевъ русскаго общества къ устной словесности за всю древнюю эпоху нашей жизни, только что охарактеризованное, естественно, возбуждаетъ вопросъ: какіе результаты для этой словесности имѣли эти отношенія: заставили ли они эту устную словесность, если не цѣликомъ исчезнуть, то сократиться въ своемъ распространеніи, ослабѣть въ своемъ развитіи, или же въ ней оказалось достаточно жизненности, чтобы противостоять этой враждѣ и сохраниться въ достаточной свѣжести до болѣе поздняго и болѣе благопріятнаго времени? На основаніи того, что до сихъ поръ въ этомъ направленіи сдѣлано было изслѣдователями, вопросъ этотъ долженъ быть рѣшаемъ въ пользу устной словесности: если она, какъ можно подозрѣвать, и утратила многое подъ вліяніемъ историческихъ измѣненій самой жизни народа, она всеже не только уцѣлѣла съ значительной полнотою, но въ отдѣльныхъ случаяхъ создала даже новые виды творчества; съ другой стороны, какъ всякое историческое явленіе въ жизни народности, она въ теченіе ряда вѣковъ испытала рядъ внутреннихъ измѣненій, которыя историкъ литературы и старается вскрыть путемъ научнаго анализа сохранившагося матеріала. Объясненіе такой относительной сохранности русской устной поэзіи (она сохранилась гораздо лучше, нежели у другихъ народовъ, особенно западныхъ) лежитъ не столько въ тѣхъ ея особыхъ свойствахъ, которыя отличаютъ ее отъ литературы письменной (имѣю въ виду ея «традиціонность»), сколько въ тѣхъ общекультурныхъ условіяхъ, среди которыхъ протекала ея жизнь въ древне-русскомъ обществѣ. Не вдаваясь въ подробности, можно указать кратко эти условія, какъ это мы сдѣлали выше, говоря объ отношеніяхъ старой книжной литературы и ея носителей къ литературѣ устной. Какъ было уже сказано, борьба и отрицательное отношеніе къ устной словесности носили характеръ въ значительной степени теоретическій, исходя притомъ изъ сравнительно весьма огра-

---

[1]) Ср. П. К. Симони, Старинные сборники русскихъ пословицъ, поговорокъ, загадокъ и проч. Вып. I. Изд. И. А. Н. Спб. 1899.

ниченнаго круга общества (духовенство и притомъ лишь въ болѣе просвѣщенной своей части, немногіе изъ «мірскихъ» людей—высшая аристократія, да и то далеко не вся); ей, этой части общества, доступна была книжная литература (хотя бы понимаемая своеобразно—формалистически), она могла удовлетворяться до нѣкоторой степени этой литературой, находя въ ней свои неширокіе христіанскіе идеалы, остальная же масса неграмотнаго люда, даже малограмотнаго или только грамотнаго, лишена была возможности пользоваться этой книжностью въ достаточной мѣрѣ: или по неумѣнію грамотѣ, или же по недоступности значительной доли содержанія этой литературы; а о просвѣщеніи въ этомъ отношеніи массъ правящіе классы и духовенство заботились очень немного, ограничиваясь преимущественно теоретическимъ указаніемъ на пользу чтенія «святыхъ книгъ» и заботой подготовлять не очень ужъ малограмотное духовенство... Масса жила въ значительной степени еще старыми воззрѣніями, прежними потребностями, которыя удовлетворяла своей старой устной словесностью, внося слабо въ содержаніе ея элементы новаго христіанско-византійскаго міропониманія, при этомъ еще приспособляя ихъ къ привычному старому (такъ слагался, напримѣръ, духовный стихъ, заговоръ): эта словесность была для массы не только своего рода источникомъ знанія, но она должна была служить для нея и источникомъ для удовлетворенія эстетическихъ потребностей, которыхъ не признавала односторонне настроенная средневѣковая аскетическо-христіанская византійская и подражающая ей русская письменность; и не только неграмотная, ниже стоящая по культурѣ масса пользовалась этой словесностью: потребность эстетическая, помимо церковно-аскетической, заставляла искать удовлетворенія и среди высшихъ и среднихъ классовъ въ устной литературѣ: и они, естественно, не могли всю свою психику замкнуть въ суровую норму церковности. Несмотря на упреки въ пристрастіи къ «поганой», еллинской прелести, угрозы и запрещенія, устная словесность живетъ и среди этихъ классовъ: сказочники и пѣсенники ютятся между прочей челядью при дворахъ бояръ и даже царей; свѣтскіе обряды, тѣсно связанные съ устной словесностью (напримѣръ, свадебные), живутъ рядомъ съ церковными даже въ боярскихъ хоромахъ.

Въ результатѣ единственнымъ практическимъ слѣдствіемъ этихъ теоретическихъ усилій противодѣйствовать пристрастію къ устной словесности среди духовенства и правительства (постепенно, кстати сказать, отдѣлявшихся все болѣе и болѣе отъ остальной массы, но въ то же время все болѣе и болѣе подвергавшихся новымъ культурнымъ вѣяніямъ, особенно недуховная часть общества) было только то, что въ центрахъ духовной и государственной власти устная словесность

и сопровождающій ее обрядъ сходятъ постепенно съ поверхности офиціальной общественной жизни, уходя съ видимаго ея горизонта, отливая изъ этихъ верховъ въ низы общественной жизни и изъ центровъ на окраины, куда труднѣе и рѣже проникали взоры и воздѣйствія рачителей благочинія и благочестія; но и этотъ успѣхъ былъ не великъ, и старая устная словесность продолжаетъ жить почти прежней своей жизнью въ медленно мѣняющемся консервативномъ быту не только среднихъ и низшихъ классовъ русскаго общества, гдѣ болѣе, гдѣ менѣе, но всюду пользуясь признаніемъ и свободой. Тутъ она доживаетъ до того XVII вѣка, когда пробиваетъ себѣ узенькую дорожку даже въ книжную литературу, переходитъ и въ XVIII вѣкъ, опускаясь въ слои, наиболѣе консервативные; въ нихъ она доживаетъ, какъ увидимъ, и до конца этого вѣка, а затѣмъ и до нашихъ дней, подвергаясь, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе сильнымъ воздѣйствіямъ уже иного порядка культуры—западно-европейскаго типа и книжной литературы. Но современнаго къ себѣ отношенія устная словесность, выдержавшая свою роль до второй половины XVII вѣка, добилась далеко не сразу.

XVIII вѣкъ русской литературы и устная словесность. Большія наступившія въ XVIII вѣкѣ измѣненія въ общемъ ходѣ русской жизни и литературы, именно, выходъ русской литературы на путь непосредственнаго общенія съ Европой послѣ Петровскаго времени, опять отразились невыгодно на отношеніяхъ образованныхъ литературно классовъ общества къ устно-народной литературѣ. Масса новыхъ понятій, внесенныхъ въ литературу въ XVIII вѣкѣ, новая эстетика, новые литературно-художественные вкусы, прививавшіеся, главнымъ образомъ, черезъ такъ называемую французскую «классическую» литературу, въ силу международнаго и аристократическаго характера послѣдней, не могли не способствовать пониженію интереса высшихъ классовъ, дѣятелей литературы, къ устно-народной словесности. Въ XVIII вѣкѣ все, что̀ касается не только низшихъ классовъ русскаго общества, но и то, что̀ касается старой Руси XVII-го и предшествующихъ вѣковъ, все это не получаетъ признанія въ глазахъ передового человѣка, носителя литературы XVIII вѣка. Онъ старается въ своемъ аристократизмѣ возможно дальше отдѣлить себя, культурнаго (хотя по внѣшности) европейца, отъ того, что̀ связываетъ его съ остальной массой, живущей еще старымъ преданіемъ, онъ старается всячески отдѣлаться, онъ открещивается отъ того, что̀ связываетъ его съ XVI, съ XVII и другими вѣками: все это называетъ «подлымъ», недостойнымъ того, чтобы войти въ русскую литературу, которая рисуется ему въ формахъ современной западно-европейской. Самый способъ выраженія характеризуетъ настроеніе считающаго себя передовымъ человѣка XVIII вѣка; когда

ему приходится говорить о низшихъ классахъ и ихъ духовномъ достояніи, самый языкъ этихъ людей называетъ онъ низкимъ, а иногда прямо называетъ языкомъ «подлой черни». Разумѣется, при такомъ отношеніи въ передовыхъ классахъ общества интереса къ народной словесности мы ожидать не можемъ. Только къ концу XVIII вѣка (точнѣе—съ 70-хъ его годовъ) мы встрѣчаемся съ измѣненіемъ положенія устной словесности къ лучшему; новыя потребности жизни, поиски новыхъ темъ, которыя бы замѣнили чужія, привозимыя изъ западной Европы, уже ставшія надоѣдать, безсознательное пока чувство своей національности, обратили русскаго «европейца» къ окружающей его жизни, къ ея прошлому. Тогда, дѣйствительно, мы видимъ пробужденіе интересовъ и къ своей народности, къ своему прошлому и вмѣстѣ съ тѣмъ пробужденіе интереса къ тому, въ чемъ выражается эта народность, въ чемъ выражается это народное прошлое. Въ 70-хъ годахъ XVIII столѣтія развивается въ Россіи, какъ извѣстно, сатирическая литература. Въ этой сатирической литературѣ проводятся не только идеи просвѣщенія, шедшія съ Запада, но подвергается критикѣ и то, что къ намъ приходитъ съ того же Запада и такъ внѣшне, довѣрчиво, хотя и не всегда умѣло, нами воспринимается. Въ 80-хъ годахъ эта сатирическая литература вырабатывается въ опредѣленное направленіе. Она борется съ той односторонностью, которую внесло къ намъ западное просвѣщеніе. Французская литература, французскіе нравы подвергаются уже извѣстнаго рода отрицанію, осмѣянію, какъ мало идущіе или мало пригодные для русскаго человѣка, особенно въ томъ ихъ отраженіи, которое давало типы «петиметра», «щеголихи», фонъ-визинскихъ Иванушекъ и т. п. А это, несомнѣнно, толкало къ противоположенію своего и чужого, народнаго и международнаго. И вотъ Новиковъ и рядъ другихъ его современниковъ постепенно переходятъ даже къ идеализаціи старины, къ рекомендованію этой старины, какъ положительнаго, хорошаго, въ противовѣсъ тому чужому, которое ничего не ведетъ за собою, кромѣ пустоты, растлѣнія нравовъ и т. д. Стало быть, къ концу XVIII вѣка у насъ должно было зарождаться другое отношеніе и къ матеріаламъ устно-народной словесности, какъ выразительницѣ нашей русской физіономіи. Въ 70-хъ годахъ появляется у насъ и первый сборникъ произведеній устно-народной словесности, который теперь уже печатается съ совершенно опредѣленной цѣлью—познакомить со старымъ русскимъ прошлымъ, съ тѣмъ, чтобы этимъ матеріаломъ замѣнить пришлый чужой, надоѣвшій балластъ. Это было изданное Чулковымъ собраніе народныхъ пѣсенъ (1-е изд. 1770 г. въ 4-хъ книжкахъ) [1].

---

[1]) Перепечатка П. К. Симони: М. Чулковъ. Сочиненія, т. I. Собраніе разныхъ пѣсенъ. Спб. 1913; сюда вошла только первая половина чулковскаго пѣсенника.

Но, конечно, это не есть еще настоящее научное отношеніе къ устно-народной словесности. На устно-народную словесность такіе собиратели пѣсенъ, какъ Чулковъ и Новиковъ, сказокъ—Елагинъ, всѣ смотрятъ, какъ на интересный, здоровый, свѣжій матеріалъ, который удобно будетъ имъ пустить въ ходъ, именно, въ противовѣсъ тому, противъ чего они борются. Поэтому отношеніе ихъ къ памятникамъ народной словесности своеобразно. Идеализируя эту народную словесность, они позволяютъ себѣ довольно свободное къ ней отношеніе. Чулковъ, если онъ довольно точно передаетъ текстъ пѣсенъ, то въ то же время, записывая сказки, онъ излагаетъ ихъ своими словами, изъ нѣсколькихъ сказокъ комбинируетъ новую, которая еще болѣе представляется интересной по своей сложной фабулѣ, приключеніямъ, нежели простой разсказъ, какимъ онъ его нашелъ въ обиходѣ простого народа; таковъ, напримѣръ, его «Пересмѣшникъ», или «Славенскія сказки» (5 частей. Спб. 1783—1785). И. Богдановичъ (авторъ извѣстной «Душеньки»), который собираетъ русскія пословицы, сопоставляетъ ихъ съ изреченіями французскихъ писателей, старается придать имъ «приличный» видъ и содержаніе, снабжая ихъ искусственной риѳмой, удаляетъ все, что̀ кажется ему шокирующимъ изысканный вкусъ придворнаго человѣка, воспитаннаго на французской галантной литературѣ. Значитъ, если интересъ къ устной словесности проявился, если памятники начинаютъ собираться, то во всякомъ случаѣ они доходятъ до насъ далеко не въ первоначальномъ своемъ видѣ, а это еще болѣе осложняетъ работу современнаго намъ изслѣдователя: онъ долженъ имѣть матеріалъ въ подлинномъ его видѣ, а потому, не имѣя этого матеріала въ старыхъ неточныхъ записяхъ, долженъ прежде, чѣмъ воспользоваться этимъ матеріаломъ, критически очистить его отъ налета моды и эстетики XVIII вѣка.

XIX вѣкъ и устная словесность. Кирша Даниловъ. Но дѣло со временемъ идетъ къ лучшему. Начало XIX вѣка отмѣчено особеннымъ подъемомъ въ изученіи русскаго прошлаго. Это—время начала изученій древне-русской исторіи, древне-русской литературы, собиранія памятниковъ этой литературы. Параллельно съ этимъ растетъ интересъ—и на этотъ разъ уже научный интересъ—и къ произведеніямъ устно-народной словесности. Въ половинѣ XVIII вѣка намъ неизвѣстный человѣкъ записалъ рядъ былинъ, гдѣ-то въ Пріуральи или, можетъ быть, въ западной Сибири. Этотъ собиратель называетъ себя Киршей Даниловымъ; его сборникъ былинъ и пѣсенъ попалъ въ руки тогдашняго мецената и чудака Демидова и благодаря этому сохранился. Этотъ сборникъ въ 1804 году удостаивается отчасти уже изданія его тогдашнимъ владѣльцемъ Ключаревымъ, которому онъ достался отъ

Демидова; Ключаревъ и его сотрудникъ Якубовичъ подъ вліяніемъ разбившагося уже интереса къ народности рѣшили доставить публикѣ удовольствіе и преподнести оригинальныя «древнія стихотворенія». Правда, они еще не увѣрены (судя по предисловію) въ успѣхѣ изданія, но всеже разсчитываютъ угодить любителямъ древностей. Прежде, чѣмъ рѣшиться издать свой сборникъ, Ключаревъ посовѣтовался съ компетентнымъ человѣкомъ, именно, съ Н. М. Карамзинымъ, спрашивая его, не рискованно ли издать подобный сборникъ. Карамзинъ одобрилъ издателей, и въ 1804 г. вышли «Древнія русскія стихотворенія». Выпуская свой сборникъ, издатели все-таки не могутъ отказаться отъ старой привычки, отъ боязни оскорбить вкусъ простонародной рѣчью, многое выпускаютъ, кое-что перемѣняютъ. Но какъ бы то ни было, они своимъ изданіемъ совершаютъ важное дѣло, идя навстрѣчу нарождающейся потребности. Характерно то, что они еще не отличаютъ ясно издаваемыхъ ими устныхъ произведеній отъ стихотвореній современныхъ поэтовъ, сравниваютъ ихъ съ современной литературой, выбравъ изъ 70 слишкомъ былинъ и пѣсенъ, которыя помѣщены въ сборникѣ Кирши Данилова, только 26, какъ достойныхъ печати [1]). Въ 1818 году Калайдовичъ (одинъ изъ ученыхъ сотрудниковъ графа Н. П. Румянцева) выпускаетъ новое изданіе сборника Кирши Данилова, хотя также не полное, но на этотъ разъ уже совершенно научное: это—«Древнія россійскія стихотворенія» (М. 1818). Поэтому съ 1818 года, со сборника Кирши Данилова въ изданіи Калайдовича и слѣдуетъ вести начало изученія устно-народной словесности, какъ таковой. Правда, что и Калайдовичъ далеко не былъ свободенъ отъ той щепетильности, которую въ такой мѣрѣ проявили Якубовичъ съ Ключаревымъ. Правда, съ другой стороны, и то, что въ рукописномъ сборникѣ Кирши Данилова есть много такихъ произведеній, которыя, вѣроятно, никогда не увидятъ печати въ силу своего неприличнаго содержанія. Но важно уже то, что Калайдовичъ постарался извлечь изъ этого сборника возможно большее количество того, что̀ доступно для современнаго ему читателя и изслѣдователя. Если онъ не рѣшился, напримѣръ, напечатать такую вещь, какъ стихъ о Голубиной книгѣ, въ виду «грубаго смѣшенія въ ней христіанскаго и языческаго», по его взгляду, то всеже въ сборникъ Калайдовича вошло много новаго, не нашедшаго мѣста въ изданіи 1804 года. Самое же важное для насъ—въ данномъ случаѣ—то предисловіе, которое счелъ нужнымъ Калайдовичъ предпослать своему сборнику: онъ въ немъ старается указать на основаніи

[1]) Подробности объ этомъ изданіи см. въ моей замѣткѣ „Къ исторіи сборника пѣсенъ Кирши Данилова“ (Русск. Филол. Вѣстн. 1912 г.).

анализа содержанія на научную цѣнность тѣхъ произведеній народной словесности, которыя онъ печатаетъ. Прежде всего онъ указываетъ на то, что эти произведенія, несомнѣнно, восходятъ къ древнему времени, судя по тѣмъ лицамъ, которыя тамъ упоминаются (Владиміръ, Добрыня, Алеша Поповичъ). Онъ уже чувствуетъ, что въ этихъ произведеніяхъ литературы устно-народной, хотя они и упоминаютъ имена Владиміра и др., эти имена дошли только путемъ памяти. «Авторомъ, или точнѣе собирателемъ» этихъ произведеній онъ считаетъ Киршу Данилова, имя котораго стояло въ рукописи. Далѣе онъ старается опредѣлить, какимъ образомъ составились эти стихотворенія, старается опредѣлить время жизни воображаемаго автора Кирши Данилова: считаетъ онъ его жившимъ въ началѣ XVIII вѣка, казакомъ по происхожденію, жившимъ когда-то въ Кіевѣ. Затѣмъ указываетъ, что Кирша Даниловъ былъ простой человѣкъ, необразованный, «сочинялъ» для простого же народа, характеризуетъ его стиль, отчасти какъ бы извиняя этимъ необычность, грубость его выраженій (съ точки зрѣнія, конечно, образованныхъ людей начала XIX вѣка). Но въ то же время Калайдовичъ ясно подчеркиваетъ важность и интересъ изученія «твореній» этого Кирши: они имѣютъ историческую, хотя и затемненную, основу, содержатъ крупицы древняго преданія различнаго времени. Такимъ образомъ первымъ научнымъ изданіемъ памятниковъ народной словесности Калайдовичъ установилъ уже опредѣленную точку зрѣнія на народную поэзію: во-первыхъ, на личность автора и, во-вторыхъ, на сравнительно недавнее происхожденіе по формѣ, независимо отъ содержанія, тѣхъ произведеній, которыя вошли въ сборникъ Кирши Данилова. Но, во всякомъ случаѣ, это—первыя изъ произведеній устно-народной словесности, ставшія предметомъ научной разработки; поэтому съ этого времени намъ и придется говорить о томъ, какъ постепенно наросталъ научный интересъ къ изученію народной словесности, какіе вопросы при этомъ поднимались. И это, конечно, прежде всего составитъ рядъ тѣхъ вопросовъ, которыхъ намъ придется касаться въ дальнѣйшемъ ознакомленіи съ исторіей устной словесности. Остановимся же на главныхъ моментахъ исторіи изученія этой словесности.

Двадцатые и тридцатые годы XIX ст. и отношенія къ устной словесности. Вскорѣ послѣ Калайдовича начинается уже непосредственный интересъ къ народной словесности. Этотъ интересъ можетъ считаться уже установившимся въ концѣ 20-хъ и въ началѣ 30-хъ годовъ. Во главѣ этого движенія стоятъ тѣ лица, которыя и въ другихъ областяхъ литературы примкнули къ одному опредѣленному направленію—изученію русской народности, выясненію ея основъ. Такимъ обра-

зомъ тѣ зачатки интереса къ народности, которые были замѣчены въ концѣ XVIII вѣка, не погибли. Условія русской жизни, въ частности событія, предшествовавшія двѣнадцатому году, событія самого двѣнадцаго года и ближайшихъ годовъ, несомнѣнно, поддерживали, съ одной стороны, традиціонный офиціальный патріотизмъ (такъ называемый «квасной» патріотизмъ), съ другой стороны—искренній интересъ къ своей народности, стремленіе такъ или иначе опредѣлить свою народность. И первыя лица, которыя такъ или иначе старались опредѣлить свою народность, за матеріаломъ для изученія этой народности обратились прежде всего къ устно-народной словесности. Почему именно они старались изучить устно-народную словесность, почему они въ ней видѣли главный источникъ для ознакомленія съ народностью, это ясно станетъ изъ обзора общихъ теченій нашей жизни. Съ одной стороны, здѣсь играетъ видную роль та идеализація старины, то противоположеніе, которое прежде дѣлали между старымъ и новымъ: все старое—доброе и, наоборотъ, новое считали сомнительнымъ. Но, съ другой стороны, замѣтное вліяніе оказали и тѣ западно-европейскія теченія, которыя въ значительной степени опредѣлили и нашъ интересъ къ устно-народной словесности (я имѣю въ виду тѣ романтическія вѣянія, которыя натолкнули и нашихъ изслѣдователей на изученіе устно-народной литературы). Это была своего рода идеализація простого народа, какъ носителя исконныхъ чертъ національности. Изученіе народной жизни, народной среды и главнымъ образомъ ея литературы и является естественнымъ путемъ для изученія народности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, подвигалось впередъ и изученіе устной литературы. Во главѣ этого движенія въ 20—30-хъ гг. прошлаго столѣтія стоитъ кружокъ братьевъ Кирѣевскихъ и будущихъ славянофиловъ-романтиковъ, которые внесли въ обиходъ нашей литературы и ея исторіи много новаго въ смыслѣ матеріала и его освѣщенія; прежде всего они способствовали выдѣленію исторіи устной словесности, какъ отдѣльной научной области въ исторіи русской литературы.

Теперь намъ и предстоитъ прослѣдить (разумѣется, въ общихъ чертахъ), какимъ образомъ нарождалась эта спеціальная область изученія устно-народной словесности, и какимъ обще-научнымъ направленіямъ она слѣдовала и къ какого рода результатамъ пришла до настоящаго времени. Этотъ обзоръ будетъ имѣть для насъ двоякое значеніе, именно: съ одной стороны, мы познакомимся съ исторіей той отрасли изученія русской литературы, которая является предметомъ нашего курса; а, съ другой стороны, въ этомъ обзорѣ мы можемъ по крайней мѣрѣ, въ общихъ чертахъ, получить указанія на тѣ главнѣйшіе труды и изданія, съ которыми приходится имѣть до сихъ поръ

дѣло историку устно-народной литературы. Знакомство съ ними необходимо, наконецъ, и для того, кто пожелаетъ подробнѣе, спеціальнѣе изучить исторію русско-народной словесности.

Итакъ, къ концу второго десятилѣтія XIX вѣка мы встрѣчаемся съ инымъ совершенно отношеніемъ къ устно-народной словесности, нежели раньше. Прежнее пренебрежительное къ ней отношеніе или отношеніе, хотя и положительное, но поверхностное, одностороннее, когда на нее смотрѣли, только какъ на любопытный сюжетъ для произведеній другого рода и противовѣсъ увлеченіямъ чужимъ бытомъ (какъ было въ XVIII вѣкѣ), смѣняется непосредственнымъ интересомъ къ ней, какъ опредѣленной области творчества, и притомъ интересомъ до извѣстной степени научнымъ и желаніемъ опредѣлить на основаніи данныхъ устной словесности, что̀ такое народность, какое значеніе словесность имѣетъ для всей русской литературы, почему ею могутъ и должны интересоваться русскіе люди? Такого рода измѣненіе отношеній къ устной словесности стоитъ въ зависимости отъ тѣхъ общихъ теченій русской мысли, съ которыми мы имѣемъ дѣло какъ разъ въ началѣ XIX столѣтія. Начало XIX столѣтія отмѣчено въ исторіи русской мысли, въ частности нашей общественной мысли, особеннымъ развитіемъ интереса къ самоопредѣленію, къ опредѣленію особенныхъ индивидуальныхъ свойствъ русскаго народа, русскаго общества, русскаго человѣка, какъ таковаго, въ отличіе отъ другихъ, нерусскихъ народовъ, иначе говоря: вопросъ о народности въ то время очень заинтересовываетъ русское общество. Причины этого интереса, подъема самосознанія были различны. Перечислять подробно ихъ нѣтъ нужды [1]), укажу только на такого рода фактъ, какъ развитіе патріотическаго теченія въ связи, напримѣръ, съ событіями 12 года, съ рядомъ реформъ, которыя предприняты были въ началѣ царствованія Александра I, и т. д. Естественно, что у общества былъ поводъ, хотя бы внѣшній, интересоваться своею народностью, и выраженіемъ этой народности въ это время уже считаютъ именно устную словесность низшихъ классовъ, ихъ бытъ и міросозерцаніе. Что именно натолкнулись на изученіе народной словесности, какъ матеріалъ для самоопредѣленія, для уясненія характера своей народности, это становится вполнѣ понятнымъ, потому что для всѣхъ было ясно, что та культура, которой питались до сихъ поръ высшіе классы общества, которая была принесена изчужа, отъ другихъ народовъ, такъ ма̀ло походила на жизнь, которую вели средніе и низшіе классы, которые, однако, составляютъ большинство населенія Россіи. Такимъ образомъ, возбужденіе націо-

[1]) Подробности излагаются въ исторіи новой и новѣйшей русской литературы; въ общихъ сочиненіяхъ по исторіи русской культуры (Милюкова, Иванова-Разумника и др.).

нальнаго интереса послужило толчкомъ къ изученію устной словесности. Притомъ, еще въ XVIII вѣкѣ эта устная словесность, поскольку она входила въ обиходъ писателей другого направленія, но уже затронутыхъ націоналистическими стремленіями,—эта устная словесность начинаетъ противопологаться и не только западной, считаться по преимуществу національной, но она, какъ кажущаяся отжившей, рисуется нѣсколько антикварно, т.-е., на устную словесность смотрятъ, какъ на сохраненный вѣками остатокъ прежняго быта, который достоинъ изученія; народно-устная словесность даетъ объ этомъ бытѣ свѣдѣнія бóльшія, по крайней мѣрѣ, такія же, какъ и старинная письменность, которую теперь также изучаютъ, чаще же собираютъ, иногда ученые, чаще любители-антиквары (напримѣръ, Мусинъ-Пушкинъ). Стало быть, основные пункты воззрѣній на устно-народную словесность въ началѣ XIX вѣка таковы: признаніе въ ней народности, т.-е. характерность ея для русскаго народа въ отличіе отъ другихъ народовъ—нерусскихъ, и затѣмъ признаніе за нею характера старины, которая въ низшихъ классахъ русскаго общества, менѣе затронутыхъ въ прошломъ западной культурой, сохранилась въ своей большей чистотѣ и неприкосновенности до того времени, въ которое живетъ самъ изслѣдователь. Эти двѣ точки зрѣнія проходятъ красной полосой во всей исторіи изученія устно-народной словесности, сохраняются въ значительной степени и до сихъ поръ въ сознаніи большинства въ нашемъ обществѣ. Интересующійся народно-устной словесностью человѣкъ смотритъ на нее, какъ на національное достояніе, а, съ другой стороны, смотритъ, какъ на старину, какъ на то, чтò въ былое время было общераспространеннымъ, а теперь отходитъ на задній планъ или совершенно исчезаетъ подъ вліяніемъ иноземной, общеевропейской культуры. Такого рода воззрѣніе, несомнѣнно, получаетъ свое объясненіе не только изъ тѣхъ теченій національнаго характера, о которыхъ я говорилъ, но и изъ тѣхъ литературныхъ направленій, съ которыми намъ приходится имѣть дѣло; а эти литературныя направленія будутъ опять-таки происхожденія не русскаго: это—иноземныя направленія, которыя приходили въ нашу литературу съ Запада же и служили поводомъ къ возбужденію интереса и къ изученію нашей устно-народной словесности.

Главнымъ изъ такихъ теченій было такъ называемое романтическое. Подъ вліяніемъ европейскихъ событій, главнымъ образомъ, наполеоновскихъ войнъ, начинается въ западной Европѣ среди народовъ, испытывавшихъ на себѣ давно вліяніе французской культуры, реакція противъ иноземнаго (собственно—французскаго) культурнаго, соединеннаго съ политическимъ, гнета. Начало этому движенію положено было въ Германіи, и тамъ, прежде всего, оно отмѣчено борьбой противъ тѣхъ

условностей и стѣснительныхъ правилъ, которыя представляли до сихъ поръ характерную черту въ литературѣ французской, претендовавшей на роль общечеловѣческой и единственной истинной истолковательницы литературы классической. Этотъ гнетъ чувствуется во всѣхъ литературахъ, испытывавшихъ на себѣ вліяніе французской. Сюда присоединяется и тяжесть французскаго господства въ общественной и государственной жизни, рѣзко обезличивавшей въ угоду государственной идеѣ, особенно со времени Наполеона, національное самосознаніе. Борясь противъ этой условности, нѣмецкіе изслѣдователи, поэты обращаются къ своей народной родной старинѣ, къ своей національности, ища въ ней противовѣса, противоположенія этому тяжелому господству чужого, иноземнаго. Это—теченіе въ основѣ романтическое, идеализирующее старину, обращающее на нее особенное вниманіе и, съ другой стороны, подчеркивающее въ этой старинѣ національность. Это движеніе—одна сторона романтизма — отразилось и у насъ. Если у насъ были свои поводы (о нихъ рѣчь была выше) заинтересоваться вопросами національными, то романтическое народническое теченіе несомнѣнно въ значительной степени ускорило и усилило у насъ процессъ этотъ изученія устно-народной словесности въ смыслѣ матеріала для уясненія нашего самосознанія. Дѣйствительно, подъ этимъ двойнымъ вліяніемъ начинается у насъ усердное ознакомленіе съ устно-народной словесностью. Но прежде чѣмъ начать это изученіе, прежде, чѣмъ на основаніи данныхъ народной словесности приходить къ выводу о томъ, что такое русская народность, каковы ея основныя свойства, разумѣется, надо было имѣть матеріалъ для подобнаго рода заключеній. Но этого матеріала, какъ мы уже видѣли, до того времени почти не было: за исключеніемъ упомянутаго уже Кирши Данилова, предшествовавшая печатная литература интересовалась народно-устной словесностью мало, а если интересовалась, то по-своему, для своихъ цѣлей, либо вовсе съ нею не считалась. И произошло, конечно, то, что происходитъ всегда, когда зарождается либо новая наука, либо новая отрасль науки: изслѣдованію предшествуетъ собираніе, отборъ матеріала и одновременно съ этимъ собираніемъ дѣлаются первыя попытки, правда, можетъ быть, и несовершенныя, для оцѣнки въ опредѣленномъ направленіи этого неполнаго еще матеріала. Такъ было и съ изученіемъ устно-народной словесности. Одни усердно собираютъ матеріалъ и подчасъ и ограничиваются только этимъ, потому что матеріалъ оказался гораздо больше, собирать его оказалось гораздо труднѣе, нежели это представлялось на первый взглядъ. Другіе пробуютъ этотъ матеріалъ обобщать, группировать и стараются изъ него, при помощи тѣхъ теорій, которыя были даны съ Запада, извлекать данныя

для рѣшеній основного вопроса—о народности. Въ самомъ дѣлѣ, въ концѣ 20-хъ годовъ мы въ русскомъ обществѣ замѣчаемъ во многихъ мѣстахъ, въ частности—въ Москвѣ, особенное стремленіе къ собиранію памятниковъ устной словесности, получающей теперь названіе «народной», уцѣлѣвшее до сихъ поръ. Во главѣ этого движенія стоять два видныхъ дѣятеля и въ общественномъ смыслѣ: это были братья Кирѣевскіе: Петръ Васильевичъ и Иванъ Васильевичъ. П. В. Кирѣевскій всю свою жизнь (правда, недолгую—онъ 56 лѣтъ умеръ), начиная съ конца 20-хъ годовъ, посвящаетъ собиранію устнаго «народнаго» матеріала. Въ этомъ устно-народномъ матеріалѣ ему приходится ограничиться одной областью: онъ не можетъ собирать всего устно-народнаго матеріала и долженъ сосредоточиться на собираніи только поэтическаго художественнаго и, въ частности, преимущественно пѣсеннаго матеріала. П. В. Кирѣевскій, начиная съ конца 20-хъ годовъ, становится тѣмъ центромъ, куда стекаются матеріалы, собираемые любителями, членами московскаго кружка любителей народности и старины. Въ числѣ нихъ мы видимъ и Погодина, Шевырева, профессоровъ университета, представителей патріотическаго направленія въ исторіи русской мысли; видимъ и С. Т. Аксакова, воспитаннаго на традиціяхъ XVIII в., автора «Дѣтскихъ годовъ Багрова внука», и его сыновей—Константина и Ивана Аксаковыхъ, будущихъ славянофиловъ, видимъ и цѣлый рядъ другихъ ученыхъ, напримѣръ, Максимовича, тогда профессора ботаники московскаго университета и въ то же время усерднѣйшаго собирателя памятниковъ малорусской народной словесности, позднѣе, крупнаго представителя въ области малорусской этнографіи и исторіи, поэта Языкова съ его родней, самого Пушкина и др.

Матеріалъ съ первыхъ же поръ оказался такъ великъ, что Кирѣевскій долженъ былъ ограничиться только собираніемъ и нетороплпвымъ подготовленіемъ собраннаго къ изданію. По тѣмъ бумагамъ Кирѣевскаго, которыя сохранились до настоящаго времени и отчасти только были изданы, мы знаемъ, что приблизительно къ концу 30-хъ годовъ въ распоряженіи Кирѣевскаго было болѣе 15 тысячъ однѣхъ пѣсенъ. Среди этихъ пѣсенъ встрѣчались пѣсни всевозможныя: тутъ были, такъ наз. былины (или старины), были пѣсни лирическія, были пѣсни обрядовыя, любовныя, бытовыя, игровыя, духовныя и т. д. Но этотъ матеріалъ увидѣлъ свѣтъ только гораздо позднѣе, лишь въ 60-хъ годахъ. При жизни Кирѣевскому удалось напечатать очень немного. Съ большими затрудненіями въ 1848 году Кирѣевскій выпустилъ незначительную часть своихъ духовныхъ стиховъ (всего 55 номеровъ изъ нѣсколькихъ сотъ), но зато съ замѣчательнымъ предисловіемъ, показывающимъ тогдашніе взгляды на значеніе устной поэзіи для ея поклонниковъ.

Офиціальная народность. Причина этой медлительности изданія матеріаловъ заключалась въ тогдашнихъ условіяхъ русской общественной жизни: само правительство, если поощряло идею національности, то по извѣстной формулѣ, выработанной гр. Уваровымъ, тогдашнимъ реакціоннымъ министромъ народнаго просвѣщенія (Уваровъ въ своей канцеляріи очень просто опредѣлилъ, что такое русская народность: это православіе и самодержавіе, которыя, будучи сложены вмѣстѣ и даютъ народность; это—такъ назывваемая «офиціальная» народность). Эта «офиціальная» народность, кажется, должна была бы поощрять и изданіе памятниковъ народной словесности. Но правительство допускало и эту словесность, ея изданіе и изученіе, лишь постольку, поскольку они соотвѣтствовали реакціонному режиму, общаго ничего съ настоящей идеей народности, какъ таковой, не имѣвшему: 30—40 гг. были временемъ самой глубокой, тяжелой реакціи въ русскомъ обществѣ, и поэтому, офиціально покровительствуя русской народной словесности, правительство не находило для себя возможнымъ покровительствовать самому содержанію этой народности, которое плохо мирилось съ тѣмъ, что̀ бюрократія понимала и что̀ желала видѣть въ этой народности и ея выраженіи—словесности. Въ духовныхъ стихахъ увидѣли не то, что̀ чиновники подразумѣвали подъ православіемъ, самодержавіемъ и народностью; это было суевѣріе, искаженіе православія. Поэтому Кирѣевскому пришлось около 10 лѣтъ хлопотать, обращаться къ протекціи, пока удалось добиться разрѣшенія на изданіе незначительнаго числа стиховъ своего собранія, сдѣлавши строгій выборъ того, что не возбуждало подозрѣній цензуры. Стихи, какъ трактующіе о религіозныхъ предметахъ, подлежали и духовной цензурѣ, а кромѣ того, и министерства народнаго просвѣщенія, вѣдавшаго цензуру гражданскую, и цензурѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, какъ вѣдавшей все, что касалось жизни русскаго общества. Поэтому, конечно, это изданіе, если и имѣло большое значеніе въ смыслѣ попытки научно издать подлинные матеріалы, то, разумѣется, при томъ громадномъ запасѣ матеріала, которымъ обладалъ одинъ Кирѣевскій, помимо другихъ собирателей, это было явленіе сравнительно не крупное: какіе нибудь 50—60 духовныхъ стиховъ изъ тѣхъ 15 тысячъ пѣсенъ, которыми обладалъ одинъ Кирѣевскій. Такое тяжелое положеніе литературы и общества продолжалось до конца 50-хъ гг. За этотъ періодъ и изученіе, точнѣе изданіе новыхъ матеріаловъ по устно-народной словесности не могло быть особенно обильнымъ; собранные въ это время богатые матеріалы по народной словесности, напр., Словарь, пословицы В. И. Даля, сказки, собр. Аѳанасьевымъ, могли увидѣть свѣтъ только много позднѣе.

Новыя вѣянія и устная словесность. Но вотъ наступаетъ эпоха Александра II. Реакція падаетъ, начинается эпоха, сравнительно либеральная, эпоха подготовки и самыхъ реформъ; это время благопріятно отзывается и на изученіи устно-народной словесности, а также на собираніи и изданіи ея матеріаловъ. Какъ разъ въ это же время—въ концѣ 50 гг.—рѣшаются издавать матеріалы, собранные П. В. Кирѣевскимъ. Беретъ на себя здѣсь роль издателя одно изъ старѣйшихъ русскихъ литературныхъ обществъ—Общество любителей россійской словесности при московскомъ университетѣ, во главѣ котораго стоитъ А. С. Хомяковъ, славянофилъ, народникъ. Въ 60-хъ годахъ и начинаютъ выходить томъ за томомъ матеріалы Кирѣевскаго. Сюда входятъ, прежде всего, такъ называемые «Калики перехожіе» (1861—63). Подъ именемъ «каликъ перехожихъ» подразумѣваются тѣ странствующіе нищіе пѣвцы, которые распѣваютъ по деревнямъ, около церквей, на праздникахъ духовные (религіозные) стихи; эти стихи въ большомъ количествѣ теперь и издаются: сюда, помимо собранныхъ П. В. Кирѣевскимъ, вошли стихи и другихъ собирателей; ихъ составилось цѣлыхъ шесть выпусковъ, и до настоящаго времени они являются главнымъ источникомъ для ознакомленія съ этого рода устно-народной поэзіей главнымъ образомъ въ предѣлахъ великорусскаго племени. «Калики перехожіе» вышли подъ редакціей Петра Безсонова, одного изъ членовъ Общества; это было, несомнѣнно, одно изъ крупнѣйшихъ явленій въ области изданія матеріаловъ устно-народной словесности. Вошедшіе сюда стихи восходятъ главнымъ образомъ къ записямъ собирателей прямо изъ устъ народныхъ пѣвцовъ; но здѣсь же помѣщены и старинныя записи, извлеченныя изъ тетрадокъ и сборниковъ XVIII-го (рѣдко XVII-го) и нач. XIX в.; для сравненія приводятся духовные стихи иныхъ славянскихъ народностей (сербовъ, болгаръ, поляковъ); весь матеріалъ систематизированъ по содержанію (годовому кругу церковному, по отдѣльнымъ именамъ святыхъ и т. д.). Отдѣльные выпуски снабжены подчасъ обширными предисловіями редактора П. А. Безсонова; но предисловія эти, излагающія воззрѣнія и якобы научные выводы Безсонова, прямолинейнаго, мало подготовленнаго научно народника, теперь значенія не имѣютъ, какъ не научныя [1]); нѣкоторую цѣнность въ этомъ изданіи представляется напечатанное П. А. Безсоновымъ письмо извѣстнаго В. Ѳ. Одоевскаго: оно содержитъ первую попытку разобраться научно въ музыкальной сторонѣ духовнаго стиха. Но этимъ изданіемъ дѣло не ограничи-

---

[1]) Ихъ научная несостоятельность доказана Н. С. Тихонравовымъ въ его въ высшей степени цѣнной рецензіи на это изданіе П. А. Безсонова (см. Сочиненія, томъ I, 324 и сл.).

вается въ Общ. люб. рос. словесности. Тотъ же самый П. Безсоновъ издаетъ здѣсь же дальше рядъ томовъ: это были «Пѣсни, собранныя П. Кирѣевскимъ»; ихъ вышло цѣлыхъ 10 томовъ (1868—1874). Здѣсь собраны былины (первые 4 тома преимущественно по записямъ въ Архангельскомъ краѣ, отчасти въ Поволжьѣ) и главнымъ образомъ историческія пѣсни, т.-е. такія, гдѣ упоминаются событія и лица русскаго прошлаго, начиная съ эпохи татарщины и кончая началомъ XIX вѣка. Послѣдній томъ пѣсенъ посвященъ событіямъ наполеоновскихъ войнъ, главнымъ образомъ, войнѣ 12 года. Такимъ образомъ и это собраніе должно было представить богатый матеріалъ для изученія народнаго самосознанія, поскольку въ немъ отразились историческія воззрѣнія массъ. Значеніе этого сборника не упало и до настоящаго времени. Но матеріаломъ, здѣсь собраннымъ, приходится пользоваться довольно осторожно; онъ въ значительной мѣрѣ подобранъ примѣнительно къ схемѣ редактора (Безсоновъ), не отличающейся строгой научностью и излагаемой имъ въ многословныхъ одностороннихъ комментаріяхъ, научной цѣнности теперь уже не имѣющихъ, какъ и его предисловія къ «Каликамъ». Тотъ же Безсоновъ издаетъ въ 1871 году такъ называемыя «Бѣлорусскія пѣсни», опять-таки по матеріаламъ, собраннымъ Кирѣевскимъ. Такимъ образомъ, труды Кирѣевскаго, его собраніе, начиная съ 30-хъ гг., являются крупнымъ источникомъ для изученія народной словесности; поэтому, несмотря на то, что Кирѣевскій самъ почти ничего не издалъ по изученію словесности, мы оцѣниваемъ очень высоко значеніе Кирѣевскаго, какъ собирателя. Но надо сказать, что и труды Безсонова не исчерпываютъ всего, что было собрано П. Кирѣевскимъ. Не дальше, какъ въ 1911 г. то же самое Общество любителей россійской словесности, обратившись къ бумагамъ и матеріаламъ Кирѣевскаго [2]), нашло возможнымъ издать еще большой томъ бытовыхъ (главнымъ образомъ свадебныхъ) пѣсенъ: это—такъ называемая «Новая серія» пѣсенъ, собранныхъ П. В. Кирѣевскимъ (М. 1911). И до настоящаго времени въ бумагахъ Кирѣевскаго еще много неизданнаго матеріала, и этотъ матеріалъ готовится къ изданію тѣмъ же Обществомъ и составитъ, вѣроятно, еще одинъ или два такихъ же большихъ тома. Исторія уже одного собранія П. В. Кирѣевскаго показываетъ, какое богатство сразу открылось собирателямъ, какъ только они приступили къ собиранію матеріала народнаго творчества. Но, разумѣется, Кирѣевскій не былъ единственнымъ представителемъ собиранія народно-устной литературы: правда, онъ былъ въ 30 и 40 гг. минувшаго столѣтія центромъ цѣлаго,

---

[1]) Они находятся на храненіи въ Румянцовскомъ музеѣ, въ его рукописномъ отдѣленіи, въ особомъ шкапѣ и считаются собственностью О. Л. Р. С.

преимущественно московскаго кружка собирателей. Но рядомъ съ Кирѣевскимъ приходится вспомнить такихъ лицъ, какъ Максимовичъ, о которомъ уже упоминалось. Онъ былъ малороссъ, любитель своей народности, посвятилъ себя собиранiю памятниковъ народной малорусской литературы. Въ 1827 году онъ издалъ малорусскiя пѣсни, первый небольшой сборничекъ устныхъ народныхъ малорусскихъ пѣсенъ, который сыгралъ приблизительно такую же роль въ малорусской литературѣ, какую сыграло собиранiе Кирѣевскаго въ литературѣ великорусской: съ него начинается серьезное изученiе и интенсивное собиранiе матерiаловъ по малорусской народной поэзiи. Рядомъ съ Максимовичемъ появляется также извѣстный собиратель и издатель Сахаровъ. И. П. Сахаровъ представляетъ собою довольно своеобразный типъ тогдашняго ученаго самоучки. Большой любитель народной словесности, въ то же время чиновнически подходящiй къ жизни человѣкъ, искреннiй почитатель идеи народности, но въ ея офицiальномъ истолкованiи, онъ занимается собиранiемъ памятниковъ русской старины, произведенiй устной словесности, при этомъ старается всячески приноровиться въ подборѣ и истолкованiи собираемыхъ памятниковъ къ взглядамъ «благонадежнаго» правительственнаго чиновника. Сахаровъ, сверхъ того, не обладалъ для того, чтобы быть научнымъ дѣятелемъ, достаточной подготовкой. Этотъ любитель односторонне увлеченный (говорятъ даже, не совсѣмъ нормальный человѣкъ), Сахаровъ собираетъ рѣшительно все, чтò, какъ ему кажется, пахнетъ стариной, чтò можетъ содѣйствовать прославленiю славной русской народности въ прошломъ, стало быть, славной и въ настоящемъ. Онъ собираетъ и древнiя рукописи, и сказки, народные обычаи, собираетъ народныя пѣсни, пословицы и т. д., и, пользуясь своими связями съ бюрократiей и другими собирателями, онъ успѣваетъ кое-что и издать. Сначала онъ издаетъ собранiе русскихъ сказокъ (въ 1841 г.). Русскiя сказки, собранныя Сахаровымъ, несомнѣнно, были тогда новостью, потому что онѣ претендовали на народность, старались передать самый текстъ сказокъ, устную рѣчь; но, съ другой стороны, онѣ не внушали и не внушаютъ большого довѣрiя: въ увлеченiи народностью онъ идеализировалъ эту народность, и эта идеализацiя вела къ тому, что онъ съ записаннымъ устнымъ народномъ текстомъ обращался произвольно; если ему нужно было подчеркнуть ту или иную казавшуюся ему важной особенность, такъ онъ и передавалъ сказку, усиленно подчеркивая тѣ черты, которыхъ не было налицо въ памятникѣ, какъ онъ ходилъ въ устахъ народныхъ, и которыя онъ создавалъ, исходя изъ своихъ мыслей о народности, придавая языку сказки «народный» характеръ, какъ онъ его понималъ, и т. д. Поэтому, если сказки Сахарова и представляютъ

нѣкоторый матеріалъ для изслѣдователя, то этотъ матеріалъ является надежнымъ только послѣ того, когда мы къ нему отнесемся строго критически, когда мы очистимъ его отъ всѣхъ произвольныхъ измѣненій и фантазій трудолюбиваго не въ мѣру издателя, что, однако, сдѣлать не легко: источники Сахарова не всегда намъ доступны. Такими же являются по характеру и другіе матеріалы, изданные Сахаровымъ. Изъ нихъ слѣдуетъ упомянуть изданную въ 1849 году большую серію «Сказанія русскаго народа»—2 тома. Въ этихъ «Сказаніяхъ русскаго народа» мы видимъ матеріалъ такого же подозрительнаго свойства, какъ и его сказки; второй томъ цѣликомъ посвященъ русскому народному міровоззрѣнію по устно-народнымъ памятникамъ; тамъ мы находимъ и собраніе пословицъ народныхъ, и собраніе народныхъ обычаевъ, пѣсни, особенно свадебныя, находимъ и религіозныя пѣсни, и т. д. Это собраніе на первый взглядъ, несомнѣнно, достигало цѣли: оно заинтересовывало русской народностью, оно рисовало эту народность въ идеальныхъ, поэтическихъ, красивыхъ чертахъ, рисовало ее очень цѣльной, самодовлѣющей. Но если къ этому матеріалу подойти критически, то придется въ немъ разочароваться. Поэтому и теперь, если изслѣдователь обращается къ «Сказаніямъ» Сахарова, то обращается съ ними осторожно, но по возможности старается избѣгать пользованія матеріалами Сахарова.

Рядомъ съ Сахаровымъ стоитъ изслѣдователь другого рода, это—Ив. Мих. Снегиревъ. Профессоръ латинской словесности московскаго университета, онъ, однако, подобно многимъ современникамъ, увлекался русской стариной и устно-народной словесностью. Много онъ работалъ по изученію русской старины: собиралъ рукописи, издавалъ эти рукописи; напримѣръ, имъ издана извѣстная «Задонщина», древнее подражаніе «Слову о полку Игоревѣ». Но рядомъ съ этимъ онъ собираетъ и устные матеріалы по русскому народному міросозерцанію. Это—его «Русскіе въ своихъ пословицахъ»—4 небольшихъ тома (1831—1834), гдѣ собраны пословицы, какъ матеріалъ для уясненія народнаго міросозерцанія. Этотъ матеріалъ собранъ съ большимъ вниманіемъ, съ большимъ трудолюбіемъ, но объясненія, которыя даетъ обыкновенно Снегиревъ, конечно, не могутъ быть приняты въ настоящее время. Ему, конечно, неизвѣстны были тѣ методы изслѣдованія, которыми теперь работаетъ русская историческая наука, прежде всего, стало быть, методъ сравнительный; правда, пользуется имъ Снегиревъ, но пользуется грубо, неумѣло, злоупотребляя аналогіей. Поэтому въ трудахъ Снегирева мы цѣнимъ, прежде всего, матеріалъ, имъ собранный. Таковы же его изданія: «Русскія народныя пословицы и поговорки» (1848). «Русскіе простонародные праздники»

(1838). Всѣ эти собранія, въ смыслѣ матеріала, не утратили своего значенія и до сихъ поръ; но сопровождающія этотъ матеріалъ изслѣдованія для нашего времени устарѣли уже.

Такимъ образомъ, дѣло доходитъ до собиранія и изданія матеріаловъ конца 40-хъ гг. Въ это время процессъ собиранія, какъ видимъ по условіямъ нашей общественной жизни, значительно опережаетъ изданіе этихъ матеріаловъ. Въ 50-хъ гг. мы намѣчаемъ новое движеніе въ области собиранія матеріаловъ и изданія памятниковъ устной словесности. Правительство, если и преслѣдовало проповѣдь идей народности въ нежелательномъ для него смыслѣ, имѣя свои цѣли, какъ оно ихъ понимало, то оно, конечно, не могло совершенно игнорировать того, что̀ дѣлалось въ этой области, нуждаясь само въ этого рода матеріалахъ, хотя бы для истолкованія его въ своихъ цѣляхъ. Въ виду все растущаго интереса къ народности въ обществѣ, оно не могло уклониться само отъ вопросовъ, захватившихъ уже общество: что же такое въ самомъ дѣлѣ народность? въ какихъ реальныхъ чертахъ эта народность должна быть представляема? что изъ этой народности годно для цѣлей государства? и т. д. Съ новымъ царствованіемъ, какъ мы видѣли, ослабѣваетъ реакція, и правительство Александра II, готовясь къ реформѣ, считаетъ необходимымъ для себя использовать тѣ общественныя силы, съ которыми оно боролось въ предшествующее царствованіе, въ интересахъ якобы охраненія устоевъ. Оно и идетъ на уступки. Оно пробуетъ подъ своимъ наблюденіемъ, въ рамкахъ, которыя оно считаетъ для себя возможными, изучать эту народность уже съ помощью силъ общественныхъ. Такимъ образомъ основывается одно изъ крупнѣйшихъ обществъ для изученія русской народности: это именно Императорское Географическое Общество, цѣлью котораго является самое широкое изученіе Россіи, въ частности ея быта и народности въ самомъ широкомъ смыслѣ. Все, что касается населенія Россіи касается его быта, его прошлаго, его міросозерцанія, все это должно входить въ программу этого Общества; и, разумѣется, въ этомъ рядѣ задачъ ученаго Общества устно-народная словесность должна была занять видное мѣсто. И основанное въ 1854 г. «Географическое Общество» оказываетъ, дѣйствительно, громадныя услуги изученію и главнымъ образомъ собиранію памятниковъ устной словесности и до настоящаго времени остается однимъ изъ центровъ, куда стекаются матеріалы по устно-народной словесности. Такъ называемыя «Записки Географическаго Общества» (органъ Общества) переполнены всевозможными матеріалами по народной словесности. Мало того, это Общество отправляетъ цѣлыя экспедиціи для изученія и собиранія матеріаловъ, входящихъ въ его широкія задачи; создавшееся въ Петро-

градѣ, оно открываетъ отдѣлы въ разныхъ мѣстахъ Россіи, часто отдаленныхъ (напр., восточ. Сибири), для тѣхъ же цѣлей изученія: при такихъ условіяхъ открывается одинъ изъ крупнѣйшихъ его отдѣловъ— юго-западный, который цѣликомъ посвящаетъ себя изученію и собиранію матеріаловъ по народной словесности русскаго запада и русскаго юга, позднѣе открываются отдѣлы и въ Сибири. Такимъ образомъ, Географическое Общество становится быстро крупнымъ научнымъ центромъ по народовѣдѣнію вообще. Оно обладаетъ теперь большими правительственными средствами и имѣетъ возможность организовать экспедиціи, посылать изслѣдователей-собирателей, и въ его рукахъ сосредоточивается громадный матеріалъ, который частью уже изданъ въ «Запискахъ по опредѣленію этнографіи» (вышло свыше 40 томовъ), а въ еще большемъ количествѣ остается еще не изданнымъ, но вполнѣ доступенъ тѣмъ научнымъ изслѣдователямъ, которые будутъ ощущать въ немъ надобность [1]).

Такимъ образомъ, въ царствованіи Николая I, несмотря на всю тяжесть положенія общественной мысли, изученіе народности внѣ рамокъ, желательныхъ для правящей бюрократіи, и собираніе матеріаловъ народной словесности стало уже на твердую основу. И дѣйствительно, лишь только условія общественныя и политическія въ Россіи стали болѣе благопріятными, мы видимъ усиленное изученіе и продолженіе собиранія памятниковъ устно-народной словесности. Это улучшеніе падаетъ на 60 гг., когда стало можно издавать Кирѣевскаго. Съ тѣхъ поръ эта интенсивная работа уже не останавливается до нашего времени.

Собиратели и изслѣдователи новаго типа. Въ 60-хъ же гг. выступаютъ на сцену собиратели совершенно опредѣленнаго типа. Теперь это уже не любители только народности, и не столько случайные любители, сколько ученые, которые сознательно идутъ за собираніемъ памятниковъ устнонародной словесности, съ тѣмъ, чтобы пустить ихъ сейчасъ же въ научный обиходъ. На первомъ мѣстѣ изъ дѣятелей новой эпохи хронологически нужно здѣсь поставить извѣстнаго А. Н. Аѳанасьева. Аѳанасьевъ извѣстенъ своимъ собираніемъ сказокъ и рядомъ изслѣдованій въ области устной литературы и быта. Эти сказки онъ собиралъ и самъ, собирали для него и другіе, и въ концѣ-концовъ въ 50 гг. у Аѳанасьева составилось большое собраніе памятниковъ устной словесности, исключительно почти сказокъ. Эти сказки Аѳанасьевъ издаетъ, выходитъ цѣлыхъ восемь небольшихъ томовъ этихъ сказокъ (1859—1863).

---

[1]) Богатый архивъ Общества, накопившійся за много лѣтъ, постепенно приводится въ извѣстность Д. К. Зеленинымъ, который подготовляетъ его печатное описаніе.

Это изданіе является и до настоящаго времени почти центральнымъ изданіемъ русской народной сказки; оно перепечатывалось не разъ (въ 1873 и 1897 гг.) [1]), и до сихъ поръ приходится постоянно обращаться къ этому собранію. Цѣнность этого собранія заключается въ томъ, что Аѳанасьевъ съ большимъ вниманіемъ относился ко всему, что касается памятниковъ народной словесности. Онъ стремился по возможности сохранить не только его содержаніе, но и форму и языкъ. Тотъ же Аѳанасьевъ старался въ своемъ собраніи совмѣстить и тотъ матеріалъ, который имѣетъ или имѣлъ ближайшее отношеніе въ прошломъ къ той же сказкѣ: онъ не ограничивается изданіемъ только записанныхъ сказокъ изъ народныхъ устъ, но собираетъ и старыя изданія лубочныхъ сказокъ, которыя въ XVIII и XIX вв. играли роль народной книжки, даетъ указанія на параллели въ сюжетахъ по другимъ собраніямъ русскимъ и иноземнымъ (глав. обр. изъ изд. нѣмецкихъ сказокъ бр. Гриммовъ). Такимъ образомъ, мы получаемъ цѣнное, разнообразное собраніе матеріала по цѣлой отдѣльной отрасли устной словесности. За Аѳанасьевымъ въ качествѣ собирателей идетъ цѣлый рядъ другихъ лицъ. Въ числѣ ихъ нужно на первомъ мѣстѣ назвать извѣстнаго П. Н. Рыбникова. Рыбниковъ давно интересовался народностью; въ частности онъ интересовался міросозерцаніемъ русскаго народа, поскольку оно отразилось у нашихъ старообрядцевъ, которыхъ онъ считалъ, какъ наименѣе затронутыми западной культурой, наиболѣе сохранившими древнее созерцаніе. Послѣ нѣсколькихъ неудачъ въ области изученія раскола, результатомъ которыхъ была его ссылка за неблагонадежность въ Олонецкую губернію, онъ становится прямо уже собирателемъ памятниковъ народной словесности. Живя въ ссылкѣ въ Олонецкой губерніи, въ Петрозаводскѣ, онъ узнаетъ, что этотъ край Олонецкій богатъ какъ разъ тѣми произведеніями народной словесности, которыя встрѣчаются рѣдко и совсѣмъ уже неизвѣстны въ другихъ областяхъ на югѣ—въ Черниговской, Курской губерніяхъ, гдѣ онъ прежде изучалъ народное міросозерцаніе. Онъ находитъ здѣсь цѣлый рядъ «сказателей» былинъ, т.-е., тѣхъ народныхъ пѣвцовъ, которые по памяти воспроизводятъ такъ называемыя «старины», «былины». Казалось, что Олонецкій край, лежащій сравнительно не далеко отъ Петрограда, центра новой культуры, чрезвычайно богатъ, однако, этого рода старинными произведеніями. Безъ большого труда Рыбникову въ теченіе ряда лѣтъ удается собрать громадное количество былинъ. Никто

---

[1]) При изданіи 1897 г.—обстоятельная біографія А. Н. Аѳанасьева, указатели сюжетовъ; это же изданіе въ 5-ти книгахъ повторено позднѣе (М. 1914), при чемъ указатели улучшены и вновь пересмотрѣны.

и не подозрѣвалъ, что былины, которыя до сихъ поръ знали главнымъ образомъ только по собранію Кирши Данилова и по кое-какимъ упоминаніямъ о существованіи этихъ былинъ, въ родѣ сахаровскихъ, по немногимъ записямъ въ собраніи Кирѣевскаго, съ замѣчательной свѣжестью и въ изобиліи еще живы въ устахъ народа. Въ изданіи Рыбникова (4 тома, 1861—68) мы получили громадное количество былинъ, невиданное и по разнообразію, и по богатству темъ, превосходящее все, что мы до сихъ поръ знали: въ теченіе 7 лѣтъ, которые провелъ въ Олонецкомъ краѣ Рыбниковъ, ему удалось собрать болѣе 200 былинъ и цѣлый рядъ другихъ матеріаловъ (свадебныя пѣсни, сказки, повѣрья, заговоры, старинныя повѣсти), прослушать болѣе 30 пѣвцовъ и сказателей. Такимъ образомъ, Рыбниковъ является какъ будто бы открывшимъ совершенно новую область въ изученіи народной поэзіи, открывшимъ, какъ говорили, «Исландію русскаго эпоса»: кромѣ Олонецкой губ., полагали тогда, эпосъ уже нигдѣ не встрѣчается. Благодаря Рыбникову, Олонецкій край сталъ классическимъ краемъ былинъ. Всѣ, кто желалъ изучать былины, знакомиться съ ними въ народномъ исполненіи, всѣ считали своимъ долгомъ отправиться въ этотъ благословенный край былинъ. Результатомъ дѣятельности Рыбникова и было изданіе былинъ Олонецкаго края: «Пѣсни, собранныя П. Н. Рыбниковымъ»; осуществилось оно въ значительной степени благодаря Общ. люб. рос. словесности (въ Москвѣ), энергично пошедшему навстрѣчу оживившемуся интересу къ народной словесности. Собраніе Рыбникова представляетъ большую цѣнность, во-первыхъ, по своему разнообразію, затѣмъ по качеству тѣхъ текстовъ, которые въ него вошли, во-вторыхъ, потому, что Рыбниковъ точно записывалъ слышанные имъ тексты, стараясь сохранять всевозможныя мелкія частности текста, мѣстныя индивидуальныя особенности рѣчи, не только былинъ, но и ихъ сказателей. Тотъ же Рыбниковъ, чтобы ближе понять былину, ея смыслъ, характеръ, сталъ впервые изучать тщательно не только текстъ былинъ, но самихъ пѣвцовъ, ихъ условія быта. Онъ, тонкій наблюдатель, замѣтилъ, что въ значительной степени отъ характера пѣвца зависитъ и характеръ былины, данный текстъ этого неустойчиваго въ своемъ текстѣ произведенія. Эти наблюденія, которыя Рыбниковъ старался привести въ связь съ исторіей самой былины, несомнѣнно, были значительнымъ шагомъ впередъ въ нашемъ знакомствѣ съ былиной, какъ историческимъ явленіемъ литературы; они значительно подготовили дѣятельность другого собирателя, еще болѣе давшаго историкамъ русской былины—А. Ѳ. Гильфердинга.

Записи Рыбникова по научности изданія представляли вмѣстѣ съ изданіемъ Кирши Данилова (Калайдовича, 1818 г.) самый цѣнный ма-

теріалъ для изслѣдователей былинъ, этой крупнѣйшей и важнѣйшей области народной поэзіи. Насколько важно это собраніе Рыбникова, можно судить наглядно по тому, что только съ появленіемъ Рыбникова и его собранія стало возможнымъ обстоятельное, научное изслѣдованіе русскаго былевого эпоса, и стали появляться первыя крупныя работы, цѣликомъ, или почти цѣликомъ построенныя на собраніи Рыбникова; такова, напр., работа О. Миллера объ Ильѣ Муромцѣ, о которой намъ придется говорить ниже. Собраніе Рыбникова является и до настоящаго времени необходимымъ пособіемъ для изученія народной словесности. Этимъ объясняется то, что это изданіе было повторено недавно [1]) цѣликомъ по нѣсколько измѣненному плану, болѣе соотвѣтствующему теперешнимъ нашимъ научнымъ требованіямъ: оно расположено не по сюжетамъ (какъ первое), а по пѣвцамъ. Ссылками на Рыбникова пестритъ любое изслѣдованіе по устно-народной словесности и до настоящаго времени.

Рядомъ съ Рыбниковымъ нужно поставить другого замѣчательнаго собирателя, который, несомнѣнно, увлеченный успѣхомъ Рыбникова, послѣдовалъ его примѣру. Это былъ извѣстный ученый, профессоръ славистики (славянскихъ языковъ и литературы) въ Петроградскомъ университетѣ А. Ѳ. Гильфердингъ. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ ученыхъ, которыхъ правительство, рѣшивши основать каѳедры славяновѣдѣнія въ русскихъ университетахъ, въ числѣ другихъ молодыхъ ученыхъ отправило за границу. Тамъ онъ занимался изученіемъ славянскихъ литературъ, старо-славянскаго языка, исторіей славянъ, собиралъ древнія рукописи; но, вернувшись въ Россію, и онъ попалъ въ то теченіе, которое тогда господствовало у насъ: онъ увлекся устно-народной словесностью. Онъ, командированный Географическимъ Обществомъ, отправляется въ 1869 году въ тотъ же Олонецкій край, и результаты его поѣздки оправдали его ожиданія. Ему удалось собрать тѣхъ же самыхъ былинъ огромное число, еще больше, нежели это было сдѣлано Рыбниковымъ; ему пришлось въ теченіе года съ небольшимъ прослушать болѣе 70 пѣвцовъ и пѣвицъ, записать отъ нихъ свыше 300 былинъ. Ему пришлось итти по слѣдамъ Рыбникова и записывать многія былины отъ тѣхъ же самыхъ пѣвцовъ, отъ которыхъ записывалъ ихъ и Рыбниковъ. Такимъ образомъ, многія былины, записанныя въ концѣ 50-хъ гг. Рыбниковымъ, въ концѣ 60-хъ гг. записаны Гильфердингомъ отъ тѣхъ же пѣвцовъ. Это обстоятельство оказалось весьма важнымъ, потому что вторичная

---

[1]) М. 1909—1910 три тома, подъ редакціей А. Е. Грузинскаго; къ изданію присоединена біографія П. Н. Рыбникова, выкинуты ставшія негодными разсужденія П. Безсонова (въ 1-мъ изд.).

запись отъ одного и того же пѣвца является далеко не лишней: при записи былинъ, какъ матеріала, въ изложеніи котораго играетъ извѣстную роль индивидуальность пѣвца, вторичная запись одной и той же былины отъ одного и того же пѣвца, но черезъ нѣсколько лѣтъ, дала Гильфердингу возможность не только провѣрить Рыбникова (сокровища эпоса, собранныя имъ, какъ извѣстно, возбудили въ нѣкоторыхъ ученыхъ подозрѣнія въ ихъ подлинности), блестяще подтвердить его открытіе, но также дать новый матеріалъ для исторіи жизни былины; оказывается, что текстъ былины на дѣлѣ болѣе подвиженъ, нежели до сихъ поръ думали: существовало мнѣніе, что былины суть окаменѣвшія отъ вѣка произведенія, сохраняющіяся отъ глубины вѣковъ въ своей неприкосновенности, благодаря изумительной памяти пѣвцовъ, жившихъ другъ послѣ друга и точнѣйшимъ образомъ передававшихъ текстъ предшественника; на дѣлѣ же изъ сравненія двухъ записей отъ одного и того же пѣвца, но черезъ нѣкоторый промежутокъ времени оказывалось, что даже такой феноменальный по памятливости пѣвецъ, какъ Щеголенокъ (отъ котораго записывали и Рыбниковъ и Гильфердингъ), на протяженіи 6—7 лѣтъ измѣнялъ текстъ былины и составъ ея, если не въ основномъ, то въ частностяхъ содержанія; а это заставляетъ думать, что на пѣвца былины нельзя смотрѣть, только какъ на механическаго передатчика традиціоннаго текста, который передаетъ безучастно безъ измѣненій разъ заученныя имъ пѣсни; оказывается, что постоянно совершается при всякомъ воспроизведеніи содержанія былины своеобразная творческая работа сказателя и отражается личное участіе пѣвца въ измѣненіи былиннаго текста. Собраніе А. Ѳ. Гильфердинга должно было также подтвердить цѣлый рядъ тѣхъ предположеній, которыя составили ученые теоретически. Онъ доказалъ, что русскій былевой эпосъ сохранился еще въ громадномъ количествѣ на сѣверѣ; съ другой стороны, онъ вмѣстѣ съ Рыбниковымъ своимъ собраніемъ указывалъ, что только на сѣверѣ и можно найти прочные слѣды этого былевого эпоса въ живомъ его видѣ (что̀, однако, какъ оказалось впослѣдствіи, не совсѣмъ вѣрно), тогда какъ другія произведенія устно-народной словесности представляются разсыпанными почти по всей территоріи, которая занята русскимъ племенемъ. И Олонецкій край, благодаря Рыбникову и Гильфердингу, по отношенію къ былевому эпосу представляется изученнымъ такъ, какъ никакая другая область Россіи. Таково значеніе «Онежскихъ былинъ» Гильфердинга (Спб. 1873). Въ этомъ изданіи [1]) до сихъ поръ заслужи-

[1]) Оно повторено было въ Сборникѣ отд. рус. яз. и слов. И. А. Н., т. 59, 60, 61, гдѣ снабжено новымъ подробнымъ указателемъ, составленнымъ Н. В. Васильевымъ.

ваетъ внимательнѣйшаго изученія замѣчательное предисловіе къ сборнику былинъ: «Былинная традиція на сѣверѣ Россіи», гдѣ А. Ѳ. Гильфердингъ далъ сводку своихъ необыкновенно точныхъ и детальныхъ наблюденій надъ жизнью былины въ Олонецкомъ краѣ. Придавая—и совершенно справедливо—большое значеніе выясненію былинной традиціи и оцѣнивая по достоинству значеніе личности пѣвца [1]) для уясненія состоянія текста каждой былины, А. Ѳ. Гильфердингъ расположилъ свой матеріалъ по отдѣльнымъ мѣстностямъ, гдѣ онъ нашелъ пѣвцовъ, и по пѣвцамъ, при чемъ далъ подробную біографію каждаго пѣвца, отъ котораго записывалъ былины, и все, что можно было получить опросомъ пѣвца относительно сообщаемой этимъ послѣднимъ былины. Не говоря уже о точности записи (она стоитъ выше и Рыбниковской), изданіе Гильфердинга до сихъ поръ считается образцовымъ; требованія, примѣненныя и выполненныя въ «Онежскихъ былинахъ», считаются обязательными для всякаго собирателя не только былины, но и всѣхъ произведеній устной словесности.

Олонецкій край, и помимо Рыбникова и Гильфердинга, привлекаетъ вниманіе собирателей и изслѣдователей, какъ ставшій своего рода «классической» мѣстностью по отношенію къ устной словесности: достаточно указать на «Причитанія сѣвернаго края» (т. I, М. 1872; т. II—тамъ же, 1882, III т. не оконченъ—Чтенія въ Общ. Ист. и Др. росс. 1885), собранныя, главнымъ образомъ, въ этомъ Олонецкомъ краѣ Е. В. Барсовымъ, и позднѣйшія изданія Географ Общ.—Истомина и Дютша, Истомина и Ляпунова (СПБ. 1894 и 1899).

Сказанное до сихъ поръ о собираніи произведеній устной словесности показываетъ довольно наглядно, какъ интенсивно пошла работа въ этомъ направленіи, начиная съ 70-хъ годовъ; характернымъ для этого періода надо счесть то, что собираніе это по программамъ придерживается опредѣленныхъ видовъ устной словесности: одни собираютъ, напримѣръ, былины (и это особенно часто: былину считаютъ особенно цѣнной), другіе—сказки, третьи—духовные стихи и т. д., т.-е., преобладаетъ чисто литературное направленіе; сравнительно меньше обращается вниманія на устную словесность, какъ матеріалъ для изученія міросозерцанія той или другой части населенія во всемъ его объемѣ, во всемъ его разнообразіи проявленія въ бытѣ. Но вскорѣ кругозоръ собирателя, его задачи значительно расширяются.

Въ 70 гг. въ русской литературѣ, въ особенности въ литературѣ художественной и научной, замѣтно начинаетъ пробиваться теченіе,

---

[1]) Ср. Н. В. Васильева „Изъ наблюденій надъ отраженіемъ личности сказителя въ былинахъ". Извѣстія отд. р. я. и сл. А. Н. XII, 2, 170 и сл.

которое обыкновенно называется «народничествомъ». Русскіе писатели, художники, изслѣдователи «идутъ въ народъ», ища тамъ удовлетворенія своихъ стремленій. Нарождается даже типъ «кающагося дворянина», желающаго «опроститься», уплатить долгъ народу, благодаря которому онъ остался цѣлъ, на средства котораго онъ существовалъ цѣлый рядъ десятилѣтій, а можетъ быть и столѣтій. Отсюда является особенное стремленіе итти изучать этотъ народъ, съ тѣмъ, чтобы внести въ него тотъ свѣтъ просвѣщенія, котораго не хватало этому хранителю народности, истинному носителю русской силы—простому народу, а также поучиться у него «народной правдѣ» самимъ. И эта эпоха, отмѣченная именами Левитова, Слѣпцова, Н. и Г. Успенскихъ и др., рядомъ съ увлеченіемъ, односторонностью, несомнѣнно, не могла пройти безслѣдно для изученія устно-народной словесности. Въ этой области замѣчается значительное расширеніе задачъ, стремленіе цѣликомъ, со всѣхъ сторонъ охватить народную жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ: нарождается научная этнографія. Какъ разъ въ это время оживляется дѣятельность тѣхъ отдѣловъ, которые были образованы Географическимъ Обществомъ въ разныхъ концахъ Россіи. Къ этому времени относится оживленіе одного изъ самыхъ дѣятельныхъ отдѣловъ этого общества, именно юго-западнаго, который подъ руководствомъ Чубинскаго и Костомарова собираетъ громадный матеріалъ (7 томовъ) по народной словесности и быту юго-западнаго края. Въ изданные подъ ихъ редакціей «Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ западно-русскій край» (СПБ. 1871—1878) входятъ не только пѣсни (болѣе 5000), сказки (ихъ цѣлый томъ въ 700 стр.), но и описаніе обрядовъ, быта въ широкомъ смыслѣ этого слова. Собираются преданія, собираются матеріалы, которые мы теперь называемъ матеріалами этнографическими; отличіе этого собиранія отъ прежнихъ въ томъ, что теперь эта работа ведется планомѣрно, систематически. Цѣлая компанія сотрудниковъ, руководимая П. П. Чубинскимъ, разсыпается по заранѣе опредѣленнымъ мѣстамъ и старается исчерпывающимъ образомъ познакомиться съ міросозерцаніемъ народа, поскольку оно отразилось въ его обычаяхъ и въ его устно-народной словесности. Конечно, результатомъ этого является богатый научно собранный матеріалъ. Рядомъ съ этимъ являются и отдѣльныя лица, которыя стоятъ въ томъ или другомъ отношеніи къ этой дѣятельности отдѣловъ Географическаго Общества. Такъ къ этому же времени относится начало дѣятельности одного изъ наиболѣе заслуженныхъ работниковъ въ области изученія народной литературы, въ области собиранія матеріаловъ—П. В. Шейна. По происхожденію онъ былъ бѣлорусскій еврей, бѣднякъ, университетскаго образованія получить не могъ, долго жилъ въ Москвѣ уроками. Въ

то же время, вращаясь въ кругу московскихъ собирателей и славянофиловъ, Шейнъ окончательно отдался собиранію памятниковъ народной словесности, этнографіи. Это собираніе начинаетъ онъ въ 60-хъ гг. Ставши уѣзднымъ учителемъ, онъ, несмотря на болѣзненность и физическій недостатокъ (онъ передвигался на костыляхъ, руки сведены были ревматизмомъ), энергично собираетъ, самъ обходя села, какъ великорусскія, такъ и бѣлорусскія, организуя обширную корреспонденцію съ другими собирателями. Онъ живетъ то въ Тулѣ, то въ Калугѣ, то въ Витебскѣ и отсюда совершаетъ свои хожденія въ народъ въ теченіе 40 слишкомъ лѣтъ (онъ умеръ въ 1900 году). Результаты оказались въ высшей степени благопріятные. Московскій кружокъ собирателей и ученыя общества, начиная съ академіи наукъ, усердно поддерживаютъ его и нравственно и матеріально; и то и другое не пропало даромъ: Шейнъ даетъ громадное количество матеріаловъ по бѣлорусской народной поэзіи, такъ называемые «Матеріалы для изученія быта и языка русскаго населенія сѣверо-западная края» (3 тома СПБ. 1887—1893), гдѣ находимъ около 800 пѣсенъ, цѣлый томъ обрядовъ съ пѣснями же, наконецъ, томъ сказокъ и духовныхъ стиховъ. Кромѣ того, Шейнъ начинаетъ не задолго до смерти изданіе своего «Великорусса» (СПБ. 1900—02 г.), посвященнаго великорусской области,—одно изъ замѣчательныхъ собраній пѣсенъ; здѣсь онъ издаетъ частью ранѣе собранные имъ самимъ матеріалы, частью же полученные имъ отъ другихъ: въ двухъ объемистыхъ томахъ мы находимъ русскія лирическія и обрядовыя пѣсни представленными богато и разнообразно изъ 20 слишкомъ губерній. Пожалуй, по богатству (въ него вошло болѣе двухъ съ половиною тысячъ пѣсенъ) и по разнообразію сборникъ Шейна можетъ быть поставленъ на ряду развѣ только съ сборникомъ Кирѣевскаго. Рядомъ съ Шейномъ выдвигаются и другіе болѣе поздніе, намъ современные собиратели въ юго-западномъ краѣ. Назову нѣкоторыхъ изъ нихъ болѣе раннихъ и намъ современныхъ. Къ числу подобныхъ собирателей надо отнести одного изъ старшихъ—Я. Ѳ. Головацкаго, извѣстнаго дѣятеля эпохи возрожденія народности въ Галиціи и прикарпатской Руси, проведшаго значительную часть жизни въ Россіи: имъ изданъ обширный этнографическій, главнымъ образомъ, пѣсенный матеріалъ подъ заглавіемъ: «Народныя пѣсни Галицкой и Угорской Руси» (М. 1884, 4 тома, изд. О. И. и Д. Р.), гдѣ, кромѣ пѣсенъ, собирателемъ сгруппированъ большой историческій и этнографическій матеріалъ по Галицкой и Угорской Руси. Затѣмъ слѣдуетъ назвать Р. Е. Романова. Романовъ съ 1887 г. сталъ издавать и до сихъ поръ издаетъ такъ называемый «Бѣлорусскій сборникъ»; до сихъ поръ вышло 9 книгъ (послѣдняя, 9-я, вышла въ 1912 г.). Матеріалы начаты соби-

раніемъ какъ разъ въ эпоху увлеченія народностью въ 70-хъ гг. Здѣсь мы находимъ чрезвычайно разнообразный матеріалъ по составу и характеру, но зато очень однообразный съ точки зрѣнія мѣста и народности: это исключительно матеріалъ бѣлорусскій; здѣсь помѣщены не только пѣсни и сказки и духовные стихи, повѣрья, описанія быта и т. д., находимъ даже извѣстія о томъ, какого рода письменная литература, близко стоящая къ народу, вращается въ Бѣлоруссіи: Романовъ, помимо устнаго матеріала, собираетъ и издаетъ тетрадки, которыя содержатъ въ себѣ заговоры, молитвы, тѣсно связанныя съ народной устной словесностью; поэтому онъ печатаетъ и такія книжныя произведенія, какъ «Сонъ Богородицы», «Хожденіе по мукамъ», потому что они стали достояніемъ простого народа грамотнаго и полуграмотнаго. Подобный же «Смоленскій этнографическій сборникъ» В. Д. Добровольскаго (4 тома, послѣдній изданъ въ 1903 г.) даетъ богатый и разнообразный матеріалъ восточной части бѣлорусскаго преимущественно племени. Матеріалы Романова вмѣстѣ съ собраніями П. В. Шейна, В. Добровольскаго и Никифоровскаго (также энергичнаго собирателя бѣлорусскихъ матеріаловъ) являются необходимымъ источникомъ при изученіи не только бѣлорусской народной поэзіи, но и всей русской, поскольку эта бѣлорусская съ нея связана. Такимъ образомъ, бѣлорусскій край, въ значительной степени, съ 70-хъ гг. подвергается изслѣдованію [1]) съ точки зрѣнія устно-народной словесности, быта. То же самое можно сказать, какъ мы видѣли, и по отношенію къ сѣверу. Это изученіе еще далеко не является конченнымъ.

Послѣ удачнаго начала, положеннаго трудами Рыбникова и Гильфердинга, на время наступаетъ нѣкоторое затишье. Предполагаютъ одно время, что Олонецкій край есть единственный край, гдѣ сохранилась устно-народная старинная поэзія въ видѣ былинъ: этому краю удѣляютъ особое вниманіе. Но въ тѣхъ же 70-хъ гг. появляется, въ изданіи Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи при московскомъ университетѣ (Труды Этногр. отд., 5, 1878), небольшое собраніе Ефименка. Онъ—архангелецъ, горячій любитель народности, приготовилъ «Описаніе Архангельской губерніи въ историческомъ, экономическомъ и этнографическомъ отношеніяхъ». Ефименко въ Архангельскомъ краѣ находитъ, кромѣ цѣлаго ряда матеріаловъ, аналогичныхъ олонецкимъ, также былины. Этимъ онъ показалъ, что былины и ихъ распространеніе не ограничивается однимъ только заповѣднымъ Олонец-

---

[1]) Сюда слѣдуетъ отнести также отдѣльныя работы П. Шейна, Насовича, Довнара-Запольскаго и др., посвященныя главн. обр. бѣлорусской устной поэзіи.

кимъ краемъ, давшимъ такой обильный матеріалъ Рыбникову и Гильфердингу. Правда, Ефименко былинъ нашелъ не много (всего 10 штукъ), но это указало на то, въ какую сторону надо направить поиски. Изслѣдованія касательно сборника Кирши Данилова показали, что Кирша Даниловъ записывалъ свои былины въ половинѣ XVIII в., скорѣе всего, въ Пріуральи, стало быть, также внѣ Олонецкаго района. На ту же мысль наводили и записи, попавшія въ собраніе и изданія пѣсенъ Кирѣевскаго: нѣсколько былинъ въ нихъ идутъ также изъ Архангельскаго края (записаны Кузьмищевымъ) и даже изъ Нижегородской губ. и Поволжья. Такимъ образомъ, ясно, что извѣстные уже матеріалы при болѣе пристальномъ изученіи ихъ побуждали искать новаго матеріала и въ другихъ мѣстахъ. И дѣйствительно, съ конца 80-хъ гг. начинаются поиски подобнаго матеріала въ различныхъ мѣстностяхъ русскаго сѣвера. Результатъ поисковъ оказался опять-таки благопріятнымъ. За Ефименковскими слѣдуютъ «Пѣсни русскаго народа», изданныя Географическимъ Обществомъ, собранныя спеціальными экспедиціями въ Архангельской, Олонецкой, Вологодской, Вятской и Костромской губ. (въ томъ числѣ опять былины —2 тома (СПБ. 1894, 1899), «Бѣломорскія былины», собранныя на берегу Бѣлаго моря А. В. Марковымъ и изданныя въ 1901 году въ Москвѣ Обществомъ Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи. За «Бѣломорскими» слѣдуютъ «Печорскія былины», собранныя около рѣки Печоры Н. Е. Ончуковымъ (изд. Геогр. Общ. 1904 г.). Затѣмъ слѣдуетъ отдѣльное изданіе «Архангельскихъ былинъ» А. Д. Григорьева (1904 г.)—2 тома (изданіе еще не окончено), отдѣльныя сибирскія былины, которыя распространены среди русскаго населенія, куда онѣ были занесены еще давно колонистами, записаны въ Барнаулѣ Гуляевымъ. Поиски за былинами становятся особенно интенсивными и продолжаются до сихъ поръ; одновременно появляются и перепечатки въ особыхъ сборникахъ отдѣльныхъ текстовъ, разсѣянныхъ по журналамъ и другимъ изданіямъ, печатаются старинныя записи, находимыя (правда, въ небольшомъ количествѣ) въ рукописяхъ XVII и XVIII в., каковы: «Былины старой и новой записи» (М. 1894), «Былины новой и недавней записи» (М. 1908) и др. Былина считается чрезвычайно цѣннымъ матеріаломъ въ глазахъ собирателя-изслѣдователя, и нахожденіе новой былины представляется особенно заманчивымъ и интереснымъ, расширяя наше знакомство съ ея исторіей. Перечислять далѣе изданія памятниковъ народной словесности не буду [1]), укажу

---

[1]) Списокъ наиболѣе крупныхъ и важныхъ собраній изданныхъ матеріаловъ по устной словесности помѣщенъ въ концѣ книги.

только на то, что путь, начатый Рыбниковымъ и Гильфердингомъ и продолженный Ефименкомъ и другими изслѣдователями, принесъ громадный матеріалъ, значительно расширившій наши свѣдѣнія, прежде всего о степени распространенія всего былиннаго матеріала. Такъ найдены были былины не только въ сѣверномъ краѣ: оказались онѣ и на югѣ—на Кавказѣ—у русскихъ колонистовъ, кое-гдѣ въ Самарскомъ краѣ, въ Новгородской губ., найдены слѣды былинъ даже и въ центральной Россіи, около Москвы, во Владимірской губ. Это все и послужило матеріаломъ для цѣлаго ряда сборниковъ былинъ старыхъ и новыхъ записей. Такимъ образомъ ясно, что начатые въ такомъ направленіи поиски приводили къ хорошимъ результатамъ; но надо сказать, что былинамъ въ особенности посчастливилось. Былина разыскивалась, разыскивается, и этимъ объясняется, что былиннымъ матеріаломъ мы обладаемъ въ большей степени полноты, чѣмъ матеріаломъ въ другихъ областяхъ устно-народной словесности; но и по части былины, конечно, собрано далеко не все, что̀ нужно и что̀ дѣйствительно существуетъ до сихъ поръ.

Изъ крупныхъ изданій иного матеріала по народной словесности за послѣднее время слѣдуетъ все-таки упомянуть о семитомномъ изданіи А. И. Соболевскаго: «Великорусскія народныя пѣсни» (СПБ. 1895—1902), гдѣ перепечатаны въ огромномъ количествѣ и по ряду варіантсвъ пѣсни изъ старинныхъ пѣсенниковъ, газетъ, журналовъ и т. д.; пѣсни эти частью такъ называемыя «низшія эпическія», частью бытовыя и лирическія. Меньше собрано по части южно-русской поэзіи, значеніе которой для изученія народной словесности чрезвычайно важно,—важно для пониманія не только мѣстной поэзіи, но и для всей народной русской словесности. Географическимъ обществомъ, его юго-западнымъ отдѣломъ, какъ мы видѣли, раньше нѣкоторое количество было собрано въ Малороссіи (Чубинскій), позднѣе и въ этой области мы видимъ попытки увеличить этотъ матеріалъ. Одной изъ наиболѣе удачныхъ попытокъ въ этомъ отношеніи является собраніе южно-русскихъ (малорусскихъ) народныхъ историческихъ пѣсенъ, предпринятое мѣстными изслѣдователями Антоновичемъ и Драгомановымъ. Они издаютъ два небольшихъ тома этихъ малорусскихъ пѣсенъ. «Историческія пѣсни малорусскаго народа» (Кіевъ 1874—1875). Въ концѣ 70-хъ гг. Драгомановъ издаетъ «Малорусскія народныя преданія и разсказы» (Кіевъ 1876), гдѣ мы видимъ много чрезвычайно важнаго матеріала: разныя сказанія, сказки, религіозныя преданія. Изъ старшихъ изданій, кромѣ трудовъ кн. Цертелева и М. А. Максимовича, положившихъ начало собиранію и изданію матеріаловъ по устной словесности малороссовъ, слѣдуетъ упомянуть, изданія А. Метлинскаго (Народныя южно-русскія пѣсни, Кіевъ 1854), Рудченка «Народныя

южно-русскія сказки» (2 вып., Кіевъ 1869—70 г.), Манджуры «Малорусскія сказки» (Сборн. Харьк. И. Ф. Общ., II, VI). Вообще слѣдуетъ замѣтить, что изданный въ Россіи матеріалъ по южно-русской устной словесности не такъ обильно представленъ по количеству, какъ матеріалъ великорусскій, хотя обширность великорусской территоріи требуетъ гораздо большаго количества работы, нежели это сдѣлано до сихъ поръ, чтобы мы могли быть увѣрены, что обладаемъ достаточнымъ уже матеріаломъ для разработки исторіи великорусской устной литературы. Этимъ объясняется, почему работа по собиранію матеріаловъ продолжается до сихъ поръ, почему въ центрахъ—въ Москвѣ и Петроградѣ—образовались цѣлые отдѣлы ученыхъ обществъ (у насъ О. Л. Е. А. Э., въ Петроградѣ—Геогр. Общ.), этнографическіе, которые предпринимаютъ даже спеціальные журналы для изданія памятниковъ и изслѣдованій устной словесности: «Этнографическое Обозрѣніе» въ Москвѣ, «Живая Старина» въ Петроградѣ.

До послѣдняго времени собираніе южно-русскихъ матеріаловъ шло слабѣе, какъ мы видѣли, нежели великорусскихъ. Причина этого сравнительно слабаго развитія изученія Малороссіи лежитъ въ тѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, въ которыхъ находилось до настоящаго времени изученіе малорусской народности. У насъ въ теченіе ряда лѣтъ принимались всѣ мѣры къ тому, чтобы помѣшать развитію малорусской народности. Причины эти—политическаго характера, и касаться ихъ не наше дѣло. Но результатъ ихъ налицо: изслѣдованія малорусской народности, несомнѣнно, не могутъ итти у насъ съ тѣмъ успѣхомъ, съ какимъ идутъ въ изученіи народности другихъ частей русскаго племени. Но зато тамъ, гдѣ эти тяжелыя условія отсутствуютъ, изученіе малорусской словесности—я имѣю въ виду ту часть малорусскаго племени, которая находится за предѣлами Россіи—именно въ Галиціи, гдѣ малороссы живутъ въ иныхъ условіяхъ, нежели малорусское племя въ предѣлахъ Россіи, изученіе ведется чрезвычайно интенсивно: Общество имени Шевченка съ 80-хъ гг. (во Львовѣ) образуетъ отдѣльные отдѣлы, спеціально посвященные собиранію памятниковъ мѣстной народной словесности; въ настоящее время болѣе двухъ десятковъ томовъ этого матеріала уже издано («Етнографічни Збірник»). Такимъ образомъ, малорусская народная словесность изучается крайне неравномѣрно. Что касается великорусской, центральной, которая должна была бы сосредоточивать на себѣ больше вниманія, какъ наиболѣе культурная часть великорусскаго племени, то это изученіе и здѣсь не стоитъ еще на должной высотѣ. Самое большое количество великорусскаго матеріала было собрано еще въ 30-хъ гг. Кирѣевскимъ, затѣмъ Шейномъ (см. выше). Съ тѣхъ поръ изученіе среднерусской

устной поэзіи идетъ чрезвычайно медленно и непланомѣрно. Большихъ сборниковъ, которые представляютъ нѣчто систематическое, исчерпывающее, хотя бы для отдѣльныхъ мѣстностей, мы не видимъ. Правда есть отдѣльные сборники сказокъ, сборники пѣсенъ, какъ, напримѣръ. Сказокъ самарскаго края, пословицъ самарскихъ, загадокъ (Садовникова), но все это, конечно, только ничтожная крупица того, что должна заключать въ себѣ устная словесность центра Россіи. Съ другой стороны, это изученіе, несомнѣнно, должно было бы быть особенно интенсивнымъ въ наиболѣе культурной части великорусскаго племени, центрѣ, который является наиболѣе воспріимчивымъ къ тѣмъ новымъ формамъ быта, которыя постепенно нарождаются и отодвигаютъ старыя формы и старое міросозерцаніе все дальше и дальше, т.-е.: если на крайнемъ сѣверѣ, гдѣ измѣненіе быта идетъ медленнѣе, устно-народная словесность, если и измѣняется, то измѣняется тоже медленно и сохраняется дольше въ болѣе древнемъ своемъ видѣ, у насъ въ центрѣ жизнь идетъ быстрѣе—быстрѣе измѣняется и старая устно-народная словесность и все больше и больше замѣняется другими видами поэзіи: книжной поэзіи, фабричной поэзіи, которыя относятся уже въ значительной степени къ другой области творчества, нежели старая народная словесность. Поэтому собираніе здѣсь въ особенности является цѣннымъ и необходимымъ, но, къ сожалѣнію, въ этомъ отношеніи ничего крупнаго, систематическаго въ настоящее время пока не предпринимается. Отдѣльныя изданія вносятъ кое-что въ литературу, но сравнительно немного.

Окидывая взоромъ новый періодъ собиранія матеріаловъ по устной словесности съ 70-хъ гг. прошлаго столѣтія, мы ясно можемъ замѣтить измѣненіе принциповъ работы въ этомъ направленіи: надъ чисто-литературнымъ начинаетъ преобладать принципъ широко-этнографическій; внѣшнимъ указаніемъ на это расширеніе и измѣненіе принципа служитъ то, что, если прежде собирали русскія, безъ болѣе точнаго пріуроченія, пѣсни, сказки, пословицы и т. д., теперь идетъ собираніе памятниковъ устнаго творчества опредѣленной мѣстности: Бѣлоруссіи, Малороссіи, часто точно ограничиваемой: Самарскаго края, Гомельскаго уѣзда, Бѣлозерскаго края, Пермскаго, Вятскаго и т. д., при чемъ явно сказывается стремленіе собирателя исчерпывающимъ образомъ представить матеріалъ данной, хотя бы и не обширной мѣстности,—принципъ, безусловно правильный: устная словесность, тѣсно связанная съ бытомъ, должна дать матеріалъ для изученія міросозерцанія, творчества народной массы; а міросозерцаніе это выражается не только въ сказкѣ или только былинѣ, или пѣснѣ.

На ряду со старинными записями и матеріалами устной словесности, записываемыми непосредственно изъ устъ народныхъ сказа-

телей, въ качествѣ виднаго источника для изученія этой словесности представляется такъ называемая «лубочная» картинка и книжка. Подъ этими названіями мы подразумѣваемъ обширную область народно-книжной литературы, составляющую одну изъ самыхъ своеобразныхъ сторонъ русской словесности: по происхожденію западная, эта народная картинка и книжка получила широкое и своеобразное развитіе у насъ на Руси, ставши своего рода мостомъ между литературой устной и книжной, въ то же время служа для удовлетворенія художественныхъ потребностей широкихъ народныхъ неграмотныхъ и полуграмотныхъ массъ. Не излагая подробно исторіи «лубочной» литературы въ Россіи, ограничимся указаніями того, что можетъ найти изслѣдователь устной словесности въ этого рода литературѣ. «Лубочная» литература, первые образцы коей у насъ восходятъ приблизительно къ половинѣ XVII в., представлена, съ одной стороны, картинкой, снабженной соотвѣтствующей подписью, часто изложеніемъ сюжета, изображеннаго на картинкѣ, съ другой—книжкой, содержащей то или иное произведеніе, при чемъ обычно верхняя половина страницы занята картинкой, иллюстрирующей самый разсказъ книжки. Картинки въ большинствѣ случаевъ раскрашены; какъ книжка, такъ и картинка печатались съ гравированныхъ на деревѣ досокъ («лубъ», откуда и названіе картинки и книжки; позднѣе для этого примѣняется мѣдная или даже стальная доска, теперь литографія и наборъ). Будучи первое время привозной и составляя предметъ роскоши, лубочная картинка въ XVII вѣкѣ украшала собой обстановку людей богатыхъ и передовыхъ (въ царскихъ и боярскихъ хоромахъ этого времени лубочный, «фряжскій», листъ встрѣчаетъ радушный пріемъ); начиная съ XVIII вѣка, когда все наслѣдіе прежнихъ временъ начинаетъ опускаться въ средніе и низшіе слои общества, тѣснимое новой культурой и модой, и лубочный листъ съ картинкой и такая же книжка раздѣляютъ общую судьбу этого наслѣдія. Такъ доживаетъ «лубокъ» до 30-хъ годовъ XIX столѣтія, когда его, какъ замѣтную отрасль литературнаго производства, правительство подчиняетъ общей цензурѣ, послѣ чего содержаніе этой лубочной литературы начинаетъ значительно измѣняться, испытывая на себѣ всѣ послѣдствія правительственной опеки надъ народнымъ міросозерцаніемъ. Тѣмъ не менѣе и въ болѣе позднее время среди лубочныхъ изданій мы встрѣтимъ немало слѣдовъ старой традиціи въ видѣ перепечатки, иногда даже безъ передѣлки, старинныхъ книжныхъ и устно-народныхъ произведеній. Въ настоящее время ставшіе большой рѣдкостью старинные лубки усердно коллекціонируются и хранятся бережно: самое крупное и богатое по содержанію собраніе, составленное Д. А. Ровинскимъ, хранится въ Румянцевскомъ музеѣ; есть солидныя собранія въ Публичной библіотекѣ въ

Петроградѣ, въ Москвѣ въ Историческомъ музеѣ. Собраніе Ровинскаго имъ же самимъ изслѣдовано и тексты большинства извѣстныхъ до сихъ поръ лубочныхъ изданій (кончая 1839 г.) имъ научно напечатаны въ его пятитомномъ трудѣ «Русскія народныя картинки» (СПБ. 1881; Сборн. Отд. Рус. яз. и слов. И. А. Н., т. 23—27) [1]); здѣсь всѣ картинки разбиты на группы по содержанію; въ числѣ ихъ найдемъ и былины, начиная съ XVIII в., которыя такимъ образомъ должны быть отнесены къ числу «старыхъ» записей, много сказокъ (народнаго и полународнаго происхожденія), народныхъ анекдотовъ и разсказовъ, духовной легенды и т. д. Изученіе лубочной литературы въ значительной степени можетъ помочь намъ уяснить отношенія между устной и книжной словесностью не только въ XVIII и XIX вв., но и въ эпоху болѣе раннюю, давая матеріалъ для сужденія, между прочимъ, о томъ, что̀ изъ книжной литературы стало достояніемъ устной словесности, какъ эти книжные источники перерабатывались и т. д.

Вотъ приблизительно перечень того матеріала, начиная съ 30-хъ гг. и почти до нашего времени, которымъ располагаетъ исторія русской народной словесности. Я назвалъ, разумѣется, только крупнѣйшія явленія въ области этой литературы, но и этотъ матеріалъ, даже при бѣгломъ перечнѣ, своимъ объемомъ уже показываетъ, до какой степени эта устно-народная словесность богата матеріаломъ. Съ другой стороны, мы видимъ, сколько еще матеріала остается до сихъ поръ не собраннымъ, невыясненнымъ. Поэтому ясно и изученіе исторіи нашей народной словесности, получившей сразу такой богатый матеріалъ, несомнѣнно, должно было начаться очень быстро, итти очень интенсивно; съ другой стороны, это изученіе, чѣмъ дальше, тѣмъ больше обнаруживаетъ тѣ недочеты въ этомъ матеріалѣ, какъ количественные, такъ и качественные, которые еще предстоитъ пополнить или исправить, что̀ и дѣлается теперь параллельно съ изученіемъ отдѣльныхъ явленій изъ исторіи народной словесности.

Исторія изученія устной словесности. Теперь обратимся согласно нашему плану къ краткому по возможности и сжатому обзору главнѣйшихъ трудовъ по изученію исторіи устно-народной литературы.

Начало научнаго изученія русской устной словесности, разумѣется, какъ и въ области другихъ наукъ, должно было начаться тогда, когда

---

[1]) Пятый томъ содержитъ изслѣдованіе и общій обзоръ картинокъ; историко-литературный анализъ содержанія картинокъ нуждается теперь въ исправленіяхъ. Этотъ же томъ съ иллюстраціями былъ перепечатанъ (Спб. 1900). Рец. на книгу Ровинскаго см. В. В. Стасова, Ж. М. Н. П. 1882, X (также Соч. II, 594 и сл.). Изъ старшихъ работъ слѣдуетъ отмѣтить хорошую статью И. М. Снегирева „Лубочныя картинки русскаго народа въ Московскомъ мірѣ" (М. 1861).

въ распоряженіи изслѣдователя было уже достаточное количество матеріала, были и соотвѣтствующіе научные методы. Какъ собирался этотъ матеріалъ, какъ онъ постепенно опубликовывался, въ общихъ чертахъ намъ уже извѣстно. Обращаясь къ исторіи самаго изученія этого матеріала, мы видимъ, что и здѣсь, конечно, нельзя установить строгой послѣдовательности въ томъ видѣ, что сперва былъ собранъ матеріалъ, а потомъ уже начали этотъ матеріалъ разрабатывать: какъ обыкновенно бываетъ, когда набирается извѣстное количество матеріала, и даже при самомъ собираніи и систематизаціи собираемаго, является потребность дать себѣ отчетъ въ собранномъ, оцѣнить этотъ матеріалъ, и стало быть, начинается почти одновременно научная разработка его, хотя эта разработка имѣетъ характеръ лишь подготовительный. Такимъ образомъ, мы видимъ обычно, параллельно идетъ научная разработка матеріала и его собираніе, при чемъ всякій вновь найденный матеріалъ ведетъ къ опредѣленію научной цѣнности этого матеріала, такъ и ранѣе собраннаго, иначе—къ разработкѣ же или къ переработкѣ того, что было сдѣлано на основаніи прежняго, болѣе ограниченнаго матеріала. Конечно, со всѣми подробностями въ этомъ смыслѣ, какъ постепенно матеріалъ вліялъ на измѣненіе, на переработку старыхъ мнѣній, въ данномъ случаѣ въ большинствѣ случаевъ говорить намъ не придется; это завело бы насъ слишкомъ далеко въ сторону отъ нашей ближайшей цѣли—дать обзоръ главнѣйшихъ трудовъ въ области исторіи устной словесности. Я и ограничусь поэтому тѣмъ, что отмѣчу только главныя направленія въ разработкѣ матеріала устной словесности и вмѣстѣ съ тѣмъ укажу на тѣ главныя работы, которыя можно счесть наиболѣе характерными для каждаго изъ этихъ направленій, остановившись на наиболѣе цѣнныхъ въ то же время работахъ. Эти же направленія главнымъ образомъ и будутъ характеризовать тѣ методы, которые примѣнялись и примѣняются при научной разработкѣ исторіи русской устной словесности.

Начало разработки памятниковъ устно-народной словесности можно видѣть уже въ предисловіи Калайдовича къ его «Древне-россійскимъ стихотвореніямъ», о которыхъ приходилось уже говорить, какъ о первомъ научномъ изданіи памятниковъ народной словесности. Въ 1818 году вышли «Древне-россійскія стихотворенія Кирши Данилова» подъ редакціей и съ введеніемъ К. Ѳ. Калайдовича. Въ довольно большомъ предисловіи Калайдовичъ пробуетъ осмыслить, оцѣнить, указать на значеніе этихъ стихотвореній. Это были главнымъ образомъ былины; и онъ подходитъ къ нимъ съ точки зрѣнія историка. Онъ видитъ въ нихъ устную своего рода исторію, составленную не учеными, а людьми изъ народа, обнаруживающую въ себѣ взгляды этого народа на прошлое. Калайдовичъ, какъ историкъ, привыкшій къ точности, стремящійся къ ней, въ

этихъ «народныхъ» стихотвореніяхъ большого историческаго значенія не видитъ. Онъ говоритъ, что это мнѣнія людей малограмотныхъ, малосвѣдущихъ и, стало быть, они только до извѣстной степени могли бы указать на то, какъ смотрѣли прежде на тѣ или другія событія, па тѣ или другія обстоятельства въ русскомъ прошломъ; стало быть, для Калайдовича былина есть источникъ для русской исторіи, но источникъ довольно второстепенный. Съ другой стороны, Калайдовичъ не скрываетъ того, что содержаніе былинъ по самому характеру своему, по тѣмъ лицамъ, которыя въ нихъ играютъ роль (князь Владиміръ, Добрыня; Добрыню онъ считаетъ тѣмъ самымъ дядею Владиміра, о которомъ упоминаетъ лѣтопись, Садко—историческая линость XII-го вѣка), можетъ быть, какъ преданіе, сочтено очень древнимъ; но что сложены сами былины въ довольно позднее время, а собраны еще позднѣе (въ нач. XVIII-го вѣка); эти произведенія онъ готовъ считать въ значительной степени работой того же самаго Кирши Данилова, имя котораго было выставлено на томъ сборникѣ XVIII-го вѣка, который былъ у него въ рукахъ, и по которому онъ печаталъ свои «Древне-россійскія стихотворенія». Стало быть, первоначальный взглядъ на памятники народной словесности, на былины, долженъ быть характеризованъ, какъ историческій. Что касается ихъ происхожденія, то онѣ представляются скорѣе всего результатомъ личнаго творчества, при чемъ при приложеніи къ нимъ мѣрки научной, которая прилагалась къ памятникамъ историческимъ, онѣ, конечно, представляютъ не особенно высокую цѣнность. Пробуетъ Калайдовичъ опредѣлить и форму былины примѣнительно къ поэтикѣ своего времени: онъ стихъ былины считаетъ тоническимъ, кое-гдѣ видитъ «строфы». Вотъ первая попытка болѣе или менѣе осмыслить значеніе и роль въ исторіи русской культуры памятниковъ народной литературы.

Ѳ. И. Буслаевъ и ученія о народности. Послѣ Калайдовича проходитъ довольно значительное время, пока болѣе или менѣе опредѣленно стали выясняться методы и цѣли изученія устно-народной словесности. Приблизительно только въ началѣ 40-хъ гг. эти цѣли прояснились, и первымъ ученымъ, который вполнѣ ясно высказалъ опредѣленный взглядъ на устно-народную словесность, указавъ вмѣстѣ съ тѣмъ методъ ея разработки, былъ знаменитый профессоръ московскаго университета Ѳ. И. Буслаевъ (1818—1897). Если такъ поздно сравнительно началось изученіе устно-народной словесности, то зато это изученіе сразу попало въ очень хорошія руки, и сразу же оно стало пользоваться тѣми методами, которые какъ разъ въ это время примѣняются и въ западной Европѣ. Методъ, который введенъ Буслаевымъ при изученіи памятниковъ народной словесности, долженъ быть названъ прежде всего методомъ срав-

нительнымъ. Этотъ сравнительный методъ изученія памятниковъ, изученія произведеній народной словесности не былъ исключительнымъ достояніемъ этой науки. Сравнительный методъ къ 40-мъ гг. сталъ методомъ вообще научнымъ. Если этимъ методомъ пользуется какъ исторія вообще, такъ и естественныя науки (онѣ-то и были первыми, примѣнившими его научно), то, несомнѣнно, примѣнительно къ памятникамъ устно-народной словесности этотъ методъ долженъ былъ получить нѣкоторыя своеобразныя особенности, сообразно характеру самого матеріала, цѣлямъ изученія. Основа сравнительнаго метода вездѣ является одинаковой, намѣчая опредѣленно путь изученія: мы изучаемъ то или иное явленіе, желая узнать его природу, при помощи сравненія этого явленія со стороны его содержанія, характера съ другими аналогичными явленіями, подвергая ихъ въ свою очередь такому же сравнительному анализу; такое сравненіе даетъ намъ возможность выдѣлить въ данномъ явленія черты общія (генетическія) и черты частныя (индивидуальныя). Для того, напримѣръ, чтобы изучить былину объ Ильѣ Муромцѣ, вы сравниваете ее съ другими былинами, Илью—съ другими богатырями, устанавливаете общія черты, которыя характеризуютъ данную былину, какъ таковую, богатыря, какъ богатыря, устанавливаете черты, которыми Илья отличается отъ иныхъ богатырей, сравниваете былину со сказкой съ тѣмъ, чтобы установить отличіе сказки отъ былины; сравниваете съ книжными произведеніями, хотя бы съ произведеніями современныхъ поэтовъ, съ тѣмъ, чтобы путемъ сравненія выяснить разницу данной былины, какъ произведенія устной народной поэзіи, отъ поэзіи намъ современной. Вотъ—простѣйшій образецъ примѣненія сравнительнаго метода. Въ такихъ общихъ чертахъ этотъ путь изученія является единственнымъ возможнымъ; зато въ деталяхъ это общее сравненіе, примѣненіе къ его явленіямъ литературы, конечно, будетъ различно по своимъ цѣлямъ; и тутъ мы получаемъ уже право говорить о методѣ литературномъ, историческомъ, подразумѣвая при этомъ, что это методъ сравнительный, примѣняемый къ опредѣленной по характеру области, къ исторіи литературы, или историко-литературный методъ въ примѣненіи къ памятникамъ устно-народной словесности. Этотъ послѣдній путь и намѣтилъ Буслаевъ для разработки русской словесности въ томъ видѣ, какъ онъ примѣнялся уже въ западной Европѣ. Буслаевъ по своему образованію, по своему міросозерцанію былъ представителемъ одного изъ крупнѣйшихъ теченій въ русской наукѣ, въ частности европейской научной мысли. Если вы припомните исторію нашей литературы конца 30—40 гг., то вы припомните и то, что главнымъ теченіемъ, которое идетъ съ запада въ нашу художественную литературу, былъ романтизмъ. Какъ извѣстно, Пушкинъ, Жуковскій и цѣлый рядъ другихъ писателей художниковъ были пред-

ставителями этого романтизма въ приложенiи его къ русской литературѣ, къ русской жизни: въ связи съ романтизмомъ вырабатывается и художественный реализмъ, составившiй отличительную черту этой поры всей нашей литературы. И въ западной наукѣ романтизмъ также оказалъ свое влiянiе, которое нашло свое отраженiе и въ русской. Въ немногихъ словахъ сущность этого научнаго романтизма въ приложенiи къ изученiю исторiи литературы, въ частности устной, сводится къ слѣдующему. Первоначально, какъ реакцiя противъ стараго уклада жизни, главнымъ образомъ французскаго влiянiя XVII—XVIII в., романтизмъ переживаетъ нѣсколько стадiй развитiя: послѣ проповѣди свободы личности и творчества, бурнаго перiода «стремленiй и натиска», романтизмъ въ началѣ XIX в., подъ влiянiемъ событiй наполеоновщины, переживаетъ перiодъ политическихъ увлеченiй, которыя приводятъ его къ вопросамъ нацiональнаго самоопредѣленiя; эти стремленiя къ самоопредѣленiю, въ свою очередь, приводятъ романтизмъ къ рѣшенiю научныхъ проблемъ, съ одной стороны, общаго характера, философскаго (идеалистическая философiя Шеллинга и его школы, Гегеля), съ другой стороны, частнаго характера—къ идеѣ народности, выясненiю ея содержанiя, цѣнности, исторiи ея въ прошломъ. Особенный интересъ къ такому выясненiю идеи народности проявляетъ научный романтизмъ въ Германiи. Здѣсь выработалась та программа вопросовъ, разрѣшенiе которыхъ и должно было привести къ опредѣленiю народности, ея значенiя въ прошломъ и настоящемъ; такими вопросами были: что такое народность вообще и опредѣленная въ частности, напримѣръ: нѣмецкая, французская, русская и т. д.? Гдѣ искать источниковъ для яснаго представленiя объ этой народности? Эти источники и были указаны учеными романтиками. Имѣя въ виду недавнее господство во всей научной и литературной жизни западной Европы направленiя классическо-французскаго, которое предписывало свои правила, претендуя на космополитизмъ, на выраженiе общечеловѣческаго, въ жизни и литературѣ въ началѣ XIX в. является въ области науки реакцiя этому преобладанiю французскаго классическаго, которая противопоставляетъ космополитизму опредѣленную нацiональность, любовь къ своей странѣ, къ своей литературѣ и своему языку, какъ выраженiямъ этой нацiональности. Гдѣ же заключается въ литературѣ эта народность, которая противоположна по содержанiю космополитическому, построенному по французскимъ литературнымъ теорiямъ? Конечно, ее уже a priori искать нужно тамъ, гдѣ меньше всего сказалось это тяжелое влiянiе французской литературы, французской культуры, противъ которой теперь борются. А такимъ мѣстомъ оказался менѣе культурный, низшiй слой общества. Обращаясь къ изученiю мiросозерцанiя и литературы этого низшаго слоя общества, тамъ, дѣйствительно, находили такiя черты,

которыя не укладываются въ рамки космополитической теоріи; но зато эти черты являются болѣе распространенными, болѣе близкими, болѣе понятными, опредѣляютъ собою индивидуальную физіономію группы. Изъ этого наблюденія дѣлается заключеніе въ сторону народности: если подъ народностью надо подразумѣвать совокупность индивидуальныхъ, культурныхъ чертъ, отличающихъ одну группу людей отъ другихъ, то черты, отличающія данную группу отъ другой, характеризуемой чертами космополитической французской культуры, будутъ именно характерными для народности, какъ таковой: сгруппировавъ, опредѣливъ эти черты, мы и получимъ представленіе о данной народности. Относительная цѣнность найденныхъ такимъ образомъ индивидуальныхъ чертъ народности опредѣляетъ собою и степень самобытности этой народности: чѣмъ эти черты болѣе индивидуальны, тѣмъ онѣ характернѣе для данной народности, тѣмъ выше должны быть самобытность, чистота этой народности. Цѣнность же эта опредѣляется главнымъ образомъ исторіей: чѣмъ черты, считающіяся присущими данной народности, старше, исконнѣе, тѣмъ будетъ старше и чище, самобытнѣе сама народность въ прошломъ, а стало быть, тѣмъ болѣе права будетъ она имѣть на самобытное существованіе и теперь, и въ будущемъ. Такова въ общемъ схема романтиковъ, поклонниковъ народности. Присматриваясь къ культурѣ и литературѣ низшихъ классовъ общества, составляющихъ большинство (сравнительно съ интеллигенціей) данной группы, какъ мы сказали, въ этихъ слояхъ находили въ силу, чѣмъ ниже, тѣмъ болѣе слабаго вліянія чужой культуры, именно сохраненными тѣ индивидуальныя черты, которыя были въ высшихъ слояхъ стерты нивеллирующей, космополитической чужой культурой. Это, естественно, ведетъ къ интенсивному изученію міросозерцанія, и прежде всего литературы, какъ выраженія этого міросозерцанія, низшихъ слоевъ общества, и изученіе это, переходящее все болѣе въ идеализацію народныхъ массъ, какъ хранителей драгоцѣнныхъ чертъ народной самобытности, получаетъ подъ вліяніемъ борьбы за свободу, наступившей при ликвидаціи наполеоновскаго имперіализма, все большее и большее значеніе въ наукѣ и жизни западной Европы. Въ силу этого и устная литература, какъ главное выраженіе національныхъ чертъ, начинаетъ пользоваться особымъ вниманіемъ у ученыхъ изслѣдователей начала XIX в. И это увлеченіе жизнью и литературой низшихъ классовъ тѣмъ становится ярче послѣ того аристократическо-презрительнаго отношенія къ толпѣ, черни, какими отмѣченъ XVIII в. среди передовыхъ классовъ общества. Такъ было у романтиковъ на Западѣ. То же самое приблизительно произошло и у насъ. Какъ уже намъ извѣстно, въ русской литературѣ съ конца XVIII столѣтія появляется стремленіе къ самоопредѣленію. Подъ вліяніемъ романтическаго теченія западно-

европейскаго это самоопредѣленіе идетъ тѣмъ же самымъ путемъ, что́ и въ западной Европѣ. Послѣ высокомѣрнаго отношенія XVIII вѣка къ «подлой черни», какъ къ людямъ мало культурнымъ, которые не говорятъ и не мыслятъ по-французски, поэтому и не заслуживаютъ названія культурныхъ людей, и въ отношеніи къ крѣпостному народу, который лишенъ правъ, лишенъ зачатковъ культурной жизни, какъ ее понимали господствующіе классы, замѣчается поворотъ. Такъ же, какъ и на Западѣ, у насъ начинаютъ присматриваться къ этому народу, интересоваться его бытомъ, начинаютъ этотъ народъ цѣнить, жалѣть, а вмѣстѣ съ тѣмъ поднимается извѣстная волна борьбы противъ крѣпостного права, приводящая лучшихъ людей (Новиковъ, Радищевъ, Пнинъ и др.) къ сознанію необходимости уничтоженія этого института, прежде всего изъ уваженія къ человѣческой личности, какъ таковой, потому что и крѣпостной крестьянинъ имѣетъ такія же права человѣческія, какъ и его баринъ-помѣщикъ и т. д. Стало быть, мѣстныя условія и вліяніе Запада вмѣстѣ имѣли результатомъ то, что и у насъ въ началѣ XIX ст. стали изучать народъ подъ тѣмъ же угломъ зрѣнія, что и въ Германіи. Въ Германіи же тѣмъ временемъ дѣло идетъ дальше. Когда здѣсь убѣдились въ томъ, что литература низшихъ классовъ представляетъ весьма важный матеріалъ для изученія міросозерцанія національнаго, пришлось поставить вопросъ: что же въ міросозерцаніи этого класса дѣйствительно представляется цѣннымъ: все ли, или лишь нѣкоторыя отдѣльныя черты? Какъ выдѣлить эти черты? Въ значительной степени въ глазахъ изслѣдователей народности получаетъ значеніе принципъ историческій: они предполагаютъ, что въ болѣе отдаленное время черты народности были виднѣе, чище, не будучи еще затерты посторонними вліяніями, стало быть: чѣмъ та или иная черта древнѣе, тѣмъ больше увѣренности, что она исконная, національная. Такимъ образомъ, цѣлью изслѣдователей становится отысканіе древнихъ чертъ народности изъ-подъ слоя болѣе поздняго, не національнаго. Тутъ къ услугамъ изслѣдователя и является сравнительный методъ въ томъ его видѣ, какъ онъ примѣнялся къ языку въ недавно народившейся тогда наукѣ сравнительнаго языкознанія. Методъ сравнительнаго языкознанія представленъ, можетъ быть, въ своемъ простѣйшемъ видѣ въ слѣдующемъ [1]): существующіе теперь отдѣльные языки человѣчества, отдѣльныхъ его группъ, которые настолько разнятся между собою, что каждый изъ этихъ языковъ представляется самостоя-

---

[1]) Болѣе подробно излагается система сравнительнаго языкознанія въ спеціальныхъ курсахъ, въ частности во „введеніяхъ въ сравнительное языкознаніе“ (напр., В. К. Поржезинскаго, А. И. Томсона и др.).

тельнымъ, не всегда были въ такомъ положеніи. Языкъ, какъ живой организмъ, измѣняется такъ же, какъ всякое органическое существо, какъ человѣкъ, какъ извѣстная группа людей: развивается, растетъ, умираетъ. Если мы возьмемъ рядъ хотя бы европейскихъ отдѣльныхъ теперь языковъ, то путемъ ихъ сравненія мы замѣтимъ, что въ ихъ прошломъ, чѣмъ дальше мы отойдемъ отъ нашего времени, тѣмъ больше мы находимъ между этими языками точекъ соприкосновенія; такія точки соприкосновенія въ области словаря (корней), звуковъ, грамматическаго строя указываютъ, что изучаемый языкъ въ прежнее время въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ былъ инымъ, чѣмъ мы находимъ его теперь, стоялъ ближе къ другимъ, былъ имъ родственнымъ. Названія, напримѣръ, степеней родства (мать, братъ, зять и т. п.) почти одинаково звучатъ въ цѣломъ рядѣ языковъ: это даетъ возможность предполагать, что во всѣхъ этихъ языкахъ эти слова восходятъ къ общимъ корнямъ. Сравнивая далѣе рядъ языковъ между собою не только въ области корней словъ, но и грамматическаго строенія (ихъ фонетическое строеніе, морфологическую сторону, спряженіе, склоненіе), замѣчаемъ, что и въ этомъ отношеніи отдѣльные языки представляютъ между собою отдѣльныя группы, т.-е. являются родственными между собою. Если теперь они не признаютъ себя сродни другъ другу въ силу преобладанія чертъ несходства, то языкознаніе даетъ намъ вѣскія указанія, что когда-то это соотношеніе было болѣе близкимъ. Языкознаніе и старается установить для родственныхъ языковъ рядъ группъ, которыя въ свою очередь когда-то представляли собою болѣе родства, нежели мы видимъ въ настоящее время. Въ концѣ-концовъ доходимъ до извѣстнаго представленія о праязыкѣ, т.-е., языкѣ-родителѣ. Представьте себѣ этотъ языкъ, какъ языкъ очень древній, который впослѣдствіи распался на отдѣльные частные языки, которые въ свою очередь разбивались каждый на новые языки, а эти все дальше и дальше, и, отходя одинъ отъ другого, становились все болѣе и болѣе другъ другу чужды. Такимъ образомъ построена была извѣстная теорія Боппа и Шлейхера, иначе называемая «родословнымъ древомъ» языковъ: подобно генеалогическимъ деревьямъ, и эту схему взаимоотношенія языковъ рисовали въ видѣ вѣтвистаго дерева, гдѣ отъ общаго ствола (праязыка) идутъ вѣтви (отдѣльныя группы родственныхъ языковъ), въ свою очередь дающія отвѣтвленія (существующіе до сихъ поръ языки). Для большинства европейскихъ языковъ такимъ путемъ сравнительнаго изученія была установлена отдѣльная группа, названная арійской или индо-европейскимъ праязыкомъ. Эта группа особенно детально была изучена, въ результатѣ получилось утвержденіе, что индо-европейскій праязыкъ существовалъ въ отдаленныя, до-историческія времена, а потомъ также еще весьма давно онъ сталъ распадаться. Онъ распался сначала

на двѣ группы, одна изъ этихъ группъ оказалась въ Азіи, другая распространилась по Европѣ; и та и другая теперь независимо стали въ свою очередь раздѣляться, и такимъ образомъ получалось постепенное дробленіе, которое, наконецъ, доводитъ насъ до того языка, который мы знаемъ теперь. Отсюда—выводъ, что тѣ народы, которые теперь принадлежатъ къ индо-европейскому племени, когда-то въ отдаленномъ прошломъ представляли одно племя, которое жило одной общей жизнью, поэтому пользовалось одинаковыми понятіями, одинаковымъ болѣе или менѣе выраженіемъ этихъ понятій, и бытъ этого племени былъ болѣе или менѣе однообразный. Какимъ образомъ представить себѣ бытъ этого народа? Для этого, говорили изслѣдователи національности, у насъ средство въ томъ же языкѣ. Если извѣстное понятіе, извѣстное выраженіе является общераспространеннымъ въ рядѣ родственныхъ языковъ, напримѣръ, понятія «мать», «отецъ», «братъ», которыя одинаково звучатъ и обозначаютъ одно и то же понятіе въ греческомъ, латинскомъ, нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ, то ясно, что понятіе о семьѣ (безъ котораго самое понятіе «мать», «отецъ», «братъ» не мыслимы) восходитъ у даннаго народа къ индо-европейскимъ временамъ, потому что иначе, если бы эти понятія явились позже, то каждый изъ сравниваемыхъ языковъ выработалъ бы эти понятія по-своему, и названія не сходились бы. Отсюда дѣлаютъ заключеніе, что уже въ индо-европейскія времена предки теперешнихъ, когда-то близко родственныхъ, народовъ обладали понятіемъ о семьѣ: бытъ ихъ уже не былъ первобытнымъ. Обратимся, напримѣръ, къ орудіямъ земледѣлія. Оказывается, что орудія земледѣлія—плугъ, коса и др.—являются также обще индо-европейскими [1]): ясное дѣло, что еще въ индо-европейскую эпоху существовало земледѣліе у предковъ теперешнихъ нѣмцевъ, славянъ и др. Такимъ образомъ, путемъ элементарныхъ сравненій отдѣльныхъ языковъ переходимъ къ характеристикѣ того отдаленнаго времени съ точки зрѣнія культуры, до котораго не доходятъ историческіе памятники; такое сравнительное изученіе языковъ позволяетъ изслѣдователю быта, исторіи данной народности заглянуть въ отдаленные уголки старины, жизни человѣческой. Примѣняя эту схему и методъ изученія языка къ данному современному народу, напримѣръ, къ нѣмцамъ, мы приходимъ къ тому выводу, что до

---

[1]) Рядъ такихъ примѣровъ (а также указанія и на древніе элементы заимствованія) приведенъ въ брошюрѣ Р. Ѳ. Брандта „Черты доисторическаго быта славянъ по даннымъ языка“ (Памятка смоленская, 1911. Память открытія Смоленскаго Отдѣленія Московскаго Археологическаго Института). Обширный матеріалъ того же характера собранъ въ (неоконченномъ) изслѣдованіи А. С. Будиловича „Первобытные славяне въ ихъ языкѣ, бытѣ и понятіяхъ, по даннымъ лексикальнымъ“. Вып. 1, 2, 3. (Кіевъ 1878—81, изъ Извѣстій И. Ф. Института кн. Безбородка въ Нѣжинѣ).

сихъ поръ въ нѣмецкомъ языкѣ сохранились тѣ или другія понятія и обозначенія ѳтихъ понятій, которыя восходятъ къ индо-европейской эпохѣ, отсюда—выводъ, что тѣ особенности, которыми теперь отличаются нѣмцы отъ французовъ, нѣмцы отъ русскихъ, явились, съ одной стороны, болѣе поздно, съ другой, они частью восходятъ у всѣхъ этихъ народовъ къ индо-европейскому времени, т.-е., что нѣмецкая народность существовала много столѣтій, а, можетъ быть, тысячелѣтій до Р. Х. Говоря иначе, романтиками-народниками данныя языковѣдѣнія примѣнены были для выдѣленія элементовъ для исторіи извѣстнаго народа, при чемъ обыкновенно, чѣмъ древнѣе время, тѣмъ эта народность представляется болѣе ярко выраженной, болѣе самостоятельной, болѣе типичной. Такимъ образомъ методъ сравнительнаго языкознанія примѣнялся любителями народности. Въ Германіи во главѣ подобныхъ изученій стоялъ Яковъ Гриммъ, который извѣстенъ въ то же время, какъ собиратель сказокъ, какъ составитель словаря нѣмецкаго языка, какъ авторъ «Германскихъ древностей», «Германской миѳологіи». Гриммъ, вооруженный методомъ и результатами сравнительнаго языкознанія своего времени, горячій поклонникъ идеи народности, въ частности своей, нѣмецкой, вышелъ первымъ на опредѣленный путь. Онъ не только сталъ доказывать глубокую древность германской народности, а, стало быть, и права ея на самобытность (что̀ было важно для его цѣлей), не только старался представить себѣ эту народность со стороны языка: онъ попробовалъ пойти дальше, стараясь въ возможно реальныхъ чертахъ, даваемыхъ языкомъ, археологіей, устной литературой, возстановить въ цѣльной картинѣ бытъ древняго германца, указавъ его отличительныя (главнымъ образомъ положительныя) черты, которыя, пережпвъ вѣка, сохраняются, хотя часто и въ иной формѣ, донынѣ. При такой цѣли ограничиться лишь данными языка, какъ такового, нельзя было. Данныя лигвистики получили въ его работѣ иное примѣненіе, расширеніе въ области исторіи духовной культуры. Языкъ будетъ выраженіемъ настроенія, выраженіемъ практической потребности древняго человѣка, и несомнѣнно, если мы замѣчаемъ родство между двумя народностями и по языку, то родство это будетъ распространяться и дальше. Понятія, которыя выражаются при помощи языка, будутъ, разумѣется, совпадать, но комплексъ этихъ понятій точно такъ же можетъ восходить къ индо-европейской эпохѣ у этой народности. И по отношенію къ міросозерцанію Гриммъ дѣлаетъ шагъ, такимъ образомъ, отъ языка къ литературѣ и блестящимъ образомъ доказываетъ родство и духовныхъ культуръ индо-европейскихъ народовъ, поскольку онѣ нашли себѣ выраженія въ народной литературѣ. По крайней мѣрѣ, для того времени эти выводы Гримма не подлежали никакому сомнѣнію. Для примѣра онъ беретъ сохранявшуюся до недавняго времени въ устахъ нѣм-

цевъ сказку, находитъ ей параллели у всѣхъ индо-европейскихъ народностей или у большинства ихъ. Сюжетъ этой сказки, стало быть, древній, былъ въ устной литературѣ еще того пра-народа, отъ котораго идутъ теперь нѣмцы и отдѣльныя народности, у которыхъ этотъ сюжетъ нашелся; такимъ образомъ, нѣмцы до сихъ поръ сохранили, несмотря на рядъ вѣковъ и постороннія вліянія, въ своей устной литературѣ сюжетъ, тему индо-европейскую, а это важное пріобрѣтеніе для патріота-изслѣдователя своей народности... Какъ Гриммъ это дѣлалъ, можно пояснить примѣромъ: возьмемъ извѣстное сказаніе, находящееся въ Одиссеѣ, и нѣмецкую сказку о Кривомъ кузнецѣ (русская сказка о Лихѣ одноглазомъ), сюжетъ одинъ и тотъ же; отсюда получается выводъ: сказка встрѣчается въ литературѣ трехъ народностей: нѣмцевъ, русскихъ и грековъ, и есть поэтому ихъ общее достояніе. Чѣмъ это объясняется? Объясняется это тѣмъ, что сюжетъ этотъ древній, до-историческій, онъ былъ уже въ то время у предковъ этихъ народовъ, когда они жили еще вмѣстѣ общей жизнью, общей литературой, т.-е. въ эпоху индо-европейскую. Это—время той отдаленной индо-европейской эпохи, къ возстановленію которой стремится лингвистъ и историкъ литературы, и историкъ народности. Такимъ образомъ получается первая попытка создать исторію литературы при помощи сравнительнаго метода.

Школа миѳологовъ. Этотъ-то методъ возстановленія индо-европейской старины въ русско-устной литературѣ, при помощи сравнительнаго изученія литературы и языка, впервые въ широкой степени и былъ проведенъ въ русской наукѣ Ѳ. И. Буслаевымъ. Гриммъ былъ не только основателемъ исторіи нѣмецкаго языка и народности: онъ извѣстенъ въ нѣмецкой наукѣ и какъ создатель германской миѳологіи, основатель сравнительной миѳологической школы, вообще—цѣлаго направленія, составившаго эпоху въ изученіи устной словесности, не только у нѣмцевъ, но и у насъ. Сущность воззрѣній этой школы заключается въ томъ, что тотъ же сравнительный методъ, который указалъ путь, какъ искать и находить древнѣйшіе элементы въ современномъ быту или въ современной устно-народной литературѣ, какъ возстановить древнѣйшіе элементы или отдѣльные сюжеты въ данной литературѣ, восходящіе къ индо-европейской порѣ, этотъ же методъ приложенъ и къ объясненію этихъ элементовъ, какъ выраженія міросозерцанія. Изучая элементы народности въ литературѣ, Гриммъ обратился къ изученію народныхъ вѣрованій, выраженныхъ въ литературѣ, бытѣ. Онъ исходитъ изъ того безусловно правильнаго положенія, что всякая литература есть, прежде всего, отраженіе воззрѣній, міросозерцанія извѣстной народности. Изученіе тѣхъ народностей, у которыхъ это соотношеніе между бытомъ, міросозерцаніемъ и выра-

женіемъ этого міросозерцанія въ литературѣ является наиболѣе яснымъ, именно, у народностей классическаго міра, представляется наиболѣе подходящимъ образцомъ для изслѣдователя этого взаимоотношенія и у другихъ родственныхъ народностей. Наблюденія же надъ народами классическими несомнѣнно показываютъ, что міросозерцаніе человѣка, отражавшееся въ его народной литературѣ, связано, прежде всего, съ религіозными представленіями человѣка, т.-е., что первыми памятниками литературы являются,. прежде всего, тѣ, которые выражаютъ его религіозныя вѣрованія, по той простой причинѣ, что бытъ, религія, по. мнѣнію Гримма, прежде всего, есть выраженіе отношеній человѣка къ окружающему его внѣшнему міру. Въ общемъ, ему представляется дѣло такимъ образомъ: первобытная народность живетъ въ очень примитивныхъ условіяхъ; это значитъ, что она находится въ тѣснѣйшей зависимости отъ внѣшней обстановки, прежде всего представляемой природой и ея явленіями; съ этой обстановкой человѣкъ борется, къ ней приспособляется, какъ къ чему-то лежащему внѣ его власти; эта обстановка оказываетъ на него двоякое впечатлѣніе: или она ему благопріятствуетъ, или вредитъ. Благопріятствуетъ она ему тѣмъ, что помогаетъ лучше устроиться, даетъ возможность лучшаго существованія, неблагопріятна — потому, что она мѣшаетъ ему устроиться лучше, исполнять свои желанія, грозитъ опасностью, даже смертью, заставляетъ принимать мѣры для самозащиты, борьбы съ тяжелыми для него явленіями. Такія условія быта, опредѣленіе ихъ въ сознаніи первобытнаго человѣка и составляютъ основу: иначе, это и есть первобытная религія, центромъ которой являются силы природы, религія природы, по мнѣнію Гримма. На этой почвѣ у человѣка зарождается понятіе о божествѣ, двоякое отношеніе этихъ силъ (онѣ же—божества) къ нему ведетъ къ дуализму въ представленіи человѣка: представленію о божествѣ добромъ и божествѣ зломъ. Доброе божество онъ старается задобрить, чтобы оно было еще добрѣе, помогало ему, благодарить его за оказанное благодѣяніе, злое божество онъ старается также умиротворить, чтобы оно перестало ему вредить, защищается отъ него при помощи божества добраго, привлекая доброе божество противъ злого. Это есть основное содержаніе религіи, а словесное выраженіе этой религіи и есть содержаніе первобытной литературы; это и есть то, чтó мы видимъ у грековъ и называемъ миѳомъ; стало быть, миѳъ есть выраженіе въ конкретныхъ образахъ и въ разсказахъ о дѣйствіяхъ, отношеніяхъ человѣка къ окружающему и отдѣльныхъ элементовъ этой окружающей его природы между собою. Въ этомъ сущность миѳа. Такимъ путемъ Гриммъ пришелъ къ установленію тѣсной связи между религіей, миѳомъ и выраженіемъ ихъ—литературой первобытнаго на-

рода. Обращаясь къ языку, онъ находитъ тамъ подтвержденіе своего построенія: исторія отдѣльныхъ словъ, изучаемая сравнительно, вскрываетъ передъ нимъ ихъ первоначальное, теперь забытое, значеніе: оно тѣсно связано у всѣхъ родственныхъ народовъ съ религіозными представленіями того порядка, какой Гриммъ возсоздалъ для себя на основаніи изученія первобытной культуры. Такимъ образомъ, матеріалъ сравнительнаго изученія языковъ, литературныхъ сюжетовъ, быта, получаетъ свое объясненіе: это выраженіе міросозерцанія народа, прежде всего, религіознаго, т.-е., литература первобытнаго народа—прежде всего матеріалъ для его миѳологіи. Обращаясь къ германцамъ, ради которыхъ онъ предпринялъ всѣ эти изученія, онъ видитъ, что и въ германскихъ вѣрованіяхъ болѣе поздняго времени въ видѣ переживанія, окаменѣлости, затемненнаго образа, намека, уже непонятнаго современникамъ, сохраняются до сихъ поръ древнѣйшія вѣрованія; только они засорены, затерты до неузнаваемости позднѣйшей исторической обстановкой; но стоитъ лишь умѣло, примѣняя сравнительный методъ, сколотъ позднѣйшія наслоенія, разбить эту шелуху, и ядро чистой древней религіи съ ея миѳами явится передъ нами во всей своей красотѣ. Онъ всюду и разыскиваетъ эту миѳологію, старается подмѣтить тѣ черты, которыя могутъ быть, путемъ сравненія, возведены къ доисторической эпохѣ, когда миѳъ былъ еще живымъ словомъ, и указывать на германскія вѣрованія, которыя нашли свое выраженіе въ литературѣ и черезъ нее безсознательно сохранились. Онъ собираетъ старыя нѣмецкія поговорки, пѣсни, сказки, въ нихъ видитъ отраженіе тѣхъ же доисторическихъ, индо-европейскихъ вѣрованій. Такимъ образомъ, Гриммъ, начавши съ изученія языка, кончаетъ цѣлой теоріей и заранѣе предсказываетъ, что древнѣйшій бытъ—это будетъ бытъ, тѣсно связанный съ миѳологіей; эта языческая старина народа будетъ обязательно восходить къ глубокой древности, къ индо-европейской эпохѣ. Получилась очень соблазнительная, лестная для патріота-изслѣдователя, теорія, по которой можно на основаніи сравнительно поздняго матеріала возстановить древнѣйшую эпоху жизни народа, о которой не смѣетъ мечтать историкъ, работающій по документамъ. При талантливости, остроуміи, поэтическомъ настроеніи и увлеченіи самого изслѣдователя, получалась картина очень красивая, цѣльная, но идеализированная, идеальная, поэтичная большею частью потому, что въ любовномъ увлеченіи народностью, изслѣдователи-романтики отмѣчали преимущественно положительныя черты воображаемаго ими прошлаго, не замѣчая чертъ отрицательныхъ. Все покрылось дымкой поэзіи, и наука сама стала въ значительной степени слугой поэзіи по преимуществу: ея цѣль возстановить старину, а старина, конечно,—поэтическая для Гримма.

Такая-то теорія попала въ руки Буслаева, когда онъ начиналъ свою дѣятельность. Одинъ изъ ближайшихъ русскихъ учениковъ бр. Гриммовъ построеніе, которое они создали и примѣнили по отношенію къ нѣмецкой литературѣ, Буслаевъ пробуетъ примѣнить къ русской литературѣ, къ русской народности въ ея прошломъ. Какъ разъ ко времени Буслаева усердно собирается и у насъ устная словесность, за которой закрѣпляется репутація, какъ наиболѣе чистой хранительницы древнихъ преданій. Памятники устной словесности, а также старой письменности, обратившіе уже на себя вниманіе ученыхъ, подъ перомъ Буслаева получаютъ толкованіе сравнительно-миѳологическое, въ то же время сильно окрашенное тѣми же романтическими чертами, которыя присущи романтической наукѣ въ Германіи. Буслаевъ былъ однимъ изъ лучшихъ представителей этого направленія. Ученики Буслаева и младшіе его современники доходятъ, однако, уже до крайности въ примѣненіи схемъ миѳологической школы, что̀ и повлекло за собой паденіе этого направленія и смѣну его инымъ, болѣе научнымъ, хотя менѣе поэтическимъ. То же самое происходитъ и въ Германіи, но нѣсколько раньше.

Сравнительно историческое изученіе народной словесности въ связи съ бытомъ, предпринятое Буслаевымъ, выразилось въ рядѣ его большихъ изслѣдованій и статей, посвященныхъ отдѣльнымъ вопросамъ. Пользуясь всѣмъ тѣмъ матеріаломъ, которымъ располагала въ это время русская научная литература, привлекая обильно данныя и западной науки, Буслаевъ пробуетъ возсоздать древнѣйшій народный бытъ и народныя воззрѣнія русскаго племени, и отчасти племени славянскаго, какъ близко родственнаго русскому. Онъ устанавливаетъ въ нашемъ прошломъ цѣлый рядъ такъ называемыхъ миѳологическихъ вѣрованій, указываетъ на характеръ этихъ вѣрованій, доказываетъ ихъ тождество съ вѣрованіями другихъ индо-европейскихъ народностей, при чемъ онъ очень обильно пользуется данными языка, какъ спеціально образованный лингвистъ [1]. Но Буслаевъ въ отличіе отъ своего нѣмецкаго учителя Гримма, вноситъ и нѣчто новое въ изученіе устно-народной словесности. Для него изученіе носитъ характеръ не только чисто-научнаго изслѣдованія, не только выражаетъ патріотизмъ народника-ученаго, но пріобрѣтаетъ также характеръ общественный. Онъ указываетъ, что изученіе своей народности есть обязанность всякаго человѣка, что въ этомъ изученіи своего народа заключается не только удовле-

---

[1]) Ѳ. И. Буслаевъ былъ въ тоже время однимъ изъ первыхъ у насъ представителей сравнительнаго языкознанія и, вмѣстѣ съ А. Х. Востоковымъ, основателемъ исторіи русскаго языка.

твореніе поэтическаго и патріотическаго чувства людей, но и высоко нравственный принципъ, что нравственная обязанность каждаго человѣка быть болѣе или менѣе знакомымъ научно съ своей народностью. Этотъ именно нравственный принципъ, привнесенный Буслаевымъ въ изученіе народа, и составляетъ отличительную черту Буслаева и нѣкоторыхъ послѣдователей русской школы, изучавшихъ эту народность (напр., Ор. Ѳ. Миллера). Это привнесеніе нравственнаго принципа несомнѣнно вліяетъ на самый методъ у Буслаева. Эта точка этическая, нравственная, въ въ то же время общественная, защищаетъ Буслаева отъ тѣхъ крайностей, которымъ подвергалась при примѣненіи эта школа изученія народной словесности, какъ у многихъ его русскихъ современниковъ (напр., Аѳанасьева), такъ и въ нѣмецкой литературѣ. Онъ указываетъ, что изучать древнюю устную словесность, восходящую несомнѣнно къ отдаленнымъ временамъ, мы обязаны не только изъ уваженія къ быту народа, но изъ уваженія къ правдѣ; поэтому, мы не должны закрывать глаза на цѣлый рядъ явленій, которыя, можетъ быть, не подтвердятъ нашего идеалистическаго, заранѣе составленнаго взгляда на тотъ или другой народъ: Буслаевъ требуетъ во имя правды нравственнаго, объективнаго отношенія къ предмету изученія. Такимъ образомъ, то увлеченіе народомъ, которое прежде всего разыскивало положительныя стороны въ этой народности, стремясь подчеркнуть величіе народа въ прошломъ (какъ дѣлали славянофильствующіе изслѣдователи), а равно и высокомѣрное отношеніе къ народной литературѣ, какъ не высокой по культурному уровню (какъ это проскальзываетъ у западничествующихъ изслѣдователей), въ значительной степени уравномѣрены у Буслаева чисто-историческимъ, объективнымъ, но не безстрастнымъ отношеніемъ къ предмету изученія. Это отношеніе къ народу облегчило Буслаеву работу въ дальнѣйшемъ развитіи научнаго направленія. Къ дальнѣйшей порѣ дѣятельности Буслаева намъ придется обратиться еще не разъ, потому что ученая дѣятельность Буслаева продолжалась 50 слишкомъ лѣтъ, и Буслаеву пришлось пережить и высказать свое отношеніе къ цѣлому ряду новыхъ направленій, появившихся въ русской наукѣ въ послѣдующее время. Раннія работы Буслаева, которыя характеризуются приблизительно такимъ образомъ, какъ мною только что указано, собраны имъ были въ свое время въ большой двухтомный сборникъ: это—такъ наз. «Историческіе очерки народной русской словесности и искусства», куда вошли его статьи 40 и 50 гг. («Очерки» вышли въ 1861 году). Статьи, помѣщенныя въ этомъ сборникѣ, особенно въ первомъ его томѣ, посвященномъ устной народной словесности, даютъ намъ, дѣйствительно, отчетливое представленіе о сравнительно-миѳологическомъ методѣ, какъ онъ примѣнялся лучшимъ изъ изслѣдователей народной словесности

въ 50-хъ гг. Съ фактической стороны, эти работы значительно устарѣли; мы теперь обладаемъ гораздо бо́льшимъ матеріаломъ, благодаря самому же Буслаеву, позднѣе много привлекшему въ научный обиходъ новаго матеріала. Теперь мы не придерживаемся и этихъ научно-романтическихъ взглядовъ даже въ той мѣрѣ, въ какой держался болѣе или менѣе осторожный Буслаевъ; но тѣмъ не менѣе Буслаевымъ подняты такого рода вопросы, рамки изученія устной словесности раздвинуты настолько широко, что многія идеи, впервые намѣченныя Буслаевымъ при тогдашнемъ скудномъ матеріалѣ, которымъ располагала русская наука, и до настоящаго времени остаются еще не разработанными; часто направленіе, отправная точка въ рѣшеніи цѣлаго ряда вопросовъ, высказанная Буслаевымъ, остаются въ силѣ и до настоящаго времени, уже чуждаго той окраски романтизма, которая сквозитъ въ раннихъ работахъ Буслаева. Несомнѣнно, изъ этого не будетъ слѣдовать, что мы непосредственно должны будемъ воспринять въ данномъ случаѣ цѣликомъ воззрѣнія Буслаева, но несомнѣнно и то, что работы Буслаева по этимъ вопросамъ должны быть приняты во вниманіе и теперь: они являются исходнымъ пунктомъ для дальнѣйшей работы и въ наше время, для пониманія самаго хода нашей науки. Этимъ объясняется, почему намъ до сихъ поръ постоянно приходится обращаться къ «Очеркамъ» Буслаева. Такой же характеръ до нѣкоторой степени носятъ и другія статьи Буслаева, которыя помѣщены въ другомъ сборникѣ его статей, который носитъ названіе «Досуговъ» (2 тома 1886 г., куда вошли работы его 60-хъ и 70-хъ гг., но отчасти и 50-хъ). И здѣсь, хотя и въ меньшей степени, но все же есть слѣды народно-миѳологическаго направленія. Но въ этихъ же двухъ сборникахъ работъ Буслаева мы замѣчаемъ у него переходъ къ новымъ направленіямъ, къ новому примѣненію сравнительно-историческаго метода. Первый сборникъ, какъ мы видѣли, называется «Очерками русской народной литературы и и с к у с с т в а». Область искусства впервые введена въ область изученія русской народной литературы именно Буслаевымъ. Буслаевъ настаивалъ на совершенно правильномъ съ психологической точки зрѣнія убѣжденіи, что если миѳологія, религіозныя сказанія (будутъ ли они правильно истолкованы, или нѣтъ—безразлично) представляютъ собою средство выраженія народнаго міросозерцанія, то несомнѣнно, не только одна устная словесность явилась выраженіемъ этого міросозерцанія. Проявилось это міросозерцаніе въ цѣломъ рядѣ областей, входящихъ въ область человѣческой дѣятельности, быта, и въ томъ числѣ въ области искусства. Буслаевъ впервые, именно, и устанавливаетъ во второмъ томѣ своихъ «Очерковъ» тѣсную связь между произведеніями устной словесности и между произведеніями искусства на почвѣ психологіи

творчества. Это народное искусство выражается не только въ словахъ, т.-е., произведеніяхъ словеснаго искусства: оно выражается и въ памятникахъ изобразительнаго искусства. Проникнутый чувствомъ народности художникъ-миніатюристъ, писецъ рукописей переноситъ непосредственно свой народный взглядъ въ область искусства: рисуетъ онъ миніатюру «Страшнаго суда»—картина несомнѣнно въ основѣ своей евангельская, или, во всякомъ случаѣ, созданная внѣ русской народности,—но она, воспроизведенная русскимъ художникомъ-рисовальщикомъ, будетъ несомнѣнно нести на себѣ слѣды и его воззрѣній: въ деталяхъ, въ мелочахъ, въ самой композиціи иногда выражаются такія воззрѣнія, которыя въ сущности восходятъ къ его народнымъ, иногда дохристіанскимъ и доисторическимъ представленіямъ; таковы, напр., представленія объ огненной рѣкѣ, о вѣчномъ огнѣ, о мукахъ, о змѣѣ, о сатанѣ, которые являются видными элементами въ композиціи о «Страшномъ судѣ». Если онъ рисуетъ того змѣя-искусителя рода человѣческаго, про котораго говоритъ пришлое сказаніе, то изображаетъ его въ такихъ чертахъ, въ какихъ рисуетъ его ему чисто-народное представленіе въ видѣ змѣя-дракона (сказокъ, напримѣръ); рисуя огненную рѣку, которая протекаетъ посрединѣ картины «Страшнаго суда», онъ видитъ въ ней не только границу между грѣшными и праведными, какъ ее изображаетъ христіанская литература, но она рисуется ему той миѳологической, фантастической, поэтической огненной рѣкой, о которой онъ знаетъ изъ устно-народныхъ сказаній, изображаетъ ее именно въ тѣхъ чертахъ, которыя подсказаны устной народной словесностью. Т. о. взаимодѣйствіе между областью изобразительнаго искусства и искусства словеснаго Буслаевымъ установлено въ «Очеркахъ» совершенно опредѣленно. Этотъ взглядъ проведенъ Буслаевымъ послѣдовательно и въ его послѣднемъ трудѣ, уже спеціально посвященномъ исторіи искусства—въ «Лицевомъ Апокалипсисѣ» (1884 г.). Но область изученія устно-народной словесности Буслаевымъ расширена еще и много дальше. Въ буслаевское время подъ вліяніемъ старшихъ, исторически сложившихся представленій, поддержанныхъ школой Гримма, письменная литература болѣе образованныхъ классовъ противополагалась литературѣ некультурнаго народа, съ явнымъ предпочтеніемъ въ народническихъ кругахъ этой послѣдней. Такой взглядъ, хотя и исторически сложившійся, несомнѣнно, съ научной объективной точки зрѣнія долженъ быть сочтенъ одностороннимъ: если «народная» устная литература (т.-е. простонародная теперь) заключаетъ въ себѣ богатый матеріалъ для сужденія о русской народности, то отсюда не слѣдуетъ, что литература письменная (образованныхъ классовъ нашего и прежняго времени) будетъ потому самому не народна, не будетъ давать матеріала для сужденія

о нашей народности. Буслаевъ, какъ представитель научнаго, широкаго и объективнаго пониманія народности, на такомъ представленіи, несмотря на всю свою любовь къ устной литературѣ, остановиться не могъ. Въ своей актовой рѣчи «О народной поэзіи въ древне-русской литературѣ» (М. 1859) [1]), онъ на рядѣ примѣровъ доказываетъ, что черты народнаго міросозерцанія не опредѣляются только устной словесностью, что книжная словесность только потому, что она книжная, не можетъ быть отвергнута изслѣдователемъ народности: въ выработкѣ народности принимала участіе вся масса русскаго народа, въ томъ числѣ и представители нашей книжности; а потому и въ книжной словесности должны были быть и были черты той же народности и отчасти тѣ же черты, что и въ «устной» словесности; и Буслаевъ беретъ рядъ памятниковъ изъ той же книжной словесности, изъ области заговоровъ, различныхъ лѣчебниковъ, въ которыхъ суевѣрные обычаи, записаны и рекомендуются при практической жизни (при закладѣ дома, при постройкѣ печи и т. д.), рядъ интересныхъ разсказовъ благочестиваго или полублагочестиваго характера, которые несомнѣнно созидались или, по крайней мѣрѣ, окружены тѣмъ элементомъ, который является существеннымъ и въ памятникахъ устной литературы. На этихъ примѣрахъ онъ показываетъ всю однородность «устныхъ» и книжныхъ памятниковъ въ качествѣ матеріала для народнаго міросозерцанія. Иначе сказать: Буслаевъ доказалъ, что народность проявляется не только въ памятникахъ устныхъ, дошедшихъ путемъ устной передачи, а эта же народность, несомнѣнно (можетъ быть, въ меньшей степени) проникаетъ тѣ памятники, которые были созданы или пріобрѣтены болѣе культурнымъ классомъ; а разъ это такъ, то и въ самой жизни обѣ группы памятниковъ раздѣляемы рѣзко быть не могли, что̀ и было на самомъ дѣлѣ, какъ показываетъ ихъ сравнительный анализъ. Такимъ образомъ, взаимодѣйствіе между устной и письменной словесностью было установлено Буслаевымъ. Въ связи съ этимъ, число источниковъ для изученія самой «устной» словесности, такимъ образомъ, раздвинулось еще шире. Выйдя на этотъ широкій путь, разсматривающій литературу, какъ нѣчто цѣлое, Буслаевъ остановиться уже не можетъ. Онъ указываетъ, что матеріалъ для нашей народности можетъ быть почерпаемъ въ тѣхъ широкихъ сферахъ этнографіи и этнологіи, которыя выражаются не словомъ, а дѣломъ, т.-е. въ бытѣ. Наконецъ, Буслаевъ указываетъ, что исторія народности должна пользоваться всякимъ матеріаломъ, какой представляютъ всѣ произведенія духа народа, въ чемъ бы они не проявлялись. Такимъ образомъ, Буслаевъ, если

---

[1]) Перепечатана (безъ приложеній) въ „Очеркахъ", т. II, стр. 1 и сл,

и началъ съ устной народной словесности, тяготѣнія къ миѳологіи, съ пользованія методомъ Гримма, работами въ области языка, то онъ, расширивъ понятіе народности, опредѣлилъ его гораздо шире, нежели нѣмецкій ученый, и въ этомъ случаѣ оказалъ громадную услугу въ разработкѣ методовъ литературы. Все, что можетъ служить намъ для уразумѣнія народности, для ея исторіи, будетъ ли это памятникъ искусства, будетъ ли это переводный памятникъ, чужой (уже самый фактъ перевода характеризуетъ изучаемую народность), онъ долженъ войти въ исторію этой народности: поэтому народность, по мнѣнію Буслаева, не есть только то, что свое, самобытное, то, что отличаетъ отъ другихъ: это есть психологическій образъ человѣка, поставленнаго въ извѣстныя антропологическія, историческія, этнографическія условія. Это расширеніе взглядовъ на исторію устной поэзіи особенно наглядно сказалось въ 60—70-хъ годахъ, когда Буслаеву пришлось высказываться по поводу новыхъ собраній памятниковъ устной литературы (Кирѣевскаго, Безсонова), появившихся въ это время, и изслѣдованій этого времени (Миллера О. Ѳ., Стасова). Эти его отзывы составили цѣлый сборникъ «Русская народная поэзія» (позднѣе, въ 1887 году, изданный Академіей). Высказываясь по поводу неумѣреннаго миѳолога-народника Безсонова, по поводу крайняго представителя теоріи заимствованія Стасова и славянофила-миѳолога О. Миллера, Буслаевъ ясно уже намѣтилъ основы историко-бытового сравнительнаго метода, который въ позднѣйшемъ развитіи своемъ далъ намъ современные методы изслѣдованія устной словесности. Вотъ, до какихъ широкихъ предѣловъ дошелъ Буслаевъ въ своемъ пониманіи народности и въ приложеніи сравнительнаго историческаго метода къ изученію устной словесности.

Старшіе ученики и послѣдователи Буслаева пошли тѣмъ же путемъ, которымъ вышелъ на путь изслѣдованія Буслаевъ, но пошли по нему они иначе. Ближайшимъ современникомъ Буслаева, работавшимъ надъ памятниками устной народной словесности, былъ его ученикъ по университету, по направленію, несомнѣнно, принадлежавшій къ одному и тому же ученому небольшому кругу, въ центрѣ котораго стоялъ тогда Буслаевъ. Это былъ тотъ А. Н. Аѳанасьевъ, котораго мы больше знаемъ, какъ собирателя памятниковъ устной народной словесности. Какъ изслѣдователь исторіи словесности, быта, поэзіи, какъ историкъ народности, Аѳанасьевъ отправляется отъ того же самаго принципа нѣмецкой школы сравнительной миѳологіи, сравнительнаго языковѣдѣнія, отъ котораго отправлялся и Буслаевъ. Но далѣе онъ пошелъ инымъ путемъ: онъ такъ и оставался миѳологомъ и романтикомъ-народникомъ въ наукѣ. Главный трудъ Аѳанасьева, посвященный

разработкѣ устной и народной словесности, это—большой трехтомный трудъ, который вышелъ подъ названіемъ «Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу» (1865—1869). Самое заглавіе этого труда уже показываетъ основную точку зрѣнія Аѳанасьева: онъ изучаетъ «поэтическія воззрѣнія на природу»: по толкованію романтиковъ-миѳологовъ, отношеніе къ природѣ, выраженіе этого отношенія въ словесности, въ основѣ своей непремѣнно будетъ поэтическимъ; другого отношенія Аѳанасьевъ себѣ не представляетъ. Такое отношеніе вытекаетъ изъ общаго представленія о словесности устной, какъ восходящей къ доисторическимъ временамъ, къ эпохѣ первобытнаго еще состоянія славянскаго племени. Первобытнаго человѣка, стоящаго на низшей ступени развитія, Аѳанасьевъ представляетъ себѣ, прежде всего, какъ поэта въ душѣ, исходя изъ того представленія, что этому первобытному человѣку недоступно отвлеченное мышленіе: его мысль отливается въ конкретные образы, которые и составляютъ основу поэзіи. Какъ для дѣтей легче и доступнѣе конкретный образъ, нежели отвлеченное понятіе, такъ и первобытный человѣкъ можетъ мыслить только образами и только образами выражать эту мысль: напримѣръ, силу грома, вліяніе тепла и холода, онъ не можетъ представить въ качествѣ отвлеченнаго понятія; для того, чтобы овладѣть этимъ понятіемъ, ему необходимъ былъ образъ, и вотъ онъ представляетъ себѣ холодъ въ видѣ старца, большого, бѣлаго, запушеннаго инеемъ, однимъ словомъ: это—«дѣдушка-морозъ». Громъ онъ обязательно представляетъ въ видѣ воина (ср. «громовая стрѣлка»), а самый процессъ въ видѣ битвы, только разница въ томъ, что воины сражаются не на землѣ, а на небѣ, и т. д. Такимъ образомъ, исходя изъ этого представленія о первобытномъ человѣкѣ, какъ о младенцѣ, умѣющемъ мыслить только образами, Аѳанасьевъ тѣсно сливаетъ поэзію народа съ воззрѣніями его на силы природы. Исходя же изъ доисторическаго родства славянъ, доказаннаго лингвистами, Аѳанасьевъ рисуетъ намъ картины доисторическаго быта славянъ, и въ томъ числѣ русскихъ, по даннымъ литературы устной и письменной; въ этомъ послѣднемъ отношеніи онъ сближается съ Буслаевымъ. Конечно, это будетъ, прежде всего, бытъ религіозный; для Аѳанасьева такъ же, какъ и для Буслаева, связь между религіей и поэзіей не подлежитъ никакому сомнѣнію; поэтому въ книгѣ Аѳанасьева получаемъ, съ одной стороны, изображеніе первобытнаго человѣка въ его обстановкѣ, съ другой стороны, получаемъ характеристику прежде всего его религіозныхъ вѣрованій, а вѣрованія эти, конечно, миѳологическія. Аѳанасьевъ, не будучи спеціалистомъ лингвистомъ, не обладая осторожностью Буслаева и работая тогда, когда лингвистическая наука не достигла того развитія, въ какомъ мы ее видимъ те-

перь, разумѣется, пользуется данными языка въ очень не совершенной степени и чаще всего руководится внѣшними созвучіями словъ въ разныхъ языкахъ, поспѣшными обобщеніями. Но данныя языка, какъ можно было видѣть изъ сказаннаго, играли у представителей этой школы главную роль, какъ показанія доисторическихъ временъ, сохраненныя до нашихъ дней. Они были отправной точкой для доказательства и этнографическаго родства данной народной группы съ другими, для сужденія о древности того или другого представленія въ словесности этой группы. Съ этой точки зрѣнія работа Аѳанасьева представляетъ огромный сводъ данныхъ, но обобщенныхъ односторонне—для представленія міропониманія славянъ, какъ цѣльнаго міровоззрѣнія, преимущественно миѳологическаго. Разумѣется, съ этой точки зрѣнія работа Аѳанасьева представляется уже устарѣлой. Цѣлый рядъ невѣрныхъ, рискованныхъ сопоставленій служитъ основнымъ аргументомъ для доказательства того или другого положенія о древнѣйшей религіи славянъ и объ отношеніи ея къ индо-европейской старинѣ, къ индоевропейской религіи въ частности. Съ этой стороны и приходится оцѣнивать книгу Аѳанасьева. Какъ собиратель памятниковъ устной народной словесности, сказокъ, пѣсенъ, онъ самъ очень обильно пользуется этимъ матеріаломъ, подходитъ къ нему съ готовой сложившейся теоріей о томъ, въ чемъ заключаются религіозныя вѣрованія, миѳологія древнѣйшаго человѣка; все это, какъ ему кажется, и находится въ русской и славянской устной словесности, въ русскомъ и славянскихъ языкахъ; для этого ему приходилось дѣлать много рискованныхъ, произвольныхъ сближеній, толкованій первоначальнаго смысла отдѣльныхъ выраженій и образовъ. Принимая во вниманіе, что устная народная словесность дошла до насъ въ рядѣ памятниковъ очень поздней записи (большею частью его современниковъ, частью въ своихъ собственныхъ), Аѳанасьевъ, съ одной стороны, былъ правъ, теоретически предполагая, что эти памятники дошли до насъ въ искаженномъ видѣ, а съ другой стороны, неправъ въ томъ отношеніи, что непремѣнно въ этихъ памятникахъ устной народной словесности нужно было найти отзвуки древнѣйшихъ миѳологическихъ вѣрованій. Путемъ всякихъ комбинацій, угадыванія, онъ, напр., въ «Бабѣ Ягѣ» увидѣлъ злого демона, тучу, въ «кузнецѣ»—весеннее солнышко; въ эпитетѣ «золотой»—указаніе на образъ солнца, въ «живой водѣ»—воду небесную, т.-е., благодатный, оживляющій природу, дождь и т. п. Полной горстью онъ черпаетъ подобныя данныя изъ устной народной словесности русскаго и соплеменныхъ ему народовъ, кончая античной греческой миѳологіей, индійскими сказаніями; и все это, разумѣется, сопоставляется, ведетъ къ подтвержденію теоретически установленнаго положенія о стройной,

богато развитой религіозно-поэтической миѳологіи и выраженіи ея въ литературѣ славянъ. Въ Германіи миѳологическая школа въ такомъ полномъ ея развитіи представлена братьями Гриммами и ихъ учениками, особенно Маннгардтомъ, который и былъ ближайшимъ образцомъ для Аѳанасьева, рядомъ съ М. Мюллеромъ и французскимъ ученымъ Пикте.

Виднымъ представителемъ той же «миѳологической» школы, но болѣе осторожнымъ и болѣе подготовленнымъ въ лингвистическомъ отношеніи, нежели Аѳанасьевъ, былъ А. А. Котляревскій, соединявшій въ своемъ лицѣ и слависта, и историка, и археолога. Ему принадлежитъ наиболѣе обстоятельный изъ современныхъ разборъ «Поэтическихъ воззрѣній» Аѳанасьева [1]: здѣсь онъ указалъ на недостаточную полноту матеріала, въ частности славянскаго, привлекаемаго Аѳанасьевымъ, на слабость и произвольность его лингвистическихъ построеній; но въ то же время Котляревскій глубоко убѣжденъ въ возможности въ будущемъ построить научную миѳологію на основахъ всесторонняго изученія такъ наз. «древностей», въ томъ смыслѣ, какъ эту отрасль исторіи понималъ Гриммъ, основы русскихъ сказаній о богатыряхъ ищетъ въ эпохѣ доисторической.

Послѣ бр. Гриммовъ въ Германіи наступаетъ новый періодъ развитія этой школы, который былъ послѣднимъ періодомъ ея развитія и тамъ, и у насъ. Подкупающая стройность, кажущаяся полнота, бьющая въ глаза опредѣленность, которыхъ можно было достигать въ изображеніи древняго быта при помощи такихъ толкованій данныхъ устной поэзіи и быта, которыми пользовались изслѣдователи-миѳологи, позволяли возводить начало устной народной словесности къ такимъ отдаленнымъ временамъ, о которыхъ не смѣетъ мечтать историкъ, и которыя измѣряются не вѣками, а тысячелѣтіями. Кажущаяся правдоподобность, красота и высокая поэтичность, которыми характеризуется эта картина доисторическаго быта, доисторической словесности въ изображеніи изслѣдователей были несомнѣнно результатомъ горячей любви, увлеченія идеей народности, прежде всего своей, въ то же время были результатомъ того романтизма, который господствовалъ въ области литературы и далъ теперь такія своеобразныя отраженія и въ области науки. Но это увлеченіе постепенно проходитъ, доходя сперва до крайности или, лучше сказать, переходя черезъ край научнаго благоразумія, черезъ тотъ край, который ставитъ себѣ наука, стремящаяся къ точности, сознательности и объективности. Крушеніе старой школы произошло

---

[1]) См. Сочиненія А. А. Котляревскаго, II, 256 — 358. (Сборн. Отд. рус. яз. и слов. И. А. Н., т. 48).

такимъ образомъ. Подъ вліяніемъ стремленія къ простотѣ, ясности (свойствамъ первобытнаго человѣка, какъ его рисуютъ себѣ романтики-ученые) постепенно выдѣляется среди миѳологовъ-изслѣдователей народной словесности такъ называемая школа «солярная», или солнечная. Она названа такъ потому, что главной своей цѣлью она ставила вскрытіе того смысла, который лежитъ въ основѣ народнаго вѣрованія, и находила этотъ основной смыслъ въ слѣдующемъ. Древнѣйшая религія всякаго народа есть религія природы, или, говоря иначе, обоготвореніе силъ природы. Если выраженіемъ этого міросозерцанія, словесной его формой является миѳъ, содержащій въ себѣ представленіе о явленіяхъ природы въ конкретномъ образѣ, т.-е., дающій олицетвореніе силъ природы, то отсюда познается истинный, первоначальный смыслъ миѳа, дошедшаго въ памятникѣ словесности; тутъ приходитъ на помощь представленіе о первобытномъ, наивномъ человѣкѣ (смыслъ этого миѳа, естественно, долженъ быть самымъ простымъ, элементарнымъ): первобытный человѣкъ во всѣхъ явленіяхъ природы различалъ, какъ мы видѣли, два основныхъ, понятныхъ начала: добро и зло, различалъ же ихъ непосредственно по тому воздѣйствію, которое на него оказывало окружающее; наиболѣе же простыми, стало быть, наиболѣе доступными представляются явленія болѣе непосредственно ощущаемыя человѣкомъ, болѣе для него обычныя: свѣтъ—тьма, тепло—холодъ, источникъ которыхъ опредѣляется въ сознаніи человѣка изъ видимаго постоянно. Свѣтъ, который въ видѣ солнца насъ грѣетъ, даетъ силу растенію, питающему человѣка,—божество благое. Этотъ свѣтъ застилаетъ черная туча, становится темно, становится холодно, это значитъ, туча—злое божество, которое стремится одолѣть благое божество. Но послѣ грозы наступаетъ дождь, который орошаетъ землю, опять блеститъ солнце, въ концѣ концовъ послѣ грозы человѣкъ чувствуетъ себя лучше, и, разумѣется, и вся природа какъ бы радуется, иначе: свѣтлое благое божество не погибло отъ злого, оно преодолѣло врага: лучъ прорвался сквозь облака на землю. Что же такое громъ, самая гроза? —Борьба, отвѣчаетъ миѳологъ, между свѣтомъ и тьмой, между благимъ божествомъ и злымъ, въ концѣ концовъ побѣждаемымъ благимъ. Миѳъ готовъ: это, стало быть, въ поэтической формѣ, образный разсказъ о грозѣ. Разница миѳа отъ обыкновенной людской борьбы заключается въ томъ, что эта борьба происходитъ не на землѣ, а на небѣ, и по своему объему рисуется грандіознѣе людской, такъ какъ сами борющіеся на небѣ силы превышаютъ силы людскія. Внѣшняя обстановка миѳа взята изъ окружающаго, наблюдаемаго человѣкомъ въ его же бытѣ. Таковы, по мнѣнію миѳологовъ, основы всякаго миѳа; стоитъ только разнообразить внѣшнюю обстановку, внѣшнія условія, беря ихъ изъ окружающаго

такъ же разнообразно, и получаются безконечно разнообразныя сказанія, миѳы; смыслъ же ихъ одинъ и тотъ же: соотношенія между свѣтомъ и тьмой. Вотъ до какихъ обобщеній дошли миѳологи; основа всѣхъ миѳовъ на дѣлѣ метеорологическая, а въ этой метеорологіи центромъ постоянно будетъ солнце, какъ источникъ свѣта, тепла всякаго блага и т. д.; отсюда и названіе этой теоріи «солярной», а миѳовъ—«солярными». Тогда, повернувши, такъ сказать, назадъ это построеніе, легко объяснить рѣшительно все въ народной поэзіи. Въ сказкѣ мы видимъ «Кощея Безсмертнаго» и «Василису Прекрасную». Сказка эта для миѳолога не что другое, какъ миѳъ или его обломокъ, потому что Кощея—темная сила, Василиса Прекрасная—начало доброе, свѣтлое. Свѣтъ и тьма борются между собой, побѣждаетъ въ концѣ концовъ свѣтлое начало; Кощей погибаетъ, Василиса—торжествуетъ; слѣдовательно, сказка о «Кощеѣ Безсмертномъ» есть миѳъ, только надо его разглядѣть, уяснить себѣ, въ чемъ этотъ миѳъ скрытъ подъ словесной формой. Миѳологи идутъ и дальше. Тутъ имъ оказываетъ своего рода «медвѣжью» услугу изученіе языка. Языкъ, какъ мы видѣли, далъ мощный толчокъ самымъ изученіямъ народной поэзіи въ этомъ направленіи, но онъ помогъ и утонуть миѳологамъ. Именно, сравнительное изученіе языка приводило къ возможности воставить, на основаніи данныхъ языка, бытъ, вѣрованія, воззрѣнія первобытнаго человѣка. Оказалось, что и самый логическій строй человѣческой рѣчи у цѣлаго ряда народовъ представляетъ такія же явленія, параллельныя, сходныя по характеру, какъ явленія въ области морфологіи, фонетики, словообразованія, можно говорить объ индо-европейскомъ синтаксисѣ, доказывая, что всѣ индо-европейцы свои предложенія, какъ форму рѣчи, строили болѣе или менѣе однообразно (что естественно вытекаетъ изъ родства языковъ и народовъ). Этимъ результатомъ въ области языкознанія не замедлили воспользоваться миѳологи. Они примѣнили формулу данныхъ лингвистики для своихъ цѣлей: исходя изъ тѣсной связи между словомъ и мыслью, словомъ и выраженнымъ имъ образомъ, миѳологи и миѳъ, какъ словесное выраженіе мысли о борьбѣ двухъ противоположныхъ началъ, постарались опредѣлить при помощи грамматической категоріи, установленной лингвистикой, находя ихъ тожественными по образованію и по формѣ: миѳъ есть не что иное, какъ тоже своего рода расширенное грамматическое предложеніе по своей формѣ. Получилась теорія такъ называемаго «миѳологическаго» предложенія, какъ исходной точки образованія миѳа, при чемъ принимали во вниманіе, разумѣется, опять простой, элементарный образъ мысли дикаря. Изслѣдователи-миѳологи говорятъ: какъ во всякомъ простомъ предложеніи (а только о такомъ и можетъ быть рѣчь,

когда мы говоримъ о первобытномъ человѣкѣ, первобытномъ языкѣ) есть подлежащее и сказуемое, а кромѣ того, есть дополненіе, какъ необходимая составная часть предложенія, выражающаго не только состояніе, но и дѣйствіе, то и миѳъ въ своей основѣ представляетъ то же самое; въ немъ въ древнѣйшемъ видѣ было три элемента: миѳологическое подлежащее, миѳологическое дополненіе и миѳологическое сказуемое: миѳологическое подлежащее—это герой миѳа, дополненіе—это врагъ, котораго онъ убиваетъ, а сказуемое—это то, что разсказывается о борьбѣ. Взявши такую формулу, легко было все рѣшительно объяснить въ миѳологическомъ смыслѣ. Ошибка здѣсь, явно, была въ томъ, что не принято во вниманіе, что данныя языка не давали намъ права заключать о такомъ полномъ параллелизмѣ между данными языка и данными самой литературы, мышленія. Упрощая при помощи данныхъ лингвистики поэтическую мысль, мы совершенно оторвались отъ реальной обстановки, въ которой живетъ человѣкъ. Затѣмъ вторая исконная ошибка заключается и въ томъ, что отправная точка была въ невѣрномъ представленіи о первобытной культурѣ, которое было построено на томъ же своеобразномъ толкованіи матеріала. Такимъ образомъ, вся теорія основана на рядѣ апріорныхъ предпосылокъ и ихъ же стремится объяснять при помощи тѣхъ же предпосылокъ: получается то, что называется логическимъ кругомъ. И дѣйствительно, какъ только миѳологи дошли до этой полосы, для нихъ все стало ясно. Можно было объяснить любое произведеніе устной народной словесности, даже не изслѣдуя реальныхъ условій, тѣмъ болѣе историческихъ; подъ эту формулу подходятъ всѣ явленія жизни, отзвуки коихъ видѣли въ миѳологіи изслѣдователи. Получился въ концѣ-концовъ «рецептъ», гдѣ и какъ видѣть миѳологію въ любомъ произведеніи словесности, мысли; стоило только подставить вмѣсто изслѣдуемаго матеріала заранѣе уже опредѣленный его смыслъ,—и объясненіе готово; оно и просто, и стройно, и ясно. Эта-то формула, доведшая все до необычайной простоты, и сгубила миѳологическую школу.

Изъ того, что было сказано о миѳологической школѣ, можно видѣть, что главное основаніе, на которомъ миѳологи строили свое толкованіе, объясненіе памятниковъ устно-народной словесности, заключалось, главнымъ образомъ въ тѣхъ общихъ данныхъ, которыя добыли лингвисты въ сравнительномъ языкознаніи. Это основаніе, несомнѣнно, можетъ служить фундаментомъ для объясненія; но мы видѣли, что, отправляясь отъ этой въ сущности правильной основы, представители этой школы путемъ логическаго, а отчасти художественнаго процесса дошли до того, что пришли почти къ абсурду, упростили все, и въ концѣ концовъ оказалось, что формула, полученная ими, настолько была обща,

что подъ эту формулу подходило рѣшительно все, что мы бы пожелали объяснить и помимо круга словесности; получалось объясненіе, какъ будто въ самомъ дѣлѣ вполнѣ научно объясняющее явленіе; но въ этой-то обобщенности и было неудобство, неудовлетворительность: за формулой исчезло то, на чемъ эта формула строилась; элементъ сравненія на опредѣленныхъ условіяхъ, исчезалъ исчезала и историческая перспектива, все унося въ область доисторическую. Неудовлетворительность этихъ объясненій обнаружилась, прежде всего, въ томъ, что оказались сходными по сюжету, по мотивамъ, а стало быть, и по смыслу, сказки отдѣльныхъ народовъ, и притомъ такихъ народовъ, которые не представляютъ между собой родства въ языкѣ. А это родство, какъ мы видѣли,—условіе необходимое для построеній «миѳологовъ», такъ какъ изъ него исходили изслѣдователи, устанавливая хронологическія данныя для тѣхъ или иныхъ явленій въ міросозерцаніи массъ, относя одни явленія къ эпохѣ общеиндоевропейской, другія общеславянской, тертьи славяно-германской и т. д.; народы, родственные по языку, восходятъ къ одному старшему народу-прародителю, стало быть, извѣстная доля этихъ одинаковыхъ разсказовъ у этихъ народовъ объясняется тѣмъ, что они представляли когда-то одинъ народъ и, когда разошлись, унесли съ собой общее наслѣдіе (общность сюжета опредѣляетъ собой и его древность). Это—общее наслѣдство, которое и возстановляютъ ученые этой школы. Миѳологи изучали, главнымъ образомъ, индо-европейскую старину, т.-е., старину литературную и народныя преданія тѣхъ народовъ, которые принадлежали къ общему индо-европейскому племени (иначе къ арійскому), народностямъ, которыя населяютъ, главнымъ образомъ, западную Европу и отчасти Азію, главнымъ образомъ, южную. Въ такомъ случаѣ понятно, какимъ образомъ, у нихъ оказалось родство между сказаніями нѣкоторыхъ европейскихъ и не европейскихъ народовъ въ литературномъ наслѣдіи. Въ этомъ случаѣ объясненіе общности сюжетовъ, даваемое романтической школой, можетъ представляться въ иныхъ случаяхъ вѣроятнымъ. Изучая же сравнительно подробнѣе сюжеты, пришлось очень скоро натолкнуться на такого рода случаи, что одинъ и тотъ же сюжетъ встрѣчается у народовъ индо-европейскихъ и не индо-европейскихъ. Какъ, напримѣръ, одинъ и тотъ же сюжетъ встрѣчается у древнихъ индо-европейцевъ, но и встрѣчается у арабовъ, которые принадлежатъ къ другому племени, не индо-европейскому, а, какъ извѣстно, семитическому. Встрѣчается одинъ и тотъ же сюжетъ у евреевъ (семитовъ) и у финскаго племени, не принадлежащаго ни къ семитамъ, ни арійцамъ (къ урало-алтайцамъ). Та теорія, которую прилагали миѳологи къ объясненію исторіи сюжета, оказалась здѣсь не

приложима, такъ какъ финны, арабы и евреи и индо-европейцы въ родствѣ между собою не находятся; стало быть, и сюжетъ не можетъ быть съ точки зрѣнія «миѳологовъ» тѣмъ общимъ наслѣдіемъ, которое они принесли съ собой изъ общей прародины и сохранили до болѣе поздняго времени, т.-е. отъ народа-праотца, а между тѣмъ сходство это налицо и остается поэтому необъяснимымъ. Миѳологи, какъ мы видѣли, построили такъ называемое «миѳологическое предложеніе», исходя изъ положенія (апріорнаго), что всякій миѳъ есть прежде всего изображеніе борьбы въ природѣ, двухъ противоположныхъ началъ, и разсказъ объ этой борьбѣ отливается въ форму, аналогичную грамматическому предложенію, что́ и составляетъ смыслъ миѳа. Но формула эта оказалась настолько обща, что если вы ее приложите къ любому событію, не могущему имѣть въ себѣ элементовъ миѳа, какъ выраженія представленія религіознаго (притомъ еще древняго), то получите то же самое объясненіе. Тотъ же Буслаевъ, который былъ основателемъ у насъ миѳологической школы, самъ первый разочаровался въ общепримѣнимости этой теоріи и, разбирая трудъ другого русскаго миѳолога, Ореста Миллера (о которомъ придется еще говорить), между прочимъ указалъ, съ одной стороны, какъ легко эту формулу прилагать всюду, а съ другой,— какъ она собственно ничего не объясняетъ. Это было въ началѣ 70-хъ гг. Въ это время только что кончилась франко-прусская война. Почему эта война не миѳологическая тема? спрашиваетъ Буслаевъ. Съ одной стороны, французы, съ другой—нѣмцы (зависитъ отъ симпатіи считать то нѣмцевъ свѣтлымъ началомъ, то французовъ, или обратно), а та красавица (предметъ борьбы въ миѳѣ), изъ-за которой воюютъ въ миѳахъ, это реальные Эльзасъ и Лотарингія. Буслаевъ, приводя такой примѣръ, этимъ хотѣлъ сказать, что, благодаря общности этой формулы, подъ нее подойдетъ рѣшительно все, всякій сюжетъ, стоитъ только примѣнить эту мѣрку. Но на этомъ же примѣрѣ Буслаевъ указалъ и на другой недочетъ школы: поставивъ себѣ цѣлью исторически обосновать то или иное явленіе въ жизни народа, школа эта забыла про исторію, успокоившись на апріорныхъ представленіяхъ, что сюжеты восходятъ къ доисторическому времени, и что они выражаютъ обязательно религіозныя воззрѣнія первобытнаго человѣка, образъ и міросозерцаніе котораго построены притомъ теоретически только и апріорно. Прежде всего, еще нужно доказать, дѣйствительно ли разсматриваемый сюжетъ имѣетъ миѳологическій смыслъ, т.-е., есть выраженіе религіозныхъ вѣрованій, а потомъ говорить, какъ онъ уляжется въ эту формулу, какъ онъ древенъ и т. д. А этого въ большинствѣ случаевъ доказано быть не можетъ: если мы возьмемъ примѣръ даже изъ «древнѣйшихъ» сказаній, хотя бы о «Бабѣ Ягѣ» и

«Лихѣ одноглазомъ», то въ самомъ сказаніи нѣтъ доказательствъ того, что «Баба Яга» есть обожествленіе темныхъ силъ природы и что самъ народъ вѣрилъ въ то, что «Баба Яга» есть именно темная сила—зима, дождь, холодъ. Почему это не бытовой или фантастическій сюжетъ (каковымъ онъ является теперь въ пониманіи народа, отъ котораго записана эта сказка), а непремѣнно религіозно-миѳологическій? Сюжетъ можетъ быть и древенъ, но изъ этого не вытекаетъ обязательно его религіозный смыслъ и миѳологическій характеръ. Миѳологи совершенно упустили изъ виду то, что народы живутъ не только тѣмъ поэтическимъ наслѣдіемъ, которое они получили отъ отцовъ, дѣдовъ и прадѣдовъ, и не только религіозными воззрѣніями: народы живутъ дѣйствительной жизнью, съ ея реальными потребностями, они соприкасаются другъ съ другомъ, сами думаютъ; съ другой стороны, народы, какъ общество людей, обладаютъ болѣе или менѣе одинаковой психологіей: у всякаго народа, независимо отъ вида культуры, дважды два—четыре, а не что-нибудь другое. Стало быть, ясно, что существуютъ общіе законы психологіи человѣчества, существуютъ законы взаимнаго вліянія культурной творческой работы, вліяніе бытовой обстановки, исторіи; все это отражается въ литературѣ, даетъ мотивы для творчества, а не одна лишь миѳологія, не одни религіозныя представленія. Если все это принять во вниманіе, то понятно, почему миѳологическая теорія насъ не удовлетворяетъ. Она предполагаетъ наивное (собственно, нами же упрощенное) міросозерцаніе, первобытное состояніе, сохраненіе первобытныхъ формъ соціальной и культурной жизни, чего мы на самомъ дѣлѣ не видимъ; иначе сказать, она игнорируетъ историческую жизнь народа, тѣ вѣка, которые отдѣляютъ первобытнаго человѣка отъ человѣка историческаго. Все это, взятое вмѣстѣ, и привело къ тому, что, какъ быстро развилась эта красивая теорія миѳовъ, такъ же быстро стала она и клониться къ паденію. Представители этой миѳологической школы, какъ только пришлось коснуться самыхъ устоевъ школы, увидали, что съ этой школой имъ не объяснить народной словесности, что дѣло далеко не такъ просто, а гораздо сложнѣе, и что одной миѳологіи въ этомъ случаѣ мало, надо считаться съ исторіей и съ цѣлымъ рядомъ другихъ культурныхъ и уже историческихъ элементовъ, чтобы сообразно дѣйствительности возстановить прошлую жизнь народности и ея литературы.

Школа заимствованія. Дѣло разрушенія этой красивой теоріи въ значительной ея долѣ вышло по ироніи судьбы изъ ея же среды.

Однимъ изъ наиболѣе крупныхъ послѣ Гриммовъ представителей такъ называемой миѳологической школы былъ Максъ Мюллеръ, въ Германіи. Онъ былъ однимъ изъ убѣжденныхъ защитниковъ такъ на-

зываемой «солярной» теоріи, т.-е. теоріи, объяснявшей всѣ явленія въ связи съ культомъ солнца, тепла; но онъ же первый пошелъ навстрѣчу новой школѣ, которая въ корень подрывала его «солярную» теорію. Эта новая теорія получила начало изъ другого лагеря, изъ лагеря историковъ культуры, болѣе объективныхъ изслѣдователей древнѣйшей и позднѣйшей исторіи народовъ, а не поэтовъ-романтиковъ школы Гриммовъ. Во главѣ этой школы стоялъ Θеодоръ Бенфей. Бенфей по своей спеціальности былъ востоковѣдъ, его интересовали восточныя литературы, восточная исторія. Это было въ 50-хъ годахъ, когда интересъ къ Востоку особенно замѣтно начинаетъ пробиваться въ западной наукѣ. Широкое, всестороннее изученіе Востока немедленно принесло плоды. Въ числѣ этихъ изслѣдователей видимъ крупную фигуру Бенфея: онъ начинаетъ изучать, пользуясь тѣмъ же историко-сравнительнымъ методомъ, который былъ уже общепризнаннымъ, литературы Востока, начиная съ древне-индійской, письменной, но не ограничиваясь лишь народами арійскаго племени, приходитъ къ совершенно новымъ, если не открытіямъ, то новымъ совершенно наблюденіямъ. Именно, исходя изъ изученія сюжета, какъ явленія литературнаго, онъ усматриваетъ, что одинъ и тотъ же литературный сюжетъ встрѣчается въ литературѣ народовъ независимо отъ родства ихъ. Таковъ, напримѣръ, сюжетъ, который лежитъ въ основѣ извѣстной басни Лафонтена о молочницѣ. Онъ въ немногихъ словахъ таковъ: пошла французская крестьянка Перетта на базаръ, понесла на головѣ горшокъ молока продавать; по дорогѣ она размечталась о томъ, какъ она молоко это продастъ, какъ на эти деньги купитъ кое-что по хозяйству, какъ это хозяйство будетъ у нея развиваться, и какъ она выйдетъ замужъ за своего поклонника. И она уже рисуетъ себѣ картину семейной счастливой жизни въ довольствѣ. Отъ радости по поводу этого будущаго счастья Перетта весело подскакиваетъ, горшокъ падаетъ и разбивается вдребезги. Бенфей встрѣчаетъ этотъ же сюжетъ въ сборникѣ древне-индійскихъ поучительныхъ разсказовъ въ такъ называемой «Панчатантрѣ», или Пятикнижіи (сборникъ составленъ не позднѣе VI в. по Р. X.). Чѣмъ объяснить это сходство? Объяснять можно тѣмъ, что французы въ XVII вѣкѣ обрабатывали свои старые сюжеты, которые они, какъ индо-европейцы, сохранили отъ того времени, когда они, въ лицѣ своихъ предковъ франковъ и римлянъ, еще жили вмѣстѣ съ древне-индійцами, тоже арійцами. На первый взглядъ такое объясненіе кажется удовлетворительнымъ, если, вмѣстѣ со школой «миθологовъ», вѣрить въ необычайную жизненность и устойчивость народной памяти. Но на дѣлѣ оказывается, что этотъ сюжетъ, притомъ въ формѣ болѣе близкой, нежели французская, къ древне-индійской, оказал-

ся и въ литературѣ персидской, въ сборникѣ персидскихъ сказокъ (также VI в.) «Калила ва Димна». Персы—сродни индійцамъ: это пока пе нарушаетъ предположеннаго объясненія сходства сюжетовъ доисторическимъ родствомъ народовъ. Но тотъ же сюжетъ оказывается въ сирійскихъ сборникахъ VII вѣка, затѣмъ въ арабскихъ, переведенныхъ съ сирійскихъ въ концѣ VIII вѣка. Сирійцы и арабы—семиты. Тутъ уже обойтись съ прежнимъ объясненіемъ нельзя: ни сирійцы, ни арабы не приходятся сродни древнимъ индійцамъ. Затѣмъ этотъ сюжетъ оказывается распространеннымъ въ средневѣковой Европѣ. Присутствіе сюжета у пе индоевропейскихъ народовъ разрушаетъ теорію, построенную на доисторическомъ родствѣ народовъ: очевидно, одного родства мало для объясненія одинаковости сюжета у ряда народовъ. Бенфей начинаетъ доискиваться объясненія. Присматриваясь внимательнѣе къ исторіи литературъ Европы и Азіи, онъ находитъ, что этотъ сюжетъ въ своемъ древнѣйшемъ видѣ намъ извѣстенъ, дѣйствительно, въ индійской литературѣ, но онъ оказывается по характеру сюжетомъ странствующимъ, т.-е., что онъ, зародившись, или, можетъ быть, появившись или сохранившись въ наиболѣе древнемъ видѣ въ Индіи, не остался тамъ недвижимъ, а постоянно переходитъ вмѣстѣ съ тѣми сборниками, въ которыхъ онъ встрѣчается, изъ одной сосѣдней литературы въ другую, путемъ перевода, что вполнѣ удовлетворительно объясняется въ исторіи этихъ сосѣднихъ народовъ тѣмъ, что индійцы приходили въ своемъ прошломъ въ культурное общеніе съ другими сосѣдними народами, и притомъ не только родственными, но и неродственными. Стало быть, появленіе сюжета въ сосѣдней литературѣ есть результатъ культурныхъ сношеній, культурныхъ взаимоотношеній въ историческое уже время. Стало быть, здѣсь нѣтъ никакой доисторической древности, роли родство народовъ въ данномъ случаѣ не играетъ, по крайней мѣрѣ, первостепенной. И Бенфей, слѣдя за послѣдовательными переводами сборника «Панчатантры» то на одинъ языкъ, то на другой, установилъ путь, какимъ сюжетъ, впервые встрѣченный въ древне-индійской литературѣ, перенесенъ въ иныя и дошелъ до Европы. Разъ былъ открытъ этотъ путь, Бенфей поставилъ вопросъ: когда и какимъ образомъ это произошло? И ему удалось выяснить, что, дѣйствительно, древніе индійцы соприкасались съ персами, имѣя съ ними сношенія торговыя, военныя столкновенія какъ разъ въ началѣ средневѣковья; тогда понятно, почему въ персидской литературѣ появились подобные сюжеты. Прилагая дальше этотъ же методъ и изучая параллельно дальнѣйшую исторію взаимоотношенія народовъ, культурную связь ихъ параллельно съ литературной исторіей сборниковъ, Бенфей параллельно съ этимъ изслѣдуетъ сюжеты литературные, въ нихъ заключенные, и находитъ, дѣй-

ствительно, что тамъ, гдѣ такая культурная связь, которая опредѣляется данными исторіи, налицо, тамъ появляются и интересующіе его сюжеты, иначе: литературныя явленія въ этомъ случаѣ такія же явленія культуры и подчинены тѣмъ же законамъ, какъ и остальныя явленія жизни, т.-е., они находятся въ прямой зависимости отъ культурной исторіи, культурныхъ сношеній того народа, у котораго эти произведенія въ ходу. Такимъ образомъ объясненіе найдено, но оно на этотъ разъ покоится на точныхъ данныхъ исторіи, а не апріорныхъ построеніяхъ, какъ у миѳологовъ-романтиковъ. Это положеніе Бенфей провѣрилъ блестящимъ образомъ на литературной исторіи цѣлаго сборника «Панчатантры». Эта литературная исторія «Панчатантры» представлена у Бенфея послѣ ряда изслѣдованій въ такомъ видѣ: въ древне-индійской браминской литературѣ существуетъ сборникъ нравоучительныхъ разсказовъ «Гитопадеша» (что значитъ—спасительное наставленіе), время составленія котораго намъ неизвѣстно; изъ него между II и VI в. по Р. Х. дѣлается извлеченіе и въ то же время переработка: это—«Панчатантра»; въ томъ же VI вѣкѣ по Р. Х. «Панчатантра» появляется въ двухъ переводахъ: на древне-персидскій (нарѣчіе Пехлеви) и на языкъ сирійскій; оба—подъ названіемъ «Калила и Димна»; древне-персидскій текстъ переведенъ въ VIII вѣкѣ на арабскій съ тѣмъ же заглавіемъ; отъ арабскаго идутъ вновь два перевода: около 1200 г. еврейскій и въ XI в.—греческій, послѣдній—подъ названіемъ «Стефанитъ и Ихнилатъ» (который, какъ установили уже иные ученые, является въ переводѣ XII—XIII вв. въ славянской и русской письменности). Такимъ образомъ, древне-индійскій сборникъ черезъ рядъ переводовъ доходитъ и до русской литературы и здѣсь даетъ ей сюжетъ. Отъ того же арабскаго, черезъ еврейскій переводъ, индійскій сборникъ становится достояніемъ и западно-европейской литературы: въ XIII вѣкѣ съ еврейскаго дѣлается переводъ испанскій, съ испанскаго—латинскій, а отъ этого идутъ переводы на многіе европейскіе языки, въ томъ числѣ и на французскій; этотъ послѣдній и былъ въ рукахъ у Лафонтена подъ именемъ басенъ Бидпая. Во всѣхъ этихъ переводахъ есть и сюжетъ о молочницѣ, разработанный Лафонтеномъ. Если бы мы для наглядности хотѣли изобразить «родословіе» «Панчатантры», то получилась бы приблизительно такая схема: (см. слѣд. страницу).

Такимъ образомъ объясняется, почему по сюжету басня Лафонгена оказалась сходной съ древне-индійскимъ разсказомъ и русской сказкой о бѣднякѣ и зайцѣ. Лафонтенъ взялъ старый, уже переведенный давно французскій сборникъ интересныхъ разсказовъ, приписываемыхъ, какъ онъ самъ заявляетъ, индійцу Бидпаю, взялъ изъ него сюжетъ и обработалъ въ отдѣльную басню. Такимъ образомъ, дѣйствительно, басня Ла-

Гитопадеша (древне-инд. сб.)

↓

Пенчатантра (древне-инд. сб. II—VI в. по Р. X.)

Калила ва Димна—древне-перс. VI в. | Калилагъ и Дамнагъ—сирійск. VI в.

↓

Калила и Димна — арабск. VIII в.

Еврейскій пер.—ок. 1200 г.	Стефанитъ и Ихнилатъ—греч. XI в.
↓	↓
Испанскій пер. ок. XIII в.	Стефанитъ и Ихнилатъ—слав. XII—XIII в.
↓	↓
Латинскій пер. — XIII—XIV в.	Сюжеты русскихъ народн. сказокъ.

Французск. пер. | Нѣмецкій пер. | Итальянскій пер.

↓

Сюжетъ басни Лафонтена.

фонтена родственна индійскому разсказу, но не потому, что Лафонтенъ, какъ французъ (индо-европеецъ), родственъ по языку автору индійскаго уазсказа, какъ также индо-европейцу, а потому, что Лафонтенъ заимствовалъ сюжетъ изъ сборника, путемъ цѣлаго ряда переводовъ дошедшаго во французскую литературу изъ далекой Индіи; такимъ образомъ, сюжетъ басни Лафонтена есть международный, странствующій, а не доисторическій, арійскій сюжетъ. Банфей такимъ образомъ разъяснилъ происхожденіе сюжета; оставалось намѣтить тотъ путь, какимъ этотъ сюжетъ шелъ, и опредѣлить время перехода во французскую литературу. Ободренный такимъ успѣхомъ своихъ изысканій, Бенфей идетъ дальше, ставя вопросъ: какой это былъ путь, и какія внѣшнія событія способствовали тому, что одни и тѣ же сюжеты переходятъ отъ одного народа къ другому, и когда это было? Присматриваясь къ исторіи народностей, онъ приходитъ къ такому выводу: такихъ путей было нѣсколько, дѣйствовали они въ разное время, при разныхъ обстоятельствахъ; такъ, приблизительно, въ эпоху послѣ Александра Македонскаго начинается общеніе между далекой Индіей и передней Азіей, какъ результатъ развитія эллинизма, т.-е., въ Месопотаміи въ это время появляются элементы восточнаго индійскаго происхожденія, отражаются въ литературѣ древне-греческой. Изъ этой древне-греческой литературы этотъ сюжетъ переходитъ ко всѣмъ тѣмъ народамъ, съ которыми приходили въ соприкосновеніе греки. Этимъ объясняется, что восточные сюжеты мы встрѣчаемъ въ римской литературѣ, греческой и въ остальной Европѣ; стало быть, это—путь III—II вв. до Р. X. Другой путь для подоб-

наго рода перехода—путь болѣе новый: появленіе восточнаго элемента въ западно-европейской литературѣ отмѣчается какъ разъ къ концу перваго тысячелѣтія послѣ Р. Х., главнымъ образомъ, въ XI и XII вв. Бенфей объясняетъ это сближеніемъ востока и запада въ эпоху арабскихъ завоеваній, захватившихъ и югъ Европы, и въ эпоху Крестовыхъ походовъ, когда масса европейскаго населенія прослѣдовала въ Азію и, возвращаясь назадъ, захватывала съ собой въ Европу то, что̀ она получила въ Азіи, и въ томъ числѣ литературные сюжеты. Это было результатомъ того общаго расцвѣта азіатско-восточной науки въ Европѣ, время расцвѣта и арабскаго владычества. Эта наука, впитавшая въ себя и восточные, и античные элементы, процвѣтаетъ на языкахъ арабскомъ, еврейскомъ, сирійскомъ, при дворахъ азіатскихъ калифовъ, и распространяется по мѣрѣ того, какъ владѣнія арабовъ распространяются на югѣ Европы, захвативъ Египетъ, мѣстности вдоль сѣвернаго берега Африки, проникнувши въ Испанію, югъ Италіи, доходя до юга Франціи, гдѣ арабы наталкиваются на энергичное противодѣйствіе европейскаго населенія, и гдѣ кладется предѣлъ ихъ завоеваніямъ. Это — путь, продолженіемъ котораго является эпоха Крестовыхъ походовъ. Другая струя восточнаго вліянія идетъ по островамъ Средиземнаго моря, захватываетъ греческій Архипелагъ, Сицилію. Время расцвѣта этого вліянія тѣ же вѣка. Такимъ образомъ, можно сказать, что главнымъ путемъ и средствомъ для распространенія восточныхъ азіатскихъ сюжетовъ въ западной Европѣ являются культурныя сношенія, которыя имѣли мѣсто въ исторіи средневѣковой Европы. Третій путь — для востока Европы: изъ Передней и Малой Азіи черезъ Византію на Балканскій полуостровъ и на востокъ въ Россію; это—путь также старый, съ VII вѣка, и служитъ онъ долго, пока жива Византія.

Бенфей, намѣчая эти пути, указываетъ, что общность сюжетовъ въ отдѣльныхъ европейскихъ литературахъ зависитъ не только отъ ихъ доисторическаго родства, а покоится на данныхъ исторіи, и что эти сюжеты вовсе не такъ древни, чтобы въ нихъ предполагать остатки какой-то литературы праязыка, а, наоборотъ, что они довольно поздняго происхожденія. Если миѳологи отказываются установить хронологическія границы для изслѣдуемыхъ ими сюжетовъ, какъ нельзя хронологически точно указать эпоху праязыка, такъ какъ это время далеко заходитъ за предѣлы доступнаго намъ лѣтоисчисленія, то теперь для цѣлаго ряда сюжетовъ это становится возможнымъ, и эта хронологія указываетъ на сравнительно позднее появленіе сюжетовъ, на ихъ заимствованіе въ данной литературѣ, отвергая ихъ исконную принадлежность данной національности или даже ряду родственныхъ народностей. Эта новая теорія

Бенфея, «теорія заимствованія», вызвала цѣлую бурю негодованія противъ себя, потому что не улеглись еще совсѣмъ тѣ порывы романтическіе, которые и создали, собственно говоря, миѳологическую теорію и поддерживали патріотическія представленія о народности. Теперь оказывается, что тотъ матеріалъ, въ которомъ хотѣли видѣть доказательство большой древности того или другого народа или самобытности его,—во-первыхъ, матеріалъ относительно поздній, а, во-вторыхъ, матеріалъ далеко не всегда свой, а чужой, заимствованный, что все это не есть богатый матеріалъ, на которомъ можно строить представленіе о національности, какъ этотъ терминъ понимали патріоты-романтики. Но если теорія Бенфея и вызвала цѣлую бурю негодованія въ лагерѣ миѳологовъ-романтиковъ, Бенфей, однако, не прекратилъ работы въ новомъ направленіи. Напавши, повидимому, на правильный путь, онъ еще дальше ведетъ разработку; онъ указываетъ все новые и новые сюжеты въ качествѣ такихъ бродячихъ, блуждающихъ сюжетовъ, которые переходятъ отъ одного народа къ другому, а не составляютъ исконнаго доисторическаго наслѣдія. Наиболѣе типичнымъ изъ трудовъ Бенфея было двухтомное изданіе «Панчатантры» (1859); здѣсь онъ даетъ не просто нѣмецкій переводъ индійскаго сборника, а также обширный комментарій къ каждой изъ этихъ сказокъ и изслѣдуетъ литературную исторію каждой изъ нихъ во всѣхъ доступныхъ ему литературахъ. Получилась грандіозная работа по исторіи «заимствованія» въ литературѣ. Оказалось, что одна только «Панчатантра», взятая Бенфеемъ, даетъ новое объясненіе цѣлому ряду тѣхъ сюжетовъ, которые до сихъ поръ считались созданными самостоятельно тѣмъ или другимъ народомъ, устно-народными; они ими остаются въ литературѣ даннаго народа, но не считаются самостоятельнымъ, либо общимъ наслѣдіемъ глубокой древности арійской старины. Тамъ, гдѣ видѣли миѳологію, оказывается не что иное, какъ просто интересные, либо поучительные разсказы, которые перешли, какъ результатъ любознательности заимствовавшаго, изъ другихъ литературъ, и миѳологическаго въ нихъ ровно ничего нѣтъ, да и быть не могло: въ то время, когда эти сюжеты появлялись въ данной литературѣ, о какой-либо религіи природы, миѳологическихъ воззрѣніяхъ уже рѣчи быть не могло; это уже эпоха христіанства, притомъ не ранняя даже. Этотъ путь распространенія сюжетовъ, открытый Бенфеемъ, несомнѣнно, сыгралъ видную роль въ исторіи какъ самаго метода изученія памятниковъ народной словесности, такъ и въ исторіи литературы вообще. Вотъ почему я на немъ остановился немного дольше.

Окончательную побѣду Бенфеевскому методу, который, оставаясь, сравнительнымъ, въ отличіе отъ «миѳологическаго» называется методомъ

«историческаго заимствованія» или методомъ «историческаго взаимовліянія», доставилъ тотъ же упомянутый Максъ Мюллеръ. Онъ былъ главой миѳологической школы, но онъ же первый, въ интересахъ истины, сталъ непосредственнымъ сторонникомъ школы Бенфея. Въ его «Essays» (Опыты, 1873), гдѣ были собраны его мелкія статью, рядомъ съ «миѳологическими» сюжетами есть небольшая статья, озаглавленная «Die Wanderung der Sagen», т.-е. странствованіе сказаній, гдѣ находимъ откровенное признаніе въ тѣхъ ошибкахъ, которыя до сихъ поръ дѣлала миѳологическая школа, и которыя дѣлалъ онъ самъ. Онъ беретъ одинъ сюжетъ изъ Панчатантры, ту самую сказку о молочницѣ, которой воспользовался Лафонтенъ, и которую мы приводили въ видѣ образца раньше, производитъ историко-литературный анализъ ея, дополняя его цѣлымъ рядомъ европейскихъ параллелей сравнительно съ Бенфеемъ, и доказываетъ шагъ за шагомъ, какимъ образомъ и когда эта сказка переходитъ отъ народа къ народу, и какъ она отражалась на народномъ сознаніи; въ то же время для него ясно, что это заимствованіе отнюдь не есть отрицаніе идеи «національности». Если сюжетъ заимствованъ, если онъ не будетъ обломкомъ миѳа, то онъ все-таки не лишенъ значенія для исторіи національности, народности, потому что, взявши такой сюжетъ чужой, завѣдомо убѣдившись, что онъ чужой, мы получаемъ возможность прослѣдить, какъ относится данный народъ къ этому сюжету: онъ бралъ самую схему, скелетъ разсказа, давалъ ему с в о ю бытовую обстановку, ставя его въ тѣ историческія условія, въ которыхъ этотъ сюжетъ ему представляется удовлетворяющимъ наиболѣе успѣшно той потребности, которая вызвала самое заимствованіе. Тема разсказа такова: какъ опасно предаваться неосновательнымъ мечтаніямъ; разсказъ этотъ иллюстрируется бытовымъ примѣромъ наказаннаго за это неумѣреннаго мечтателя. Этотъ скелетъ общій, ходячій, облеченъ каждымъ народомъ, къ которому онъ попадалъ, въ свою одежду, образъ и обстановку. Начнемъ съ индійскаго разсказа въ «Панчатантрѣ». Здѣсь бѣдный браминъ (представитель индійской религіи) получилъ отъ кого-то въ подарокъ горшокъ вареннаго рису (обычная пища въ Индіи). Этотъ горшокъ рису онъ принесъ въ убогую свою хижину, повѣсилъ на гвоздикъ, надъ постелью съ тѣмъ, чтобы крысы и мыши не добрались, и отъ предвкушенія удовольствія, что онъ поѣстъ и завтра будетъ сытъ, онъ размечтался: какъ онъ продастъ остатокъ рису, какъ заведетъ на эти деньги себѣ пару козъ, какъ эти козы наплодятъ ему маленькихъ козлятъ, какъ онъ будетъ торговать ими, обогатится, затѣмъ, какъ онъ женится, такъ какъ теперь онъ богатый человѣкъ, у него есть на что содержать жену; жена, мечтаетъ онъ, родитъ ему сына,

сынъ рѣзвый мальчикъ, шалунъ; онъ крикнетъ женѣ, чтобы она взяла мальчика, который забрался въ конюшню, гдѣ его можетъ убить лошадь, но жена не слышитъ; тогда онъ сгоряча дастъ ей пинка ногой... Мечтая такъ, бѣдный браминъ и на дѣлѣ сильно дрыгнулъ ногой и... попалъ въ свой горшокъ, разбилъ вдребезги и весь испачкался кашей. Обстановка разсказа вся, начиная съ героя, типичная восточная, носитъ мѣстный, индійскій колоритъ. Стало быть, что же сдѣлалъ съ этимъ сюжетомъ индійскій разсказчикъ? Этотъ международный сюжетъ онъ одѣлъ въ индійскую одежду. Въ арабскомъ пересказѣ браминъ превратился въ дервиша-отшельника, и соотвѣтствующая обстановка окружаетъ его; въ греческомъ—это нищій, въ зависимости отъ чего мѣняется и обстановка. Эта сказка есть въ русской народной устной литературѣ. Какъ сказка интересная и остроумная, она попала даже въ дѣтскіе учебники; вѣроятно, въ любой хрестоматіи для начальной школы и для младшихъ классовъ гимназіи вы найдете сказку о томъ, какъ шелъ бѣдный мужикъ по чистому полю, увидѣлъ подъ кустомъ зайца и т. д., и кончается она тѣмъ, что онъ сталъ покрикивать на ребятъ, которые балуются, а заяцъ выскочилъ изъ-подъ куста и убѣжалъ. Здѣсь въ разсказѣ тотъ же самый сюжетъ одѣтъ уже въ чисто-русскую бытовую обстановку. Лафонтенъ же рисуетъ намъ Перетту, типичную французскую крестьянку, описываетъ подробно ея костюмъ, коротенькое платье, деревянные башмаки, черные чулки, корсажъ, и она несетъ на головѣ горшокъ съ молокомъ и мечтаетъ о чисто-буржуазномъ счастьѣ. Смыслъ всюду остается одинъ и тотъ же: индійскій браминъ, арабскій отшельникъ, русскій мужикъ, молочница Перретта—все это лишь различныя обработки, созданныя мѣстными условіями, одного общаго типа-мечтателя, притомъ неразумнаго. Сюжетъ, можетъ быть, чужой, но та одежда, въ которую его одѣваютъ, зависитъ отъ времени и культуры той страны, въ которую этотъ сюжетъ попадаетъ, и является національной. Стало быть, беря извѣстный сюжетъ, какъ матеріалъ для литературнаго произведенія, какъ матеріалъ для исторіи народности, народнаго міросозерцанія, мы не станемъ искать въ немъ миѳологіи, а постараемся установить тѣ историческія реальныя условія, которыя имѣетъ въ виду обработка сюжета. Слѣдовательно, самый способъ обработки, самый этотъ характеръ обработки, сама обстановка, въ которую поставленъ международныйн сюжетъ, дастъ матеріалъ для исторіи сюжета и черезъ нее бытовой для исторіи народа. Такъ, на наглядномъ примѣрѣ, популяризировалъ новую теорію Максъ Мюллеръ.

Тотчасъ же за Максомъ Мюллеромъ отказался отъ миѳологической теоріи, съ такой же откровенностью, Буслаевъ; онъ еще въ 60-хъ годахъ былъ поклонникомъ миѳологической школы, хотя безъ тѣхъ край-

ностей, о которыхъ я говорилъ. Онъ самъ уже заподозрилъ крайности этой теоріи, поэтому для него переходъ къ другому направленію былъ легче, и онъ этотъ переходъ сдѣлалъ въ 1874 г. въ своей статьѣ подъ названіемъ «Перехожія повѣсти» [1]). Онъ беретъ ту же самую «Панчатантру», въ значительной степени уже обработанную Бенфеемъ, М. Миллеромъ, и, кромѣ того, какъ человѣкъ, знающій хорошо русскую и славянскія литературы, онъ статью М. Мюллера дополняетъ русскими параллелями, и получается, что эта сказка о мечтателѣ или мечтательницѣ обходитъ рѣшительно всѣ азіатскія и европейскія литературы. Буслаевъ находитъ слѣды такихъ же странствующихъ сюжетовъ въ литературахъ отдаленнаго востока, въ литературахъ китайской, тибетской и др., греческой, римской (подобно сюжету о мечтателѣ, онъ даетъ анализъ и другого—о невѣрной женѣ). Такимъ образомъ, и у насъ водворилась эта новая теорія. Но эта теорія, въ приложеніи къ народному эпосу, пошла не сразу гладко: и у насъ, какъ и на западѣ, видимъ скачки, крайности въ ея примѣненіи. Дѣйствительно, переходъ отъ романтическихъ мечтаній ученаго о томъ, что во всякомъ эпитетѣ, въ родѣ: «золотая» уздечка или «самоцвѣтный» камень (въ оправѣ сѣдла богатыря), кроется уже миѳъ, что камень самоцвѣтный это есть символъ солнца (такъ, у Аѳанасьева даже), что все это своe, родное, переходъ къ такимъ выводамъ, что подобнаго ничего нѣтъ на дѣлѣ, что сюжетъ сказки есть на дѣлѣ не матеріалъ для миѳа, не самобытенъ, а простое и не доисторическое, а сравнительно позднее заимствованіе, такой переходъ былъ слишкомъ рѣзокъ и не могъ не дать и у насъ нѣсколько болѣзненныхъ процессовъ. Въ 1868 г., вскорѣ послѣ появленія книги Бенфея о Панчатантрѣ, появляются въ «Вѣстникѣ Европы» статьи В. В. Стасова, въ то время начинающаго, а потомъ извѣстнаго историка искусства, художественнаго критика, представителя новѣйшаго критическаго метода въ наукѣ. Эти статьи озаглавлены: «Происхожденіе русскихъ былинъ» [1]). Эта статья произвела еще большій шумъ у насъ, нежели книга Бенфея въ Германіи. Стасовъ въ своей статьѣ о происхожденіи русскихъ былинъ и богатырей приходитъ къ такимъ выводамъ, которые въ корнѣ уничтожали все то, что было до сихъ поръ такъ любовно, такъ трудолюбиво дѣлалось нашими миѳологами. Любители и поклонники народности, въ особенности представители изученія народной словесности, увидали въ книгѣ Стасова чуть ли не измѣну наукѣ или—больше того—русскому патріотизму. Въ чемъ

---

[1]) Перепечатана въ сборникѣ его же статей „Мои досуги“ (М., 1886 г.) II, 259 и сл.

[2]) Позднѣе онѣ перепечатаны въ Собраніи сочиненій Стасова (Спб., 1894 г.), т. III, 948 и сл.

же тутъ было дѣло? Дѣйствительно, было, чѣмъ взволноваться. Книга Стасова, какъ и предшествовавшіе труды миѳологовъ, представляла своего рода крайность, и эта крайность, разумѣется, прежде всего, и поразила непріятно русскихъ изслѣдователей. Дѣло въ томъ, что какъ разъ около этого времени вышелъ большой сборникъ сказокъ тюркскихъ народностей изъ южной Сибири (1866) подъ редакціей извѣстнаго знатока-академика Радлова, а не задолго передъ тѣмъ (1859) подобный же сборникъ богатырскихъ пѣсенъ минусинскихъ татаръ, подъ редакціей акад. Шиффнера. Эти сказки и пѣсни въ значительной степени напомнили наши былины въ отдѣльныхъ моментахъ, въ отдѣльныхъ сюжетахъ. Въ это время какъ разъ появляется и книга Бенфея, которая, какъ мы знаемъ, ставила совершенно другія основы, другіе критеріи для изученія народной словесности, выдвигая вмѣсто доисторическаго сродства народностей, исконности мотивовъ народной словесности историческое вліяніе и заимствованіе. Стасовъ пораженъ былъ цѣлымъ рядомъ совпаденій между тюркскими сказками и татарскими былинами, съ одной стороны, и, съ другой,—между отдѣльными эпизодами нашихъ русскихъ былинъ. Онъ обратился къ параллельному изученію русскихъ былинъ и восточныхъ сказокъ, чтобы уяснить себѣ причины этого сходства, привлекъ сюда и сказку объ Еруланѣ Лазаревичѣ, какъ такую, восточное происхожденіе которой въ русской словесности не подлежало сомнѣнію, а также сказку о Жаръ-птицѣ, имѣющую рядъ западныхъ параллелей, и др.; этимъ онъ хотѣлъ расширить кругъ сравненія для былинъ: и та, и другая, какъ оказалось, ясно указывали на присутствіе восточнаго вліянія въ русской литературѣ, заимствованіе ею сюжетовъ съ востока же. Затѣмъ онъ перешелъ къ сравненію нашихъ былинъ съ восточными, тюркскими и татарскими пѣснями и сказками, главнымъ образомъ, по Радлову и Шиффнеру. Впечатлѣніе отъ этого сравненія въ общемъ получилось такое: если встать на точку зрѣнія аналогіи, то несомнѣнно, что въ нашихъ былинахъ есть точки соприкосновенія съ восточными сказаніями, и нѣкоторыя изъ этихъ совпаденій поддавались очень легко учету. Идя дальше Стасовъ все больше и больше находитъ этихъ совпаденій. Допуская, что если съ теченіемъ времени измѣняются подробности разсказовъ, то сюжетъ остается болѣе или менѣе неизмѣннымъ, онъ начинаетъ сопоставлять сюжеты русскихъ былинъ и восточныхъ пѣсенъ и сказокъ, которыя между собою представляютъ уже болѣе отдаленное сходство; и этого сходства для него достаточно для того, чтобы указать на органическую связь между сюжетами тюркскихъ сказокъ и русскими былинами. Эту связь онъ истолковываетъ въ смыслѣ заимствованія русской былиной изъ тюркской сказки, имѣя въ виду древность восточныхъ

литературъ и восточныя влiянiя въ русской жизни въ другихъ областяхъ. Въ результатѣ у него получился такой вовыдъ: почти ничего самостоятельнаго, самобытнаго и стариннаго нѣтъ въ русской былинѣ, а что это чуть не сплошь заимствованiя, въ громадномъ большинствѣ случаевъ изъ сказокъ восточныхъ народовъ, стоящихъ на низкой ступени развитiя и только еще переходящихъ отъ кочевого быта къ быту болѣе осѣдлому. Время этихъ заимствованiй не древне: оно не ранѣе XIII в., времени особенно сильнаго движенiя на Русь восточныхъ ордъ. Стало быть, русскаго эпоса, какъ нацiональнаго созданiя, нѣтъ, а есть только перепѣвы чужихъ мотивовъ, притомъ народовъ низшей культуры. Для людей патрiотически настроенныхъ, посвятившихъ всѣ свои труды тому, чтобы по возможности глубоко и широко изслѣдовать русскую народность, указать, какiя представляла она свои особенности, по крайней мѣрѣ, доказать, что въ прошломъ русскiй народъ по своему мiросозерцанiю ничуть не стоялъ ниже тѣхъ народовъ, которые считаются образцомъ культурныхъ народовъ—народовъ западно-европейскихъ—такiе выводы были не только не прiемлемы, но и оскорбляли нацiональное чувство. При всемъ томъ Стасовъ обладаетъ сильной дiалектикой, оперируетъ съ такимъ матерiаломъ, съ которымъ до сихъ поръ, какъ не индо-европейскимъ, почти не имѣли дѣла представители прежняго направленiя, и съ этой точки зрѣнiя Стасовъ казался неуязвимымъ, а неожиданность и опредѣленность выводовъ Стасова такъ поразили ученыхъ старой школы, что нѣкоторое время они представлялись какъ бы растерявшимися.

Но съ теченiемъ времени представители стараго направленiя начинаютъ собираться съ силами, и появляется одна изъ замѣчательныхъ работъ по русскому эпосу, но и послѣдняя въ старомъ направленiи: это, именно, работа Ореста Миллера «Илья Муромецъ и богатырство кiевское, сравнительно-критическiя наблюденiя надъ слоевымъ составомъ русскаго эпоса» (1869). Подзаголовокъ труда О. Ѳ. Миллера очень характеренъ: авторъ цѣлью своей работы ставитъ нижнiй слой—древнѣйшiй—русскаго эпоса: онъ для него, внѣ всякихъ сомнѣнiй, миѳологическiй; для позднѣйшихъ слоевъ онъ допускаетъ историческое влiянiе, но не въ духѣ теорiи Бенфея, а въ смыслѣ напластованiя позднѣйшихъ историческихъ условiй русской же жизни на этой древнѣйшей основѣ. Въ общемъ книга О. Ѳ. Миллера представляетъ, дѣйствительно, замѣчательный трудъ. Замѣчательна она тѣмъ, что Миллеръ, несомнѣнно, убѣжденный представитель школы миѳологической, старается взять изъ этой теорiи то, что̀ наиболѣе заслуживаетъ довѣрiя съ современной научной точки зрѣнiя, старается избѣгать тѣхъ крайностей, которыя представляла эта теорiя; мало того, онъ старается исчерпывающимъ образомъ

использовать тотъ новый, обильный матеріалъ, который въ это время становится достояніемъ науки. Къ этому времени какъ разъ запись матеріаловъ по устной народной словесности, въ частности по былинамъ, возросла до значительныхъ размѣровъ. Какъ разъ въ это время была открыта такъ называемая «Исландія русская эпоса», т.-е. появилось громадное собраніе былинъ Олонецкой губерніи, составленное Рыбниковымъ (1861—67), которые поражаетъ выдержанностью, своей полнотой и количествомъ былинъ. Это количество новаго матеріала по изученію народной словесности, въ частности былинъ, привлекло вниманіе изслѣдователей; этимъ богатымъ матеріаломъ мастерски пользуется для доказательства своей миѳологической точки зрѣнія Миллеръ. Что касается метода, то методъ его можетъ считаться до настоящаго времени образцовымъ во многихъ отношеніяхъ. Но Миллеръ отлично понималъ, что съ миѳологическимъ взглядомъ объясненія былинъ обстоитъ далеко не благополучно, и поэтому онъ привелъ второе заглавіе своего труда: «Сравнительно-критическія наблюденія надъ слоевымъ составомъ русскаго эпоса». Это значитъ, что Миллеръ желаетъ считаться съ исторіей, допускаетъ измѣненія въ составѣ древняго эпоса въ позднія времена; но онъ попрежнему вѣритъ въ то, что нашъ эпосъ, въ основѣ своей миѳологическій, восходитъ къ времени доисторическому. Это онъ и старается доказать цѣлымъ рядомъ сопоставленій преимущественно съ эпосами ближайшихъ родственныхъ народовъ, германско-романскихъ, иранскихъ и др. Онъ привлекаетъ къ сравненію послѣдовательно саги о Нибелунгахъ съ русскими былинами, сказанія о Карлѣ Великомъ и его паладинахъ, отдѣльные эпизоды иранскаго (персидскаго) эпоса, имѣя въ этомъ случаѣ въ виду поэму знаменитаго писателя XI в. персидскаго Фирдоуси «Шахъ - Наме», построенную цѣликомъ на устномъ персидскомъ эпосѣ. Изученіе русскихъ варіантовъ по цѣлому ряду пересказовъ былины, выдѣленіе первоначальнаго состава былины, какъ она должна была появиться впервые въ устахъ пѣвцовъ народа, заслуживаетъ полнаго уваженія, и до сихъ поръ усвоеніе того, какъ Миллеръ обращается съ варіантами, остается поучительнымъ и образцовымъ въ методологическомъ отношеніи, и къ нему приходится всегда обращаться въ особенности начинающимъ изслѣдованія въ области народнаго эпоса. Затѣмъ несомнѣнно, что Миллеръ считается съ исторіей, именно онъ предполагаетъ (и совершенно правильно) что эпосъ, который зародился много тысячелѣтій назадъ (какъ онъ увѣренъ) и дошелъ до нашего времени въ устахъ народа, несомнѣнно, не могъ сохраниться неизмѣннымъ, и въ силу этого мы должны, работая надъ былинами, имѣть въ виду, что мы имѣемъ передъ собою древніе тексты въ позднихъ редакціяхъ; необходимо поэтому выдѣлить тѣ наслоенія, которыя нало-

жены исторической судьбой племени, и только тогда мы получаемъ первоначальный видъ того произведенія устной народной словесности, какъ оно явилось изъ устъ его автора, изъ устъ первыхъ пѣвцовъ. Эти-то наслоенія и старается отдѣлить въ нашемъ эпосѣ Ор. Миллеръ. Это и есть причина, почему онъ во второй части своей работы говоритъ о наслоеніяхъ московскаго періода, даже болѣе новаго времени, т.-е. указываетъ тѣ видоизмѣненія, которыя появились въ нашемъ эпосѣ уже въ болѣе позднее время. Но все это, конечно, не мѣшаетъ ему считать этотъ эпосъ въ основѣ своей доисторическимъ и миѳологическимъ: Миллеръ вѣритъ въ то, что этотъ эпосъ есть выраженіе когда-то существовавшихъ религіозныхъ вѣрованій, что въ этомъ эпосѣ заключается ядро миѳологіи. Стало быть, къ чему же сводится работа Миллера? Она сводится къ тому, что, оставаясь представителемъ прежняго направленія, онъ старается примѣнить новый критическій методъ и отчасти методъ историческій, въ общемъ все тотъ же сравнительный методъ къ изученію матеріала русскаго эпоса; но у него остается недоказаннымъ основное положеніе—то, что̀ требовалось, собственно, доказать—именно, что дѣйствительно въ нашемъ эпосѣ заключается доисторическая старина и заключаются остатки религіозныхъ миѳологическихъ вѣрованій, что нашъ эпосъ такъ же миѳологиченъ, какъ миѳологиченъ эпосъ античнаго міра, исландскій или старо-германскій. Это апріорное положеніе остается для О. Ѳ. Миллера исходнымъ пунктомъ его огромнаго труда; его книга въ то же время является по своей основной мысли сплошной полемикой противъ Стасова и неумѣлаго примѣненія имъ метода Бенфея; онъ, кромѣ того, явно возмущенъ непатріотичностью Стасова. Несомнѣнно, что большой знатокъ древней литературы и знатокъ устной народной литературы, Миллеръ могъ внести много новаго въ изученіе нашего эпоса, и тѣ стороны его труда, которыя, хотя и строятся на старой неисторической точкѣ зрѣнія, представляютъ анализъ матеріала, своего рода «поэтику» былины, живы до сихъ поръ; остальныя же приходится считать уже устарѣвшими, какъ и самую миѳологическую школу. Правда имя О. Ѳ. Миллера, мастерство его труда, тотъ громадный матеріалъ который имъ привлеченъ, на время задержалъ у насъ развитіе скептической школы, рѣзкимъ представителемъ которой былъ Стасовъ. Противъ Стасова возражалъ тотъ же самый, примкнувшій уже къ новой школѣ Буслаевъ [1]); энергично опровергалъ его и А. Ѳ. Гильфердингъ [2]), и будущій спеціалистъ изслѣдователь былинъ В. Ѳ. Миллеръ, несомнѣнно, раздѣлявшій взгляды теоріи Бенфея [3]). Но тотъ же Буслаевъ въ своей

---

[1]) Отчетъ о XII прис. премій Уварова (1870 г.).

[2]) „Москва“ 1868 г., № 135—136.

[3]) Бесѣды въ Общ. Люб. Рос. Слов., кн. 3 (М., 1871 г.).

рецензіи на О. Миллера, обходя вопросъ и миѳологичности эпоса, какъ необоснованный въ изслѣдованіи, желаетъ бо́льшаго прикрѣпленія эпоса къ исторической почвѣ Руси [1]).

Такимъ образомъ, даже несмотря на неудачу, постигшую Стасова, и энергію въ защитѣ старой школы, ея судьба была рѣшена и у насъ: она въ томъ видѣ, какъ ее представилъ даже наиболѣе вооруженный знаніемъ и опытомъ Ор. Миллеръ, должна была уступить мѣсто школѣ «заимствованія». Время отъ времени, правда, мы встрѣчаемся съ этими миѳологическими построеніями и въ нашу эпоху у изслѣдователей нашего эпоса, но они уже не характерны для общаго хода науки. Т. о. результатъ трудовъ Миллера былъ, конечно, ничтоженъ въ сравненіи съ тѣми надеждами, которыя на него возлагали. Время отъ времени появляются и попытки новыхъ обобщеній, но эти новыя обобщенія уже идутъ по стопамъ новой исторической школы въ духѣ Бенфея, именно, въ смыслѣ возможнаго оправданія того увлеченія востокомъ, откуда Бенфей выводилъ большинство европейскихъ странствующихъ сюжетовъ, высоко и по временамъ черезчуръ высоко оцѣнивая роль древней восточной культуры въ развитіи западной. Такъ, появляется работа В. Ѳ. Миллера «Экскурсы въ область русскаго народнаго эпоса» (М. 1892). Эта работа, несомнѣнно, примыкаетъ внѣшнимъ образомъ къ работѣ Стасова, В. Ѳ. Миллеръ, какъ лингвистъ и какъ историкъ литературы, занимаетъ совершенно опредѣленное, выдающееся мѣсто въ ряду кавказовѣдовъ. Изучая мѣстныя преданія Кавказа, главнымъ образомъ, осетинскія, онъ приходитъ въ своей научной работѣ по языку («Осетинскіе этюды» 1887), къ довольно опредѣленному выводу. Въ осетинахъ онъ видитъ потомковъ древнихъ иранцевъ (къ которымъ принадлежатъ и древніе персы). Иранцы подъ разными именами, подъ именемъ скиѳовъ и сарматовъ, существовали въ южной Россіи въ раннюю историческую эпоху, передъ началомъ собственно русской исторіи; отсюда изслѣдователь дѣлаетъ естественный выводъ, что эти добрососѣдскія отношенія русскаго племени съ иранцами, хотя бы въ эпоху ближайшую ко времени историческому, пройти даромъ не могли. Затѣмъ, изслѣдуя дальнѣйшую исторію иранскихъ племенъ, Миллеръ приходитъ къ выводу, что эти иранцы были позднѣе оттѣснены на югъ и остались частью на Кавказѣ, и что потомки этихъ древнихъ иранцевъ—теперешніе осетины и другіе соплеменные имъ народы Кавказа; между этими потомками иранцевъ и русскими залегли тюркскія племена кочевниковъ (Половцы, напримѣръ), которые также могли быть посредниками въ области заим-

[1]) Отчетъ о XIV прис. премій Уварова (Спб., 1872 г.), перепечатано въ „Народной поэзіи“ (1887), стр. 245 и сл.

ствованія народно-поэтическихъ сюжетовъ между кавказскими народами и Русью. Въ дальнѣйшемъ Миллеръ и указываетъ рядъ «иранизмовъ» въ нашемъ эпосѣ, на основаніи сопоставленій мотивовъ изъ иранскихъ эпосовъ (главнымъ образомъ изъ кавказскихъ «Рустеміадъ», частью по «Шахъ-Наме» Фирдоуси) и въ русскомъ, при чемъ эти кавказскіе мотивы (разумѣется, въ своемъ древнемъ видѣ) являются источниками аналогичныхъ русскихъ; въ то же время В. Ѳ. Миллеръ, отмѣчая такія заимствованія, отмѣчаетъ посредствующее вліяніе тюрковъ въ нашемъ эпосѣ; эти вліянія иранское и тюркское объясняются культурными сношеніями, частью непосредственными, частью черезъ иныя посредства. Сопоставивши эти проблемы и, съ другой стороны, имѣя въ виду, что русскій эпосъ въ настоящее время представляется, какъ говоритъ Миллеръ, красивымъ зданіемъ, но въ развалинахъ, перевидавшимъ на своихъ стѣнахъ много культурныхъ наслоеній, онъ старается представить себѣ это красивое зданіе въ его цѣломъ, объяснить себѣ эти разнообразныя детали и рѣшаетъ вопросъ такимъ образомъ: въ нашемъ эпосѣ, не отрицая его національныхъ основъ или происхожденія, какъ бы мы ихъ себѣ ни объяснили, много элементовъ и другихъ источниковъ; между ними въ довольно значительной степени мы должны отмѣтить въ нашемъ эпосѣ элементы иранскіе. Иранскій богатырь Рустемъ и царь богатырей Кейкаусъ совершенно соотвѣтствуютъ Ильѣ Муромцу и князю Владиміру. Вокругъ Владиміра группируется цѣлая серія нашихъ богатырскихъ былинъ, какъ около Кейкауса, хотя Кейкаусъ, хотъ и царь, но не богатырь, личность не крупная; Владиміръ, тоже не богатырь собственно, тоже второстепенная личность въ самомъ эпосѣ, внѣшній центръ его и т. д. Совпаденіе получается и въ обстановкѣ. При дворцѣ Кейкауса цѣлый рядъ богатырей въ родѣ Рустема и Зораба, которые находятъ себѣ параллель въ русскомъ эпосѣ. Нѣкоторые эпизоды (какъ, напримѣръ, знаменитый эпизодъ о борьбѣ отца съ сыномъ) находятъ себѣ параллель и въ русской былинѣ, какъ и въ германской (Гильдебрандтъ). Орестъ Миллеръ воспользовался этимъ сопоставленіемъ для доказательства исконности, доисторической древности нашей былины, другой Миллеръ, Всеволодъ, объясняетъ это иранскимъ вліяніемъ на нашъ эпосъ. В. Миллеръ въ данной работѣ съ большей осторожностью примѣняетъ методъ Бенфея, нежели Стасовъ, но, увлекшись именно иранизмомъ, подмѣченнымъ имъ въ нашемъ эпосѣ, онъ потерялъ изъ-подъ ногъ историческую почву; наблюдая рядъ дѣйствительно интересныхъ параллелей, значительно расширившихъ наше представленіе о международныхъ отношеніяхъ нашего эпоса, авторъ незамѣтно для себя перешелъ къ вопросу о происхожденіи нашего эпоса, ставя это происхожденіе въ зависимости отъ иранизма въ немъ и отводя на долю самобытно-

сти лишь «радикальную переработку» полученнаго изъ чужого эпоса мотива или сюжета, и такимъ образомъ мало считаясь съ исторической основой эпоса, въ частности русскаго, устанавливаемой прочно новѣйшими изслѣдователями, въ числѣ коихъ одно изъ выдающихъ мѣстъ оказалось за самимъ Всеволодомъ Өедоровичемъ. Если В. Ө. Миллеръ, подобно другимъ, до нѣкоторой степени уплатилъ дань бенфеевской школѣ въ ея увлеченіи востокомъ, какъ источникомъ поэтическаго творчества въ русской устной словесности, то другой изслѣдователь востока, Г. Н. Потанинъ, пошелъ въ этомъ отношеніи еще дальше. Фольклористъ по направленію, большой знатокъ тюркско-монгольской устной словесности, которую онъ изучилъ непосредственно во время своихъ многочисленныхъ путешествій по Сибири и центральной Азіи, Г. Н. Потанинъ приписалъ еще болѣе значительную роль «ордынскому эпосу» въ исторіи эпоса не только русскаго, но и всего европескаго: его «Восточные мотивы въ европейскомъ эпосѣ» (М. 1899) стремятся обосновать сходство отдѣльныхъ мотивовъ европейскаго (русскаго и западнаго) эпоса съ мотивами сказаній глубокаго азіатскаго востока на возможности въ весьма еще отдаленное время сношеній крайняго запада съ крайнимъ востокомъ; не считая создателями этихъ мотивовъ народы монгольскаго корня, Г. Н. Потанинъ предполагаетъ роль этихъ народовъ, передвигавшихся отъ крайняго азіатскаго востока и до предоловъ европейской Россіи, весьма давней и значительной, въ качествѣ передатчиковъ, посредниковъ между этимъ крайнимъ востокомъ и западомъ; широко пользуясь аналогіей, привлекая данныя и изъ области восточнаго языкознанія (главнымъ образомъ имена), онъ видитъ вліяніе восточныхъ мотивовъ не только въ русскомъ эпосѣ и сказаніяхъ о Карлѣ Великомъ, но даже въ эпосѣ древне-греческомъ, Иліадѣ и Одиссеѣ. Такимъ образомъ у Г. Н. Потанина, представителя теоріи культурнаго взаимовліянія народовъ на почвѣ литературныхъ мотивовъ, опять ослабленіе исторической перспективы: предположеніе, а не утвержденіе и доказательство дѣйствительнаго общенія между крайнимъ востокомъ и крайнимъ западомъ.

Историческая школа. Историческая школа, въ строгомъ смыслѣ слова, изученія устной словесности открываетъ новую сторону въ ея прошломъ: она доказываетъ, что всѣ произведенія устной словесности покоятся, прежде всего, на твердомъ историческомъ основаніи. Такимъ основаніемъ является историческій бытъ народа; исходной точкой всякаго устнаго поэтическаго произведенія, говоритъ историческая школа, является или историческій фактъ въ тѣсномъ смыслѣ слова или въ широкомъ смыслѣ—та историческая обстановка, бытовая картина жизни среды исторической эпохи, которая и служитъ сама по себѣ предметомъ поэтической обработки. Такъ, напримѣръ, наша былина о погибели богатырей

или былина объ Алешѣ Поповичѣ могли возникнуть только тогда, когда въ наличности была та или другая опредѣленная историческая личность, которая дала прообразъ Алеши, былъ налицо фактъ, послужившій фабулой былины, т.-е., былина могла создаться, отправляясь отъ извѣстнаго историческаго лица и факта; дальше шла уже поэтическая разработка, возсозданіе той обстановки, которая имѣла мѣсто въ исторіи во время созданія самой былины. Такъ Александръ Поповичъ въ лѣтописи, несомнѣнно, былъ историческимъ прототипомъ Алеши былиннаго, а сама былина о погибели богатырей есть не что иное, какъ поэтическое изображеніе знаменитой битвы на Калкѣ. Такого рода историческая подкладка, несомнѣнно, должна быть въ эпосѣ любого народа. Провѣренное по другимъ эпосамъ, это положеніе относительно происхожденія былины блестяще выдерживаетъ до сихъ поръ критику. Эту историческую основу и не достаточно принялъ во вниманіе В. Ѳ. Миллеръ въ своихъ «Экскурсахъ». Онъ сравнивалъ эпосъ русскій съ эпосомъ персидскимъ, смотрѣлъ на нихъ, какъ на произведенія, народной фантазіи, чистаго народнаго творчества,, хотя и на чужой основѣ, и многія изъ тѣхъ сопоставленій, которыя указаны имъ, какъ ясно доказывающія взаимовліяніе между иранскимъ и русскимъ эпосомъ, объясняются изъ чисто-русскихъ историческихъ дѣйствительныхъ обстоятельствъ и быта. На эту сторону и указывали въ отзывахъ Миллеру другіе изслѣдователи, въ томъ числѣ Н. П. Дашкевичъ (кіевскій профессоръ, одинъ изъ видныхъ изслѣдователей народнаго эпоса) [1]. Онъ справедливо указываетъ на несостоятельность метода Миллера въ томъ видѣ, какъ его проводитъ Миллеръ; не отрицая возможности иранскаго вліянія, Дашкевичъ доказываетъ, что Миллеръ, вопреки исторической перспективѣ, преувеличилъ роль этого иранскаго элемента, довелъ его до того значенія, въ силу котораго онъ является ключомъ къ пониманію генезиса нашего эпоса, благодаря чему историческія основы нашего эпоса остались у него мало затронутыми: историческій методъ В. Ѳ. примѣняетъ, но непослѣдовательно и не въ достаточной степени. Образецъ болѣе полнаго примѣненія этого историческаго метода далъ самъ Н. П. Дашкевичъ въ небольшой по объему, но важной по содержанію статьѣ «Къ вопросу о происхожденіи русскихъ былинъ». Былины объ Алешѣ Поповичѣ и о томъ, какъ не осталось на Руси богатырей» (Унив. Изв. Кіевск. 1883 г.). Здѣсь очень отчетливо еще раньше труда В. Ѳ. Миллера ясно выставлены принципы исторической школы и разъяснены на примѣрѣ въ приложеніи къ былинѣ о гибели богатырей. Сами по себѣ принципы исторической школы въ примѣненіи къ изученію русской словесности, въ

---

[1]) Отчетъ о 36-мъ присужденіи наградъ гр. Уварова, Спб. 1895.

частности къ той же былинѣ, какъ центральному виду творчества, мы можемъ отмѣнить гораздо раньше работъ Н. П. Дашкевича и В. Ѳ. Миллера: намеки на такое направленіе и изученіе эпоса мы видѣли уже у Калайдовича; болѣе серьезныя попытки приложить историческій методъ мы находимъ у К. Аксакова еще въ 1850 г. въ его работѣ «Богатыри временъ Владимира по русскимъ пѣснямъ» («Бесѣда» 1850, IV, то же въ собр. соч. К. Аксакова, М. 1861), работѣ, сильно окрашенной тенденціями извѣстнаго славянофила; гораздо научнѣе та же историческая точка зрѣнія на русскій эпосъ проводится въ трудахъ Л. Н. Майкова «О былинахъ Владимирова цикла» (Спб. 1863) и Н. Д. Квашнина-Самарина «О русскихъ былинахъ въ историческо-географическомъ отношеніи» («Бесѣда» 1872, кн. IV—V). Но всѣ перечисленныя работы (какъ и еще болѣе ранняя Н. И. Костомарова «Объ историческомъ значеніи народной поэзіи», Харьковъ, 1843) имѣли главной своей задачей выяснить не столько литературную исторію произведенія устной словесности, сколько опредѣлить его историческую цѣнность, значеніе его, какъ матеріала, источника историческаго. Работы новыхъ ученыхъ имѣютъ въ виду именно литературную исторію произведенія, стараясь эту исторію освѣтить при помощи данныхъ исторіи русской жизни, быта, культуры вообще. Это направленіе мы и назвали исторической школой въ примѣненіи къ изученію устной словесности. Въ томъ же направленіи— укрѣпленія историческаго взгляда на русскій эпосъ—идутъ работы и М. Е. Халанскаго (харьковскаго профессора): его «Великорусскія былины» (Рус. Филол. Вѣстн., 1884—85) стремятся вскрыть историческую основу большинства русскихъ былинъ путемъ сближенія самой ихъ фабулы съ тѣми или иными историческими фактами, занесенными въ лѣтописные сборники, и такимъ образомъ подойти къ хронологіи созданія той или иной былины: былина создана послѣ факта, который она на себѣ себѣ отразила. Поэтому, для цѣлаго ряда былинъ М. Е. Халанскій указываетъ на время Московскаго царства, какъ на время самаго созданія былины. Такая постановка вопроса о происхожденіи былинъ, отодвигая въ сторону теорію заимствованія и подавно миѳологическую, выдвигала на первое мѣсто историческую бытовую разработку былины, а вмѣстѣ и всей устной словесности. До настоящаго времени, вплоть до кончины (1913 г.), В. Ѳ. Миллеръ, можетъ быть, не безъ вліянія на него трудовъ Халанскаго и рецензіи Н. П. Дашкевича, продолжалъ неутомимо работать надъ исторіей нашего эпоса, вполнѣ научно и широко примѣняя принципы исторической школы и уклоняясь пока отъ широкихъ обобщеній, дѣлать которыя не позволяетъ еще состояніе нашихъ изученій, недавно пошедшихъ новыми путями. Оставивъ въ сторонѣ вопросъ объ исконности нашего эпоса, В. Ѳ. Миллеръ, прежде всего, старается выяснить тѣ исто-

рическія и литературныя отложенія, которыя встрѣчаются въ пашемъ эпосѣ, ихъ изслѣдуетъ съ гораздо большею исторической трезвостью, нежели его однофамилецъ О. Миллеръ, который старается объяснить исторически только то, что не укладывалось въ рамки миѳологическія. В. Ѳ. Миллеръ идетъ, наоборотъ, отъ исторической обстановки, понимая совершенно правильно, что всякое поэтическое произведеніе, прежде всего, есть отраженіе народной жизни опредѣленнаго времени и условій; только на фонѣ этого времени и условій можно говорить о происхожденіи и жизни создавшагося произведенія литературнаго. Такого рода изслѣдованія представляютъ «Очерки по исторіи народной поэзіи» (2 тома, М. 1897 и 1910) и рядъ статей, еще не собранныхъ въ одно цѣлое.

Работа надъ выясненіемъ историческихъ основъ нашего эпоса, отношеній его къ русскому бытовому прошлому, книжной литературѣ, міровому фольклору и надъ исторіей отдѣльныхъ былинныхъ сюжетовъ далеко еще кончена. Но результаты, къ которымъ пришелъ В. Ѳ. Миллеръ до сихъ поръ, несомнѣнно, принадлежатъ къ числу самыхъ видныхъ и цѣнныхъ въ современномъ изученіи нашего эпоса. Эти изслѣдованія въ общемъ показываютъ, что на дѣлѣ нашъ эпосъ во всемъ своемъ объемѣ не можетъ считаться лишь обломками зданія глубокой древности, которую ему приписывали. Повидимому, историческая обстановка русской жизни XVI и послѣдующихъ вѣковъ наложила очень густой слой отложеній на старѣйшія основы эпоса, такъ что иногда приходится прямо пока отказываться отъ возстановленія первоначальнаго зерна той или другой былины, а въ другихъ случаяхъ эта основа и не можетъ быть возводима даже къ первымъ вѣкамъ нашей исторической жизни; эти же изслѣдованія показали необычайное разнообразіе источниковъ нашего эпоса по происхожденію, цѣлый рядъ и туземныхъ и иноземныхъ, устныхъ и письменныхъ. Но все-таки, если зарожденіе нашего эпоса, его сюжетовъ въ общемъ, по взгляду В. Ѳ. Миллера, восходитъ къ эпохѣ, предшествующей XVI и XVII вѣку, то въ то же время о доисторической эпохѣ говорить мы не имѣемъ права. Для доказательства мысли, что основы нашего эпоса надо искать въ древнемъ періодѣ русской исторіи, онъ обращается къ кіевскому періоду и тамъ старается найти объясненіе отдѣльнымъ былиннымъ сюжетамъ. Найдя это объясненіе, онъ старается прослѣдить, какимъ образомъ этотъ сюжетъ развивался и дошелъ до того состоянія, въ которомъ мы его знаемъ теперь. Чтобы опредѣлить эту эволюцію эпоса, отдѣльныхъ его частей, В. Ѳ., строго критически анализируя записи, привлекаетъ все, что̀ можетъ дать объясненіе этой эволюціи, помня постоянно про ту сложную жизнь, которая обусловила самое зарожденіе, развитіе и сохраненіе до нашихъ

дней нашего эпическаго преданія. Въ этомъ заключается большое значеніе трудовъ В. Ѳ. Миллера. Несомнѣнно, что этотъ методъ является до настоящаго времени единственнымъ правильнымъ, долженъ быть признанъ основнымъ для изученія исторіи нашей устной словесности вообще.

А. Н. Веселовскій. Рядомъ съ В. Ѳ. Миллеромъ давно стоитъ другой изслѣдователь, вышедшій изъ той же самой школы Буслаева и дающій освѣщеніе устной словесности также исторически, но съ иной стороны. Если Миллеръ въ силу своего взгляда сконцентрировалъ свое вниманіе на возможно детальномъ изученіи русскаго эпоса въ связи съ тѣми русскими условіями, которыя опредѣлили его судьбу и развитіе на русской почвѣ, то Александръ Николаевичъ Веселовскій, первоначально довольно типичный представитель берфеевской школы заимствованія, освѣщаетъ русскую устную поэзію съ точки зрѣнія международной. Онъ указываетъ въ міровомъ общеніи сюжетовъ и мотивовъ, въ круговоротѣ міровой литературы мѣсто отдѣльныхъ произведеній, отдѣльныхъ мотивовъ устной народной и письменной словесности. Это, несомнѣнно, освѣщаетъ и русскую устную поэзію съ точки зрѣнія международной. Это освѣщеніе народной словесности съ иной стороны, несомнѣнно, дальнѣйшій шагъ впередъ сравнительно съ тѣмъ, что мы видѣли до сихъ поръ. Такимъ образомъ, теперешняя народная словесность изслѣдуется въ двухъ направленіяхъ: изучаются внимательнымъ образомъ преимущественно домашнія условія жизни устной словесности, или же русская литература народная разсматривается преимущественно въ международномъ взаимообщеніи,—обѣ стороны тѣснѣйшимъ образомъ связаны одна съ другой, одна безъ другой немыслима, одна другую восполняетъ.

Труды Александра Веселовскаго, въ области устной русской словесности, представляютъ своеобразныя особенности по своему направленію, по тому значенію, которое въ нихъ занимаетъ матеріалъ народной словесности русской. Еще въ 1859 году Буслаевъ въ своей рѣчи «О народности въ древне-русской литературѣ», нами упомянутой, показалъ, что невозможно дѣлить русскую литературу на двѣ, совершенно различныя по существу части, именно: на литературу устную и письменную, что обѣ онѣ въ самой жизни идутъ вмѣстѣ, переплетаются другъ съ другомъ, и въ силу этого изучающіе памятники письменной словесности не имѣютъ права ограничиваться только этими памятниками письменными, а должны привлекать и устный народный матеріалъ; и наоборотъ: занимающійся изученіемъ устно-народной словесности долженъ обязательно обращаться къ памятникамъ письменной литературы; памятникъ устный и письменный становятся одинаково предметомъ изслѣ-

дователя народности; важно то, на сколько, какъ, какую сторону народности этотъ памятникъ освѣщаетъ; письменный памятникъ можетъ быть такимъ же показателемъ для народности, какъ и устный, а иногда даже болѣе, чѣмъ устный; только объективное изученіе памятника опредѣлитъ его цѣнность для исторіи народности. Такого рода тѣсное взаимодѣйствіе между памятниками устной и письменной словесности, характерное для самой природы литературнаго явленія, и послужило главнымъ основаніемъ и мотивомъ для дѣятельности А. Н. Веселовскаго. Ученику Буслаева (именно, въ концѣ 50—60-хъ гг.), какъ представителю общаго метода, разумѣется, сравнительнаго, и притомъ въ томъ его помипаніи, которое именуется школой Бенфея, или методомъ заимствованія и взаимовліянія, Веселовскому принадлежитъ большая заслуга въ русской наукѣ. Онъ—почти единственный и несомнѣнно наиболѣе крупный изъ представителей этого направленія въ разработкѣ русской литературы, и не только русской, но и всей міровой литературы; это значеніе Веселовскаго покоится на той широтѣ примѣненія сравнительно-историческаго метода, которой мы ни у кого до него не встрѣчали. Несомнѣнно, что съ 70—80-хъ гг. Веселовскій и въ европейской наукѣ занялъ первостепенное мѣсто. Особенность его метода заключается въ томъ, что онъ старается объединить международный литературный матеріалъ, какъ матеріалъ для изученія психологіи творчества вообще, ввести русскую литературу по ея содержанію, по ея исторіи въ общій круговоротъ міровой литературы. Подобно Бенфею, онъ старался, взявши какой-нибудь отдѣльный памятникъ, устный или письменный, разложить его на первоначальные элементы, мотивы, и слѣдить исторію каждаго изъ этихъ отдѣльныхъ мотивовъ, притомъ въ ихъ взаимоотношеніяхъ во всѣхъ доступныхъ ему европейскихъ и внѣевропейскихъ литературахъ. Такимъ образомъ, Веселовскій вскрывалъ, изучая памятники литературы, жизнь мотива въ «международномъ взаимообщеніи». Взявши мотивъ, онъ слѣдилъ за его исторіей, его измѣненіями и объяснялъ, на какомъ основаніи возникали тѣ или другія видоизмѣненія его, и какое значеніе имѣли эти видоизмѣненія въ исторіи памятника, сохранившаго этотъ мотивъ. Такого рода методъ, построенный на такихъ широкихъ основаніяхъ, какъ указано выше, потребовалъ громадной эрудиціи, основательнаго знакомства съ міровой литературой, и притомъ не съ главными только памятниками, а часто и съ второстепенными, въ которыхъ часто вскрывалась жизнь мотива болѣе, чѣмъ въ первостепенномъ; такой методъ имѣетъ, несомнѣнно, важное значеніе, и, конечно, только такимъ крупнымъ людямъ, какъ Веселовскій, этотъ методъ былъ доступенъ во всей его широтѣ. Но и самъ Веселовскій, конечно, всей литературы міровой

обнять не могъ: это—выше силъ человѣка, какъ бы талантливъ и подготовленъ онъ ни былъ; Веселовскій разбилъ, поэтому, свои труды на отдѣльныя группы, примѣняясь къ отдѣльнымъ памятникамъ, къ ихъ формѣ, содержанію ихъ. Для него памятникъ русской литературы, устный или письменный, не является памятникомъ только этой литературы; онъ—одинъ изъ членовъ общей міровой литературы, общечеловѣческаго литературнаго движенія, т.-е.: если онъ бралъ памятникъ русской литературы, то онъ вводилъ его въ круговоротъ міровго литературнаго обмѣна, опредѣляя, уясняя его отношенія къ аналогичнымъ явленіямъ этой міровой литературы. Изслѣдуя памятникъ, онъ изслѣдуетъ его, какъ цѣлое, какъ извѣстную комбинацію мотивовъ, и въ частностяхъ, изслѣдуя исторію отдѣльныхъ мотивовъ, вошедшихъ и входившихъ въ разное время въ этотъ памятникъ; это, разумѣется, еще болѣе осложняло работу, требовало еще большей эрудиціи. На это у Веселовскаго хватило и силъ, и знанія, и таланта. Въ приложеніи къ обособившейся историческимъ путемъ области устно-народной словесности этотъ методъ Веселовскаго оказывалъ громадную услугу. Именно, благодаря Веселовскому, мы получили ясное представленіе объ устной народной словесности, что это не есть что-либо вполнѣ законченное и замкнутое въ себѣ, а что это такой же живой, постоянно движущійся продуктъ народнаго творчества, самостоятельнаго, какъ и всѣ остальныя произведенія человѣческаго духа, чрезвычайно сложный, но подчиненный общимъ законамъ человѣческаго творчества, какъ акта психологическаго. Примѣняя этотъ методъ къ наиболѣе крупному и наиболѣе интересовавшему изслѣдователя виду устной поэзіи, къ былинамъ, Веселовскій нарисовалъ намъ совершенно иную, нежели до сихъ поръ рисовали, историческую картину развитія и сложенія нашего устнаго народнаго эпоса. Оказалось, что любая былина, взятая въ записи поздней, представляетъ своего рода мозаику, въ которую входятъ чрезвычайно разнородные элементы: тамъ оказались элементы мѣстные народные, покоящіеся на народныхъ вѣрованіяхъ и народномъ бытѣ, и иноземные чужіе мотивы, которые были переработаны часто до неузнаваемости, и эти мотивы, чужіе и свои, оказываются часто разновременными, различными по характеру, то письменными, то устными же; все это перерабатывается постепенно, измѣняется во времени, и въ дошедшей до насъ былинѣ мы видимъ лишь результатъ этой сложной, иногда многовѣковой работы человѣческой мысли, поэтической фантазіи; эту-то работу и матеріалъ для этой работы долженъ изслѣдователь вскрыть. Подъ рукой Веселовскаго изученіе устной народной словесности достигло, такимъ образомъ, наконецъ, своего полнаго развитія. Привлекается къ изученію памятниковъ народной словесности

все, что исторически принимало, такъ или иначе, участіе въ ея судьбѣ,—и чужіе элементы, и народное самостоятельное творчество, и условія среды, и историческія данныя; при этомъ опредѣляется и мѣсто русской народной словесности въ міровой литературѣ. Такимъ образомъ, работа Веселовскаго является наиболѣе совершеннымъ до настоящаго времени выраженіемъ историко-сравнительнаго метода въ примѣненіи къ устной народной словесности. Если мы возьмемъ даже развитый до деталей методъ, которымъ пользуется В. Ѳ. Миллеръ, то мы сразу увидимъ разницу его съ Веселовскимъ. Изучаетъ Миллеръ точно такъ же сравнительно-исторически нашъ эпосъ, но онъ его изучаетъ прежде всего съ точки зрѣнія его исторіи на русской почвѣ, въ зависимости отъ тѣхъ историческихъ условій русскихъ, которыя такъ или иначе отразились на этомъ эпосѣ. Такимъ образомъ, здѣсь выдвинута на первый планъ только одна сторона эпоса—связь его съ исторіей русскаго племени, какъ носителя этого эпоса. Веселовскій же беретъ эпосъ преимущественно подъ угломъ зрѣнія международной міровой литературы, общихъ законовъ психологіи творчества. Такія рамки, понятно, представляются гораздо болѣе широкими, нежели взятыя Вс. Миллеромъ, но зато и болѣе трудно и далеко не всегда осуществимыми при современномъ состояніи нашихъ знаній, нашего матеріала. Этимъ и объясняется, что и самъ Веселовскій не всегда могъ довести свое изученіе до конца. Онъ долженъ ограничиваться болѣе или менѣе вѣроятной гипотезой, сопоставленіемъ двухъ фактовъ, не рѣшаясь дать вполнѣ точное ихъ взаимоотношеніе; иначе говоря, въ методѣ Веселовскаго есть и своя слабая сторона. Онъ далеко заходитъ впередъ сравнительно съ современнымъ состояніемъ нашихъ свѣдѣній по изученію вопроса. Въ силу этого, когда приходится прибѣгать къ работамъ Веселовскаго, невольно наталкиваемся еще на одну сторону этого метода, именно, на широкое пользованіе аналогіей. Аналогіей, какъ научнымъ пріемомъ, мы называемъ сопоставленіе двухъ фактовъ по сходству, нами видимому или предполагаемому; на основаніи этого сопоставленія строимъ предположительно между ними опредѣленное соотношеніе; такимъ образомъ, если мы беремъ два факта, сопоставленные по внѣшнему сходству, мы заключаемъ, что должна быть между ними и внутренняя связь; но не всякая аналогія можетъ подтвердить и доказать эту внутреннюю связь: чѣмъ проницательнѣе, чѣмъ остроумнѣе изслѣдователь, дѣлающій сопоставленіе по аналогіи, тѣмъ эта аналогія будетъ ближе къ истинному соотношенію фактовъ; но аналогія, какъ бы она ни была остроумна, не можетъ замѣнить собою чисто-логическаго процесса-вывода. Поэтому она и менѣе цѣнна, и примѣняется за отсутствіемъ прямыхъ доказательствъ, притомъ требуетъ боль-

шой осторожности. Конечно, изъ этого не будетъ слѣдовать ея непригодность въ научной работѣ. Аналогія играетъ видную роль въ работахъ Веселовскаго, въ видѣ простого ли сопоставленія, или развитого; есть у него и оправдывающіяся потомъ аналогіи, есть и рискованныя.

Стало быть, съ одной стороны, введеніе русской литературы и, въ частности, устной народной словесности, въ общій обиходъ міровой литературы, широкое примѣненіе историко-сравнительнаго метода при изученіи жизни отдѣльнаго мотива, наконецъ, широкое примѣненіе гипотезы и аналогіи, какъ вызываемое сущностью матеріала и широтой задачъ изслѣдователя, составляютъ отличительныя свойства метода Веселовскаго. Дѣйствительно, работы Веселовскаго, благодаря своей широтѣ и талантливости автора, много сдѣлали для изученія русской народной поэзіи. Я укажу только на главнѣйшія работы, касающіяся этой области, и притомъ въ самыхъ общихъ чертахъ: съ работами Веселовскаго мы часто будемъ имѣть дѣло въ дальнѣйшемъ. Старѣйшая работа, которая была сдѣлана въ этомъ направленіи, это его диссертація: «Сказаніе о Соломонѣ и Китоврасѣ. Изъ исторіи взаимообщенія Востока и Запада» (1872). Второе заглавіе ясно показываетъ, въ чемъ тутъ дѣло. Взявши отдѣльные мотивы и цѣлыя сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ, извѣстныя въ восточныхъ литературахъ, и старыя русскія книжныя, частью устныя сказанія о Соломонѣ, Веселовскій желаетъ прослѣдить исторію перехода этихъ мотивовъ съ востока на западъ, т.-е. изъ Азіи въ Европу (ср. Бенфея). Онъ находитъ, что мотивы сказаній о Соломонѣ и Китоврасѣ для остальныхъ литературъ ведутъ свое начало изъ отдаленной Индіи (ср. Бенфея); поэтому онъ и старается указать, какимъ образомъ эти индійскіе мотивы распространялись на материкѣ Европы. Здѣсь онъ желаетъ довести дѣло до исчерпывающей полноты. Приводя западно-европейскія и восточно-европейскія сказанія о Соломонѣ, онъ указываетъ ихъ связь (предположительно) съ азіатско-индійскимъ прототипомъ, находитъ, что въ устной литературѣ, какъ и въ письменной, мы встрѣчаемся съ отзвуками той же самой древней индійской легенды у большинства народовъ Европы, но легенды, уже потерпѣвшей цѣлый рядъ видоизмѣненій. Такимъ образомъ, для читателя вскрывается связь русской народной поэзіи съ міровой литературой. Поэтому, напримѣръ, былина о Василіи Окуловичѣ (былинный перепѣвъ сказанія о Соломонѣ и его женѣ), сербская пѣсня о Соломонѣ, русская сказка о томъ же, имѣютъ родственниковъ и въ западной Европѣ, и въ Азіи, и у юго-славянъ. Въ результатѣ, это—тотъ же странствующій сюжетъ или комбинація такихъ же мотивовъ, съ какими мы имѣли дѣло въ работахъ Бенфея, Буслае-

ва и Стасова. Вотъ, приблизительно, тѣ результаты, которыхъ достигъ Веселовскій въ первыхъ своихъ трудахъ. Такимъ образомъ, это—типичное примѣненіе такъ называемаго метода взаимовліянія, культурнаго заимствованія, притомъ въ его, такъ сказать, «восточной» версіи. Въ другихъ работахъ Веселовскій подходитъ уже ближе къ собственно русской литературѣ. Вторая его крупная работа, которая, несомнѣнно, къ намъ имѣетъ ближайшее отношеніе, это — работа надъ русскими былинами. Эта работа озаглавлена: «Южно-русскія былины» (1881) [1]. Какъ извѣстно, былинный эпосъ (былины, или старины) сохранился въ настоящее время только на сѣверѣ и востокѣ русскаго племени, у великоруссовъ. Съ другой стороны, эти былины говорятъ часто не о сѣверѣ, а о югѣ, въ значительномъ числѣ случаевъ о кіевскомъ князѣ Владимирѣ, о богатыряхъ, о мѣстностяхъ, которыя носятъ, несомнѣнно, черты южнаго характера; дѣйствіе многихъ былинъ, съ большой вѣроятностью, должно быть пріурочено къ югу Россіи. На югѣ Россіи, гдѣ живетъ тоже русское племя,—малороссы—однако, этихъ былинъ теперь не находимъ. Отсюда возникаетъ вопросъ о самомъ происхожденіи былинъ: не ясно, почему былины, живущія на сѣверѣ, съ такимъ интересомъ говорятъ о югѣ, о южно-русской старинѣ? Изъ этихъ наблюденій вытекалъ цѣлый рядъ и объективныхъ, и довольно тенденціозныхъ выводовъ; сводился вопросъ этотъ даже къ такому: кто есть истинный представитель стараго русскаго племени: малороссы или великоруссы? Говорили и о томъ, какимъ образомъ оказалось, что южная былина находится на сѣверѣ, а на родинѣ ее не оказалось, и даже склонялись къ тому мнѣнію, что этой былины тамъ и не было. Въ этомъ видѣли одно изъ доказательствъ культурнаго и историческаго преимущества великорусскаго племени передъ малорусскимъ. Несомнѣнно, что этотъ вопросъ, вслѣдствіе особыхъ причинъ, получалъ гораздо болѣе широкое значеніе, чѣмъ только литературное. Но Веселовскій рѣшилъ взглянуть на него съ чисто-литературной точки зрѣнія. Его заинтересовалъ самый вопросъ: если южно-русская по содержанію былина оказалась на сѣверѣ, то отчего ея нѣтъ на югѣ, отчего мы не находимъ ея, по крайней мѣрѣ, слѣдовъ здѣсь? не было ли ея тамъ никогда, или она была, да исчезла цѣликомъ? Присматриваясь къ теперешней малорусской литературѣ съ цѣлью поискать, нѣтъ ли тамъ былинъ или ихъ слѣдовъ, онъ приходитъ къ выводу, что тамъ былинъ въ настоящее время, дѣйствительно, нѣтъ, и давно уже нѣтъ; но, съ другой стороны, что онѣ здѣсь были, это—

[1]) Помѣщены въ Сборн. Отд. рус. яз. и сл. И. А. Н., т. XXII и XXXVI (1881, 1884 гг.).

несомнѣнно, потому что слѣды того, что онѣ были, могутъ быть съ очевидностью указаны. Онъ для этого обращается къ малорусскимъ сказкамъ, малорусскимъ обрядовымъ пѣснямъ, преданіямъ, поговоркамъ и тамъ находитъ разложившіеся, полузабытые элементы былинъ, въ видѣ мотивовъ, именъ; такимъ образомъ выясняется, что и на югѣ Россіи былины были, какъ онѣ есть на сѣверѣ, но только на сѣверѣ онѣ сохранились въ большей степени и приняли однѣ формы, а на югѣ онѣ были затѣнены, затерты другими видами устной народной словесности и сохранились только въ сильно измѣненномъ видѣ, въ видѣ переживаній въ другихъ видахъ народнаго творчества, приняли другія формы. Стало быть, изслѣдованіе жизни эпоса, какъ ее вскрываетъ Веселовскій, помогло ему возстановить истинное положеніе цѣлой громадной группы памятниковъ устной народной словесности. Имѣя въ виду международность отдѣльныхъ мотивовъ въ былинахъ, Веселовскій, широко пользуясь аналогіей, сравненіемъ малорусскихъ мотивовъ съ западно-европейскими, византійскими, пробуетъ возстановить эти мотивы и сюжеты въ томъ видѣ, въ какомъ они вошли въ былину еще на югѣ и отложились на почвѣ поздней устной малорусской поэзіи. Такъ, онъ доказалъ совершенно ясно, что сказка о Михайликѣ, поднявшемъ «Золотыя ворота» въ Кіевѣ на своихъ плечахъ, и рядъ другихъ сказокъ и пѣсенъ, съ упоминаніемъ о Чурилѣ, несомнѣнно, восходятъ къ старому эпосу, къ тому эпосу, который въ болѣе цѣльномъ видѣ сохранился на сѣверѣ; но онъ же указалъ въ то же время на то, что и сѣверный эпосъ самъ далеко не первоначаленъ по формѣ и содержанію, что, если онъ и сохранился, то это, конечно, не избавило его отъ цѣлаго ряда измѣненій. Эти измѣненія и на сѣверѣ были, но они тамъ прошли въ другихъ условіяхъ, нежели на югѣ: старыя, первоначальныя пѣсни юга претерпѣли на сѣверѣ свои измѣненія. И только сопоставленіе затертаго въ южной сказкѣ и пѣснѣ мотива и того же мотива въ сѣверной теперь былинѣ, при помощи того же мотива въ иноземной литературѣ (часто западной или византійской) можетъ помочь намъ узнать, хотя бы приблизительно, чѣмъ былъ этотъ мотивъ до тѣхъ его измѣненій, какія произошли въ немъ на сѣверѣ и на югѣ. Сравнительный методъ здѣсь примѣненъ блестящимъ образомъ. Мало того, желая возстановить первоначальный видъ отдѣльнаго былиннаго мотива, какимъ онъ былъ на югѣ и сѣверѣ, Веселовскій, разумѣется, долженъ былъ прійти къ вопросу о самомъ составѣ и характерѣ той сѣверной былины, которая рано ушла на сѣверъ и считалась за первоначальный видъ былины и за болѣе сохраненный. Онъ это и дѣлаетъ. Тутъ-то и вскрывается, что и сама сѣверная былина также далеко не сохранилась въ первоначальномъ видѣ,

что въ болѣе позднее время на эти былины отложенъ цѣлый рядъ чужихъ элементовъ, въ томъ числѣ изъ произведеній письменныхъ, напр., на сюжетѣ о Михайлѣ Даниловичѣ (въ былинѣ о Данилѣ Ивановичѣ) отложилась византійская (въ русской обработкѣ) книжная легенда о послѣднемъ императорѣ (Откровеніе Меѳодія Патарскаго). Изслѣдованіе Веселовскаго о южныхъ былинахъ вскрыло и другія чрезвычайно интересныя стороны нашего эпоса. Такъ, оказались любопытныя соотношенія былинъ русскихъ къ греческому (византійскому) эпосу: русская былина объ Иванѣ, Гостиномъ сынѣ, имѣетъ основу византійскую и только позднѣе прикрѣплена къ Кіеву и Владиміру. Говоря о былинѣ о Дюкѣ Степановичѣ, богатырѣ, «заѣзжемъ» въ Кіевъ изъ Галича Волынскаго, Веселовскій находитъ, что содержаніе Дюковыхъ былинъ обличаетъ вліяніе Сказанія объ Индѣйскомъ царствѣ (византійская повѣсть о чудесахъ Индіи богатой, извѣстная на Руси въ переводѣ уже въ XIII вѣкѣ), стало быть, опять-таки чужой элементъ, дающій матеріалъ русской былинѣ. Анализъ былинъ о Дюкѣ Степановичѣ вскрываетъ и еще новую страницу нашего эпоса, притомъ эпоса южно-русскаго, но сохраненнаго сѣверной Россіей. Разбирая былины о Дюкѣ, Веселовскій приходитъ къ выводу, что, во-первыхъ, эта былина должна была возникнуть не на сѣверѣ, а на югѣ Россіи; мало того: эта былина возникла не въ Кіевской области, а на западѣ отъ нея, въ томъ богатомъ Галичѣ, который играетъ до сихъ поръ видную роль въ былинѣ и который несомнѣнно, по мнѣнію Веселовскаго, былъ первоначальнымъ мѣстомъ сложенія былины. Такимъ образомъ, вскрывается мѣстный эпосъ не кіевскій, а Галича Волынскаго. Далѣе, онъ находитъ, что эти былины создались подъ сильнымъ воздѣйствіемъ, какъ разъ, книжной словесности; сама былина о Дюкѣ Степановичѣ получила свое главное содержаніе, какъ мы видѣли, изъ книжнаго памятника; а памятникъ этотъ проникъ на Русь черезъ Галичъ, который въ XII—XIII вв. уже представлялъ крупный торговый и политическій центръ, имѣлъ живыя сношенія съ Византіей; черезъ него шло византійское вліяніе и въ Кіевъ, тогда уже падающій; поэтому-то Дюкъ пріѣзжаетъ въ Кіевъ, но остается слабо прикрѣпленнымъ къ Кіеву,—не то, что другіе, «кіевскіе» богатыри. Такимъ образомъ, изслѣдованіе Веселовскаго о южныхъ былинахъ не только утвердило фактъ существованія былины на югѣ Россіи, и даже не въ одномъ Кіевѣ, но намѣтило къ рѣшенію и другіе вопросы болѣе широкаго свойства; изученіе источниковъ отдѣльныхъ былинъ открыло новые пути вліяній, шедшихъ въ русскую народную поэзію (каково книжное вліяніе, вліяніе греческаго эпоса), подчеркнуло сложность жизни самого эпическаго преданія, легшаго въ осно-

ву былины, связало это преданіе съ міровыми сюжетами, дало, наконецъ, возможность при помощи изученія источниковъ и вліяній во многихъ случаяхъ внести хронологическія вѣхи въ исторію нашего эпоса; эти вѣхи указали еще разъ на глубокую историческую основу нашего эпоса; стало быть, о какой-нибудь исконной древности былинъ, какъ предполагала старая школа, теперь уже говорить нельзя; тѣмъ болѣе нельзя говорить о какой-нибудь миѳологіи, о какомъ-нибудь особо высокомъ значеніи былинъ—въ томъ видѣ, какъ онѣ дошли до насъ—въ смыслѣ показателя чистой народной самобытности (чѣмъ особенно дорожила въ былинѣ старая школа).

Но работы Веселовскаго въ области народной словесности не ограничивались былевымъ эпосомъ. Видную роль среди нихъ играетъ еще цѣлая серія его трудовъ, которая носитъ общее заглавіе «Розысканій въ области русскаго духовнаго стиха» (1879—1889 гг., выходили постепенно въ изд. Акад. Наукъ) [1]. Эта работа, какъ и прежняя, является образцовой по методу и, несомнѣнно, даетъ чрезвычайно богатый матеріалъ для пониманія жизни, развитія всей народной словесности, не только духовнаго стиха. Именно, поставивши себѣ задачей изученіе исторіи сложенія русскаго духовнаго стиха, т.-е., такой народной пѣсни, которая обособилась въ отдѣльный видъ въ силу религіознаго характера своего содержанія, Веселовскій раскрываетъ общую картину жизни мотива и сюжета въ устной словесности. Самое происхожденіе духовнаго стиха лучше всего иллюстрируетъ взаимоотношенія между устной словесностью и книжной, потому что религіозные христіанскіе мотивы, лежащіе въ основѣ духовныхъ стиховъ, внесены къ намъ въ болѣе позднее время—съ появленіемъ христіаства—и внесены изчужа—изъ византійской христіанской литературы—и въ огромномъ числѣ случаевъ въ книжномъ видѣ. Иначе: большинство источниковъ духовнаго стиха оказывается книжными, а стихъ представляетъ устно-народную переработку большею частью книжнаго, въ концѣ-концовъ заимствованнаго мотива. Но вопросъ о взаимоотношеніи между источникомъ и стихомъ рѣшается далеко не такъ просто. Мало указать, что тотъ или другой стихъ обязанъ своимъ происхожденіемъ тому или другому письменному произведенію (напримѣръ, сказать, что стихъ объ Егоріи Храбромъ возникъ изъ греческаго житія Георгія Побѣдоносца, переведеннаго на славянскій): надо указать не только на то, откуда устное произведеніе получило свое начало, но и то, какимъ образомъ оно переработало свой источникъ, что̀ оно внесло своего,

---

[1]) Всего ихъ 24 отдѣльныхъ этюда; печатались въ Сборн. Отд. рус. яз. и сл. А. Н., т. XX, XXI, XXII, XLVI, LII.

новаго въ этотъ источникъ, въ чемъ видоизмѣнило первоначальное представленіе источника, какъ оно приспособилось къ новой средѣ, въ данномъ случаѣ русской, и что оно стало, такимъ образомъ, выражать въ общемъ теченіи нашей словесности? Такимъ образомъ, это—цѣлый рядъ вопросовъ, которые не разрѣшаются однимъ указаніемъ на источникъ. Эту задачу—освѣтить исторически жизнь духовнаго русскаго стиха—и беретъ на себя Веселовскій въ указанной работѣ. Выяснивъ ближайшій источникъ того или другого духовнаго стиха, онъ видитъ, что этотъ духовный стихъ распадается на цѣлый рядъ отдѣльныхъ мотивовъ, т.-е., представляетъ сложный организмъ—соединеніе мотивовъ, при чемъ эти отдѣльные мотивы намъ часто хорошо знакомы въ иныхъ сочетаніяхъ, въ иной обстановкѣ, встрѣчаются въ иныхъ произведеніяхъ русской и міровой литературы; и онъ обращается къ исторіи жизни отдѣльныхъ этихъ мотивовъ. Эта исторія и должна отвѣтить на вопросъ о происхожденіи даннаго стиха и въ то же время дать возможность прослѣдить самую исторію сложенія стиха, т.-е., познакомить съ однимъ изъ моментовъ психологіи творчества въ области устной поэзіи. А исторія эта охватываетъ иногда долгое время, отъ эпохи созданія стиха до того момента, когда этотъ стихъ сталъ намъ извѣстенъ; все это время подвергается измѣненіямъ первоначальный видъ и отчасти содержаніе стиха, вырабатывая разныя редакціи стиха, подъ вліяніемъ различныхъ мѣстныхъ и временныхъ условій, которыя должны быть также выяснены изслѣдователемъ и вскрываются въ видѣ вліянія иныхъ произведеній устной же и книжной словесности, приходившихъ съ изслѣдуемымъ стихомъ въ соприкосновеніе, и т. д. Такимъ образомъ, духовный стихъ представляетъ результатъ чрезвычайно сложнаго долговременнаго процесса, какъ и всякое устно-народное произведеніе, прожившее рядъ вѣковъ при условіяхъ живой устной передачи. Разложить этотъ процессъ на рядъ послѣдовательныхъ моментовъ, показать взаимодѣйствіе отдѣльныхъ элементовъ, своихъ и чужихъ, литературныхъ и бытовыхъ, устныхъ и книжныхъ, и значитъ—разъяснить, насколько позволяетъ современное состояніе науки, процессъ сложенія произведенія, въ данномъ случаѣ стиха, иначе—вскрыть психологію творчества въ народно-устной средѣ, въ ея историческомъ развитіи, по крайней мѣрѣ, дать матеріалъ для изученія этого развитія. Это и дѣлаетъ Веселовскій въ своихъ работахъ, и особенно наглядно это направленіе наблюдается въ его «Розысканіяхъ»: имѣя въ виду духовный стихъ, какъ выраженіе религіознаго міросозерцанія, Веселовскій особенно охотно отъ сравнительнаго изученія международнаго общенія мотивовъ переходитъ къ сравнительному изученію вѣрованій и мотивовъ чисто-литературныхъ,

какъ выраженію этихъ вѣрованій. Въ результатѣ работы Веселовскаго— эта въ особенности, другія въ частности—даютъ намъ очень внушительную картину кипучей жизни человѣческой мысли, нашедшей себѣ выраженіе въ литературномъ, устномъ и письменномъ, словѣ: работа этой мысли, совершавшаяся много вѣковъ назадъ, не останавливающаяся и въ ближайшее къ намъ время, воскресаетъ передъ нами въ своемъ подлинномъ историческомъ видѣ.

Всѣ эти работы (какъ и огромный рядъ другихъ) [1]) въ глазахъ Веселовскаго имѣютъ значеніе въ извѣстномъ смыслѣ подготовительное: смотря на исторію словесности, какъ на матеріалъ для изученія, подъ угломъ зрѣнія исторіи, процесса психологіи человѣческаго творчества вообще, А. Н. всю жизнь стремился къ конечной цѣли — создать историческую поэтику, какъ трудъ, выясняющій эту психологію творчества во всемъ ея объемѣ (съ этой стороны интересуетъ его и форма, и стиль поэтическаго произведенія); въ этомъ смыслѣ устная словесность, какъ одна изъ самыхъ раннихъ и въ то же время самыхъ показательныхъ страницъ этой будущей поэтики, должна была интересовать его въ особенности. Но сложность проблемы, широта, съ которой пришлось поставить по существу задачу Веселовскому, показали ему недостаточность даже подготовительныхъ работъ, и его попытка свести въ одно, обобщить результаты своихъ и чужихъ наблюденій, поневолѣ ограничилась «Тремя главами изъ исторической поэтики» (Ж. М. Н. П. 1898, IV—V), т.-е., лишь предварительнымъ наброскомъ отдѣльныхъ вопросовъ этой поэтики: она и для Веселовскаго осталась дѣломъ будущаго науки.

Исключительная талантливость, огромная, рѣдко встрѣчающаяся эрудиція, болѣе, нежели 40-лѣтняя, неустанная дѣятельность, дали возможность Веселовскому такъ полно и широко поставить сравнительно-историческое изученіе литературы и въ частности устно-народной словесности. Далеко не для всѣхъ изслѣдователей нашей устной словесности условія и обстоятельства работы были столь же благопріятны. Да и требованія отъ изслѣдователя становятся все строже и шире, и у Веселовскаго уже можно было отмѣтить то, что̀ осталось неисчерпаннымъ. Мы видѣли, что В. Ѳ. Миллеръ долженъ былъ сосредоточиться на одной сторонѣ изученія эпоса—возможно тѣсномъ прикрѣпленіи его къ русской почвѣ— предоставляя международныя отношенія его другимъ изслѣдователямъ. Послѣ Веселовскаго, все еще не отказывавшагося обнять литературный

---

[1]) Перечень трудовъ А. Н. Веселовскаго, съ краткимъ указаніемъ ихъ содержанія, составляетъ отдѣльная книжка, спеціально имъ посвященная: „Указатель научн. трудовъ А. Н. В.“, изд. 2 (Спб. 1896).

процессъ въ устной словесности въ возможно полномъ его объемѣ, по его слѣдамъ въ качествѣ представителей того же метода идутъ другіе изслѣдователи; но они уже не стремятся къ такимъ широкимъ обобщеніямъ, а изслѣдуютъ отдѣльныя стороны, стараясь при этомъ довести дѣло по возможности до исчерпывающей полноты или освѣтить то, что не было отмѣчено старшими изслѣдователями. Таковы работы: Ягича, Жданова, Дашкевича [1]) и цѣлаго ряда другихъ, трудами которыхъ мы пользуемся, и которые еще не окончены; иные современные ученые берутъ отдѣльный памятникъ или отдѣльную группу ихъ, часто даже группу мотивовъ, но стараются по нимъ изучить процессъ творчества, всесторонне изслѣдуя взятые памятники и мотивы, т.-е., воскресить, возстановить хотя бы часть той картины, какую имѣли передъ собой и старшіе изслѣдователи, но рисовали ее себѣ либо невѣрно, либо неточно, либо не достаточно отчетливо; а къ этой отчетливости стремятся современные изслѣдователи. Послѣдователи Веселовскаго и представители современной исторической школы разбиваются поэтому на цѣлый рядъ группъ, изъ которыхъ почти каждая занимается какимъ-нибудь отдѣльнымъ вопросомъ: одинъ изъ учениковъ Веселовскаго, Батюшковъ, беретъ мотивъ—«споръ души съ тѣломъ»—и старается прослѣдить отдѣльные отзвуки этого мотива во всѣхъ литературахъ, въ томъ числѣ въ литературѣ русской; другой представитель школы, Кирпичниковъ, беретъ «сказанія о Георгіи Побѣдоносцѣ» и старается изучить мотивъ о змѣеборцѣ въ литературѣ, и указать мѣсто, какое въ міровой литературѣ и въ русской заняла легенда о Георгіи; ту же тему обрабатывалъ недавно и Рыстенко; третій беретъ предметомъ изслѣдованія «Голубиную книгу» (Мочульскій), четвертый—сказку и иной лишь бытовыя черты русскаго эпоса (Марковъ, Шамбинаго) и т. д. На этомъ раздѣленіи труда остановилась и продолжаетъ работать русская наука по изученію народной словесности до сихъ поръ.

Антропологическая теорія. Наконецъ, намѣчается и у насъ еще одно новѣйшее западно-европейское направленіе въ изученіи памятниковъ устной словесности, это—такъ назыв. антропологическая теорія, иначе, теорія самозарожденія литературныхъ мотивовъ; главными представителями ея являются въ наше время извѣстный изслѣдователь первобытныхъ культуръ Тайлоръ, за нимъ А. Лэнгъ и др. Главнымъ ея матеріаломъ является міровой фольклористическій матеріалъ, главнымъ образомъ, народовъ первобытной культуры. Эта теорія, исходя изъ сходства отдѣльныхъ мотивовъ въ устной словесности народовъ не только не родственныхъ, но и не стоявшихъ въ культурномъ об-

[1]) Перечень важнѣйшихъ изъ нихъ см. въ приложенномъ указателѣ.

щеніи въ прошломъ (напр., дикарей нашего сѣвера, центральной Африки и южной Америки), старается объяснить это сходство, отправляясь отъ положенія объ одинаковости человѣческой психики на всемъ земномъ шарѣ, а отсюда объ одинаковости простѣйшихъ продуктовъ ея въ первобытной культурѣ человѣчества; особенно охотно примѣняется эта теорія для объясненія того, что̀ мы называемъ миѳомъ: реальный фактъ древнѣйшей первобытной культуры становится мотивомъ словеснымъ и, переставая съ теченіемъ времени соотвѣтствовать дѣйствительности, становится поэтическимъ матеріаломъ для фантазіи и творчества поэтическаго, иначе—основой миѳа. Эта теорія, если и даетъ, хотя бы и въ ограниченномъ числѣ случаевъ, объясненіе повторяемости у различныхъ народностей одного и того же мотива, притомъ простѣйшаго, то она безсильна пока объяснить повторяемость сюжета, т.-е., опредѣленной комбинаціи мотивовъ, наблюдаемую у ряда народностей. Особеннаго распространенія эта теорія въ приложеніи къ исторіи русской устной словесности у насъ не получила до настоящаго времени; ею въ отдѣльныхъ случаяхъ, притомъ еще въ комбинаціи съ другими теоріями, намъ извѣстными, главнымъ образомъ, тогда, когда другія объясненія не убѣдительны, пользуются и русскіе изслѣдователи устной поэзіи (Созоновичъ, Драгомановъ, Сумцовъ, Ждановъ); особенно охотно прибѣгаютъ къ этой теоріи при примѣненіи такъ называемаго «закона переживанія старины» [1]), играющаго видную роль и помимо этой теоріи въ изслѣдованіи памятниковъ устной словесности, особенно бытового характера; въ этомъ смыслѣ ею пользуются и В. Ѳ. Миллеръ, Воеводскій, Перетцъ и др.

Въ заключеніе обзора общихъ направленій и исторіи изученія устной словесности остается добавить, что всѣ указанныя направленія, старшія и младшія, нѣкоторое время существуютъ рядомъ, вступаютъ между собою въ комбинацію, поскольку допускаетъ это самая ихъ сущность; такія комбинированныя теоріи видимъ, напримѣръ, въ трудахъ А. М. Лободы, въ частности въ его работѣ: «Былины о сватовствѣ» (Кіевъ, 1904), или у М. Е. Халанскаго, въ его «Маркѣ Кралевичѣ» (Варшава, 1893), и др. Кромѣ того, изъ нашего обзора можно было замѣтить и еще одну черту современнаго намъ изученія устной словесности: стремленіе къ спеціализаціи по отдѣльнымъ вопросамъ; этого требуетъ сложность задачи и объемъ матеріала.

Древность устной словесности. Изъ сдѣланнаго нами бѣглаго очерка собиранія матеріала и изученія устной народной словесности мы видимъ между прочимъ, что тѣ памятники устной народной словесности, кото-

---

[1]) О немъ подробнѣе см. ниже.

рые подлежатъ нашему изученію, являются передъ нами въ довольно позднемъ своемъ видѣ. Они всѣ записаны главнымъ образомъ въ XIX вѣкѣ, очень немногіе доступны въ томъ видѣ, въ какомъ они существовали въ XVIII в. (напримѣръ, Кирша), а единичные случаи только восходятъ къ XVII в. (записи былинъ, пословицы). Наука же, мы видѣли, вскрываетъ ихъ почтенную древность, возводя ихъ въ отдѣльныхъ случаяхъ къ началу нашей исторической жизни. Поэтому ближайшимъ и вполнѣ естественнымъ является вопросъ: какъ на самомъ дѣлѣ древня наша устная народная словесность? Мы не знаемъ, какими произведенія устной словесности были даже въ ближайшее къ XVII в. старшее время. Это вполнѣ понятно: памятники устной народной словесности, если они существовали до XVII столѣтія (а предполагать это мы должны), до насъ дойти не могли иначе, какъ путемъ записи, потому что главное средство сохраненія и развитія ихъ—живое слово, память. Затѣмъ, мы знаемъ изъ исторіи литературы нашей, что древняя русская письменность, которая могла сохранить намъ эти памятники путемъ записи въ рукописяхъ, путемъ пользованія ими (напримѣръ, цитируя, подражая) въ своихъ произведеніяхъ, не только не интересовалась устной народной словесностью, но даже относилась къ ней отрицательно. Насколько это отрицательное отношеніе было справедливо, мы рѣшать не будемъ, но фактъ этотъ объясняетъ намъ, почему древне-русская литература не сохранила намъ прямыхъ свѣдѣній о томъ, чѣмъ была русская народная словесность до XVII в.; только въ XVII в., когда ригористическое отношеніе ко всему не церковному стало ослабѣвать подъ вліяніемъ Запада, мы видимъ пробужденіе интереса, хотя мало сознательнаго, къ народной словесности, и тогда случайно начинаютъ попадаться въ старыхъ рукописныхъ сборникахъ нѣкоторые памятники устной словесности. Эти памятники, старѣйшія записи ихъ, въ настоящее время собраны, сколько ихъ можно было найти, и частью изданы въ «Былинахъ старой и новой записи» (М. 1894) и «Былинахъ новой и недавней записи» (М. 1908) и др. Тамъ собрано только однако 8 текстовъ, которые относятся къ XVII в. и первой половинѣ XVIII в. Сюда же слѣдуетъ отнести немногіе сборники устныхъ пословицъ, записанныхъ въ XVII—XVIII в. (изд. Симони, см. выше, стр. 20, прим.), записи того же времени поздняго сравнительно духовнаго стиха (частью вошедшія въ изданіе «Калѣкъ перехожихъ»), случайную запись духовнаго стиха по рукописи конца XV в. (см выше, стр. 6, прим.); наконецъ, въ видѣ блестящаго, но рѣдкаго исключенія слѣдуетъ напомнить про «Слово о полку Игоревѣ» и, можетъ быть, отдѣльныя мѣста (пословичнаго характера) у Даніила Заточника. Къ такимъ же отрывочнымъ, но, если и довольно древнимъ, зато и болѣе скуд-

нымъ и не вполнѣ яснымъ матеріаламъ слѣдуетъ отнести тѣ одностороннія, притомъ немногія свѣдѣнія объ устной литературѣ, которыя мы извлекаемъ изъ религіозной старой письменности (преимущественно полемическаго или каноническаго характера), о чемъ была рѣчь раньше (стр. 14 и сл.). Это наблюденіе надъ устной традиціей въ старой письменности, какъ видимъ, даетъ далеко не достаточно матеріала, чтобы рѣшиться отвѣтить точно и опредѣленно на поставленный выше вопросъ. Но есть у насъ и еще одно средство подойти ближе къ рѣшенію этого вопроса: это данныя сравнительной этнологіи. Главное наблюденіе, представляемое ею въ данномъ случаѣ, будетъ заключаться въ томъ, что общая исторія развитія русскаго племени въ своемъ прошломъ не представляетъ чего-нибудь исключительнаго сравнительно съ другими племенами человѣчества. Всюду на земномъ шарѣ человѣчество проходитъ, въ силу общности человѣческой психологіи, болѣе или менѣе однѣ и тѣ же стадіи развитія. Поэтому тотъ сравнительный методъ, который примѣняли къ изслѣдованію памятниковъ литературы, примѣненный къ изученію исторіи жизни русскаго племени, оказываетъ и въ данномъ случаѣ значительную помощь; т.-е., мы заключаемъ, что если въ своемъ прошломъ русское племя, какъ носитель народной словесности, дѣйствительно, представляло то же самое въ своемъ развитіи, что и другія, гораздо болѣе намъ извѣстныя въ своемъ прошломъ племена, то мы въ правѣ предполагать, что тѣ же самыя фазы, какія пережили эти племена въ развитіи устной народной словесности, должны были имѣть мѣсто и среди русскаго племени, хотя бы фазы эти непосредственно для нашего изученія были не доступны за отсутствіемъ матеріала. Этотъ, такъ называемый, этнологическій—сравнительный методъ и даетъ намъ нѣкоторыя указанія относительно прошлаго устной словесности. Указанія эти не будутъ отличаться большой фактичностью, не будутъ отличаться обиліемъ, но во всякомъ случаѣ они все-таки настолько достаточны, что въ сочетаніи съ приведенными выше показаніями старой письменности и сохранившейся до сихъ поръ устной словесности дадутъ возможность представить, хотя бы въ общихъ чертахъ (правда, въ значительной мѣрѣ лишь предположительно), чѣмъ была древнѣйшая эпоха устной нашей словесности. Это дастъ намъ возможность начать исторію русской народной словесности задолго до XVII в., до того времени, когда мы впервые получили въ руки подлинные памятники устной народной словесности. Эти два наблюденія, надъ древней письменностью и этнологическое, несомнѣнно должны быть нами по возможности хорошо использованы. Наконецъ, оказываетъ извѣстную помощь для нашей цѣли и изученіе современнаго состоянія устной народной словесности. Теперь памятниковъ, записанныхъ собирателями для потребностей науки, мы имѣемъ довольно зна-

чительное количество; многое изъ нихъ записано соотвѣтственно теперешнимъ требованіямъ науки. Можно, изучая сравнительно эти памятники, однородные по происхожденію, но развившіеся при различныхъ мѣстныхъ, историческихъ и бытовыхъ условіяхъ, дѣлать наблюденія надъ общей жизнью, характеромъ самаго развитія этой устной народной словесности. Эти наблюденія и были сдѣланы, и изъ нихъ выведены нѣкоторыя общія положенія для ея прошлаго, которыя опять могутъ быть провѣрены по памятникамъ народной словесности другихъ народовъ, при чемъ многое окажется тождественнымъ, т.-е., можетъ быть сочтено предположительно результатомъ той же народной психологіи общечеловѣческой, о которой говоритъ намъ этнологія; и эти данныя, въ свою очередь, помогутъ, при умѣломъ пользованіи ими, освѣтить намъ тотъ періодъ жизни устной русской словесности, отъ котораго не дошло до насъ никакихъ памятниковъ.

Однимъ изъ важныхъ выводовъ въ области устной народной словесности въ ея прошломъ, полученныхъ путемъ такого сравнительнаго метода, является тотъ, что и устная народная словесность сохраняется и развивается на основаніи закона «переживанія старины». Этотъ законъ находитъ себѣ примѣненіе не только въ устной народной словесности, но и вообще въ исторіи человѣческой культуры. Въ немногихъ словахъ законъ «переживанія старины» заключается въ слѣдующемъ [1]): ни одинъ факторъ, разъ вошедшій въ жизнь человѣка или общества, не проходитъ безслѣдно въ ихъ исторіи, обусловливая собой тотъ или другой фактъ въ дальнѣйшемъ развитіи человѣка или общества. Послѣдствія этого фактора могутъ отмѣчаться различнымъ образомъ: или онъ даетъ новое направленіе, или измѣняетъ ту или другую сторону жизни существующаго явленія, или самъ, продолжая быть налицо въ изучаемомъ явленіи, или продолжая существовать въ своихъ послѣдствіяхъ, или не оказывая уже видимаго вліянія, самъ остается въ жизни, но не какъ активный дѣятель, а только какъ памятникъ той эпохи, когда онъ былъ еще активнымъ. Онъ сохраняется въ жизни въ силу консерватизма той или другой ея стороны. Это даетъ намъ право въ памятникахъ устной народной словесности, какъ и въ другихъ сторонахъ культуры, искать въ теперешнемъ ихъ видѣ остатковъ старины, въ видѣ ея безсознательнаго сохраненія рядомъ съ явленіями иного времени. Съ другой стороны, законъ «переживанія старины» въ примѣненіи къ древнѣйшей эпохѣ жизни чееловѣчества даетъ понять, что наиболѣе прочнымъ, наиболѣе устойчивымъ является то, что создалось путемъ переживанія, традиціи,—говоря проще, что народныя пре-

[1]) О законѣ переживанія старины см. мою статейку „Одно изъ примѣненій закона переживанія старины“ въ Сборникѣ въ честь В. О. Миллера (М. 1900), стр. 45.

данія, въ силу медленнаго измѣненія, слабаго развитія быта, являются сравнительно устойчивыми (но отнюдь не неизмѣнными); и потому мы по факту, сравнительно поздно ставшему намъ извѣстнымъ, или по группѣ подобныхъ фактовъ можемъ заключать о томъ, что̀ было прежде, т.-е.: если мы имѣемъ слѣдствіе (припоминая законъ логики), мы можемъ, идя правильнымъ путемъ, найти тѣ посылки, изъ которыхъ получился тотъ выводъ, слѣдствіе, который передъ нами. Вотъ въ чемъ въ немногихъ словахъ состоитъ законъ переживанія. Этотъ законъ переживанія, приложенный осторожно къ памятникамъ устной народной словесности, какъ прежде всего памятникамъ традиціоннымъ, оказывается въ особенности удобнымъ, полезнымъ. Изученіе современной народной словесности, какъ у насъ, такъ и у другихъ народовъ показываетъ, что такъ называемая «традиція», привычка, очень сильно дѣйствуетъ на сохраненіе памятниковъ народной словесности, т.-е., народная словесность, несмотря на всѣ свои измѣненія, въ общихъ чертахъ (теперь чаще въ отдѣльныхъ деталяхъ) сохраняетъ безсознательно, по привычкѣ, въ теченіе долгаго времени нѣкоторыя старинныя свои особенности. Такъ, напримѣръ, если мы говоримъ о былинахъ, какъ о памятникахъ, ставшихъ намъ извѣстными недавно, въ ихъ обликѣ, который онѣ имѣютъ теперь, то, съ другой стороны, мы можемъ говорить, что содержаніе теперешнихъ былинъ, какъ онѣ записаны, во многихъ своихъ чертахъ можетъ восходить иногда къ глубокой древности, во всякомъ случаѣ, къ довольно отдаленному прошлому, какъ это наглядно можно видѣть, сравнивъ запись XVII в. и конца XIX-го: былина въ записи XIX в. сохраняетъ въ существѣ содержаніе тожественное съ записаннымъ въ XVII-мъ. Народный обычай теперь безсознателенъ; онъ сохраняется въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ и, путемъ сравнительнаго изученія, можетъ быть возстановленъ приблизительно въ томъ видѣ, какой онъ имѣлъ тогда, когда онъ еще не имѣлъ характера безсознательнаго переживанія, т.-е., вполнѣ соотвѣтствовалъ жизненнымъ потребностямъ своего времени. Такимъ образомъ, законъ переживанія вполнѣ примѣнимъ и къ изученію устной народной словесности. Поэтому если у насъ есть наблюденія, сдѣланныя надъ современной народной словесностью, и есть аналогичные факты болѣе древніе (напримѣръ, хотя бы намеки, сохраненные нашими старинными полемистами или какими-нибудь другими источниками), то, сопоставляя эти факты, мы увидимъ, что многіе факты современной устной народной словесности живы еще теперь приблизительно въ томъ же видѣ, въ какомъ они были въ IX, X, XI столѣтіяхъ. Это только доказываетъ, до какой степени консервативна въ своемъ развитіи (отчасти въ своей формѣ, главнымъ же образомъ въ содержаніи) наша устная народная словесность.

Мы получаемъ, такимъ образомъ, въ законѣ переживанія старины очень цѣнный и важный источникъ для ознакомленія съ исторіей нашей устной народной словесности въ ея древнюю эпоху, т.-е., получаемъ право дѣлать заключенія о болѣе отдаленной, подчасъ очень отдаленной, эпохѣ, критически изучая современную намъ устную литературу. Такимъ образомъ сравнительная историческая этнографія, законъ переживанія и древнія свидѣтельства не лишаютъ насъ надежды, если не вполнѣ, то хотя отчасти, вскрыть то, чѣмъ была устная народная словесность въ древнее время. Сравнительная историческая этнологія, сравнительное изученіе быта, міросозерцанія, культуры народа даетъ намъ возможность заглянуть въ ту эпоху жизни русскаго племени, которая очень близка ко времени начала первыхъ проблесковъ устно-народной словесности. Этимъ методомъ сравненія и закономъ переживанія пользовалась и старая школа изслѣдователей (миѳологовъ), но неосторожно, съ предвзятымъ убѣжденіемъ въ первобытной древности, исконности всего, что даетъ народная словесность въ современномъ намъ ея состояніи, т.-е., школа эта злоупотребляла закономъ переживанія, преувеличивала его роль въ сохраненіи содержанія и смысла народной словесности; отсюда—невѣрные выводы миѳологовъ, какъ это мы видѣли.

Помня указанныя группы нашихъ источниковъ, осторожно пользуясь закономъ переживанія и сравнительнымъ методомъ, но не входя въ детали, постараемся набросать въ главныхъ чертахъ, какъ мы можемъ себѣ представить русскую устную народную словесность, по крайней мѣрѣ въ древнѣйшее историческое, доступное намъ, время, а, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно будетъ заглянуть и во времена болѣе древнія, близкія къ возникновенію самой народной словесности. Какова же была эта словесность по ея содержанію, по формѣ, вообще по ея характеру? Вотъ ближайшій общій вопросъ, который намъ предстоитъ рѣшить. Естественно, при этомъ прежде возникаетъ другой частный вопросъ: всегда ли, т.-е., въ предѣлахъ доступнаго намъ историческаго времени, русскій народъ обладалъ устной народной словесностью? На этотъ вопросъ слѣдуетъ отвѣтить положительно: да, съ того времени, когда мы начинаемъ знать русское племя, какъ отдѣльное племя среди другихъ славянскихъ и не-славянскихъ, населившихъ Европу, мы имѣемъ право говорить о народной устной словесности у русскихъ. Доказательство этого прежде всего такое: разъ русскій народъ въ своемъ развитіи проходилъ тѣ же стадіи, которыя проходили другіе народы, болѣе доступные нашему наблюденію—а въ этомъ сомнѣнія нѣтъ,—то такой выводъ является необходимымъ въ силу одинаковости міросозерцанія у всего человѣчества, разъ отдѣльныя группы его стоятъ на опредѣленной, одинаковой степени культурнаго развитія. Дѣйстви-

тельно, обратившись къ сравнительной исторической этнологіи, которая изучаетъ народы, преимущественно стоящіе на низкой ступени культурнаго развитія, какъ явленія болѣе простыя по своему содержанію, мы не можемъ представить себѣ народа въ такомъ дикомъ состояніи, чтобы онъ не обладалъ какими-нибудь представленіями и не выражалъ ихъ въ своей словесной формѣ. Какой-нибудь новозеландецъ, еще не знающій употребленія огня, въ словесной формѣ выражаетъ уже свое отношеніе къ окружающему (что составляетъ источникъ, основу его вѣрованій), выражаетъ тѣ или другія несложныя событія, которыя совершаются въ его жизни (что является основой его жизненнаго опыта). Жизнь, рожденіе человѣка, смерть естественная, смерть насильственная—все это является, несомнѣнно, предметомъ отношеній человѣка къ окружающему, и это получаетъ уже у дикаря словесное выраженіе. Говоря проще, человѣчество, стоящее на низкой ступени развитія, уже, несомнѣнно, обладаетъ матеріаломъ для устной народной словесности. Если мы не будемъ слѣдить за исторіей русской народной словесности съ того времени, когда русскіе находились въ состояніи полинезійскихъ дикарей, то во всякомъ случаѣ мы можемъ сказать a priori, что во время, близкое къ этому состоянію, русская народная словесность уже существовала въ зачаткахъ, что въ ней существовали извѣстныя выраженія народнаго міросозерцанія; и если мы опредѣлимъ, какое это было народное міросозерцаніе, тогда мы и рѣшимъ, въ чемъ приблизительно, въ общемъ видѣ, заключалось содержаніе этой народной словесности. Конечно, возстановить въ цѣльномъ видѣ міросозерцаніе русскаго человѣка, стоящаго на такой низкой ступени развитія, у насъ средствъ въ настоящее время нѣтъ; но отдѣльныя части, отдѣльныя особенности этого міросозерцанія возстановить мы можемъ. Одной изъ такихъ особенностей является тѣсная связь между устно-народной словесностью и религіозными вѣрованіями человѣка. Мы говоримъ такъ потому, что у цѣлаго ряда народовъ, даже стоящихъ не на очень низкой ступени развитія, именно, въ силу закона переживанія, связь между религіей и выраженіемъ ея въ устно-народной словесности или сохраняется съ очевидностью, или сохраняется, какъ совершенно ясная традиція. Если мы возьмемъ, съ одной стороны, типичнаго дикаря, стоящаго на низкой ступени развитія, то мы увидимъ, что его пѣсни, его сказки касаются, главнымъ образомъ, сказаній о тѣхъ чудесныхъ для него явленіяхъ въ природѣ, къ которымъ онъ относится, какъ къ божеству; его эпосъ (въ смыслѣ повѣствованія) прежде всего—эпосъ религіозный. То же самое мы видимъ, съ другой стороны, въ такой богато развитой культурной литературѣ, какъ древне-греческая. Гомеровскій эпосъ, несомнѣнно, еще сохраняетъ тѣсную связь съ религіознымъ міросозерцаніемъ грековъ. Болѣе древніе слои

этого эпоса, которые не вошли въ «Гомеровскія поэмы»—Иліаду и Одиссею,—но сохранились въ переработкѣ въ другихъ памятникахъ даже блестящаго періода греческой литературы, несомнѣнно, подтверждають то же самое. Даже такая высокая, совершенная форма греческой литературы, какъ драматическая литература—трагедія и комедія—и тѣ до послѣдней ступени своего развитія ясно сохраняютъ свою связь съ культомъ, именно—культомъ Діониса: форма греческой драмы въ первоначальномъ видѣ есть не что иное, какъ драматическая сторона богослуженія въ честь Діониса. Такимъ образомъ, ясно, что у всѣхъ народовъ древнѣйшая народная словесность тѣсно связана съ религіознымъ міросозерцаніемъ. Если мы узнаемъ, въ чемъ заключается религіозное міросозерцаніе русскаго человѣка въ доисторическую эпоху, мы узнаемъ, въ чемъ могла заключаться устная народная его словесность въ доисторическую эпоху. Но въ данномъ случаѣ бѣда въ томъ, что какъ разъ этого-то мы и не знаемъ съ достаточной точностью: религіозныя вѣрованія русскаго человѣка въ доисторическую эпоху фактически доступны намъ въ очень незначительной степени. И здѣсь сравнительная этнологія (отчасти, можетъ быть, и археологія) даетъ намъ лишь нѣкоторыя указанія: доисторическія религіозныя представленія русскаго человѣка давно уже замѣнились почти всюду другими. Обломки старыхъ представленій сохранились лишь въ видѣ безсознательнаго переживанія. Если представленія эти и живы кое въ чемъ и до сихъ поръ, то они до такой степени уже измѣнены, что намъ не удастся возстановить ихъ въ полномъ объемѣ по этимъ обломкамъ, по тѣмъ переживаніямъ, которыя сохранились до послѣдняго времени. Но эти обломки могутъ быть употреблены съ пользой для общаго представленія о нашемъ міровоззрѣніи, правильно освѣщенные сравнительно съ данными другихъ народовъ. Сравнительная историческая этнологія указываетъ намъ, каковы были вѣрованія человѣка въ ихъ послѣдовательномъ развитіи. Я не стану излагать системы русскихъ религіозныхъ вѣрованій въ подробностяхъ, приведу лишь результаты ихъ изученія [1]). Какъ и всякая такъ называемая «натуральная» религія, т.-е., возникшая естественнымъ путемъ (въ противоположность тѣмъ религіямъ, которыя называются откровенными, каковы еврейская, христіанская), первобытная религія прежде всего имѣетъ общее происхожденіе у всѣхъ народностей: она есть выраженіе отношенія человѣка къ окружающей природѣ. Что является наиболѣе доступнымъ для наблюденія человѣка, наиболѣе ощутительнымъ для него, живущаго въ зависи-

---

[1]) Для болѣе обстоятельнаго ознакомленія съ общимъ ходомъ развитія религіозныхъ вѣрованій человѣка можно указать существующую и по-русски „Исторію религій“ Шантепи де-ла-Соссей (М. 1899), главн. обр. первыя главы. См. также въ моей „Исторіи древней русской литературы“ (изд. 2), стр. 160—169.

мости отъ этой природы, это прежде всего и входитъ въ составъ религіозныхъ вѣрованій, какъ объясненія, разъясненія того, что происходитъ въ природѣ. Громъ, молнія, напримѣръ, несомнѣнно, явленія, которыя доступны каждому, съ которыми каждому приходится считаться, и то или иное объясненіе этого явленія для человѣка и является основой его вѣрованія въ силу грома, молніи, иначе—опредѣленіе отношеній этихъ явленій къ человѣку и человѣка къ нимъ. Разъ человѣкъ знаетъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, онъ учитываетъ значеніе этихъ явленій, считая ихъ сильнѣе или слабѣе себя; передъ болѣе сильными онъ отступаетъ, болѣе слабыми старается овладѣть или отстранить отъ себя; онъ такъ старается вести себя, чтобы поддержать тѣ или другія соотношенія, разъ они выгодны, или уничтожить тѣ или другія, для него не выгодныя, отношенія. Такимъ образомъ, говоря проще, первобытная религія человѣчества, поскольку она доступна нашему знанію, прежде всего, есть религія природы. Эта религія природы на разныхъ ступеняхъ развитія человѣка переживаетъ последовательно извѣстныя фазы, и та ступень, которая является доступной для русскаго племени того времени, когда мы можемъ говорить о немъ, одна изъ довольно еще низкихъ ступеней: это—та ступень, которая называется «анимизмомъ» (отъ слова anima—душа), т.-е.: человѣкъ, смотря на окружающую природу и желая осмыслить ее на основаніи того, что къ нему ближе, на основаніи наблюденій надъ самимъ собою, признаетъ въ ней, природѣ, въ ея явленіяхъ существованіе души, какъ такого же начала, которое онъ чувствуетъ въ самомъ себѣ, и которое руководитъ его дѣйствіями, т.-е., видитъ душу, подобную душѣ человѣческой; ее человѣкъ старается подмѣтить, или прямо предполагаетъ въ окружающей природѣ въ отдѣльныхъ ея проявленіяхъ, а слѣдовательно, и представляетъ дѣятельность этой природы подобною дѣятельности человѣка; поэтому природа представляется ему населенной живыми существами, производящими тѣ или иныя явленія. Эта стадія развитія религіозныхъ вѣрованій наблюдается и у всѣхъ народовъ, прошлое которыхъ намъ знакомо; это состояніе религіозныхъ вѣрованій и соотвѣтствуетъ той довольно низкой ступени культурнаго развитія, на которой когда-то стояли и мы. Стало быть, и наша народная литература была когда-то словеснымъ выраженіемъ такъ называемаго анимистическаго отношенія къ природѣ; главными образами, созданными этой религіей и нашедшими себѣ выраженіе въ словесности, будутъ тѣ существа, которыя представляются человѣкообразными, но отличающимися отъ человѣка лишь по тѣмъ свойствамъ, которыя характерны для условій ихъ дѣйствій, будетъ ли это вода, гора, лѣсъ, хижина, воздухъ и т. п. Отсюда получаются такого рода представленія, напримѣръ: лѣсовикъ (лѣшій), водяникъ (водяной), домовикъ (домовой) и т. д. Это

типичные образы такъ называемыхъ анимистическихъ вѣрованій; лѣсовикъ, домовой, русалка [1]) представляются, несомнѣнно, человѣкообразными. Если мы возьмемъ какую-нибудь русскую народную сказку, гдѣ фигурируетъ лѣсной дѣдушка, или водяной, или морской царь, то они, несомнѣнно, имѣютъ тамъ видъ человѣка; эти образы путемъ переживанія отчасти и сохранены нашей устной словесностью, т.-е., по своему началу восходятъ они къ эпохѣ господства у насъ анимизма, эпохѣ давно уже минувшей; теперь же и, вѣроятно, съ очень давняго времени они стали въ значительной степени образами лишь поэтической мысли. Повидимому, это была старѣйшая ступень религіозныхъ представленій, которая доступна для нашего изученія. Конечно, самыхъ вѣрованій въ настоящемъ устномъ народномъ представленіи и словесности мы уже не найдемъ, мы заключаемъ о нихъ, такимъ образомъ, въ значительной степени теоретически.

Поэтому, оставляя пока въ сторонѣ эти, болѣе или менѣе вѣроятныя, но скудныя и черезчуръ общія представленія о начальной эпохѣ исторіи устной словесности [2]), попробуемъ охарактеризовать устную словесность если не съ самаго ея начала, то, по крайней мѣрѣ, въ томъ ея видѣ, какъ она, можетъ быть представлена въ то время, когда мы получаемъ о ней болѣе или менѣе опредѣленныя, точныя свѣдѣнія, хотя и болѣе позднія; а по этимъ болѣе позднимъ (зато болѣе опредѣленнымъ) свѣдѣніямъ мы имѣемъ возможность отчасти, конечно, только съ большой долей вѣроятности, предполагать, что устная словесность наша была такова и раньше, имѣя въ виду непрерывность органическаго развитія всякаго явленія въ исторіи, а также основной характеръ устной словесности—ея традиціонность.

Древнія свидѣтельства объ устной словесности. Отъ какого времени, наиболѣе отъ насъ отдаленнаго, мы имѣемъ первыя свѣдѣнія о русской устной народной поэзіи? Это время, сравнительно съ древностью самого русскаго племени, является, конечно, молодымъ. Старѣйшія извѣстія, которыя касаются не только русскихъ, но и славянъ [3]), восходятъ къ тому времени, когда общеславянская народность только что раздѣлилась на отдѣльныя группы, въ числѣ кото-

---

[1]) Названіе послѣдней заимствованное; русалку сопоставляютъ съ греч. дріадами, наядами (Прокопій).

[2]) Подробнѣе объ этихъ представленіяхъ и образахъ см. у П. В. Владимірова „Введеніе въ исторію русской словесности“ (Кіевъ. 1896; иначе: Ж. М. Н. П. 1895, I, IV, VI), стр. 40 и сл.

[3]) Мы имѣемъ право привлекать и извѣстія, касающіяся и другихъ славянскихъ народностей, для объясненія фактовъ русскихъ въ виду родственности русскаго и славянскихъ племенъ, наличности общеславянской эпохи культуры: то, что забылось или не сохранилось у насъ, могло сохраниться въ видѣ переживанія у другихъ славянъ.

рыхъ выдѣлилась и группа восточныхъ славянъ (т.-е., русскихъ)—или иначе—къ тому времени, которое было по характеру близко ко времени общей жизни славянской, когда память о родствѣ съ другими славянскими группами была жива въ сознаніи русскаго племени. Это время падаетъ, судя по дошедшимъ свѣдѣніямъ, если примѣнить хронологическую дату, преимущественно на VIII—X вв. для русскихъ и на VI—VII вв.—для всей славянской группы. Такимъ образомъ, болѣе или менѣе ясныя фактическія данныя о характерѣ и содержаніи нашей устной народной словесности мы почерпаемъ изъ свидѣтельствъ древности, которыя не восходятъ дальше указанныхъ мною вѣковъ. Такія свѣдѣнія, разумѣется, могли получиться только путемъ письменнымъ: они могли застрять, остаться въ письменныхъ памятникахъ литературы того времени или памятниковъ болѣе позднихъ, но такихъ, относительно которыхъ мы можемъ говорить, что они, если и болѣе поздняго происхожденія, все же сохранили элементы болѣе древніе. Къ числу такихъ указаній, прежде всего, относятся памятники русской письменности; во второй рядъ придется поставить письменные памятники иноземные, въ которыхъ есть упоминанія о русскихъ или славянахъ. Русскіе памятники могли дойти до насъ отъ эпохи болѣе поздней, нежели иноземные, отъ того времени, когда появилась у насъ письменность; а письменность у насъ появилась одновременно съ христіанствомъ, стало быть, едва ли раньше второй половины или конца X в., или, вѣрнѣе, начала XI-го. Самые же памятники, которые даютъ кое-какія свѣдѣнія о русской народной устной поэзіи, будутъ еще позднѣе: старѣйшіе изъ нихъ по времени своего появленія относятся едва къ XI—XII вѣкамъ; но мы ими можемъ пользоваться въ качествѣ показателей и для болѣе ранняго времени, имѣя въ виду традиціонный характеръ, какъ самой словесности, особенно устной, такъ и быта, отраженіемъ коихъ явились эти памятники. Къ числу такихъ памятниковъ относятся, во-первыхъ, немногія поученія («Слова»), направленныя противъ русскаго язычества [1]). Какъ извѣстно, христіан-

---

[1]) Рядъ такихъ поученій изданъ въ „Лѣтописяхъ русской литературы“ Н. С. Тихонравова (т. III, Смѣсь, стр. 83 и сл.), а также въ „Памятникахъ русской учительной литературы“ А. И. Пономарева (вып. III. Спб. 1897), съ объясненіями П. В. Владимирова. Эти памятники подвергались не разъ изслѣдованіямъ въ научной литературѣ; изъ такихъ изслѣдованій можно указать: Е. В. Аничкова, „Язычество и древняя Русь“ (Спб., 1914), Азбукина „Очеркъ литературной борьбы съ остатками язычества въ русскомъ народѣ“ (Рус. Фил. Вѣстн. 1898). Самыя же свидѣтельства изъ этихъ поученій, а также изъ другихъ памятниковъ, гдѣ подобныя указанія встрѣчались, сгруппированы у П. В. Владимирова въ его „Введеніи въ исторію русской словесности“ (см. выше стр. 120 прим. 2), а также въ книгѣ Gr. Krek'a, Einleitung in die slavische Litteraturgeschichte (2-е изд. Graz, 1887, стр. 838 и сл.).

ство, появившись на Руси, прежде всего, должно было замѣнить собою прежнее міровоззрѣніе, дохристіанское, языческое. Оно несло свое особое воззрѣніе и упраздняло постепенно (въ общемъ довольно медленно) прежнее; а это послѣднее, мы знаемъ, тѣсно связано съ словесностью. Полемизируя противъ довольно еще значительныхъ остатковъ язычества и всего связаннаго съ нимъ въ бытѣ, проповѣдники первыхъ христіанскихъ вѣковъ въ Россіи должны были такъ или иначе обмолвиться о томъ, что было въ ихъ глазахъ пережиткомъ язычества: эти-то «обмолвки» и служатъ для насъ источникомъ свѣдѣній. Стало быть, мы имѣемъ дѣло не съ прямыми источниками свѣдѣній о народной словесности, а съ косвенными, явившимися въ полемическихъ памятникахъ, сообразно ихъ ближайшей цѣли—насадить христіанство. Полемисты говорятъ о свойствахъ, физіономіи, характерѣ противника (въ данномъ случаѣ язычника или полуязычника) только постольку, поскольку это особенно ярко бросается въ глаза и возбуждаетъ въ нихъ необходимость опровергать, доказывать негодность отмѣчаемыхъ ими явленій жизни. Поэтому ясно, что эти памятники не могутъ претендовать на полноту въ изображеніи жизни русскаго язычника и связанной съ нею литературы; этимъ объясняется, почему тѣ свѣдѣнія, которыя мы можемъ извлечь изъ этихъ памятниковъ, какъ памятниковъ полемическихъ, стало быть, тенденціозныхъ, будутъ отрывочны и будутъ давать мелкія указанія, какъ бы невольно проскальзывающія въ письменную литературу XI—XII вв. Но изъ нихъ, мы все-таки получаемъ первыя, такъ сказать, фактическія туземныя данныя, и притомъ довольно любопытныя для того, чтобы представить себѣ, чѣмъ была наша народная словесность по крайней мѣрѣ въ XI—XII вв., и, если не во всемъ ея объемѣ, то въ отдѣльныхъ ея проявленіяхъ. Эти свидѣтельства, критически освѣщаемыя, сводятся въ общемъ къ тому, что проповѣдники упрекаютъ своихъ соотечественниковъ въ томъ, что они держатся «поганскихъ» обычаевъ; а эти «поганскіе» обычаи, языческіе, заключаются, главнымъ образомъ, въ томъ, что люди, принявъ крещеніе и считая себя христіанами, въ то же время не оставляютъ своихъ прежнихъ привычекъ (за что проповѣдникъ называетъ ихъ двоевѣрами); эти же прежнія привычки заключаются въ вѣрѣ въ различныя сверхъестественныя «божества»—существа, которыя проповѣдники по своему христіанскому уже воззрѣнію уподобляютъ «бѣсамъ» (пользуясь уже готовой византійской терминологіей). Но изрѣдка, вообще неохотно говоря о язычествѣ, проповѣдникъ даетъ не только общія, но и реальныя, частныя свѣдѣнія о вѣрованіяхъ русскаго язычника. Такъ, одинъ проповѣдникъ XI—XII вв. упоминаетъ о «проклятомъ бѣсѣ хороможителѣ», т.-е. домовомъ, вѣра въ котораго дожила въ народныхъ представленіяхъ до

нашего времени; другой упрекаетъ своихъ «двоевѣрныхъ» слушателей въ томъ, что они «покладываютъ богамъ требы (т.-е. жертвы) и куръ имъ рѣжутъ», «огню молятся», «на пиру кладутъ въ ведра и въ чаши о идолахъ своихъ» (часть ѣды и питья приносятъ въ жертву богамъ), «ставятъ трапезу (т.-е. пищу) роду и роженицамъ» (родовымъ божествамъ), «короваи молятъ» (т.-е. приносятъ въ жертву печеный хлѣбъ); третій даетъ еще подробности о томъ, что, «къ колодцамъ приходя, молятся и бросаютъ въ воду Веліару (т.-е. водяному) жертву», а иначе, «молятся и камнямъ, и рѣкамъ, и источникамъ, и берегынямъ (соотв. русалкамъ), и деревьямъ», и т. д. Т. о., и въ XI—XII вв. мы видимъ еще живой ту анимистическую религію, о которой мы говорили выше, на основаніи данныхъ сравнительной этнологіи. Но есть изъ этой эпохи и свѣдѣнія, уже ближе касающіяся словесности: какъ и поздняя, нами наблюдаемая, теперь устно-народная литература, и древняя была тѣсно связана съ обрядомъ; такъ, изъ поученія «Зарубскаго старца» (XIII в.) мы узнаемъ про существованіе обрядовъ, сопровождаемыхъ гуслями, пѣснями и т. п., а въ одномъ поученіи, дошедшемъ въ рук. XIII в. (но сложенномъ раньше), говорится, что «играютъ русаліи» (т.-е. обрядъ, связанный съ вѣрованіями въ русалокъ), или «скоморошные пьяницы кличутъ». Такимъ образомъ, мы видимъ обряды, сопровождаемые пѣніемъ (это, стало быть, уже устная словесность), пляской, извѣстными дѣйствіями; а это какъ разъ то, что составляетъ тотъ фундаментъ, на которомъ покоится значительная часть устно-народной словесности и у насъ, и у другихъ народовъ. Стало быть, здѣсь мы получаемъ первыя свѣдѣнія о той формѣ, въ которой, по крайней мѣрѣ, отчасти произведенія устно-народной словесности существовали въ XI—XII вв.; эта форма въ значительной степени та же, что̀ мы видимъ и до сихъ поръ въ устной нашей словесности. Затѣмъ, аналогичныя указанія даютъ и другіе древніе памятники, въ частности каноническаго характера (т.-е. такіе, которые старались регулировать на христіанскій манеръ общественную и частную жизнь человѣка). Повидимому, пѣніе пѣсенъ (конечно, не христіанскихъ, церковныхъ, иначе бы ихъ не называли, подобно языческимъ, «бѣсовскими») играло съ давнихъ поръ видную роль въ обиходѣ русскаго человѣка, въ обычаяхъ его домашней жизни, каковы: свадьба, напримѣръ, просто пиръ по какому-либо случаю и т. д. Судя по отношенію къ нимъ русскихъ канонистовъ XI—XII вв., это—также остатокъ язычества. Слѣдовательно, изъ упомянутыхъ памятниковъ мы почерпаемъ нѣкоторыя новыя подробности о состояніи нашей устной словесности въ древнее время. Въ числѣ такихъ памятниковъ мы знаемъ отъ конца XI вѣка такъ называемые «Каноническіе отвѣты Іоан-

на II, митрополита русскаго». Это былъ человѣкъ, богословски образованный, одинъ изъ тѣхъ грековъ, которые посылались къ намъ изъ Византіи для управленія и руководства только что образованной на Руси послѣ крещенія митрополіей. Русское духовенство, среднее, вышедшее изъ народной среды, близко къ ней стоящее, (въ лицѣ какого-то мниха Іакова, къ которому адресованы «отвѣты») обращается къ нему, какъ къ своему духовному начальнику и какъ къ ученому человѣку, за разрѣшеніемъ недоумѣнныхъ вопросовъ, встрѣчаемыхъ на практикѣ: это духовенство, еще молодое въ христіанствѣ, разумѣется, само еще не привыкло къ христіанскимъ обычаямъ вполнѣ, не знало часто, какъ относиться къ тому или другому мѣстному обычаю, считать ли тотъ или иной изъ нихъ согласнымъ съ христіанствомъ, допустимымъ, или отвергать, какъ противный ему, языческій? Съ другой стороны, не надо забывать, что духовенство это, вышедшее изъ массы народной, само далеко не было свободно отъ этихъ привычекъ, унаслѣдованныхъ и соблюдавшихся безсознательно. Нужно было быть хорошо развитымъ въ христіанскомъ направленіи для того, чтобы установить сразу правильное отношеніе къ тому или иному явленію въ жизни; а такимъ развитіемъ далеко не всегда могло обладать духовенство, особенно въ первое время. Съ этими-то недоумѣнными вопросами, повидимому, обращаются къ митрополиту Іоанну. На эти вопросы (иногда повторяя и самый вопросъ) ученый митрополитъ, и отвѣчаетъ [1]). По нѣкоторымъ изъ этихъ отвѣтовъ можно судить, что христіанство въ XI в. еще очень слабо оказывало вліяніе на нашъ бытъ, на наше народное міросозерцаніе. Цѣлый рядъ чисто-языческихъ обычаевъ, несомнѣнно, существуетъ еще, что̀ для того времени и естественно на Руси: цѣлый рядъ общепонятныхъ въ наше время христіанскихъ обычаевъ встрѣчаетъ недоумѣніе и неумѣніе, какъ ихъ примѣнять. Для иллюстраціи можно привести нѣсколько примѣровъ. Собѣсѣдникъ, или совопросникъ, Іоанна II спрашиваетъ, напримѣръ, своего архіерея, какъ быть въ такихъ случаяхъ, когда приходится заключать бракъ: нужно ли вѣнчать и п р о с т ы х ъ людей въ церкви, или же вѣнчаніе предназначено только для людей знатныхъ: бояръ, князей? Стало быть, священнику было неясно, что одно изъ основныхъ христіанскихъ таинствъ—церковное бракосочетаніе—есть необходимое условіе новой семейной жизни; разумѣется, архіерей отвѣчаетъ положительно, но рядомъ съ этимъ прибавляетъ также, что есть скверный обычай совершать свадьбу съ гудѣніемъ (т.-е. му-

[1]) Эти канонич. отвѣты изданы въ VI т. „Русской исторической библіотеки“ (изд. 2, Спб. 1908), стлб. 1 и сл.

зыкой), съ пѣснями; это указываетъ прямо на тотъ языческій обрядъ, который намъ извѣстенъ до сихъ поръ въ видѣ народнаго свадебнаго обряда, стоящаго рядомъ съ церковнымъ (т.-е. вѣнчаньемъ). Такимъ образомъ, изъ этого свидѣтельства Іоанна II мы узнаемъ, что въ XI в. рядомъ съ церковнымъ бракомъ существовалъ болѣе ранній по употребленію бракъ, который сопровождался цѣлымъ рядомъ обрядовъ, которые, въ свою очередь, тѣсно связаны съ пѣсней (конечно, «бѣсовской» съ точки зрѣнія византійца и христіанина русскаго, для котораго единственной приличной пѣсней является благопристойное пѣніе церковное). Среди этихъ же вопросовъ есть и еще нѣкоторые любопытные и расширяющіе нѣсколько нашъ кругозоръ относительно народной словесности. Возникаетъ вопросъ: какъ священнику быть, когда онъ попадаетъ на пиръ? Архіерей отвѣчаетъ: «иже сходящеся (т.-е. собираясь) къ мірскимъ пиромъ, и пьютъ, ерейску чину повелѣваютъ святіи отцы благообразнѣ и съ благословеніемъ пріимати предлежащая (т.-е. предлагаемое угощеніе); игра, и плясанье, и гудѣніе входящимъ (т.-е., когда начинается пѣніе пѣсенъ (ср. «играть пѣсню»), пляска и музыка), встати симъ (т.-е. священникамъ слѣдуетъ уйти), да не осквернятъ чувства (т.-е. религіознаго) видѣніемъ и слышаніемъ». По смыслу сюда близко подходитъ и вопросъ: если монахамъ рекомендуется воздерживаться отъ пировъ, гдѣ участвують и женщины, то бѣльцамъ (т.-е. мірскому духовенству) прилично ли, наивно спрашиваютъ архіерея, участвовать въ такихъ обѣдахъ? Отвѣтъ: «бѣльцемъ, жены имѣюще и дѣти, тутъ обѣдать не возбранно, кромѣ начинанья игранья и бѣсовскихъ пѣсенъ и глумленья (т.-е. болтовни, сквернословія)». Изъ этихъ свидѣтельствъ видимъ: 1) что пиры сопровождаются пѣніемъ народныхъ (не церковныхъ, а потому «бѣсовскихъ») пѣсенъ, пляской, музыкой и т. п., и 2) что все это считается «бѣсовскимъ», не годнымъ, по крайней мѣрѣ, для духовенства. Ясное дѣло, что архіерей сознаетъ свое безсиліе противъ этого народнаго обычая, но, съ другой стороны, полагаетъ, что единственный протестъ противъ этого, это— удаленіе, во всякомъ случаѣ, почетнаго гостя, какимъ является на пиру священникъ. Какъ видимъ, всѣ эти свидѣтельства довольно однообразны, но зато они даютъ право утверждать, что въ древнее время, въ XI—XII вв., мы имѣемъ дѣло съ опредѣленной отчасти формой народной поэзіи, именно, съ пѣніемъ подъ аккомпанементъ; тѣсно связаны пѣсни и съ обрядами, въ эти обряды входитъ, помимо дѣйствій, пляска, тѣсно связанная съ обрядомъ, и эти обряды сопровождаются обязательно пѣніемъ. Другой писатель, половины XII в., новгородскій архіерей Нифонтъ, также оставилъ намъ подобный рядъ отвѣтовъ: его (ученаго, кажется, грека) мѣстные священники, Кирикъ, Савва и Илья и др. также спрашиваютъ о рядѣ недоумѣнныхъ вопросовъ, встрѣ-

тившихся имъ на практикѣ [1]); въ числѣ этихъ вопросовъ есть дающіе матеріалъ и для сужденія о народной словесности. Нифонтъ оказался строже своего предшественника Іоанна. Но и въ его время приходилось «боронити вельми» (строго запрещать) тѣмъ, кто «роду и рожаницѣ кроютъ хлѣбы и сыры и медъ», т.-е. совершаютъ языческія приношенія; а эти сопровождались, конечно, и пѣснями, обращеніями къ божествамъ и т. д. Въ XII—XIII вв. архіепископу новгородскому Иліи [2]) приходится рекомендовать «уимать» (уговаривать, воздерживать) дѣтей духовныхъ относительно «колядниковъ», т.-е. исполнителей колядскихъ пѣсенъ (обрядовыхъ, рождественскихъ, существующихъ и до сихъ поръ). Если до сихъ поръ приведенныя свидѣтельства говорятъ намъ о существованіи еще въ древнее время народной словесности въ видѣ пѣсенъ, распѣваемыхъ на пирахъ, пѣсенъ обрядовыхъ (т.-е. связанныхъ съ обрядомъ, старымъ культомъ), то имѣются у насъ указанія, также древнія, и на другіе виды народной поэзіи, напримѣръ, на сказки. Приведу одно изъ такихъ свидѣтельствъ, сохранившееся въ рукописи XII в.: въ русскомъ «Словѣ о богатомъ и Лазарѣ» (правда, передѣланномъ изъ греческаго переводнаго) проповѣдникъ описываетъ (конечно, съ укоризной) образъ жизни богача, несомнѣнно, рисуя этотъ бытъ красками дѣйствительной, отчасти современной обстановки: разсказавши про роскошь обстановки богатаго, онъ прибавляетъ, что послѣ обѣда «возлежащу ему и не могущу уснути, друзіи нозѣ ему гладятъ, иніи по лядвіямъ тѣшатъ его, иніи по плечамъ чешутъ, иніи баютъ ему, или кощунятъ, иніи гудутъ ему». «Баютъ»— т.-е. разсказываютъ сказки, откуда и слово «бахарь»—сказочникъ. На пиру у богача «шпилеве (т.-е. шпильманы, ср. нѣмецк. Spielmann), скоморохи, празднословцы, смѣхотворцы, плясанія... пѣсни», т.-е., опять знакомая намъ картина; новаго тутъ—скоморохи-шпильманы. Такимъ образомъ, тѣ скудныя свѣдѣнія, которыя собраны нами до сихъ поръ, всеже даютъ нѣкоторое представленіе о жизни и видахъ народной поэзіи въ древнее время: изъ нихъ узнаемъ, что были пѣсни, которыя сопровождались аккомпанементомъ; для этого служили гудки, гусли, свирѣли; пѣсня, помимо обрядовой, сопровождалась и пляской, имѣла даже спеціальныхъ исполнителей—скомороховъ; были въ ходу и сказки, которыя, быть можетъ, также имѣли своихъ спеціалистовъ—сказочниковъ-бахарей.

Упомянутые скоморохи [3]) играютъ роль въ области народной уст-

---

[1]) Эти вопросы и отвѣты изданы тамъ же, стлб. 21 и сл.

[2]) М. б. этотъ Илья то же лицо, что и Илья, вопрошавшій Нифонта.

[3]) Останавливаемъ вниманіе на скоморохахъ потому, что съ ними, какъ и съ другими носителями устной словесности, намъ не разъ придется встрѣчаться и позднѣе.

ной словесности и позднѣе. Ихъ, какъ видно изъ древнихъ свидѣтельствъ, приглашаютъ на пиры, обѣды, они являются мастерами-исполнителями произведеній, которыми развлекаются слушатели. Наводя справки о скоморохахъ, мы видимъ, что самое происхожденіе слова «скоморохъ» и происхожденіе самихъ скомороховъ до сихъ поръ не ясны. Производятъ его отъ греческаго слова «skommarchos» (отъ skomma—шутка) и ставятъ въ связь нашихъ скомороховъ съ византійскими гаерами, видя въ этомъ слѣдъ византійскаго вліянія (Кирпичниковъ), другіе, имѣя въ виду синонимъ этого слова—«шпильманъ» (см. выше)—и описаніе одежды скомороховъ въ лѣтописи Переяславской (XIII в.), какъ одежды «латинской» (т.-е. западной), сопоставляютъ ихъ съ подобными же гаерами, но западно-европейскими (А. Веселовскій). Во всякомъ случаѣ ясно, что въ XII—XIII вв. какіе-то «скомраси» (или «скоморохи» по русской фонетикѣ)—явленіе уже обычное на Руси: они являются спеціалистами по исполненію народной словесности, сопровождая это исполненіе музыкальными инструментами, можетъ быть, въ иныхъ случаяхъ и пляской. Эти скоморохи, насколько позволяютъ заключать наши историческія данныя, имѣли успѣхъ, повидимому, на Руси, размножились, несмотря на свой «бѣсовскій» по содержанію своихъ произведеній репертуаръ. Еще въ XVI—XVII вв. московскому правительству приходится бороться съ этими скоморохами. Скоморохи ходятъ по деревнямъ ватагами, человѣкъ въ 60, до 100, устраиваютъ безъ спроса слушателей свои представленія и затѣмъ настойчиво собираютъ дань за исполненіе съ своихъ слушателей, вольныхъ и невольныхъ; таковы постановленія Стоглаваго собора (1551 г., гл. 41), указы царя Алексѣя Михайловича и др. Затѣмъ несомнѣнные слѣды участія скомороховъ въ выработкѣ самой формы народной поэзіи мы видимъ въ тѣхъ народныхъ пѣсняхъ, которыя теперь скоморохи не исполняютъ (просто потому, что ихъ нѣтъ); въ устахъ крестьянина, пѣвца былины, сквозитъ иногда скоморошье настроеніе, прибаутка скомороха; скоморошій характеръ получаетъ иногда въ былинахъ такъ называемый «зачинъ» былины—тѣ нѣсколько начальныхъ стиховъ пѣсни, которые, не имѣя прямой связи съ содержаніемъ самой былины, имѣютъ назначеніе скорѣе психологическое—настроить слушателей на извѣстный ладъ, подготовить ихъ къ слушанію былины. Эта черта въ былинѣ, какъ увидимъ, древняя, слѣдъ старой традиціи. И дѣйствительно, еще въ концѣ XVII или въ началѣ XVIII вѣка былины исполнялись, именно, скоморохами, какъ о томъ свидѣтельствуетъ историкъ В. Н. Татищевъ († 1750). Съ другой стороны, наличность скомороховъ и связь ихъ съ народно-устной поэзіей, по крайней мѣрѣ, не связанной съ обрядомъ, даетъ любопытное освѣщеніе происхожденію

отдѣльныхъ видовъ самой этой поэзіи. Это были пѣсни или традиціонныя, или не традиціонныя, чисто-художественныя, служившія удовлетворенію эстетическихъ лишь потребностей (на пиру, напр.). Исполнителями, а въ извѣстной степени, быть можетъ, и создателями, являются, между прочимъ, приглашаемые мастера, которые доставляютъ своимъ слушателямъ удовольствіе пѣніемъ, игрой; пѣсни эти слагались, повидимому, такъ же, какъ и современная намъ поэзія; онѣ слѣдуютъ извѣстной своего рода опредѣленной «поэтикѣ», какъ увидимъ дальше, создаются лицами по профессіи, и обладающими нѣкоторымъ образованіемъ, сознательно слѣдующими правиламъ, установившемуся обычаю. Эту искусственность, работу автора-поэта мы увидимъ впослѣдствіи въ самомъ построеніи былины [1]), сказки.

Выводы изъ древнихъ свидѣтельствъ объ устной словесности. Пересмотрѣнныя свидѣтельства нашей древней преимущественно церковной письменности, поскольку они могутъ дать матеріалъ о народно-устной словесности, сводятся, какъ мы видѣли, главнымъ образомъ къ тому, что они подтвердили существованіе этой словесности въ древній періодъ нашей исторической жизни, въ частности изъ нихъ мы могли заключить: 1) что была народная поэзія обрядовая и необрядовая, 2) что по формѣ она представляетъ прежде всего пѣсню, можетъ быть, сопровождаемую аккомпанементомъ, и, можетъ быть, прозаическую сказку, 3) что для исполненія, созданія и развитія народной поэзіи необрядовой мы должны предполагать авторовъ-спеціалистовъ, можетъ быть, профессіональныхъ слагателей и исполнителей, 4) что народная поэзія, по крайней мѣрѣ, обрядовая, примыкала, въ глазахъ книжниковъ, къ языческому, нехристіанскому складу жизни и представленіямъ, почему вызывала къ себѣ отрицательное отношеніе представителей христіанской мысли.

Содержаніе устной поэзіи въ древности. Но всѣ эти, до сихъ поръ пересмотрѣнныя свидѣтельства ничего не даютъ о содержаніи этой поэзіи, больше говоря объ общемъ ея характерѣ и формѣ. Но есть у насъ среди письменныхъ памятниковъ и такіе, которые даютъ намъ нѣкоторое представленіе и о содержаніи этой устно-народной поэзіи, нѣкоторыхъ ея видовъ, если не всей устной литературы. Къ числу такихъ памятниковъ относятся, по крайней мѣрѣ, два: это—русская Лѣтопись и такой памятникъ, который, будучи книжнымъ, проникнутъ однако непосредственными народными воззрѣніями рядомъ съ воззрѣніями книжными: это—«Слово о полку Игоревѣ». Что же даетъ намъ Лѣтопись? Лѣтопись свой разсказъ, какъ извѣстно, начинаетъ съ отдаленнаго вре-

[1]) Кромѣ статей А. Н. Веселовскаго и А. И. Кирпичникова, упомянутыхъ выше, скоморохамъ посвящено спеціальное изслѣдованіе А. С. Фаминцына „Скоморохи на Руси“ (Спб. 1889).

мени, съ того, какъ потомки Ноя дѣлятъ между собою землю, и затѣмъ, какъ они расходятся въ разныя стороны и кладутъ начало народамъ, заселившимъ Европу; среди потомковъ Іафета оказываются славяне, а среди нихъ и русскіе: такимъ образомъ, передъ нами генеалогія русскаго племени. Разсказавши о разселеніи русскихъ племенъ, лѣтопись сообщаетъ о началѣ русскаго государства, первыхъ русскихъ князьяхъ, оканчиваетъ (въ древнѣйшей редакціи своей—половины XI в.) разсказъ исторіей водворенія христіанства на Руси. То, что она разсказываетъ о первыхъ русскихъ князьяхъ, могло быть основаню только на устныхъ преданіяхъ, потому что та эпоха, про которую разсказываетъ лѣтопись, еще не обладала письменностью: дѣло, вѣдь, идетъ о IX—X столѣтіяхъ, а письменность—самое раннее —могла явиться лишь въ концѣ X в.; если у лѣтописи для исторіи первыхъ князей и были какія-либо записи, то не старше конца X или, вѣрнѣе, начала XI столѣтія; а эти записи, если онѣ и были (что̀ сомнительно), опять-таки опирались на устное же преданіе IX и X вѣка и только закрѣпляли устныя народныя преданія путемъ письма. Стало быть, какъ бы то ни было, вся первая часть русской исторіи, разсказы о началѣ Руси и о князьяхъ до кн. Владимира Святого, основана вся на устныхъ преданіяхъ; отсюда мы заключаемъ, что въ русской устной словесности долженъ былъ существоватъ рядъ такихъ устныхъ разсказовъ, иначе: эта исторія до своего закрѣпленія въ лѣтописи была достояніемъ устной словесности, которая, такимъ образомъ, обладала уже значительнымъ запасомъ историческихъ преданій, какими обладаетъ любая устная народная словесность. Эти-то устныя преданія, записанныя лѣтописью въ XI в., если присмотрѣться поближе къ нимъ, несомнѣнно, представляютъ цѣлый рядъ точекъ соприкосновенія по содержанію, отчасти по формѣ, по стилю, съ нашими устными народными историческими пѣснями, которыя дошли до насъ, сохранившись въ устахъ народа до поздняго времени (напримѣръ, былины). Правда, форма лѣтописнаго разсказа не стихотворная, въ какой мы знаемъ, напримѣръ, историческія пѣсни и былины о богатыряхъ или объ Иванѣ Грозномъ, или о кн. Владимирѣ, Ильѣ Муромцѣ, но общій характеръ «эпичности» въ языкѣ чувствуется, сравнительно съ чисто-историческими страницами лѣтописи, въ видѣ ритмичности рѣчи по мѣстамъ, эпитетовъ. Здѣсь мы видимъ и въ содержаніи ту долю художественной фантазіи, образовъ, которые, будучи близки къ извѣстнымъ намъ подобнымъ элементамъ устной поэзіи, проходятъ черезъ эти разсказы; таковы, напримѣръ, разсказы объ Ольгѣ хитроумной или о вѣщемъ Олегѣ, или о цѣломъ рядѣ такихъ событій, которые являются историческими въ основѣ своей, но обработанными поэтически. Изъ подробнаго анализа этихъ начальныхъ преданій лѣтописи, сдѣланнаго

въ свое время учеными, главнымъ образомъ, Н. И. Костомаровымъ [1]), мы должны заключить, что въ составъ русской древнѣйшей по времени доступной намъ народной поэзіи входили, несомнѣнно, преданія историческаго характера. Имѣя въ виду аналогію съ другими народными литературами, мы можемъ предполагать, что эти преданія, касающіяся отдѣльныхъ историческихъ лицъ или событій, отливались въ отдѣльныя пѣсни, либо прозаическіе разсказы при поэтической обработкѣ основной фабулы, т.-е., что нашъ древнѣйшій, доступный намъ эпосъ, былъ уже эпосъ историческій, какъ и у другихъ народовъ. Я упоминаю объ этомъ потому, что существуетъ не умершее еще до сихъ поръ предположеніе старой романтической школы, которая теоретически увѣряетъ, что древнѣйшая наша эпическая поэзія должна была быть миѳологической, и что она сохранилась до сихъ поръ и когда-то имѣла религіозно-миѳологическій характеръ въ содержаніи (стоитъ лишь «умѣло» его раскрыть или найти). Такое представленіе о нашемъ эпосѣ слѣдуетъ отклонить. Исходя изъ необычной устойчивости нашего эпоса (а это мы въ такомъ случаѣ по необходимости должны допустить), мы ожидали бы болѣе чистыхъ слѣдовъ миѳологіи въ нашемъ теперешнемъ эпосѣ, а тѣмъ болѣе въ первые вѣка христіанства (къ которому относятся записи лѣтописи); но на дѣлѣ мы подобнаго ничего не знаемъ; хотя теоретически это можемъ предполагать, но фактически ни одного произведенія миѳологическаго изъ русскихъ эпическихъ пѣсенъ мы до сихъ поръ не знаемъ: стало быть, они или въ доисторическое еще время цѣликомъ погибли, или вовсе не слагались, или же слѣдовъ этой «миѳологической» поэзіи мы должны искать не въ томъ эпосѣ, который мы теперь знаемъ, а въ другихъ видахъ устнаго творчества. Повидимому, послѣднее предположеніе надо признать наиболѣе близкимъ къ дѣйствительности. Существованіе поэзіи, тѣсно связанной съ религіозными вѣрованіями, и у насъ не подлежитъ сомнѣнію, оправдываемое, какъ мы видѣли, данными сравнительными этнологіи и тѣми обмолвками и намеками въ письменности, о которыхъ рѣчь была раньше. Съ другой стороны, также нельзя сомнѣваться въ томъ, что уже къ началу нашей исторической жизни эти элементы религіознаго міросозерцанія, о которыхъ идетъ рѣчь, не могутъ быть представлены въ видѣ стройной развитой системы (какъ, напримѣръ, у грековъ, скондинавовъ): они либо не развились (что представляется наиболѣе вѣроятнымъ, принимая во вниманіе низкій уровень культуры и религіозныхъ представленій, съ которыми мы вышли

---

[1]) Преданія начальной лѣтописи (Вѣстникъ Европы, 1873, I—III), Объ историч. значеніи русск. нар. поэзіи (Харьковъ, 1843). Перепечатка—въ собраніи соч. Н. И. К—ва, т. XIII, стр. 1 и сл. (Изд. Спб., 1881).

на арену исторіи), какъ это мы видимъ, напримѣръ, у римлянъ, либо исчезли за долгій періодъ жизни (и это при отсутствіи стройной системы вѣрованій имѣло, конечно, мѣсто). И дѣйствительно, наиболѣе точекъ соприкосновенія съ греческими религіозными представленіями въ своемъ содержаніи и отдѣльныхъ его деталяхъ даютъ не былины, а пѣсня, главнымъ образомъ обрядовая, самая консервативная изъ всѣхъ видовъ устной пѣсни, сказка, гдѣ старое «миѳологическое представленіе, обратившись въ интересную фантастику, по существу самой сказки, должно было лучше сохраниться. Поэтому, оставаясь на строго научной почвѣ, мы можемъ говорить о народной словесности лишь того времени, когда мы ее можемъ узнать положительно, т.-е., можемъ говорить объ исторической эпохѣ поэзіи, а не доисторической, для которой у насъ нѣтъ иного матеріала, кромѣ построеній, часто сомнительной научной цѣнности. Такимъ образомъ, надо признать, что въ основѣ содержанія этой нашей устно-народной эпической поэзіи, которую мы можемъ здѣсь найти, лежатъ факты исторіи, т.-е. отзвуки, впечатлѣнія, представленія о совершившемся фактѣ, соотвѣтствующія историческому факту. Наблюденія, которыя мы сдѣлали, найдутъ себѣ подтвержденіе какъ въ послѣдующихъ извѣстіяхъ о русской народной поэзіи, такъ и въ сравнительныхъ данныхъ, и въ самой русской народной поэзіи.

Наиболѣе любопытное для насъ въ данномъ случаѣ то, что мы убѣждаемся, что народная поэзія XI—XII в., какъ она частью нами научно возстановляется, представляла въ значительной мѣрѣ тѣ же формы и виды, которые мы видимъ теперь въ этой поэзіи, что она и тогда давала, повидимому, въ общемъ по характеру и то же содержаніе. Дѣйствительно, если мы обратимся къ послѣдующимъ свѣдѣніямъ о народной поэзіи, прежде всего къ «Слову о полку Игоревѣ», то мы можемъ совершенно опредѣленно указать, что, смотря такъ на матеріалъ, даваемый лѣтописью, мы вполнѣ правы. «Слово о полку Игоревѣ» въ основѣ памятникъ книжный, т.-е., создавшійся, какъ одинъ изъ результатовъ той образованности, къ которой мы стали причастны со времени принятія христіанства. Но авторъ «Слова о полку Игоревѣ» былъ въ то же время по своему общественному положенію человѣкъ, близкій къ народной средѣ; полагаютъ (и не безъ основанія), что онъ не былъ лицомъ духовнымъ (какъ большинство писателей XII в.), а скорѣе всего дружинникомъ, человѣкомъ грамотнымъ, по своему положенію въ русскомъ обществѣ не прерывавшимъ связи съ тѣмъ народомъ, изъ котораго онъ вышелъ и попалъ въ княжескую дружину. Этимъ объясняется, почему «Слово о полку Игоревѣ» даетъ намъ богатый матеріалъ для сужденія о русской народной поэзіи въ XII в. Изъ «Слова о полку Игоревѣ» мы узнаемъ, что и прежде существовали уже особые пѣвцы, которые были

слагателями или исполнителями своихъ и чужихъ произведенiй, близкихъ по характеру къ устно-народной словесности, какой мы ее теперь знаемъ; таковъ знаменитый Боянъ, который вдохновляетъ автора «Слова», и которому старается подражать онъ въ манерѣ и содержанiи, беретъ себѣ за образецъ. Авторъ «Слова» даетъ намъ даже своего рода «портретъ» Бояна: когда онъ пѣлъ, возлагалъ свои «вѣщiе» (т.-е. искусные) персты на струны (вѣроятно, гуслей), а струны князьямъ, имъ воспѣваемымъ, славу рокотали, т.-е., видимъ знакомую картину: пѣвецъ поетъ подъ аккомпаниментъ струннаго инструмента; а содержанiе этихъ пѣсенъ Бояна—о подвигахъ тѣхъ русскихъ князей, которыхъ онъ желалъ прославить. Затѣмъ авторъ «Слова» даетъ и образчики самыхъ пѣсенъ, сложенныхъ въ духѣ и стилѣ Бояна, таковы извѣстныя слова:

Не буря соколы занесе
Черезъ поля широкая,
Галици стады бѣжать
Къ Дону великому.

или:

Комони ржутъ за Сулою,
Звенитъ слава въ Кiевѣ,
Трубы трубятъ въ Новѣгородѣ.

Опять-таки здѣсь мы видимъ, съ одной стороны, подражанiе народной пѣснѣ, съ другой—совершенно опредѣленное указанiе, что эта пѣсня была уже исторической. Приведенные примѣры даютъ указанiе также на опредѣленный ритмъ въ строенiи устной поэзiи: форма историческихъ пѣсенъ XI—XII в., несомнѣнно, форма стихотворная, ритмическая, близкая къ той, что мы видимъ теперь въ былинахъ въ современной намъ ихъ формѣ [1]). Въ это же время существуетъ уже и цѣлый отдѣльный видъ пѣсенъ, отличный отъ былины: «Плачъ Ярославны», который мы находимъ въ «Словѣ о полку Игоревѣ», представляетъ не что иное, какъ перефразировку въ примѣненiи къ данному случаю извѣстнаго и теперь вида народныхъ пѣсенъ, называемыхъ «плачами», «причитанiями», «заплачками» и т. д. Что это не случайное совпаденiе, видимъ изъ свидѣтельства конца XI в. начала XII в. извѣстнаго «Поученiя» Мономаха: Владимиръ Мономахъ проситъ въ посланiи къ Олегу Рязанскому прислать къ нему сноху, чтобы онъ могъ вмѣстѣ съ нею оплакать мужа ея (сына Мономаха), прибавляя: «и сядетъ она, акы горлица, на

[1]) Опредѣленiе болѣе подробное формы былинъ—въ изслѣдованiи (недоконченномъ) Ѳ. Е. Корша „О русскомъ народномъ стихосложенiи“ (Спб. 1897), а также въ его стихотворномъ изложенiи „Слова о полку Игоревѣ“ (Изслѣдованiя по русскому языку, изд. И. А. Н., II, 6). Спб. 1909.

сусѣ древѣ желѣючи», т.-е. поя жалобную пѣсню; образъ тоскующей горлицы является очень распространеннымъ въ дошедшихъ до насъ причитаніяхъ: очевидно, что эти слова Мономаха—отзвукъ того плача, который онъ вспомнилъ, когда писалъ Олегу. Кромѣ того, несомнѣнно, въ эпоху созданія «Слова о полку Игоревѣ» существовала уже и пословица и поговорка въ теперешнемъ смыслѣ: мы находимъ въ «Словѣ о полку Игоревѣ» нѣсколько такихъ пословицъ-поговорокъ, напримѣръ: «ни хитру, ни горазду, ни птицу горазду суда Божія не минути». Или: «Тяжко ти головѣ, кромѣ плечу, зло ти тѣлу, кромѣ головы». Указанія на пословицу, какъ на ходячее образное выраженіе, какъ и въ устной словесности нашего времени, находимъ, кромѣ «С. о п. И.», и въ лѣтописи (здѣсь онѣ носятъ названіе «притчей»); вотъ нѣсколько такихъ «притчей»: Руси есть веселіе пити, не можемъ безъ того быти (подъ 936 г.), миръ стоитъ до рати, а рать до мира (1148 г.), лѣто весною начинаетъ, а осень и зиму глаголетъ (1195), единъ камень много горньцевъ (горшковъ) избиваетъ (1297), не погнетши пчелъ—меду не ѣдать (1231). Особенно обильно пословицами извѣстное «Моленіе» Даніила Заточника (XIII в. перв. половины), почти сплошь составленное изъ изреченій, пересыпанныхъ народными ходячими пословицами. Есть въ старыхъ памятникахъ указанія на существованіе въ древнее время и заговоровъ, хотя въ текстахъ древнѣйшаго времени мы заговоровъ цѣликомъ не встрѣтимъ (оба примѣра изъ лѣтописи подъ 945 и 971 (договоры съ греками) не надежны въ качествѣ свидѣтельствъ о заговорѣ), зато очень много мы находимъ упоминаній о волхвахъ, чародѣяхъ, ворожеяхъ; а дѣйствія ихъ, какъ показываетъ исторія заговора въ болѣе позднее время у насъ и у другихъ народовъ, не мыслимы безъ словесной формулы, которой опредѣляется самое дѣйствіе (на любовь, отъ болѣзни и т. п.). Наконецъ, есть данныя предполагать, что и загадка была въ ходу въ древнее время: въ лѣтописи есть слѣдъ и этого рода словесности (подъ 1016 г.) [1]).

Такимъ образомъ, мы можемъ на основаніи сказаннаго сдѣлать заключеніе, что въ XI—XII в. устная народная словесность представляется уже въ развитомъ видѣ: мы видимъ почти всѣ тѣ виды произведеній ея, которые сохранились и до нашего времени въ живой устной передачѣ.

Если же мы будемъ подходить въ нашемъ сравненіи прежней и теперешней устной словесности со стороны послѣдней, то должны будемъ допустить, что эта послѣдняя по своимъ формамъ и содержанію восходитъ къ древнему времени, по крайней мѣрѣ, къ XI—XII в., т.-е. она, дѣйствительно, традиціонна, сохранила путемъ переживанія многое изъ стараго. Что, дѣйствительно, въ этомъ отношеніи въ современной устной

---

[1]) Подробнѣе см. П. В. Владимирова, „Введеніе", стр. 124.

словесности мы имѣемъ дѣло съ старыми традиціями, на это косвенно указываютъ намъ опять письменные памятники послѣдующаго времени, а также тѣ упоминанія, которыя сохранила намъ эта письменность вплоть до того момента, когда мы впервые получили памятники подлинной устной словесности въ свои руки, т.-е. до конца XVII в. Поэтому я укажу на нѣкоторые памятники, которые до извѣстной степени дополнятъ представленіе о той тѣсной связи, которая существуетъ на почвѣ традиціонности между древнѣйшими доступными надъ видами народной поэзіи и болѣе поздними, намъ современными. Связь эта касается содержанія произведеній устной поэзіи, какъ оно рисуется хотя бы для эпической въ частности поэзіи историческаго содержанія. Для этого мы можемъ найти новое и даже болѣе полное указаніе именно въ лѣтописяхъ, главнымъ образомъ XIII в., гдѣ мы видимъ продолженіе той же традиціи, которую мы констатировали въ лѣтописяхъ старшаго времени, именно: связь лѣтописнаго преданія съ народно-поэтическимъ. Такъ, въ Волынской лѣтописи (иначе по списку называемой Ипатской) подъ 1241 годомъ мы находимъ упоминаніе о «словутномъ» (т.-е. знаменитомъ) пѣвцѣ Митусѣ, который былъ захваченъ Андреемъ: это, стало быть, одинъ изъ пѣвцовъ такихъ же, какими были Боянъ и авторъ «Слова о полку Игоревѣ». Въ Суздальской лѣтописи (Академической) въ описаніи событій XIII в. застрялъ даже кусокъ произведенія несомнѣнно устной народной словесности, и есть уже имя, сохраненное нашимъ эпосомъ, какъ и самое событіе. Этотъ кусокъ относится къ битвѣ на р. Калкѣ въ 1224 г.: разсказавши объ этой страшной битвѣ, кончившейся тяжкимъ пораженіемъ русскихъ князей, лѣтопись заканчиваетъ словами: «и Александръ Поповичъ ту (т.-е. въ битвѣ) убіенъ бысть съ иными 70 храбрыхъ» [1]). Это небольшое лѣтописное свидѣтельство ясно показываетъ связь лѣтописнаго разсказа съ тѣми памятниками устной народной словесности, которые дошли до нашего времени. Существуетъ въ устной литературѣ нѣсколько былинъ объ Алешѣ Поповичѣ и о погибели русскихъ богатырей, которыя суть не что иное, какъ поэтическое изображеніе этого же грознаго историческаго событія, битвы на р. Калкѣ. Несомнѣнно, что Алеша [2]) Поповичъ, одинъ изъ участниковъ этой битвы,—та же личность, о которой древняя лѣтопись XIII в. говоритъ, какъ объ Александрѣ Поповичѣ. Отсюда естественный выводъ, что такое крупное историческое событіе, какъ гибель русской силы въ борьбѣ противъ татаръ на р. Калкѣ и Сити, нашло себѣ тотчасъ отраже-

---

[1]) Въ другихъ спискахъ лѣтописи полнѣе: „Тогда убиша Александра Поповича исъ Торопомъ, и иныхъ такихъ же богатырей многихъ". Поздніе списки добавляютъ: „и Добрыню Рязанича—златого пояса".

[2]) Алеша сокращеніе имени Александра (а не Алексѣя, какъ теперь).

ніе въ русской народной поэзіи въ видѣ исторической пѣсни—былины, которая дожила до нашего времени. Позднѣйшія свидѣтельства, идущія изъ XVI—XVII в., главнымъ образомъ запрещенія или мѣры борьбы противъ распространенія народной литературы, какъ остатковъ язычества, намъ указываютъ, что въ XVI—XVII вв., повидимому, народная поэзія сохраняла тѣ же формы и отчасти содержаніе, которыя мы знаемъ въ XI, XII и XIII вв. Стоглавый соборъ прямо указывалъ, какія мѣры должна принимать духовная власть для искорененія «скверныхъ обычаевъ», и перечисляетъ эти «скверные обычаи». Къ такимъ нарушителямъ благочинія (церковнаго) относятся: глумотворцы (шуты, скоморохи), органники (музыканты), гусельники, смѣхотворцы, тѣ, кто поетъ «бѣсовскія» пѣсни и предается «бѣсовскимъ» играмъ, занимается волхвованіемъ и «еллинскими» (т.-е. языческими) чародѣяніями; сюда же относятся оплакивающіе умершихъ на «жальникахъ» (кладбищахъ, могилахъ), т.-е. поющіе причитанія; сюда же причислены, какъ нарушенія христіанскаго житія, народные праздники, особенно Святки, когда совершалось «нощное плещеваніе, безчинный говоръ, бѣсовскіе пѣсни, плясаніе и скаканіе» и т. д. Противъ этого вооружается Стоглавый соборъ, т.-е., противъ всего народнаго быта и связанной съ нимъ народной словесности. Также энергично противъ этихъ «злыхъ нравовъ и обычаевъ» возстаетъ «Домострой»; а «злые» эти обычаи тѣ же, что указываетъ и Стоглавъ, присоединяя сюда еще «скверныхъ бабъ», которыя занимаются лѣчебнымъ гаданьемъ, дѣлаютъ наузы (т.-е. бумажки съ заговоромъ, которыя въ видѣ ладонки вѣшаютъ на шею). Однимъ словомъ, въ XVI в. мы видимъ въ полномъ цвѣту всю ту картину низшихъ слоевъ русскаго общества, которая показываетъ, что всѣ условія для существованія старой народной словесности еще налицо, иначе: традиція XI—XII в. еще жива. Взявши репертуаръ теперешней народной литературы, поскольку онъ извѣстенъ намъ, благодаря трудамъ собирателей и изслѣдователей, мы видимъ, что тѣ же самыя фазы, тѣ же самыя формы устной народной словесности имѣются и теперь. Отсюда ясный выводъ, что народная литература, благодаря устойчивости быта, благодаря тѣмъ условіямъ, въ какія она была поставлена въ теченіе ряда вѣковъ, въ существенныхъ своихъ чертахъ сохраняется и до болѣе поздняго времени, и изслѣдователи теперешней народной поэзіи, разсматривающіе ее въ связи съ народнымъ міросозерцаніемъ, въ правѣ смотрѣть на нее, лишь какъ на видоизмѣненіе въ отдѣльныхъ случаяхъ глубокой старины [1]). Эти наблюденія даютъ намъ возможность изучать устную народную словесность

---

[1]) Конечно, съ тѣмъ ограниченіемъ, которое указано выше: въ доисторическія времена мы пока почти не проникаемъ.

исторически, т.-е. изучать ее въ прошломъ, слѣдя за ея развитіемъ, вплоть до настоящаго времени.

Такимъ образомъ мы отвѣтили въ общихъ чертахъ на первый вопросъ, который мы ставили, приступая къ изученію устной народной словесности: она—древняя по своему происхожденію. О древнѣйшемъ періодѣ, дохристіанскомъ, мы не знаемъ ничего положительнаго, но, начиная съ появленія у насъ христіанства, со времени исторической нашей жизни, мы получаемъ право признать существованіе и развитіе народной поэзіи, т.-е., предполагать, что въ предшествовавшій, намъ недоступный періодъ происходила выработка разныхъ видовъ народной поэзіи, которую мы застаемъ въ XI—XII вѣкѣ, какъ опредѣленно сложившуюся, существующую и продолжающую существовать вплоть до нашего времени.

Формы устной словесности. Теперь перейдемъ къ слѣдующему вопросу: что представляетъ собою по формѣ (или по формамъ) устная народная поэзія, какъ произведеніе словесное? Поскольку до сихъ поръ разработана исторія формы народной поэзіи путемъ сравненія тѣхъ данныхъ, которыя до насъ дошли отъ древняго времени, съ теперешними данными, которыя мы получаемъ, присматриваясь къ современной намъ народной устной поэзіи, мы можемъ сказать, что народная устная поэзія по внѣшней своей формѣ, какъ и современная наша интеллигентная, отливалась и отливается въ двѣ формы: съ одной стороны, въ болѣе простую форму прозаической рѣчи, которая или не отличается отъ обыкновенной живой, или же, оставаясь прозаической, отличается тѣмъ, что стиль и строй рѣчи имѣетъ нѣкоторыя своеобразныя особенности, не употребительныя или почти не употребительныя въ обыденной разговорной рѣчи; съ другой стороны, устныя произведенія отливаются въ форму стихотворную, отличающуюся въ значительной степени по своимъ законамъ (насколько мы ихъ знаемъ) отъ стихотворной рѣчи нашей современной поэзіи, а въ стилѣ представляющей такія своеобразныя особенности, что можно говорить о самостоятельной, независимой отъ нашей книжной, интеллигентной литературы поэтикѣ устнаго произведенія. Своеобразныя особенности стиля и строя рѣчи прозаическихъ устныхъ произведеній въ этомъ отношеніи будутъ совпадать съ устной стихотворной рѣчью, что еще болѣе даетъ права говорить о такой своеобразной устно-народной поэтикѣ. Поэтика эта, насколько мы до сихъ поръ могли ее разъяснить, сложилась исторически, совмѣщая въ себѣ элементы различнаго времени, начиная съ такихъ, которые мы, на основаніи сравнительнаго изученія устныхъ произведеній другихъ родственныхъ и неродственныхъ народностей, должны отнести ко временамъ весьма древнимъ, даже доисторическимъ, и кончая такими, которыя придется при-

знать результатомъ позднѣйшаго развитія и вліянія уже книжной поэзіи не только XVII и XVIII вѣковъ, но и нашего времени. Изученіе этой поэтики (далеко еще не завершенное) важно для насъ не только потому, что черезъ него мы приближаемся къ раскрытію процесса творчества, психологіи устнаго произведенія, но и потому, что, поставленная на почву историческую, поэтика эта вскрываетъ намъ и самую исторію изучаемаго нами того или иного устнаго произведенія; напр., силлабическая форма устнаго духовнаго стиха, снабженнаго риѳмой, какъ болѣе поздняя по времени своего возникновенія, будетъ указывать и на болѣе позднее происхожденіе самаго духовнаго стиха, нежели, напримѣръ, былины, сохраняющей въ своихъ формальныхъ особенностяхъ болѣе архаичные элементы, роднящіе ее въ этомъ отношеніи съ древними народными эпосами и т. п. Изученіе такъ назыв. «изобразительныхъ» средствъ былины и такъ наз. «исторической» пѣсни, дастъ намъ возможность установить не только ихъ родство, какъ отдѣльныхъ видовъ поэтическаго творчества, но и подтвердитъ хронологическую молодость исторической пѣсни сравнительно съ былиной, о чемъ мы заключаемъ на основаніи изученія, анализа содержанія ихъ. Аналогія въ отдѣльныхъ формальныхъ особенностяхъ сказки и былины дастъ намъ, въ числѣ другихъ, указанія на ихъ взаимоотношенія, какъ отдѣльныхъ видовъ творчества въ прошломъ: былина, разлагаясь, превращается въ сказку, небывальщину, сказка-побывальщина превращается въ былину, обработанная въ былинную форму, и т. д. Вотъ почему въ изученіе исторіи нашей устной словесности мы вводимъ и изученіе «формальныхъ особенностей» ея, не говоря уже о томъ, что подобное знакомство съ поэтикой должно (какъ и при изученіи всякаго поэтическаго произведенія) приблизитъ насъ къ пониманію устной поэзіи, какъ отдѣльнаго вида человѣческаго творчества.

Изученіе устно-народной поэтики до сихъ поръ далеко не закончено, но уже можно установить и теперь нѣкоторыя изъ характерныхъ ея особенностей. Въ числѣ ихъ особенно выдѣляются, съ одной стороны, особенности формы самаго произведенія, въ частности—строеніе стиха, съ другой—такъ называемыя «изобразительныя средства», служащія въ особенности для приданія поэтическаго характера произведенію и находящіяся въ полномъ согласіи съ общимъ настроеніемъ и исторіей этой поэзіи.

Не входя въ подробности, мы и остановимся на этихъ двухъ чертахъ устно-народной поэтики.

Форма стихотворная. Что касается стихотворной формы устныхъ произведеній, то для нея слѣдуетъ признать прежде всего за общее правило, что форма эта—пѣсенная, т.-е., такая, которая не-

отдѣлима отъ пѣнія: устно-народное стихотвореніе, въ отличіе отъ книжнаго, только поется (въ одиночку или хоромъ), а не читается или сказывается; въ отдѣльныхъ случаяхъ пѣсня передается пѣвучимъ речитативомъ. Такимъ образомъ, «словесная» форма пѣсни устно-народной неотдѣлима по существу отъ ея формы музыкальной, т.-е., отъ мотива; поэтому правильное представленіе о формѣ устнаго стихотворенія—пѣсни—получимъ лишь тогда, когда узнаемъ не только «словесную» форму его, но и музыкальную; отъ послѣдней до нѣкоторой степени зависитъ и самая словесная форма. Въ силу этого безусловно правильной должна быть сочтена только такая запись устнаго стихотворенія, которая сопровождается и соотвѣтствующимъ мотивомъ [1].

Эта тѣсная связь между мотивомъ и текстомъ пѣсни сознавалась (можетъ быть, скорѣе чувствовалась) иногда любителями устной пѣсни

[1] Къ сожалѣнію, большинство записей устныхъ стихотворныхъ произведеній, сдѣланныхъ въ прежнее время, а также дѣлаемыя весьма часто и теперь не даютъ музыкальной стороны произведенія, отчасти потому, что дѣлались они еще въ то время, когда указанная связь между текстомъ пѣсни и ея мотивомъ не сознавалась столь важной для правильнаго представленія о записываемомъ произведеніи самими собирателями, отчасти же потому, что собиратели при записи преслѣдовали цѣль закрѣпленія содержанія и словесной формы, считая эту послѣднюю построенной на тѣхъ же началахъ, что̀ и литературный стихъ, и видя разницу лишь въ структурахъ этого стиха (т. н. „бѣлый", безъ рифмы стихъ). Т. о. эти записи не позволяютъ во всемъ объемѣ изучить устное произведеніе, какъ таковое, оставляя намъ для изученія лишь содержаніе и одну лишь сторону его формы („словесную"). Главное же практическое затрудненіе для вполнѣ научной записи пѣсеннаго матеріала заключается въ томъ, что такая запись требуетъ отъ собирателя соединенія въ одномъ лицѣ и записывателя текста и чуткаго музыканта, при чемъ эта трудность увеличивается еще той своеобразностью музыкальнаго строя пѣсни, который плохо и не вполнѣ точно передается привычной нашей пятилинейной нотной системой. Самой точной записью, естественно, должна быть признана механическая, при помощи фонографа, который теперь и входитъ въ употребленіе у собирателей. Нагляднымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и поучительнымъ для собирателей памятниковъ устной словесности примѣромъ той тѣсной связи, какая существуетъ между „словесной" и „музыкальной" формами пѣсни, можетъ служить слѣдующій: если при записываніи пѣсни, поющейся съ аккопанементомъ (напр., духовный стихъ, малорусская дума), попросить пѣвца спѣть ее безъ аккомпанемента (что̀ собиратели и дѣлаютъ иногда, чтобы точнѣе уловить слова пѣсни), то пѣвецъ весьма часто сбивается не только въ мотивѣ пѣсни, но и въ ея словахъ, и только взявши нѣсколько аккордовъ изъ мотива на инструментѣ, вспоминаетъ и мотивъ и слова; то же происходитъ, когда пѣвца пѣсни, поющейся безъ аккомпанемента, просятъ п е р е с к а з а т ь пѣсню безъ пѣнія (что̀ также неправильно дѣлаютъ собиратели); это ставитъ его въ затрудненіе: ритмъ нарушается, нарушается и форма, а за ней путаются и слова пѣсни; поэтому далеко не всѣ пѣвцы и пѣвицы берутся „проказать" (т. е. разсказать) пѣсню, отказываясь неумѣніемъ сдѣлать это. Такого рода связь наблюдается не только въ русской пѣсенной поэзіи, но и въ другихъ, напр., наблюдалась въ поэзіи сербской.

еще и въ XVIII вѣкѣ и началѣ XIX-го, до начала научнаго отношенія къ пѣснѣ; такъ, въ старинной записи былинъ, сдѣланной еще любителемъ, въ сборникѣ Кирши Данилова (приблизительно въ 60-хъ гг. XVIII ст.) самому тексту каждой пѣсни предшествуютъ двѣ-три музыкальныхъ (нотныхъ) строки, содержащія ея мотивъ; а старинные рукописные (еще второй половины XVII в.) сборники духовныхъ стиховъ («канты», «псальмы», среди которыхъ довольно часто находимъ и «мірскую» пѣсню) весьма часто даютъ въ началѣ стиха и его мотивъ въ нотѣ; наконецъ, печатные «пѣсенники» (второй половины XVIII-го и первой четверти XIX в.) часто, приводя пѣсню, даютъ при ней указаніе, что-де данная пѣсня поется на голосъ такой-то (т.-е. предполагается, что мотивъ этой послѣдней извѣстенъ потребителю пѣсенника), а иногда такое указаніе находимъ отъ руки приписаннымъ кѣмъ-либо изъ пользовавшихся книгой.

Собранный до сихъ поръ словесно-музыкальный матеріалъ устной пѣсни еще недостаточенъ для точнаго построенія русской устно-народной метрики во всемъ ея разнообразіи; къ тому же чисто-научныя работы въ этомъ направленіи только недавно начались: только въ 1897 году, и то только для былины главнымъ образомъ, можно отмѣтить, къ сожалѣнію, не оконченную работу Ѳ. Е. Корша «О русскомъ народномъ стихосложеніи» (вып. I, былины) [1]), еще позднѣе работы также покойнаго А. Маслова (Труды Моск. Муз. Ком. при О. Л. Э. А. Г.) [2]). Тѣмъ не менѣе, хотя бы въ самыхъ грубыхъ чертахъ, мы имѣемъ уже возможность говорить о музыкальной сторонѣ устнаго стихотворенія, можемъ различать нѣсколько различныхъ мотивовъ для каждаго изъ нихъ, даже для каждаго изъ отдѣльныхъ видовъ: мы можемъ говорить о мотивахъ былинныхъ, мотивахъ причитаній, духовнаго стиха, обрядовой пѣсни, игровой и т. д. Въ каждой изъ этихъ группъ можемъ различать разновидности мотивовъ; напр., былинныхъ мотивовъ мы знаемъ нѣсколько даже для одной былины въ устахъ одного и того же

---

[1]) Иначе: Извѣстія Отд. рус. яз. и слов. А. Н., I, кн. 1 и II, кн. 2.

[2]) Изъ прежнихъ работъ по русской метрикѣ можно отмѣтить, пожалуй, только П. Д. Голохвастова „Законы стиха русскаго народнаго и нашего литературнаго“ („Рус. Вѣстн.“ 1881, XII; перепечатка—въ Общ. Люб. Древн. Письм., 1883). Авторъ исходитъ изъ разницы между удареніемъ грамматическимъ (прозаическимъ) и стихотворнымъ—музыкальнымъ (для рѣчи), при чемъ музыкальность стихотворнаго онъ понимаетъ, какъ соединеніе собственно музыкальнаго ударенія въ словѣ съ логическимъ (смысловымъ) удареніемъ оборота (фразы—стихотворной строки), и старается сблизить между собою основы стиха народнаго и искусственнаго, старается уловить въ народномъ стихѣ устойчивость по мѣсту этого смысловаго ударенія (въ былинѣ: 3-ій, 7-ой и 11-ый слоги). Новѣйшій изслѣдователь, Ѳ. Е. Коршъ, какъ увидимъ, исходитъ въ построеніи своей схемы изъ иной основы.

пѣвца [1]) (не говоря уже о различныхъ для одной былины у разныхъ пѣвцовъ). Все это показываетъ, что народная музыка въ примѣненіи къ пѣснѣ обладаетъ значительнымъ богатствомъ. И самое исполненіе словесно-музыкальныхъ произведеній не вездѣ одинаково, не во всѣхъ видахъ одно и то же: одни виды исполняются всегда подъ аккомпанементъ музыкальнаго инструмента (въ прежнее время—гусли, домра, теперь—бандура, балалайка, скрипка, даже гармоника, лира, гудки различныхъ видовъ) [2]), какова: малорусская дума; одни и тѣ же пѣсни, какъ, напримѣръ, тотъ же духовный стихъ, исполняются то съ инструментомъ (на югѣ и западѣ Россіи подъ лиру или бандуру), то безъ него (на сѣверѣ); другіе виды, повидимому, никогда не сопровождались аккомпанементомъ инструмента (обрядовая поэзія). Наблюденія въ этомъ направленіи показываютъ, что въ настоящее время происходитъ, повидимому, давно уже начавшійся процессъ измѣненія условій жизни пѣсни въ смыслѣ все большей и большей утраты аккомпанемента: большинство устныхъ пѣсенъ теперь имъ не сопровождается; если однѣ изъ нихъ (каковы обрядовыя) давно или, можетъ быть, никогда не сопровождались аккомпанементомъ, то другія его, безъ сомнѣнія, утратили; таковы пѣсни эпическія, духовный стихъ (отчасти); лирическія пѣсни, какъ мы можемъ заключить по старымъ указаніямъ, когда-то (можетъ быть, еще въ XVIII в.) сопровождались музыкальнымъ инструментомъ, а теперь поются, большею частью, безъ него. Объ этомъ говорятъ и свѣдѣнія о пѣвцахъ-профессіоналахъ (гудцахъ, скоморохахъ).

Такимъ образомъ, ясно, что связь между мотивомъ и словами пѣсни, строеніемъ ея стиха должна быть признана тѣсной. Этимъ именно объясняется и тотъ метръ, которымъ руководится народный стихъ. Структура устно-народнаго стиха характеризуется, прежде всего, отсутствіемъ въ немъ риѳмы (столь характерной для нашего литературнаго): если въ устномъ стихѣ и встрѣчается нѣчто похожее па созвучія въ концѣ его, т.-е., что-то въ родѣ риѳмы, то является она отнюдь не какъ риѳма въ собственномъ смыслѣ, а какъ пришедшееся въ концѣ строкъ созвучіе, которое, какъ одно изъ средствъ приданія музыкальности стиху, употребляетъ устная поэзія и внутри самаго стиха [3]). Этимъ созвучіемъ пользуется и ритмическая проза устной сло-

[1]) Иногда пѣвецъ можетъ пропѣть одну и ту же пѣсню на разные „голоса“, или же поетъ рядъ пѣсенъ на одинъ и тотъ же „голосъ“.

[2]) Есть спеціальная работа, посвященная музыкальнымъ инструментамъ народнымъ: „Домра и родственные ей инструменты“, С. А. Фаминцына (Спб. 1881). Хорошая коллекція ихъ есть въ Румянцовскомъ музеѣ (къ ней имѣется и каталогъ).

[3]) Это—такъ наз. „аллитерація“ въ германской поэзіи.

весности, правда, въ болѣе ограниченномъ размѣрѣ; при стихотворной формѣ это созвучіе встрѣчается чаще; вотъ нѣсколько такихъ созвучій: *дѣвица*—*красавица*, *боярыня*—*сударыня*, *коза*—*дереза*, *ушистый*—*пушистый* (соболь, шапка), *нунечку*—*теперечку*, *уши*—*горюши*, *куделя*—*недѣля*, *сивая*—*красивая* (бородушка), *дочки*—*ножки*, насолилъ—опустилъ, черницѣ—дѣвицѣ, овечушки—космáтушки, Ванюшкою — пивоварушкою, молода — ворота, крѣпко — лѣпко (пословица ритмическая), подскочилъ—срубилъ и т. п.; весьма часто оба созвучныя слова ставятся рядомъ или поблизости другъ къ другу въ стихѣ, безразлично, въ концѣ или серединѣ. Такимъ образомъ, мы видимъ, что эти «созвучія» считать риѳмой нельзя: слагатели устныхъ стихотвореній не стремятся заканчивать пару стиховъ одинаковыми звуками. Правда, нельзя отрицать, что среди устно-народныхъ произведеній есть и такія, которыя имѣютъ настоящую риѳму; но такія произведенія, какъ показываетъ ихъ исторія, сами возникли подъ вліяніемъ книжной, притомъ поздней (древняя письменность, собственно говоря, стиха не знаетъ) письменности, каковы «канты» и «псальмы», ведущіе свое происхожденіе отъ силлабическихъ стихотвореній русскихъ школьниковъ и ихъ учителей конца XVII—XVIII столѣтій, или современная намъ «частушка», это издѣліе XIX вѣка, даже его второй половины, несомнѣнно, получившее риѳму изъ нашей литературной формы стиха. Старинная же поэзія, повторяю, риѳмы въ нашемъ смыслѣ не знаетъ.

Еще болѣе замѣтно отличіе устно-народнаго стиха отъ нашего литературнаго въ самомъ метрѣ. Структура стиха устныхъ словесныхъ произведеній, какъ тѣсно связанная съ ихъ музыкальнымъ мотивомъ, представляетъ, взятая отдѣльно отъ музыкальной ея стороны, схему довольно сложную. Не имѣя возможности по малоизслѣдованности и по трудности изложить ее въ простой формулѣ, ограничусь самыми общими указаніями, основываясь преимущественно на упомянутой, къ сожалѣнію, не законченной работѣ покойнаго Ѳ. Е. Корша. «Русское народное стихосложеніе—говоритъ въ этой статьѣ Ѳедоръ Евгеньевичъ—равно какъ и искусственное, относится къ типу тоническому, т.-е., ритмическое удареніе въ немъ совпадаетъ съ прозаическимъ или, во всякомъ случаѣ, связано съ послѣднимъ органически [1]. Отличается наша народная метрика отъ искусственной тѣмъ, что въ то время, какъ въ послѣднемъ родѣ стихосложенія каждой основной, т.-е. мельчайшей части ритма, соотвѣтствуетъ слогъ, въ первомъ (т.-е. народномъ стихотвореніи) слогъ

[1]) Ритмъ, какъ извѣстно, состоитъ изъ чередованія сильныхъ и слабыхъ моментовъ времени, слѣдовательно въ метрикѣ—изъ сильныхъ (ритмически ударяемыхъ) и слабыхъ (неударяемыхъ) слоговъ.

приходится иногда на двѣ такія части ритма,—иначе говоря—растягивается вдвое, что̀ возможно, конечно, только при пѣніи. Поэтому для правильнаго пониманія всякаго народнаго размѣра необходимо знаніе соотвѣтствующаго напѣва». Для поясненія этого опредѣленія особенности народнаго стихосложенія можно привести примѣръ, даваемый самимъ Ѳедоромъ Евгеньевичемъ:

Ахъ, вы сѣни, мои сѣни, сѣни новыя мои.
◡ ◡ — ◡◡◡ —| ◡ ◡ ◡ —| ◡ ◡ ◡ —|

Стихъ, какъ легко замѣтить, удобно разлагается на анапесты.

При этомъ мы видимъ, что въ стопу анапеста (◡ ◡ —) приходится укладыватъ по два ритмическихъ момента. Обращая вниманіе на сильные ритмическіе слоги (сѣ́ни, сѣ́ни, но́выя), мы замѣтимъ, что ударенія эти будутъ совпадать съ удареніями-тактами стиха и съ удареніями прозаическими (грамматическими); при этомъ замѣтимъ также, что удареніе каждаго изъ первыхъ двухъ анапестовъ сильнѣе, нежели удареніе второго анапеста той же пары: эти болѣе сильныя ударенія будутъ главными, и они-то и будутъ всегда соотвѣтствовать прозаическимъ (сѣни, новыя), ударенія же слабыя—лишь въ большей части. До сихъ поръ, кромѣ особенности въ соединеніи двухъ ритмическихъ моментовъ въ одинъ моментъ метрическій, разницы между народнымъ и искусственнымъ стихомъ мы не видимъ; но, помимо указанныхъ двухъ родовъ ударенія ритмическаго—первостепеннаго (главнаго) и второстепеннаго, есть еще третьестепенное, которое падаетъ на слоги, отдѣленные отъ слоговъ съ главнымъ или второстепеннымъ удареніемъ однимъ слогомъ; эти третьестепенныя ударенія мы видимъ на словахъ нашего примѣра: *а*хъ, м*о*и (въ первомъ случаѣ), с*ѣ*ни (въ третьемъ случаѣ), н*о*выя. Совпаденіе прозаическихъ съ третьестепенными удареніями не обязательно: слова съ такимъ удареніемъ являются какъ бы не имѣющими его и разсматриваются не какъ самостоятельныя слова, а лишь какъ часть слѣдующаго слова. Такого употребленія словъ и третьестепеннаго ударенія искусственная метрика не допускаетъ; поэтому же мы видимъ въ народномъ стихосложеніи вещь, недопустимую въ искуственномъ: слова подвергаются стяженію, а слоги затѣмъ опущенію, какъ это встрѣчаемъ въ былинахъ:

Не в и д'л и добрыхъ молодцевъ ѣдучись,

или:

Да разбилъ у м'н я околенку стекольчату,

или:

А н а'б ъ искать-то братца намъ крестоваго,

или:

У в и д'л а тая Марья лебедь бѣлая.

Число слоговъ въ народномъ стихотвореніи колеблется обыкновенно между 15 и 8, соотвѣтственно числу ритмическихъ элементовъ, изъ которыхъ состоитъ стихъ, то сполна выражаемыхъ слогами, то стягиваемыхъ въ текстѣ по два на одинъ слогъ. Между главнымъ и второстепеннымъ удареніемъ не можетъ быть больше трехъ слоговъ, и меньше одного, а между двумя главными можетъ быть не больше семи и не меньше трехъ слоговъ.

Такова общая схема народно-устнаго стиха во всей устной словесности: она одинакова въ общемъ и въ лирической, и въ плясовой пѣснѣ, и въ былинѣ; разница будетъ наблюдаться, главнымъ образомъ, только въ количествѣ слоговъ, входящихъ въ стихъ; въ былинѣ, напримѣръ, число слоговъ рѣдко доходитъ до 15, даже до 14, но также далеко не часто встрѣчается форма и въ 8 слоговъ.

Изобразительныя средства. Слѣдующая очень характерная черта устно-народной поэзіи, какъ мы уже указывали, это тѣ, такъ называемыя «изобразительныя» средства, которыми пользуется устная поэзія (въ бо̀льшей мѣрѣ, разумѣется, стихотворная, въ меньшей—нестихотворная) для достиженія образности, красоты формы и выпуклости содержанія своихъ произведеній. Эти «изобразительныя» средства рѣшительно отличаютъ устное произведеніе отъ нашего книжно-литературнаго: у устной поэзіи эти средства свои въ огромномъ большинствѣ случаевъ сравнительно съ книжной поэзіей, своеобразно употребляются ею. Эти «изобразительныя» средства, по времени своего происхожденія въ значительной степени должны быть сочтены весьма древними въ приложеніи къ русской устной поэзіи; они въ большинствѣ случаевъ гораздо старше самыхъ этихъ произведеній въ томъ ихъ видѣ, какъ эти произведенія дошли до насъ, т.-е., они сами—эти изобразительныя средства—традиціонны для нашей устной, теперь намъ доступной, поэзіи, унаслѣдованы ею отъ поры предшествующей, весьма возможно, доисторической поры нашей поэзіи. Объ этомъ мы можемъ заключить потому, что большинство изъ нихъ не составляютъ исключительной особенности лишь русской устной поэзіи, а являются общимъ достояніемъ устной поэзіи славянскаго племени, т.-е., они уже существовали, по крайней мѣрѣ, еще въ эпоху распаденія общеславянской семьи па отдѣльныя группы, можетъ быть, и въ общеславянскую эпоху; а нѣкоторыя изъ этихъ «изобразительныхъ» средствъ восходятъ и къ эпохѣ гораздо болѣе архаичной: они совпадаютъ съ подобными же, находимыми въ древне-греческой (у Гомера) и даже древне-индійской устной поэзіи (Вѣды), что̀ указываетъ на эпоху, можетъ быть, и общеиндо-европейскую. Такимъ образомъ, нѣкоторая часть русской устной поэтики должна быть сочтена остаткомъ глубокой древности и въ рус-

ской поэзіи историческаго времени представляетъ результатъ закона переживанія. Если мы обратимся къ указаніямъ русской древней письменности (вообще не щедрой на устно-поэтическіе элементы), то и тамъ (напр., въ «Словѣ о полку Игоревѣ», воинскихъ повѣстяхъ старой литературы) найдемъ образцы большинства изобразительныхъ средствъ, употребительныхъ въ дошедшей до насъ въ устномъ видѣ поэзіи: это подтверждаетъ и традиціонность, и древность ихъ въ самой устной поэзіи.

Что касается характера и степени пользованія изобразительными средствами въ устной поэзіи, то, если можно говорить объ ихъ общераспространенности во всѣхъ видахъ этой поэзіи, всеже нельзя не замѣтить нѣкоторой разницы между отдѣльными видами въ этомъ отношеніи: 1) въ отдѣльныхъ видахъ будутъ свои излюбленныя средства, напр.: одни будутъ употребляться преимущественно въ былинѣ, другія преимущественно въ лирической или обрядовой пѣснѣ; 2) одни виды устныхъ произведеній будутъ пользоваться ими обильнѣе, другіе—скупѣе: такая разница замѣчается, напр., между той же былиной и сказкой, или былиной и лирической пѣсней; эта разница иногда можетъ указывать и на хронологическую разницу произведеній, напр., между былиной и «исторической» пѣсней; 3) степень пользованія поэтическими изобразительными средствами, какъ показываютъ сравнительныя наблюденія надъ отдѣльными произведеніями въ различной передачѣ ихъ, зависитъ также отъ степени памятливости передающаго (моментъ историческій, степень сохранности), а также отъ его талантливости и поэтическаго чутья; старая запись былины, лучшей сохранности, стройнѣе передаетъ и складнѣе пользуется этими средствами, чѣмъ запись новая и худшаго пѣвца [1]). Всѣ эти наблюденія, несомнѣнно, важны для изучающаго исторію того или другого народно-поэтическаго произведенія или ихъ круга.

Не входя въ подробности, остановимся на этихъ изобразительныхъ средствахъ, выбравши изъ нихъ наиболѣе часто употребляемыя и въ то же время характерныя [2]). Эти изобразительныя средства играютъ,

---

[1]) Такъ, обладающій хорошей памятью, отчетливо помнящій содержаніе пьесы, обладающій художественнымъ чутьемъ пѣвецъ увѣренно, съ мѣрой и стройно пользуется изобразительными средствами; плохой пѣвецъ, лучше всего помнящій общія, часто повторяющіяся мѣста, воспроизводя пѣсню, детали содержанія коей уже вывѣтрились изъ его памяти, злоупотребляетъ изобразительными средствами, нагромождая ихъ, въ ущербъ цѣльности впечатлѣнія отъ пѣсни, другъ на друга, какъ бы возмѣщая недочеты содержанія внѣшнимъ раздуваніемъ объема пѣсни.

[2]) Изъ работъ по устно-народной поэтикѣ особенно можно рекомендовать работу Фр. Миклошича „Изобразительныя средства славянскаго эпоса" (русскій пере-

какъ увидимъ ниже, важную роль въ самомъ процессѣ творчества, созданія и сохраненіи устнаго произведенія.

Къ числу ихъ относятся слѣдующія:

I. Подъ терминомъ замедленія мы разумѣемъ такое изложеніе, которое задерживаетъ разсказъ и вниманіе слушателя на отдѣльныхъ, часто второстепенныхъ деталяхъ его, заставляя этимъ слушателя внимательно слѣдить за медленнымъ развитіемъ дѣйствія или картины и этимъ удлиняя время эстетическихъ воспріятій, и въ то же время подчеркивая цѣльность изображенія. Такую «медлительность» можно видѣть, напр., въ былинѣ объ Ильѣ Муромцѣ, записанной для П. В. Кирѣевскаго въ Симбирской губ.:

Выѣзжалъ Илья на высокъ бугоръ,
На высокъ бугоръ на раскатистый.
Разставлялъ шатеръ—полы бѣлыя;
Разставя шатеръ, сталъ огонь сѣчи;
Высѣча огонь, сталъ раскладывать;
Разложа огонь, сталъ кашу варить;
Сваря кашу, расхлебывать;
Расхлебавъ кашу, сталъ почивъ держать.

Или (пѣсня, записанная въ Москвѣ тѣмъ же Кирѣевскимъ) дѣвица отравляетъ молодца-полюбовника:

Я пойду ли, красна дѣвица,
Въ чисто поле погулять,
Злое коренье набирать.
Я, набравши злое коренье,
Бѣло-на-бѣло вымою,
Я, вымывши коренье,
Сухо-на-сухо высушу.
Я, высушивши злое коренье,
Мелко-на-мелко смелю.
Я, смелевши злое коренье,
Сладкаго меду наварю.
Наваривши сладкаго меду,
Дружка въ гости позову.
Я, позвавши дружка въ гости,
На кроватку посажу.[1]
Посадивши на кроватку,
Стаканъ меду поднесу.
Поднесевши стаканъ меду,
Любезнаго спрошу:
„Ты скажи, скажи, любезной,
Что на сердцѣ у тебя?"

водъ А. Е. Грузинскаго въ Древностяхъ, трудахъ Славянской комиссіи Моск. Археол. Общ., т. I, 1889). Сюда же относятся нѣкоторыя работы А. Н. Веселовскаго, А. А. Потебни и др.

II. Повторенiе вызывается чаще всего тѣмъ, что то или иное представленiе не можетъ сразу исчезнуть въ сознанiи разсказчика или пѣвца; этимъ прiемомъ достигается также плавность, текучесть разсказа, а вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ всякое повторенiе, оно облегчаетъ и слушателю возможность нетюропливо слѣдить за разсказомъ, запомнить лучше художественный образъ.

Русская поэзiя особенно, повидимому, любитъ этотъ прiемъ, достигая въ этомъ отношенiи большого разнообразiя формъ: это или простое повторенiе одного и того же слова или созвучныхъ одинаковыхъ по смыслу: чуднымъ, чуднымъ чудно; дивнымъ, дивнымъ дивно; прямоѣзжая дороженька, прямоѣзжая; горе горькое, горе горькое моя руса коса; загоралися, загоралися дубовы дрова и т. п.; или же (особенно часто) повторенiе предлога, каковы: во славномъ городѣ во Кiевѣ, кто бы намъ сказалъ про старое, про старое, про бывалое, про того ли Илью, про Муромца? Или (также часто) повторенiе одного и того же слова или оборота въ двухъ смежныхъ стихахъ, конечнаго слова предшествующаго въ началѣ слѣдующаго:

Того ли то соболя заморскаго,
Заморскаго соболя ушистаго,
Ушистаго соболя пушистаго.

Иногда дается повторенiе черезъ отрицанiе противоположнаго: прямой дорожкой, не окольной; (показалось) за велику досаду, не за малую; холостъ, не женатъ.

Сюда же слѣдуетъ отнести постановку рядомъ выраженiй синонимическихъ: безъ бою, безъ драки, кровопролитья; со горя—со кручинушки, имѣнiе—богачество, горе—печаль, въ тѣ поры-времени и т. п.; иногда это два слова, одно туземное, свое, другое, заимствованное или мѣстное: таланъ—участь, баса—краса, красенъ—купавъ и т. п., или одно понятiе родовое, другое видовое: щука—рыба, птица—синица, ковыль—трава. Въ болѣе развитомъ видѣ простое повторенiе даетъ повторенiе цѣлыхъ мѣстъ, эпизодовъ разсказа, особенно эффектныхъ или понравившихся; таковы, напр., эпизоды въ былинѣ о боѣ Добрыни и Дуная (описанiе шатра Дунаева, прiѣзда Добрыни), Добрынѣ и Алешѣ (наказъ Добрыни женѣ и послѣдствiя этого); какъ на особенно яркiй примѣръ повторенiя, можно указать на эпизодъ борьбы Потыка со змѣей подземельной (Гильферд., № 52). Наконецъ, сюда же, понятно, надо отнести сочетанiе двухъ словъ различныхъ грамматическихъ категорiй, связанныхъ по корню: мостъ мостить, золотомъ золотить, зиму зимовать, полонъ полонить, кличъ кликать, слыхомъ не слыхать и видомъ не видать, дождь дожжитъ и т. п.

III. Эпитеты постоянные. «Эпитетъ—одностороннее опредѣленіе слова, либо подновляющее его нарицательное значеніе, либо усиливающее, подчеркивающее какое-нибудь характерное, выдающееся качество предмета» (А. Веселовскій); этимъ свойствомъ эпитетъ отличается отъ простого «опредѣленія» (въ смыслѣ синтактическаго термина). Извѣстно, что эпитетъ, какъ таковой, не есть исключительное достояніе поэтической рѣчи; но здѣсь онъ примѣняется чаще и по характеру рельефнѣе, чѣмъ въ прозаической рѣчи, соотвѣтственно особому ея тону въ поэзіи, стремящейся, прежде всего, къ изобразительности, образности, колоритности. Но исключительную особенность рѣчи устно-поэтической составляетъ эпитетъ постоянный; онъ вызывается, главнымъ образомъ, привычной ассоціаціей идей и представленій: упоминаніе одного понятія всякій разъ вызываетъ потребность привычнаго его опредѣленія другимъ, отвѣчающимъ признаку, представляющемуся существеннымъ или характеризующему это понятіе (въ поэзіи—образъ) по отношенію къ практической цѣли и идеальному совершенству; при мысли о саблѣ возникаетъ всякій разъ мысль объ ея остротѣ: «сабля вострая»; при воспоминаніи о теремѣ—мысль объ его архитектурной красотѣ: «теремъ златоверхій», при мысли о богатырѣ—о его силѣ: «сильный, могучій богатырь»; поэтому же гусь, волкъ—сѣрый, матушка—родимая и т. д. Это постоянство связи представленія о предметѣ съ его признакомъ и даетъ въ результатѣ постоянный эпитетъ, который такъ старается со словомъ, что перестаетъ зависѣть отъ положенія слова, къ которому онъ приросъ, въ каждомъ данномъ случаѣ; отсюда-то—на первый взглядъ странное—сочетаніе слова съ постояннымъ эпитетомъ, которое встрѣчается въ поэзіи: если въ устахъ Владимира его врагъ, царь Калинъ, является съ эпитетомъ «собака», какъ царь невѣрный, язычникъ, то и этотъ Калинъ-царь можетъ говорить о себѣ: «я собака Калинъ-царь». Называя татаръ «погаными», всякій разъ, когда о нихъ идетъ рѣчь, пѣвецъ былины можетъ и ихъ царя заставить обратиться къ своимъ соратникамъ, давая имъ порученіе, со словами: «Ай же ты, татарище поганое», и т. п. Въ большинствѣ же случаевъ эпитетъ постоянный, конечно, не будетъ стоять въ такомъ противорѣчіи съ положеніемъ характеризуемаго имъ понятія, лишь способствуя болѣе живому, яркому представленію образа.

Отмѣченная привычка къ ассоціированію опредѣленнаго признака или признаковъ съ тѣмъ или другимъ понятіемъ и образомъ, ведетъ къ представленію о традиціонности и ограниченности произвола въ употребленіи эпитетовъ; поэтому можно говорить объ эпитетахъ, общихъ всѣмъ видамъ устной поэзіи (напр., матушка родимая, красна дѣвица, сине море, чисто поле, сыра земля), можно говорить и о такихъ, ко-

торые излюблены особенно тѣмъ или инымъ видомъ этихъ произведенiй (что стоитъ, конечно, въ связи съ общимъ характеромъ отдѣльнаго произведенiя); напр., эпитеты воинскаго характера (могучiй, мурзамецкое копье и т. п.) рѣдко встрѣчаются въ лирической или бытовой пѣснѣ; во всякомъ случаѣ строгаго соотвѣтствiя между характеромъ произведенiя и подборомъ эпитетовъ мы не найдемъ, разница будетъ преимущественно количественная. Нельзя сказать также и того, чтобы опредѣленный эпитетъ соединялся съ однимъ опредѣленнымъ словомъ, или обратно, чтобы опредѣленный образъ характеризовался всегда только опредѣленнымъ эпитетомъ: «бѣлокаменнымъ» можетъ быть и теремъ, и стѣна, и Москва, «сырымъ»—и дубъ, и земля и т. д., а также: теремъ можетъ быть и «бѣлокаменнымъ», и «златоверхимъ», солнце и «ясное», и «красное», стрѣла и «каленой», и «кленовой». Эта нѣкоторая свобода въ примѣненiи эпитета ведетъ къ употребленiю нѣсколькихъ за разъ къ одному образу: бѣлъ, горючъ (камень), удалый, добрый (молодецъ), сыръ, кряковистый (дубъ) и т. п.

IV. Сравненiе. Подъ этимъ названiемъ имѣется въ виду не только и не столько простое уподобленiе, какъ средство поясненiя, употребительное и въ обычной, прозаической рѣчи, сколько правильно и выдержанное, и построенное, иногда очень развитое и сложное сравненiе двухъ образовъ; такое именно сравненiе слѣдуетъ признать характернымъ изобразительнымъ средствомъ устной поэзiи; оно является однимъ изъ часто употребительныхъ средствъ для создателя или исполнителя устнаго произведенiя, чтобы задержать вниманiе, усилить эстетическое впечатлѣнiе нужнаго образа, сцены, эпизода. Не избѣгая простыхъ уподобленiй (ясны очи, какъ у сокола; черны брови, какъ у соболя; конь бѣжитъ, какъ соколъ летитъ), народная поэзiя охотно разрабатываетъ именно эти сложныя сравненiя, подчиняя ихъ часто опредѣленной формѣ; такъ, сравненiе:

Въ чистомъ полѣ при долинѣ вырастало древо,
Вырастало древо—березушка бѣла;
Что на этой на березѣ сидѣлъ сизъ голубочекъ:
Онъ не сизенькiй голубочекъ,—удалой молодчикъ,
Передъ молодцемъ дѣвченка стоитъ, слезно плачетъ,

представляетъ опредѣленную уже схему: сообщаются нѣкоторыя данныя о какомъ-либо предметѣ, или явленiи, и во второй части сравненiя указывается, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло не съ указаннымъ предметомъ или явленiемъ, а съ другимъ (третья часть); т.-е. первой частью сравненiя положительно, второй—отрицательно и характеризуется этотъ другой предметъ или явленiе.

Этотъ типъ сравненія, однако, не принадлежитъ къ числу распространенныхъ въ русской поэзіи; но зато двухчленное сравненіе (представляющее упрощеніе трехчленнаго путемъ опущенія первой части, «положительной»), представляется особенно излюбленнымъ въ ней: это, такимъ образомъ, сравненіе черезъ отрицаніе, каковы, напр.:

Не громъ гремитъ,
Не стукъ стучитъ:
Говоритъ Ильюшка свому батюшкѣ.

Или:

Не сырой дубъ къ землѣ клонится,
Не бумажные листочки разстилаются:
Разстилается сынъ предъ батюшкомъ,
Онъ и проситъ себѣ благословеньица.

Иногда (впрочемъ, рѣже) это сравненіе отливается въ форму вопросительно-отрицательную въ первой части, оставаясь двухчленнымъ (т.-е. опуская отрицательный отвѣтъ), напр.:

Ай, не волна ли такъ на морѣ расходилася?
Ай, не сине море всколыбалося?
Ай, взволновался да вѣдь Калинъ царь.

Или:

Не лѣса то ли преклоняются?
Не вода ли проливается
У батюшкина у широкаго двора,
У матушкиной у новой горенки?
Не гуси ли заговорили?
Заговорили добры люди,
Сватушки пріѣзжіе,
А мои то ли разлучники!

Форма нестихотворная. Что касается нестихотворной формы устныхъ поэтическихъ произведеній, то о ней говорить подробно нѣтъ надобности: она будетъ, естественно, болѣе близка къ разговорной, обыденной рѣчи, нежели стихотворная, но совпадать съ нею, конечно, не будетъ, преслѣдуя цѣли эстетическія: и нестихотворная рѣчь устнаго произведенія пользуется изобразительными средствами (правда, въ болѣе скромныхъ размѣрахъ, чѣмъ стихотворная); а сверхъ того, часто (особенно въ сказкѣ, заговорѣ, пословицѣ) она становится ритмической, по временамъ уподобляясь стихотворной рѣчи, т.-е., даетъ то, что мы называемъ «мѣрной» прозой. Эта связь на почвѣ поэтики между нестихотворной и стихотворной формой произведеній находитъ себѣ подтвержденіе въ общности сюжетовъ въ томъ и другомъ видѣ произведеній творчества устно-народнаго: былина, «разлагаясь» (т.-е. утрачивая

стихотворную форму), превращается въ сказку, сказка (точнѣе—сюжетъ ея), обрабатываемая въ стихотворную форму, превращается въ былину.

Языкъ устной поэзіи. Наконецъ, что касается языка устно-народныхъ произведеній (морфологіи, отчасти фонетики), то какъ въ видѣ творчества традиціонномъ, скованномъ опредѣленной формой рѣчи, онъ, естественно, будетъ въ общемъ отличаться отъ языка обыденной рѣчи носителей этихъ произведеній: если языкъ этихъ произведеній воспринимаетъ діалектическія особенности мѣстности, гдѣ поется или сказывается то или иное произведеніе, то рядомъ съ этимъ въ нихъ мы найдемъ (особенно въ стихотворныхъ произведеніяхъ) рядъ особенностей сравнительно съ живой рѣчью: это будутъ отчасти архаизмы языка, иногда восходящія ко времени созданія произведенія, иногда измѣненія, обусловленныя потребностями формы произведенія. Нагляднѣе это можно представить себѣ, взявши самый развитой видъ творчества—былины—и присмотрѣвшись къ языку ихъ сравнительно съ нашей литературной рѣчью [1]): въ этихъ особенностяхъ былинной рѣчи заключена часть исторіи самого былиннаго текста болѣе существенная: онѣ показываютъ, что былина, опустившаяся въ слои населенія простонародные, такъ сказать, «обнароднѣла», отразила въ своемъ текстѣ ту новую для нея среду, въ которой ей суждено доживать свой долгій подчасъ вѣкъ; одѣтая въ простонародную форму рѣчи, она до нѣкоторой степени измѣнила свой прежній и первоначальный характеръ, ставши выраженіемъ художественныхъ интересовъ опредѣленнаго въ культурномъ отношеніи круга, теперь иного, нежели въ эпоху своего созданія и прошлой жизни. Такія черты ея облика вмѣстѣ съ архаизмами даютъ ей опредѣленную окраску, колоритъ, а потому должны были быть отмѣчены въ интересахъ правильнаго представленія о былинѣ и въ ея современномъ обликѣ. Кромѣ того, сохраненіе такихъ чертъ представляетъ для слушателя и то, что мы назвали бы «букетомъ» произведенія. Для того, чтобы получить болѣе или менѣе отчетливое представленіе объ этихъ особенностяхъ былинной рѣчи съ ея формальной стороны, достаточно ограничиться указаніемъ на наиболѣе часто встрѣчающіяся категоріи случаевъ отклоненій ея отъ нашей литературной и живой рѣчи. Такого рода случаи, какъ можно было видѣть изъ вышесказаннаго, будутъ или архаизмами, или формами, образованными, по аналогіи съ

---

[1]) Этотъ небольшой экскурсъ о былинной рѣчи будетъ имѣть и общее значеніе для знакомства съ особенностями устно-народной поэтической рѣчи, служа дополненіемъ къ тому, что мы назвали „устно-народной поэтикой“: до нѣкоторой степени тѣ же черты встрѣтимъ и въ другихъ видахъ устныхъ произведеній. Область діалектологіи при этомъ, разумѣется, должна быть оставлена въ сторонѣ: она характеризовать будетъ данную з а п и с ь, а не произведеніе.

ними, или же чертами народной (нелитературной) рѣчи, рѣже чертами мѣстными, но органически сросшимися съ былиннымъ стихомъ, или же, наконецъ, такими, которыя, не подходя подъ указанныя категоріи, объясняться могутъ исключительно потребностями ритмическаго строя музыкально-стихотворной строки. Изъ всѣхъ этихъ чертъ, выбирая наиболѣе характерныя и частыя, отмѣтимъ слѣдующія.

А) Особенно частое употребленіе такъ называемаго члена (именно такъ называемаго постпозиціоннаго), почти исчезнувшаго въ литературной, живой нашей рѣчи: «отъ», «то», «та» и даже «тотъ» въ различныхъ падежахъ, напримѣръ: «шатеръ-то», «день-то», «конь-то», «курева-та», «мясна-та гора», «чарочку-ту», «березу-ту», «доску-ту», «тому-то», «слова-та» (род. пад.), «глазища-та» (именител. множ. ч.), «мамокъ-тыхъ», «носище-то», «ярлыки-ти», «якори-ти», «торока-ты», «мети-ты»; «подкопы-ты», «большъ-отъ», «хвостъ-отъ», «старый-отъ», «русской-отъ», «мужикъ-отъ», «король-отъ» и т. п.; «Добрынюшка-тотъ», «Никитичъ-тотъ». Весьма возможно, что такое употребленіе члена поддерживается въ значительной степени музыкально-ритмическими потребностями стиха и должно быть оцѣниваемо такъ же, какъ употребленіе тѣхъ многочисленныхъ частицъ, которыя должны помогать выдерживать въ стихѣ нужное для его строя количество слоговъ, каковы: «то», часто присоединяемое къ тому или иному слову безъ видимой въ томъ необходимости, осложненное «тко» (или «тка»), «ко» («ка») въ видѣ «тка-ва», «ка-ва»: «мнѣ-ка-ва», «туда-ка-ва»; или же: «ай», «аи», «что», «же», «какъ», «да» и др., чаще помѣщаемыя въ началѣ стиха, но также и въ срединѣ его. Словомъ, и архаическій для русской рѣчи членъ играетъ, вѣроятно, въ данныхъ случаяхъ служебную роль по отношенію къ ритму.

Б) Къ числу такихъ же ритмическо-музыкальныхъ средствъ слѣдуетъ относить, повидимому, также случаи замѣны «краткаго» «й» соотвѣтствующими «полными» гласными, равно какъ и обратный случай— «сокращенія», пропуска обычной гласной; сюда относятся такіе примѣры: а) «старыи», «старые», «старыя» (казакъ), «пречестные» (монастырь), «крикъ богатырское», «топотъ лошадиное», «родитель рожденыя», вм. «старый», «пречестный», «богатырской», «лошадиной», «рожденый» и т. п., «есте» вм. «есть» и т. д.; б) «мня», «зъ», «ни» вм. «меня», «изъ», «они»; «видли», «ще», «рукми», «мойму», «твойму», вм.—«видѣли», «еще», «руками», «моему», «твоему».

В) Довольно часто встрѣчаемъ мы въ текстахъ старинъ формы, напоминающія древнія и, быть можетъ, дѣйствительно восходящія къ нимъ иногда, въ большинствѣ же случаевъ, вѣроятно, образованныя лишь по аналогіи, и то едва ли всегда правильной, съ ними, хотя въ числѣ ихъ могутъ быть и дѣйствительные архаизмы, свойственные,

какъ мы знаемъ, народному говору, преимущественно сѣверному, и поддержанные въ даннномъ случаѣ опять-таки потребностями былинной формы: такъ, здѣсь находимъ, напримѣръ, «ти», «тя», «ся», «ю», при обычныхъ: «тебѣ», «тебя», «себя», «ее», «государыни»—«государыня», «съ князи и бояры», «поклоны» (творит. множ.), но вмѣстѣ съ тѣмъ также: «съ няньки-мамками»; особенно обильны также формы съ двойной гласной вмѣсто обычной одной въ склоненіи прилагательныхъ, частью аналогичныя стариннымъ, каковы: «добрыихъ», «шелковыихъ», «булатніимъ»; но тутъ же находимъ: «въ погребѣ холодноемъ», «туромъ златорогіемъ», «голосомъ робячьіемъ», «изъ палатки полотняноей», «ко силушкѣ татарскоей», «гласомъ громкіемъ» (также—громкіимъ), «стольнеемъ», а также: «шубу собольюю», «церкву божьюю», «третьеей» и т. п.—формы, показывающія, что здѣсь мы имѣемъ передъ собою не архаизмы, а образованія иного характера, можетъ быть, вызванныя причинами опять-таки ритмическаго свойства; объ этомъ заставляетъ думать такая форма, какъ «зычнымъ» (а не «зычныимъ», какъ бы мы ожидали), и такія «удлиненія», какъ: «долгополыій», «любимыій», «платья каличьіи» и др. Вѣроятно, въ связи съ тѣми же причинами надо объяснять употребленіе и другихъ формъ, отчасти совпадающихъ со старо-русскими, каковы: «браги прѣсныя», «конюшенки стоялыя», «силы невѣрныя», «купцы торговыи», и рядомъ съ ними: «пещеры змѣиноя», «сабли вострыи», «уста сахарніи» (изъ—«сахарны»), «платья скоморовскія (вм. «скоморовски»), а также: «ко грязи черныи», «ко третія заводи», «въ землѣ сарацынскіи», «у лѣвыи стремены», «на бесѣдѣ на почестныя», «ко стѣнкѣ кирпичныя», «каликѣ перехожіи» и т. д.

Г) Къ числу такихъ же, если не архаичныхъ, то «архаизирующихъ» формъ надо отнести своеобразныя образованія, напоминающія по облику формы, давно уже отсутствующія въ русскомъ языкѣ, двойственнаго числа; ихъ мы находимъ почти исключительно въ творит. пад. прилагательныхъ: «пра́вильныма крыламн», «сабельками вострыма», «войсками великима», «русыма кудрями», «съ има» («съ ними»), рѣдко: «тѣма петлями».

Д) Но несомнѣнно къ числу архаизмовъ былинной рѣчи, раздѣляемыхъ, впрочемъ, и народной, особенно сѣверной, слѣдуетъ отнести весьма часто встрѣчающіяся прилагательныя въ краткой (именной) формѣ въ качествѣ такъ называемаго опредѣленія: «ретиво сердце», «Владимиру кіевску», «сѣра гуся», «причаленку серебряну», «бѣлы руки» и т. п. Сюда же относятся и отдѣльныя старинныя формы и иного рода, каковы: «скоряе», «скоря», «видняе», не чуждыя и литературной нашей рѣчи XVIII столѣтія, а также—окончанія прилагательныхъ на «ой», «ого» (вм. литературнаго—«ый», «аго»), также употребительныя еще въ началѣ XIX столѣтія и въ литературной рѣчи.

Е) Есть въ былинной рѣчи, кромѣ того, много своеобразныхъ чертъ, представляющихъ или типичныя черты «обнароднившейся» былины, или же черты народнаго сѣвернаго говора, среди котораго былина прожила долгое время, и гдѣ она до сихъ поръ уцѣлѣла. Къ числу такихъ относимъ: а) многочисленные случаи смѣшенія формъ склоненія разныхъ типовъ, формы въ родѣ: «гвоздовъ» или «гводевъ», «богатыревъ», «отцей», «купцей», «дѣвицей», «небесей», «году» (при правильной ф.—года), «смету» (вмѣсто «сметы»), обычное въ народной рѣчи «церква»; б) смѣшеніе основъ именъ на твердую и на мягкую: «дородный», «дородной» и «дородній», «дородней», «булатная» и «булатняя», «заутреня» и «заутрена», «стольно-кіевской» и «стольне-кіевской»; в) переходъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ именъ изъ одного рода въ другой, въ связи съ тѣмъ и измѣненіе типа склоненія ихъ: «пламень»—женск. р., «чудушка», «холма», «времечка», «стремена» (имен. ед.), «кипарисъ» (древа), «головище» и под.; но это не исключаетъ употребленія тѣхъ же словъ и въ ихъ обычной формѣ; иныя слова, чаще имена собственныя, идутъ по двумъ склоненіямъ, имѣя формы: «Чурила» и «Чурилю», «Михайла» и «Михайло», «батюшка» и «батюшко» и т. д. Ко второй категоріи—къ чертамъ мѣстно-народнымъ—отнесемъ: а) обычное для сѣверныхъ говоровъ стяженіе глагольныхъ формъ настоящаго времени: «казыватъ» («казываетъ»), «похвасташь» (аешь), «поиграмъ» (аемъ), «знамъ», «знамы» (аемъ) и т. д.; б) частое (и не только въ сѣверныхъ говорахъ) опущеніе глагольнаго окончанія третьяго лица ед. и множ. числа: «е» («есть», и даже: «есмь»), «ѣде», «сиди», «летае», «ходя», «говоря»...

Ж) Изъ синтактическихъ особенностей былиннаго текста заслуживаютъ упоминанія: а) старинное употребленіе именительнаго падежа отъ существительныхъ женскаго рода вмѣсто винительнаго при глаголахъ дѣйствительныхъ: «класть стрѣлочка каленая», «побить моя сила великая», «голова срубить»; б) старинный же оборотъ такъ называемаго «безличнаго» предложенія при страдат. формѣ глагола:

Да конями съ Чуриломъ помѣняносі,
Да цвѣтнымъ-то платьемъ побратаносі,

Ими же:

Да на всѣхъ городахъ много бывано,
Да князя Владимира не видано,

—оборотъ, до сихъ поръ употребительный въ живой малорусской рѣчи; в) также старинное употребленіе союза «а» не только въ смыслѣ противительнаго, но и соединительнаго, подобно союзу «и»; образцы этого можно найти чуть не въ каждой былинѣ. Отмѣтимъ еще отдѣльныхъ нѣсколько синтактическихъ особенностей, не употребительныхъ

въ нашей литературной рѣчи: вино пахнетъ «на затохоль», калачи «на хвою сосновую»; сабли «выщербѣли на латы», «подлѣ сине море», «мимо церковь», «со ременчатъ стулъ», «на могучіе богатыри»; «народъ пріуслухались» (согласованіе по смыслу).

3) Наконецъ, въ языкѣ былинъ и устныхъ произведеній вообще, стоящихъ, какъ мы знаемъ, въ связи съ книжной литературой стараго и новаго времени, придется отмѣчать и вліяніе стараго и новаго литературнаго языка; это вліяніе скажется главнымъ образомъ въ лексикологіи устнаго произведенія и будетъ служить указаніемъ или на среду, гдѣ данное произведеніе жило и живетъ, или на среду и степень развитія создателя произведенія. Этимъ объясняются тѣ «славянизмы», которые мы встрѣчаемъ въ устныхъ произведеніяхъ, напримѣръ: сѣдалище (стулъ, скамья), руцѣ (руки), старецъ (старикъ, старчище), питіе (питье), мѣсто пристойное, убоище и др. (въ былинѣ объ исцѣленіи Ильи), а также модернизмы, напримѣръ: балконъ, калоши, киверъ и т. д. (въ былинѣ о Василіи пьяницѣ).

Вотъ, что можно сказать о внѣшней, «формальной» сторонѣ нашихъ устныхъ произведеній въ общемъ; спеціальныя особенности формы, свойственныя отдѣльнымъ видамъ устнаго творчества, слѣдуетъ разсматривать отдѣльно при ознакомленіи съ этими видами.

Классификація устной поэзіи. Слѣдующій вопросъ, который долженъ насъ болѣе или менѣе познакомить съ народной поэзіей во всемъ ея объемѣ, это—вопросъ объ условіяхъ, въ которыхъ существуетъ народная поэзія, или правильнѣе, въ которыхъ она существовала, создавалась и развивалась въ прежнее и недавнее время. Тутъ естественнымъ является еще предварительный вопросъ: въ какомъ видѣ, какое употребленіе находила себѣ народная поэзія въ прежнее время и въ настоящее? Хранимая теперь въ громадномъ большинствѣ случаевъ въ средѣ низшихъ въ культурномъ отношеніи слоевъ русскаго племени, словесность устная представляетъ большое разнообразіе, какъ по своимъ формамъ и характеру, такъ и по содержанію и по отношенію къ ней среди ея носителей и слушателей. Если бы мы пожелали распредѣлить произведенія устной словесности примѣнительно къ тѣмъ рубрикамъ, на которыя мы привыкли дѣлить произведенія книжной литературы и намъ современной (т.-е. на эпическую, лирическую и драматическую), то намъ пришлось бы убѣдиться полной почти непригодности такого дѣленія примѣнительно къ устной; если это искусственное дѣленіе съ трудомъ прилагается къ нашей литературѣ, воспитанной на теоретическихъ въ значительной степени навыкахъ, то по отношенію къ устной, сложившейся внѣ этихъ навыковъ и при иныхъ своеобразныхъ условіяхъ, остающихся и до сихъ поръ существенными для самого ея сохраненія,

такое дѣленіе еще менѣе будетъ пригодно: элементы эпическій, лирическій и драматическій въ ней еще менѣе раздѣлимы другъ отъ друга, находясь, какъ и въ древнѣйшей человѣческой поэзіи, въ состояніи «синкретизма» (по терминологіи исторической поэтики); поэтому, допуская такое вошедшее въ привычку дѣленіе, мы пользуемся имъ преимущественно ради удобствъ внѣшняго порядка (напримѣръ, при изданіи), но не находимъ его вполнѣ подходящимъ по существу самого содержанія устнаго творчества.

Болѣе правильными слѣдуетъ признать другіе опыты классификаціи устно-народныхъ произведеній: по примѣненію устныхъ произведеній въ народной жизни (бытѣ вообще) и по формамъ. Съ точки зрѣнія перваго принципа, ихъ можно дѣлить на двѣ группы: 1) на произведенія, прикрѣпленныя къ обрядамъ, иначе—«обрядовую» словесность, и 2) произведенія, существующія независимо, самостоятельно. Изъ тѣхъ свидѣтельствъ русской древности, которыя мы выше приводили, ясно, что цѣлая группа произведеній народной поэзіи въ своей жизни не была самостоятельна: она тѣсно связана съ народнымъ бытомъ и въ частности съ отдѣльными проявленіями этого быта; въ этихъ свидѣтельствахъ рядомъ съ упоминаніемъ о «скверныхъ» «бѣсовскихъ» пѣсняхъ почти постоянно мы видимъ упоминаніе о какихъ-то обрядахъ, которые выражаются въ пляскѣ, скаканіи и т. д.; иногда это какія-то дѣйствія, которыя считаются языческими, напр., пѣніе на «жальникахъ» (могилахъ). Эти свидѣтельства о томъ, что пѣсня была (не всегда, конечно) связана съ обрядомъ, дѣйствіемъ, находятъ себѣ подтвержденіе и въ современномъ намъ состояніи цѣлыхъ группъ народныхъ пѣсенъ. До настоящаго времени значительная часть устной народной поэзіи, преимущественно лирической, тѣсно связана съ обрядами, нѣкоторыя пѣсни только и встрѣчаются въ связи съ обрядомъ; онѣ немыслимы будутъ, не понятны безъ обряда: такая пѣсня или вытекаетъ изъ обряда, иллюстрируя своими словами этотъ обрядъ, или же обрядъ представляетъ воспроизведеніе того, о чемъ поется въ пѣснѣ; напримѣръ, свадебныя пѣсни: здѣсь причитанія невѣсты, свахи, тѣ пѣсни, которыми сопровождается та или другая частъ обряда (когда молодыхъ вводятъ въ новую избу, когда ихъ сажаютъ за столъ, когда надѣваютъ бабью повязку вмѣсто дѣвичьей, расплетаются косы и т. д.), безъ самого обряда не будутъ имѣть смысла; въ пѣснѣ «игровой», «хороводной» самый хороводъ есть только драматизація (изображеніе въ дѣйствіи) того, что разсказывается въ пѣснѣ [1]). Такимъ образомъ, несомнѣнно, что извѣстная доля устной

[1]) Связь между пѣсней и образомъ нагляднѣе всего можетъ быть прослѣжена въ такихъ записяхъ пѣсенъ, какъ П. В. Кирѣевскаго (Пѣсни, собранныя К—имъ, новая серія, I, М., 1911), гдѣ записанъ обрядъ вмѣстѣ съ пѣснями. Изъ „игровыхъ“ пѣ-

народной словесности тѣсно связана съ обрядомъ. Это и есть та «обрядовая» пѣсня, которая до сихъ поръ играетъ такую видную роль въ памятникахъ устной народной словесности, равно какъ и въ народномъ крестьянскомъ бытѣ. Но заключать отсюда, чтобы всѣ народныя пѣсни и въ древнее время и теперь были исключительно связаны съ обрядами, мы права не имѣемъ. Уже участіе въ исполненіи произведеній народной словесности постороннихъ лицъ, спеціально приглашаемыхъ для этого, какъ въ древности, по всей вѣроятности, приглашали скомороховъ, показываетъ, что народная пѣсня еще и въ древнее время имѣла самостоятельное значеніе, т.-е., она не служила только къ украшенію и разъясненію обряда, не была только дополненіемъ, а служила также къ удовлетворенію спеціально-эстетическихъ, художественныхъ потребностей народа. Въ громадной области, которая принадлежитъ такъ называемой эпической пѣснѣ, былина, историческая пѣсня ближайшаго отношенія къ обряду не имѣютъ. Мы знаемъ, правда, случаи, когда былина бываетъ въ связи съ обрядомъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ, что это произошло только въ болѣе позднее время, когда старыя былины попадали въ качествѣ забытаго, измѣнившагося, обезличеннаго, лишившагося въ значительной долѣ своихъ историческихъ чертъ матеріала, въ число пѣсенъ обрядовыхъ, въ свою очередь не всегда чуждыхъ элемента историческаго, вѣрнѣе, повѣствовательнаго. Затѣмъ несомнѣнно, что помимо былинъ, которыя первоначально никогда не были связаны съ обрядами и имѣютъ своихъ исполнителей, существуетъ и другой видъ народной пѣсни, которая также не связана такъ тѣсно съ обрядомъ. Если причитаніе связано съ обрядомъ надъ покойникомъ или обрядомъ на свадьбѣ, (гдѣ дѣвица прощается съ своей молодостью), то причитанія существуютъ теперь, какъ самостоятельный видъ лирическихъ или лиро-эпическихъ произведеній, просто какъ традиціонное выраженіе настроенія человѣка: настроеніе, которое лежитъ въ основѣ причитанія, является часто достаточно побудительнымъ средствомъ, чтобы дать жизнь причитанію или отдѣльному художественному лирическому произведенію; таковы плачи рекрутскіе. Затѣмъ, несомнѣнно, цѣлый рядъ лирическихъ пѣсенъ не долженъ быть обязательно связанъ съ обрядами: собравшіеся пѣвцы поютъ ихъ, какъ современную искусственную музыкальную пьесу, т.-е., изъ чисто-эстетическихъ потребностей, иногда въ свободное время, иногда за работой и т. д. Сказка, какъ мы видѣли изъ свидѣтельства «Слова о богатомъ и Лазарѣ», служить могла для той же цѣли: доставить удовольствіе отходящему ко сну. Это ясно показываетъ, что сказка

сенъ достаточно напомнить хотя бы „плетень", гдѣ подъ соотвѣтствующія слова пѣсни (Ты завѣйся, плетень) участвующіе движеніями изображаютъ тѣ изгибы, которые принимаетъ вѣтвь, когда ее вплетаютъ между кольевъ для плетня.

съ древняго времени существуетъ, какъ отдѣльное произведеніе, которое интересно своимъ содержаніемъ, независимо отъ того или другого практическаго, обрядового примѣненія. Такое назначеніе—дать интересное по содержанію повѣствованіе—сказка сохраняетъ и въ наши дни. Въ извѣстной средѣ сказку, фантастическую и бытовую, слушаютъ и разсказываютъ не только дѣти, но и взрослые: художественный вымыселъ, фантастика—потребность эстетическая, которая требуетъ удовлетворенія. Такимъ образомъ, обобщая сказанное, мы должны заключить, что всѣ памятники устной народной поэзіи, по крайней мѣрѣ, въ то время, съ какого мы начинаемъ ихъ знать и можемъ о нихъ судить, распадаются на два класса: одинъ тѣсно связанъ съ обрядами—обрядовая поэзія, другой—поэзія необрядовая. Съ другой стороны, нельзя себѣ представлять дѣло такъ, чтобы обѣ эти группы распадались такъ рѣзко, чтобы можно было сказать про всякое произведеніе, что это—обрядовая пѣсня, а это—необрядовая. Существуетъ цѣлый рядъ переливовъ между, напримѣръ, лирическими пѣснями и причитаніями, т.-е., обѣ области, обрядовой и необрядовой поэзіи, находятся въ состояніи взаимодѣйствія, и это взаимодѣйствіе должно быть уже древнимъ. На современной народной пѣснѣ, вообще на памятникахъ устной словесности, мы наблюдаемъ это взаимодѣйствіе въ менѣе строго опредѣленныхъ теперь обрядами обрядовыхъ пѣсняхъ, напримѣръ, въ пѣсняхъ «плясовыхъ», хороводныхъ (обрядъ которыхъ далеко не такъ строго опредѣленъ, какъ обрядъ свадебный, погребальный): здѣсь мы видимъ постоянно и пѣсни необрядовыя въ качествѣ обрядовыхъ. Когда идетъ игра, выбирается лирическая пѣсня, которая болѣе или менѣе соотвѣтствуетъ настроенію публики въ данный моментъ, хотя это не значитъ, что здѣсь допускается полный произволъ: выборъ все-таки дѣлается изъ болѣе или менѣе опредѣленнаго круга, напримѣръ, свадебная пѣснь рѣдко попадаетъ въ плясовыя, а былина почти совсѣмъ не попадаетъ. Самый обрядъ является такимъ же традиціонно болѣе или менѣе устойчивымъ, какъ и пѣсня; это и служитъ ограниченіемъ въ взаимодѣйствіи. Обрядъ тѣсно связанъ не только съ пѣсней или съ памятникомъ устной словесности вообще, но и съ самой жизнью. Если онъ регулируетъ жизнь въ опредѣленныхъ предѣлахъ, то онъ самъ въ то же время стоитъ въ зависимости отъ тѣхъ условій, въ которыхъ проходитъ эта жизнь; поэтому и обрядъ, несмотря на свою консервативность, подлежитъ измѣненіямъ, хотя и не столь быстрымъ, какъ условія его жизни. Мы знаемъ, что помимо такихъ обрядовъ, которые зависятъ отъ случайности, напримѣръ: погребеніе, смерть, бракъ, рожденіе человѣка, которые не повторяются въ извѣстной послѣдовательности, есть цѣлый рядъ обрядовъ, которые связаны съ опредѣленнымъ временемъ года; напримѣръ, обряды

зимніе (коляда), весенніе (русаліи), лѣтніе (купало) и т. д. Стало быть, группа обрядовъ и связанныхъ съ ними произведеній народной словесности находятся въ зависимости отъ тѣхъ, внѣ ихъ лежащихъ данныхъ, которыя повторяются въ жизни человѣка съ извѣстной послѣдовательностью. Поэтому, какъ въ обрядахъ мы знаемъ обряды «временные» «календарные», которые ежегодно повторяются, такъ и въ народной поэзіи мы встрѣчаемъ рядъ произведеній, прикрѣпленныхъ къ этимъ обрядамъ: поэтому мы получаемъ возможность говорить о весеннихъ пѣсняхъ, связанныхъ съ извѣстнымъ обрядомъ, о колядскихъ пѣсняхъ, связанныхъ съ обрядомъ коляды (святки), объ ивановскихъ (на Ивановъ день), русальныхъ (первая недѣля по пасхѣ). Это даетъ намъ право внести нѣкоторую группировку въ обрядовую пѣсню, говорить объ извѣстной устойчивости этой группировки, напримѣръ, объяснять себѣ, почему пѣсню колядскую, связанную съ зимнимъ обрядомъ, не станутъ пѣть весной, при обрядѣ русалій и т. п. Но съ другой стороны, самъ обрядъ держится до тѣхъ поръ только, пока его поддерживаетъ сама жизнь: измѣняется строй жизни (а онъ постоянно, хотя и медленно, развивается, вырабатывая новыя формы), измѣняется или уничтожается и обрядъ (напримѣръ, языческій при христіанствѣ, деревенскій при городскомъ образѣ жизни, старый при развитіи новыхъ промысловъ, грамотности). Въ такомъ случаѣ забывается или самая обрядовая пѣсня, или чаще, пѣсня остается, утративъ только свою связь съ обрядомъ, измѣнивши въ своемъ содержаніи то, что безъ обряда немыслимо, т.-е., она становится необрядовой, и такимъ образомъ переходитъ въ иную группу. Бываетъ и наоборотъ, когда отчетливое сознаніе связи обряда съ опредѣленной пѣсней слабѣетъ, въ обрядъ еще живой проникаетъ необрядовая пѣсня. Это взаимодѣйствіе имѣетъ мѣсто тѣмъ чаще тамъ, гдѣ сознательность обрядовая чувствуется слабѣе: въ средѣ дѣтей, въ средѣ населенія, въ культурномъ отношеніи болѣе значительно измѣнившагося.

Такимъ образомъ, дѣленіе устной словесности на обрядовую и необрядовую, съ одной стороны (по употребленію), и на прозаическую и стихотворную—съ другой (по формѣ), представляется наиболѣе устойчивымъ и правильнымъ. Но зато оно представляется и общимъ, можетъ быть, черезчуръ общимъ. Преимущество этого дѣленія въ томъ, что оно не колеблется въ зависимости отъ другихъ частныхъ дѣленій, почему мы его и придерживаемся. Оно останется въ силѣ, если мы будемъ различать среди произведеній устной словесности группы, напр., свадебныя, похоронныя, игровыя, святочныя пѣсни и т. д.—всѣ они покроются общимъ принципомъ обрядовыхъ; или, наоборотъ: былины, историческія пѣсни, духовные стихи, сказки и т. п.—всѣ они уло-

жатся въ необрядовыя. Такія мелкія дѣленія даютъ нѣкоторые изданные сборники произведеній народной словесности (напр., Шейна); эти дѣленія разнообразны, и каждое большею частью имѣетъ свои преимущества и недостатки; но они носятъ лишь частный, а не общій характеръ. Мы же въ данное время имѣемъ въ виду именно послѣдній, т.-е., общій характеръ устной литературы.

Процессъ творчества въ устной словесности. Послѣ этого отступленія мы можемъ обратиться къ поставленному выше вопросу: какимъ образомъ развиваются, сохраняются, зарождаются произведенія устной народной словесности, при какихъ условіяхъ эта словесность живетъ? Этотъ вопросъ является, помимо непосредственнаго интереса, необходимымъ еще потому, что въ научной литературѣ на этотъ счетъ въ разное время возникло нѣсколько мнѣній, которыя въ нѣкоторой степени пользуются авторитетомъ иногда и теперь еще. Одно изъ такихъ мнѣній, которое господствовало въ наукѣ въ эпоху романтическихъ вѣяній и до сихъ поръ еще встрѣчается [1]), какъ аксіома, стало быть, не требуетъ доказательствъ; это—представленіе о такъ называемомъ «коллективномъ» творчествѣ въ области устной литературы, откуда дѣлается и слѣдующій выводъ—о «безличности», а затѣмъ (имѣя въ виду первобытность культуры доисторическаго времени), и «безыскусственности» народнаго творчества. Это мнѣніе о коллективномъ творчествѣ формулируется, приблизительно, такимъ образомъ: народная поэзія и народная литература вообще, въ отличіе отъ нашей книжной и интеллигентной, являются безличными, т.-е., онѣ не имѣли и не имѣютъ отдѣльнаго автора того или другого произведенія; съ другой стороны, это народное произведеніе является общераспространеннымъ въ опредѣленныхъ слояхъ народа и въ опредѣленныхъ мѣстностяхъ; поэтому изслѣдователи (преимущественно, стараго типа, настроенные романтически, склонные къ идеализаціи народной массы) предполагали, что произведенія русской устно-народной словесности, являясь общенароднымъ достояніемъ, созданы самимъ «народомъ». Конечно, противъ такой осторожной общей формулировки возражать не было бы надобности. Дѣйствительно, произведенія русской литературы созданы русскимъ народомъ, потому что авторы этихъ произведеній принадлежатъ къ числу членовъ русскаго общества, какъ къ нему принадлежали и Пушкинъ, и Л. Толстой. Но, конечно, это не есть настоящій, по существу, отвѣтъ: это есть только кажущійся отвѣтъ на вопросъ о происхожденіи памятниковъ устной словесности,

---

[1]) Въ учебникахъ, гдѣ оно по кажущейся своей ясности и простотѣ считается часто наиболѣе пригоднымъ, хотя и не выдерживаетъ научной критики (напр., у Галахова).

потому что онъ указываетъ лишь на среду, гдѣ возникло произведеніе, не опредѣляя самого процесса его созданія, въ частности лишь ту среду, изъ которой вышелъ авторъ («народъ»—въ отличіе отъ отдѣльнаго его сословія или слоя, образованнаго, напр.). Естественно, при этомъ отвѣтѣ возникаетъ новый, болѣе существенный вопросъ: весь ли народъ признается созидателемъ этихъ произведеній (какъ и думаютъ представители этого мнѣнія), или должны быть признаны отдѣльныя лица, которыя создаютъ эти произведенія, которыя и становятся общенароднымъ достояніемъ (какъ мы представляемъ дѣло относительно интеллигентныхъ круговъ)? Представители романтической школы на это отвѣчаютъ: да, весь народъ есть самъ поэтъ; всѣ участвуютъ въ созданіи произведенія; но, конечно, это «коллективное» творчество нужно, по ихъ мнѣнію, представлять такъ: является изъ народа человѣкъ, болѣе способный, талантливый, нежели остальные, но цѣликомъ проникнутый воззрѣніями народа, самъ интересующійся, отлично знающій то, что интересуетъ народъ; онъ и является своего рода исполнителемъ воли, выраженіемъ мысли народа, тѣмъ механизмомъ, который беретъ на себя трудъ воспроизвести по опредѣленной, традиціонной художественной формѣ это общее достояніе народное; поэтому онъ говоритъ, поетъ то, что всѣмъ извѣстно, всѣми раздѣляется; новаго отъ себя онъ ничего не даетъ, его личнымъ вкусамъ, симпатіямъ и антипатіямъ здѣсь мѣста нѣтъ; такой пѣвецъ, или сказатель, есть своего рода эхо народной мысли, народнаго творчества во всемъ его объемѣ, его орудіе. Такимъ образомъ, объ авторѣ, какъ индивидуальной личности, творящей, въ данномъ случаѣ нѣтъ рѣчи. Такого рода процессъ творчества, по мнѣнію старой школы, основывается на первобытности культуры, наивности міросозерцанія массы, не признающей индивидуальнаго проявленія дѣятельности человѣка, на одинаковости воззрѣній и т. д. [1]). Слѣдовательно, такая характеристика народнаго творчества, его происхожденія, противополагается представителями этого направленія сознательному индивидуальному творчеству современнаго намъ поэта, почему народное творчество и называется «безыскусственнымъ», въ отличіе отъ личнаго творчества—«искусственнаго». Такое объясненіе процесса «коллективнаго» творчества возбуждаетъ, разумѣется, большія сомнѣнія. Неужели только одно воспроизведеніе того, что всѣмъ извѣстно, интересуетъ народъ? Неужели индивидуальныя свойства человѣка не играютъ никакого значенія, годны только на то, чтобы облекать въ традиціонную форму общеизвѣстное, традиціонное же содержаніе? Возможна ли вообще съ психоло-

---

[1]) Подробное изложеніе этого взгляда можно найти хотя бы въ Ист. рус. слов. Галахова (изд. 2 и сл.), стр. 1 и слѣд.

гической точки зрѣнія коллективность творчества и т. д.? Такого рода вопросы вытекаютъ изъ этого представленія старой школы и не получаютъ удовлетворительнаго отвѣта. Основной предпосылкой здѣсь является «коллективность» творчества, отъ которой зависитъ и «безличность» народнаго творчества. Но, прежде всего, коллективность творчества, въ томъ смыслѣ, какъ ее понимала старая школа, на дѣлѣ оказывается фикціей, съ психологической стороны не допустимой. Правда, есть такія произведенія въ нашей «искусственной» литературѣ, которыя созданы не однимъ, а нѣсколькими лицами; напр., если мы знаемъ сочиненія А. Н. Островскаго (главнымъ образомъ, его драматическія хроники), которыя писаны имъ въ сотрудничествѣ съ Соловьевымъ, то будетъ ли это обозначать коллективное творчество? Несомнѣнно, у каждаго изъ этихъ авторовъ, Островскаго и Соловьева, есть своя область, въ которой каждый изъ нихъ является хозяиномъ; поэтому, произведеніе ихъ является результатомъ соглашенія двухъ лицъ, работавшихъ по опредѣленному заранѣе плану. Стало быть, здѣсь все-таки коллективнаго творчества нѣтъ въ томъ смыслѣ, какъ это принимаютъ представители школы. Въ каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ есть индивидуальныя особенности; когда при общемъ трудѣ достигается соглашеніе, въ результатѣ получается цѣльное произведеніе, гдѣ, однако, индивидуальныя свойства каждаго сохранены. Такихъ случаевъ соглашенія, гдѣ бы не было этого (если только трудъ не механическій, безсознательный), мы не знаемъ, разъ произведеніе словесности есть актъ сознанія. Иначе: такъ называемое коллективное творчество, съ психологической точки зрѣнія, является, совершенно недопустимымъ, и имъ нельзя объяснять общераспространенность произведеній; и обратно: изъ распространенности произведенія выводить коллективность самого созданія произведенія. Другое дѣло, когда произведеніе, созданное однимъ человѣкомъ, встрѣчаетъ сочувствіе читателей, слушателей: здѣсь получается то, что мы называемъ популярнымъ произведеніемъ; такое произведеніе становится общимъ достояніемъ, такъ какъ его знаютъ всѣ, кто раздѣляетъ воззрѣнія создателя-автора [1]). Кромѣ того, нѣтъ такого дѣла, которое могло бы

[1]) Иначе сказать: процессъ созданія произведенія и его распространенность суть явленія разныхъ категорій, одинъ изъ другой не вытекаетъ; мы знаемъ произведенія громадной популярности, общераспространенныя, но въ то же время не созданныя въ той средѣ, гдѣ они популярны, напр., евангеліе, молитву. Видимо, на смѣшеніе этихъ двухъ категорій оказала вліяніе и мысль о самобытности устнаго произведенія — также одно изъ основныхъ положеній старой школы: русская былина создана русскимъ народомъ (это правильно) и создана самостоятельно, какъ результатъ его оригинальной мысли (это уже нуждается въ ограниченіи).

быть создано не однимъ, а нѣсколькими лицами, пришедшими въ одинъ моментъ, при одинаковыхъ условіяхъ, къ одной и той же мысли и притомъ къ одинаковымъ способамъ выраженія: кто-нибудь долженъ быть инціаторомъ: творчество, прежде всего, индивидуально. Идея коллективнаго творчества, стало быть, построена на цѣломъ рядѣ ошибокъ, искусственныхъ построеній, которыя покоятся на той извѣстной идеализаціи древняго быта, о которой приходилось говорить раньше. Поэтому, несомнѣнно, мы должны предполагать творца каждаго отдѣльнаго произведенія. Вопросъ сводится къ тому: кто были создателями устныхъ народныхъ произведеній, при полной ихъ безличности, т.-е. неизвѣстности имени автора? Народно-устное произведеніе «безлично» не потому, что у него не было автора, а потому, что мы не знаемъ автора, часто даже не имѣемъ возможности представить его себѣ конкретно, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда самое происхожденіе даннаго произведенія приходится отодвигать къ весьма отдаленной эпохѣ, напр., въ поэзіи обрядовой; самый обрядъ возникъ въ незапамятныя для насъ времена. Происхожденіе обряда, вытекающаго изъ быта, изъ древнѣйшихъ, иногда религіозныхъ, воззрѣній, для насъ въ большинствѣ случаевъ не опредѣлимо. Мы знаемъ обрядъ только съ тѣхъ поръ, когда онъ сталъ уже чѣмъ-то привычнымъ, общераспространеннымъ въ извѣстной группѣ. Несомнѣнно, этотъ обрядъ и сопровождающія его пѣсни не могутъ быть опредѣлены хронологически такъ даже приблизительно, какъ произведенія исторической эпохи. Въ отношеніи «безличности» къ устной словесности извѣстную аналогію даетъ и наша старая книжная литература: она такъ же, какъ и устная, проявляетъ мало (а иногда и вовсе не проявляетъ) интереса къ личности автора (какъ это видимъ въ нашей современной литературѣ): и цѣлыя группы древней книжной словесности для насъ также «безличны» (имена авторовъ намъ не извѣстны; тѣмъ не менѣе, мы считаемъ ихъ «личное» происхожденіе не подлежащимъ сомнѣнію: они для насъ утратили имя автора) [1]). Поэтому, и въ данномъ случаѣ на основаніи законовъ творчества, поскольку они намъ извѣстны, мы должны предполагать, что одно или нѣсколько лицъ послѣдовательно были создателями, какъ обряда въ томъ видѣ, какъ мы его знаемъ, такъ и соотвѣтствующихъ литературныхъ произведеній: когда обрядъ развивается, индивидуальное творчество привноситъ въ этотъ обрядъ новые варіанты, новыя измѣненія; въ этой уже измѣненной формѣ, и обрядъ и пѣсни доходятъ

---

[1]) Аналогію и въ этомъ отношеніи можно замѣтить и въ нашей новой книжной литературѣ; многія стихотворенія (напр., Пушкина, Шевырева и др.) стали анонимными, попавши въ широкіе круги общества, и только изслѣдованіе даетъ возможность опредѣлить ихъ авторовъ, и то не всегда.

до насъ. Что именно обрядъ развивается такимъ образомъ, а слѣдовательно, такъ развивается съ нимъ и произведеніе устной словесности, мы можемъ наблюдать на самой обрядовой пѣснѣ, которая доступна нашему наблюденію. Мы видимъ, что часто одинъ и тотъ же обрядъ сопровождается различными пѣснями, но ядромъ является рядъ опредѣленныхъ пѣсенъ, которыя имѣются всюду, гдѣ этотъ обрядъ сохраняется. Рядомъ съ этимъ ядромъ мы видимъ, какъ постепенно, параллельно измѣненіямъ самого обряда, измѣняются сопровождающія его пѣсни. Въ старшемъ свадебномъ, напр., обрядѣ—пріѣздъ дружка и поѣзжанъ жениха къ дому невѣсты—симулируется похищеніе и насильственный увозъ невѣсты (это древнѣйшій видъ брака, ср. лѣтопись: «умыкаху и воды»; бракъ похищеніемъ у дикарей); этотъ пріѣздъ сопровождается пѣснями объ увозѣ, похищеніи и соотвѣтствующими дѣйствіями (запираютъ ворота, не пускаютъ); въ обрядѣ, уже измѣнившемся въ связи съ бытомъ, мы видимъ вмѣсто этого обрядъ «выкупа», «продажи» невѣсты: одинъ изъ дружекъ предлагаетъ извѣстную цѣну, чтобы ему отперли домъ и пустили, «покупаетъ» для жениха невѣсту у ея брата черезъ сваху, при чемъ изображается «торгъ» въ лицахъ («у васъ товаръ, у насъ купецъ»), и въ сопровождающихъ обрядъ пѣсняхъ мы уже объ увозѣ не слышимъ, а поется о достоинствахъ невѣсты и жениха, о златѣ-серебрѣ (которое тутъ же уплачивается въ видѣ денегъ—мелочи). Получается варіантъ въ свадебномъ обрядѣ. Такимъ образомъ ясно, что и въ обрядовой пѣснѣ, если мы не знаемъ, кто былъ создателемъ обряда, кто былъ создателемъ первой пѣсни, то это не противорѣчитъ индивидуальному творчеству, а только говоритъ за то, что обрядъ такъ древенъ, что мы не можемъ указать ни автора, ни условій возникновенія старѣйшей, тѣснѣйшимъ образомъ связанной съ обрядомъ пѣсни, и что создался онъ въ средѣ, гдѣ личность автора не представляла интереса, почему память о ней и не сохранилась. Такимъ образомъ, идея «коллективнаго» творчества здѣсь не при чемъ. Затѣмъ, что касается пѣсни необрядовой, то здѣсь дѣло обстоитъ нѣсколько иначе, но въ общемъ мы видимъ тотъ же процессъ сложенія и развитія. Такъ какъ необрядовая пѣсня не связана такъ тѣсно съ бытовой, опредѣленной стороной жизни, съ обстановкой, въ которой она поется, какъ пѣсня обрядовая, то здѣсь, разумѣется, еще большій просторъ и для индивидуальнаго творчества. Необрядовая поэзія служитъ для удовлетворенія эстетическихъ потребностей или потребностей чувства, и здѣсь больше и легче можетъ проявиться индивидуальность автора. Дѣйствительно, несмотря на то, что и эта поэзія является для насъ уже безличной, что автора необрядоваго произведенія мы также не знаемъ, тѣмъ не менѣе въ

самомъ составѣ пѣсни или сказки мы можемъ иногда услѣдить, если не самого автора, то, во всякомъ случаѣ, черты личности автора.

Детальный историческій и текстуальный анализъ отдѣльныхъ видовъ литературныхъ произведеній необрядоваго характера показываетъ, что и эти виды народной словесности давно культивируются въ русской литературѣ отдѣльными лицами, которыя въ сущности представляются въ значительной степени такими же поэтами, такими же художниками слова, какъ и современные поэты [1]). Процессъ творчества и здѣсь, и тамъ по существу совершенно одинъ и тотъ же, только формы этого творчества иныя, иной самый способъ выраженія: не письмо, а устное слово, т.-е., авторъ устнаго произведенія созидаетъ свое произведеніе такъ же, какъ современный художникъ, въ своей головѣ, въ своей фантазіи, но не переноситъ его на бумагу, не пишетъ, а весь процессъ работы заканчиваетъ «устнымъ обликомъ». Въ виду того, что пѣсня является традиціонной по формѣ, и слагатель руководится, главнымъ образомъ, памятью, то, разумѣется, такого разнообразія, такихъ деталей при такомъ несовершенномъ средствѣ, какъ человѣческая память, произведенія эти достигнуть не могутъ, какъ это мы видимъ въ современной поэзіи. Запасъ изобразительныхъ средствъ, какъ средствъ поэтизаціи, объемъ поэтическаго матеріала у такихъ творцовъ будутъ болѣе ограничены, нежели у современныхъ писателей, художниковъ; кругозоръ слагателя устной пѣсни ўже, нежели у современнаго художника. Этимъ и объясняется, почему, если содержаніе является разнообразнымъ въ памятникахъ народной словесности, самыя формы ихъ, пріемы творчества являются менѣе разнообразными сравнительно съ современнымъ творчествомъ. Тутъ, конечно, играетъ извѣстную роль и болѣе низкій уровень развитія, вкуса болѣе низкой и въ культурномъ отношеніи среды.

Присматриваясь внимательнѣе къ формамъ и изобразительнымъ средствамъ устной поэзіи, мы среди нихъ видимъ рядъ такъ называемыхъ общихъ мѣстъ, которыя, имѣя характеръ традиціонныхъ и привычныхъ оборотовъ, схемъ, картинъ, служатъ средствомъ для созданія поэтическаго произведенія народному творцу. Онъ беретъ фабулу самостоятельно, но отдѣлываетъ ее по опредѣленному привычному шаблону, по установившейся формѣ, разукрашивая свое произведеніе тѣми средствами, которыя для него доступны. Эти средства болѣе или менѣе одинаковы и въ стихотворной и нестихотворной народной поэзіи; въ стихотворной они

---

[1]) Разумѣется, между ними разница будетъ въ томъ, что лица, создававшія и исполняющія устныя произведенія, пользуются иными средствами, нежели современные писатели; см. выше „поэтику" устной литературы.

обильнѣе, разнообразнѣе, развиты болѣе, сообразно съ самой стихотворной формой произведенія, нежели въ прозаической; эти «общія мѣста» (loci communes) представляютъ собой или то, что мы называемъ въ современной поэтикѣ «постояннымъ эпитетомъ» (epitheton ornans), или, въ болѣе развитомъ видѣ, стереотипная картина или сценка, напримѣръ: сѣдланіе коня, описаніе вооруженія, битвы, приходъ богатыря въ княжескій теремъ, богатырская ѣзда, отношеніе ко врагу, описаніе корабля, пиръ [1]) и т. п. Также и построеніе устнаго произведенія, особенно повѣствовательнаго, иногда шаблонно: напримѣръ, въ былинѣ мы видимъ, какъ и въ сказкѣ, зачинъ, запѣвъ, исходъ (но только у каждой свои, былинные или сказочные). Эти же «общія мѣ-

---

[1]) Вотъ для образчика нѣсколько такихъ „общихъ мѣстъ" изъ былинъ (какъ наиболѣе богатыхъ въ этомъ отношеніи):

Сѣдланіе коня.

Выводилъ добра коня съ конюшеньки стоялыя,
Ай, на тотъ на славный на широкій дворъ,
Ай, тутъ старыя казакъ да Илья Муромецъ
Сталъ добра коня тутъ онъ засѣдлывать:
На коня накладываетъ потничекъ,
А на потничекъ накладываетъ войлочекъ,
Потничекъ онъ клалъ да вѣдь шелковенькій,
А на потничекъ подкладывалъ подпотничекъ,
На подпотничекъ сѣделко клалъ черкасское,
А черкасское сѣделышко недержано,
А подтягивалъ двѣнадцать подпруговъ шелковыихъ,
А шпилечки онъ втягивалъ булатніе,
Пряжечки подкладывалъ онъ красна золота.

(Илья и Калинъ).

Поѣздка богатыря.

Хорошъ былъ у стараго ли добрый конь:
За рѣку перевозу онъ не спрашивалъ,
Конь рѣки, озера перескакивалъ,
Широкіе мхи кругомъ обскакивалъ.

(Илья и разбойники).

Пиръ.

У ласкова князя у Владимира
Было пированье почестный пиръ
На многихъ князей, на бояръ,
На русскихъ могучихъ богатырей
И на всю поленицу удалую.
Красное солнышко на вечерѣ,
Почестный пиръ идетъ на веселѣ,
Всѣ на пиру пьяны, веселы.

(Сухманъ).

ста», тѣ же стилистическіе традиціонные пріемы мы видимъ и въ другихъ родахъ необрядовой поэзіи, выраженными довольно отчетливо. Изученіе стиля и композиціи устно-народнаго произведенія и даетъ намъ понять, въ чемъ состоитъ оригинальность такого творчества: она состоитъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что творцу такого произведенія принадлежитъ: 1) фабула или мысль самаго произведенія, 2) комбинація традиціоннаго, готоваго матеріала изъ области изобразительныхъ средствъ и 3) примѣненіе этой комбинаціи къ лицу или событію, составляющимъ сюжетъ его произведенія. Этимъ и объясняется, почему, напр., двѣ былины, или двѣ пѣсни, несмотря на разницу содержанія, являются очень близкими другъ къ другу по выраженіямъ и, наоборотъ, при одинаковости содержанія различаются въ выраженіяхъ. Такимъ образомъ, присматриваясь къ процессу творчества необрядовой пѣсни, мы должны сказать, что процессъ творчества тотъ же самый, что̀ и процессъ творчества у современнаго художника поэта. Разница въ средствахъ и въ характерѣ того поэтическаго матеріала, которыми располагаетъ интеллигентный современный художникъ, и старый художникъ, вышедшій изъ народной среды. Насколько этотъ процессъ творчества устойчивъ, можно судить, хотя бы по такого рода примѣру. Въ области устной народной поэзіи, сравнительно недавно народился новый видъ: это—такъ называемыя «частушки». Это—небольшое стихотвореніе, рѣдко больше 4—6 строкъ, часто въ двѣ строки, которое является художественно-литературнымъ выраженіемъ современности, касаясь какого-нибудь случая изъ жизни деревни, какого-либо лица. Въ большинствѣ случаевъ эти частушки носятъ характеръ довольно безобидной сатиры, остроты, колкости, насмѣшки по поводу того или другого событія, или лица. Эти частушки, со стороны формы, отливаются, обыкновенно, въ старыя формы, т.-е. комбинируются изъ нѣсколько искаженныхъ стиховъ старой пѣсни, которые примѣняются путемъ измѣненія, примѣнительно, къ данному случаю, и, сообразно новому вкусу, большей частью носятъ уже въ концѣ стиха риѳму. Зарожденіе «частушки» очень прозрачно: она нарождается на нашихъ глазахъ, на нашихъ же глазахъ часто и умираетъ (забывается), когда послужившій для ея созданія случай, перестаетъ интересовать слушателей. Автора ея мы не знаемъ обыкновенно, хотя иногда собиратель узнаетъ его въ опредѣленномъ лицѣ, какомъ-нибудь деревенскомъ остроумникѣ. Мотивъ есть, форма дана, и частушка рождается, если есть подходящій человѣкъ, который ихъ комбинируетъ. Такимъ образомъ, несомнѣнно, что до сихъ поръ въ основѣ народнаго творчества лежитъ та же традиціонная комбинація, болѣе древняго матеріала. Если мы имени автора не назовемъ, то всеже часто можно болѣе опре-

дѣленно указать на тотъ кругъ, среду, подчасъ даже соціальное положеніе автора народно-устнаго произведенія: въ авторѣ частушки легко узнать мастерового, фабричнаго, солдата. Исторія былины какъ наиболѣе сложнаго и устойчиваго произведенія народнаго творчества, даетъ намъ также довольно опредѣленныя указанія. То же, хотя и въ меньшей степени, даютъ и другіе его виды. Эти указанія, позволяютъ намъ ближе подойти къ автору. Оказывается, что народная поэзія, хотя не во всемъ своемъ объемѣ, а въ цѣломъ рядѣ случаевъ, есть уже результатъ традиціоннаго творчества, притомъ профессіональнаго творчества. Мало того, что произведенія устной народной поэзіи переходятъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, носителями ихъ являются далеко не всѣ, а лишь люди, которые особенно интересуются, запоминаютъ эти произведенія и потомъ воспроизводятъ; это—до нѣкоторой степени спеціалисты, какъ, напр., можно сказать относительно былины, сказки, заговора, и т. п. Они иногда смотрятъ на свою поэтическую дѣятельность, даже какъ на ремесло, какъ на профессію. Дѣйствительно, присмотрѣвшись къ теперешнему состоянію устной народной словесности, мы замѣтимъ, что среди народной массы есть особенные мастера или мастерицы по части пѣсенъ или сказокъ, что цѣлая группа произведеній устной народной словесности является удѣломъ опредѣленной группы лицъ; существуетъ, напр., такъ называемый духовный стихъ: его знаютъ многіе, слушаютъ его, но не всѣ берутся воспроизводить его; оказывается, что этотъ видъ пѣсенъ культивируется лицами опредѣленнаго соціальнаго положенія, такъ называмыми слѣпцами, «старцами», «каликами перехожими»; духовный стихъ для нихъ, прежде всего, имѣетъ профессіональный характеръ. Желая подѣйствовать на религіозныя чувства своихъ слушателей и тѣмъ самымъ расположить въ свою пользу, получить подаяніе, эти несчастные калѣки, лишенные возможности быть рядовыми работниками, этой службой религіозно-духовнымъ интересамъ массы зарабатываютъ себѣ пропитаніе. Они ютятся у церквей, ходятъ изъ дома въ домъ, просятъ милостыню, при чемъ поютъ религіозный стихъ, заключающій въ основѣ или благочестивую легенду, или религіозную тенденцію (напр., о спасительности милостыни); часто духовные стихи поются каликами въ опредѣленное время, напр., стихи о Николѣ въ день его памяти, рождественскіе—на рождественскихъ святкахъ. Другія лица, не калики, не профессіоналы, рѣдко поютъ духовные стихи, и, наоборотъ, калики рѣдко и неохотно поютъ другія пѣсни. Это все показываетъ, что духовный стихъ является профессіональнымъ видомъ устной литературы, культивируется въ средѣ опредѣленнаго класса людей. И другія произведенія устной народной поэзіи, необрядовой, точно такъ же, несомнѣнно, предполагаютъ про-

фессіоналовъ-спеціалистовъ, по крайней мѣрѣ, въ прошломъ, а въ нѣкоторой долѣ и теперь; такова, напр., малороссійская дума (произведеніе лиро-эпическое, разсказы про событія старой Украины): она составляетъ достояніе опредѣленнаго класса, такъ называемыхъ «кобзарей», «бандуристовъ» и «лирниковъ». Эти бандуристы, лирники, кобзари, образуютъ совершенно опредѣленную группу лицъ, своего рода кооперацію артистовъ, въ которой всѣ детали быта артели самымъ точнымъ образомъ регламентированы на подобіе устава, только не письменнаго, а традиціоннаго, устнаго; они, подобно каликамъ, группируются около опредѣленныхъ церквей, у нихъ есть общая касса взаимопомощи, у нихъ есть экзаменъ на званіе пѣвца, который производять старшіе, и который сопровождается опредѣленнымъ обрядомъ; отъ пѣвца требуются опредѣленныя качества: вѣжливость, знаніе приличій, обязательныхъ для пѣвца, нравственное поведеніе, уваженіе къ старшимъ, ручательство учителя, честность и т. д. Между разными артелями пѣвцовъ строго распредѣлены районы ихъ дѣятельности, такъ что изъ Черниговской, напр., губ. пѣвецъ не пойдетъ въ Полтавскую; нарушеніе «устава» артели преслѣдуется въ ихъ средѣ строго [1]). На сѣверѣ былины тоже поются далеко не всѣми. Если всѣ могутъ слушать, если никому не запрещается пѣть былины, если теперь мы не знаемъ профессіональныхъ пѣвцовъ былинъ, то все же мы опредѣленно можемъ сказать, что былины поются и до настоящаго времени опредѣленными лицами: мы знаемъ пѣвцовъ былинъ [2]). Эти носители былины и до сихъ поръ являются, до нѣкоторой степени, активными дѣятелями въ исторіи былиннаго текста: если они не создаютъ теперь новыхъ сюжетовъ, воспроизводя лишь старое, всеже вносятъ личныя измѣненія въ составъ и характеръ былины, комбинируя отдѣльныя части сюжета, освѣщая, истолковывая отдѣльныя мѣста по-своему, въ зависимости отъ своихъ индивидуальныхъ особенностей, т.-е.: и здѣсь мы видимъ участіе личнаго творчества; пѣвцомъ былины является человѣкъ, который чувствуетъ себя къ этому способнымъ, и пѣсня котораго получаетъ пріемъ среди слушателей. Эта способность также близко подходитъ къ профессіональному отношенію къ дѣлу, хотя можетъ и не составляетъ промысла; для того, чтобы быть пѣвцомъ (сказателемъ) былинъ, требуются извѣстныя условія: чувство поэзіи, хорошая память, усвоеніе опредѣленныхъ навыковъ, талантливость, музыкальный слухъ и т. д. Такимъ образомъ, ясно, что современная народная поэзія не можетъ быть какимъ-то общенароднымъ твор-

---

[1]) Подробнѣе см. въ моей статьѣ: „Южно-русская пѣсня и ея носители“ (Сборн. И. Ф. Общ. при Институтѣ кн. Безбородка въ Нѣжинѣ, т. V).

[2]) О нихъ см. въ предисловіи А. Ѳ. Гильфердинга въ его „Онежскихъ былинахъ“ т. I.

чествомъ, съ «коллективнымъ» понятіемъ народа: созданіе и воспроизведеніе устнаго произведенія—дѣло сложное, требуетъ извѣстной спеціализаціи, извѣстныхъ знаній; оно, несомнѣнно, составляетъ удѣлъ избранниковъ, которые серьезно должны посвящать себя этому дѣлу. Дѣйствительно, присматриваясь къ старому времени, насколько допускаютъ наши свидѣтельства, мы найдемъ подтвержденіе этой мысли. Мнѣ уже приходилось приводить свидѣтельства XI—XII вв., а также и позднѣйшихъ, о существованіи въ старину народныхъ пѣсенъ на пирахъ, на свадьбахъ, на народныхъ забавахъ. Изъ этихъ свидѣтельствъ ясно, что, если эти пѣсни пѣлись, то они исполнялись профессіоналами, «гудцами», «скоморохами». Присматриваясь къ теперешнему составу былины, мы увидимъ ясные слѣды того же самаго, т.-е.: что, если теперь нѣтъ скомороховъ, спеціальныхъ гудцовъ, которые занимались бы воспроизведеніемъ былинъ, то въ самомъ содержаніи былины есть, несомнѣнно, указаніе на то, что недалеко было то время, когда этотъ родъ поэзіи еще находился въ рукахъ подобныхъ людей. Всякая былина представляетъ совершенно стройное, искусно довольно (у лучшихъ пѣвцовъ) построенное литературное произведеніе: она имѣетъ вступленіе, изложеніе и, наконецъ, заключеніе. Вступленіе, «зачинъ» былины часто мало имѣетъ отношенія къ самому содержанію былины и имѣетъ характеръ какъ бы интродукціи къ музыкальному произведенію; также часто и «исходъ» совершенно не связанъ съ содержаніемъ былины, является неожиданнымъ по мысли [1]). Цѣлый рядъ такихъ зачиновъ и исходовъ

---

[1]) Изъ такихъ зачиновъ для образца укажемъ:

Изъ-подъ бѣлыя березы кудреватыя,
Изъ-подъ чудна креста Леванидова,
Изъ-подъ святыхъ мощей изъ-подъ Борисовыхъ,
Изъ-подъ бѣлаго Латыря каменя—
Тутъ повышла-повыбѣжала,
Выбѣгала-вылетала матка Волга-рѣка.

(Зачинъ къ былинѣ о Добрынѣ и змѣѣ).

Нашему хозяину честь бы была,
Намъ бы, ребятамъ, ведро пива было:
Самъ бы выпилъ, да и намъ бы поднесъ!
Мы, малы ребята, станемъ сказывати,
А вы, старички, вы послушайте.

(Зачинъ къ былинѣ объ Ильѣ).

Изъ исходовъ.

Синему морю да на тишину,
Всѣмъ добрымъ людямъ на послушанье.
А тутъ той старинкѣ и славу поютъ,
А по тыихъ мѣстъ старинка и кончилась.

былины, по своему характеру, показываютъ, что былины были исполняемы професcіональными пѣвцами; въ частности, въ нихъ мы прямо узнаемъ скомороха. Въ «зачинѣ» видимъ часто прямо указаніе скомороха на себя, либо прямо скоморошью болтливую, игривую шутку. Въ «исходѣ» скоморохъ-пѣвецъ проситъ о томъ, чтобы гости не забыли угостить его дорогимъ для него виномъ [1]). И въ самомъ содержаніи былины, мы видимъ иногда слѣды исполненія былины скоморохами, напр., переодѣтый богатырь переодѣтъ въ скоморошье платье, на свадьбѣ является въ образѣ скомороха (былина объ Алешѣ и Добрынѣ); такимъ образомъ, пѣвецъ-скоморохъ дѣлаетъ себя участникомъ важнаго содержанія былины, выставляя себя—скомороха—лицомъ, болѣе или менѣе заслуживающимъ серьезнаго вниманія, можетъ быть, уваженія. Фактическое подтвержденіе этого наблюденія мы видимъ у историка Татищева (умеръ въ 1750 г.): тѣ былины, которыя мы теперь слышимъ отъ крестьянъ нашего сѣвера, въ его время еще пѣлись скоморохами: въ дѣтствѣ своемъ, именно, отъ скомороховъ слышалъ Татищевъ былины о князѣ Владимирѣ, Ильѣ Муромцѣ, Алешѣ Поповичѣ, Соловьѣ Разбойникѣ, Дюкѣ Степановичѣ (I, 44, прим. 16). Ясное дѣло, что еще въ началѣ XVIII в. были профессіональные представители былины; ихъ въ XIX вѣкѣ мы не видимъ уже: скоморохи пропали, оставивъ свой слѣдъ въ былинѣ, которую отъ нихъ унаслѣдовали пѣвцы-крестьяне сѣвера, отъ которыхъ и мы узнали былину. Другіе виды творчества (духовный стихъ, заговоръ) и до сихъ поръ сохраняютъ свой профессіональный характеръ, составляя даже (какъ заговоръ) профессіональную тайну. Такимъ образомъ, этотъ поверхностный обзоръ того, какъ существуетъ теперь, какъ воспроизводится, какъ живетъ въ устахъ народа устная народная поэзія необрядовая, ясно показываетъ, что у нея были свои носители, свои спеціалисты, отдѣльные пѣвцы. Это даетъ возможность отчасти разгадать и характеръ этой поэзіи, опредѣлить ея мѣсто въ общемъ творчествѣ русскаго племени, по крайней мѣрѣ, въ прежнее время.

Еще ближе подойдемъ къ пониманію нашей народной словесности, если обратимъ вниманіе на условія существованія ея въ настоящее время. Въ виду того, что объ этихъ условіяхъ (различныхъ въ значительной степени для различныхъ видовъ народной словесности и для разныхъ мѣстностей) придется говорить при обзорѣ отдѣльныхъ ея видовъ, ограничимся лишь общими чертами. Что касается внѣшней обстановки жизни современной устно-народной поэзіи, то о ней можно

---

[1]) Ср. у Гильфердинга, № 60 (былина о Батыгѣ, исходъ), выше—второй примѣръ въ предыд. прим.

сказать въ краткихъ словахъ такъ. Обрядовыя пѣсни, однѣ поются, другія сказываются речитативомъ. Пѣсни обрядовыя, прежде всего, воспроизводятся (поются) лицами, знающими обряды, принимающими участіе въ этихъ обрядахъ. Поются онѣ безъ всякаго аккомпанемента по традиціоннымъ, сложившимся давно напѣвамъ. Напѣвовъ обрядовыхъ пѣсенъ мы знаемъ немного, гораздо меньше, нежели необрядовыхъ пѣсенъ, да и было ихъ, повидимому, не много; поэтому на одинъ и тотъ же мотивъ поется цѣлый рядъ пѣсенъ: такъ, напр., для свадебныхъ пѣсенъ мы можемъ указать самое большее 5—6 различныхъ мотивовъ, а свадебныхъ пѣсенъ мы можемъ насчитать до 50 въ одномъ часто обрядѣ. Эти мотивы не вездѣ одинаковы, смотря по тому, какой мотивъ вошелъ въ употребленіе въ данной мѣстности; отсюда объясняется, почему одна и та же пѣсня поется на разные мотивы, но въ различныхъ мѣстностяхъ. Это наблюденіе имѣетъ значеніе и для народной пѣсни вообще, не только обрядовой, но и необрядовой. Одни виды народной словесности просто поются, при чемъ одни, поются отдѣльнымъ лицомъ, другія же—хоромъ, каково большинство лирическихъ пѣсенъ; однѣ изъ нихъ поются исключительно или почти исключительно, женщинами («бабьи» пѣсни), или дѣвушками («дѣвичьи»), или дѣтьми; другія—исключительно или почти исключительно, мужчинами.

Аккомпанементъ. Отдѣльные виды устной народной словесности воспроизводятся съ аккомпанементомъ музыкальныхъ инструментовъ. Такихъ музыкальныхъ инструментовъ, мы знаемъ нѣсколько. Повидимому, старѣйшимъ музыкальнымъ инструментомъ, который служитъ аккомпанементомъ для этихъ пѣсенъ, были гусли, т.-е. струнный инструментъ, который представляетъ нѣчто въ родѣ стола или музыкальной деки, ящика, на которомъ натянутъ рядъ струнъ. Такого рода струнные инструменты, сопровождающіе пѣсни, вѣроятно, профессіоналовъ, встрѣчаются въ старыхъ рукописяхъ (на миніатюрахъ, въ заставкахъ и заглавныхъ буквахъ) не позднѣе XIV в., срисованные, повидимому, съ натуры. Объ этихъ же гусляхъ мы видѣли упоминанія и въ древнѣйшихъ письменныхъ свидѣтельствахъ о народно-устной литературѣ; гусли эти почти тождественны съ тѣми, которые были въ ходу еще въ 40-хъ, 50-хъ и 60-хъ годахъ XIX столѣтія и пользовались, надо думать, на Руси большимъ распространеніемъ. Другимъ музыкальнымъ инструментомъ является «лира» (или лера). Это—инструментъ преимущественно пѣвцовъ духовныхъ стиховъ: онъ напоминаетъ скрипку, вверху которой натянуты двѣ волосяныхъ струны; роль смычка исполняетъ колесо, которое вращается по оси и треніемъ извлекаетъ звуки изъ струнъ; такимъ образомъ, пѣвецъ одной рукой вертитъ этотъ валъ

съ колесомъ, а другой работаетъ на клавіатурѣ, которая расположена на той же декѣ: инструментъ, очень мало благозвучный, издаетъ скрипучій звукъ, рѣзкій, подъ аккомпанементъ котораго и поетъ пѣвецъ или одинъ, или нѣсколько; иногда одновременно играютъ въ унисонъ на нѣсколькихъ лирахъ. Повидимому, устная народная пѣсня теперь переживаетъ извѣстнаго рода кризисъ. Лиру мы встрѣчаемъ, главнымъ образомъ, на югѣ и западѣ Россіи, рѣже въ южно-великорусскихъ губерніяхъ, Орловской, Курской; на сѣверѣ мы лиры не встрѣчаемъ; повидимому, мы имѣемъ здѣсь дѣло просто съ измѣненіемъ условій исполненія такой пѣсни, т.-е.: она когда-то сопровождалась постоянно музыкальными инструментами, а теперь стала исполняться безъ нихъ. То же самое, повидимому, надо сказать и относительно исполненія былинъ. Несомнѣнно, что было время, когда былины исполнялись въ сопровожденіи музыкальныхъ инструментовъ, вѣроятнѣе всего, тѣхъ же самыхъ гуслей; по крайней мѣрѣ, такое дѣлаютъ заключеніе спеціалисты по музыкальной части былины. Теперь былины поются пѣвцами уже безъ аккомпанимента. Наконецъ, спеціально малороссійскимъ инструментомъ, сопровождающимъ пѣніе юно-русскихъ «думъ», иногда и духовныхъ стиховъ, является такъ называемая «бандура», «кобза» или «торбанъ» (видоизмѣненіе бандуры). Этотъ инструментъ довольно поздняго происхожденія. Такъ, какъ сама малороссійская дума происхожденія недавняго (она явилась не раньше XV—XVI в.), и инструментъ, повидимому, происхожденія того же времени и, кажется, западнаго, ближайшимъ образомъ, польскаго. Бандура, это не что иное, какъ мандолина, измѣненная только въ томъ отношеніи, что на мандолинѣ отъ 8 до 10 струнъ, а у бандуры 18—20 металлическихъ, почему она и имѣетъ довольно богатую оркестровку. «Торбанъ»—также бандура, еще болѣе усовершенствованная. Помимо балалайки, не говоря уже о гармоніи, другихъ музыкальныхъ инструментовъ для аккомпанимента при пѣніи мы не встрѣчаемъ: оба эти инструмента вошли въ употребленіе, повидимому, сравнительно недавно, и ихъ считать традиціонными нельзя. Такимъ образомъ, изъ сказаннаго ясно, что когда-то въ старину нѣкоторыя пѣсни сопровождались разнообразными музыкальными инструментами, но съ теченіемъ времени это забывалось или признавалось ненужнымъ, и исполненіе пѣсни упрощалось. Вѣроятно также традиціонно соединеніе въ одномъ лицѣ пѣвца и аккомпаніатора: сколько извѣстно до сихъ поръ, такъ происходило и происходитъ дѣло и у насъ, и у другихъ народовъ, гдѣ еще сохранилась народная пѣсня; это объясняется той тѣсной связью между музыкальной и словесной формой пѣсни, о чемъ говорилось уже раньше. Въ этой тѣсной связи мотива и словъ пѣсни до извѣст-

ной степени лежитъ объясненіе распространенія отдѣльныхъ видовъ народной поэзіи.

Географическое распространеніе устной поэзіи. Тѣ многочисленные виды народной поэзіи, которые мы знаемъ (прозаической и стихотворной), далеко не равномѣрно распредѣлены по мѣстностямъ. Есть мѣста, гдѣ преимущественно извѣстны однѣ пѣсни, въ другихъ же онѣ почти или совершенно неизвѣстны: извѣстность мотива, его сохраненіе, повидимому, отчасти способствуетъ сохраненію и самой пѣсни. Конечно, въ этой связи едва ли можно видѣть единственное условіе сохраненія и исчезновенія пѣсни въ данной мѣстности. Повидимому, мы здѣсь имѣемъ дѣло и съ условіями историческими, съ культурными вообще. Наиболѣе древніе по своему происхожденію и наиболѣе сложные виды литературныхъ народныхъ произведеній, какъ, напримѣръ, былины, обрядовыя пѣсни, прежде пользовались бо̀льшимъ распространеніемъ, нежели теперь: интересъ къ нимъ постепенно со временемъ суживался; поэтому, напр., былины теперь находятся только въ опредѣленныхъ мѣстностяхъ; въ другихъ же мѣстностяхъ можно только указать, что когда-то тамъ былина была, а теперь ея уже нѣтъ. Такъ, въ XVIII вѣкѣ былину можно было услышать (правда, едва ли часто) даже въ Москвѣ и въ подмосковныхъ мѣстностяхъ, теперь же всякіе поиски за остатками этой былины оказались тщетными [1]). Онѣ въ Московской губ. и въ прилегающихъ мѣстностяхъ центральной Россіи совершенно исчезли; былины также не находимъ и на югѣ Россіи: тамъ она давно замѣнена была малороссійской думой, и малороссійская дума въ значительной степени исполняла ту же самую службу, что̀ и наша былина на сѣверѣ. Опредѣленныя пѣсни съ опредѣленнымъ содержаніемъ, будетъ ли это пѣсня лирическая, игровая, обрядовая, онѣ точно такъ же группируются по извѣстнымъ мѣстностямъ. Одна пѣсня встрѣчается преимущественно и исключительно въ опредѣленномъ мѣстѣ, другая—въ другомъ. Также по мѣстностямъ колеблется и обрядовая пѣсня: гдѣ обрядъ сохраняется лучше, тамъ и пѣсня, сопровождающая обрядъ, лучше сохраняется. То же можно сказать и относительно духовнаго стиха, который распространенъ не только на сѣверѣ, но и на западѣ, и на югѣ; но отдѣльные духовные стихи распространены далеко неравномѣрно; напр., извѣстный стихъ о «Голубиной книгѣ» совершенно неизвѣстенъ на югѣ, и дальше Тульской губерніи этотъ стихъ найденъ не былъ [2]); другой стихъ, напр., стихъ о Варварѣ или Ахтыр-

[1]) Если не принимать въ соображеніе случайнаго заноса (напр., переселенія въ Москву лица, на родинѣ знавшаго былину).

[2]) Опять-таки, если онъ не занесенъ былъ въ отдѣльныхъ случаяхъ съ сѣвера, напр., въ Ростовѣ-на Дону, гдѣ онъ встрѣченъ у рабочаго, пришедшаго съ сѣвера.

ской иконѣ, стихъ преимущественно южно-русскій и т. д. Это территоріальное распространеніе отдѣльныхъ сюжетовъ (такъ наз. мѣстные репертуары) стоитъ въ связи съ исторіей самаго населенія: измѣненія въ бытѣ, въ міросозерцаніи населенія отразились на его народной словесности; чѣмъ больше было этихъ измѣненій, чѣмъ они были значительнѣе, тѣмъ сильнѣе измѣнялась, исчезала старая устная литература; поэтому, напр., можно сказать, что центральный районъ Россіи (московскій), гдѣ старые устои быта подверглись сильнымъ измѣненіямъ, вслѣдствіе развитія фабрикъ, малоземелья и т. д., будетъ бѣднѣе памятниками устной словесности, нежели окраинный сѣверный, менѣе претерпѣвшій измѣненій и потрясеній въ своемъ быту. Такимъ образомъ, географическое распредѣленіе памятниковъ народной словесности, въ связи съ исторіей мѣстнаго населенія, до извѣстной степени также можетъ дать указанія относительно ихъ исторіи. Что касается въ частности произведеній устно-народной словесности прозаической, то здѣсь, повидимому, было почти то же самое. Наблюденія показываютъ, что, напр., сказка получаетъ всеобщее распространеніе, но далеко не всякая сказка или ихъ группа будутъ повсюду извѣстны. Есть мѣста, гдѣ облюбовали, хранятъ, пересказываютъ одни сюжеты, совершенно неизвѣстные въ другихъ. Такое наблюденіе надъ репертуаромъ отдѣльныхъ мѣстностей, конечно, имѣетъ значеніе при изученіи народныхъ произведеній; по этимъ репертуарамъ мы можемъ судить о художественно-литературныхъ интересахъ той народной массы, которая является главнымъ слушателемъ, главнымъ носителемъ этихъ произведеній; а это прикрѣпленіе извѣстныхъ сюжетовъ или цѣлыхъ произведеній къ опредѣленной территоріи имѣетъ значеніе, и притомъ иногда немаловажное, и для исторіи этихъ самыхъ сюжетовъ или произведеній, какъ это мы увидимъ, напр., при изученіи исторіи былинныхъ сюжетовъ.

Заканчивая наши замѣчанія общаго характера объ устно-народной литературѣ, мы повторимъ общее впечатлѣніе отъ нея, именно: если мы обратимъ вниманіе на характеръ народнаго творчества, на характеръ носителей этого творчества, на условія прежнія и теперешнія жизни этого творчества, то мы убѣдимся, что представлять устную народную поэзію выраженіемъ наивнаго духа первобытнаго человѣка, облекая дымкой поэзіи весь народный бытъ, мы права не имѣемъ. Для того, чтобы создать пѣсню даже самую простую, не говоря уже о пѣснѣ довольно сложнаго характера, или разсказать сказку, отливающуюся въ довольно искусную условную форму, несомнѣнно, требуется не только поэтическое дарованіе, но и извѣстныя культурныя данныя. Дѣйствительно, всѣ тѣ лица, которыя являются мастерами, преимущественно

носителями этой устной народной поэзіи, всегда отличаются бо́льшимъ культурнымъ развитіемъ, бо́льшей воспріимчивостью, кругъ свѣдѣній у нихъ шире, нежели у окружающей ихъ массы (которая, кстати сказать, потому-то ихъ и слушаетъ). Несомнѣнно, что такіе люди, какъ слагатели духовныхъ стиховъ, цѣликомъ основанныхъ на религіозной или церковной пѣснѣ или на церковной или религіозной легендѣ, стоятъ по своему развитію выше обыкновенныхъ рядовыхъ обывателей. Дѣйствительно, мы встрѣчаемъ между ними лицъ, которыя обладаютъ большой памятью, помнятъ то, что̀ они сами слушаютъ, постоянно присутствуя въ церкви, гдѣ они усваиваютъ (рядомъ со своимъ) и церковное пѣніе; между ними есть и прямо люди грамотные, любители духовнаго чтенія; эти лица и являются, главнымъ образомъ, созидателями и носителями духовнаго стиха. Былина, сказка, воспринимающія въ свой составъ или иногда въ основу международные, притомъ книжные сюжеты, предполагаютъ своими создателями людей, непосредственно или черезъ какое-либо посредство имѣющихъ возможность усвоить эти международныя темы, нѣкоторую книжность; недаромъ мы знаемъ въ числѣ носителей и создателей былины скомороха, бывалаго человѣка, опытнаго композитора и исполнителя своего и чужого добра. Вопроса о какой-либо безыскусственности нашей народной поэзіи и рѣчи быть не можетъ. Только допуская такое представленіе о народной устной литературѣ, какъ созданіи людей повышеннаго, сравнительно съ массой, типа по способностямъ и культурности, мы можемъ научно объяснить самый составъ этой литературы и ея отношенія къ литературѣ книжной. Въ народной устной литературѣ отразилась наша книжная литература, и, въ свою очередь, эта книжная литература носитъ на себѣ вліяніе нашей устной словесности. Тѣсное взаимоотношеніе между устной и книжной литературой не подлежитъ никакому сомнѣнію. Только на почвѣ этого взаимодѣйствія мы можемъ правильно установить научное изученіе устной народной литературы, которая есть вѣдь не что иное, какъ только одно изъ проявленій творчества и культурной жизни народа во всемъ его цѣломъ.

Степень сохранности устной поэзіи. Ея теперешнее состояніе. Наконецъ, къ числу общихъ вопросовъ касательно устной словесности относится вопросъ о томъ, какъ мы должны смотрѣть на дошедшую до насъ устную русскую словесность въ ея теперешнемъ состояніи: есть ли это только дошедшее до насъ наслѣдіе, сохраненное намъ условіями нашего историческаго культурнаго прошлаго, или это живой организмъ, живой продуктъ творчества, развивающійся до сихъ поръ? Иначе: продолжаетъ ли свое развитіе устная словесность, или она его закончила и только сохраняется до нашего времени, постепенно

вымирая? Вопросъ этотъ тѣмъ естественнѣе, что даже среди ученыхъ высказывались два разнорѣчивыхъ взгляда: одни утверждали, что устная словесность вообще и старинная въ частности находятся въ состояніи умиранія (какъ это произошло у большинства народностей западной Европы), что она исчезаетъ подъ вліяніемъ тѣхъ измѣненій народной жизни, которыя, чѣмъ быстрѣе входитъ въ жизнь новая общеевропейская культура, тѣмъ быстрѣе содѣйствуютъ исчезновенію и устной словесности, замѣняемой книжной; и близко уже то время, утверждаютъ они, когда у насъ не будетъ той устной словесности, которая еще не такъ давно играла такую видную роль въ народномъ обиходѣ; другіе, не соглашаясь съ такимъ пессимистическимъ взглядомъ на положеніе устной словесности въ наше время, но не имѣя данныхъ опровергнуть совершенно вышеприведенный взглядъ, стараются указать, что моментъ исчезновенія устной словесности не близокъ, что, сохраненная въ такомъ изобиліи и разнообразіи, какія мы видимъ, она еще долго можетъ существовать, долго будетъ исполнять свое назначеніе, доживетъ до того времени, когда бережное и любовное къ ней отношеніе станетъ сознательнымъ и въ широкихъ массахъ (не только у ученыхъ и любителей). Какой же изъ этихъ взглядовъ надо признать болѣе согласнымъ съ тѣмъ, что даетъ исторія устной словесности? Повидимому, второй придется признать болѣе правильнымъ, но съ ограниченіями, не придавая ему той категоричности, съ которой онъ высказывается. Такъ, прежде всего надо признать, что устная поэзія, какъ и вообще устная словесность, въ значительной своей долѣ есть поэзія и словесность прошедшаго: когда она созидалась, она, конечно, вполнѣ соотвѣтствовала культурному уровню той среды, для которой она существовала; въ историческое время это были не только низшіе классы русскаго общества, но и средніе, и высшіе; большинство видовъ устной словесности были въ употребленіи и у князей, и бояръ, и торговаго состоятельнаго класса, какъ и у низшихъ слоевъ (даже духовенство едва ли совершенно было свободно отъ интересовъ къ этого рода литературѣ). Новая русская литература—литература интеллигентныхъ классовъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе порывавшая связь со старой культурой, начиная съ XVII в., въ интересахъ новой культуры западнаго типа. Повидимому, эта пора смѣны типа культуры старой византійско-русской на западную, начавшаяся уже со второй половины XVI в. въ русскомъ обществѣ, оказала сильное вліяніе на состояніе и жизнь устной словесности; она, прежде всего, начинаетъ быстрѣе измѣнятъся, еще имѣя достаточно силъ для развитія; такъ, въ это время старшая былина начинаетъ уступать мѣсто родственной ей по типу, но иной по характеру исторической пѣснѣ; рядомъ со старшимъ духовнымъ стихомъ (былин-

наго типа) появляется виршевой «кантъ» и «псальма»; другіе виды поэзіи или замираютъ въ своемъ развитіи, имѣя силу только сохранять себя по традиціи, или сокращаютъ свою популярность, опускаясь въ менѣе культурные, а потому менѣе испытывающіе вліяніе новыхъ вѣяній слои: свадебный обрядъ, до нашихъ дней сохраняющійся въ крестьянскомъ обиходѣ, ясно показываетъ, что онъ до того времени, какъ сталъ достояніемъ крестьянства, практиковался въ классахъ высшихъ: «князь», «княгиня» (женихъ и невѣста), «бояре» (поѣзжане), самое содержаніе пѣсенъ (злато, серебро, дорогая одежда)—все это идетъ не изъ крестьянскаго быта, а изъ обихода высшихъ классовъ. Такимъ образомъ, повидимому, съ XVI—XVII в. мы должны констатировать начало того процесса въ жизни устной словесности, который можетъ быть названъ не умираніемъ, а ослабленіемъ, суженіемъ популярности, а въ связи съ этимъ и творчества: новыхъ произведеній въ формахъ и съ содержаніемъ старымъ мы почти не видимъ съ XVII в.; новые виды творчества, возникающіе въ это время, либо перерабатываютъ прежніе, либо слабѣютъ въ смыслѣ поэтики: они должны соотвѣтствовать вкусамъ общества, міросозерцаніе котораго все дальше и дальше отходитъ отъ прежняго, въ уровень съ которымъ шла и старая поэтика. Какъ увидимъ изъ дальнѣйшаго, на отдѣльныхъ видахъ творчества, этому «паденію» старой поэзіи соотвѣтствуютъ бытовыя измѣненія въ средѣ русскаго общества: гдѣ условія прежняго времени мѣняются медленнѣе, тамъ и старая устная литература сохраняется долѣе и въ болѣе архаичномъ видѣ. Въ общемъ надо признать за фактъ, что измѣненія быта въ силу закона переживанія (о немъ была рѣчь раньше) идутъ чрезвычайно медленнымъ темпомъ, замедляясь по мѣрѣ удаленія отъ очаговъ культуры; поэтому, чрезвычайно медленно, особенно на окраинахъ, мѣняются и условія сохраненія и «бытованія» устной словесности. Это даетъ намъ возможность заключать, что въ общемъ устная словесность, если всюду (параллельно съ движеніемъ культуры новаго западнаго типа) идетъ на убыль, то движеніе это медленно, и говорить объ ея вымираніи, особенно быстромъ, еще рано; эта словесность, если давно уже не развивается, а лишь медленно измѣняется примѣнительно къ новымъ явленіямъ быта, сохраняется еще въ настолько значительномъ количествѣ, что для науки самый процессъ собиранія матеріала далеко не завершонъ еще. Если мы не можемъ, правда, надѣяться на крупныя открытія, то всеже не лишены надежды узнать еще много неизвѣстнаго до сихъ поръ наукѣ относительно жизни въ прошломъ не только отдѣльныхъ произведеній устнаго творчества, но и цѣлыхъ ея областей. Наконецъ, нельзя не припомнить и того, что различные виды устной литературы созидались при различныхъ условіяхъ быта и времени, имѣли поэтому

различный путь развитія, различную судьбу, различно реагирують на измѣненія въ культурѣ; поэтому одни виды устной литературы оказались устойчивѣе и сохранились обильнѣе по количеству и чище по качеству, другіе менѣе. Иначе сказать: рѣшая поставленный вопросъ, мы правильнѣе поступимъ, если будемъ говорить о степени сохранности, судьбѣ отдѣльныхъ видовъ устной литературы, нежели стремиться дать одинъ общій отвѣтъ. Въ смыслѣ общаго явленія всѣмъ видамъ устной поэзіи можно отмѣтить только процессъ ея сокращенія въ обиходѣ, ослабленія творчества въ этой области.

Въ дальнѣйшемъ мы постараемся познакомиться въ общихъ чертахъ съ тѣмъ, что сдѣлано наукой по исторіи устной словесности: мы увидимъ, что предстоитъ сдѣлать еще многое: часто мы должны будемъ ограничиваться лишь научной гипотезой. Это, въ свою очередь, объясняется не только недостаткомъ матеріальныхъ и изслѣдовательскихъ силъ или несовершенствомъ методовъ, но также и свойствомъ самаго матеріала, не поддающагося такой точной разработкѣ, какъ въ памятникахъ письменности, а также той широтой рамокъ изслѣдованія, которая, въ свою очередь, вытекаетъ изъ самого положенія устнаго творчества среди другихъ видовъ человѣческой производительности, человѣческаго генія.

Былины [1]).

Обращаясь теперь къ обзору отдѣльныхъ видовъ устной народной словесности, начну съ наиболѣе популярнаго у насъ въ образованныхъ кругахъ общества и наиболѣе изученнаго, но зато и вызывающаго самое большее количество вопросовъ, именно съ былины. Въ виду существованія обширной научной литературы, посвященной былинѣ [2]), сообщу только, главнымъ образомъ, то, что̀, необходимо для правильнаго

---

[1]) Напомню, что самое названіе „былина“ не народнаго происхожденія: оно пущено въ ходъ извѣстнымъ любителемъ старины и народности И. П. Сахаровымъ на основаніи невѣрно понятаго имъ выраженія въ „Словѣ о полку Игоровѣ“ („по былинамъ сего времени“) въ 30-хъ гг. XIX ст. Народъ эти произведенія (впрочемъ, не ограничивая строго термина), называетъ „ста̀ринами“, „старинками“, относя это названіе и къ тому, что̀ мы называемъ былиной и исторической пѣснью. Пользуюсь терминомъ „былины“, какъ ставшимъ привычнымъ.

[2]) Съ литературой о былинѣ можно познакомиться хотя бы по спеціальнымъ библіографіямъ, напр., Мезьерь, Межова, въ Ист. лит. Пыпина и т. д. Можно рекомендовать и книгу А. М. Лободы „Русскій богатырскій эпосъ“ (Кіевъ, 1896), нѣсколько, впрочемъ, теперь устарѣвшую (нѣтъ работъ новѣйшихъ), а также два тома „Очерковъ“ В. Ѳ. Миллера. Списокъ пособій для ознакомленія съ былиной см. также въ концѣ настоящей книги.

представленія о ней, укажу на тѣ главные моменты въ ея изученіи, которые необходимо знать всякому, кто приступаетъ къ непосредственному ознакомленію съ былиной, приведу наиболѣе характерные для былины, какъ таковой, ея сюжеты, коснувшись преимущественно ихъ литературной исторіи.

Что касается былины, то знакомство русской печатной литературы съ былиной началось довольно рано. Уже въ концѣ XVIII в. мы имѣемъ дѣло съ печатными текстами былинъ. Въ старыхъ рукописяхъ конца XVII в., частью половины XVIII в. мы встрѣчаемся съ первыми, правда, не научными записями былинъ. Тогда былина записывалась, не какъ произведеніе устно-народной словесности, а какъ любопытный сюжетъ, наравнѣ съ сюжетомъ какой-нибудь интересной для читателя переводной сказки или нравоучительнаго разсказа; таковы большей частью пестрые по составу сборники XVII—XVIII ст., бывшіе въ ходу среди читателей средняго и низшаго грамотныхъ классовъ русскаго общества, мало интересовавшихся или не могшихъ овладѣть литературой французско-европейскаго пошиба, доступной для передовыхъ классовъ. Такимъ образомъ, знакомство русской литературы съ былиной является въ первое время случайностью; такой же случайностью оно является въ послѣдующее время въ теченіе почти всего XVIII вѣка.

Русскій историкъ В. Н. Татищевъ, человѣкъ по своему времени высоко образованный, слышалъ въ молодости былины отъ скоморохoвъ; составляя свою «Россійскую исторію», заинтересовался онъ этими былинами, какъ упоминающими про Владимира князя, Добрыню и др., о которыхъ онъ зналъ изъ своихъ историческихъ источниковъ (изъ лѣтописей); онъ первый сопоставилъ былину съ историческими источниками, нашелъ нужнымъ указать, что память о Владимирѣ святомъ сохранилась въ народныхъ устахъ и дожила до сихъ поръ: старинная скоморошья пѣсня поетъ про Владимира и его храбрыхъ богатырей. Татищевъ умеръ въ 1750 г.; рукопись его «Исторіи» стала извѣстна обществу позднѣе (первая часть «Исторіи» издана въ 1768 г.). Одновременно почти съ этимъ въ нашей художественной литературѣ появляются первые проблески интереса къ былинѣ. Издатели-публицисты Чулковъ, Елагинъ, Новиковъ, заинтересовавшіеся народной пѣсней, приводятъ случайно среди народныхъ пѣсенъ (преимущественно лирическихъ и обрядовыхъ) изрѣдка и былины (напр., о Суровцѣ въ пѣсенникѣ 1776 г.) [1]. Они, впрочемъ, не смотрятъ на былину, какъ на особый видъ народнаго творчества, заслуживающій изученія, а почти такъ же,

[1]) Подробнѣе о нихъ у Н. С. Тихонравова „Пять былинъ старинной записи“ (Соч. III, 1, стр. 216).

какъ смотрѣли на нее въ XVII в., т.-е., какъ на интересную тему; чужія, иноземныя темы, которыми быстро заполнялась русская литература XVIII в., уже въ значительной степени попріѣлись, національное чувство до извѣстной степени уже было возбуждено, этими темами не удовлетворялось, хотѣлось чего-нибудь новаго, чего-нибудь своего, народнаго. Такого рода патріотическо-національное возбужденіе, несомнѣнно, и заставило обратить вниманіе на былину. Къ этой былинѣ относятся очень свободно, не оцѣнивая достаточно ея формальной стороны, ее (какъ и другія пѣсни) измѣняютъ на свой манеръ. Также свободно, какъ къ любопытному сюжету, отнеслась и Екатерина II къ былинамъ въ сборникѣ Кирши, сборникѣ Чулкова, бывшихъ у нея въ рукахъ, когда она передѣлывала былинный сюжетъ въ оперу о «Богатырѣ Боеславичѣ». Самъ замѣчательный сборникъ Кирши (о немъ см. выше) не возбудилъ тогда научнаго интереса къ былинѣ. Только въ началѣ XIX в. впервые на былину обратили вниманіе, какъ на произведеніе устно-народной литературы. Съ этихъ поръ (съ изданія «Древнероссійскихъ стихотвореній»—1818) [1]) интересъ къ былинѣ не ослабѣваетъ, и былина дѣлается излюбленныхъ предметомъ изученія въ области народной словесности. Почти всѣ выдающіеся русскіе историки литературы отводятъ мѣсто былинѣ въ своихъ трудахъ (ср. выше: о Буслаевѣ, О. Миллерѣ и др.). На былинахъ, главнымъ образомъ, вырабатывались тѣ новые научные пріемы изученія народной словесности, которые послѣдовательно смѣнялись одинъ другимъ до тѣхъ поръ, пока выработался тотъ широкій методъ, который мы называемъ историко-сравнительнымъ методомъ, которымъ разрабатывается былина въ настоящее время. Результатомъ того положенія, которое заняла былина въ научной исторіи литературы, было то обиліе матеріала, детальное его изученіе, которыми пользуемся мы. Матеріалъ въ области изученія былинъ быстро становится очень значительнымъ. Существуетъ цѣлый рядъ сборниковъ, подчасъ очень обширныхъ, которые исключительно посвящены былинѣ (перечень ихъ см. выше); цѣлая масса былинъ разсѣяна въ изданіяхъ, подчасъ мелкихъ провинціальныхъ (вродѣ газетъ, губернскихъ и епархіальныхъ Вѣдомостей), въ отдѣльныхъ собраніяхъ спеціально памятниковъ устной народной словесности другого рода [2]). Этотъ матеріалъ представляется теперь настолько значительнымъ, что допускаетъ уже дѣлать нѣкоторыя обобщенія, хотя и очень осторожныя, въ интересахъ общаго освѣщенія исторіи этого вида народной

---

[1]) Раньше часть была издана въ 1804 г. (М.) Якубовичемъ, но опять-таки въ качествѣ интересной для читателей новинки.

[2]) Подробнѣе см. въ книгѣ А. М. Лободы, ук. выше.

словесности. Эти попытки обобщеній и дѣлались въ свое время, дѣлаются и въ настоящее время. Я ограничусь только тѣмъ, что приведу нѣкоторыя изъ этихъ обобщеній: они укажутъ намъ отчасти на исторію изученія этого вида литературы, поскольку эта исторія можетъ насъ интересовать въ исторіи нашей литературы вообще, укажутъ на тѣ вопросы, которые мы ставимъ себѣ теперь, изучая былину научно.

Географическое распредѣленіе былинъ. Первое, на что обратили вниманіе изслѣдователи, это то, что былина встрѣчается теперь только въ опредѣленныхъ мѣстахъ. Въ большинствѣ мѣстъ, занятыхъ русскимъ племенемъ, былина не существуетъ. Выясненіе географическаго распредѣленія былины представляетъ, такимъ образомъ, первый шагъ для изучающаго ея исторію.

Главнымъ центромъ, гдѣ сосредоточиваются въ настоящее время былины, оказывается сѣверный край европейской Россіи. Но и этотъ сѣверный край далеко не на всемъ пространствѣ поставляетъ былины: есть отдѣльныя только мѣстности, гдѣ эта былина, какъ принято говорить, «бытуетъ», т.-е., существуетъ въ живой передачѣ. Такимъ мѣстомъ сохраненія былинъ считался долгое время только Олонецкій край, гдѣ и записано было въ 60-хъ гг. XIX ст. наибольшее количество былинъ (Рыбниковымъ и Гильфердингомъ, отчасти корреспондентами Кирѣевскаго), составителями тѣхъ сборниковъ, къ которымъ и приходится обращаться всякому, кто берется за изученіе былинъ. Тогда и думали, что былина сохранилась, какъ древній видъ народнаго творчества, только въ этомъ краѣ; но дальнѣйшіе, болѣе внимательные поиски былины обнаружили ея присутствіе, или, по крайней мѣрѣ, ясные слѣды ея, въ цѣломъ рядѣ и другихъ мѣстностей. Уже въ 1878 г. становятся извѣстными въ печати нѣсколько былинъ изъ Архангельскаго края (Ефименко). А въ концѣ 80-хъ и началѣ 90-хъ гг. прошлаго столѣтія было произведено обстоятельное обслѣдованіе сѣвернаго края Архангельской губерніи, и въ большинствѣ русскихъ поселеній по берегу Бѣлаго моря, при устьяхъ Двины была найдена былина въ такомъ количествѣ, что мы теперь имѣемъ право говорить о былинѣ Архангельскаго края: изъ собранныхъ здѣсь до сихъ поръ записей былины составилось нѣсколько обширныхъ сборниковъ, каковы: А. Григорьева «Архангельскія былины» (Поморье, Пинега, Мезень, вышло два тома, 1904, 1910), А. Маркова «Бѣломорскія былины» (М. 1901; Зимній и Лѣтній берегъ Бѣлаго моря); наконецъ, нашлись былины по рѣкѣ Печорѣ, и получился сборникъ «Печорскихъ былинъ», собранный Ончуковымъ (1904). Эти три сборника, появившіеся въ послѣднее время, значительно обогатили наше знакомство съ былинами.

Но для изученія исторіи распространенія былины важнѣе, пожалуй,

то, что удалось констатировать слѣды былины или остатки ея въ видѣ одиночныхъ, немногихъ текстовъ и въ другихъ мѣстахъ, кромѣ тѣхъ, о которыхъ мы уже давно знали. Къ числу такихъ мѣстностей относятся, прежде всего, западная Сибирь: тамъ найдено сравнительно много былинъ. Эти былины не такъ разнообразны, какъ былины Онежскаго и Архангельскаго края, но зато представляютъ рядъ особенностей (часто архаическаго характера), которыя заставляютъ дорожить этими былинами, какъ дающими важныя указанія по исторіи самой былины (это—былины, записанныя Гуляевымъ) [1]); приблизительно изъ этой же области или изъ при-Уралья идетъ, кажется, и извѣстный сборникъ былинъ Кирши Данилова. Затѣмъ стали находить былину и тамъ, гдѣ предполагалось уже полное ея отсутствіе, именно: были найдены былины отдѣльныя въ Нижегородской (до десятка былинъ), Казанской (всего одна былина, да и то плохая), Тульской (тоже одна, плохая), и Владимирской губ. (всего двѣ былины). Правда, это только жалкіе остатки былины, преимущественно, былины того склада, который мы называемъ позднимъ, т.-е. такія былины, которыя переходятъ уже въ «побывальщину», иначе, разсказъ, уже утратившій стихотворную форму, приближающійся къ сказкѣ. Дальше былины были найдены въ Самарской и Саратовской губерніяхъ [2]) въ небольшомъ количествѣ, въ Симбирской губерніи въ довольно значительномъ сравнительно количествѣ; въ Пермской губ. записано нѣсколько былинъ; оказалась былина и въ Предкавказьѣ, среди Терскихъ и Кубанскихъ казаковъ. Нѣкоторое количество былинъ, но плохой сохранности, встрѣчено было на Уралѣ среди казаковъ (но большого довѣрія эти послѣднія былины не встрѣчаютъ: здѣсь онѣ культивируются, повидимому, искусственно) [3]). Изслѣдуя мѣстности, гдѣ находятся былины, изслѣдователи сдѣлали нѣсколько общихъ наблюденій, одно изъ нихъ, именно, то, что былины, повидимому, не такъ давно еще существовали и въ болѣе центральныхъ мѣстахъ Россіи. Въ XVIII в. и въ началѣ XIX можно было еще найти былины въ предѣлахъ московской губерніи, отдѣльныя былины были недавно записаны даже въ самой Москвѣ (но происхожденіе послѣднихъ довольно сомнительно въ томъ отношеніи, что едва ли ихъ можно считать туземными, жившими изстари въ окрестностяхъ Москвы, а не случайно занесенными), даже въ Смоленской губ. (одна).

Въ былинахъ очень часто говорится о Новгородѣ и Новгородской

---

[1]) Записаны въ 60-хъ и 70-хъ гг. прошлаго столѣтія; послѣдній разъ собраны вмѣстѣ и перепечатаны въ „Былинахъ старой и новой записи“, подъ ред. Н. С. Тихонравова и В. Ѳ. Миллера (М. 1894).

[2]) Записаны М. Е. Соколовымъ и ранѣе корреспондентами П. В. Кирѣевскаго.

[3]) Мякутина и Мякушина—два сборника, 1910.

области; напр., былины о Добрынѣ Никитичѣ, о Садкѣ, о Василіи Буслаевичѣ пріурочиваются по мѣсту дѣйствія въ Новгородскому краю. Но поиски былины въ этомъ краѣ до недавняго времени не приводили ни къ какимъ результатамъ. Теоретически ясно было одно, что былина была когда-то здѣсь, но въ настоящее время уже исчезла. Тѣмъ не менѣе, попытки опять сдѣланы были не такъ давно и привели на этотъ разъ къ болѣе благопріятнымъ результатамъ; нашлись въ концѣ-концовъ и въ Новгородскомъ краѣ остатки былины, хотя и не въ центрѣ Новгородской области: такъ, найдены были недавно отрывки былинъ въ Кирилловскомъ уѣздѣ, Новгородской губерніи [1]). Если прибавить сюда Вологодскую губернію и отчасти Пермскую, гдѣ также констатировано присутствіе былинъ [2]), то получимъ приблизительно тѣ всѣ мѣстности, въ которыхъ въ настоящее время существуютъ или въ недавнее время былины существовали.

Условія сохраненія былины. Ознакомленіе съ географическимъ распространеніемъ былинъ, указываетъ намъ не только на то, гдѣ теперь сохранились былины, но при болѣе внимательномъ отношеніи къ этимъ наблюденіямъ даетъ намъ возможность изъ географическаго распредѣленія былинъ извлечь кое-какія данныя для самой исторіи былины и сдѣлать кое-какія наблюденія надъ общими условіями развитія и сохраненія былинъ. Для того, чтобы получить подобнаго рода историческій матеріалъ для былинъ, пришлось обратить вниманіе главнымъ образомъ на то, въ какихъ условіяхъ существуетъ былина въ настоящее время, кто является носителями этой былины, и изъ изученія этихъ условій извлекать данныя для исторіи самой былины. Эти данныя для изученія былины и были извлечены, прежде всего, однимъ изъ первыхъ собирателей—Гильфердингомъ, давшимъ богатый матеріалъ своихъ наблюденій въ предисловіи къ своему сборнику, а затѣмъ, въ болѣе общемъ видѣ, В. Ѳ. Миллеромъ. Я не стану подробно повторять, какимъ образомъ извлекались эти данныя: отсылая къ первой главѣ I тома «Очерковъ» В. Ѳ. Миллера, (М. 1897, стр. 1—22), укажу только тѣ результаты, къ которымъ пришелъ В. Ѳ. Миллеръ, объединившій наблюденія свои и своихъ предшественниковъ по изслѣдованію былинъ въ этомъ отношеніи. Прежде всего, оказывается, что былина теперь составляетъ принадлежность только великорусской части русскаго племени: ни въ Малоруссіи, ни въ Бѣлоруссіи ея нѣтъ. Въ то же время и среди великоруссовъ былина встрѣ-

---

[1]) См. Соколовыхъ Б. и Ю., Сказки и пѣсни Бѣлозерскаго края (М. 1915), также гр. П. Шереметева, Зимняя поѣздка въ Бѣлозерскій край. (М. 1902).

[2]) Именно, въ Яренскомъ у. Вологодск. губ. лѣтомъ 1916 г. записана одна былина (про Илью и Сокольника): она еще не напечатана; собирателями констатированъ слѣдъ былинной традиціи въ этой мѣстности довольно ясный.

чается далеко не вездѣ. Оказывается, прежде всего, что былина продолжаетъ существовать или не такъ давно существовала въ такихъ мѣстахъ, которыя были отдалены отъ большихъ культурныхъ центровъ, въ которыхъ жизнь развивается гораздо быстрѣе, перемѣны въ жизни наступаютъ также быстро, вслѣдствіе чего быстрѣе мѣняются вкусы, міросозерцаніе населенія и т. д. Тамъ, въ центрахъ, былина теперь отсутствуетъ и давно уже отсутствуетъ. Этимъ-то и объясняется, почему былины сохранились, главнымъ образомъ, въ тѣхъ мѣстахъ, которыя и до сихъ поръ въ культурномъ отношеніи стоятъ нѣсколько замкнуто, обособленно или могутъ счестся отставшими отъ культуры центровъ. Таковъ именно Олонецкій край, который, несмотря на близость центра — Петрограда — не испытывалъ до весьма недавняго времени на себѣ вліянія этого культурнаго центра, въ значительной степени живетъ и до сихъ поръ старой, своеобразной жизнью. То же самое, еще съ большимъ правомъ, можно сказать объ Архангельской области и о восточной части Новгородской губерніи, гдѣ найдены были послѣдніе остатки былинъ въ Кирилловскомъ уѣздѣ: этотъ послѣдній и до сихъ поръ является однимъ изъ самыхъ малодоступныхъ по отношенію къ путямъ сообщенія, далеко лежитъ въ сторонѣ отъ большихъ проходныхъ дорогъ, черезъ которыя совершается обмѣнъ населенія разныхъ мѣстностей. Точно также это имѣетъ значеніе и для такихъ мѣстъ, какъ Западная Сибирь. Что же касается находки былинъ на Волгѣ, по берегамъ Терека и Кубани, то въ этихъ мѣстахъ былины, несомнѣнно, сохранились только потому, что онѣ туда попали въ сравнительно недавнее время: эти края заселены съ сѣвера великоруссами тогда, когда русское населеніе обладало еще былинами [1]). Колонизація Поволжскаго края русскимъ населеніемъ среди инородческаго произошла не ранѣе XVI—XVII вв. То же объясненіе приложимо къ находкамъ былины въ Сибири, гдѣ русская колонизація относится по началу приблизительно къ тому же времени. То же самое нужно сказать и по отношенію къ былинамъ, которыя извѣстны на югѣ среди Терскаго и Кубанскаго казачества. Терское, Кубанское казачье войско представляютъ собою еще болѣе поздній слой колонизаціи на югѣ Россіи съ сѣвера. Такимъ образомъ, несомнѣнно, что самыми старыми, древними мѣстами существованія былинъ являются мѣста сѣверныя (Новгородъ съ его областями) и, можетъ быть, центральныя, гдѣ когда-то былина существовала, но гдѣ она теперь почти исчезла. Такимъ образомъ ясно, что самое существованіе былинъ и со-

---

[1]) Былинный репертуаръ этихъ мѣстъ не богатъ и своеобразенъ, въ немъ преобладаютъ разбойничья пѣсня и „казацкая“ былины (поздніе).

хранность ихъ стоитъ въ зависимости по крайней мѣрѣ отъ двухъ причинъ: съ одной стороны, отъ положенія края, который долгое время остается внѣ сильнаго вліянія центральной культуры; съ другой стороны, былина появляется въ тѣхъ мѣстахъ, куда она была занесена путемъ колонизаціи, когда еще условія русскаго быта были благопріятны для ея существованія. Это — два самыя главныя наблюденія. Естественно возникаетъ при этомъ вопросъ: какимъ образомъ былина могла сохранятся довольно долгое время въ мѣстахъ, гдѣ великорусское населеніе издавна является главнымъ культурнымъ элементомъ, напр., въ Московскомъ районѣ? Здѣсь русское населеніе появляется чуть не съ XII в., а съ XIV, несомнѣнно, оно становится уже сплошнымъ почти (не только въ Московской губерніи, но вообще въ цѣломъ районѣ, тяготѣющимъ къ Москвѣ). Мы видимъ, что и у этого передового по культурѣ населенія были когда-то свои былины: мы можемъ указать не только московскіе слѣды (правда, болѣе поздніе, XV и сл. вѣковъ) въ сѣверной теперь былинѣ, но можемъ указать рядъ сюжетовъ московскаго, рязанскаго и суздальскаго происхожденія. Здѣсь на первый взглядъ какъ будто противорѣчіе, сравнительно съ произведеннымъ выше наблюденіемъ. На дѣлѣ же этого нѣтъ: въ древнее время, несмотря на извѣстную культурность населенія въ центрѣ сравнительно съ окраинами, общія условія жизни московскаго района были еще таковы, что былина существовать могла, но лишь эти условія, при смѣнѣ формъ жизни, стали иными, исчезла и былина. Московское же старое населеніе, насколько мы знаемъ, двигалось и прежде изъ центра на сѣверъ [1]), какъ оно позднѣе колонизовало Поволжье и отчасти западную Сибирь; оно занесло на сѣверъ и свои московскіе, рязанскіе или суздальскіе сюжеты и московскія черты, находимыя въ былинахъ сѣвера, который такимъ образомъ сохранилъ это заносное наслѣдство; дома же, въ центрѣ, былина естественно забывалась, и мы ее почти не находимъ

---

[1]) Имѣются въ виду передвиженія (частичныя) московскаго населенія въ область Новгородскую (весь сѣверъ на востокъ отъ Новгорода, уже давно колонизировался отсюда; новгородская колонизація захватила районъ не только Европейской Россіи по сѣвернымъ притокамъ Волги, но доходила до Урала и частью переваливала въ западную Сибирь). Эти передвиженія, имѣвшія характеръ, прежде всего, политическій (процессъ объединенія Руси около Москвы), особенно сильно и систематически велись въ XV и XVI в., въ результатѣ чего (особенно при политикѣ московскихъ князей—уводъ безпокойнаго населенія изъ Новгородской области) мы видимъ рѣзкое измѣненіе характера населенія въ городахъ, гдѣ новгородцевъ и псковичей вытѣсняютъ московскіе правительственные колонисты. Это объясняетъ фактъ, почему въ Новгородѣ самая былина исчезла (ее вмѣстѣ съ мѣстнымъ населеніемъ вытѣснили московскіе пришельцы), сохранившись среди сельскаго населенія, гдѣ такого сильнаго давленія правительственной колонизаціи не видѣли.

въ Московскомъ районѣ. Такимъ образомъ, мы получаемъ объясненіе, почему въ центрѣ теперь мы не находимъ былинъ, но въ то же время не можемъ ея отрицать здѣсь въ древнее время. Съ другой стороны, присматриваясь внимательно къ былинѣ, сохраненной на сѣверѣ и въ другихъ мѣстахъ—на Волгѣ, въ западной Сибири, по Тереку и Кубани—мы видимъ разницу въ самихъ былинахъ; разница, главнымъ образомъ, заключается въ томъ, что сѣверная былина является болѣе художественной, стройной, болѣе выдержанной, чаще отливающейся въ опредѣленную, всюду болѣе или менѣе неизмѣнно повторяющуюся форму. Она отличается тамъ и полнотой содержанія, отличается богатствомъ поэтическихъ изобразительныхъ средствъ, тогда какъ былины, записанныя въ другихъ мѣстахъ, кромѣ сѣвера, являются въ болѣе скомканномъ видѣ: повидимому, въ этомъ случаѣ удерживаютъ въ памяти, главнымъ образомъ, только то, что легче,—именно, самую фабулу, сюжетъ былины,—тогда какъ тѣ художественныя средства, которыя даютъ опредѣленную форму былинѣ, какъ болѣе трудныя для запоминанія, постепенно забываются; былина, такъ сказать, разлагается; такая плохая по сохранности и по составу былина и встрѣчается въ Самарской, Саратовской, отчасти въ Симбирской губерніяхъ, по Волгѣ, въ области Терскаго и Кубанскаго казачьихъ войскахъ. Кромѣ того, надо прибавить, что на сѣверѣ репертуаръ былинъ, и по сюжетамъ и по объему, неизмѣримо богаче, чѣмъ въ перечисленныхъ мѣстахъ: многіе сюжеты и имена въ этихъ мѣстахъ совершенно неизвѣстны, или на нѣкоторые сюжеты сохранились лишь неясные намеки, мало понятные самимъ пѣвцамъ былинъ въ этихъ мѣстахъ. Какъ это объяснить? Присматриваясь къ самому характеру жизни былинъ, изслѣдователь находитъ отвѣтъ и на этотъ вопросъ; онъ находится въ тѣхъ условіяхъ быта, отчасти въ историческомъ прошломъ сѣвернаго края. Несомнѣнно, было время, когда и въ другихъ мѣстахъ былины представляли ту же полноту, тѣ же формальныя особенности, которыя представляютъ теперь былины на сѣверѣ. Самыя условія даже современнаго быта на сѣверѣ рѣзко отличны отъ быта другихъ мѣстъ, не говоря уже про мѣста центральныя. Подвергаясь сравнительно меньшему вліянію центра въ культурномъ отношеніи, этотъ край сохранилъ гораздо больше старины въ своемъ обиходѣ. Эта архаичность быта, его устойчивость сказались и на другихъ видахъ устно-народной поэзіи. Тогда какъ въ другихъ мѣстностяхъ устно-народная поэзія представляетъ большей частью лишь обломки старины, обрядовыя пѣсни, пѣсни лирическія, въ болѣе архаичномъ, въ наиболѣе цѣльномъ, свѣжемъ видѣ сохраняются именно на сѣверѣ. Та же консервативность быта должна быть признана въ значительной степени однимъ изъ важнѣйшихъ условій сохраненія былины въ болѣе

или менѣе чистомъ видѣ, въ болѣе или менѣе древнемъ видѣ. Каковы же особенности этого быта? Какъ на одну изъ видныхъ, указываютъ на соціальное положеніе населенія сѣвернаго края. Соціальное положеніе сѣвернаго края довольно рѣзко отличается издавна отъ другихъ мѣстъ Россіи. Достаточно напомнить то, что, тогда какъ въ остальной Россіи, начиная съ конца XVI в. окончательно утверждается крѣпостное право со всѣмъ его уродливымъ складомъ, со всею его несправедливостью по отношеніи къ низшему классу населенія—къ крестьянству, на сѣверѣ крѣпостное право остается или совершенно почти неизвѣстнымъ или же извѣстно только номинально (напр., совершенно не было оно извѣстно на сѣверѣ въ Архангельской губерніи): тамъ были пустоши, земли, правда, принадлежавшія помѣщикамъ, б. ч. центральныхъ районовъ; но эти помѣщики тамъ никогда не жили, не эксплуатировали непосредственно своего достоянія, живя въ культурныхъ центрахъ, они или ограничивались только сознаніемъ того, что у нихъ есть тамъ земля, или же пользовались съ этой земли тѣми доходами, которые вытекали изъ того естественнаго быта, которымъ жило населеніе, т.-е. получали оттуда сырые продукты въ видѣ лѣса, рыбы и т. п. натуральныхъ продуктовъ. Вліяніе же крѣпостного права тамъ, гдѣ оно примѣнялось активно, на характеръ, на самосознаніе народа было громадно: именно, въ силу крѣпостного права въ значительной степени русскіе крестьяне обезличивались, въ значительной степени теряли свою опредѣленную нравственную физіономію, превращаясь въ безличнаго холопа, который, живетъ не столько своей жизнью, сколько жизнью, построенной на пользу эксплоататора-помѣщика: отрицательная сторона крѣпостного права не подлежитъ ни для кого сомнѣнію и по отношенію къ устной словесности. Тамъ, гдѣ этихъ условій не было или почти не было, народная физіономія сохранилась въ большей чистотѣ. И дѣйствительно, если сравнить свободнаго послѣ 1861 г. крестьянина центральныхъ губерній и сѣверянина, надъ которымъ это крѣпостное право не тяготѣло, то можно убѣдиться, что это—совершенно два различныхъ человѣка по типу, по міросозерцанію, по отношенію къ окружающему. Крѣпостной крестьянинъ на все привыкъ смотрѣть изъ рукъ барина, справляться, какъ къ этому относится баринъ; на сѣверѣ же крестьянинъ отличается большей самостоятельностью, онъ знаетъ себѣ цѣну, проникнутъ уваженіемъ къ себѣ, дорожитъ своимъ бытомъ, какъ своимъ. Поэтому, наличность крѣпостного уклада надо счесть одной изъ причинъ, которыя способствовали быстрому вырожденію былевой поэзіи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она была, и отсутствіе его—одной изъ причинъ болѣе долговѣчнаго сохраненія свободнаго творчества, въ частности былины.

Вторая причина большей сохранности былины, которая обыкновенно указывается,—это условія природы, въ значительной степени опредѣлившія самый характеръ занятій населенія, а эти, въ свою очередь, обусловливали жизнь былины. Условія существованія въ сѣверномъ краѣ, главнымъ образомъ, въ Архангельскомъ и Олонецкомъ краѣ, конечно, будутъ не тѣ, что въ центральныхъ мѣстностяхъ Россіи. Начать нужно съ того, что самая природа этого края дѣлаетъ для человѣка почти невозможнымъ одно изъ главныхъ занятій русскаго крестьянина—земледѣліе. Полоса земледѣлія въ сѣверномъ краѣ проходитъ на югѣ Ладожскаго и Онежскаго озера: сѣвернѣе оно уже не можетъ регулярно вестись. Земледѣліе здѣсь въ силу климата, въ силу свойствъ почвы, каменистой, дикой, поросшей лѣсомъ, почти невозможно, особенно какъ основа народнаго хозяйства. Только низшіе сорта хлѣба, въ родѣ ячменя, льна, иногда овса могутъ быть культивированы, и то только въ южной части района и въ ограниченномъ количествѣ: существовать приходится покупнымъ привознымъ хлѣбомъ, а это должно было развивать другія отрасли промышленности, какъ источникъ для пріобрѣтенія привознаго хлѣба. Поэтому мы и видимъ, что охотничій промыселъ во всѣхъ его видахъ составляетъ и до сихъ поръ основной фонъ хозяйства сѣвернаго крестьянина; къ нему присоединяется рубка и сплавъ лѣса, всевозможныя деревянныя издѣлія, которыя идутъ, впрочемъ, болѣе для мѣстнаго потребленія, слабо замѣняясь продуктами болѣе культурныхъ районовъ въ силу отсутствія и трудности путей сообщенія. Такова жизнь сѣвера теперь, какъ было и раньше, когда этотъ край постепенно былъ занятъ новгородской колонизаціей; позднѣе туда проникла и московская. Обиліе лѣсовъ, сравнительно рѣдкое населеніе надолго сохранили эти промыслы и соединенный съ ними укладъ жизни сѣвера. Затѣмъ, такъ какъ этотъ край преимущественно озерный, обильный водами и выходитъ къ Бѣлому морю, то здѣсь и рыбный промыселъ играетъ видную роль. Этотъ промыселъ составляетъ крупную статью дохода и источникъ существованія сѣвернаго крестьянина. Эти виды промысловъ должны были наложить опредѣленный отпечатокъ и на самую физіономію, на выработку характера и жизни крестьянина: крестьянинъ, который постоянно сидитъ на землѣ и пашетъ, тѣсно связанъ съ землею, вырабатывается въ одинъ типъ; человѣкъ, который долженъ проводить большую часть своей жизни въ скитаніяхъ по лѣсамъ или въ плаваніи по озерамъ и рѣкамъ и на морѣ, подвергаясь постояннымъ случайностямъ, вырабатывается въ другой типъ. И дѣйствительно, сѣверный типъ рѣзко отличается отъ забитаго, осторожнаго русскаго человѣка средней полосы: это—человѣкъ смѣлый, независимый, привыкшій полагаться на собственную ловкость, на собственныя силы

и въ лучшемъ случаѣ учитывающій коллективную силу, силу ватаги. Это, несомнѣнно, въ значительной степени и создало ту обстановку, которая способствовала сохраненію былины на сѣверѣ; отсутствіе этой обстановки въ значительной степени повліяло на исчезновеніе былины на югѣ. Это отмѣчается и собирателями, внимательно присматривавшимися къ быту носителей былины [1]). Дѣло въ томъ, что у болѣе культурнаго человѣка, живущаго бытомъ уже болѣе развитымъ, время занятій распредѣляется болѣе равномѣрно и по его волѣ: онъ въ теченіе цѣлаго года занятъ то однимъ, то другимъ. При болѣе первобытныхъ способахъ занятій человѣкъ находится въ большей зависимости отъ внѣшнихъ условій природы: времени года, погоды и т. д. На звѣря, при томъ опредѣленнаго, охотиться можно далеко не всегда, рыбу ловить—тѣмъ болѣе. Поэтому естественно, что самыя занятія у сѣверянина располагаются обычно по временамъ года иначе, чѣмъ у южнаго землевладѣльца-крестьянина. Въ отдѣльныя времена года, сравнительно на недолгій срокъ, напр., когда появляется въ лѣсахъ дичь и звѣрь, или когда начинается ловъ рыбы, отъ человѣка требуется громадное напряженіе; но послѣ этого напряженія наступаетъ полное вынужденное бездѣйствіе. Дѣлать ему нечего: дичи нѣтъ, рыба въ это время не ловится, и естественно, что тогда остается либо браться за домашнее занятіе, или же приходится отдыхать послѣ тяжелаго труда, котораго требуетъ главный промыселъ; отчасти надо готовиться къ будущему улову, охотѣ: приготовлять снасти, орудія, чинить суда и т. д. Все это заставляетъ сѣвернаго крестьянина жить на два фронта: или вести страшно подвижную энергичную жизнь, или сиднемъ сидѣть и дожидаться, когда снова наступитъ опять этотъ періодъ дѣятельности. Это, несомнѣнно, вліяетъ на его міросозерцаніе. Въ страдную пору ему некогда думать о какомъ-нибудь удовольствіи, о какомъ-нибудь пріятномъ, эстетичномъ препровожденіи времени. Затѣмъ наступаетъ досугъ, когда человѣкъ отдыхаетъ отъ занятій или занятъ легкой работой, вродѣ плетенія сѣтей или ожиданіемъ гдѣ-нибудь на берегу озера, когда начнетъ итти рыба и т. п. Это время онъ употребляетъ и на отдыхъ и на тѣ занятія, которыя удовлетворяютъ его эстетическія потребности—обстановка чрезвычайно благопріятная для художественнаго творчества или, по крайней мѣрѣ, для интереса къ художественной литературѣ. Это и считаютъ довольно виднымъ условіемъ сохраненія былинъ [2]).

Въ числѣ второстепенныхъ условій указываютъ и другія, съ кото-

---

[1]) Особенно цѣнно въ этомъ отношеніи предисловіе А. Ѳ. Гильфердинга къ его „Онежскимъ былинамъ“.

[2]) Хорошій очеркъ сѣвернаго быта см. въ изд. Девріена „Россія, описаніе нашего отечества“ подъ ред. Семенова, т. III (1900), главы преимущ. V и VI.

рыми нельзя не считаться: это именно то, что значительная часть населенія сѣвернаго края, если не принадлежитъ прямо къ старообрядчеству, сектантству, все-таки въ значительной степени воспитана подъ вліяніемъ консервативнаго направленія русской жизни. Какъ извѣстно, сѣверный край—Олонецкій и Архангельскій—былъ самымъ сильнымъ и долговременнымъ оплотомъ старообрядчества, а это въ значительной степени объясняетъ то, что у населенія сѣвера, несмотря на его общую подвижность, энергію, болѣе слабо развитъ вкусъ къ новому, а къ старинѣ оно относится съ большей любовью и съ большимъ интересомъ. Это отчасти подтверждается и біографіями пѣвцовъ былинъ. Если взять біографическія данныя тѣхъ лицъ, отъ которыхъ записывались былины, то между ними видное мѣсто займутъ старообрядцы или старообрядствующіе. Такъ, извѣстный современный намъ сказатель былинъ Иванъ Трофимовъ Рябининъ—старообрядецъ; также старообрядцами были Еремѣевъ, Абрамъ Евтихіевъ, отъ которыхъ записывалъ былины Гильфердингъ; выгозерскія былины Гильфердинга того же происхожденія. Несомнѣнно, что эта сторона культуры помогла задержать въ памяти сѣвернаго населенія былину.

Затѣмъ, указываютъ на то, что общій типъ сѣвернаго человѣка, психологически развивавшагося подъ вліяніемъ всѣхъ условій жизни на сѣверѣ, оказался способнымъ и воспріимчивымъ къ художественнымъ произведеніямъ. Насколько этотъ психологическій мотивъ можетъ быть доказанъ точно, сказать трудно, но общія наблюденія показываютъ, что любовь къ поэзіи, отличное умѣнье запоминать, вкусъ къ ней, умѣніе передавать ее, передаются въ рядѣ сказателей изъ поколѣнія въ поколѣніе, и это должно было быть благопріятнымъ условіемъ для сохраненія былины.

Наконецъ, послѣднимъ обстоятельствомъ, которое въ значительной степени уясняетъ, почему былина сохранилась на сѣверѣ, является чисто внѣшнее обстоятельство, именно то, что грамотность, пользованіе письменностью и свѣтскими книгами здѣсь крайне слабо развиты. Тѣ культурныя средства, которыя стоятъ въ связи съ грамотностью, въ значительной степени идутъ вразрѣзъ съ условіями сохраненія, сбереженія памятниковъ старой устной народной словесности: несомнѣнно, что благодаря грамотности у человѣка кругозоръ расширяется, ему становится доступенъ цѣлый рядъ произведеній, которыя выработаны въ другой средѣ. Это расширяетъ и мѣняетъ его вкусъ и пожимаетъ вкусъ къ тому старому, традиціонному (что необходимо для сохраненія устнонародной словесности). Затѣмъ, замѣчается и то, что грамота ослабляюще вліяетъ на развитіе памяти человѣка: если у человѣка есть возможность записать, имѣть то или другое въ записанномъ видѣ, то,

конечно, онъ и не старается такъ запомнить для него интересное: у него есть средство всегда возстановить въ памяти. И дѣйствительно, оказывается, по наблюденію физіологовъ и психологовъ, что люди неграмотные или не могущіе читать, по какому-нибудь физическому недостатку—слѣпотѣ, глухотѣ, обыкновенно отличаются гораздо большей способностью помнить, нежели люди, которые пользуются письменностью. Въ этомъ отношеніи здоровое сѣверное населеніе представляетъ явленіе выдающееся, по крайней мѣрѣ, въ отдѣльныхъ случаяхъ. Какъ велика бываетъ эта способность помнить, можно судить по многимъ пѣвцамъ, отъ которыхъ приходилось записывать былины. Такъ, напримѣръ, одинъ изъ пѣвцовъ былинъ, Щеголенокъ пѣлъ свои былины Гильфердингу, отчасти Рыбникову; оказалось, что отъ одного Щеголенка пришлось записать цѣлый рядъ былинъ, которыя охватывали почти весь репертуаръ былинъ Олонецкаго края—до 20 былинъ. Если перевести этотъ циклъ былинъ на цифры, то оказывается, что Щеголенокъ помнитъ отъ двухъ тысячъ до трехъ тысячъ отдѣльныхъ стиховъ, которые онъ всегда могъ воспроизводить, когда у него есть соотвѣтствующее настроеніе и желаніе. Записывавшимъ былины встрѣчались такіе пѣвцы, которые помнили 5—6 тысячъ стиховъ былинъ. Сверхъ того, почти каждый пѣвецъ зналъ много другихъ пѣсенъ (не былевыхъ), сказокъ и т. п. Такимъ образомъ, еще однимъ крупнымъ условіемъ для существованія и сохраненія былинъ, является это счастливое развитіе памяти.

Вотъ приблизительно тѣ условія, которыя до настоящаго времени могли быть приведены для объясненія того, почему былины сохранились именно на сѣверѣ въ лучшемъ видѣ, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Условія культурныя, условія физіологическаго, отчасти психологическаго характера, выработавшія здѣсь особый типъ населенія, способствовали тому, что этотъ старый видъ литературы нашелъ на сѣверѣ лучшихъ хранителей, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, гдѣ культура вырабатывала новые типы жизни и новые интересы, а слѣдомъ за ними и новые виды устной словесности.

Такимъ образомъ, обобщая, мы должны сказать, что и былина, какъ и всякій иной видъ литературы, стоитъ въ тѣсной связи съ культурными условіями жизни народа, его исторіей—въ широкомъ смыслѣ этого слова.

Содержаніе былинъ. Слѣдующій вопросъ—о содержаніи той былины, которая въ настоящее время собрана и доступна въ значительной степени для ученыхъ изслѣдованій. Если мы посмотримъ многочисленные сборники, или ограничимся, по крайней мѣрѣ, крупнѣйшими изъ нихъ, то мы увидимъ, что репертуаръ былинъ далеко не является

безграничнымъ. Почти каждый изъ пѣвцовъ знаетъ одну или нѣсколько такихъ былинъ, которыя извѣстны, по одиночкѣ или по нѣскольку, цѣлому ряду другихъ, извѣстны и въ разныхъ мѣстахъ, т.-е., отдѣльные сюжеты былинъ оказываются распространенными болѣе или менѣе, каковы, напр., былины объ Ильѣ и Сокольникѣ, объ Ильѣ и Идолищѣ, Вольгѣ и т. д.; другіе былинные сюжеты, наоборотъ, рѣдки: мы знаемъ ихъ отъ немногихъ пѣвцовъ и въ немногихъ мѣстахъ, каковы: объ Алешѣ и Тугаринѣ, Сухманѣ, Дунаѣ и Добрынѣ и т. п. При всемъ томъ репертуаръ былинныхъ сюжетовъ представляетъ теперь нѣчто опредѣленное. Слѣдя за былинными сюжетами по сборникамъ, мы можемъ перечислить эти сюжеты; отдѣльныхъ такихъ сюжетовъ, которые трактуются былиной въ настоящее время, можно насчитать до четырехъ десятковъ. Повидимому, другихъ сюжетовъ, помимо тѣхъ, которые намъ извѣстны до настоящаго времени, давно уже не встрѣчается въ живомъ исполненіи былины. Всѣ собиратели прежняго времени, каковъ, напримѣръ, Кирша Даниловъ въ XVIII в., а также громадные сборники нашего времени, напримѣръ, Гильфердинга и Рыбникова, сборникъ Маркова, Григорьева, Онучкова, новыхъ сюжетовъ уже почти не даютъ. Эти наблюденія показываютъ, что собственно былина къ нашему времени, ко времени знакомства съ нею, уже кончила свое развитіе, новыхъ сюжетовъ былинныхъ уже давно не создается; по крайней мѣрѣ, можно утверждать, что въ XVIII и XIX вв. новыхъ былинныхъ сюжетовъ уже почти не возникало [1]). Это наблюденіе чрез-

[1]) Самый поздній изъ сюжетовъ, обработанныхъ въ былинѣ, намъ извѣстный,—былина о Бутманѣ (петровское время); о ней см. В. Ѳ. Миллера, Очерки, II (1910), 385—405.

Такой подсчетъ былинныхъ сюжетовъ (до сорока) нельзя понимать въ томъ смыслѣ, что всѣхъ былинъ, какъ отдѣльныхъ произведеній, поется также только около того же числа: ихъ гораздо больше (не считая варіантовъ одной былины у разныхъ пѣвцовъ). Число былинъ не соотвѣтствуетъ на дѣлѣ числу сюжетовъ потому, что многія былины представляютъ комбинаціи, при томъ различныя, этихъ сюжетовъ; часто былина вся цѣликомъ состоитъ изъ комбинацій сюжетовъ, извѣстныхъ намъ изъ другихъ былинъ: былину эту дѣлаетъ отдѣльнымъ произведеніемъ, именно, индивидуальность комбинаціи. Такова, напр., казавшаяся новой (неизвѣстной до сихъ поръ) былина о Камскомъ побоищѣ, которую впервые записавшій эту былину въ двухъ варіантахъ въ Бѣломорьѣ А. В. Марковъ и счелъ неизвѣстной до сихъ поръ былиной, воспѣвающей походъ Новгородцевъ по Югру въ XIV в. (Сборникъ въ честь В. Ѳ. Миллера (М. 1900, стр. 150 и сл.)—событіе, до сихъ поръ не извѣстное въ былинной обработкѣ; на дѣлѣ же оказалось, что мы имѣемъ дѣло съ неизвѣстной, правда, до сихъ поръ комбинаціей мотивовъ и сюжетовъ, въ иной комбинаціи уже использованныхъ знакомой намъ былиной о гибели богатырей (Калкское побоище); см. В. Ѳ. Миллеръ, Очерки, II, 32—59. Такое наблюденіе—ограниченность числа сюжетовъ и разнообразіе, многочисленность комбинацій ихъ, образующихъ новыя былины,—наблюденіе, чрезвычайно важное для изученія процесса созданія самой былины вообще, уясненія роли, индивидуальности пѣвца и сказителя въ композиціи былины.

вычайно важно для сужденія о былинѣ. Если оно вѣрно (а сомнѣваться въ томъ нѣтъ основанія), то, прежде всего, былина представляется произведеніемъ, живущимъ не только теперь по традиціи, но жившимъ ею уже долгое время; она съ нѣкотораго времени дальше не развивается въ смыслѣ содержанія; а это даетъ возможность изслѣдователю уже точно и исчерпывающимъ образомъ изучать ее, какъ явленіе законченное въ своей исторіи. Такимъ образомъ, ограниченность былинныхъ сюжетовъ въ данномъ случаѣ представляетъ извѣстную выгоду въ научномъ отношеніи, т.-е.: мы имѣемъ дѣло съ такимъ литературнымъ фактомъ, который уже доступенъ нашему изслѣдованію болѣе или менѣе во всемъ своемъ объемѣ. Для наглядности можно поставить вопросъ такимъ образомъ: если бы мы хотѣли сказать, что такое былинное творчество, какъ фактъ литературы, съ одной стороны, и что такое дѣятельность, хотя бы Андрея Бѣлаго или Мережковскаго— съ другой, то разумѣется, мы здѣсь окажемся не въ одинаковыхъ условіяхъ. Тамъ мы имѣемъ дѣло съ законченнымъ явленіемъ, которое можно со всѣхъ сторонъ разсмотрѣть, матеріалъ котораго весь въ нашихъ рукахъ [1]); произведенія же современныхъ писателей, которые еще продолжаютъ свою дѣятельность, есть фактъ еще незаконченный, и произнести о немъ сужденіе, которое претендовало бы на полную опредѣленность, мы не имѣемъ возможности. Какое-нибудь вновь появляющееся произведеніе современнаго писателя, можетъ коренным образомъ измѣнить наше представленіе объ этомъ писателѣ, какъ это, напримѣръ, мы испытали при изученіи дѣятельности Л. Н. Толстого: философскія, религіозныя произведенія его, явившіяся въ 80-хъ гг., радикально измѣнили наше представленіе о его дѣятельности, о немъ самомъ: до этого времени мы видѣли въ немъ преимущественно художника, теперь видимъ не только художника, но и великаго мыслителя-философа. И дѣятельность Л. Н., только что закончившаяся, выяснится намъ вполнѣ только тогда, когда мы узнаемъ все, что̀ имъ создано, что̀ его касается; а это дѣло будущаго, когда весь касающійся его матеріалъ будетъ въ нашихъ рукахъ. Въ данномъ случаѣ представляетъ преимущество состояніе былины: матеріалъ былины собранъ въ такомъ количествѣ, что новыхъ, особенно крупныхъ, открытій мы уже ждать не можемъ. Это придаетъ еще болѣе твердости въ изученіи былины. Это—еще любопытное наблюденіе надъ общимъ состояніемъ былинъ.

---

[1]) Надеждъ найти дѣйствительно новыя по сюжету былины у насъ, повидимому, почти нѣтъ; это, конечно, не исключаетъ того, что мы можемъ найти новое для освѣщенія исторіи этихъ сюжетовъ. Это дѣло новыхъ поисковъ, научнаго анализа.

Происхожденіе былины. Затѣмъ, присматриваясь ближе къ составу теперешняго былиннаго репертуара, мы естественно, ставимъ рядъ вопросовъ, изъ которыхъ на первомъ мѣстѣ вопросъ о мѣстѣ и времени происхожденія былинъ. На основаніи самаго общаго изученія содержанія былинъ, мы можемъ заключать: разъ мѣстомъ дѣйствія былины является, напр., Кіевъ или Новгородъ, то естественно предполагать, что подобная былина скорѣе могла возникнуть въ Кіевѣ или въ Новгородѣ, или въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ было вліяніе Кіева или Новгорода, гдѣ интересъ къ нимъ существовалъ или существуетъ. Если въ былинѣ фигурируетъ Владиміръ—«Красное Солнышко», то зная, кто этотъ Владиміръ, мы на основаніи содержанія такой былины можемъ говорить, что эта былина описываетъ то время, когда интересовались княземъ Владиміромъ, или приблизительно относится по созданію къ такому-то или иному времени, когда еще былъ интересъ къ этому лицу. Я беру самый наглядный, неточный, грубый примѣръ. Это—то первое впечатлѣніе, которое получается у насъ, когда мы читаемъ былину и стараемся разрѣшить поставленные вопросы; несмотря на поверхностность свою, это первое впечатлѣніе имѣетъ въ себѣ долю правды; имъ руководились и первые изслѣдователи былины. На дѣлѣ же исторія возникновенія былины и мѣсто ея появленія нуждаются въ гораздо болѣе сложномъ анализѣ. Присматриваясь къ былинамъ, во всемъ ихъ объемѣ, намъ извѣстномъ, мы, прежде всего, замѣтимъ, что мѣстности, около которыхъ сосредоточивается дѣйствіе былины, довольно разнообразны. Съ одной стороны, это будетъ былина, гдѣ дѣйствіе будетъ часто на сѣверѣ—въ Новгородѣ и около Новгорода; съ другой стороны, еще чаще, это мѣста кіевскія, южно-русскія степи. Отсюда можно было бы сдѣлать выводъ, что былина зарождалась именно на сѣверѣ и на югѣ Россіи. Но этотъ вопросъ осложняется тѣмъ, что такъ называемыя «южныя» былины мы находимъ, однако, на сѣверѣ, и только здѣсь. Конечно, въ такомъ случаѣ, возникаетъ вопросъ: если данная былина, судя по этимъ признакамъ, слагалась на югѣ, то какимъ путемъ она оказалась на сѣверѣ? Затѣмъ, присматриваясь внимательно къ содержанію былинъ, къ тѣмъ намекамъ, какіе встрѣчаются въ нихъ, мы находимъ возможность расширить перечень тѣхъ мѣстностей, гдѣ могли возникнуть былины, разъ мы считаемъ былину такимъ мѣстнымъ продуктомъ. Былины говорятъ также о Галичѣ богатомъ, Волыни, откуда выходятъ богатыри. Это даетъ право предполагать, что эти былины создались въ тѣхъ мѣстахъ. Наконецъ, есть возможность видѣть въ былинахъ еще отзвукъ мѣстныхъ преданій въ видѣ упоминаній о другихъ мѣстахъ. Мы видимъ, что былина упоминаетъ Рязань, Суздаль, Москву, Муромъ. Очевидно, что,

если мы стоимъ на той точкѣ зрѣнія, что по мѣсту дѣйствія и упоминаніямъ въ былинахъ можно заключать о мѣстѣ ихъ происхожденія, мы должны будемъ внести уже поправку въ первое наше впечатлѣніе, именно, сказать, что, если дѣйствительно Кіевъ указываетъ на мѣстное кіевское происхожденіе былины, Новгородъ—на новгородское происхожденіе былины, то и другія мѣстныя названія, встрѣчающіяся въ былинѣ, должны быть внесены въ число указаній на мѣстности происхожденія былины: и Черниговъ, и Галичъ, и Волынь, и Москва, и Суздаль, Рязань и т. д. Такимъ образомъ, вопросъ о мѣстѣ происхожденія, какъ видимъ, былины вообще рѣшается далеко не такъ просто. Но и сдѣланная поправка не даетъ окончательнаго указанія на мѣстность происхожденія той или иной былины: мѣстныя упоминанія въ иныхъ былинахъ встрѣчаются по нѣсколько вмѣстѣ: Илья ѣдетъ въ Кіевъ изъ родного села Карачарова, онъ Муромецъ, ѣдетъ черезъ Черниговъ, гдѣ совершается часть его подвиговъ; Дюкъ изъ Галича ѣдетъ въ Кіевъ, Алеша Поповичъ—рязанецъ, живетъ въ Кіевѣ, кіевлянинъ Добрыня совершаетъ свой подвигъ въ Литвѣ и т. д. Ясно, что не всѣ «мѣстныя» указанія одинаково показательны для опредѣленія мѣстности происхожденія былины: мы часто имѣемъ здѣсь дѣло и съ «типическимъ» пріуроченіемъ, какое представляетъ, напр., Кіевъ съ княземъ Владиміромъ: сюжетъ въ однихъ текстахъ пріуроченъ къ Кіеву, въ другихъ—къ Новгороду и т. д. Такимъ образомъ, и въ мѣстныхъ названіяхъ мы имѣемъ дѣло съ историческими напластованіями, съ переносомъ указанія изъ другой былины, съ указаніемъ, точнаго географическаго значенія не имѣющимъ; сюжетъ новгородскій сталъ кіевскимъ или обратно. Такимъ образомъ, одного упоминанія той или другой мѣстности въ былинѣ недостаточно для опредѣленія ея происхожденія, какъ поэтическаго изображенія преданія данной мѣстности: необходимо доказать опредѣленное мѣстное происхожденіе основного сюжета былины. Изученіе же былины въ связи съ исторіей мѣстнаго преданія дастъ болѣе надежныя основанія для опредѣленія мѣста и времени ея появленія; такое изслѣдованіе ведетъ къ выводу, что былины созидались и жили въ различныхъ мѣстахъ, передвигались съ родины на иныя мѣста, гдѣ получали новыя мѣстныя черты, иныя пріуроченія. Признавая же былину поэтическимъ произведеніемъ опредѣленной мѣстности, мы на основаніи наблюденій надъ основнымъ ея сюжетомъ и его измѣненіями, съ одной стороны, и мѣстами, гдѣ мы находимъ ее—съ другой, должны притти къ выводу, что, если былина и могла созидаться въ Кіевѣ, Новгородѣ, въ Муромѣ, и въ Рязани, и въ Галичѣ и т. д., какъ отзвукъ мѣстнаго преданія, всеже она тянула къ двумъ главнымъ историческимъ центрамъ Руси—Кіеву и Новгороду—и ихъ

областямъ. Происхожденіе значительной части былинъ можетъ быть довольно прочно отнесено къ югу Россіи, другихъ (правда, сравнительно не многихъ), къ центру Руси (Московской области). Но въ Кіевѣ и въ центрѣ Руси былины теперь не находимъ: она оказалась на сѣверѣ, даже не въ Новгородѣ, а, главнымъ образомъ, въ его исторической области. Какъ это могло произойти? Удовлетворительное объясненіе такому явленію можетъ быть дано на основаніи данныхъ исторіи русскаго племени, какъ носителя былинной традиціи.

Заглянувши въ исторію русскаго племени (точнѣе, великорусскаго), мы увидимъ тамъ слѣдующее. Главный центръ жизни русскаго племени прежде былъ на югѣ Россіи, около Кіева; второстепеннымъ центромъ былъ Новгородъ. Начиная съ XII—XIII вв. съ юга уже идетъ значительная по напряженію колонизація, которая въ концѣ-концовъ и приводитъ къ той картинѣ разселенія русскаго племени, которую мы видимъ теперь. Движеніе съ юга и юго-запада идетъ на сѣверо-востокъ: образуется новый центръ—теперь уже великорусскаго племени—Москва. Изъ Москвы, какъ центра движенія, населеніе позднѣе идетъ и дальше на востокъ (за Уральскій хребетъ, въ Сибирь), и на сѣверъ отъ центра. Одновременно съ колонизаціей съ юга происходитъ колонизація изъ Новгородскаго края на востокъ. Обѣ струи колонизаціи сталкиваются приблизительно въ теперешнемъ Олонецкомъ краѣ. Эти данныя о передвиженіи русскаго населенія даютъ намъ право заключать, что и былина, оказавшаяся въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ она поется теперь, была туда занесена, какъ результатъ колонизаціи, перенесена съ собой тѣми представителями русскаго племени, которые въ прежнихъ поколѣніяхъ жили въ другихъ мѣстахъ. Такимъ образомъ, кіевскій и новгородскій репертуары былинъ оказались вмѣстѣ, какъ ихъ кіевскіе когда-то и новгородскіе носители: здѣсь былину въ такомъ видѣ нашли и собиратели. Здѣсь оба цикла былинъ вступили въ взаимодѣйствіе, чѣмъ и объясняется появленіе въ одной и той же былинѣ упоминанія о Кіевѣ и Новгородѣ, въ различныхъ иногда записяхъ. Мѣстныя упоминанія другія, въ родѣ Москвы, Мурома, Галича и др. объясняются также: отзвуки преданій этихъ мѣстъ занесены на тотъ же сѣверъ вмѣстѣ съ движеніемъ туда населенія, но какъ болѣе слабые, нежели Кіевскія и Новгородскія, они оставили и болѣе слабый слѣдъ въ былинѣ въ ея теперешнемъ видѣ.

Это—первое наблюденіе, которое мы получаемъ для историческаго пониманія географическаго распредѣленія теперешней былины, въ связи съ исторіей русскаго племени, какъ носителя этой былины. Обращаясь къ болѣе детальному изученію былины, мы найдемъ въ ея составѣ дальнѣйшее подтвержденіе нашему выводу: если былина, какъ всякое

литературное произведенiе, создаваемое въ извѣстныхъ условiяхъ, отражаетъ эти условiя, т.-е., находится въ тѣсной зависимости отъ условiй своего образованiя и жизни среды, то, естественно, что въ теперешней сѣверной былинѣ мы бы должны были, прежде всего, ожидать отраженiя окружающей природы, быта населенiя той мѣстности, гдѣ она создалась и жила потомъ. И дѣйствительно, въ цѣломъ рядѣ былинъ, создавшихся главнымъ образомъ на югѣ и сѣверѣ Руси, мы видимъ нѣкотораго рода двойственность: съ одной стороны, изображенiе сѣвернаго пейзажа, который мы видимъ и до сихъ поръ на сѣверѣ—въ Олонецкомъ краѣ; извѣстную роль играютъ тамъ частые лѣса, болота непроходимыя, видимъ тѣ средства передвиженiя, которыми пользуется мѣстное населенiе, это—«волокуша», сани, находимъ указанiя на рыбный, соляной промыселъ, хожденiе по морю въ судахъ, описанiе оснастки сѣверныхъ судовъ и т. д. Эти черты мы видимъ и въ сѣверной по происхожденiю былины (что естественно), и въ южной. Съ другой стороны, мы находимъ и иныя черты: въ одной и той же былинѣ мы видимъ рядомъ и широкiя степи, раздолье, безконечный кругозоръ открытой мѣстности, чего на сѣверѣ нѣтъ, и которыми какъ разъ характеризуется степной безлѣсный югъ (почему богатыри, стоя на заставѣ богатырской, могли за нѣсколько дней пути увидѣть приближающагося врага—поэтическая гипербола), видимъ постоянное напоминанiе о дубѣ, который богатырь или вырываетъ съ корнемъ и избиваетъ имъ своего врага, или же стрѣляетъ въ него и колетъ его на мелкiя щепки. Ни простора такого степного, ни дуба сѣверъ не знаетъ. Это ясно указываетъ, что подобнаго рода черты—не мѣстныя сѣверныя, и являются остатками старины, того времени и той мѣстности, гдѣ нѣкогда слагалась эта былина; иначе: населенiе, сохранившее такiя черты въ былинѣ, принесло ихъ съ собой съ юга, гдѣ оно могло видѣть передъ собою эти картины и перенести въ свои литературныя произведенiя, т.-е., сама эта былина пришла съ юга, и эти черты остались въ ней и до настоящаго времени, какъ окаменѣлость, какъ поэтическая традицiя, не имѣя ничего общаго съ обстановкой сѣвернаго населенiя; живя же теперь долгое время на сѣверѣ, былина получала и черты своей новой родины, откуда объясняется, такимъ образомъ, совмѣщенiе въ одной и той же былинѣ чертъ и сѣверныхъ и южныхъ.

Эта же связь жизни былины съ исторiей населенiя даетъ возможность сдѣлать и другiе выводы: опредѣлить для отдѣльныхъ сюжетовъ, основныхъ или второстепенныхъ, время ихъ появленiя, т.-е. время созданiя той или иной былины или ея подробностей. Если мы убѣдимся, что былинный сюжетъ, его обстановка, создавались въ другой мѣстности, нежели та, гдѣ онъ теперь найденъ, или

онъ несетъ на себѣ отраженіе опредѣленной исторической эпохи, то это дастъ намъ уже нѣкоторое указаніе на то, когда создавалась та или другая былина: она могла создаться тогда еще, когда носители этой былины, потомки которыхъ живутъ теперь на сѣверѣ, жили еще на югѣ Россіи, или жили въ той обстановкѣ, которая отмѣчена опредѣленной эпохой или датой въ исторіи. Обратившись опять къ исторіи колонизаціи, передвиженія русскаго племени, мы получимъ хронологическія указанія: часть былинныхъ сюжетовъ, часть былинной обстановки, репертуара, несомнѣнно, создалась на югѣ Россіи въ періодъ кіевскаго времени. Примѣняя этотъ методъ къ другимъ сюжетамъ былиннымъ, которые не укладываются въ рамки кіевскаго времени (а такихъ сюжетовъ можно насчитать немало), мы получимъ и дальнѣйшую страницу изъ исторіи нашего эпоса. Занесенныя на сѣверъ упоминанія о Рязани, о Москвѣ непосредственно также будутъ объясняться тѣмъ, что населеніе, создавшее въ рязанской или московской области ту или другую былину, впослѣдствіи перекочевало на сѣверъ; и если мы знаемъ, когда это передвиженіе происходило, то можемъ указать, и къ какому времени относится появленіе этой былины на сѣверѣ. Такъ, рядъ сюжетовъ о Калкской битвѣ, главнымъ образомъ, группирующихся около Рязанскаго края, былины о литовскомъ и татарскомъ времени, сложенныя въ Москвѣ, несомнѣнно, созданы не ранѣе времени конца XIII—XIV вв., а затѣмъ въ XV, XVI и XVII вв. онѣ попадаютъ на сѣверъ. Былины, изображающія въ основномъ сюжетѣ богатство Новгорода, его вольную, бурную жизнь (Васька Буслаевъ, Садко), должны были создаться не позднѣе XV в.: онѣ отразили бытъ Новгорода до его паденія, и т. д.

Присматриваясь къ другимъ подробностямъ содержанія нашихъ былинъ, мы можемъ получить и еще новыя указанія для ихъ исторіи: иногда особенности московскія, или рязанскія, или суздальскія сливаются въ одно цѣлое съ основнымъ кіевскимъ или новгородскимъ по происхожденію основнымъ сюжетомъ въ былинѣ; ясно, что въ этомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ напластованіемъ: на болѣе старый сюжетъ, кіевскій или новгородскій, налегли осложненія московскія, рязанскія и т. д.; это показываетъ, что эта былина сохранилась не въ своемъ первоначальномъ видѣ, а въ болѣе позднемъ (черты московскія, рязанскія и др. моложе кіевскихъ), и это осложненіе произошло не ранѣе того времени, къ которому относится самое позднее наслоеніе, найденное въ былинѣ. Такимъ образомъ, изучая составъ былинъ подъ этимъ историческимъ угломъ зрѣнія, въ связи съ исторіей, мы получаемъ рядъ хронологическихъ данныхъ для былины, и этимъ самымъ ближе и ближе подходимъ къ разъясненію ея содержанія. Вотъ приблизительно тотъ путь, которымъ проходило научное изслѣдованіе, стремящееся охватить весь ре-

пертуаръ былинъ. Но этотъ путь выясненъ только въ послѣднее время, когда стали болѣе внимательно и широко изучать былины: прежніе изслѣдователи имѣли передъ собою тѣ же самые вопросы, но рѣшали ихъ слишкомъ поспѣшно, категорично, упрощая самые выводы; поэтому рѣшенія старшихъ изслѣдователей должны быть въ настоящее время въ значительной мѣрѣ оставлены, но обойти ихъ при изложеніи исторіи былины мы не имѣемъ права, хотя бы по чисто практическимъ соображеніямъ, а отчасти и потому, что, конечно, не все въ нихъ можетъ быть отвергнуто, а также и потому, что труды эти, въ общемъ значительные, подготовляли почву для современной намъ постановки изученія исторіи былины. Старыя воззрѣнія на былину въ исторіи изученія народной поэзіи вообще далеко еще не исчезли; они встрѣчаются не только въ ходячихъ школьныхъ учебникахъ (гдѣ излагаются догматически, какъ нѣчто окончательно рѣшенное въ наукѣ), но часто служатъ исходной точкой и для новыхъ научныхъ изслѣдованій. Поэтому, обойти ихъ анализъ, опредѣленіе ихъ цѣнности для современной науки не представляется возможнымъ. Однимъ изъ такихъ пунктовъ, выдвинутыхъ старой школой, является классификація былиннаго матеріала—пунктъ, важный для историка былины.

Классификація былины. Первый опытъ классификаціи былинъ въ связи съ опредѣленіемъ хронологіи ея сюжетовъ, отчасти въ связи съ исторіей сюжетовъ, сдѣланъ былъ первыми нашими собирателями, первыми изслѣдователями народной поэзіи, тѣми народниками-славянофилами, которые, съ одной стороны, внесли такъ много свѣжаго и правильнаго, а съ другой, такъ засорили научный путь изслѣдованія своими мало-научными построеніями. Присматриваясь къ внѣшнему строенію былинъ, изслѣдователи старшаго поколѣнія всѣ былины, прежде всего, раздѣлили на двѣ группы по времени, которое, по ихъ мнѣнію, въ этихъ былинахъ отразилось: всѣ былины по сюжетамъ дѣлятся представителями старой школы, на былины про богатырей «старшихъ» [1]) и про богатырей «младшихъ»; уже самыя названія: богатырь «старшій» и богатырь «младшій», указываютъ, на какомъ основаніи производилось это дѣленіе: въ основѣ его лежитъ представленіе, во-первыхъ, о самобытности, самостоятельности эпоса и всей народной поэзіи, во-вторыхъ, глубокая доисторическая древность его индоевропейскихъ основъ, въ третьихъ, противоположеніе миѳологіи и исторіи; для пред-

[1]) Самый терминъ „старшій богатырь“ взятъ ими изъ былинныхъ текстовъ, напр., былины изъ Ильѣ и Соловьѣ (Кирѣевскій, I, стр. 78, стихъ 45): „Старши богатыри дивуются“ на поѣздку молодого Ильи. Т. о. въ этотъ эпитетъ вложенъ миѳологами свой смыслъ, тогда какъ онъ въ текстѣ былины характеризуетъ только возрастъ богатыря, не касаясь его происхожденія.

ставителей этой школы эпосъ, какъ мы знаемъ, прежде всего—выраженіе религіозныхъ представленій народа въ поэтической формѣ. Прилагая къ былинѣ это воззрѣніе, они классифицируютъ былины такъ: тѣ былины, гдѣ меньше историческихъ переживаній въ сюжетѣ, обстановкѣ и въ личности героя, должны быть признаны старше тѣхъ, гдѣ эти переживанія замѣтнѣе; чѣмъ проще религіозныя вѣрованія, открываемыя ими въ былинѣ, и чѣмъ выраженіе этихъ вѣрованій является болѣе примитивнымъ, тѣмъ эта былина старше: напр., былина о Святогорѣ, которая представляетъ богатыря еще исполиномъ, котораго мать-сыра-земля едва держитъ, соотвѣтствуетъ старѣйшему космогоническому представленію о божествѣ; исторической обстановки въ былинѣ еще нѣтъ; это—не Русь, а какіе-то «Святыя горы», на которыхъ лежитъ богатырь; онъ и на человѣка похожъ мало—все въ немъ громадно, стихійно; поэтому былина о Святогорѣ, по ихъ взгляду, весьма старая; она будетъ старше, напр., чѣмъ былина объ Ильѣ Муромцѣ (который, хотя и есть не что иное, какъ богъ солнца для миѳолога) потому, что Илья носитъ уже вполнѣ человѣческій обликъ, дѣйствуетъ на Руси, въ обстановкѣ исторической (Кіевъ): поэтому Святогоръ—«богатырь старшій», Илья—«младшій».

Древность сюжета былины оцѣнена здѣсь, такимъ образомъ, съ точки зрѣнія миѳологіи и представленія о древнѣйшей культурѣ: онѣ даютъ основаніе для дѣленія былинъ на старшія и младшія. При этомъ указываютъ и признаки, по которымъ можно узнать возрастъ былины: былина старшая, какъ и древняя сказка, не прикрѣплена никакими связями къ исторіи (она доисторична), не пріурочена къ опредѣленной мѣстности: если въ позднѣйшее время—иначе, въ болѣе поздней, «младшей» былинѣ—богатыри группируются вокругъ Кіева, или Новгорода, служатъ князю Владиміру (X—XI в.), то Святогоръ, Микула Селяниновичъ, Вольга Святославичъ не прикрѣплены еще ни къ какому мѣсту, какъ мы то видимъ въ сказкѣ: «въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ», время ихъ дѣятельности не указано вовсе. А сказка представляется для миѳолога древнѣйшимъ, наиболѣе первобытнымъ видомъ народнаго творчества. Это для него не требуетъ и доказательства (но что для насъ сомнительно). На дѣлѣ же, при болѣе научномъ, историческомъ изслѣдованіи тѣхъ же былинъ о «старшихъ богатыряхъ» оказывается, что какъ разъ былина о Святогорѣ (которая обычно приводилась въ примѣръ) является одной изъ позднѣйшихъ былинъ по времени созданія: она создалась уже подъ вліяніемъ христіанскихъ представленій о сильномъ библейскомъ Сампсонѣ, почему Святогоръ-богатырь постоянно путается съ Самсономъ-богатыремъ; того же происхожденія и «Святыя горы»; сюжетъ былины, правда, сказочный, но о доисторической древности его рѣчи быть не можетъ.

Оставляя въ сторонѣ это дѣленіе былинъ на старшія и младшія, какъ не оправдываемое исторіей былины въ томъ смыслѣ, какъ эти термины принимала старая школа, обратимъ вниманіе на другое дѣленіе, которое до сихъ поръ пользуется признаніемъ и встрѣчается въ научныхъ трудахъ до сихъ поръ, какъ имѣющее нѣкоторое основаніе: это дѣленіе богатырей по мѣстностямъ. Оно касается, по представленію старой школы, естественно, «младшей былины» по преимуществу: вѣдь, позднія былины отличаются отъ старшихъ тѣмъ, что въ младшихъ видимъ уже болѣе точное географическое и историческое пріуроченіе дѣйствія. Съ этой точки зрѣнія былины дѣлятся въ общей массѣ на два главныхъ цикла по содержанію: былины, гдѣ богатыри и дѣйствія ихъ группируются около Кіева и Владиміра Краснаго Солнышка: это—младшіе богатыри кіевскаго цикла; затѣмъ—циклъ новгородскихъ былинъ, гдѣ дѣйствіе происходитъ въ Новгородѣ, гдѣ описывается новгородская обстановка; наконецъ, выдѣляется небольшое число такихъ былинъ, которыя не подходятъ подъ эти рубрики, не будучи пріурочены ни къ Кіеву, ни къ Новгороду: это—такъ называемыя былины о богатыряхъ «заѣзжихъ», т.-е. такихъ богатыряхъ, о которыхъ въ былинѣ разсказывается, что они откуда-то изчужа прибываютъ на Русь, въ частности въ Кіевъ.

Это дѣленіе является на первый взглядъ довольно близко подходящимъ къ истинѣ, соотвѣтствующимъ научнымъ взглядамъ. Оно опирается на то, что, разъ въ былинѣ упоминается Кіевъ или Новгородъ, то ее можно отнести къ кіевской или новгородской мѣстности. Это дѣйствительно такъ; но всегда ли это бываетъ такъ? Внимательно присматриваясь (по другому поводу) къ этой сторонѣ былинъ, мы видѣли уже, что далеко не всѣ частности былинъ даютъ одинаковыя показанія, цѣнныя для этой классификаціи. Мы знаемъ, что недостаточно сказать, что въ былинѣ упоминается Новгородъ, Кіевъ, чтобы рѣшить, что это кіевская или новгородская былина по происхожденію. Присматриваясь къ былинѣ, къ составу ея, конструкціи, къ плану, который развивается въ ней, къ самому разсказу, мы видимъ, что въ составѣ каждой былины, какъ отдѣльнаго художественнаго произведенія, мы должны различать нѣсколько частей различнаго значенія въ общей композиціи былины, какъ мы ее теперь знаемъ въ устахъ пѣвцовъ. Большинство былинъ имѣетъ то, что обыкновенно называютъ запѣвомъ (о немъ была рѣчь выше); этотъ запѣвъ не является чѣмъ-либо тѣсно связаннымъ съ былиною, съ ея содержаніемъ; онъ иногда представляетъ, какъ мы знаемъ, смотря по характеру пѣвца, по происхожденію былины, чрезвычайно разнообразное содержаніе: иногда это—шутка, иногда колкость по адресу слушателей, иногда просто—веселая прибаутка, либо прикры-

тая просьба о вознагражденіи за пѣсню, иногда даже перечень тѣхъ сюжетовъ, которые знаетъ сказатель или пѣвецъ, или указаніе на тему слѣдующей далѣе самой пѣсни и т. п. Эти запѣвы, какъ не составляющіе чего-либо органически связаннаго съ содержаніемъ былины, являются какъ бы кочующими, при томъ «общими», мѣстами: въ одной записи былины одинъ запѣвъ, въ другой той же былины можетъ быть запѣвъ иной; одинъ и тотъ же запѣвъ, наоборотъ, начинаетъ собой разныя былины. Въ этомъ-то запѣвѣ часто и находимъ единственное «мѣстное» упоминаніе. Отсюда ясно, что, руководясь запѣвомъ, мы не имѣемъ права пріурочивать самую былину къ опредѣленной мѣстности, а стало быть, и ея богатыря; для этого мы должны искать опоры въ самой былинѣ. За запѣвомъ иногда идетъ еще служебная часть былины—«зачинъ», когда пѣвецъ переходитъ уже ближе отъ припѣвки къ самому изложенію былины. Этотъ зачинъ обыкновенно для былины довольно характеренъ и также типиченъ для былиннаго творчества, а не для отдѣльныхъ былинъ. Онъ представляетъ шаблонъ по большей части, присоединяемый къ различнымъ былинамъ, напр., «Въ славномъ городѣ Кіевѣ, что у князя Владимира, собралися, соѣзжалися могучіе богатыри», или: «Какъ во славномъ Новѣгородѣ» и т. п. Зачинъ уже тѣснѣе связанъ съ былиной, но все же не составляетъ одного цѣлаго съ самимъ содержаніемъ былины. И, дѣйствительно, оказывается, что есть былины и безъ зачина: иногда прямо послѣ «запѣва» разсказывается самая суть былины, а иногда нѣтъ ни «запѣва», ни зачина, а прямо разсказывается: «Выѣзжалъ богатырь Илья Муромецъ изъ того села, изъ Карачарова». Такимъ образомъ ясно, что и зачинъ (а онъ-то чаще всего и бросается въ глаза) не всегда можетъ служить для географическаго пріуроченія былины, а тѣмъ болѣе не можетъ служить надежнымъ указаніемъ на происхожденіе былины (хотя, если онъ устойчиво повторяется въ рядѣ варіантовъ одной и той же былины, не лишенъ значенія). На такого рода неустойчивыхъ данныхъ и устанавливалось дѣленіе былинъ на кіевскія и новгородскія: оно производилось на основаніи формальной стороны былины, въ общемъ, какъ мы видѣли, не устойчивой, а не на основаніи содержанія ея. Разумѣется, эта ненадежность «зачина» не лишаетъ возможности пріурочить ту или иную былину къ Кіеву или Новгороду. Но для этого мы должны основываться на самомъ содержаніи, на самомъ сюжетѣ былины. Такимъ образомъ, на основаніи сказаннаго, прежнее географическое дѣленіе, если не отвергается теперь по существу, то признается ненадежнымъ по своимъ принципамъ въ подборѣ доказательствъ, хотя и можетъ въ иныхъ случаяхъ совпадать съ построеннымъ на другихъ основахъ. Особенно это дѣленіе мало удовлетворяетъ по отношенію къ богатырямъ

«заѣзжимъ». Богатыри заѣзжіе—это, какъ мы видѣли, тѣ, которые не пріурочиваются ни къ Кіеву, ни къ Новгороду по происхожденію. Если богатырь «заѣзжій», если о немъ говорится, что онъ пришелъ изъ Галича богатаго или даже изъ Индіи далекой, то это не будетъ доказательствомъ, что богатырь именно не кіевскаго или новгородскаго происхожденія. Такимъ образомъ, не обращая достаточно вниманія на содержаніе самой былины, старые представители внесли такое дѣленіе, которое отчасти только будетъ совпадать съ научнымъ пріуроченіемъ былинъ по происхожденію къ той или другой мѣстности. Но это совпаденіе будетъ только тогда, когда самый сюжетъ былины будетъ въ согласіи съ тѣми данными, на которыхъ основываются предлагающіе это дѣленіе: былина будетъ кіевская потому, что ея сюжетъ кіевскій, а не потому только, что здѣсь упоминается о Кіевѣ или кіевскомъ князѣ Владимирѣ.

Такимъ образомъ, это дѣленіе должно быть признано не вполнѣ удачнымъ; оно тѣмъ болѣе не удобно, что подъ него не подходитъ цѣлая группа такъ называемыхъ «старшихъ» былинъ. Болѣе новое, лучшее дѣленіе, которое является единственно пока возможнымъ (совмѣщающимъ отчасти и прежнее географическое), это—дѣленіе на основаніи характера сюжетовъ и ихъ историческаго пріуроченія. Это дѣленіе предложено было В. Ѳ. Мюллеромъ, и до настоящаго времени оно остается въ силѣ, и, повидимому, съ нимъ можно мириться: оно исходитъ изъ характера былинъ, въ связи съ исторіей и характеромъ той среды, въ которой создавались былины, не исключаетъ и территоріальнаго пріуроченія былины, если для этого есть данныя. В. Ѳ. Миллеръ дѣлитъ былины не на основаніи частныхъ признаковъ, каковы: упоминанія мѣстности, имени, а на основаніи общаго характера былины и ея сюжета, что̀, конечно, вполнѣ правильно, какъ признакъ болѣе общаго содержанія. Онъ различаетъ двѣ такихъ группы былинъ, по характеру: однѣ былины—«боевого» характера, «богатырскія» въ собственномъ смыслѣ, т.-е. такія, которыя разсказываютъ о битвахъ, боевыхъ столкновеніяхъ; другія представляютъ поэтическое воспроизведеніе какого-нибудь частнаго бытового случая, большей частью изъ обыденной жизни, иногда жизни города; эти послѣднія онъ называетъ «былинами-новеллами», сопоставляя ихъ по характеру съ тѣми новеллами, которыя такъ широко развелись на Западѣ въ средневѣковой городской средѣ (ср. Боккачьо). Такое дѣленіе былинъ представляется, повидимому, наиболѣе удобнымъ, наиболѣе соотвѣтствующимъ дѣйствительности, дающимъ свободу изслѣдователю, если и не можетъ быть сочтено вполнѣ отчетливымъ; оно обнимаетъ собой и прежнее хронологическое» и «мѣстное» дѣленіе, потому что въ каждой группѣ, въ

«военной» и «новеллистической» могутъ быть былины и различнаго происхожденія, и различнаго времени; все такимъ образомъ сводится къ тому, чтобы изслѣдовать, прежде всего, каждую отдѣльную былину въ зависимости отъ ея исторіи, отъ ея источниковъ, и тогда уже можно будетъ болѣе или менѣе всѣ былины расклассифицировать внутри двухъ группъ на мелкія группы, положивъ въ основу хронологію (которая установится, естественно, во время изслѣдованія) и географическое распредѣленіе по мѣстностямъ, гдѣ онѣ зародились или гдѣ онѣ «бытовали». Съ другой стороны это дѣленіе представляется вполнѣ научнымъ и вполнѣ цѣлесообразнымъ, внося съ самаго начала изслѣдованія извѣстный порядокъ въ матеріалъ, тѣмъ болѣе, что былины опредѣленнаго характера легко группируются около опредѣленныхъ личностей, и объединяются болѣе или менѣе около опредѣленныхъ мѣстностей, такъ, напр., былины, «боевыя» преимущественно группируются около Кіева, частью относятся къ времени Кіевской Руси, отчасти Руси Московской, стало быть, тѣсно связаны съ исторіей военныхъ событій старой Руси; былины-«новеллы», городскіе разсказы группируются преимущественно около Новгорода и восходятъ къ разсказамъ о жизни Новгорода, отражая главныя черты Новгородской жизни, его городскую, бытовую, промышленную жизнь. Такимъ образомъ, и съ этой стороны дѣленіе былинъ, предлагаемое В. Ѳ. Миллеромъ, оправдывается самой исторіей былины.

Теперь посмотримъ, какіе сюжеты подходятъ подъ тѣ рубрики, которыя предлагаетъ Миллеръ, т.-е., подъ рубрики боевыхъ или небоевыхъ былинъ. Это достигается, прежде всего, путемъ ознакомленія съ содержаніемъ наиболѣе распространенныхъ былинъ по ихъ сюжетамъ: перечисливъ главные сюжеты былинъ, объединяя ихъ около имени богатыря, мы представимъ тотъ объемъ былевого эпоса, который подлежитъ нашему изслѣдованію, который до насъ сохранился.

Къ былинамъ боевого характера, прежде всего, относятся тѣ былины, въ которыхъ фигурируетъ Илья Муромецъ. Кругъ былинъ объ Ильѣ Муромцѣ разсказываетъ о различныхъ поѣздкахъ Ильи Мурамца о борьбѣ его съ Соловьемъ Разбойникомъ, съ Батыгой, Калиномъ царемъ, Идолищемъ и др., представляя въ общей сложности довольно полную поэтическую біографію Ильи, начиная съ его дѣтства, когда онъ сталъ богатыремъ, и, кончая его смертью (или окаменѣніемъ). Всего сюжетовъ, гдѣ Илья занимаетъ центральное мѣсто, мы знаемъ отъ 7 до 10. Всѣ эти былины носятъ совершенно опредѣленный боевой характеръ, начиная съ одной и кончая нѣсколькими въ репертуарахъ пѣвцовъ, пользуются они большой популярностью вездѣ, гдѣ встрѣчается былина. Въ былинахъ о другихъ богатыряхъ Илья также встрѣчается,

въ качествѣ второстепеннаго героя; но въ большинствѣ случаевъ можно сказать, что это популярное имя попало туда случайно, занесено изъ былинъ объ Ильѣ, чаще всего въ перечни богатырей, въ общихъ мѣстахъ. Къ числу боевыхъ былинъ относятся также: большинство былинъ о Добрынѣ Никитичѣ (5—6 сюжетовъ), также стремящихся обнять жизнь Добрыни съ рожденія и до смерти (о которыхъ, однако, отдѣльныхъ разсказовъ нѣтъ: они входятъ въ качествѣ эпизодовъ въ другіе), объ Алешѣ Поповичѣ (2—3 сюжета, одинъ общій съ Добрыней). Къ такимъ же былинамъ этой группы относятся пѣсни, отмѣченныя именами героевъ, каковы: Василій Казимировичъ, Данило Игнатьевичъ, Михаилъ Казариновъ, Сукманъ, Василій Пьяница, Михайло Потыкъ, Волхъ съ его походомъ въ Индію; сюда же относятся и былины о гибели богатырей (Калкское побоище) и нѣкоторыя еще. Вотъ приблизительно всѣ главныя имена, около которыхъ вращаются былины боевого характера. Былины-повеллы представлены такими именами: Садко, Василій Буслаевъ, Добрыня и Марина, Добрыня и Алеша, Ставръ Годиновичъ, Иванъ, гостиный сынъ, Соловей Будимировичъ, Дюкъ Степановичъ, Чурило Пленковичъ, Хотѣнъ Блудовичъ, Микула Селяниновичъ, гость Терентьище и др. Есть, конечно, былины, которыя заключаютъ въ себѣ и тотъ другой элементъ—и боевой и новеллистическій вмѣстѣ; ихъ приходится, для удобства обозрѣнія, выдѣлить пока въ промежуточную группу; это—былины любовнаго характера, о добываніи женщины не только хитростью и ловкостью, но и боемъ; таковы сюжеты: Дунай, Иванъ Годиновичъ, Добрыня и «поленица»; сюда же слѣдуетъ отнести сказочно-былинные сюжеты съ именами Святогора, Самсона, Колывана.

Какъ мы видимъ, сюжеты обѣихъ группъ являются почти одинаковыми по численности; нельзя сказать, что наши былины были преимущественно былинами «боевыми» «богатырскими»; съ другой стороны городскія «новеллы», ничѣмъ не отличаются отъ былинъ боевыхъ въ сознаніи пѣвцовъ: одни и тѣ же лица встрѣчаются и въ томъ, и въ другомъ репертуарѣ, часто въ одной и той же былинѣ. Съ другой стороны, пестрота содержанія того и другого цикла показываетъ, что былины въ своихъ источникахъ не представляютъ такого единства, какое желали видѣть въ нихъ представители старой школы, считая ихъ лишь разнообразнымъ выраженіемъ религіозныхъ однообразныхъ народныхъ вѣрованій.

Затѣмъ, въ изученіи былины, помимо сюжета, играетъ видную роль и самая структура былины, стиль ея и условія ея развитія, условія ея сложенія: все это несетъ на себѣ отзвуки исторіи былины, опредѣляетъ собой самое содержаніе былины. Изучать отдѣльно форму

былины и исторію ея сюжета, какъ мнѣ уже приходилось говорить, не имѣемъ права уже потому, что былина, какъ произведеніе отражающее извѣстное настроеніе, бытовую обстановку даннаго времени, несомнѣнно, не можетъ быть выраженіемъ какой-нибудь одной идеи, одного принципа, или только личной фантазіи даннаго человѣка. Поэтому, вопросъ о характерѣ былины и о жизни самой былины тѣсно связанъ съ исторіей формы. Такое постоянно внимательное отношеніе къ формѣ былины, изученіе исторически этой формы въ связи съ условіями современнаго ея положенія, представляется необходимымъ условіемъ въ интересахъ правильнаго изученія содержанія былины: имѣя въ виду зависимость содержанія и характера его отъ условій быта пѣвца, его личнаго отношенія къ традиціонному содержанію былины, внимательно изучая «формальныя особенности» былины, учитывая долю личнаго творчества пѣвца, выдѣляя эти привходящія и привходившіе въ разное время при разныхъ условіяхъ обстоятельства, мы добираемся до основного сюжета былины въ его наиболѣе близкомъ къ первоначальному виду, т.-е., подходимъ къ старшей эпохѣ жизни данной былины, къ началу ея литературной исторіи. Говоря иначе: изученіе строенія, композиціи былины въ данной записи есть первый шагъ въ изученіи даннаго былиннаго сюжета. Сличая рядъ различныхъ записей одной и той же былины, мы видимъ, что одну и ту же былину съ однимъ основнымъ сюжетомъ, напр., объ Ильѣ Муромцѣ и Соловьѣ Разбойникѣ, различные пѣвцы передаютъ различно; основной мотивъ остается не измѣненнымъ въ общемъ, но толкованіе этого мотива представляется различнымъ, мѣняются детали; естественно, нужно выяснить: какой же былъ первоначальный составъ сюжета былины? что̀ въ ней стараго, принадлежащаго создателю былины, и что̀ поздняго, такого, что̀ приходится отнести на долю тѣхъ измѣненій, которыя совершались въ былинѣ въ пространствѣ того времени, которое прожила былина до времени ея записей? Это—одинъ рядъ измѣненія, наслоеній на основной былинѣ, такъ сказать—отложеній времени. Другой слой, отложившійся на былинѣ, на ея текстѣ,—слѣдъ пониманія ея со стороны исполнителя былины. Мы знаемъ, что пѣвецъ, сказатель былины, если онъ не является авторомъ былины, то всеже онъ не является лицомъ, которое можно назвать простымъ механическимъ орудіемъ для передачи былины: отношеніе пѣвца къ сюжету, къ самой былинѣ довольно свободное, прежде всего опредѣляется самымъ характеромъ и составомъ основной былины, т.-е.: одинъ пѣвецъ, какъ мы это можемъ наблюдать еще теперь, можетъ разсказать короче, другой пространнѣе; одинъ можетъ обставить основное содержаніе одними подробностями, другой другими; одинъ можетъ основу содержанія понимать такъ, другой иначе, такъ что изучая самый составъ

данной былины, мы въ то же время изучаемъ, если не процессъ творчества, то процессъ творческой передачи былиннаго сюжета даннаго пѣвца, стало быть, отраженіе его личности на традиціонномъ сюжетѣ. Этимъ такъ же, какъ различіемъ условій жизни былины въ разное время, ея жизнью въ разныхъ мѣстахъ, объясняется появленіе различныхъ текстовъ одной основной былины, т.-е. ея варіанты. Присмотрѣвшись внимательно къ этой разницѣ въ передачѣ, мы иногда съумѣемъ опредѣлить причину, почему одна былина не вездѣ одинаково поется. Главной причиной этихъ измѣненій являются тѣ различныя между собой условія, въ которыхъ живутъ различные былинные пѣвцы, личныя ихъ воспріятія отъ окружающей среды, съ которыми имъ приходится считаться. И дѣйствительно, былина одного и того же сюжета, записанная отъ пѣвцовъ различнаго возраста, различнаго пола (былины поютъ теперь одинаково и мужчины и женщины) или различнаго соціальнаго положенія, бываетъ различна въ своемъ складѣ: былина, записанная отъ старика, настроеннаго благочестиво, будетъ носить оттѣнокъ до извѣстной степени благочестивый: онъ оставитъ сюжетъ неприкосновеннымъ, но придастъ богатырямъ черты благочестивыя, ему самому дорогія; напр., мы знаемъ былину о томъ, какъ Илья, поссорившись съ зазнавшимся княземъ Владиміромъ, уходитъ и собираетъ голь кабацкую и начинаетъ съ ней стрѣлять по церковнымъ золоченымъ крестамъ, сшибать ихъ и пропивать съ ватагой въ кабакѣ. Сюжетъ былины—ссора Ильи съ княземъ—во всѣхъ пересказахъ былины, но въ деталяхъ трактуется различно: у религіозно настроеннаго пѣвца Илья Муромецъ идетъ сшибать не церковные кресты золотые, а золоченыя маковки Владимірова терема, потому что пѣвецъ не можетъ себѣ представить этого почтеннаго, образцоваго, искренно уважаемаго богатыря, совершающимъ такое кощунство; а потому замѣняетъ кресты церковные маковками терема, тогда какъ деталь съ крестами должна быть сочтена въ исторіи сложенія самой былины болѣе первоначальной [1]). Тоже въ другихъ случаяхъ: пѣвецъ болѣе деликатный, болѣе воспитанный, очень разборчивъ на выраженія: одинъ и тотъ же былинный сюжетъ передается у одного въ выраженіяхъ болѣе грубыхъ, иногда въ выраженіяхъ, которыя съ нашей точки зрѣнія являются нецензурными, другой неприличныхъ грубыхъ выраженій и сценъ тщательно избѣгаетъ. Можетъ оказаться разница между двумя записями былины, изъ которыхъ одна принадлежитъ мужчинѣ, другая—женщинѣ: «женская» былина будетъ въ большинствѣ болѣе деликатной, скромной, сдержанной, нежели былина «мужская». Отражается на былинѣ и соціальное

---

[1]) Былина сложена сравнительно поздно: вѣроятно, въ Смутное время.

положеніе пѣвца: былина, записанная отъ рабочаго на рыбныхъ промыслахъ или пѣвца-пахаря, будетъ въ деталяхъ отличаться отъ той же былины, если она записана отъ нищаго, отъ «калики перехожаго»: нищій, калика перохожій—человѣкъ полубожественный, онъ считаетъ себя человѣкомъ близкимъ къ церкви, у которой онъ сидитъ, собираетъ милостыню, носителемъ религіозно-нравственной идеи, главнымъ образомъ духовнаго стиха, «человѣкъ божій», знаетъ часто былину, цѣнитъ ее, хотя бы потому, что и она, помимо духовнаго стиха и легенды, даетъ ему доходъ въ видѣ подаянія, но онъ, воспроизводя эту былину, невольно наноситъ на нее черты своего ремесла «духовнаго»; изъ двухъ варіантовъ характеристики богатыря онъ выбираетъ болѣе ему симпатичный, близкій. У него богатырь можетъ облечься въ образъ калики тамъ, гдѣ въ другомъ пересказѣ былины о каличьемъ характерѣ богатыря нѣтъ и упоминанія. Какъ человѣкъ благочестивый, привыкшій пѣть божественныя молитвы или духовные стихи, онъ переноситъ эти черты на своего богатыря, заставляя его чаще вспоминать о Богѣ, чаще обращаться къ Богу за помощью съ молитвой, подвигъ богатыря свяжетъ съ помощью свыше. Пѣвецъ-рыболовъ особенно внимательно остановится на деталяхъ описанія корабля, пѣвецъ-охотникъ на мелочахъ охотничьяго промысла. Такимъ образомъ, несомнѣнно, что сравнивая былину по записямъ изъ разныхъ мѣстъ отъ пѣвцовъ по характеру различныхъ, мы будемъ наблюдать, что условія, характеръ среды, положеніе пѣвца отразятся на самомъ характерѣ изложенія, деталяхъ былины. Эти наслоенія не касаются основнаго содержанія былины, но главнымъ образомъ отражаются на способѣ трактованія традиціоннаго сюжета. Выдѣляя эти временные, частные признаки былинной формы, мы такимъ образомъ получаемъ возможность подойти къ основному содержанію былинъ. Изучая среду «бытованія» былины, мы иногда получаемъ и другого рода указанія. Если пѣвецъ является дѣйствительно носителемъ, свободнымъ и самостоятельнымъ, т.-е., придаетъ былинному сюжету тотъ или другой характеръ, то, несомнѣнно, степень интеллектуальности пѣвца, степень его памятливости отразится на былинѣ; при наличности этихъ качествъ у пѣвца, старинная былина будетъ сохранена въ болѣе неприкосновенномъ видѣ; если же у него память слаба, и онъ недостаточно сознательно относится къ былинѣ, у него постоянно будутъ обмолвки, и эти обмолвки являются иногда очень показательными. Возьмемъ простой случай. Существуетъ въ двухъ записяхъ былина о побоищѣ русскихъ съ врагами, въ одномъ варіантѣ это побоище называется «Камскимъ», а въ другомъ, оно не названо. Присматриваясь къ содержанію этой былины по записи, гдѣ разсказывается про Камское побоище, мы видимъ, что какая-то борьба идетъ на

рѣкѣ Камѣ; относимъ это къ воспоминаніямъ о какомъ-нибудь неудачномъ походѣ новгородцевъ, далеко заходившихъ на востокъ въ своихъ столкновеніяхъ съ мѣстнымъ населеніемъ на рѣкѣ Камѣ. Въ другомъ варіантѣ, гдѣ не упоминается мѣстности, замѣчаемъ сходство въ изображеніи битвы съ другимъ сюжетомъ—разсказомъ о знаменитомъ историческомъ событіи, битвѣ русскихъ съ татарами на Калкѣ. Оказывается, что тотъ пѣвецъ, который поетъ о Камскомъ побоищѣ, уже забывши настоящую локанизацію первоначальнаго сюжета былины, подъ вліяніемъ своего его пониманія придаетъ своему разсказу мѣстныя, бытовыя черты, а по созвучію, вмѣсто забытой и лично ему мало говорящей Калки, ставитъ болѣе ему знакомую Каму: получается разсказъ о битвѣ на рѣкѣ Камѣ, тогда какъ на дѣлѣ онъ относится къ битвѣ на Калкѣ. Основной сюжетъ оказывается, такимъ образомъ, даже не новгородскимъ по мѣстности. Стало быть, одинъ пѣвецъ попамятливѣе, потолковѣе: онъ сохранилъ въ своей головѣ связь былины съ извѣстнымъ историческимъ событіемъ, но забылъ точное пріуроченіе его, другой забылъ эту связь, исказилъ и, подъ вліяніемъ своей мѣстной среды, внесъ свои измѣненія въ былину, но невольно, безсознательно, хотя и въ искаженномъ видѣ, сохранилъ первоначальное пріуроченіе событія. Затѣмъ, если мы возьмемъ двѣ былины: одна изъ нихъ записана отъ пѣвца безграмотнаго, другая отъ пѣвца грамотѣя, который читаетъ, по крайней мѣрѣ, церковно-славянскія книги, то и это дастъ довольно опредѣленныя указанія. Пѣвецъ грамотный, читавшій книги, къ которымъ онъ относится съ уваженіемъ, желая придать интересъ, важность своей былинѣ, вноситъ въ нее черты книжныя; иногда это будетъ мелкая вставка, какая-нибудь отдѣльная деталь, которая идетъ, несомнѣнно, изъ книжнаго источника, иногда книжный оборотъ рѣчи. Такимъ образомъ, самое изученіе былины показываетъ необходимость постоянно считаться не только съ сюжетомъ, но и съ формой былины, а это стоитъ въ зависимости отъ мѣстныхъ условій и личности пѣвца. Поэтому научный собиратель былинъ, прежде всего, собираетъ возможно подробныя свѣдѣнія объ исполнителѣ былины: доля авторства до извѣстной степени лежитъ въ каждой записи былины, хотя она воспроизводитъ традиціонную, до пѣвца уже существовавшую тему [1]).

Носители и создатели былинъ. Что касается теперешнихъ носителей былинъ, то мы знаемъ, что исполнителями былины теперь являются исключительно крестьяне. Это—обыкновенный толковый, благочестивый часто, человѣкъ, у котораго естъ интересъ въ поэзіи, который цѣнитъ эстетиче-

---

[1]) Эти свѣдѣнія и даются теперь собирателями, слѣдующими въ этомъ отношеніи за ставшими уже „классическими“ записями А. Ѳ. Гильфердинга.

скую сторону былины, но для котораго пѣніе былинъ не является основнымъ его занятіемъ, профессіей: былина имъ поется въ то время, когда есть досугъ, когда подъ эту былину лучше спорится другая, ничего общаго съ пѣніемъ пѣсни не имѣющая работа. Но наблюденія показываютъ, что былина когда-то имѣла своего спеціалиста, своего профессіональнаго носителя. Уже приходилось указывать раньше на существованіе по крайней мѣрѣ одного класса такихъ профессіоналовъ—скомороховъ; были, конечно, и другіе пѣвцы, знавшіе и исполнявшіе былины; но установленіе связи между исполненіемъ былины и скоморошьимъ занятіемъ важно потому, что указываетъ на профессіональность въ созданіи и пѣніи былины: былина культировалась спеціалистами, а это можетъ объяснить многое въ самой исторіи былины, ея источниковъ.

Обратимся, прежде всего, къ выясненію того, кто были слагателями, или, во всякомъ случаѣ, носителями былинъ въ старое время. Между прочимъ, только что были указаны скоморохи, т.-е. тѣ профессіональные рабстники, которые брали на себя, въ родѣ современныхъ артистовъ, исполненіе тѣхъ или другихъ произведеній, которыми доставляли удовольствіе, развлекали своихъ слушателей. Несомнѣнно, что говорить о томъ, что только скоморохи, и всегда они одни, были слагателями былинъ, не имѣемъ права, потому что далеко не весь былинный репертуаръ, который дошелъ до насъ, можетъ быть возведенъ по характеру къ скоморошьему ремеслу. Однако, если въ былинѣ есть зачинъ, который по своему характеру укажетъ на работу скомороховъ, будетъ ли это веселая прибаутка, или острая сатира, то это будетъ говорить о томъ, что данная былина могла исполняться скоморохами: самъ по себѣ этотъ зачинъ не имѣетъ прямой тѣсной связи съ былиной; онъ говоритъ о томъ, что данная былина, которая теперь исполняется не скоморохами, когда-то исполнялась скоморохами. Есть и другое, болѣе серьезное указаніе, которое говоритъ, что отношеніе скомороха къ былинѣ не выражалось только въ томъ, что онъ эту былину исполнялъ, слѣдъ чего оставилъ въ балагурномъ ея зачинѣ. Въ нѣкоторыхъ былинахъ скоморохъ самъ является до извѣстной степени дѣйствующимъ лицомъ; стало быть, дѣло касается уже не зачина, а самаго содержанія былины. Такъ, въ былинѣ о Добрынѣ и Алешѣ, разсказъ о томъ, что Добрыня появляется въ самый моментъ свадьбы своей жены съ Алешей на пиру у Владимира подъ видомъ веселаго скомороха, прямо какъ будто указываетъ, что скоморохъ составилъ эту былину, потому и вывелъ своего товарища по ремеслу въ числѣ дѣйствующихъ лицъ былины, притомъ съ положительнымъ характеромъ, приписавши скоморошество почтенному богатырю-аристократу; такова же рѣдкая былина о Вавилѣ и скоморохахъ. Но здѣсь является у

насъ рядъ сомнѣній въ правильности и безусловности такого вывода: анализъ сюжета требуетъ оговорки. Справляется въ домѣ у Владимира свадьба: жена Добрыни собирается выходить замужъ, такъ какъ ее обманомъ убѣдили, что мужъ ея погибъ, и въ этотъ самый моментъ является мужъ, который, въ концѣ-концовъ, заставляетъ жену себя узнать, и свадьба такимъ образомъ разстраивается. Способъ проникнуть незваному человѣку на свадьбу, по былинѣ, ясенъ: Добрыня является подъ видомъ одного изъ тѣхъ лицъ, которыя составляютъ необходимую принадлежность свадьбы, т.-е. пѣвца. Намъ извѣстно изъ стараго времени, что большинство русскихъ торжественныхъ мірскихъ собраній сопровождались музыкальнымъ или пѣсеннымъ исполненіемъ. Мы знаемъ, по свидѣтельствамъ XI—XII вв., что на свадьбѣ присутствуютъ «гудцы», «плясцы», противъ которыхъ и вооружается церковная власть, запрещая священникамъ оставаться на пиру при исполненіи ихъ пѣсенъ. Изъ житія преп. Өеодосія (трудъ Нестора, въ концѣ XI в.), мы знаемъ, что когда Өеодосій пріѣзжалъ къ Изяславу и заставалъ у него пированіе, то при появленіи Өеодосія все веселіе, забавы прекращались, и исполнители пѣсенъ и музыканты удалялись: эти лица входили, очевидно, въ число придворныхъ княжескаго обихода. Есть и другія аналогичныя свидѣтельства о такихъ лицахъ. Всеже при этомъ естественно возникаетъ вопросъ, дѣйствительно ли эта обязанность развлекать общество была исключительнымъ правомъ скомороха? Со скоморохомъ у насъ соединяется теперь довольно опредѣленное представленіе, какъ о народномъ забавникѣ, «веселомъ молодцѣ», служащемъ опредѣленнымъ образомъ—смѣхотворными, веселыми пѣснями—развлеченію низшихъ классовъ общества, понятіе, близкое къ «шуту». Но дѣйствительно ли только скоморохъ является лицомъ, совпадающимъ съ исполнителемъ поэтическаго произведенія вообще, музыкальнаго, это для древняго періода не ясно. Я хочу сказать только то, что, если въ былинѣ Добрыня является въ видѣ скомороха, то былъ ли онъ такимъ «шутомъ-скоморохомъ», какимъ мы себѣ представляемъ этого гаера теперь? Онъ могъ быть просто не скоморохомъ въ современномъ намъ смыслѣ, а лишь пѣвцомъ вообще, исполнителемъ и серьезной по содержанію пьесы. Слѣдовательно, мы должны допустить, что «скоморохъ» былины о Добрынѣ или не шутъ позднѣйшаго времени, или, если онъ «шутъ», то присутствіе его въ былинѣ лишь слѣдъ того, что былина уже позднѣе замѣнила пѣвца скоморохомъ, т.-е., скоморохъ не фигурировалъ въ ней первоначально, а сама она не создана скоморохомъ. Чѣмъ былъ «скоморохъ» въ древнее время, мы въ точности не знаемъ (хотя самое названіе «скоморохъ» и засвидѣтельствовано древними памятниками), и что составляло репертуаръ ихъ представленій

шутки, или исполненіе серьезныхъ пьесъ иного рода—сказать не можемъ. А пока этого мы не выяснимъ, не имѣемъ права увѣренно говорить, что эти былины составлялись только скоморохами. Мы можемъ только утверждать, что эти былины исполнялись, между прочимъ, скоморохами. Такимъ образомъ, мы должны остановиться на авторствѣ въ былинѣ скомороха, только какъ предположеніи, притомъ частнаго характера. Если присмотримся къ другимъ свидѣтельствамъ объ исполненіи пѣсенъ и другихъ произведеній народной поэзіи, то мы увидимъ и на дѣлѣ, что скоморохи не были единственными лицами такого рода: рядомъ со скоморохами упоминаются «пѣвцы» и «гудцы», а иногда (и какъ разъ на свадьбѣ) только пѣвцы и гудцы. Это указываетъ, что рядомъ со скоморохами были лица, которыя не принадлежали къ этому скоморошьему кругу и въ то же время были носителями народной поэзіи, стало быть, имѣли такое же, какъ и они, право на авторство въ области народной поэзіи. Выводъ изъ этихъ наблюденій прошлаго и при наличности современныхъ исполнителей былинъ таковъ: основываться только на упоминаніи или роли скомороха въ былинѣ для заключенія объ участіи скомороха въ созданіи былины не надежно. Единственно надежное заключеніе изъ присутствія скомороха въ былинѣ, скоморошьяго налета на ней будетъ то, что въ такихъ былинахъ дѣло не обошлось безъ участія скомороха въ качествѣ редактора былины и ея исполнителя, наложившаго свою печать на былину, можетъ быть, и не имъ созданную, т.-е., даже такая былина не всегда обязательно должна восходить къ автору-скомороху, и только къ нему. Такого рода указанія получаются для былины нѣсколько окольнымъ путемъ.

Если мы присмотримся къ самой структурѣ былинъ, попробуемъ выдѣлить ту обычную, чаще всего встрѣчаемую традиціонную форму, въ которой былина сохранилась до нашего времени, и сопоставимъ эту форму съ другими народными произведеніями, напр., съ лирической или обрядовой поэзіей, то мы увидимъ разницу. Былина представляется очень сложнымъ произведеніемъ, въ большинствѣ случаевъ слагающимся изъ болѣе или менѣе устойчивыхъ частей; въ случаѣ, когда всѣхъ этихъ частей налицо нѣтъ, ихъ приходится считать отпавшими или утраченными: это—былины худшей сохранности и въ другихъ отношеніяхъ. Иначе сказать: въ структурѣ былины мы видимъ, какъ и въ другихъ «искусственныхъ», не народныхъ, поэтическихъ произведеніяхъ, слѣдъ опредѣленной «поэтики», до извѣстной степени обычныхъ, принятыхъ пріемовъ, правилъ. Такъ, у былины хорошей сохранности иногда есть своего рода вступленіе, которое является типичнымъ для начала былины, затѣмъ идетъ такъ наз. «зачинъ»; за нимъ идетъ уже самый разсказъ, и, наконецъ, въ концѣ разсказа мы встрѣ-

чаемъ совершенно опредѣленную часть, соотвѣтствующую заключенію произведенія нашего времени (то, что называють «исходомъ» былины). Такимъ образомъ, былина носила законченный характеръ; по своей структурѣ, по своему характеру построенія былина является искусственнымъ произведеніемъ, созданнымъ сознательно искуснымъ человѣкомъ. Это, въ свою очередь показываетъ, что былина должна была быть созидаема не такъ, какъ созидаются другія произведенія народной словесности. Возьмемъ лирическую пѣсню, бытовую тамъ этихъ условій построенія, этого плана сочиненія мы не найдемъ. Это только показываетъ, что, если лирическая, бытовая пѣсня восходитъ къ другой поэтической формѣ, можетъ быть, къ болѣе отдаленному времени, и къ авторамъ, которые намъ теперь неизвѣстны даже приблизительно, то въ былинѣ слѣды авторства неизвѣстнаго по имени лица, все-таки, должны быть признаны еще видными. Съ другой стороны, мы должны признать, что былина по своей формѣ, несомнѣнно, не представляетъ того архаическаго типа, какой представляетъ какая-нибудь лирическая пѣсня или бытовая. Это заключеніе находитъ себѣ подтвержденіе и въ томъ, что та форма былины, съ которой мы ее знаемъ теперь, не находитъ себѣ полнаго отзвука въ древнѣйшихъ нашихъ памятникахъ. Однимъ изъ образчиковъ такого народнаго склада являются памятники XII в., въ числѣ которыхъ—«Слово о полку Игоревѣ». Мнѣ приходилось указывать, что тамъ мы видимъ своеобразное стремленіе къ ритмической рѣчи. Сравнивая это построеніе стиха въ «Словѣ о полку Игоревѣ» и въ современныхъ былинахъ, мы видимъ разницу. Строеніе былиннаго стиха иное, нежели того стиха, слѣдъ котораго мы видимъ въ «Словѣ о полку Игоревѣ». Ѳ. Е. Коршъ, который изслѣдовалъ стихотворный метръ «Слова о полку Игоревѣ», изслѣдовалъ и стихотворный метръ былины; изслѣдованіе получилось чрезвычайно сложное въ основѣ, и, въ концѣ-концовъ, удалось все-таки выяснить главную основу строенія былиннаго метра. Въ основѣ его лежитъ нѣчто среднее, заключающее въ себѣ комбинацію стиховъ дѣйствительно народныхъ, какія встрѣчаются у большинства народовъ индо-европейскихъ (такъ называемый индо-европейскій метръ, который встрѣчается въ греческой, нѣмецкой и въ значительной чистотѣ сохранился въ нашей лирической и бытовой поэзіи) и еще какого-то. Если народный метръ лежитъ и въ основѣ былиннаго, то все же онъ переработанъ подъ вліяніемъ какого-то метра другого, который знаетъ не только ударенія тоническія, но извѣстное чередованіе удареній въ связи съ количествомъ слоговъ. Этимъ и объясняется, почему въ былинномъ стихѣ иногда имѣется цѣлый рядъ добавленій, мелкихъ частицъ, не нужныхъ для содержанія, въ родѣ: «то», «ай», «ужъ»,

«что»; значенiе ихъ ясно служебное: онѣ нужны для того, чтобы выдержать опредѣленный размѣръ былиннаго стиха. Такой метръ обнаруживаетъ въ значительной степени искусство слагателя и показываетъ, что созидателями подобнаго метра могли быть только люди, которымъ извѣстны были и тѣ формы искусственной поэзiи, которыя отличны отъ народныхъ. Все это ведетъ къ тому, что, съ одной стороны, сложный составъ былины, ея стройный планъ, ея искусственная форма стиха говорятъ про то, что созидателями былины не были люди необразованные, а стоящiе нѣсколько выше надъ уровнемъ той массы, которая по традицiи исполняетъ тѣ старыя пѣсни, которыя мы называемъ обрядовыми, лирическими и т. д. Обратившись къ тѣмъ свидѣтельствамъ, на которыхъ мы выше останавливались, мы получимъ подтвержденiе, что и скоморохи, между прочимъ, могли быть такими лицами, которые, обладая развитой памятью и извѣстнымъ умѣньемъ, могли быть носителями и слагателями былинъ. Эти скоморохи представляются людьми бывалыми, людьми близкими къ болѣе образованному кругу, около котораго они трутся, приглашаемые на пиры наравнѣ съ обычными пѣвцами; съ другой стороны, эти скоморохи близки и къ народной массѣ, изъ которой они сами выходили и которой также служили; поэтому, они и могли быть также созидателями произведенiй на народной основѣ. Вернемся опять къ «Слову о полку Игоревѣ». «Слово о полку Игоревѣ» представляетъ своеобразное сочетанiе элементовъ народнаго происхожденiя, внесенныхъ въ его составъ, и элементовъ книжной литературы. Авторъ его—человѣкъ, вышедшiй изъ народа, усвоившiй народное мiросозерцанiе, знавшiй форму народной поэзiи, но слагавшiй свои произведенiя для лицъ, уже болѣе культурныхъ, съ другими литературными вкусами, и самъ обладавшiй знанiемъ этихъ вкусовъ, извѣстной книжностью; т. о. извѣстнаго рода параллель между «Словомъ о полку Игоревѣ», XII в., и положенiемъ исполнителей былинъ въ болѣе позднее время можетъ быть проведена. Эта аналогiя, какъ и всякая аналогiя, должна косвенно подтверждать то, что слагатели былинъ не были какiе-то «безыскусственные художники». Съ другой стороны, отсюда слѣдуетъ, что, если въ скоморохѣ были признаки лица, которое могло быть создателемъ былинъ, то, конечно, этимъ самымъ мы не должны исключать возможности того, что помимо скомороховъ, были создатели былинъ, которые удовлетворяли этимъ требованiямъ: рядомъ съ скоморохами стоитъ рядъ другихъ лицъ, которые обладали той же, можетъ быть, даже большей, подготовкой и также были близки къ народному мiросозерцанiю, какъ скоморохи. Намъ извѣстны древнiя упоминанiя о гудцахъ и пѣвцахъ, которые не будучи скоморохами, несомнѣнно, являлись такими же артистами худож-

никами [1]). Отраженіе этого класса художниковъ мы видимъ и въ былинѣ; таковъ, напримѣръ, Садко, поющій и играющій на пирахъ новгородскихъ купцовъ. Затѣмъ, намъ извѣстна цѣлая группа произведеній, которая, несомнѣнно, созидалась людьми, которые представляли среднюю полосу между необразованной безграмотной массой и болѣе образованнымъ грамотнымъ классомъ. Таковы были слагатели такихъ духовныхъ стиховъ, каковы: о Георгіи, о Ѳеодорѣ Тиронѣ, Аникѣ и др. А этотъ видъ поэзіи стоитъ, какъ увидимъ, въ тѣсномъ взаимодѣйствіи съ былиной; съ другой стороны, зависимость духовнаго стиха отъ книжнаго источника не подлежитъ сомнѣнію. Изъ сказаннаго мы можемъ сдѣлать одинъ болѣе или менѣе надежный выводъ: слагателемъ былинъ не могъ быть человѣкъ совершенно необразованный, а долженъ быть человѣкъ, обладающій книжнымъ образованіемъ въ нѣкоторой степени, хотя бы простою начитанностью въ литературѣ. Если присмотримся ближе къ самому содержанію былинъ, къ ихъ сюжетамъ, мы убѣдимся въ томъ, что, дѣйствительно, созидателемъ былины могъ быть человѣкъ «средняго» образованія; напр., если былины о «Добрынѣ Никитичѣ и змѣѣ» или «Алешѣ Поповичѣ и Тугаринѣ Змѣевичѣ» могли образоваться изъ устнаго бродячаго сюжета путемъ приспособленія его къ условіямъ русской обстановки и обработки его въ форму былины, то былины «О сорока каликахъ съ каликой» или былина о «Василіи Окуловичѣ» могли возникнуть только при условіи знакомства создателя былинъ съ тѣми письменными литературными памятниками, которые лежатъ въ основѣ этихъ былинъ: былина о «Василіи Окуловичѣ» есть переработка извѣстнаго апокрифа о «Соломонѣ и Китоврасѣ»; былина «О сорока каликахъ» вышла изъ извѣстнаго библейскаго разсказа объ Іосифѣ и женѣ Пентефрія; въ былинѣ о «Дюкѣ Степановичѣ» ясенъ слѣдъ вліянія сказанія объ Индіи богатой. Въ другихъ случаяхъ, даже въ такихъ былинахъ, которыя, несомнѣнно, не могутъ возводиться къ опредѣленнымъ письменнымъ источникамъ, въ родѣ былины объ «Алешѣ Поповичѣ и о Тугаринѣ Змѣевичѣ», найдемъ указаніе, что въ обработкѣ ихъ принимали участіе лица, знакомыя съ отдѣльными книжными сюжетами. Такимъ образомъ, несомнѣнно, что самое развитіе сюжетовъ, способъ обработки ихъ происходитъ не безъ вліянія книжнаго. Все это указываетъ на ту атмосферу, въ которой должны быть составлены былины.

---

[1]) Помимо „вѣщаго“ Бояна въ „Словѣ о полку Игоревѣ“ и самого автора „Слова“, мы знаемъ изъ XIII в. „словутьнаго пѣвца Митусу“, котораго Андрей, дворецкій бояринъ Даніила Галицкаго (которому этотъ Митуса не захотѣлъ когда-то служить), связавши и облупивши, привелъ къ князю (см. Ипатскую лѣтопись подъ 1241 годомъ). Изъ контекста съ увѣренностью можно заключить, что Митуса скоморохомъ не былъ,

Эта же атмосфера указываетъ не на простонародную среду съ тѣмъ простымъ строеніемъ мысли, какую предполагаетъ древнѣйшая бытовая и обрядовая поэзія и даже лирическая поэзія въ значительной степени, а на среду болѣе культурную.

Возвратимся къ тому вопросу, съ котораго мы начали: какъ созидалась былина, какимъ образомъ происходило сложеніе былинъ? Разъ мы признаемъ, что сложеніе былинъ происходитъ въ тѣхъ же формахъ и условіяхъ, какъ произведенія искусственнаго нашего времени, признаемъ въ нихъ актъ личнаго творчества. Но это, конечно, не упраздняетъ вопроса о самомъ процессѣ творчества при созиданіи былинъ. Въ этомъ процессѣ сложенія былины мы можемъ выдѣлить, прежде всего, общіе традиціонные пріемы. Большинство былинъ, какъ дошедшихъ до насъ въ старой записи, начиная съ XVII в., такъ и былины, записанныя въ наши дни, представляютъ очень много общаго по своей формѣ, по своей структурѣ, по способу развитія самаго сюжета. Присматриваясь къ нимъ съ этой стороны, мы видимъ довольно отчетливо тѣ «изобразительныя» средства, которыя показываютъ, какимъ образомъ создатель былины достигалъ того художественнаго образа, который является законченнымъ въ пѣніи былины. Это въ свою очередь показываетъ, что былина, выходя изъ такой среды, которая признавала былину отдѣльнымъ видомъ творчества, руководствовалась своего рода опредѣленной поэтикой, хотя не писанной, но знакомой и сохранявшейся по преданію, въ памяти. Чтобы показать, какъ можно представить себѣ былину отдѣльнымъ видомъ литературы, который культивируется опредѣленной группой людей, возьмемъ опять исторію книжной литературы. Въ исторіи этой литературы выдѣляется одна группа—«воинской повѣсти»; во главѣ этой группы, какъ наиболѣе талантливое произведеніе, стоитъ «Слово о полку Игоревѣ». Повѣсти эти слагались въ средѣ довольно опредѣленной—близкой по культурной физіономіи къ той, которую мы предполагаемъ для былины; это—дружина, военная среда, вышедшая изъ массы, но уже надъ ней поднявшаяся. Воинскія повѣсти отличаются отъ обыкновенной повѣсти, распространенной въ нашей письменности, прежде всего тѣмъ, что они пользуются своеобразными шаблонами для изображенія цѣлаго ряда часто повторяющихся деталей: описаніе битвы типичное, оно въ различныхъ произведеніяхъ въ разное время только немного варіируется, но главные моменты картины, схема все одна и та же, стилистическія особенности этихъ описаній тѣ же, описаніе поля битвы схематично. Стало быть, воинскія повѣсти, начиная съ XII в. представляютъ процессъ творчества такой: обработка сюжета достигается путемъ примѣненія къ нему традиціонныхъ, привычныхъ изобразительныхъ средствъ. Комбинаціей этихъ изобрази-

тельныхъ средствъ опредѣляется индивидуальное участіе творца въ обработкѣ его сюжета, т.-е., одинъ беретъ изъ этой сокровищницы общихъ мѣстъ, изъ запаса изобразительныхъ поэтическихъ средствъ одно, другой—другое; одинъ комбинируетъ взятое такъ, другой иначе. То же самое мы видимъ въ былинѣ. Присмотримся къ стилю былины: мы увидимъ, что одни и тѣ же «общія мѣста», напр., описаніе вооруженія богатыря, описаніе сѣдланія коня, описаніе пріемовъ столкновенія между двумя богатырями,—все это не составляетъ чего-либо вытекающаго изъ основного содержанія данной былины; оно является типическимъ, общимъ мѣстомъ, повторяющимся съ варіаціями въ различныхъ по содержанію былинахъ: одинаково сѣдлаетъ своего коня Илья Муромецъ, также сѣдлаютъ своего коня Васька Буслаевъ и Вольга Святославовичъ. Приходятъ богатыри къ князю Владиміру, всякій изъ изъ нихъ исполняетъ разъ навсегда положенное: кладетъ поклонъ по ученому, молится образу Спаса, кланяется князю, а княгинѣ «въ особину» и т. д. Въ одной былинѣ однѣ подробности, въ другой—другія, но картина получается та же. Если мы беремъ семью богатырей, то каждый богатырь, имѣя тѣ или иныя индивидуальныя черты, все-таки носитъ на себѣ, такъ сказать, «кастовыя», «сословныя» черты: если онъ богатырь, у него имѣется непремѣнно палица во сто или девяносто пудъ, конь имѣется такой, который дѣлаетъ скачки выше лѣса стоячаго, ниже облака ходячаго; богатырь постоянно имѣетъ свой «титулъ», свой «чинъ», славнаго, могучаго богатыря: «славный русскій богатырь», «удалый молодецъ». Все это указываетъ на то, что въ былинѣ личное творчество, въ смыслѣ изобрѣтенія, созданія новыхъ образовъ, въ значительной степени понижено: здѣсь пѣвцу много изобрѣтать не приходится. Надо только имѣть память, умѣнье и вкусъ воспользоваться тѣмъ, что есть въ памяти, чтобы создать былину въ опредѣленной формѣ. Слагатель былины, заинтересованный извѣстнымъ сюжетомъ, излагаетъ его при помощи того репертуара изобразительныхъ средствъ, которыя являются для него традиціонными, обязательными. Этимъ объясняется та общность въ трактовкѣ былинъ, которая примѣняется къ разнообразнымъ сюжетамъ. Здѣсь есть творчество, но своеобразное, своего рода «полутворчество», заключающееся, во-первыхъ, въ умѣніи выбрать интересный, поэтическій по природѣ сюжетъ, а затѣмъ въ умѣніи творчески же воспользоваться уже готовымъ матеріаломъ, давъ ему соотвѣтствующую комбинацію. Поэтому, если мы обратимъ вниманіе именно на формальную сторону былины, т.-е., на ея изобразительныя средства, тогда въ значительной степени представимъ весь процессъ творчества; а этотъ процессъ представляется по плечу тѣмъ людямъ «средняго» образованія, которые должны были быть создателями былины.

Для дальнѣйшей характеристики этого оригинальнаго творчества (не говоря уже объ общихъ свойствахъ его съ остальными памятниками устнаго творчества, о чемъ см. выше «поэтику» устнаго творчества), можно привести такого рода часто довольно встрѣчающуюся особенность. Какъ результатъ малосознательности, иногда безсознательности, такого процесса (о чемъ была рѣчь только что), мы иногда получаемъ на первый взглядъ такого рода несообразность, встрѣчающуюся въ былинахъ: когда въ одномъ мѣстѣ былины для характеристики, напримѣръ, лица пѣвецъ пускаетъ въ ходъ одно изъ ходячихъ изобразительныхъ средствъ, то же самое типическое средство пускаетъ въ ходъ въ другомъ мѣстѣ былины, къ которому оно на первый взглядъ не идетъ... Такъ, напримѣръ, въ былинѣ объ Ильѣ Муромцѣ и Калинѣ-царѣ разсказывается, что появился подъ Кіевомъ Калинъ царь съ п о г а н ы м и татарами [1]), при чемъ Калинъ царь посылаетъ своего «п о г а н а г о татарина» съ письмомъ къ Владимиру, давая ему это порученіе въ такой формѣ:

„Ай же ты п о г а н ы й татарищо!
„Знаешь говорить да ты по русскому".

Въ другой былинѣ, объ Ильѣ и Идолищѣ, то же: Илья, одѣтый каликой, приходитъ къ Владимиру:

„А сидитъ тутъ И д о л и щ е п о г а н о е"
. . . .
Очень нашъ старый казакъ Илья Муромецъ,
Очень же низко ему кланялся:
— Здравствуй-ко, И д о л и щ е п о г а н о е!

Видно, до такой степени эпитетъ приросъ въ сознаніи пѣвца къ данному лицу, къ данному сюжету, что онъ не можетъ не придать его и тамъ, гдѣ бы по смыслу мѣста мы бы ожидали другого эпитета. Эта особенность композиціи (психологически—законъ ассоціаціи представленій) нашихъ былинъ въ значительной степени освѣщаетъ намъ самый процессъ сложенія былины, уясняя роль личности сказателя, т.-е. лица, передающаго былину, отношеніе его къ ея тексту, который мы отъ него получаемъ: для него сюжетъ былины является традиціоннымъ, наслѣдственнымъ; но традиціоннымъ же является для него и самый способъ обработки этого сюжета: эта традиція въ его глазахъ допускаетъ возможность проявлять свой личный вкусъ, умѣніе воспользоваться традиціоннымъ матеріаломъ изобразительныхъ средствъ. Что именно дѣло обстоитъ такъ, мы можемъ судить, сравнивая одну и ту

---

[1]) Одинъ изъ „постоянныхъ эпитетовъ" степныхъ враговъ (ср. въ Сл. о П. И,— поганый половчинъ).

же былину по воспроизведенію ея разными пѣвцами и даже однимъ пѣвцомъ въ разное время. Одна и та же былина поется пѣвцомъ нѣсколько разъ, и въ большинствѣ случаевъ мы не можемъ быть увѣрены, что она будетъ во всѣхъ случаяхъ пропѣта съ однѣми и тѣми же деталями, съ однѣми и тѣми же подробностями. Крупныя, существенныя черты, органически связанныя съ содержаніемъ былины, съ типомъ богатыря, будутъ всякій разъ повторяться у пѣвца неизмѣнно, но въ мелочахъ онъ будетъ варіировать; это наблюденіе показываетъ, что въ самый моментъ исполненія былины творческо-комбинаціонная способность пѣвца продолжаетъ работать: передача былины не есть простая механическая передача того, что пѣвецъ знаетъ, помнитъ, а пѣвецъ всегда участвуетъ самъ своей художественной концепціей при пѣніи былины. Такъ, извѣстный современный пѣвецъ былинъ, Рябининъ, Иванъ Трофимовичъ [1]), поетъ былину своего отца про трехъ королевичей изъ Кракова. Отецъ (отъ него записывалъ Гильфердингъ) его пѣлъ эту былину съ однѣми подробностями, сынъ (отъ него записана она въ 1890 г.) поетъ съ другими. Тотъ же И. Т. Рябининъ довольно ясно опредѣляетъ свое отношеніе къ деталямъ былины: онъ считаетъ ихъ въ разномъ видѣ, однако, равноцѣнными для художественной концепціи, а потому варіацію ихъ признаетъ своимъ личнымъ правомъ; когда его спрашивали, почему онъ передаетъ подробность такъ, онъ, давая тотчасъ варіантъ, отвѣчалъ: «можно такъ, можно и этакъ». Отсюда получается другой выводъ: отраженіе личности пѣвца на строѣ былины должно быть признано. Болѣе способный, болѣе талантливый, болѣе поэтически настроенный пѣвецъ «слагаетъ» былину изъ готоваго матеріала болѣе искусно, нежели пѣвецъ неталантливый. Пѣвецъ болѣе памятливый, въ родѣ Рябинина, который держитъ въ головѣ нѣсколько тысячъ стиховъ, передаетъ былину болѣе стройно, болѣе сохранитъ ея старинныя черты, нежели менѣе памятливый пѣвецъ.

Обобщая всѣ до сихъ поръ приведенныя наблюденія надъ формой и строемъ былины, мы должны такимъ образомъ, притти къ заключенію: былина есть продуктъ не какого-то общенароднаго, коллективнаго, особеннаго творчества, а творчества личнаго, какое мы наблюдаемъ въ нашемъ, такъ называемомъ искусственномъ творчествѣ у поэта; сюжеты ея въ большинствѣ случаевъ традиціонны, традиціонна и обработка этихъ сюжетовъ; по тексту она далеко не такъ устойчива, какъ бы это хотѣлось видѣть представителю школы романтиковъ, и въ значительной степени отражаетъ личность пѣвца, умѣніе его воспользоваться готовымъ, правда,

---

[1]) Недавно умершій. Въ началѣ 90-хъ гг. прошлаго столѣтія онъ былъ въ Москвѣ, гдѣ производились наблюденія надъ исполненіемъ имъ былинъ.

матеріаломъ. Такимъ образомъ, у былины есть своя теорія словесности, хотя и не писанная, не формулированная ничѣмъ, кромѣ привычки, той же устной традиціи въ сознаніи исполнителя былины. Такимъ образомъ, созданная когда-то былина все время живетъ и измѣняется. Ея ядро, какъ основа самого разсказа, въ существенныхъ чертахъ остается неизмѣнной, но около этого ядра наростаетъ новый матеріалъ, который зависитъ отъ времени, отъ условій мѣстности, отъ личныхъ впечатлѣній пѣвца, отъ его талантливости, отъ его умѣнія обращаться съ тѣмъ готовымъ матеріаломъ, который имѣется къ его услугамъ изъ ряда средствъ для разработки сюжета, наконецъ, отъ того, что получилъ онъ въ наслѣдство отъ своихъ учителей. Такимъ образомъ возникали варіанты былины, сложенной впервые однимъ лицомъ. Среди этихъ варіантовъ различные будутъ различно относиться къ основной, предполагаемой нами, пѣснѣ: одни сохранятъ черты этой пѣсни, другіе будутъ, наоборотъ, послѣдующими наслоеніями часто разнаго времени, разныхъ мѣстностей, разнаго склада психическихъ особенностей пѣвца. Въ результатѣ этой длинной исторіи въ жизни пѣсни получается то, что̀ въ наукѣ называется былиной, дошедшей до насъ въ рядѣ варіантовъ. Такимъ образомъ, варіанты есть тѣ побочныя измѣненія, частью изобразительныхъ средствъ, частью подробностей сюжета, которыя показываютъ, какъ, гдѣ и при какихъ условіяхъ жила былина со времени своего сложенія до времени ея записи. Поэтому, изслѣдуя былину исторически, изслѣдователь, прежде всего, ставитъ себѣ цѣлью выяснить, въ чемъ будетъ сущность былины, основной сюжетъ ея; тогда уже будетъ онъ говорить объ исторіи этого сюжета, на основаніи изученія варіантовъ. Но отправляется онъ отъ изученія тѣхъ же варіантовъ: сопоставивъ цѣлый рядъ записей одной и той же былины, отмѣтивъ варіанты этихъ записей, онъ оцѣниваетъ значеніе каждаго варіанта по отношенію къ предположенному ядру былины, при чемъ вноситъ въ него изъ варіантовъ то, что̀ изъ первоначальнаго, по его изслѣдованію, окажется сохраненнымъ однимъ варіантомъ, будучи утрачено въ другомъ. Этотъ возстановленный видъ былины изслѣдователь и называетъ первоначальной пѣсней, или пѣсней въ наиболѣе близкомъ видѣ къ первоначальной. При подобной работѣ возникаетъ естественно вопросъ: какъ оцѣнивать эти варіанты? Нѣкоторые изъ нихъ, какъ мы видѣли, оцѣниваются довольно легко: это привычные эпитеты, украшающія средства, повтореніе типическихъ мѣстъ и т. п.: такіе для возстановленія первоначальной пѣсни, ясно, значенія почти не имѣютъ. Но они могутъ имѣть иное значеніе. Изучая формальныя особенности былины для ея исторіи, нельзя обойти вопросъ, какого происхожденія эти-то изобразительныя средства, эти украшенія? Въ зависимости отъ

того, какое происхожденіе мы для нихъ установимъ, мы можемъ опредѣлить и характеръ былины, можемъ опредѣлить иногда даже время появленія этой былины. Происхожденіе этихъ общихъ мѣстъ имѣть въ виду необходимо еще и потому, что представители, выросшіе на воззрѣніяхъ старой школы, оцѣнивали изобразительныя средства именно исторически, въ связи съ происхожденіемъ самой былины, даже, пожалуй, не столько въ смыслѣ историческомъ, сколько культурно-поэтическомъ: для нихъ эпитеты, напр., «красный», «ясный» являются символомъ солнца; поэтому, встрѣтивши въ былинѣ эпитетъ Владимира «Красное солнышко», или при описаніи предмета—«ясно серебро», изслѣдователи этого типа склонны были видѣть здѣсь остатокъ миѳологическаго представленія о солнцѣ, и возводить самую былину къ отдаленнѣйшимъ временамъ наличности миѳологическихъ вѣрованій въ народѣ. Это выдвигаетъ, однако, вопросъ, дѣйствительно ли существовала тогда и былина, и имѣлъ ли дѣйствительно миѳологическій смыслъ эпитетъ «красный», «ясный» въ эпоху сложенія былины? Былина, какъ мы знаемъ, въ основѣ своей прежде всего отзвукъ историческаго событія, поэтическое пониманіе совершившагося, выраженіе отношенія создателя былины къ дѣйствительному, историческому факту [1]), подчасъ точно опредѣляемому хронологически и не древнему. Конечно, изобразительныя средства былины, если ихъ такъ оцѣнивать, какъ это дѣлаютъ миѳологи, будутъ гораздо старше самой былины: иначе, содержаніе былины, фабулу ея придется отдѣлить отъ внѣшней формы ея и разсматривать отдѣльно, что ведетъ къ новой неправильности: позднее содержаніе облечено въ форму доисторическаго происхожденія, авторъ былины, жившій не ранѣе XI вѣка (болѣе раннихъ отзвуковъ исторіи мы въ былинахъ не знаемъ), когда миѳологіи уже не было, какъ міросозерцанія, вноситъ черезъ изобразительныя средства эту миѳологію. Органичность изобразительныхъ средствъ въ былинѣ будетъ нарушена въ такомъ случаѣ, иначе не мыслимо заключеніе о самой былинѣ, какъ восходящей къ отдаленному прошлому, къ доисторическому времени. Но и такой выводъ будетъ не вѣренъ; чтобы правильно понять соотношеніе между сюжетомъ былины и ея изобразительными средствами, мы должны прежде всего объяснить себѣ, что такое тѣ изобразительныя средства, которыя привели старшихъ изслѣдователей къ такому невѣрному выводу? Несомнѣнно, какъ словесныя формы опредѣленнаго понятія, они могутъ восходить къ весьма отдаленному прошлому по своему происхожденію, могли при своемъ

---

[1]) Подъ фактомъ въ этомъ случаѣ слѣдуетъ подразумѣвать не только событіе, но и общѣе — обстановку, характеръ исторической эпохи, какъ результатъ фактовъ.

возникновенiи имѣть и миѳологическiй смыслъ (объ этомъ спорить можно, но въ данномъ случаѣ нѣтъ надобности); но къ тому времени, когда они стали орудiемъ для разукрашиванiя былиннаго сюжета, они уже, конечно, своего первоначальнаго смысла не имѣли. Это не есть элементъ мiросозерцанiя религiознаго, это есть уже чисто-художественное поэтическое средство; т.-е. первоначальный смыслъ эпитета (если онъ и былъ миѳологическiй, религiозный) уже утраченъ ко времени созданiя былины. То же по отношенiю къ такому, миѳологическому по первоначальному смыслу, эпитету мы видимъ и въ книжной старой поэзiи. Таковы въ «Словѣ о полку Игоревѣ» случаи упоминанiя языческихъ божествъ (Велесъ, Стрибогъ и др.) въ концѣ XII в.: они имѣютъ значенiе только художественныхъ изобразительныхъ средствъ; такой же характеръ имѣютъ и другiе эпитеты, напр., «красная» Глѣбовна (ср. бусые=сѣрые волки). То же въ былинѣ: она создалась далеко не такъ рано, хотя иныя изъ нихъ и имѣютъ почтенную древность, но отнюдь не доисторическую, во всякомъ случаѣ, не ранѣе появленiя у насъ христiанства. Такимъ образомъ ясно, что напрасно мы будемъ искать въ былинѣ какого-нибудь отзвука миѳологiи, какъ таковой. Если дѣло обстоитъ такъ, тогда передъ нами возникаютъ вопросы: что же представляетъ собою былинный сюжетъ? Что же представляетъ собою обработка былиннаго сюжета? Какъ выше было указано, былинный сюжетъ, прежде всего, сюжетъ въ широкомъ смыслѣ слова историческiй: это есть поэтическое выраженiе воззрѣнiя человѣка на данное событiе или на отдѣльный кругъ событiй; вѣковая борьба Россiи, напр., со степью отлилась въ поэтическiй образъ борьбы богатырей съ темной силой, съ погаными; борьба новгородцевъ съ финнами и съ другими инородцами при ихъ колонизацiи отлилась въ своеобразное изображенiе какого-то похода новгородцевъ на Чудь и т. д. И отдѣльныя событiя получаютъ поэтическое изображенiе: битва на рѣкѣ Калкѣ вылилась въ былину о гибели русскихъ богатырей [1]). Поэтому, мы, изучая былину, стараемся угадать тотъ историческiй фактъ, который лежитъ въ ея основѣ и, отправляясь отъ этого предположенiя, доказываемъ тождество сюжета былины съ какимъ-нибудь извѣстнымъ намъ событiемъ или ихъ кругомъ; затѣмъ мы смотримъ, какимъ образомъ этотъ сюжетъ былъ разработанъ, въ какое время, какъ переработанъ, какимъ измѣненiямъ онъ подвергся въ изложенiи, въ истолкованiи поэта-слагателя былины. Это и будетъ изученiемъ исторической судьбы той или другой былины. Вотъ

---

[1]) Подъ это же опредѣленiе факта въ широкомъ смыслѣ подойдетъ и чисто литературный мотивъ въ былинѣ: ходячее международное преданiе или сюжетъ будутъ фактами, какъ явленiе, вошедшее въ русскую жизнь или усвоенное сознанiемъ русскаго человѣка; въ этомъ смыслѣ и книжный сюжетъ долженъ быть разсматриваемъ, какъ фактъ.

та программа, которую обыкновенно преслѣдуетъ историкъ народной словесности. Но здѣсь историкъ встрѣчается съ цѣлымъ рядомъ другихъ осложненій. Никогда почти сюжетъ былины не остается недвижимымъ: если онъ не измѣняется въ существѣ, всеже измѣняются въ былинѣ не только изобразительныя средства, но и детали сюжета. Эти детали и должны быть опредѣлены въ своемъ отношеніи къ сюжету. При опредѣленіи этихъ деталей, мы чаще всего сталкиваемся съ такого рода случаемъ. На былину оказываютъ вліяніе другіе памятники, какъ устные же, такъ и письменные, служа для развитія распространенія основного сюжета, напр., поэтическіе элементы сказки, пѣсни обрядовой; бываютъ и такіе случаи, когда для разработки сюжета пользуются и книжными источниками, которые не непосредственно использованы пѣвцомъ, а они вошли въ его сознаніе въ качествѣ преданія, уже устнаго пересказа. Такимъ образомъ, былина оказывается въ своей исторіи не только воспроизведеніемъ историческаго сюжета, но и выраженіемъ взаимоотношеній между различнаго рода элементами не только устной, но и книжной поэзіи. Бываетъ и такъ, что самый основной сюжетъ былины, который рисуется пѣвцу принадлежащимъ русской жизни, оказывается заимствованнымъ; онъ беретъ, такимъ образомъ, готовый сюжетъ и на немъ строитъ свою былину; беретъ иногда какой-нибудь бытовой любопытный эпизодъ и его превращаетъ въ былину съ содержаніемъ приключеній какого-либо извѣстнаго богатыря. Такимъ образомъ, въ былинѣ мы находимъ и мѣстный историческій фактъ и фактъ лишь примѣненный къ русской дѣйствительности, находимъ элементы и устные разнаго происхожденія. Такимъ образомъ, изученіе былины до извѣстной степени влечетъ за собою изученіе той широкой области, которая называется областью фольклора, и покоится на сравнительномъ широкомъ методѣ международнаго общенія.

Вотъ тѣ основы, которыя необходимо помнить, когда мы изучаемъ былину исторически. Въ дальнѣйшемъ ознакомленіи съ былиной, я не буду повторять этихъ общихъ методологическихъ пріемовъ, а прямо буду указыватъ, насколько тотъ или другой сюжетъ стоялъ въ томъ или другомъ отношеніи къ другимъ видамъ народнаго творчества или творчества книжнаго, или историческому прошлому русскаго племени.

Распредѣленіе былинъ по богатырямъ. Обратимся теперь къ самому содержанію былинъ. Какъ приходилось уже говорить, былины по характеру ихъ содержанія распадаются: на былины боевыя и не боевыя (иначе богатырскія, военныя и городскіе разсказы, «новеллы»). Дальнѣйшія шагъ въ характеристикѣ нашихъ былинъ—это характеристика главнѣйшихъ типовъ былинныхъ героевъ. Распредѣленіе былинъ по героямъ не будетъ всегда совпадать съ тѣмъ

дѣленіемъ, которое мы сдѣлали: съ однимъ и тѣмъ же героемъ можетъ быть былина боевая и не боевая, такъ, напр., Добрыня Никитичъ, съ одной стороны, является военнымъ героемъ, сражающимся со зміемъ, въ другой—онъ является жертвой любовнаго похожденія; Алеша Поповичъ—то богатыремъ, побѣждающимъ Тугарина, то «бабьимъ прелестникомъ» и т. п. Такимъ образомъ, дѣленіе сюжетовъ по характеру не упраздняетъ распредѣленія былинъ по богатырямъ. Это послѣднее дѣленіе построено, такимъ образомъ, на самомъ содержаніи былины, не только на опредѣленіи ея характера.

Если мы пересмотримъ весь нашъ былинный репертуаръ, который до сихъ поръ извѣстенъ (а онъ, какъ мы видѣли, въ значительной степени по сюжетамъ и по именамъ богатырей теперь исчерпанъ нашими собирателями), то мы увидимъ, что мы можемъ перечислить почти всѣ былинные сюжеты, встрѣчающіеся въ устахъ народа, можемъ перечислить и богатырей. И тѣ и другіе, сравнительно съ нашей художественно-книжной и печатной литературой, по количеству будутъ не многочисленны. Сюжетовъ и богатырей можно насчитать приблизительно по 35—40 тѣхъ и другихъ. При этомъ замѣтимъ, отдѣльные типы богатырей оказываются довольно устойчивыми: съ именами опредѣленныхъ богатырей связывается рядъ болѣе или менѣе опредѣленныхъ разсказовъ; иногда же мы встрѣчаемъ смѣшеніе, черты одного богатыря переносятся на другого, или же одна черта пріурочивается къ разнымъ богатырямъ; въ послѣднемъ случаѣ—ясное доказательство того, что въ такихъ былинахъ традиціонныя преданія, первоначальная пѣсня, значительно слабѣе задержана памятью сказателя, нежели въ былинахъ, которыя носятъ опредѣленный характеръ; есть даже цѣлый рядъ былинъ, въ которыхъ мы видимъ явную путаницу, которая есть результатъ неискусства, малой талантливости или забывчивости пѣвца.

Наконецъ, какъ одинъ изъ фактовъ въ жизни былины, должно бытъ отмѣчено состояніе дошедшей до насъ былины: какъ и въ другихъ эпосахъ, и у насъ намѣчается среди пѣвцовъ стремленіе къ циклизаціи пѣсенъ, т.-е., желаніе объединять въ одной пѣснѣ разсказъ первоначально нѣсколькихъ объ одномъ и томъ же лицѣ; эта циблизація своего полнаго развитія у насъ не достигла: дѣло ограничивается объединеніемъ не всего, что̀ касается опредѣленнаго богатыря или сюжета, а лишь сліяніемъ нѣсколькихъ сюжетовъ и пѣсенъ, являющихся одной въ сознаніи пѣвца; это такъ называемыя «сводныя» былины, попадающіяся въ сборникахъ. Рѣдко эта циклизація идетъ дальше: для полноты, законченности разсказа, сочиняются новыя недостающія звенья (напр., объ исцѣленіи Ильи). Во всякомъ случаѣ, циклизація у насъ явленіе не первоначальное и часто позднее, не охватывающее большого числа былинъ.

Остановимся на лучшихъ по сохранности и наиболѣе распространенныхъ былинахъ и выдѣлимъ типы ихъ богатырей. Такихъ типовъ богатырей въ русскомъ эпосѣ немного болѣе десятка: они являются наиболѣе распространенными и наиболѣе разработанными пѣвцами, можетъ быть, и наиболѣе древними; это: Илья Муромецъ, Добрыня Никитичъ и Алеша Поповичъ, затѣмъ: Садко, Василій Буслаевъ, Дюкъ, Чурило, Потокъ и др. Вездѣ, гдѣ существуютъ былины, знаютъ Илью Муромца, очень часто знаютъ Добрыню Никитича и довольно часто знаютъ Алешу Поповича, т.-е., эти богатыри оказываются наиболѣе популярными; тамъ, гдѣ сохранились лишь остатки былины, тамъ вы встрѣтите Сухмана или Колывана, или Дуная. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорятъ изслѣдователи былинныхъ репертуаровъ въ настоящее время. Съ другой стороны, нужно сказать также и то, что образы этихъ богатырей дѣйствительно наиболѣе цѣнны, они являются наиболѣе полно представленными, поэтому съ нихъ удобнѣе всего и начать объясненіе содержанія въ связи съ исторіей развитія былинныхъ сюжетовъ.

I. Былины о Добрынѣ. Добрыня принадлежитъ къ числу популярныхъ богатырей, въ этомъ отношеніи онъ занимаетъ второе мѣсто послѣ Ильи Муромца. Оставляя въ сторонѣ тѣ пѣсни, гдѣ Добрыня играетъ лишь роль второстепенную или лишь упоминается въ числѣ другихъ богатырей, среди пѣсенъ [1]), ему посвященныхъ, можно намѣтить восемь сюжетовъ, соединяемыхъ съ его именемъ, хотя и относящихся къ разнымъ эпохамъ по времени своего созданія; это слѣдующія: 1) о Д. и змѣѣ («Д.-змѣеборецъ»), 2) о добываніи невѣсты Владимиру («Д.-сватъ», «Д. и Дунай», 3) о превращеніи Д. въ тура («Д. и Марина»), 4) о посольствѣ Д. къ Батыю («Д. и Василій Казмировъ»), 5) Д. на свадьбѣ своей жены («Д. и Алеша Поповичъ»), 6) о боѣ Добрыни съ Ильей, 7) о женитьбѣ Д. («Д. и Настасья») и 8) о боѣ Добрыни съ Дунаемъ. Пѣсни 1, 2, 4, 6, 7, и 8—боевыя, остальныя—«новеллы». Первыя двѣ пѣсни признаются старѣйшими среди другихъ.

Согласно установившемуся порядку изслѣдованія былинъ, прежде всего остановимся на выясненіи вопроса, насколько и какъ историческая

---

[1]) Указываю (какъ и ниже) тексты былинъ, которые имѣются главнымъ образомъ въ виду при анализѣ тѣхъ или другихъ былинныхъ сюжетовъ, съ тѣмъ, чтобы не излагать подробно ихъ. Тексты выбраны изъ наиболѣе важныхъ сборниковъ (полныя заглавія ихъ см. выше, стр. 34, 40, 42, 47). О Добрынѣ: Гильфердингъ, I, № 5, III, № 227, I, 94; Тихоправовъ, и Миллеръ, № 37; Марковъ, № 108; Григорьевъ, III, № 17 (321); три изъ нихъ представляютъ сводную былину (Гильф. № 5). Эти же тексты съ указаніемъ нѣкоторыхъ о нихъ подробностей перепечатаны въ серіи изд. М. и С. Сабашниковыхъ „Памятники міровой литературы“. Народная словесность. Былины, т. I, стр. 1 и сл. (М. 1916).

подкладка отразилась на сюжетѣ былинъ о Добрынѣ. Первымъ шагомъ для подобнаго рода изслѣдованія является былинное имя. Въ былинѣ имя является часто очень хорошимъ (хотя и не всегда), надежнымъ показателемъ, потому что имя, какъ нѣчто болѣе опредѣленное и оригинальное (собственное имя) дольше задерживается въ памяти и тѣмъ способствуетъ сохраненію сюжета, соединеннаго съ нимъ. Обыкновенно, поэтому, изслѣдователь и начинаетъ съ анализа былиннаго имени, т.-е., старается узнать, не скрывается ли какое-нибудь извѣстное историческое лицо съ тѣмъ же самымъ именемъ (или съ измѣненіемъ, которое можно устранить) подъ именемъ богатыря; и дѣйствительно, въ цѣломъ рядѣ случаевъ былинное имя можетъ найтись въ другихъ памятникахъ въ томъ же видѣ или нѣсколько отличномъ; а это намъ можетъ указывать иногда на источникъ, въ которомъ надо искать матеріалъ и для объясненія самого былиннаго образа. Такъ должны мы поступить и въ данномъ случаѣ. Имя Добрыни, дѣйствительно, извѣстно не только изъ былины: съ нимъ мы встрѣчаемся и въ русской лѣтописи. Добрыня, упоминаемый въ лѣтописи, считается въ ней современникомъ, родственникомъ (дядей) Владимира, крестившаго Русскую землю. Въ лѣтописи же приводится разсказъ о томъ, какъ водворялось христіанство въ Новгородѣ [1]); въ числѣ дѣйствующихъ лицъ здѣсь имѣется имя Добрыни, рядомъ съ нимъ упоминается Путята, воевода Владимира. Тамъ разсказывается приблизительно такъ. Съ дружиной въ 500 человѣкъ воеводы Добрыня съ Путятой по порученію Владимира отправляются въ Новгородъ съ тѣмъ, чтобы низвергнуть идоловъ и заставить новгородцевъ креститься. Въ Новгородѣ довольно сильно развито язычество, большое значеніе въ городѣ имѣютъ посадникъ Улоняй и волхвы, которые являются предводителями народной массы. Въ числѣ этихъ жрецовъ лѣтопись упоминаетъ какого-то Богомила, по прозванью (за свое краснорѣчіе) Соловья, одного изъ этихъ волховъ. Этотъ Богомилъ является главнымъ противникомъ христіанства, организуетъ вмѣстѣ съ посадникомъ защиту Новгорода противъ Добрыни и Путяты и христіанства. Посадникъ уговариваетъ новгородцевъ не слушать «лагодныхъ» (обольстительныхъ) рѣчей Добрыни, а тѣмъ временемъ Богомилъ разбираетъ большой, ведущій въ городскую часть мостъ черезъ Волховъ, и войти Добрынѣ въ Новгородъ нельзя: онъ остается на «Торговой» сторонѣ. Тогда Путята беретъ съ собою часть отряда, идетъ въ сторону выше Новгорода, на лодкахъ переправляется на

---

[1]) Разсказъ помѣщенъ у Татищева въ его „Исторіи Россійской" (I, 38) по исчезнувшей теперь Іоакимовской лѣтописи; видимо, Добрыня рано сталъ достояніемъ устной легенды, занесенной въ лѣтопись.

другую (главную, гдѣ и были язычники) Новгородскую сторону и совершенно неожиданно входить въ городъ. Здѣсь начинается борьба, свалка. Новгородъ выставилъ цѣлыхъ 5000 воиновъ: Путятѣ грозитъ гибель; онъ посылаетъ за Добрыней. Добрыня приходитъ къ нему на помощь, но успѣхъ дается только благодаря хитрости: Добрыня поджигаетъ на берегу Волхова новгородскіе дома и отвлекаетъ такимъ образомъ вниманіе отъ главной битвы, что даетъ возможность Добрынѣ и Путятѣ сломить новгородцевъ: они покоряются, язычество уничтожается, Добрыня и Путята идоловъ жгутъ или кидаютъ въ Волховъ и заставляютъ новгородцевъ принять христіанство и возстановить церковь на «Торговой» сторонѣ, построенную Добрыней. По поводу этого событія лѣтопись вспоминаетъ пословицу, которая сложилась въ это время: «Путята крести мечомъ, а Добрыня огнемъ». Очевидно, что и въ лѣтописномъ разсказѣ Добрыня рисуется, главнымъ образомъ, боевымъ героемъ, а кромѣ того, борцомъ за христіанство противъ язычества, а Путята его помощникомъ. Т. о. имя Д. связано съ религіозной легендой распространенія христіанства на Руси. Вотъ тѣ историческія свидѣтельства, которыя занесены о Добрынѣ въ лѣтопись; изъ нихъ видимъ, кромѣ того, что Д. занимаетъ видное мѣсто въ обществѣ, своего рода «дипломатъ», мастеръ говорить («лагодныя рѣчи»), принадлежитъ къ военной части дружины (онъ, какъ и Путята, воевода), затѣмъ онъ родственникъ Владимира (онъ дядя ему). Напомнимъ и о томъ, что лѣтописный Добрыня является современникомъ Владимира. Обращаясь къ былинѣ о Добрынѣ-змѣеборцѣ, мы замѣтимъ въ ней нѣкоторыя черты, которыя даютъ намъ право подозрѣвать, что въ ней мы имѣемъ передъ собой отчасти отраженіе именно тѣхъ историческихъ именъ, а за ними событій, которыя попали въ историческое преданіе (лѣтопись раньше XI вѣка, даже въ своемъ первоначальномъ сводѣ, не восходитъ) [1]. Добрыня рисуется въ былинахъ, прежде всего, какъ богатырь, также боевой человѣкъ, и въ то же время образованный: вездѣ, гдѣ онъ ни появляется, онъ выдѣляется среди другихъ богатырей, простыхъ воякъ (напр., тотъ же Илья), своимъ «вѣжествомъ», т.-е. благовоспитанностью, образованностью; напримѣръ, онъ, придя къ Владимиру, по былинѣ, поклонъ кладетъ по ученому, ведетъ себя изыскано благородно, вѣжливо, какъ образованный человѣкъ; онъ, такъ сказать, богатырь-аристократъ. Этотъ типъ подходитъ къ историческому Добрынѣ: онъ также близокъ къ князю Владимиру (его племянникъ,

---

[1]) Но имѣя въ виду составъ „Начальнаго“ лѣтописнаго свода (повѣсть о крещеніи Руси), это преданіе надо счесть довольно рано вошедшимъ въ лѣтопись, м. б. не позднѣе XII в.

по былинѣ), его положеніе видное, ему даются порученія, требующія не только мужества, но и искусства, ловкости, онъ начальникъ той дружины, которая идетъ водворять христіанство—все это, несомнѣнно, предполагаетъ въ Добрынѣ старшаго дружинника, человѣка богатаго, человѣка близкаго къ культурнымъ сферамъ своего времени. Повидимому, этотъ историческій образъ Добрыни отразился и на приведенной выше характеристикѣ былиннаго Добрыни, т.-е.: мы можемъ съ большой долей вѣроятности предполагать, что въ былинномъ Добрынѣ нашелъ свое отраженіе Добрыня историческій. И въ былинѣ онъ рисуется также родственникомъ кн. Владимира, только здѣсь онъ не дядя князя, а племянникъ; подобнаго рода измѣненіе вполнѣ естественно для эпоса: кн. Владимиръ—центръ, около котораго группируется дружина богатырей, онъ—великій князь стольно-кіевскій, старшій по своему положенію среди окружающихъ, представляется особенно почтеннымъ и во всякомъ случаѣ человѣкомъ, если не старымъ, то во всякомъ случаѣ уже солиднаго возраста, сложившимся вполнѣ, а богатыри—это удальцы, представители силы, которымъ подобаетъ и юный, цвѣтущій возрастъ, молодой обликъ: Илья Муромецъ въ былинахъ чаще всего молодой (три поѣздки), или возрастъ его не указывается; только позднѣе сталъ онъ «матерымъ», сохранившимъ, однако, молодыя силы; Алеша Поповичъ также изображается молодымъ: молодость, какъ выраженіе силы, ловкости, это—богатырская черта. Поэтому естественно, что Добрыня въ народномъ сознаніи представился молодымъ богатыремъ; а разъ онъ молодой богатырь, то разумѣется, ему не быть дядей князя Владимира, а скорѣе, если онъ родственникъ, то племянникъ. Такова можетъ быть концепція, которая превратила Добрыню изъ дяди Владимира въ племянника. Такимъ образомъ, эта черта отличія не противорѣчитъ сближенію Добрыни былиннаго съ Добрыней историческимъ. Затѣмъ, есть еще точки соприкосновенія (правда, не такія яркія), которыя въ извѣстной степени указываютъ, что народныя преданія—основа былины — покоятся на исторической почвѣ, отзвуки которыхъ мы можемъ, (правда, въ видѣ намековъ) услѣдить опять-таки въ лѣтописи. Въ былинахъ о Соловьѣ Будимировичѣ фигурируетъ племянница князя Владимира Забава (Запава) Путятишна, которая, несомнѣнно, по своему отчеству должна быть связана съ тѣмъ Путятой, про котораго говорится въ лѣтописи: это, можетъ быть, своеобразное воспоминаніе о томъ же историческомъ Путятѣ: въ народныхъ устахъ эта память сохранилась такимъ образомъ, что отчество одного изъ дѣйствующихъ лицъ былины оказалось связаннымъ съ историческимъ Путятой, т.-е., что она мыслилась, какъ дочь того самаго Путяты, о которомъ говоритъ лѣтопись: въ былинахъ о Добрынѣ, она также Путятишна, а кромѣ

того, и племянница Владимира, которую отъ змѣя и выручаетъ Добрыня. Такимъ образомъ, отзвукъ именъ этихъ двухъ лицъ лѣтописной легенды можетъ быть найденъ въ видѣ имени и отчества лицъ въ былинѣ. На основаніи сказаннаго, можно предполагать точки соприкосновенія между былинной легендой и легендой лѣтописной, возводя ихъ къ общему источнику. Если нѣкоторыя подробности не будутъ совпадать въ былинѣ и лѣтописи, то, конечно, это не можетъ служить поводомъ къ отрицанію этой связи. Былина, живя въ устахъ, извѣстна намъ по записямъ XVIII—XIX вв., лѣтописный разсказъ закрѣпленъ уже въ XI—XII вѣкѣ письменностью: первая измѣнялась сильнѣе второй, которая переписываясь измѣнялась меньше; отсюда разница. Сверхъ того, возможно, что въ самой основѣ былины заложено преданіе, которое было варіантомъ вошедшаго въ лѣтопись; это преданіе будетъ, во всякомъ случаѣ, родственно тому преданію о Добрынѣ и Путятѣ, о которыхъ говоритъ лѣтопись. Это даетъ возможность предполагать, что основа былинъ о Добрынѣ будетъ весьма древняя, едва ли моложе XI—XII вѣка.

1. Боевыя былины о Добрынѣ разсказываютъ рядъ эпизодовъ изъ его дѣятельности; между ними—популярный сюжетъ, часто встрѣчающійся и въ другихъ сочетаніяхъ въ различныхъ пѣсняхъ, въ былинномъ и сказочномъ эпосѣ: борьба со зміемъ. Добрыня отправляется на рѣку Пучай и купается въ рѣкѣ, и въ то время, какъ онъ выходитъ изъ воды, на него нападаетъ змій, съ которымъ онъ ведетъ борьбу, побѣждаетъ змія и освобождаетъ при этомъ племянницу Владимира изъ пещеры, куда ее утащилъ змій, вопреки уговору съ Добрыней. Такимъ образомъ, въ сюжетѣ Добрыня рисуется въ типѣ богатыря, борющагося съ чудовищемъ и въ частности богатыря-змѣеборца. Что касается сюжета—борьба со зміемъ—то это одинъ изъ распространенныхъ, странствующихъ не только въ русской, но и въ міровой литературѣ. Съ этимъ сюжетомъ мы встрѣчаемся въ западно-европейскомъ эпосѣ, въ старомъ античномъ (Персей и Андромеда), восточномъ эпосѣ, въ христіанскомъ эпосѣ (въ рядѣ житій святыхъ, которые борются со змѣями, напр., Георгія, Ѳеодора Тирона, Михаила изъ Потуки). Естественно является вопросъ: въ какомъ отношеніи легенда о Добрынѣ-змѣеборцѣ находится къ тѣмъ сюжетамъ, которые странствовали изъ одной литературы въ другую, разсказывая о другихъ змѣеборцахъ. Вопросъ этотъ является далеко не празднымъ, потому что намъ извѣстно, что въ составѣ былиннаго эпоса мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ такихъ бродячихъ сюжетовъ. Часто чужіе международные сюжеты, забредая въ русскую былину, примѣняются къ мѣстнымъ преданіямъ и становятся достояніемъ русской былины, т.-е., русѣютъ. Съ другой стороны, общая легенда о змѣеборцѣ близка къ сюжету о Добры-

нѣ и змѣѣ, она извѣстна изъ русской же легендарной устной и книжной литературы: такъ, намъ извѣстно въ передачѣ съ греческаго сказаніе и духовный стихъ о Георгіи Побѣдоносцѣ, о борьбѣ его съ чудовищемъ—дракономъ, котораго онъ побѣждаетъ и, такимъ образомъ, спасаетъ дочь языческаго царя, которая отдана была этому дракону на съѣденіе, результатомъ чего было обращеніе царя и его народа въ христіанство. Знаемъ также идущій изъ греческаго источника духовно-народный стихъ про Ѳедора Тирона, который убиваетъ змѣя и выручаетъ свою мать-красавицу, которую умчалъ крылатый змѣй, когда она пошла поить богатырскаго коня сына къ колодцу. Конечно, выясненіе взаимоотношенія между этими сюжетами и сюжетомъ былиннымъ дастъ намъ объясненіе того, какъ оказался этотъ сюжетъ въ былинѣ; надо выяснить, что въ данномъ случаѣ придется отвести на долю историческаго мѣстнаго преданія о Добрынѣ, крестившемъ новгородцевъ вмѣстѣ съ Путятой огнемъ и мечомъ, и что̀ нужно отнести на долю чисто-литературнаго заимствованія, занесеннаго въ былину путемъ переработки пришлыхъ, быть можетъ, прямо книжныхъ сюжетовъ, въ родѣ сюжетовъ о Георгіи и Ѳедорѣ Тиронѣ. Обратившись къ болѣе подробному анализу [1]) этихъ взаимоотношеній, мы убѣждаемся, прежде всего, въ томъ, что въ былинахъ о Добрынѣ этотъ ходячій международный сюжетъ о змѣеборцахъ, которые борются со змѣемъ, съ темной силой и выручаютъ или царскую дочь, или дѣвицу, или мать, вообще женщину, вовсе не имѣетъ никакого миѳологическаго смысла, какъ то хотѣли видѣть въ сюжетѣ этого рода представители старой школы, которые въ борьбѣ Добрыни, Егорія, Ѳедора Тирона со зміемъ, дракономъ, чудовищемъ, предполагали поэтическое изображеніе борьбы свѣта съ тьмой. Болѣе реальное и строго историческое разслѣдованіе показало, что этотъ мотивъ на дѣлѣ былъ лишь привязанъ къ имени Добрыни,—иначе: что къ Добрынѣ, какъ историческому лицу, была присоединена ходячая легенда; но что это присоединеніе отнюдь не стало въ противорѣчіе съ основнымъ типомъ Добрыни, какъ историческаго лица, племянника (или дяди) Владимира, водворявшаго христіанство. Иначе, мы должны представить дѣло такъ: историческій сюжетъ о религіозномъ подвигѣ Добрыни (водвореніе христіанства въ Новгородѣ) отлился поэтическую форму, взятую изъ международной религіозной же легенды о змѣеборцахъ. Чтобы утверждать это, намъ необходимо имѣть ка-

[1]) Сказаніямъ о змѣеборствѣ, въ частности Егорія и Ѳедора Тирона, въ литературѣ посвящено нѣсколько монографій. Изъ нихъ слѣдуетъ назвать: А. Н. Кирпичникова. „Егорій и св. Георгій“ (Спб. 1879), А. Н. Веселовскаго. „Разысканія въ области дух. стиха“, II (Спб. 1880), А. В. Рыстенка. Легенда о Георгіи и драконѣ (Одесса 1909).

кое-нибудь основаніе для этого. Это основаніе и дается намъ, если мы проанализируемъ, съ одной стороны, легенды о змѣеборствѣ, и съ другой стороны, повнимательнѣе присмотримся къ лучшимъ пересказамъ былины. Что касается первой, т.-е. легенды объ змѣеборствѣ, то помимо отлившагося въ былину сюжета, мы знаемъ сохранившуюся устно-народную легенду объ Егоріи. Егорій является въ народно-поэтическомъ представленіи однимъ изъ святыхъ, наиболѣе близкихъ по типу къ богатырямъ. Греческія житія, которыя были переведены на славянскій и послужили основой для духовныхъ стиховъ объ Егоріи, давали о немъ опредѣленное представленіе: онъ не только великомученикъ, страдалецъ за христіанскую свою вѣру, котораго мучаетъ языческій царь Діоклетіанъ, но въ то же время онъ является борцомъ противъ язычества, которое еще въ греческой легендѣ рисуется въ видѣ темной силы, созданія дьявола, а эта послѣдняя олицетворяется еще на греческой почвѣ въ видѣ змѣя, дракона [1]. Такимъ образомъ, борьба Георгія въ русскомъ стихѣ со змѣемъ, отъ котораго онъ выручаетъ царскую дочь, есть не что иное, какъ поэтическое изображеніе борьбы Георгія съ язычествомъ: Георгій—представитель христіанства, змій, драконъ—представитель язычества; побѣда Егорія надъ дракономъ и есть побѣда христіанства надъ язычествомъ. Сама же легенда объ борьбѣ Егорія со змѣемъ, въ свою очередь, не есть созданіе христіанства, а лишь приспособленіе легенды не христіанской по своей основѣ къ идеямъ христіанства. Извѣстная легенда, которая получила поэтическій обликъ въ античеcкой греческой литературѣ въ видѣ миѳа о Персеѣ и Андромедѣ, является прототипомъ христіанской легенды, т.-е., старшая, нежели само христіанство, легенда была пріурочена, истолкована въ христіанскомъ смыслѣ, какъ борьба язычества съ христіанствомъ, при чемъ Персей превращается въ Георгія (лицо дѣйствительное), Андромеда—въ царскую дочь: опять-таки историческое воспоминаніе о дѣйствительныхъ мученикахъ первыхъ вѣковъ христіанства. Такимъ образомъ, и въ греческой легендѣ въ существѣ основа историческая, она стала, лишь благодаря пріуроченію къ ней старшей легенды, легендой фантастической, которая въ свою очередь пріурочена къ объясненію опредѣленнаго событія, т.-е. борьбы христіанства съ язычествомъ; элементомъ сближенія (аналогіей) между христіанской легендой и античной является формула: драконъ, змій=язычество, темная сила=сатана, дьяволъ. Съ этимъ типомъ Георгій переходитъ и на русскую почву въ стихахъ о немъ; здѣсь

---

[1]) Этотъ образъ-символъ въ самой христіанской легендѣ восходитъ, конечно, къ дьяволу-змѣю библейскаго разсказа о грѣхопаденіи, язычество же (въ Византіи и у насъ)—дѣло дьявола по преимуществу (ср. бѣсовскій=языческій, напр. пѣсня).

Егорій изображается идущимъ въ землю Русскую, подворящимъ здѣсь вѣру православную, вѣру христіанскую. Такимъ образомъ, толкованіе легенды, которое было дано христіанству въ греческой литературѣ, перешло на русскую почву и пріурочено въ дальнѣйшемъ развитіи къ обстоятельствамъ Руси, именно: къ ея обращенію къ христіанству, побѣдѣ надъ язычествомъ; Георгій святой сталъ Егоріемъ, отлился въ типъ богатыря народной поэзіи, и на Руси онъ является такимъ же змѣеборцемъ, водворителемъ христіанства и побѣдителемъ змѣя, т.-е. темной силы язычества, стараго міросозерцанія. Аналогичный процессъ развитія и пріуроченія ходячей, аналогичной легенды мы найдемъ и въ былинѣ о Добрынѣ. Здѣсь Добрыня тоже является христіаниномъ-борцомъ противъ змѣя, дракона—язычества. Этой змѣй, драконъ, также, какъ въ легендѣ объ Егоріи, живетъ при водѣ, нападаетъ на Добрыню, когда тотъ купается въ р. Пучаѣ, (Почайна); также у этого змѣя въ заключеніи царская или княжеская племянница или дочь, которую освобождаетъ богатырь: аналогія ясная. Возможность вліянія змѣеборческой легенды на преданіе объ историческомъ Добрынѣ въ частности, вліянія христіанской легенды, легшей въ основу сказаній объ Егоріи или Ѳеодорѣ, едва ли подлежитъ сомнѣнію. Съ другой стороны то, что Егорій и Ѳеодоръ облеклись въ черты былинныхъ богатырей, показываетъ, что эти легенды объ Егоріи и Ѳеодорѣ были близки народному міросозерцанію, соединяясь въ немъ съ мыслію о борьбѣ христіанства съ язычествомъ, т.-е., опять-таки близки съ легендой о Добрынѣ, водворителѣ христіанства. Это все заставляетъ сближать Егорія и Добрыню; аналогія получается тѣсная: богатырь, креститель Новгорода Добрыня=богатырь очиститель Русской земли отъ погани, водворитель христіанства=Егорій, борющійся противъ того же. Всѣ эти обстоятельства объясняютъ, почему въ дальнѣйшей обработкѣ сюжетовъ объ историческомъ Добрынѣ устная поэзія воспользовалась этими ходячими народными сюжетами о змѣеборцахъ и одѣла разсказъ о Добрынѣ въ форму христіанской легенды, превративъ ее такимъ образомъ уже въ былинный сюжетъ. Дѣйствительно, присматриваясь къ лучшимъ пересказамъ былинъ, мы увидимъ, что тамъ застряли еще кое-какія черточки, которыя будутъ дѣйствительно отзвукомъ безсознательной передачи по памяти такихъ легендъ, въ которыхъ они первоначально могли имѣть мѣсто, т.-е., легендъ о крещеніи Руси. Именно: Добрыня идетъ сражаться со змѣемъ, выручаетъ племянницу и передъ боемъ купается въ р. Пучаѣ. Эта рѣка Пучай, несомнѣнно, есть искаженіе имени того ручья Почайны, въ которой происходило крещеніе Руси (легенда, занесенная рано въ лѣтопись). Сопоставленіе этихъ именъ, несомнѣнно, говоритъ, что здѣсь мы видимъ

какое-то затемненное воспоминаніе о крещеніи Руси, можетъ быть, по ассоціаціи идей пришедшее въ голову. Добрыня, по одному варіанту, купается въ сорочкѣ полотняной [1])—опять черта изъ легенды о крещеніи: давно былъ обычай, чтобы крещаемые надѣвали бѣлыя полотняныя одежды и въ этихъ одеждахъ входили въ купель, потому что считалось неудобнымъ при совершеніи такого обряда, какъ крещеніе, входить голымъ тѣломъ; а бѣлый цвѣтъ сорочки—символъ чистоты (душевной) крещаемаго. О непристойности купаться въ Почайнѣ (стало быть, принимать крещеніе) голымъ тѣломъ въ былинѣ говоритъ Добрынѣ и матушка его. Ясно, что какой-то глухой отзвукъ преданія или представленія о крещеніи мы видимъ въ сказаніи и о Добрынѣ, а въ борьбѣ его со змѣемъ—мы видѣли слѣдъ той же легенды. Такимъ образомъ, этотъ, хотя бы самый общій, анализъ былины, показываетъ, что мы имѣемъ нѣкоторое право подозрѣвать, что былина о Добрынѣ-змѣеборцѣ въ сущности есть затемненное отраженіе поэтической народной старой легенды объ историческомъ Добрынѣ и времени крещеніи Руси. Побочныя обстоятельства заставили переработаться эту былину въ другихъ подробностяхъ, но и въ этихъ обломкахъ мы можемъ подозрѣвать остатки дѣйствительно старой легенды. Такимъ образомъ, изъ анализа былины мы получаемъ выводъ: основное ядро легенды о Добрынѣ и змѣѣ восходитъ ко времени, когда легенда о крещеніи Руси въ народѣ не была еще окончательно забыта. Слѣдовательно, мы получаемъ заразъ и хронологическое, и отчасти территоріальное пріуроченіе былины о Добрынѣ: мы имѣемъ право хронологически пріурочить первоначальный былинный сюжетъ къ древнему времени, времени Кіевской Руси [2]); а такъ какъ центромъ жизни народной этого времени былъ Кіевъ, и тамъ играетъ видную роль кн. Владимиръ, то можемъ предположить, что былина воспроизводитъ отчасти мѣстныя кіевскія легенды о крещеніи Руси, крещеніи кіевлянъ и новгородцевъ, послѣднее главнымъ образомъ. Вотъ тотъ выводъ, который мы получаемъ изъ анализа былинъ о Добрынѣ-змѣеборцѣ. Провѣряя нашъ выводъ данными лѣтописи, мы увидимъ, что никакихъ противорѣчій въ изображеніи Добрыни между ними и былиной нѣтъ: изображеніе борьбы Добрыни со змѣемъ, какъ изображеніе борьбы христіанства съ язычествомъ, символическій, поэтическій отзвукъ дѣйствительнаго со-

[1]) По другимъ пересказамъ, то встрѣтившаяся по дорогѣ дѣвица портомойница, то матушка не совѣтуетъ Добрынѣ нагимъ тѣломъ купаться въ Почайнѣ (ср. купанье въ Іорданѣ паломниковъ въ одеждѣ, сорочкѣ, засвидѣтельствованное письменностью).

[2]) Добавимъ еще разъ, что и самаго Добрыню старое лѣтописное преданіе считаетъ современникомъ того же Владимира, пославшаго его крестить новгородцевъ.

бытія; самая поэтическая форма—разсказъ въ видѣ легенды о борьбѣ со зміемъ—также не противорѣчитъ народной поэзіи: мы знаемъ цѣлый рядъ такихъ сюжетовъ, которые совершенно также трактуютъ эту легенду о распространеніи христіанства на Руси, о борьбѣ язычества съ христіанствомъ.

2. По своему облику Добрыня является въ былинахъ носителемъ не только боевыхъ качествъ богатыря-дружинника, но и культурныхъ: Добрыня отличается, какъ мы видѣли, вѣжливостью, воспитанностью, тактичностью [1]); эта же черта Добрыни выдвигается между прочимъ былиной о Добрынѣ-сватѣ: когда Владиміръ задумалъ жениться, онъ собираетъ богатырей къ себѣ на пиръ и жалуется имъ: «всѣ добрые молодцы переженены, а я одинъ холостъ хожу». Этимъ онъ приглашаетъ богатырей помочь ему найти невѣсту, при чемъ разсказываетъ, какую бы невѣсту ему хотѣлось:

Знаете ль вы про меня княжну супротивную,
Чтобы ростомъ была высокая,
Станомъ она становитая,
И на лицо она красовитая,
Походка у ней часта, и рѣчь баска?
Было-бъ мнѣ князю съ кѣмъ жить да быть,
Дума думати, долгіе вѣка коротати.

Тогда Дунай-богатырь ему сообщаетъ, что есть такая невѣста, которая подойдетъ Владиміру: это—Апракса королевична, дочь короля литовскаго [2]); но ее нужно добыть. Тогда отправляютъ съ этимъ труднымъ порученіемъ Дуная, а съ нимъ, по просьбѣ Дуная, самаго вѣжливаго изъ богатырей, дипломата, образованнаго Добрыню. Приходитъ Дунай къ литовскому королю и передаетъ ему предложеніе Владиміра. Король литовскій надменно отвѣчаетъ грубымъ отказомъ, велитъ Дуная за дерзость посадить въ погребъ. Завязывается драка. Въ это время Добрыня, остававшійся по уговору внѣ палатъ королевскихъ, начинаетъ расправляться съ дружиной литовскаго короля по-своему: онъ начинаетъ ее избивать. Тогда литовскій король, смирившись, выда-

[1]) Эта черта облика Добрыни довольно устойчива въ былинахъ, даже въ тѣхъ, гдѣ онъ не играетъ заглавной роли; такъ, онъ удачнѣе другихъ ведетъ деликатные переговоры съ каликами по поводу чарки (Сорокъ каликъ), съ Ильей разбушевавшимся (Ссора И. съ Владиміромъ), тактично поступаетъ съ Василіемъ Казиміровымъ (былина о немъ) и т. д.

[2]) Изъ дальнѣйшаго разсказа былины видно, что Дунай потому знаетъ обѣихъ дочерей (Апраксу и Настасью) литовскаго короля, что онъ служитъ у него до перехода въ Кіевъ—опять бытовая черта Кіевской Руси съ ея кочеваньемъ дружинниковъ отъ князя къ князю.

етъ свою Апраксу; богатыри везутъ ее въ Кіевъ, по дорогѣ останавливаются передохнуть; здѣсь Дунай увидѣлъ въ полѣ слѣдъ, слѣдъ коня богатырскаго и, оставивши Апраксу съ Добрыней, отправляется догонять этого богатыря. Этимъ богатыремъ оказывается Настасья королевична, сестра Апраксы. Дѣло кончается тѣмъ, что Дунай въ Кіевъ возвращается съ Настасьей, въ качествѣ своей невѣсты [1]), вслѣдъ за Добрыней и Апраксой. Передъ свадьбой происходитъ состязаніе въ стрѣльбѣ между Дунаемъ и Настасьей, результатомъ чего является смерть Настасьи и Дуная. Этимъ и кончается былина. Изъ этого общаго пересказа (я опустилъ всѣ подробности) мы ясно видимъ, что, собственно говоря, здѣсь въ одной былинѣ два сюжета: съ одной стороны, сватовство Владимира, а съ другой—женитьба Дуная, т.-е., былина эта сводная. Надо предположить, что обѣ былины первоначально существовали независимо, сближеніе ихъ произошло, повидимому, па основаніи представленія, что Апракса и Настасья сестры. Судя по роли Добрыни въ сводной былинѣ, надо предполагать, что въ первоначальной отдѣльной былинѣ о сватовствѣ Владимира, ему принадлежала главная роль, разсказывалось приблизительно такъ: кто-либо (можетъ быть, и Дунай) сообщилъ князю о невѣстѣ, князь посылаетъ въ качествѣ свата Добрыню (можетъ быть, съ Дунаемъ), который послѣ неудачи переговоровъ и оскорбленія со стороны литовскаго короля, избиваетъ дружину послѣдняго и беретъ Апраксу. Что касается эпизода о томъ, какъ Добрыня оставленъ въ засадѣ (въ былинѣ Дунай, пріѣхавъ къ литовскому королю, говоритъ Добрынѣ: «Стой же ты у коней, коней паси, а поглядывай на рынду королевскую... Каково мнѣ-ка будетъ, такъ тебя позову»), то онъ невольно напоминаетъ эпизодъ изъ лѣтописнаго вышеприведеннаго преданія о Добрынѣ и Путятѣ; въ самой былинѣ зова со стороны Дуная нѣтъ: Добрыня самъ расправляется съ дружиной литовскаго короля, а Дунай какъ-то стушевывается къ концу разсказа. Все это говоритъ за то, что первоначально было двѣ былины, изъ нихъ одна съ заглавной ролью въ лицѣ Добрыни, а при соединеніи съ ней былины о женитьбѣ Дуная произошла ея переработка, слѣды которой еще видны. Кромѣ того, на существованіе отдѣльной былины о Дунаѣ и Настасьѣ указываетъ и существованіе былины «Донъ и Нѣпра», гдѣ сюжетъ тотъ же, измѣнены только имена (см. Гильфердингъ, № 50). Эти соображенія объ отношеніяхъ между отдѣльными частями нашей сводной былины даютъ возможность предположительно объяснить и появленіе имени Дуная (принявшаго на себя

[1]) По былинѣ, они были близко знакомы еще въ то время, когда Дунай служилъ у литовскаго короля.

часть функцій Добрыни) въ былинѣ о Добрынѣ-сватѣ: оно есть результатъ сведенія былины о Добрынѣ и о Дунаѣ (женитьба Дуная, гдѣ былъ эпизодъ и о прежней службѣ его у литовскаго короля, и отношеніяхъ его къ Настасьѣ), т.-е., мы здѣсь имѣемъ передъ собой, какъ результатъ спайки двухъ сюжетовъ, «расщепленіе» личности героя—пріемъ, наблюдаемый въ цѣломъ рядѣ случаевъ въ процессѣ эпическаго творчества [1]). Если внимательнѣе присмотрѣться къ составу этой былины, къ ея источникамъ, по крайней мѣрѣ, предполагаемымъ, т.-е., если продѣлать приблизительно такой же анализъ, который мы продѣлали съ былиной о Добрынѣ змѣеборцѣ, то мы увидимъ, что эти источники той и другой былины извѣстны. Что касается сюжета о Дунаѣ и Настасьѣ королевичнѣ, то онъ, помимо былины, встрѣчается въ народныхъ пересказахъ, не только русскихъ, но и международныхъ: это ходячій сюжетъ — женитьба богатыря, условіемъ которой обыкновенно является побѣда при состязаніи между женихомъ и невѣстой то въ силѣ, то въ ловкости, то въ сообразительности.

Разсказъ же о Добрынѣ въ качествѣ участника въ сватовствѣ Владимира восходитъ къ другому источнику. Опять и здѣсь путемъ сопоставленія того, что дошло до насъ въ видѣ легенды, сказанія, застрявшаго въ лѣтописи, можно притти къ выводу, что мы имѣемъ дѣло съ такимъ же древнимъ сюжетомъ, какой мы видѣли и въ былинѣ о Добрынѣ-змѣеборцѣ. Изъ тѣхъ лѣтописныхъ разсказовъ, которые могутъ быть сближаемы съ сюжетами нашей былины о Добрынѣ-сватѣ, укажемъ на одинъ отрывокъ, который, какъ разъ, касается женитьбы Владимира на Рогнѣдѣ-Гориславѣ: объ этомъ, какъ уже о преданіи [2]), разсказывается въ лѣтописи подъ 1128 годомъ. Дѣло представляется такимъ образомъ: молодой Владимиръ, еще язычникъ, собирается жениться. Онъ сватается за дочь знатнаго, независимаго, западно-русскаго полоцкаго князя Рогволда Рогнѣду и въ качествѣ свата посылаетъ Добрыню, своего дядю, храбраго, умнаго воеводу; но получаетъ гордый отказъ, что де Рогнѣда не пойдетъ за сына рабыни («робичича»: Владимиръ—сынъ Малуши, ключницы Ольги). Тогда Добрыня, оскорбленный отказомъ, мститъ за Владимира: собираетъ рать, направляется къ Полоцку, осаждаетъ, беретъ городъ приступомъ, а Рогволда съ семействомъ въ плѣнъ. Рогволдъ долженъ согласиться на бракъ. Владимиръ убиваетъ Рогволда, беретъ себѣ Рогнѣду и женится на ней, послѣ чего она была прозвана Гориславой, такъ какъ отъ ея потом-

---

[1]) Этотъ процессъ расщепленія отмѣченъ обслѣдованъ въ свое время А. Н. Веселовскимъ.

[2]) „Якоже сказаша свѣдущіи“, сообщаетъ при пересказѣ лѣтопись.

ства много произошло бѣдъ для Руси. Вотъ разсказъ лѣтописный. Конечно, утверждать, что именно преданіе въ той же лѣтописной формѣ послужило основой для нашей былины, у насъ прямыхъ основаній нѣтъ; но имѣя въ виду, что и въ другой, выше разобранной былинѣ, Добрыня можетъ быть сочтенъ поэтическимъ отраженіемъ историческаго Добрыни, упоминаемаго въ легендѣ о крещеніи Новгорода, и здѣсь, въ нашей былинѣ, можно считать Добрыню такимъ же отраженіемъ того Добрыни, о которомъ говоритъ преданіе, записанное лѣтописью подъ 1128 годомъ, т.-е., и Добрыня, дядя Владиміра, и Добрыня богатырь—одно лицо. Съ другой стороны, имѣя въ виду точки соприкосновенія между былиной о женитьбѣ Владиміра на Апраксѣ, дочери короля литовскаго, и разсказомъ лѣтописи, мы дѣлаемъ предположеніе, что эта легенда отразила историческое событіе—женитьбу Владиміра на Рогнѣдѣ—и послужила исходной точкой и для былины о женитьбѣ Владиміра при участіи Добрыни, и для лѣтописнаго разсказа. Дѣйствительно, нѣкоторыя точки соприкосновенія, несмотря на разницу въ нѣкоторыхъ деталяхъ, намѣтить можно. Прежде всего, судя по разсказу былины, Добрыня въ былинѣ играетъ ту же самую роль, какую онъ играетъ въ лѣтописи: онъ старше Владиміра, его воевода; Владиміръ, несомнѣнно, долженъ быть еще молодъ: въ былинѣ онъ жалуется на то, что всѣ богатыри переженились, «а я одинъ холость хожу»; Добрыня былины является также мстителемъ за то оскорбленіе, которое нанесено было отказомъ литовскаго короля выдать свою дочь; самыя формы отказа въ былинѣ и лѣтописномъ разсказѣ близки другъ къ другу: и полоцкій Рогволдъ лѣтописи надменно встрѣчаетъ сватовство Добрыни, бросивъ упрекъ въ видѣ указанія на низкое происхожденіе жениха [1]); и въ былинѣ, несмотря на то, что офиціальнымъ лицомъ является Дунай, который беретъ на себя порученіе отъ Владиміра и только проситъ себѣ въ помощники Добрыню, на дѣлѣ, какъ мы видѣли, глав-

---

[1]) Въ былинѣ по записи Гильфердинга (I, № 91) форма отказа иная:

Меньшую дочь ты просватываешь,
А бо́льшую дочь чѣмъ за́садилъ?

т.-е. обиднымъ для себя литовскій король считаетъ то, что Добрыня сватаетъ младшую сестру Апраксу, пренебрегая Настасьей, за которой, какъ за старшей, очередь (извѣстный обычай: старшая раньше должна быть выдана). Но мотивъ этотъ не первоначальный въ былинѣ по этой записи: даже болѣе позднія записи (архангельскія) А. Д. Григорьева сохранили мотивъ отказа тотъ же, что и лѣтописная легенда: въ лѣтописи читаемъ: „не хочу розути (изъ свадебнаго обряда, когда молодая въ знакъ покорности мужу, разуваетъ его) робичича“ (отвѣтъ вложенъ въ уста Рогнѣды); въ былинахъ: „Да какъ вашъ-отъ князь не великъ собою“, или: „А князь-отъ Володимиръ да бывъ холопищо“.

нымъ героемъ является, несомнѣнно, Добрыня. Пока тотъ ведетъ переговоры, пока ему дерзко отвѣчаетъ литовскій король, въ это время Добрыня расправляется съ его дружиной, и такимъ образомъ, Добрыня рѣшаетъ все дѣло, а не Дунай. Роль Добрыни въ лѣтописномъ разсказѣ та же самая: «повелѣ Володимиру быти съ нею предъ отцемъ ея», т.-е. и въ лѣтописи активная роль принадлежитъ, какъ въ былинѣ, Добрынѣ. Нѣкоторый интересъ имѣетъ и то, что въ былинѣ отцомъ невѣсты оказывается именно «поганый» король литовскій, т.-е. король западный и враждебный. Полоцкъ по отношенію къ Кіеву былъ однимъ изъ самыхъ сѣверо-западныхъ городовъ, лежащихъ на границахъ Литвы, въ составъ которой скоро и вошло полоцкое княжество; а враждебное отношеніе Литвы къ Руси уже съ XIII в. стало фактомъ; съ другой стороны, и лѣтописная легенда 1128 года имѣетъ цѣлью объяснить причину вражды полоцкихъ Рогволодовичей къ кіевскимъ Ярославичамъ: «И оттолѣ мечъ взимаютъ Рогволожи внуци противу противу Ярословлимъ внукомъ», заканчиваетъ лѣтописная легенда. Такимъ образомъ, и съ этой стороны сближеніе вполнѣ возможно. Въ результатѣ, всѣ части фабулы лѣтописнаго разсказа (кромѣ убіенія Рогволда) налицо въ томъ же сочетаніи находимъ и въ былинѣ: совпаденіе обоихъ разсказовъ—лѣтописнаго и былиннаго—очевидно; въ основѣ того и другого лежитъ историческій фактъ X в., въ XII вѣкѣ получившій уже легендарную обработку. Если нашъ анализъ, состоящій изъ цѣлаго ряда предположеній, вѣренъ, если вѣрны тѣ сближенія, которыя были сдѣланы, то получается хронологическое пріуроченіе этой былины: если Добрыня-змѣеборецъ по своему сюжету долженъ восходить ко времени кіевской Руси и къ эпохѣ Владимира, послѣ его крещенія, то и здѣсь мы видимъ поэтическое отраженіе событія, связаннаго съ женитьбой Владимира на Рогнѣдѣ еще до крещенія (когда, по лѣтописи, произошла женитьба на Рогнѣдѣ).

3. Третій былинный сюжетъ, который до извѣстной степени даетъ намъ возможность еще дополнить образъ Добрыни, это—одна изъ самыхъ распространенныхъ былинъ о немъ и Маринѣ. Содержаніе этой былины въ общемъ таково: Добрыня живетъ въ Кіевѣ; тамъ есть какая-то Маринкина улица, гдѣ живетъ соблазнительница, чародѣйница Маринка. Матушка Добрыни предостерегаетъ своего сына не ходить на Маринкину улицу, потому что иначе онъ попадетъ въ сѣти этой волшебницы, колдуньи. Добрыня приходитъ туда какъ будто случайно, останавливается передъ теремомъ этой Маринки, видитъ наверху терема голубей; это почему-то ему непонравилось, онъ беретъ лукъ, стрѣляетъ въ этихъ голубей, но попадаетъ въ окошко терема и убиваетъ Тугарина Змѣевича, любовника Маринки, которая въ это время нахо-

дится въ другихъ комнатахъ терема и тамъ моется. Это убійство не проходитъ Добрынѣ даромъ. Маринка чародѣйница, несмотря на то, что застрѣлили ея любовника, очень ласково встрѣчаетъ Добрыню, старается завлечь въ свои сѣти и въ концѣ-концовъ превращаетъ Добрыню въ тура «золотые рога», и только потомъ Добрыня принимаетъ человѣческій образъ, благодаря матери, которая и расправляется съ Маринкой, превративъ ее въ сороку. Такая схема былины можетъ быть представлена на основаніи 40 записей этой популярной былины, намъ извѣстныхъ. Что касается сюжета былины, то, повидимому, мы имѣемъ дѣло съ сюжетомъ, лежащимъ внѣ круга тѣхъ, которые мы разсмотрѣли въ первыхъ двухъ былинахъ; но здѣсь фигурируетъ тотъ же самый Добрыня, что даетъ намъ право привлечь и эту былину въ число былинъ о Добрынѣ. Это заставляетъ насъ поискать въ былинѣ отраженіе какого-нибудь болѣе или менѣе извѣстнаго историческаго событія, или какой-нибудь исторической обстановки, сообразуясь съ исторической обстановкой того древняго времени, къ которому, можетъ быть пріурочена разбираемая нами былина, если судить по имени богатыря. Однако, наличныя наши свѣдѣнія о кіевской, тѣмъ болѣе опредѣленнаго времени, эпохѣ ничего намъ не даютъ для объясненія былины. Одинъ изъ ученыхъ изслѣдователей былины о Добрынѣ и Маринкѣ, проф. Н. Ѳ. Сумцовъ[1]), путемъ разныхъ сопоставленій, пробуетъ такъ или иначе пріурочить этотъ сюжетъ былины о Добрынѣ ко времени старо-кіевскому. Главнымъ основаніемъ для такого хронологическаго пріуроченія является для него тотъ мотивъ былины, въ которомъ говорится, какъ Маринка чародѣйница превратила Добрыню въ тура «золотые рога». Наводя справки объ этомъ турѣ въ древне-русской словесности, Н. Ѳ. Сумцовъ приходитъ къ наблюденію, что туръ (дикій быкъ) становится очень рано рѣдкостью въ русской жизни, сохранившись въ обиходѣ русской пѣсни. Повидимому, и въ древне-русской жизни туръ уже представлялъ рѣдкое явленіе: въ XII вѣкѣ о немъ упоминаетъ въ своемъ поученіи Владиміръ Мономахъ: онъ хаживалъ на тура и гордится этимъ, какъ участіемъ въ опасной охотѣ. Затѣмъ Н. Ѳ. Сумцовъ указываетъ, что мы никакихъ историческихъ свидѣтельствъ позднѣе XII—XIII вв. о турѣ не имѣемъ, вѣроятно, потому, что и самый туръ давно вымеръ. Поэтому онъ и полагаетъ, что разъ въ былинѣ фигурируетъ туръ, то и самый сюжетъ долженъ быть сочтенъ очень старымъ, можетъ относиться къ тому времени, когда еще туръ не былъ такой рѣдкостью; а это время, какъ ему представляется, будетъ указывать на время возникновенія самаго сюжета еще въ кіевское время. Это, полагаетъ Н. Ѳ. Сумцовъ, схо-

[1]) Этнографич. Обозр. XIII (1892); ср. В. Ѳ. Миллеръ, Очерки, I, 153—155.

дится и съ другими данными: былина о Добрынѣ сама относитъ Добрыню ко времени кіевскому (онъ живетъ въ Кіевѣ), пріурочена къ времени кн. Владимира (ср. зачинъ). Всѣ эти соображенія были бы очень хороши: они давали бы возможность пріурочить еще одинъ сюжетъ о Добрынѣ къ такому древнему времени. Но въ той же былинѣ есть указанія, что ея сюжетъ съ такимъ же правомъ можетъ относиться и къ болѣе позднему времени; поэтому, догадка Н. Ѳ. Сумцова представляется болѣе остроумной, нежели убѣдительной. Слабая сторона доказательствъ Н. Ѳ-ча, по мнѣнію В. Ѳ. Миллера (см. ук. мѣсто «Очерковъ»), въ томъ, что онъ беретъ въ основу частное положеніе, деталь былины и отъ нея отправляется, не доказавши предварительно, насколько самый туръ, въ котораго превратила Добрыню Маринка, является необходимой принадлежностью основного сюжета былины. Превращеніе богатыря вообще въ звѣря волшебницей—одинъ изъ самыхъ популярныхъ, распространенныхъ сказочныхъ сюжетовъ, притомъ международныхъ. Въ данномъ случаѣ поэтому то, что Добрыня былъ превращенъ именно въ тура, а не въ другого звѣря, не имѣетъ силы доказательства для хронологіи самого сюжета, даже если мы и допустимъ, что туръ древній звѣрь. Добрыня превращенъ въ тура, но онъ также могъ быть превращенъ въ любого звѣря, какъ это мы видимъ въ цѣломъ рядѣ другихъ аналогичныхъ сюжетовъ, т.-е., здѣсь характерно само превращеніе, а не то, во что совершается это превращеніе. Появленіе тура, да еще не реальнаго («золотые рога»), въ былинѣ какъ разъ говоритъ противъ Н. Ѳ. Сумцова: оно, если и говоритъ о хронологіи, то не сюжета былины, а самой этой детали, притомъ скорѣе о позднемъ ея появленіи въ сюжетѣ былины: туръ сталъ уже сказочнымъ, фантастическимъ существомъ, когда могъ явиться въ качествѣ детали былины. Правда, въ нашей былинѣ мы не имѣемъ никакой другой замѣны, кромѣ превращенія Добрыни въ тура; но это будетъ доказывать только то, что образъ превращенія Добрыни въ тура вошелъ въ первоначальный составъ былины, а это совсѣмъ не опредѣляетъ времени, когда создана сама былина. Поэтому, доказательства Н. Ѳ. Сумцова не являются особенно убѣдительными. Что касается того, какимъ образомъ этотъ туръ могъ быть извѣстенъ слагателямъ былины, объясненіе этому мы находимъ вполнѣ вѣроятное: онъ—одинъ изъ тѣхъ сказочныхъ образовъ, которые встрѣчаются въ устной поэзіи и отдѣльно и въ качествѣ детали другого сюжета. Среди тѣхъ же былинныхъ сюжетовъ мы находимъ отдѣльную пѣсню о турахъ и турицѣ [1].

---

[1] Это собственно вводная часть къ былинѣ о Василіи пьяницѣ (см. у А. Д. Григорьева „Арханг. былины“, III, № 15).

Конечно, подобный образъ тура могъ попасть изъ другихъ произведеній и въ былину о Добрынѣ; стало быть, это будетъ доказывать, что самое превращеніе Добрыни въ тура не можетъ быть признано обязательной принадлежностью первоначальной пѣсни былины. Приходится искать другихъ точекъ опоры для хронологическаго пріуроченія этой былины. Здѣсь приходится обратиться къ тому пріему, который въ другихъ случаяхъ оказываетъ большую помощь: опять-таки къ именамъ дѣйствующихъ лицъ въ былинѣ. Если Добрыня для насъ болѣе или менѣе засвидѣтельствованъ, то можно догадываться и о томъ, кого первоначальный слагатель подразумѣвалъ подъ Маринкой-чародѣйницей, женщиной довольно легкаго поведенія (вѣдь, въ былинѣ Добрыня, стрѣляя въ голубей, вмѣсто нихъ убиваетъ любовника Маринки, да и все поведеніе ея въ дальнѣйшемъ говоритъ о томъ же). По отношенію къ положительному герою, Добрынѣ, она рисуется авантюристкой, которая пользуясь своей неотразимой красотой, обдѣлываетъ свои дѣла; не даромъ матушка Добрыни не совѣтуетъ ему ходить «Маринкиной» улицей, относится къ ней не только сурово, но и презрительно. Такой образъ женщины-соблазнительницы очень хорошо извѣстенъ въ древне-русской литературѣ. Древне-русская литература богата поученіями, направленными противъ злыхъ женщинъ; поученія «о злыхъ женахъ» имъ приписываютъ всевозможные недостатки, указываютъ, что женщина является орудіемъ дьявола, который, входя въ женщину, достигаетъ своихъ цѣлей. Несомнѣнно, искать источника былины въ этихъ большей частью переводныхъ «Словахъ о злыхъ женахъ» для насъ нѣтъ надобности. Если эти «Слова» выражаютъ общее воззрѣніе на женщину, между прочимъ, какъ на колдунью, на сосудъ дьявола, соблазнительницу рода человѣческаго, то въ данномъ случаѣ они, направленныя противъ женщинъ, принадлежатъ къ другой совершенно области жизни, къ области литературы, проповѣдующей аскетизмъ, духовно-книжной; это воззрѣніе на женщину, какъ на зло, не было общимъ достояніемъ міросозерцанія древней Руси, а только извѣстной ея части—книжной, притомъ еще лишь теоретическимъ. Народная литература, болѣе близкая къ міросозерцанію массъ, даетъ намъ иные образы положительнаго характера (напр., въ лирикѣ), а съ этимъ именно воззрѣніемъ надо считаться въ данномъ случаѣ: въ народномъ воззрѣніи, если и допускается образъ злой женщины, то онъ не можетъ быть сочтенъ, какъ обобщеніе: Маринка—существо злое, но не потому, что она женщина, а потому, что она злая женщина, вредящая богатырю, на сторонѣ котораго симпатіи слагателя былины. Можно, памятуя историческую основу былинъ, найти и еще сопоставленія, которыя будутъ, пожалуй, болѣе убѣдительными. На одно изъ такихъ сопоставленій и указалъ

В. Ө. Миллеръ. Имя Марины намъ извѣстно изъ русской исторіи, и объ этой Маринкѣ существуетъ рядъ народныхъ преданій и пѣсенъ: это—никто иной, какъ знаменитая Марина Мнишекъ, жена перваго Самозванца. Что въ былинѣ о Добрынѣ возможно сопоставленіе Маринки былинной съ Мариной Мнишекъ, въ этомъ ничего неправильнаго нѣтъ, потому что былина послѣ своего сложенія въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ видоизмѣняется, получая болѣе позднія наслоенія изъ переживаній среды, а иногда и былина сама слагается путемъ соединенія сюжетовъ, часто раздѣленныхъ цѣлымъ рядомъ вѣковъ по времени своего происхожденія, иначе: болѣе ранніе по происхожденію сюжеты былины пріурочиваются къ болѣе позднему времени, и, наоборотъ: болѣе поздніе по происхожденію сюжеты могутъ возводиться ко времени болѣе раннему, какъ это увидимъ, напр., на былинахъ объ Ильѣ Муромцѣ. Поэтому удивительнаго ничего нѣтъ въ томъ, что историческій образъ Марины Мнишекъ (начала XVII вѣка) могъ дать нѣкоторыя черты, отложившіяся на сюжеты о Добрынѣ. Это будетъ только доказывать, что былина о Добрынѣ и Маринкѣ въ томъ видѣ, въ какомъ мы ее знаемъ, по своей обработкѣ будетъ не старше XVII в. Но, конечно, одного сопоставленія именъ мало: надо найти и другія точки соприкосновенія, не одинъ признакъ, а группу признаковъ, чтобы наше сопоставленіе получило основательность. При сопоставленіи былины о Маринкѣ съ народными преданіями и пѣснями о Маринѣ Мнишекъ, мы замѣтимъ, что образъ Марины Мнишекъ, жены перваго Самозванца, сходенъ до извѣстной степени съ тѣмъ представленіемъ, которое мы получаемъ, проанализировавши характеръ Маринки въ былинѣ. Какъ лѣтописи болѣе поздняго времени, записывавшія событія Смутнаго времени, такъ и народныя преданія и историческія пѣсни рисуютъ Маринку приблизительно въ тѣхъ же чартахъ, что и былина о Добрынѣ. Марина Мнишекъ, прежде всего, какъ въ народныхъ преданіяхъ, такъ и по историческимъ даннымъ, въ значительной степени подходитъ къ типу авантюристки: Марина Мнишекъ послѣ смерти перваго Самозванца ведетъ себя очень похоже на Маринку былинную: молодая, красивая женщина, она не пренебрегаетъ своей красотой съ тѣмъ, чтобы обдѣлывать свои политическія дѣла: таковы ея отношенія ко второму Самозванцу. Стало быть, отрицательныя черты Маринки былинной совпадаютъ въ извѣстной степени съ тѣмъ характеромъ Марины Мнишекъ, который указываютъ исторія и отчасти народныя преданія. Что касается чародѣйства былинной Маринки, то и въ этомъ отношеніи Марина Мнишекъ въ значительной степени сближается съ былинной: и историческую Марину Мнишекъ пѣсни обвиняютъ во всякомъ чернокнижіи, въ соблазнѣ своей женской красотой, всѣми прелестями волховницы. Кромѣ того,

не надо забывать, что Марина Мнишекъ всегда представлялась, какъ старымъ русскимъ книжникамъ, такъ и въ народной средѣ, прежде всего, иновѣркой «поганой», представительницей того католицизма, который причинялъ столько непріятностей русскому обществу въ Смутное время. Такова она и по былинѣ: и здѣсь она «еретица», по былинному опредѣленію. Для полноты сопоставленія, можно указать и на сходство, можетъ быть, не случайное въ положеніи той и другой въ устной поэзіи: былинную Маринку, превращенную въ сороку, мать Добрыни «спустила въ чисто поле», Маринка исторической пѣсни, обернувшись сорокой, улетѣла изъ Москвы, спасаясь отъ гибели по смерти Самозванца. Такимъ образомъ, несомнѣнно: если сдѣланное сопоставленіе считать правильнымъ и обоснованнымъ, то Маринка, ея имя и ея образъ отразили и въ былинѣ, конечно, историческій образъ (понятый, конечно, сквозь дымку народной фантазіи) Марины, жены перваго Самозванца. Если такъ, это наслоеніе на былинѣ, идущее отъ Марины Мнишекъ, является несомнѣннымъ указаніемъ на то, что былина, въ томъ видѣ, какъ мы ее знаемъ, создана не ранѣе XVII вѣка. Но это возможно будетъ только въ томъ случаѣ, если мы докажемъ, что Маринка-чародѣйница является такой же непремѣнной принадлежностью самого сюжета былины, какъ и Тугаринъ. Съ другой стороны, ничего подобнаго о Маринѣ Мнишекъ, которая, соблазнивши героя, превратила бы его въ животное, мы не знаемъ; поэтому, если мы сближаемъ Маринку съ Мариной Мнишекъ, это укажетъ лишь на время той обработки былины, которую мы знаемъ, а отнюдь не на происхожденіе самой былины, потому что самый мотивъ о томъ, какъ богатырь попадаетъ въ сѣти женщины-чародѣйницы, несмотря на предупрежденіе матери, превращенъ ею въ животное, какъ въ концѣ-концовъ получаетъ опять человѣческій образъ, чуждъ въ народномъ преданіи исторической Маринѣ, поскольку мы представляемъ себѣ ее по даннымъ не только исторіи, но и устнаго преданія. Отсюда выводъ ясенъ: разъ цѣлью мы ставимъ себѣ возстановленіе наиболѣе древняго, близкаго къ первоначальному вида былины, мы должны допустить, что имя Маринки замѣнило собой какое-то иное, бывшее раньше въ былинѣ, что замѣна эта произошла (не ранѣе нач. XVII в.) на почвѣ не тожества, а нѣкоторой аналогіи въ частностяхъ между образомъ героини былины и образомъ Марины, какъ онъ отложился въ поэтическомъ преданіи. Поэтому, имѣя въ виду анализъ сюжета былины, притомъ въ наиболѣе архаичномъ его видѣ, очевидно, намъ приходится искать объясненія самого основного сюжета въ другомъ мѣстѣ. Такимъ источникомъ можетъ считаться легендарный разсказъ, представляющій передѣлку библейскаго разсказа о Давидѣ и Версавіи, сохраненный, между прочимъ, талмудической еврейской

литературой. Библейскій разсказъ о Давидѣ и Вирсавіи извѣстенъ: Вирсавія, ставши женой Давида, не стояла на должной нравственной высотѣ; поэтому косвенно библія указываетъ на то, что потомство Давида отъ Вирсавіи оказалось очень плохимъ и причинило цѣлый рядъ несчастій Израилю. Въ талмудической легендѣ намѣчается какая-то связь между Вирсавіей и дѣйствіями сатаны: сатана въ видѣ птицы сидитъ надъ купающейся Вирсавіей; Давидъ стрѣляетъ въ эту птицу и, ища свою стрѣлу, видитъ моющуюся Вирсавію и такимъ образомъ соблазняется, благодаря этой хитрости сатаны, въ союзѣ съ которымъ оказывается Вирсавія. Послѣ этого Давидъ, какъ и въ библіи, устраиваетъ гибель Урія, чтобы окончательно овладѣть красавицей Вирсавіей. Отдѣльные моменты легенды напоминаютъ разсказъ о Добрынѣ. Прежде всего, въ разсказѣ о Добрынѣ и Маринкѣ обращаетъ на себя вниманіе одна подробность, которая, какъ предполагаетъ В. Ѳ. Миллеръ, позволяетъ намъ сблизить обѣ легенды—талмудическую и вошедшую въ былину: и тамъ, и здѣсь играетъ извѣстную роль то, что герой увидѣлъ свою будущую жену или прелестницу моющейся. Дѣйствительно, въ былинѣ разсказывается, что Добрыня приходитъ послѣ стрѣльбы по голубямъ, послѣ убіенія любовника Маринки Тугарина Змѣевича на дворъ Маринки, а Маринка въ это время оказывается въ другой части терема и моется (дальше идетъ разсказъ о томъ, какъ Маринка соблазнила Добрыню). При чемъ тутъ эта подробность умыванія Маринки, былина не объясняетъ; а, если мы сопоставимъ эту подробность со сказаннымъ въ легендѣ о Давидѣ и Вирсавіи, то представится нѣкоторое объясненіе: именно, такимъ образомъ и произошло сближеніе между Добрыней и Маринкой. Такого рода сближеніе даетъ основаніе для сопоставленія и въ дальнѣйшемъ. То, что Тугаринъ Змѣевичъ, любовникъ Маринки, представитель темной силы сатанинской, сблизитъ былинный разсказъ съ талмудической легендой, гдѣ играетъ аналогичную роль сатана, который обдѣлываетъ дѣло соблазненія Давида. Тогда станетъ понятной и стрѣльба Добрыни по голубю (въ талмудической легендѣ эта птица—сатана, привлекающая вниманіе Давида), иначе въ былинѣ не мотивированная: стрѣльба по голубю и поиски стрѣлы въ былинѣ, вѣдь, и приводятъ Добрыню въ теремъ Марины, послѣ чего слѣдуетъ соблазненіе Добрыни Мариной. Во всякомъ случаѣ, если мы прямо не можемъ сказать, что легенда о Давидѣ и Вирсавіи, и именно, въ талмудической обработкѣ легла въ основу этой былины, то во всякомъ случаѣ отрицать подобнаго рода сопоставленіе мы не имѣемъ возможности. Если это сопоставленіе правильно, тогда представляется исторія былины такъ: легенда, гдѣ разсказывалось о богатырѣ, соблазненномъ женщиной-чародѣйкой, можетъ быть, опира-

лась на какое-нибудь ходячее преданіе, аналогичное разсказанному въ талмудической легендѣ [1]); оно превращено было въ былину, при чемъ взятъ въ качествѣ главнаго героя очень популярный былинный герой Добрыня, т.-е.: къ имени Добрыни пристроился этотъ ходячій сюжетъ въ былинной обработкѣ, и затѣмъ въ XVII вѣкѣ эта неизвѣстная по имени героиня разсказа, эта коварная красавица была отожествлена съ Мариной Мнишекъ. Въ дальнѣйшемъ присоединенъ еще мотивъ превращенія богатыря въ животное, заимствованный изъ ходячаго международнаго сюжета сказочнаго типа. Такимъ образомъ, эта былина будетъ характерна въ томъ отношеніи, что она составлена изъ разнородныхъ элементовъ: здѣсь есть и ходячее преданіе полукнижнаго характера, есть сказочный мотивъ, имѣется вліяніе другихъ былинъ о Добрынѣ, отзвукъ историческаго преданія о Добрынѣ. Къ какому времени по своему сложенію относится подобная былина, конечно, сказать трудно; но несомнѣнно одно, что обликъ былины въ томъ видѣ, въ какомъ мы ее знаемъ, не могъ явиться раньше XVII в. Можно добавить и то, что самая популярность этой былины отчасти говоритъ за то, что она въ томъ видѣ, какъ мы ее знаемъ, сложилась довольно поздно: интересъ къ личности Марины Мнишекъ, какъ къ одной изъ героинь Смутнаго времени, отразившійся на былинѣ еще въ XVII в., повидимому, поддерживалъ популярность и самой былины, которая уцѣлѣла въ большомъ количествѣ пересказовъ—свыше сорока.

4. Слѣдующая былина разсматриваемаго круга, это—былина о Добрынѣ и Алешѣ, одна изъ популярныхъ, обыкновенно встрѣчается чуть ли не во всѣхъ сборникахъ былинъ; это—разсказъ о томъ, какъ Добрыня, чѣмъ-то недовольный, собирается уѣзжать изъ дому. Отправляясь, онъ оставляетъ своей женѣ зарокъ: если онъ не вернется черезъ три года, пусть она ждетъ еще три года; а затѣмъ она свободна выйти замужъ, за кого захочетъ, только не за Алешу Поповича. Здѣсь-то и подвертывается его товарищъ Алеша Поповичъ, но товарищъ довольно коварный, невѣрный. Князь Владиміръ (не только въ этой былинѣ, но и въ другихъ) рисуется здѣсь большимъ любителемъ всякихъ интригъ и даже, подчасъ, не прочь взять на себя роль

[1]) Если бы удалось доказать зависимость сюжета интересующей насъ былины, именно, отъ талмудической обработки легенды, мы получили бы любопытный матеріалъ для самой хронологіи былины: время вліянія еврейской (между прочимъ, талмудической) литературы, въ связи съ раціоналистическимъ движеніемъ жидовствующихъ, падаетъ на конецъ XV-го и первую половину XVI-го вѣка; въ это время появляются переводы съ еврейскаго въ нашей письменности: въ это время могла стать извѣстной и та версія легенды о Давидѣ и Вирсавіи, которая вошла давно въ Талмудъ и которая легла въ основу былины. Иначе: былину пришлось бы по времени созданія отнести къ XV—XVI в. и не позднѣе XVII-го (время сказаній о Маринкѣ).

сводника; поэтому онъ охотно берется выдать замужъ Добрынину жену за Алешу. Алеша распускаетъ молву, что Добрыня погибъ и не вернется. Въ самый патетическій моментъ, когда уже Владиміръ устраиваетъ у себя свадьбу, возвращается Добрыня, приходитъ на свадьбу подъ видомъ гусляра и открываетъ себя, положивши свое обручальное кольцо въ кубокъ, который подаетъ женѣ; свадьба разстраивается. Узнавъ все коварство Алеши, Добрыня хватаетъ Алешу за желтые кудри и начинаетъ трепать. Вотъ, собственно говоря, все содержаніе этой былины. Что касается сюжета ея, то, несомнѣнно, вся историческая сторона его ограничивается историческими именами въ ихъ былинномъ отраженіи: Добрыни, какимъ мы его видѣли уже выше, и Алеши Поповича, извѣстнаго и въ другихъ былинахъ въ качествѣ «бабьяго пересмѣшника», охотника до любовныхъ приключеній. Самый же сюжетъ, на которомъ отложились эти имена, несомнѣнно, сюжетъ сказочный, бродячій—о пѣвцѣ-игрецѣ и женитьбѣ на чужой женѣ отъ живого мужа [1]): мы его знаемъ и въ греческомъ эпосѣ (вторая половина: Пенелопа и женихи—въ Одиссеѣ), знаемъ (обѣ части) и въ восточной поэзіи: очень близко подходитъ къ темѣ нашей былины указанная В. Ѳ. Миллеромъ турецкая сказка объ Ашикъ-Керибѣ (извѣстная по переложенію, между прочимъ, и у Лермонтова). Въ виду такого происхожденія сюжета былины и лишь перенесенія на него популярныхъ былинныхъ именъ Добрыни и Алеши, а также общаго схематическаго пріуроченія сюжета къ имени Владиміра, время созданія этой былины учету не поддается: это—международный сюжетъ, обработанный въ русскую былину, вѣроятно, скоморошьяго издѣлія [2]).

5. **Былина о боѣ Д. и Ильи Муромца** сама выдаетъ свое позднее происхожденіе своей несамостоятельностью: это ничто иное, какъ довольно поверхностная, не всегда складная, переработка примѣнительно къ Добрынѣ популярнаго былиннаго же сюжета о боѣ Ильи съ сыномъ, при чемъ слагателю была не безызвѣстна и пѣсня о Д.-змѣеборцѣ, а, можетъ быть, и о Василіи Буслаевѣ. Интересъ эта былина представляетъ, какъ довольно поздняя попытка создать былину на основахъ старшей традиціи: бой двухъ русскихъ богатырей, «названныхъ братьевъ», показываетъ уже значительное притупленіе живого чувства былевой поэзіи; самый бой мотивированъ слабо. Интересъ представляетъ упоминаніе о Рязани, какъ родины Добрыни (согласно лѣтописнымъ даннымъ) и мѣста боя, признаніе Добрыни сыномъ Никиты Романовича

---

[1]) Иначе: мужъ на свадьбѣ своей жены.

[2]) Имѣю въ виду переодѣваніе Добрыни въ скомороха; см. выше, стр. 211.

(ср. Никиту Романова, дѣда царя Михаила). Все это только подтверждаетъ позднее происхожденіе былины, а, можетъ быть, указываетъ также на центральный районъ, какъ мѣсто ея созданія.

6. Также мало самостоятельна и былина о боѣ Д. съ Дунаемъ: искажая основной старый типъ Добрыни, она подобно предыдущей, заставляетъ бороться между собой двухъ русскихъ богатырей; изображая этотъ бой въ тѣхъ же чертахъ, что и предыдущая, она вся составлена изъ типическихъ, ходячихъ мѣстъ старшихъ былинъ. Все это заставляетъ предполагать ея очень недавнее происхожденіе, при томъ, повидимому, московское: очень типична въ этомъ отношеніи обстановка, отношеніе богатырей къ Владиміру, судебный процессъ—все типично-московское XVI—XVII в.

7. Слѣдующій былинный сюжетъ, гдѣ встрѣчаемъ Добрыню въ качествѣ главнаго дѣйствующаго лица, это—былина о Добрынѣ и Василіи Казимировичѣ, извѣстная намъ, хотя по немногимъ записямъ, но зато изъ разныхъ мѣстностей (Арханг. губ., Сибири, Олонецкой губ., Нижегородской), что говоритъ отчасти за ея популярность. Содержаніе былины сводится къ слѣдующему: Владиміру надо послать дань въ Орду невѣрную, въ землю Половецкую, къ царю Батыю (Батыгѣ или Батуру; послѣднее—искаженіе подъ вліяніемъ имени Баторія); посылаютъ Василія Казимировича (онъ же—Казимерской), спутникомъ и помощникомъ коего является Добрыня. Но послы предлагаютъ не везти дань, а получить ее съ Батура. Съ ярлыками соотвѣтствующаго содержанія Добрыня и Василій приходятъ къ невѣрному царю; этотъ послѣдній предлагаетъ Василію состязаться сперва въ карты (кости), затѣмъ въ стрѣльбѣ, наконецъ, въ борьбѣ: вездѣ выступаетъ Добрыня, вмѣсто Василія, и побѣждаетъ, а затѣмъ оба начинаютъ избивать татаръ, послѣ чего Батуръ проситъ пощады и уплачиваетъ дань. Былина кончается возвращеніемъ богатырей въ Кіевъ и пиромъ у Владиміра. Основа былины—состязаніе въ игрѣ, стрѣльбѣ, борьбѣ—ничего особеннаго не представляетъ: это—шаблонные мотивы въ русскомъ и международномъ эпосѣ. Обращаетъ на себя вниманіе здѣсь то, что Владиміръ оказывается данникомъ, платящимъ дань татарамъ (Батыю), которые живутъ въ землѣ Половецкой; другія былины, если и говорятъ о дани, то вездѣ говорятъ о полученіи Владиміромъ дани; вездѣ, гдѣ съ Владиміра требуютъ дани, дѣло кончается пораженіемъ требующаго дани. Что касается исторической подкладки, которую мы можемъ искать въ этой былинѣ, то здѣсь мы имѣемъ нѣсколько отправныхъ точекъ. Во-первыхъ, здѣсь, несомнѣнно, мы имѣемъ дѣло съ историческимъ воспоминаніемъ о татарахъ: князь Владиміръ платитъ дань и съ грамотой посылаетъ къ историческому

грозному царю Батыю [1]). Несомнѣнно, это воспоминаніе, имѣетъ за собою историческую подкладку, намекая на эпоху татарщины. Картина отправки Владиміромъ дани указываетъ на эпоху московскую, болѣе позднее время. Нѣкоторую точку опоры для подобнаго заключенія даютъ еще нѣкоторыя подробности былины: дѣло съ данью кончается тѣмъ, что Батыга долженъ отказаться отъ дани: стало быть, Владиміръ перестаетъ быть данникомъ хана. Что касается этой подробности разсказа (объ отказѣ въ дани), то сюжетъ этотъ не укладывается въ рамки въ исторіи (поскольку мы знаемъ исторію отношенія Россіи къ Батыю). Повидимому, здѣсь имѣется въ виду другая историческая обстановка, когда возможно было подобное отношеніе къ татарамъ. Просматривая наши болѣе позднія отношенія къ татарамъ, мы видимъ, что, оправившись отъ перваго удара, мы перестали ихъ бояться, наступило и время, когда возможно было не только имъ отказать въ дани, но даже показать себя побѣдителями: это—обстановка послѣ Куликовской битвы, конца татарскаго ига, времени Ивана III. Въ интересующей насъ частности былины мы имѣемъ передъ собою отраженіе уже этой эпохи уничтоженія татарскаго ига. Если припомнимъ, исторія разсказываетъ такъ: къ Ивану III явились ханскіе послы, которые требовали обычной дани отъ великаго князя московскаго. Иванъ III въ это время чувствовалъ себя сильнымъ и самостоятельнымъ и поэтому прежней предупредительности по отношенію къ этимъ посламъ онъ оказывать не счелъ себя обязаннымъ. Когда дѣло дошло до аудіенціи, то здѣсь происходитъ между великимъ княземъ и татарами ссора, въ результатѣ чего князь бросаетъ татарскую грамоту на полъ, топчетъ ее ногами и прогоняетъ пословъ съ позоромъ. Татары двигаются на Россію навстрѣчу московской рати, встрѣчаются на Угрѣ, но ни тѣ и ни другая не рѣшаются вступить въ сраженіе; а московскій князь пересидѣлъ татаръ, т.-е., татары, не рѣшившись перейти въ наступленіе, ушли на югъ въ свои степи, не добившись покорности московскаго князя. Можетъ быть, подобнаго рода обстоятельства и дадутъ намъ объясненіе самаго характера посольства Добрыни. Тогда явится возможнымъ болѣе или менѣе точное пріуроченіе сюжета къ историческимъ обстоятельствамъ; по крайней мѣрѣ, получимъ указаніе на время обработки былиннаго сюжета о посольствѣ Добрыни: это—XV-й или начало XVI вѣка. Если такимъ образомъ сюжетъ разсматриваемой былины пріурочивается къ XV—XVI вѣку, то и другая подробность былины, именно, второе лицо въ ней—Василій Казимировичъ—подтвердитъ такое

---

[1]) М. б. земля Половецкая (Полепецкая), упоминаемая въ былинѣ, остатокъ очень древняго (XI—XII в.) воспоминанія южной еще Руси.

предположеніе. Имя Василія Казимирова также историческое: это—крупный новгородскій бояринъ, дѣятель конца XV в., послѣднихъ годовъ независимости Новгорода, ловкій организаторъ борьбы противъ Москвы; онъ встрѣчаетъ Ивана III при его вступленіи въ Новгородъ, хлопочетъ объ участи новгородскихъ бояръ, осужденныхъ на смерть Иваномъ, задаетъ Ивану пиръ, подноситъ дары и т. д. Повидимому, это имя Василія покрыло собой другое, раньше бывшее въ былинѣ тогда, когда въ новгородской области перерабатывалась наша былина. Это опять указываетъ на тотъ же XV в., какъ на время сложенія той редакціи былины, которая намъ извѣстна. Такимъ образомъ, былина о Добрынѣ и Василіи Казимировичѣ обнаруживаетъ въ своей основѣ историческій фактъ — прекращеніе платы дани Москвой татарамъ при Иванѣ III; въ дальнѣйшемъ на ней отложились также историческіе элементы того же времени въ видѣ имени Василія Казимирова. Можно замѣтить еще одну особенность нашей былины: она построена очень сходно съ другой былиной о Добрынѣ и Дунаѣ (Добрыня-сватъ): какъ и тамъ, такъ и здѣсь номинально героемъ былины является не Добрыня, а иное лицо (Василій Казимировъ), на дѣлѣ же вся былина посвящена Добрынѣ; тамъ и здѣсь Добрыня—дипломатъ, посолъ, только послѣ неудачи переговоръ прибѣгаетъ къ силѣ и расправляется по богатырски. Это сходство можетъ быть и не случайно; возможно предположеніе (правда, подтвердить его трудно), что былина о Добрынѣ и Василіи создалась въ XV—XVI в., какъ разъ по образцу старшей былины, какой могли быть былина о Добрынѣ и Дунаѣ.

8. Послѣдній сюжетъ о Добрынѣ изъ наиболѣе извѣстныхъ, это—былина о женитьбѣ Добрыни на Настасьѣ великаншѣ. Происхожденіе этой былины (трактующей, повидимому, странствующій сюжетъ: онъ извѣстенъ на Кавказѣ) до сихъ поръ остается неопредѣленнымъ. Если допустить сближеніе нашей былины съ кавказской объ Алауганѣ, то пришлось бы признать въ ней заимствованіе, можетъ быть, случайное и весьма древнее, относящееся ко времени сосѣдской жизни иранцевъ и русскихъ въ нашихъ южныхъ степяхъ, что представляется трудно объяснимымъ; имя Добрыни въ такомъ случаѣ также придется признать уже внесеннымъ въ чужой сюжетъ. Чудовищность Настасьи Микулишны (имя ея встрѣчается въ былинахъ о Святогорѣ) напоминаетъ чудовищность жены Святогора: возможно, что связь между ними какая-то и есть. Въ циклѣ былинъ о Добрынѣ былина эта выдѣляется своимъ не историческимъ, сказочнымъ колоритомъ, что опять-таки дѣлаетъ сомнительнымъ принадлежность ея къ циклу объ этомъ культурномъ богатырѣ, т.-е. опять-таки какъ будто говоритъ о внесеніи имени популярнаго Добрыни въ сюжетъ чуждый.

Вотъ, собственно, главнѣйшіе сюжеты, которые касаются богатыря Добрыни. Я остановился на сюжетахъ о Добрынѣ прежде, чѣмъ на другихъ былинахъ потому, что въ данномъ случаѣ по этимъ былинамъ отчетливѣе можно представить процессъ постепеннаго созданія былины и ея характеръ, а отчасти и современные методы ея изученія. Въ былинахъ о Добрынѣ мы имѣемъ и былину, несомнѣнно, отразившую историческія преданія X—XI в., видимъ и странствующіе сюжеты, библейскіе, видимъ историческія воспоминанія, которыя идутъ отъ XI—XV в. и проходятъ даже къ XVII в.; былины о Добрынѣ чрезвычайно пестры по составу, разновременны, онѣ являются характеризующими общее состояніе былины вообще. Затѣмъ, изъ разсмотрѣнія этого цикла возникаетъ еще одинъ вопросъ, который не лишне разсмотрѣть для того, чтобы глубже познакомиться съ характеромъ нашего эпоса вообще. Циклъ былинъ о Добрынѣ показываетъ, что имя Добрыни очень популярно въ нашемъ былевомъ эпосѣ: Добрыня фигурируетъ въ цѣломъ рядѣ другихъ былинъ, помимо посвященныхъ ему спеціально: онъ тѣсно связанъ по поэтической ассоціаціи съ другими богатырями, то съ Алешей Поповичемъ, то съ Ильей Муромцемъ, то съ Дунаемъ и т. п. Какова были причина того, что Добрыня сталъ популярнымъ богатыремъ, сказать трудно, но кое-какія данныя заставляютъ насъ предполагать, что причина этого въ томъ, что былины о Добрынѣ представляютъ довольно опредѣленный, законченный циклъ былинъ. Былины о Добрынѣ, гдѣ онъ является главнымъ героемъ, центральнымъ лицомъ, интересны въ томъ отношеніи, что другіе популярные богатыри въ этихъ былинахъ въ большинствѣ случаевъ отсутствуютъ. Рѣдко, когда они являются вмѣстѣ съ Добрыней, при чемъ всегда, гдѣ въ былинѣ имѣется Добрыня и какой-нибудь другой видный богатырь, можно указать, что эта былина составная или осложненная, и что самая суть ея лежитъ не въ Дунаѣ или Василіи Казимировѣ, какъ центральныхъ лицахъ, а въ Добрынѣ. Въ этомъ случаѣ Добрыню придется сопоставлять съ другими богатырями, которые въ другихъ былинахъ находятся въ такомъ же положеніи, каковъ, напр., Илья Муромецъ: былины о немъ составляютъ также отдѣльный циклъ. Эти наблюденія ведутъ къ тому выводу, что мы не можемъ говорить только объ одномъ былинномъ циклѣ въ русскомъ эпосѣ. Повидимому, въ русскомъ эпосѣ въ прежнее время это дѣленіе было еще болѣе замѣтно, т.-е., были отдѣльныя былины, которыя группировались около отдѣльныхъ богатырей, и эти группы были независимы, почти не связаны другъ съ другомъ. Эти циклы при теперешнемъ составѣ былинъ далеко не такъ рѣзко разграничиваются. Это ведетъ къ тому выводу, что былина въ теперешнемъ своемъ составѣ значительно сблизила эти

циклы. Есть нѣкоторое основаніе утверждать, что циклъ о Добрынѣ въ прежнее время былъ крупный, популярный циклъ; другой популярный циклъ—былинъ объ Ильѣ Муромцѣ, о которомъ сохранилось самое большое количество пѣсенъ, показываетъ, однако, что этотъ послѣдній относится къ болѣе позднему времени сравнительно съ старѣйшими изъ былинъ о Д., т.-е., что когда-то старшимъ хронологически богатыремъ былъ Добрыня, а потомъ только, когда появились былины объ Ильѣ Муромцѣ, онѣ вступаютъ въ извѣстную связь съ былинами о Добрынѣ. Когда мы будемъ пересматривать циклъ былинъ объ Ильѣ Муромцѣ, мы увидимъ, что слѣды, бывшаго когда-то главенства Добрыни въ богатырскомъ циклѣ былинъ сохранились до сихъ поръ, несмотря на то, что Добрыня уступилъ мѣсто своему младшему «названному брату»—Ильѣ Муромцу. Такимъ образомъ, пересмотръ былинъ о Добрынѣ показываетъ, что мы имѣемъ передъ собою слѣды наиболѣе древняго изъ извѣстныхъ намъ цикла былинъ; поэтому я началъ обзоръ былинныхъ сюжетовъ съ Добрыни.

Затѣмъ, если мы присмотримся къ былинамъ о Добрынѣ Никитичѣ, то мы опять увидимъ нѣкоторыя общія особенности того же самаго былиннаго эпоса. Тѣ былинные сюжеты, которые я перечислилъ, не представляютъ чего-нибудь цѣльнаго, связнаго по содержанію органически, они всѣ объединяются только именемъ Добрыни и отчасти тѣмъ, что во всѣхъ былинахъ, гдѣ фигурируетъ Добрыня, черты его облика болѣе или менѣе однообразны; происхожденіе же самыхъ былинъ чрезвычайно разнообразно. Это значитъ, что, если мы говоримъ о циклѣ былинъ о Добрынѣ, то мы теперь не можемъ говорить, какъ о чемъ-то цѣльномъ, развившемся изъ одной основы, а лишь о постепенно объединившемся около имени Добрыни; существованіе же подобныхъ отдѣльныхъ цикловъ былинъ о другихъ богатыряхъ показываетъ, что одного общаго круга былинъ о богатыряхъ, какъ мы видимъ въ значительной степени западно-европейскомъ и особенно отчетливо греческомъ эпосѣ, мы въ русскомъ эпосѣ не знаемъ; тоже замѣтно и по отношенію къ отдѣльнымъ цикламъ. Если и есть циклъ былинъ о Добрынѣ, то настоящей циклизаціи, т.-е., объединенія содержанія около одного лица, образованія изъ былинъ чего-то стройнаго, въ родѣ того, что мы называемъ эпопеей, мы не видимъ. Старшій русскій богатырь Добрыня не успѣлъ объединить около себя ряда былинъ настолько, чтобы стать главой богатырскаго эпоса. Если мы изслѣдуемъ циклъ былинъ объ Ильѣ Муромцѣ, то мы должны будемъ сказать, что и тамъ полной циклизаціи, стройности объединенія нѣтъ. Ясное дѣло, что русскій былинный эпосъ не успѣлъ дойти до циклизаціи; эта циклизація только началась, т.-е., извѣстные сюжеты

подтягиваются къ отдѣльнымъ именамъ, но до полнаго объединенія дѣло не дошло. Еще въ XVII в. отдѣльные сюжеты прилипаютъ къ старѣйшимъ былинамъ о Добрынѣ, и они такъ и остаются тамъ наслоеніемъ, которое мы можемъ выдѣлить. Такимъ образомъ, разсмотрѣніе былинъ о Добрынѣ приводитъ насъ къ такой характеристикѣ нашего эпоса: онъ представлялъ первоначально рядъ отдѣльныхъ сказаній объ отдѣльныхъ лицахъ съ исторической подкладкой, съ исторической окраской и началъ объединяться около того или другого популярнаго имени. Такимъ именемъ является, между прочими, Добрыня; но этотъ процессъ такъ и остался незаконченнымъ вплоть до нашего времени. Въ этомъ цѣнность этого круга былинъ для уразумѣнія общаго развитія эпоса. Кромѣ того, эпосъ о Добрынѣ даетъ намъ возможность догадываться, что̀ влечетъ въ былинахъ за собой измѣненіе, перестройку первоначальныхъ пѣсенъ: прозрачность состава старѣйшихъ былинъ о Добрынѣ даетъ возможность прослѣдить этотъ процессъ довольно ясно.

II. Илья Муромецъ. Пѣсни объ Ильѣ представляются, какъ замѣчено выше, численно наиболѣе распространенными среди нашихъ пѣвцовъ. Конечно, не всѣ пѣсни объ Ильѣ одинаково популярны, но отдѣльныя изъ нихъ встрѣчаются почти во всѣхъ репертуарахъ пѣвцовъ: большинство ихъ въ числѣ другихъ знаетъ пѣсни и про Илью. Самъ Илья, помимо того, появляется во многихъ былинахъ о другихъ богатыряхъ, принимая часто активную роль въ подвигахъ ихъ, или, по крайней мѣрѣ, упоминается въ числѣ другихъ. Это, положительно, самый популярный изъ богатырей современной эпической пѣсни, окруженный въ самыхъ былинахъ почетомъ, особымъ уваженіемъ къ нему и у самихъ пѣвцовъ. Все это вело у изслѣдователей къ представленію о немъ, какъ центральномъ богатырѣ русскаго эпоса, заставляло обращать на него преимущественное вниманіе при изученіи русскаго эпоса. Но, при всемъ томъ, самая личность этого богатыря, начиная съ его имени, остается до сихъ поръ недоступной для уясненія со стороны происхожденія, соотвѣтствія съ отзвуками исторіи. Тогда, какъ русскія лѣтописи, занося на свои страницы отзвуки устныхъ преданій и пѣсенъ съ XV в., упоминаютъ Добрыню Рязанича (см. выше), Алешу Поповича ростовскаго, «славнаго богатыря Івана Даниловича» и др., онѣ совершенно не знаютъ Ильи Муромца; тогда какъ для другихъ богатырей и ихъ подвиговъ удается найти родственныя или аналогичныя указанія въ историческихъ фактахъ и именахъ, занесенныхъ въ лѣтописи и историческіе памятники, для объясненія образа Ильи и содержанія пѣсенъ о немъ такого соотвѣтствія не оказывается.

Попытки изъ содержанія и намековъ въ самихъ пѣсняхъ объ Ильѣ извлечь данныя для исторіи этого образа и хронологіи пѣсенъ о немъ

въ значительной степени оказались проблематичными и неустойчивыми; также мало надежными представляются и попытки опредѣлить мѣстность зарожденія пѣсенъ объ Ильѣ; а, между тѣмъ, имя Ильи, какъ одного изъ крупныхъ богатырей русскаго эпоса, должно быть признано, тѣмъ не менѣе, довольно давнимъ и извѣстнымъ съ ранняго времени: германская героическая сага объ «Ортнитѣ» и норвежская о «Тидрекѣ» (обѣ XIII в.) знаютъ Ilias von Riuzen—русскаго (князя) Илью, считаютъ его братомъ короля Ортнита. Въ XVI в. западно-русскій писатель XVI в. Филонъ Кмита—Чернобыльскій такъ же хорошо знаетъ Илью Моровленина, какъ и другого богатыря, врага Ильи (Соловья Разбойника) [1]; слыхалъ про Илью Моровлина и иностранецъ того же времени Эрихъ Лассота. Знаетъ Илью, именно, какъ богатыря Муромца, и кіевское мѣстное преданіе печерское, не позднѣе XVII в., указывая въ числѣ могилъ въ пещерахъ и могилу святого Ильи Муромца, выдающуюся своими размѣрами среди другихъ; отзвуки былинъ объ Ильѣ нашлись и въ финнскомъ эпосѣ, называющемъ его Mourovitza. Наконецъ, и сама сѣверная русская былина постаралась внимательно отмѣтить знаменитаго богатыря: по ней онъ крестьянскій сынъ изъ-подъ города Мурома (Владим. губ.), изъ села Карачарова.

Всѣ эти свѣдѣнія невольно поддерживали надежду болѣе или менѣе точно опредѣлить личность богатыря въ ея историческомъ освѣщеніи. Но этого до сихъ поръ не достигнуто. Попытки же дѣлались въ различныхъ направленіяхъ. Разнообразіе въ прозвищѣ Ильи (Муромецъ, Моровленинъ, Моровлинъ, Муравецъ, изъ Морова и др.), сопоставленіе этого прозвища съ географической номенклатурой (могущее помочь при пріуроченіи Ильи и сказаній объ немъ къ опредѣленной мѣстности и времени) не дало ясныхъ указаній, такъ какъ соотвѣтствія этому прозвищу находились и въ средней Россіи (Муромъ Суздальско-Ростовской области), и для южной (Моровійскъ, Моровинъ, Муровица—на Волыни, Муравскій шляхъ—степная дорога въ Крымъ), и для сѣверной (Муровленинъ, Мурманянинъ, Мурманскій берегъ).

Въ другомъ направленіи шли попытки уяснить образъ Ильи и происхожденіе пѣсенъ о немъ изъ его имени: упоминаніе Ilias von Riuzen (варіанты: Illias, Ilas, Elias, Eligas, Eligás) въ Ортнитъ-сагѣ и въ Тидрекъ-сагѣ, гдѣ онъ является д я д е й Владимира, сына Ортнита, владѣльца Pulinaland (земля Полянъ, съ городомъ Кіевомъ) и царя всей Руси (Riuzeland) наводило на мысль о сближеніи Ильи съ историческимъ (лѣтописнымъ) дядей князя Владимира—Добрыней, иначе:

---

[1] Т.-е. былину объ Ильѣ и Соловьѣ Разбойникѣ, хотя и путаетъ, называя этого послѣдняго Будимировичемъ, который богатыремъ силы не былъ.

съ былиннымъ Добрыней (см. выше), т.-е., приводило къ предположенію, что Илья былинъ замѣнилъ собою старшаго героя пѣсенъ—Добрыню; самое же имя Ильи, которому соотвѣтствуетъ между другими и скандинавская форма Eligas, въ такомъ случаѣ, считается также замѣнившимъ по созвучію (какъ болѣе ходячее, знакомое) иное, напоминавшее это, Eligas=Ilias; а такимъ именемъ было извѣстное имя «Ольгъ» (народное «Вольга»=Eligás), т.-е., это былъ первоначально извѣстный и по лѣтописи Олегъ Вѣщій (который, какъ братъ жены Рюрика, по нѣкоторымъ лѣтописнымъ сказаніямъ, также приходился дядей Игорю). Самое прозвище Ильи Муромецъ, въ такомъ случаѣ, на основаніи варіантовъ его, истолковывается, какъ «Норманнъ» (при формѣ «Мурманъ», ср. Мурманскій берегъ), и считается первоначальнымъ прозвищемъ Олега, какъ опредѣляющее его національность. Такимъ образомъ, по этому взгляду (представляющему, конечно, лишь гипотезу), дѣло съ пѣснями объ Ильѣ и именемъ его представляется въ результатѣ въ такомъ видѣ: подобно дошедшимъ до насъ пѣснямъ о Добрынѣ (дядѣ Владимира, въ былинахъ племянникѣ; см. выше), были и другія пѣсни о немъ же; имя этого Добрыни въ части этихъ пѣсенъ вытѣсняется именемъ старшаго дѣятеля, именно, тоже дяди Владимира (по скандинавской сагѣ, Игоря—по русскому лѣтописному преданію)—Олега Вѣщаго,—въ формѣ созвучной Eligas, Ilias, откуда и Илья. Сопоставленіе Ильи (Олега) былиннаго по типу съ Добрыней (также дядей) лѣтописнымъ, если не подтверждаетъ, то и не противорѣчитъ этому сближенію: и тотъ, и другой при дворѣ Владимира—люди вліятельные, исполняющіе отвѣтственныя дѣла, держащіеся въ значительной степени независимо, внушающіе уваженіе и самому Владимиру.

Такой генезисъ образа Ильи Муромца предполагаетъ, что первоначальный типъ этого пѣсеннаго героя значительно отличался отъ типа богатыря-крестьянина и богатыря-казака, какимъ его знаетъ современная намъ былина: это былъ дифференцированный образъ Добрыни—знатнаго, игравшаго видную роль въ дружинѣ Владимира человѣка. Слѣдъ такого типа остался и въ современныхъ былинахъ: Илья—старѣйшій и старшій въ «заставѣ богатырской», онъ нѣчто въ родѣ воеводы сторожевой дружины, охраняющей границы Русской земли отъ поганыхъ, и по былинамъ онъ сознаетъ свое превосходство не только передъ другими богатырями, въ числѣ коихъ есть и «аристократъ» Добрыня, и «храбръ», позднѣе ставшій «поповичемъ» Алеша, но и передъ Владимиромъ, который не прочь передъ нимъ даже заискивать, котораго Илья иногда даже третируетъ свысока.

Въ болѣе позднее время, сообразно съ измѣненіемъ сословныхъ отношеній и характера государственной власти (въ XV—XVI в.), Илья (соб-

ственно, его образъ) нѣсколько понижается: Владиміръ все болѣе пріобрѣтаетъ черты и характеръ московскаго князя-самодержца, а Илья теряетъ свою независимость, приближаясь къ типу безправнаго слуги князя; поэтому, въ иныхъ пѣсняхъ Илью Владиміръ и приказываетъ сажать въ погребъ, не проситъ, а приказываетъ ему. Эпоха начала XVII в.—эпоха Смуты—застаетъ Илью уже давнишнимъ богатыремъ, но все еще съ былыми чертами независимости, хотя и потускнѣвшими нѣсколько, быть можетъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ на немъ отлагаются соціальныя черты народныхъ героевъ эпохи—«вольнаго» казачества, и Илья превращается въ «вольнаго», «стараго» (изъ старшаго, быть можетъ), «матераго» казака, служащаго, однако, при князѣ Владимирѣ, часто проявляющаго свою «вольность». Послѣдняя метаморфоза Ильи—крестьянство—еще болѣе поздняя: когда эпосъ становится достояніемъ сѣвернаго крестьянства (это произошло не раньше конца XVII, нач. XVIII в.), и Илья становится крестья́нскимъ сыномъ [1]), но все же состоитъ при Владимирѣ, сохраняетъ свой прежній, не крестьянскій характеръ. Слѣдовательно, каковъ бы ни былъ первоначальный образъ Ильи по своему происхожденію, тотъ его образъ, какой мы получаемъ изъ дошедшихъ до насъ пѣсенъ о немъ, указываетъ ясно, что онъ претерпѣлъ рядъ измѣненій, пока дошелъ до образа богатыря-крестьянина.

Останавливаясь на такомъ представленіи объ образѣ Ильи Муромца, мы, однако, не можемъ дать столь же опредѣленный отвѣтъ на вопросъ о времени и мѣстѣ происхожденія самыхъ пѣсенъ объ Ильѣ. Наиболѣе правильнымъ рѣшеніемъ его надо признать предположеніе, что пѣсни объ Ильѣ, какъ и о Добрынѣ и другихъ богатыряхъ, происхожденія различнаго, какъ по времени, такъ и по мѣстностямъ; возможно и здѣсь, какъ и тамъ, что имя Ильи покрыло собой, подтянуло къ себѣ иныя пѣсни и имена. При всемъ томъ, принимая во вниманіе опредѣленность, устойчивость самого образа Ильи, и прочную связь нѣкоторыхъ сюжетовъ съ этимъ образомъ, можно дѣлать предположенія о времени и мѣстѣ происхожденія первообраза Ильи и отчасти сюжетовъ, связанныхъ съ нимъ въ болѣе древнее время. Въ общемъ характерѣ дѣятельности Ильи, какъ она рисуется въ большинствѣ былинъ, можно отмѣтить черты довольно древнія, пріурочиваемыя къ опредѣленной эпохѣ: вся суть его подвиговъ—защита Русской земли отъ враговъ внѣшнихъ, стояніе на «заставѣ» (на границѣ земли) въ степи, откуда идутъ «поганые», олицетворяемые обычно въ былинахъ въ образѣ богатыря-насильника. Это указываетъ на эпоху

---

[1]) Это „окрестьяненье“ Ильи завершилось едва ли ранѣе половины XVIII в.: лубочныя изданія былинъ объ Ильѣ (2-я полов. XVIII в.) еще его не знаютъ.

довольно раннюю, еще кіевскаго времени; это косвенно подтверждается извѣстностью Ильи—притомъ съ тѣмъ же характеромъ борца-защитника—уже въ Ортнитъ-сагѣ (XIII в.). Весьма возможно, что образъ богатыря, получившаго имя Ильи, возникъ и много раньше; если же допустить родство Ильи съ Добрыней (какъ это предлагаетъ приведенная выше гипотеза), то это время можно придвинуть ближе къ Владиміру святому, т.-е. къ XI вѣку, и пріурочить къ области Кіевской, какъ центру народной жизни и народной борьбы со степью. Упоминаніе о подвигѣ Ильи подъ Черниговымъ (былина объ Ильѣ и Соловьѣ), можетъ быть, намѣчаетъ дальнѣйшее распространеніе этого поэтическаго образа и связанныхъ съ нимъ сказаній—попытку притянуть его и къ Чернигову, который въ концѣ XII в. получаетъ, какъ отчина Ольговичей, добывшихъ въ это время и Кіевъ, особое значеніе на югѣ Руси. Мѣстныя преданія о Соловьѣ разбойникѣ Сѣверской земли, гдѣ есть городъ Карачевъ (откуда Карачарово?), извѣстный съ XII в., указываютъ на передвиженіе поэтическаго образа и связанныхъ съ нимъ пѣсенъ далѣе на сѣверо-востокъ. Слѣдующій шагъ—пріуроченіе Ильи и пѣсенъ о немъ къ Мурому, т.-е. области Ростовско-Суздальской (къ селу Карачарову), а отсюда уже движеніе пѣсенъ и далѣе на сѣверъ, гдѣ ихъ и застаютъ собиратели. Такимъ образомъ, возможно предположеніе, что, какъ самый образъ Ильи, такъ и нѣкоторыя пѣсни о немъ ведутъ свое происхожденіе еще изъ Кіевской области, можетъ быть, восходятъ къ XI в., и шли онѣ вмѣстѣ съ колонизаціей по ея путямъ на сѣверо-востокъ и русскій сѣверъ. Каковы же были эти старыя пѣсни, мы не знаемъ, но отзвуки ихъ, наравнѣ съ пѣснями иного происхожденія объ Ильѣ же, мы можемъ предполагать отчасти въ дошедшихъ до насъ былинахъ. Не перечисляя всѣхъ сюжетовъ, которые вошли въ составъ былинъ объ Ильѣ Муромцѣ, ограничимся ознакомленіемъ съ наиболѣе характерными для правильнаго представленія о немъ и о пѣсняхъ, его касающихся. Пѣсни, заключающія въ себѣ такіе сюжеты, могутъ быть указаны слѣдующія: 1) Исцѣленіе Ильи и выѣздъ на подвиги, 2) Илья и Соловей разбойникъ, 3) Илья и Сокольникъ (бой отца съ сыномъ), 4) Илья и Калинъ царь, 5) Илья и Идолище поганое, 6) Ссора Ильи съ Владиміромъ, 7) Илья и разбойники (смерть Ильи, три поѣздки) [1]. Сюжеты перечисленныхъ былинъ, въ нихъ заключенные, объединяясь именемъ Ильи, обнаруживаютъ, прежде всего, въ слагателяхъ и носителяхъ ихъ стремленіе къ циклизаціи, выразившееся въ желаніи нарисовать своего рода поэтическую біо-

---

[1]) Тексты: Гильфердингъ, II, № 120, 74; Рыбниковъ, I, № 199; Гильфердингъ II, № 75; Рыбниковъ, II, № 118, 119; Гильфердингъ, III, № 266.

графію богатыря, отъ ея начала и до смерти богатыря. Отдѣльныя главы-пѣсни этой біографіи разнаго времени и происхожденія и, судя по отдѣльнымъ изъ нихъ, частью довольно поздняго, что̀ указываетъ въ свою очередь и на довольно позднее же время этой циклизаціи. Переходимъ къ краткому обзору отмѣченныхъ былинъ.

1. Былина объ исцѣленіи Ильи и его выѣздѣ на подвиги изъ села Карачарова—начало поэтической біографіи богатыря—является одной изъ самыхъ позднихъ въ кругѣ былинъ о немъ и не самостоятельной по происхожденію, довольно ограниченной по распространенію среди пѣвцовъ. Она, видимо, отсутствовала въ старомъ былинномъ репертуарѣ; объ исцѣленіи Ильи, о пріобрѣтеніи имъ коня не знаютъ пѣсни о немъ еще до конца XVIII в., такъ же, какъ не знаютъ онѣ и о родинѣ Ильи—селѣ Карачаровѣ, близъ Мурома—и объ его происхожденіи крестьянскомъ. Сверхъ того, былины объ исцѣленіи Ильи выдѣляются среди другихъ своимъ плохимъ складомъ, напоминая скорѣе не стихъ, а ритмическую прозу даже у лучшихъ пѣвцовъ [1]), отлично передающихъ другія былины о томъ же Ильѣ. Въ текстѣ былины обращаютъ на себя вниманіе книжные, близкіе къ церковной рѣчи обороты, напр.: Илья сидитъ на «сѣдалищѣ», «водоносъ», «питіе», «поселеніе» (село), камень «неподвижный», «родители рожденые», «поприще», и т. д. Такого рода складъ и стиль былинной рѣчи заставляютъ предполагать, не была ли сложена эта біографія (начало «житія») Ильи въ каличьей средѣ, болѣе другихъ находящейся подъ вліяніемъ книжно-церковной литературы? Этому не противорѣчатъ и тѣ источники, слѣдъ коихъ еще видѣнъ въ былинѣ. Въ основѣ былины объ исцѣленіи Ильи лежатъ два мотива, широко распространенные въ русской и международной сказкѣ: а) о сиднѣ, который внезапно становится героемъ, превосходящимъ всѣхъ окружающихъ, и б) о пріобрѣтеніи чудеснаго коня, при чемъ первый мотивъ осложненъ еще другимъ, второстепеннымъ, о питьѣ, дающемъ сверхъестественную силу. Эти мотивы въ томъ же сочетаніи, что и въ былинѣ, даются цѣлымъ рядомъ русскихъ же сказокъ, что̀ и заставляетъ, вмѣстѣ съ остальными указанными чертами былины, предполагать, что сама былина представляетъ позднюю попытку, но мало удачную, переработки сказки въ былевую пѣсню. Разсказу о превращеніи Ильи изъ калѣки-сидня въ богатыря приданъ характеръ религіозный, до нѣкоторой степени чуда: эта окраска сказочнаго сюжета могла возникнуть подъ вліяніемъ религіознаго настроенія пѣвца-перелагателя, знакомаго съ аналогичными случаями въ житійной литературѣ (напр., о Туровскомъ Мартинѣ-поварѣ, объ Авра-

---

[1]) Таковъ текстъ, записанный Гильфердингомъ отъ Щеголенка, одного изъ лучшихъ олонецкихъ пѣвцовъ.

аміи Ростовскомъ). Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что тѣ пересказы былины, гдѣ этотъ характеръ виднѣе, идутъ изъ репертуаровъ пѣвцовъ, поющихъ рядомъ съ былиной и духовные стихи; эта связь съ книжной церковной литературой внѣшнимъ образомъ сказалась и на стилѣ былины, и на языкѣ ея, отличающемъ ее въ этомъ отношеніи отъ обычнаго стиля и языка пѣсенъ. Поводомъ къ созданію былины могло служить желаніе дать начало біографіи, указать на происхожденіе богатыря, хорошо извѣстнаго пѣвцамъ, богатыря популярнаго, отмѣченнаго, между прочимъ, какъ борца противъ «поганыхъ» нехристей, т.-е. результатъ стремленія къ циклизаціи. Поэтому былина объ исцѣленіи Ильи встрѣчается чаще въ видѣ вводной части къ разсказу о другихъ его подвигахъ («Поѣздки Ильи», Илья и Соловей).

2. Въ противоположность первой пѣснѣ, былина объ Ильѣ и Соловьѣ разбойникѣ занимаетъ самое видное мѣсто среди сюжетовъ, прикрѣпленныхъ къ имени Ильи, какъ по количеству пересказовъ (кромѣ 5—6 старинныхъ (XVIII в.) записей, извѣстно свыше 40, сдѣланныхъ собирателями), такъ и по древности сложенія и значенія ея среди другихъ былинъ для пониманія образа Ильи. Тщательное сравненіе между собой многочисленныхъ пересказовъ этой былины приводитъ къ предположенію о томъ, что современные тексты ея уже значительно измѣнили первоначальный (и во всякомъ случаѣ, болѣе древній) ея составъ. Попытка же возстановленія ея болѣе древняго вида даетъ черты, теперь уже затертыя, но все еще различимыя даже въ позднихъ текстахъ. Эти же черты позволяютъ до нѣкоторой степени представить себѣ исторію созданія былины объ Ильѣ и Соловьѣ приблизительно въ такомъ видѣ. Въ основѣ ея лежитъ мѣстное черниговское преданіе, можетъ быть, XII—XIII в., о мѣстномъ богатырѣ, спасшемъ городъ отъ враговъ, позднѣе распространившееся на сѣверо-востокъ отъ Чернигова, гдѣ къ нему присоединилось преданіе о знаменитомъ разбойникѣ, пріуроченное къ мѣстности гдѣ-то около г. Карачева (Орловск. губ.), въ 25 верстахъ отъ котораго протекаетъ и рѣка Смородина (упоминаемая былиной), есть урочища «Соловьиное» и «Девятидубье»; сюда же подходили лѣса брянскіе (по былинѣ «брынскіе»): подвигъ поимки этого разбойника приписанъ тому же богатырю, который спасъ Черниговъ. Это осложненное, такимъ образомъ, преданіе о черниговскомъ Ильѣ введено въ циклъ кіевскій, какъ поэтическій отзвукъ историческихъ соотношеній между Черниговомъ и Кіевомъ (XII—XIII в.), въ видѣ пріуроченіи развязки былины къ Кіеву [1]). Дальнѣйшій путь

[1]) Это—эпоха борьбы черниговскихъ Ольговичей (Гориславичей) съ кіевскими Мономаховичами; Ольговичи въ концѣ XII в. добились временно Кіева (ср. „Слово о полкѣ Игоревѣ“).

движенія преданія предположительно таковъ. Преданіе, ставшее, можетъ быть, уже и пѣсней, изъ Сѣверской земли (Орловскій край, иначе сѣверо-востокъ Черниговщины) переходитъ съ русской колонизаціей въ Ростово-Суздальскую землю, результатомъ чего является прикрѣпленіе Ильи къ Мурому (по созвучію съ Моровійскомъ Сѣверской земли), и селу Карачарову (по созвучію съ Карачевомъ). Дальнѣйшая эволюція былины—общая съ другими объ Ильѣ—его казачество, крестьянство. Образъ Соловья также претерпѣлъ эволюцію: вѣроятно, сначала онъ былъ безымяннымъ, а затѣмъ на него перенесено имя-прозвище, популярное на Руси—Соловья (можетъ быть, за его особенный свистъ, гиканье), можетъ быть, перенесенное съ имени Соловья Будимировича (не даромъ Соловья разбойника Филонъ Кмита въ XVI в. путаетъ съ Будимировичемъ) [1]); въ самомъ преданіи о Соловьѣ также произошли измѣненія: повидимому, въ первоначальной былинѣ трагической развязки (казни, разрыванья на части) не было, на что намекаютъ тѣ пересказы, которые объ этомъ умалчиваютъ, а представляютъ Соловья до нѣкоторой степени даже соратникомъ Ильи (по освобожденію города). Въ основѣ же сказанія о знаменитомъ разбойникѣ, побѣжденномъ богатыремъ, могло лежать преданіе, аналогичное занесенному въ лѣтопись (Степенная книга), о знаменитомъ разбойникѣ Могутѣ, который прощенъ былъ св. Владиміромъ и кончилъ жизнь подвижникомъ въ келіи митрополита; такое же окончаніе миролюбивое знаютъ и нѣкоторые пересказы былины о Соловьѣ. Иначе говоря: пришлое (сѣверское) преданіе (или пѣсня) объ Ильѣ и разбойникѣ въ Кіевской области приняло въ свой составъ преданіе о мѣстномъ знаменитомъ разбойникѣ (вліяніе аналогіи), имѣвшемъ къ тому же кое-что родственное съ Соловьемъ разбойникомъ (Могута обладалъ замѣчательнымъ зычнымъ голосомъ, что̀ отмѣтило лѣтописное преданіе, какъ нѣчто не совсѣмъ обычное).

Такимъ образомъ, суммируя наблюденія надъ популярной былиной о Соловьѣ и Ильѣ, можно предполагать, что по времени основа былины древняя—южныя преданія Черниговщины и Кіевщины—едва ли моложе XIII в. (Илья къ этому времени проникъ уже въ скандинавскій и германскій эпосъ), широко распространившіяся и на сѣверо-западъ и сѣверо-востокъ. Эта древность преданія и былины—причиной ея видоизмѣненій въ различныхъ передачахъ, изъ коихъ однѣ болѣе сохра-

[1]) Впрочемъ, настаивать на подобномъ сближеніи именъ Соловья-разбойника и Соловья Будимировича надобности нѣтъ: вспомнимъ хотя бы Соловья, жреца новгородскаго, изъ преданія о крещеніи Новгорода Добрыней и Путятой. М. б. и то, что имя явилось, какъ дальнѣйшая подробность, вытекающая изъ названій урочищъ, раньше уже получившихъ эти имена Соловьинаго и Девятидубья.

нили однѣ древнія черты, другія—иныя. Измѣненія эти закончились, повидимому, поздно, въ XVII—XVIII вв. пріуроченіемъ Ильи къ Муромскому селу Карачарову.

3. Былина о боѣ Ильи съ Сокольникомъ (съ сыномъ) также принадлежитъ къ числу довольно распространенныхъ (она записана до сихъ поръ почти въ 30 пересказахъ, оказала вліяніе на другія былины; ср. бой Ильи съ Добрыней, см. выше). Самая ея фабула—древній, широко распространенный международный сюжетъ о борьбѣ отца съ неузнаннымъ сыномъ (ср. Рустема—въ иранскомъ эпосѣ, Гильдебранта—въ нѣмецкомъ, Кивви-аль—въ эстонскомъ, Гали—въ киргизскомъ, Клизамора—въ кельтскомъ) [1]). Былинная обработка этого сюжета ближе въ общемъ къ восточнымъ пересказамъ сюжета, нежели къ западнымъ. Русской обработкѣ этого бродячаго сюжета принадлежитъ, кажется, образъ Сокольника, отличающагося отъ своихъ иноземныхъ родичей своими темными сторонами, коварствомъ, злымъ характеромъ (намѣреніе убить спящаго отца, уже его признавшаго, за что̀ онъ и самъ подвергается злой казни: Илья разрываетъ его на̀-полы); сюда же, можетъ быть, относится и тенденція разсказа—обѣлить популярнаго Илью (онъ прижилъ «грѣховно» сына), почему и Латыгорка (мать Сокольничка) рисуется, какъ и ея сынъ, исключительно отрицательными чертами; самый бой отца съ сыномъ—возмездіе (искупающее, однако) за «грѣхъ», совершенный Ильей.

Попытки опредѣлить время и мѣсто созданія былины (напр., пріуроченіе ея къ Полоцку и XIII в.) до сихъ поръ не увѣнчались успѣхомъ: причина этого—вообще трудность дать пріуроченіе хронологическое и мѣстное бродячему сюжету. Во всякомъ случаѣ, по своей бытовой обстановкѣ, сходной по характеру съ рядомъ другихъ былинъ, древнее и южное происхожденіе коихъ можетъ быть доказано съ значительной долей вѣроятности, и былина объ Ильѣ и Сокольникѣ можетъ быть сочтена древней и южной, также съ значительной долей вѣроятія. Основной ея мотивъ также долженъ быть сочтенъ давнимъ въ русской словесности, такъ что противорѣчія съ этой стороны въ признаніи былины древней, мы не видимъ.

4. Былинныхъ варіантовъ объ Ильѣ и Калинѣ царѣ извѣстно до двадцати, т. е. и эта былина не принадлежитъ къ числу рѣдкихъ. Въ основѣ ея, видимо, лежатъ преданія довольно многочисленныя о столкновеніяхъ Руси со степью еще въ Кіевскій періодъ. Отзвуки нѣ-

---

[1]) Именно этой былинѣ придавалось большое значеніе представителями миѳологической школы (напр., О. Ѳ. Миллеромъ), видѣвшими въ рядѣ параллелей къ ея сюжету доказательство индоевропейской древности основъ эпоса. Но тогда не были извѣстны тюркскіе пересказы сюжета.

которыхъ изъ нихъ, родственныхъ вошедшимъ въ былину, сохранены лѣтописью, напр., о воеводѣ Претичѣ, возводящія событіе еще ко времени Святослава (X в.), или о Демьянѣ Куденевичѣ, относимыя къ концу XII в. Весьма возможно, что подобное преданіе, но уже о борьбѣ съ татарами, въ частности о битвѣ на Калкѣ (1224), притомъ осложненное какимъ-либо позднѣйшимъ сказаніемъ о битвѣ на Куликовомъ полѣ, и лежитъ въ основѣ былины объ Ильѣ и Калинѣ; т. о. на дѣлѣ мы имѣемъ передъ собой одно изъ видоизмѣненій популярнаго сюжета былины о гибели богатырей, переработаннаго подъ вліяніемъ другихъ аналогичныхъ преданій въ родѣ приведенныхъ выше. Если принять подобный генезисъ былины, до нѣкоторой степени можетъ быть объяснено и имя Калина царя, явившагося по былинной поэтикѣ олицетвореніемъ силы татарской (противъ русскаго богатыря, какъ личности, должно быть поставлено также лицо—богатырь, супротивникъ): оно отвлечено отъ имени рѣки Калки (гдѣ была битва 1224 г.); въ связи съ этимъ понятенъ и счастливый исходъ битвы: онъ идетъ изъ преданій о Куликовской битвѣ, на что̀ сохранился намекъ въ нѣкоторыхъ текстахъ, гдѣ Калина замѣняетъ не только Идолище, Кудреванка, но и Мамай.

5. Распространенная среди сказателей пѣсня объ Ильѣ и Идолищѣ (извѣстно до 45 варіантовъ) представляетъ въ содержаніи и композиціи рядъ точекъ соприкосновенія съ былиной объ Алешѣ и Тугаринѣ (см. ниже): наблюдается сходство образовъ Идолища и Тугарина, сходство нѣкоторыхъ частностей ситуаціи (переодѣванье, встрѣча со старчищемъ-каличищемъ). Отъ истолкованія этой аналогіи зависитъ и представленіе о самомъ происхожденіи и былины объ Ильѣ и Идолищѣ. Всѣ пересказы этой былины распадаются на двѣ главныхъ группы: первая, признаваемая болѣе архаичной, помѣщаетъ мѣсто дѣйствія въ Царьградѣ, изображаетъ Идолище «обнасильничавшемъ» царя Константина Боголюбовича, вторая—младшая—переноситъ дѣйствіе уже въ Кіевъ, страдающимъ отъ насильника является, разумѣется, князь Владиміръ. Въ остальномъ существенныхъ различій нѣтъ. Происхожденіе этой младшей группы отъ первой не подлежитъ сомнѣнію. Сравнивая же эту старшую версію былины съ былиной объ Алешѣ и Тугаринѣ, можно признать нѣкоторую зависимость первой отъ второй, иначе: предполагать, что подвигъ Алеши былъ приписанъ Ильѣ. Такое предположеніе находитъ себѣ подтвержденіе въ томъ, что мѣстныя сказанія о ростовскомъ богатырѣ были извѣстны не позднѣе XIII в., въ то время какъ Илья гораздо позже сталъ центральнымъ, главнымъ богатыремъ, притомъ на сѣверовостокѣ; самый типъ Ильи въ этой былинѣ, обстановка, даваемая былиной, указываетъ на время сложенія былины не ранѣе XV в., тогда

какъ въ былинѣ объ Алешѣ и Тугаринѣ мы узнаемъ отзвукъ чертъ болѣе раннихъ (Тугаринъ-Тугорканъ, половецкій ханъ XI в.). Видимо, что слагатель былины объ Ильѣ и Идолищѣ зналъ о подвигѣ Алеши и воспользовался имъ, какъ аналогичной темой, для изображенія подвига Ильи и его врага (объѣдало, насильникъ) въ своей былинѣ. Обстановка, рисовавшаяся слагателю былины объ Ильѣ, иная, сложившаяся подъ впечатлѣніемъ уже татарщины (въ былинѣ объ Алешѣ она, можетъ быть, стоитъ въ связи съ кіевской еще борьбой со степью—половцами), оттуда, можетъ быть, и названіе врага Ильи—Идолище—въ смыслѣ басурманина, поганаго (былина иногда даже соединяетъ оба термина: «Идолище поганое»), иначе, татарина (въ языкѣ древней Руси). Царьградъ, какъ мѣсто дѣйствія въ былинѣ, занятый бусурманиномъ, Идолищемъ, также, можетъ быть, указываетъ на болѣе позднее время сложенія былины—послѣ завоеванія Царьграда турками (1453).

Такимъ образомъ, въ этой былинѣ, если признать правдоподобнымъ такой ея генезисъ [1]), можно видѣть образецъ покрытія именемъ, ставшимъ болѣе популярнымъ, имени и сюжета старшаго, утрачивающаго свою популярность (а Алеша именно таковъ, см. ниже); но вполнѣ вытѣснить Ильѣ изъ былевого эпоса Алешу не удалось, какъ не удалось это и относительно Добрыни (если признать вышеприведенное предположеніе о происхожденіи образа Ильи правдоподобнымъ).

Съ другой стороны, нельзя отрицать и обратнаго частичнаго вліянія былинъ объ Ильѣ, какъ ставшихъ болѣе популярными, на былину объ Алешѣ; таковъ эпизодъ съ переодѣваньемъ Алеши въ каличье платье, болѣе стройно и логично помѣщенный въ былинѣ объ Ильѣ. Впрочемъ, возможно и то, что въ томъ ростовскомъ мѣстномъ преданіи, которое лежитъ въ основѣ былины объ Алешѣ, этотъ эпизодъ уже былъ, и, утраченный дошедшій до насъ версіей былины о немъ, уцѣлѣлъ въ былинѣ объ Ильѣ, въ данномъ случаѣ, такимъ образомъ, сохранившей болѣе архаично деталь своего прототипа.

6. Пѣсня о ссорѣ «стараго козака» Ильи съ Владимиромъ всѣмъ своимъ складомъ выдаетъ свое довольно позднее происхожденіе: если «казачество» Ильи—явленіе позднее, отзвукъ уже Смутнаго времени—не можетъ еще служить яснымъ указаніемъ на такое происхожденіе былины, какъ по привычкѣ, безсознательно составляющее эпитетъ Ильи и въ былинахъ болѣе древняго склада, то самый образъ Ильи въ этой пѣснѣ, самый сюжетъ ея говоритъ именно за то, что здѣсь

---

[1]) Новый пересмотръ варьянтовъ былинъ объ Ильѣ параллельно съ былинами объ Алешѣ и книжными преданіями о борьбѣ христіанства и язычества въ Ростовѣ сдѣланный Б. М. Соколовымъ (Ж. М. Н. П. 1916, V), далъ новое подтвержденіе старшинству былинъ объ Алешѣ.

Илья, дѣйствительно, казакъ, притомъ разнузданный казакъ эпохи Смуты, отмѣченной именно чертами своевольства, безцеремоннаго отношенія къ своимъ и чужимъ, безобразнымъ разгуломъ, часто кощунственнымъ отношеніемъ къ святынѣ со стороны казацкой вольницы (о чемъ говорятъ современныя сказанія, напр., Палицына). Это—не солидный уравновѣшенный, уважаемый другими и себя уважающій благочестивый богатырь, а своенравный, грубый, неразборчивый на средства пріятель «голи кабацкой», озлобленный противъ боярства, знати.

Такимъ образомъ, въ самой основѣ своей былина указываетъ на время своего происхожденія не ранѣе времени Смуты въ Московскомъ государствѣ, т.-е., не ранѣе XVII вѣка. Такимъ образомъ, едва ли здѣсь можно предполагать соціальныя отношенія старой Руси съ ихъ свободными отношеніями между сословіями и классами, напримѣръ, дружины старшей и младшей и князьями или видѣть результаты «демократизаціи» Ильи, какъ это предполагали иногда видѣть въ нашей былинѣ [1]).

7. Послѣдняя былина, посвященная Ильѣ, о станичникахъ-разбойникахъ, часто входящая въ поэтическую «біографію» Ильи (она соединяется часто съ пѣсней объ исцѣленіи Ильи, первой его поѣздкѣ), подобно первой, представляетъ пѣсенную обработку, примѣненную къ популярному имени Ильи, сказочныхъ сюжетовъ и мотивовъ, широко распространенныхъ и въ сказкахъ: это—мотивы о трехъ дорогахъ съ опредѣленнымъ назначеніемъ (богату быть, женату, убиту), о коварной прелестницѣ; третій мотивъ—о постройкѣ церкви па поминъ души—мотивъ бытовой. Такимъ же отзвукомъ русскаго быта, но неопредѣленнаго прошлаго, можетъ быть, и сценка съ разбойниками, имѣющая, до извѣстной степени (особенно въ началѣ) жанровый характеръ.

Такимъ образомъ, по отношенію къ этой былинѣ говорить о времени ея возникновенія, особенно давнемъ, не приходится: въ ней данныхъ для этого нѣтъ, какъ въ построенной на общихъ сказочныхъ мотивахъ. Заканчиваясь сказаніемъ о мирной благочестивой кончинѣ Ильи (а ему по старымъ былинамъ смерть на бою не писана), она, естественно, должна служить въ сознаніи носителей завершеніемъ біографіи Ильи, какъ былина объ его исцѣленіи послужила для нея началомъ.

---

1) Т.-е. переходъ изъ дружинника въ казаки. Образъ Ильи, основной его типъ, въ другихъ былинахъ сохранястся, откуда возникаетъ даже противорѣчіе между нимъ и внѣшнимъ обликомъ Ильи. Здѣсь же въ былинѣ даже завязка типичная московская: ссора произошла изъ-за того, что Владимиръ, устроивъ пиръ, забылъ пригласить Илью, который и считаетъ себя оскорбленнымъ (мѣстничество?).

Объединяя все сказанное о кругѣ пѣсенъ объ Ильѣ Муромцѣ, въ результатѣ мы и здѣсь должны признать разнообразіе источниковъ пѣсенъ о немъ, какъ по времени, такъ и по мѣсту; сверхъ того, несмотря на то, что многое, начиная съ имени самого Ильи, для насъ не ясно, мы можемъ, на основаніи изслѣдованій, насколько они продвинулись до настоящаго времени, съ большой долей вѣроятности, заключать о длинной эволюціи, которую испытали эти пѣсни, пока дошли до насъ: изъ-за современнаго намъ богатыря-крестьянина выглядываетъ не только образъ богатыря-казака, но и старшаго его богатыря, можетъ быть, дружинника Кіевской эпохи; за современными редакціями былинъ объ Ильѣ виднѣются старшія ихъ версіи, отражающія въ иныхъ случаяхъ мѣстныя преданія русскаго юга, русскаго сѣверо-востока, а теперь сохраненныя русскимъ сѣверомъ. Исторія былинъ объ Ильѣ начинается чуть ли не съ XVI в. (а можетъ быть, и много раньше, если принять связь его съ типомъ Добрыни и Олега) и кончается чуть ли не въ XVIII-мъ.

III. Алеша. Послѣ Добрыни и Ильи Муромца, довольно популярнымъ лицомъ въ эпосѣ является Алеша. Помимо тѣхъ пѣсенъ, гдѣ выступаетъ Алеша Поповичъ въ числѣ другихъ богатырей (каковы, напр., былина о Добрынѣ и Алешѣ, о Добрынѣ и Дунаѣ, нѣсколько объ Ильѣ Муромцѣ) или упоминается только, извѣстны только двѣ былины, посвященныя собственно Алешѣ, одна изъ нихъ боевая—о борьбѣ его съ Тугариномъ, другая—новелла—о немъ и Аленушкѣ, сестрѣ братьевъ Петровичей (иначе Бродовичей) [1]. Первая былина довольно популярна среди пѣвцовъ сѣвера, извѣстна уже съ XVII в. по старинной записи, вторая встрѣчается много рѣже, преимущественно въ Архангельской губерніи.

1. Былина объ Алешѣ и Тугаринѣ, подобно старшимъ былинамъ о Добрынѣ, также предполагаетъ въ основѣ своей поэтическое изображеніе историческаго событія (которое, однако, съ точностью установить не удается), а само имя Алеши въ формѣ Александра Поповича «храбра» (т.-е. богатыря) ростовскаго (черезъ форму: Алексаша, уменьшительное имя къ Александру и Алексѣю), отмѣчено и преданіями, занесенными подъ разными годами XII и XIII в. въ лѣтописные сборники. Такъ, Никоновская лѣтопись (вообще богатая отзвуками былевого, пѣсеннаго характера) считаетъ Александра Поповича современникомъ Владимира св.: когда въ 1000 г. Володарь повелъ половцевъ на Кіевъ, Александръ Поповичъ, сдѣлавши ночью вылазку изъ города, разбилъ и прогналъ половцевъ, Володаря и его брата убилъ. Лѣтописная эта замѣтка (восходящая къ какой-либо пѣснѣ) отнесла, повидимому, со-

---

[1]) Тексты: Кирша Даниловъ, № 19 и Григорьевъ I, № 137.

бытіе на сто лѣтъ назадъ: Володарь, о которомъ идетъ рѣчь, въ 1110 г., при Владимирѣ же, но Мономахѣ, повелъ половцевъ на Кіевъ. Въ той же лѣтописи подъ 1001 г. въ разсказѣ (опять-таки восходящемъ къ какой то пѣснѣ) объ Янѣ Усмошевцѣ, побѣдившемъ печенѣжскаго богатыря, упоминается въ числѣ его соратниковъ имя Александра Поповича. Точно такъ же въ Тверскую лѣтопись [1]) (также обильную устнымъ преданіемъ) занесено ростовское преданіе объ Александрѣ Поповичѣ, но уже въ XIII вѣкъ: «Александръ, глаголемый Поповичъ» со слугой своимъ Торопомъ принимаютъ дѣятельное участіе въ междоусобной борьбѣ Юрія и Константина, князей ростовскихъ, послѣ чего Алеша и слуга его уходятъ на службу къ Мстиславу Храброму въ Кіевъ и погибаютъ въ 1224 году на рѣкѣ Калкѣ вмѣстѣ съ другими семидесятью «храбрами». Эти указанія лѣтописей даютъ возможность предполагать, что уже въ XII и XIII вв. существовали преданія и, можетъ быть, пѣсни объ Александрѣ Поповичѣ, ростовскомъ мѣстномъ богатырѣ; преданія эти, сперва мѣстныя, подтянулись потомъ, какъ и въ другихъ случаяхъ въ былинахъ, къ эпическому центру—князю Владимиру (что было тѣмъ легче, если преданія эти связывались съ Владимиромъ же, хотя Мономахомъ) и городу Кіеву. Такія же указанія на XII в., какъ время событій, давшихъ основу преданію, легшему въ основу былины, указываетъ и имя былиннаго врага Алеши—Тугарина, восходящее къ историческому половецкому хану Тугорхану, конца XI в., имѣвшему то враждебныя, то дружественныя отношенія къ кіевскому князю Святославу. Историческое преданіе объ этихъ отношеніяхъ, повидимому, и и было тѣмъ ядромъ, на которомъ построилась былина объ Алешѣ; она, какъ старинная по времени созданія, оказала, какъ мы видѣли, вліяніе на былину объ Ильѣ и Идолищѣ; отсюда сходство между отдѣльными эпизодами въ обѣихъ былинахъ. Все это, взятое вмѣстѣ, заставляетъ предполагать въ основѣ былины объ Алешѣ и Тугаринѣ историческое преданіе конца XI — нач. XII в., рано обработанное въ пѣсню.

Типъ Алеши въ этой пѣснѣ, сохраненный и позднѣйшей былиной, до насъ дошедшей,—положительный. Переработка типа Алеши въ бабьяго пересмѣшника, прелестника—типъ отрицательный—должна быть сочтена явленіемъ болѣе позднимъ, можетъ быть, какъ отраженіе ироническаго отношенія къ «поповичу», попову сыну, затемнившее нѣсколько прежній, положительный взглядъ на «богатыря» Александра. Впрочемъ, одна изъ индивидуальныхъ чертъ Алеши—хитрость—долж-

---

[1]) Лѣтописный сборникъ, извѣстный подъ этимъ именемъ, составленъ не позднѣе половины XV в.

на быть признана чертой старой: онъ ею отличается уже въ старой былинѣ, убиваетъ Тугарина, притворившись глухимъ или заставивши его обернутъся. Эта черта, кажется, послужила отправной точкой для переработки старшаго типа Алеши въ позднѣйшій.

Въ нѣкоторыхъ пересказахъ былина объ Алешѣ и Тугаринѣ, видимо, испытала и книжное вліяніе; на это намекаетъ разсказъ про уловку Алеши, давшую ему возможность срубить голову Тугарину (заставилъ его обернутъся): она восходитъ къ аналогичному эпизоду изъ «Александріи» (переводный романъ объ Александрѣ Македонскомъ) о борьбѣ Александра царя съ индійскомъ Поромъ; можетъ быть, поводомъ къ такому заимствованію послужило сходство именъ обоихъ героевъ.

Что касается мѣста сложенія или, по крайней мѣрѣ, старѣйшей популярности былины объ Алешѣ и Тугаринѣ, то прочная былинная традиція, считающая Алешу ростовцемъ, въ связи съ былинными же преданіями, занесенными въ лѣтописи, даетъ возможность предполагать такимъ мѣстомъ область ростово-суздальскую: въ такомъ случаѣ, пріуроченіе былины къ Кіеву должно быть сочтено результатомъ уже послѣдующаго (хотя и ранняго) развитія пѣсни.

2. Былина-новелла объ Алешѣ и братьяхъ Петровичахъ, какъ и другія подобныя пѣсни (ср. Добрыню), не поддаются точному опредѣленію ни хронологическому, ни мѣстному. Въ виду того, что въ нѣкоторыхъ варіантахъ этой былины находимъ вмѣсто Алеши Чурилу, а въ иныхъ просто безыменнаго молодца, а во всѣхъ не видимъ чертъ Алеши-богатыря, кромѣ одной—склонности къ похожденіямъ—можно думать, что здѣсь, какъ и въ былинахъ того же характера о Добрынѣ, мы имѣемъ дѣло съ занесеніемъ имени популярнаго «бабьяго прелестника» въ анонимную пѣсню съ аналогичнымъ героемъ. Самое содержаніе былины не устойчиво: въ однихъ варіантахъ Алеша женится на дѣвушкѣ, въ другихъ дѣло кончается тѣмъ, что оклеветанную Алешей Аленушку братья убиваютъ: въ однихъ варіантахъ Алеша намекаетъ на свои отношенія къ Аннушкѣ, показывая монисто, добытое черезъ подкупленную служанку, въ другихъ—бросая комъ снѣга въ окно Аннушкина терема.

IV. Сауръ Леванидовичъ и Михайло Даниловичъ. Для исторіи былинныхъ сюжетовъ очень показательны также былины о Михайлѣ Даниловичѣ и Саурѣ Леванидовичѣ: на нихъ очень удобно прослѣдить развитіе изъ одного былиннаго сюжета другого, отмѣтить напластованія позднія на сюжетъ старшій [1]).

Обѣ былины, построенныя по сходному плану, находятся, повиди-

---

[1]) Тексты: Кирша Даниловъ, № 25; П. В. Кирѣевскій, вып. III, стр. 41.

мому, и въ родствѣ между собою, при чемъ былина о Саурѣ должна быть признана старшей, оказавшей вліяніе на былину о Михайлѣ (иначе Иванѣ Даниловичѣ). Былину о Саурѣ Леванидовичѣ (Ванидовичѣ) изслѣдователи (А. Н. Веселовскій) считаютъ заимствованной по сюжету то изъ Византіи (ср. греч. былину объ Армури), то изъ восточныхъ сказаній (В. Ѳ. Миллеръ), что̀ и вѣроятнѣе. Послѣднее предположеніе опирается на такого рода соображенія: 1) былина эта въ имени героя еще сохранила, какъ и родственная ей скомканная былина о Суровцѣ, связь съ востокомъ: Сауръ, Сурога (отсюда же Суровецъ)—онъ царь какого-то Алыберскаго (осмысленіе—Астраханскаго) царства, носитъ титулъ бѣлаго царя (тюрское: ак-ханъ); 2) былина не вошла въ Кіевскій циклъ; стоитъ особнякомъ и отъ другихъ былинныхъ круговъ; 3) всѣ до сихъ поръ извѣстныя записи былины сдѣланы почти исключительно въ восточныхъ областяхъ русскаго племени: либо въ Положьѣ, гдѣ русское населеніе сталкивалось съ тюрко-татарскимъ, либо въ Сибири (Киршевскій варіанъ); 4) имя Сауръ до сихъ поръ въ ходу у татаръ (значитъ: быкъ, затѣмъ—герой).

Эта былина, нѣсколько уже обрусѣвшая и воспринявшая отзвуки русской дѣйствительности (такъ въ имени сына Саура Константина, избивающаго половцевъ или татаръ, видятъ воспоминанія о тысяцкомъ Константинѣ, въ 1148 г. избившемъ половцевъ, и, такимъ образомъ, замѣнившаго какое-либо восточное имя первоначальнаго сказанія), послужила отправнымъ пунктомъ для второй былины—объ Иванѣ Даниловичѣ, богатырѣ малолѣткѣ, сынѣ Давилы Игнатьевича: въ ней Иванъ Даниловичъ соотвѣтствуетъ Константину, Данила Игнатьевичъ Сауру; при перенесеніи дѣйствія въ Кіевъ (т.-е. прикрѣпленіи къ кіевскому циклу) естественно должны были произойти измѣненія: старый Данило удалился въ монастырь, оттуда посылаетъ сына на подвигъ, идетъ его выручать. Иванъ Даниловичъ лицо давно извѣстное въ лѣтописи: подъ 1136 г. въ битвѣ при Супоѣ съ половцами «убита Ивана Данилова, богатыря славнаго» (онъ былъ на службѣ у кіевскаго князя Ярополка Владимировича); очевидно, лицомъ онъ былъ замѣтнымъ и о немъ могло быть упоминаніе въ какой-либо пѣснѣ дружиннаго характера (почему его и отмѣтила Никоновская лѣтопись). Въ былинѣ онъ бьется съ татарами: перенесеніе, обычное въ былинахъ. Къ нему то, повидимому, и была приспособлена пѣсня о Саурѣ. Сверхъ того, онъ получилъ другое еще имя Михаила; источникъ и этой перемѣны можно предполагать: оно могло итти изъ мѣстнаго кіевскаго преданія о богатырѣ-малолѣткѣ Михайликѣ [1]) (унесшемъ Золотыя ворота изъ

[1] О немъ подробнѣе у А. Н. Веселовскаго въ „Южно-русскихъ былинахъ“.

Кіева въ Царьградъ), который, въ свою очередь, объясняется изъ преданія о Михаилѣ Юрьевичѣ, который послѣ смерти Андрея Боголюбскаго, приглашенъ былъ владимірцами, но, подобно Михайлику, долженъ былъ подъ угрозами ростовцевъ и къ огорченію владимірцевъ, удалиться (1175); о немъ, какъ о храбромъ и любимомъ князѣ, могла существовать отдѣльная пѣсня (въ лѣтописи есть о немъ цѣлая повѣсть). Такимъ образомъ, вторая былина и могла явиться, какъ результатъ переработки первой, путемъ включенія ея въ кіевскій циклъ и обработки при помощи историческихъ преданій XII вѣка.

V. Василій Пьяница. Былина о Василіи Пьяницѣ также ярко характеризуетъ тѣ измѣненія, какія можетъ претерпѣть старая былевая пѣсня, пока она дошла до насъ. Былина о Василіи Пьяницѣ, освободившемъ Кіевъ отъ татаръ, отразила въ своемъ болѣе древнемъ (предполагаемомъ) видѣ одно изъ крупныхъ событій эпохи ранней татарщины—скорѣе всего—взятіе Кіева Батыемъ (1237 г.), который и называется (вмѣсто Кудреванка) въ большей части варіантовъ (ихъ извѣстно до 15) былины, поэтому и долженъ быть признанъ первоначальнымъ именемъ врага Кіева.

Въ теперешнемъ своемъ видѣ былина носитъ черты поздней обработки старшаго вида пѣсни, происшедшей, вѣроятно, въ XV—XVII в., при томъ обработки, вышедшей изъ спецефической среды профессіоналовъ, «веселыхъ людей» скомороховъ, на что̀ указываетъ «исходъ» (конецъ) былины явно юмористическаго характера, самый характеръ героя—Васьки пьяницы; сама былина какъ бы и создалась въ «кружалѣ государевомъ»: настолько въ ней разработанъ, именно, типъ пьяницы. Но это не мѣшаетъ въ теперешней «пьяницкой» былинѣ видѣть и болѣе древнюю, отнюдь не «пьяницкую» скоморошью основу; на такого рода основу былины указываетъ оставшееся въ ней, несмотря на передѣлку, несоотвѣтствіе по характеру ея частей: съ одной стороны красивый зачинъ былины о турицахъ съ разсказомъ о Божіей Матери, оплакивающей грозящую городу Кіеву «невзгодушку» (нашествіе Батыя, гибель Кіева), къ другой «пьяный» разсказъ о Васькѣ, спящемъ въ кабакѣ и шутливый (въ большинствѣ пересказовъ) конецъ былины. Счастливое окончаніе—гибель татаръ, спасеніе Кіева пьянымъ Васькой—въ разсчетъ не идетъ: послѣдній слагатель былины, использовавшій старый матеріалъ, жилъ, несомнѣнно, тогда, когда Русь уже торжествовала надъ татарами (ок. нач. XV в.), когда татары уже не представлялись неотвратимой грозой; національное самолюбіе слагателя и слушателей уже требовало побѣды надъ татарами; это, конечно, не мѣшаетъ предполагать, что въ болѣе древнемъ источникѣ и прототипѣ былины конецъ былъ трагическій: она могла кончаться гибелью Кіева,

что будетъ въ полномъ соотвѣтствіи съ началомъ былины: скорбное предчувствіе Богоматери должно было оправдаться. Иначе говоря, мы должны предполагать существованіе народныхъ пѣсенъ, вѣроятно дружиннаго происхожденія, о страшномъ нашествіи татаръ и именно на Кіевъ, при томъ пѣсенъ, сложившихся подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ, въ XIII же вѣкѣ: не даромъ мы знаемъ пѣсни о Калкской битвѣ и гибели богатырей, знаемъ книжныя «воинскія» повѣсти о разореніи Кіева Батыемъ, о разореніи Рязани (занесенныя въ лѣтопись), отличающіяся тѣми же чертами народнаго преданія и вышедшими изъ дружинной (не духовной) среды. Такое предположеніе косвенно находитъ себѣ опору въ деталяхъ былины, дающихъ отзвуки той же эпохи и, можетъ быть, по воспоминанію имена лицъ, связанныхъ съ этимъ же временемъ. Такъ, имя самого Василія (конечно, не «пьяницы») возможно связывать съ именемъ любимаго народомъ и дружиной князя Василія Константиновича, захваченнаго въ плѣнъ на рѣкѣ Сити и погибшаго въ батыевой ордѣ; есть въ былинѣ отзвуки такихъ пѣсенъ, какія, несомнѣнно, существовали въ первое же время татарщины, напр., о Ѳеодорѣ князѣ и Евпраксіи, о подвигѣ Евпатія Коловрата и др. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что другіе отзвуки тѣхъ же пѣсенъ (напр., о Ѳеодорѣ и Евпраксіи) нашли себѣ мѣсто въ другихъ былинахъ того же «батыева цикла», напр., въ былинѣ о Данилѣ Ловчанинѣ. Къ той же эпохѣ возводится и попавшая въ запѣвъ легенда о Богородицѣ, оплакивающей грядущую гибель города: это одна изъ легендъ, содержащихъ представленіе о городѣ, посвященномъ особой охранѣ Богоматери (ср. сказаніе Андрея Юродиваго (Константинополь), повѣсть о новгородской иконѣ и др.); такая легенда о Кіевѣ могла сложиться вскорѣ послѣ паденія Кіева [1]).

Самый же типъ богатыря-пьяницы, заимствовавшаго свое имя изъ старой пѣсни о Василіи Константиновичѣ, по всей вѣроятности, есть издѣліе той скоморошьей среды, которой принадлежитъ обработка старшей пѣсни о Батыѣ, т.-е., Василій-пьяница замѣнилъ собою богатыря другого характера. Былина (въ записи Григорьева) даетъ образчикъ, между прочимъ, модернизаціи старшей былины со стороны пѣвца: фабула сохранена въ неприкосновенности, подробности отброшены, и болѣе доступная пѣвцу бытовая черта (кабацкіе нравы) подчеркнута и получила современную окраску (Владиміръ, въ калошахъ (!) на босу ногу (!) бѣгущій въ кабакъ и т. д.).

VI. Дунай. Донъ. Сухманъ. Нѣпра. Въ числѣ поэтическихъ мотивовъ и сюжетовъ, которые охотно разрабатываетъ старая, еще, быть

---

[1]) Подробнѣе анализъ этой замѣчательной былины см. у В. Ѳ. Миллера, Очерки, I, 305 и сл.

можетъ, южная былина, принадлежать тѣ мотивы, которые, будучи сами очень древни, пользуются распространеніемъ въ другихъ видахъ устной поэзіи, именно: олицетворенія рѣкъ. Такое олицетвореніе засвидѣтельствовано и старой книжной поэзіей. Донъ въ «Словѣ о Полку Игоревѣ», несомнѣнно, персонифицированъ въ представленіи автора, и олицетвореніе это, также несомнѣнно, восходитъ къ народно-поэтическимъ устнымъ образамъ. Перечисленныя былины [1]) или цѣликомъ, или частью использовали эту персонификацію въ качествѣ сюжета или мотива, давая поэтическое объясненіе происхожденію и названію рѣкъ. Но это, конечно, не можетъ служить препятствіемъ тому, чтобы на этомъ сюжетѣ отложились и историческія реминисценціи, или тому, чтобы эти олицетворенія вошли въ составъ былины, имѣющей историческую основу. Пѣсни о Дунаѣ и Настасьѣ и пѣсня о Донѣ и Нѣпрѣ несомнѣнно представляютъ два варіанта одной и той же первоначальной пѣсни: главное различіе этихъ варіантовъ въ именахъ и въ историческомъ пріуроченіи: отъ крови Дуная и Настасьи произошли рѣки Дунай и Настасья рѣка (?), отъ крови Дона и Нѣпры—соотвѣтствующія рѣки—Донъ и Днѣпръ (или, можетъ быть, Непрядва, какъ отзвукъ знаменитой битвы съ татарами на рѣкѣ Непрядвѣ). Былина о Дунаѣ и Настасьѣ, дочери литовскаго короля, осложнилась, такимъ образомъ, присоединеніемъ мотива о Дунаѣ-рѣкѣ; повидимому, имя Дуная, независимое отъ названія рѣки, притянуло мотивъ, родственный сказаніямъ о рѣкахъ, происхожденіи ихъ названій. Что, именно, такое надо предполагать соотношеніе сюжетовъ, видно изъ того, что про Дуная, какъ личность богатырскую, существуютъ отдѣльныя пѣсни, какова о похвальбѣ Дуная, осужденіи его на смерть и спасеніи его женой (она, повидимому, однако не самостоятельна, разрабатывая уже знакомый мотивъ о ляховитскомъ королѣ и Дунаѣ въ былинѣ о Добрынѣ-сватѣ); кромѣ того, мы можемъ въ лицѣ Дуная-богатыря подозрѣвать отзвукъ исторически-извѣстной личности: популярнаго галицко-волынскаго боярина XIII в.—Дуная.

Аналогичную композицію мотива историческаго и ходячаго поэтическаго о происхожденіи названія рѣки представляетъ былина о Сухманѣ (встрѣчается довольно рѣдко: извѣстно 5—6 ея текстовъ). Въ основѣ ея лежитъ какой-то, ближе намъ не знакомый, сюжетъ о борьбѣ съ татарами, при обработкѣ осложнившійся мотивами иного времени и мѣста: на содержаніи былины о Сухманѣ видимъ слѣды вліянія мѣстныхъ преданій о псковскомъ князѣ Довмонтѣ (XIII в.,

---

[1]) Тексты: П. В. Кирѣевскій, III, стр. 58; Гильфердингъ, I, № 50; Рыбниковъ, II, № 148; ср. также Гильфердинга, I, № 5.

откуда искаженное отчество Сухмана—Домантьевичъ, съ дальнѣйшимъ искаженіемъ иногда—Адихмантьевичъ), которому пришлось съ ничтожными силами отразить полчища «поганой латыни» (Литвы); отложились на былинѣ, кажется, и сказанія о битвѣ съ Мамаемъ на Куликовѣ, на рѣкѣ Непрядвѣ (XIV в.): въ нѣкоторыхъ текстахъ во главѣ татаръ стоитъ, какъ разъ, Мамай; наконецъ, на обработку былины въ томъ видѣ, какъ мы ее знаемъ, оказала вліяніе и московская уже обстановка не старше XVI в.: на это указываетъ измѣнившійся сравнительно со старымъ типъ кн. Владимира.

VII. Былины о гибели богатырей. Этотъ кругъ былинъ [1]) завершаетъ собой и по содержанію и отчасти по хронологіи кругъ старой, южной, боевой былины. Сюжетъ этихъ былинъ, какъ и нѣкоторыхъ другихъ (Илья и Калинъ, Василій Пьяница), группируются около крупнѣйшаго историческаго факта эпохи южной Руси XIII в.: это—конецъ кіевщины и начало новой жизни на сѣверо-востокѣ, отмѣченныя несчастной битвой на Калкѣ (1224): здѣсь погибъ цвѣтъ дружинной и княжеской Кіевской Руси. Старое, занесенное въ лѣтописные сборники преданіе давно также связало гибель богатырей съ тѣмъ же страшнымъ пораженіемъ Руси татарами: Суздальская лѣтопись (XV в.) и т. н. Царственный лѣтописецъ сохранили извѣстіе, что въ битвѣ на р. Калкѣ «убита... и Александра Поповича и съ слугою его Торопомъ [2]), и Добрыню рязанича Златого пояса и седмьдесять великихъ и храбрыхъ богатырей». Разсказъ о погибели богатырей былина и прямо связываетъ съ Калкскимъ побоищемъ (т. н., Камское побоище). Эта тема о Калкской битвѣ, лежащая въ основѣ пѣсенъ объ исчезновеніи богатырей на Руси, впослѣдствіи, видимо, осложнялись преданіями аналогичнаго характера, прежде всего, преданіями и сказаніями о битвѣ на Куликовомъ полѣ съ Мамаемъ, оставившей, естественно, глубокій слѣдъ въ народной памяти, какъ одно изъ самыхъ крупныхъ, притомъ удачныхъ для русскихъ боевыхъ столкновеній съ грознымъ врагомъ. Можетъ быть, въ эпизодѣ похвальбы, сгубившей богатырей, слѣдуетъ видѣть (какъ предполагаетъ В. Ѳ. Миллеръ) отзвукъ мѣстнаго суздальскаго преданія еще объ одной громкой битвѣ—Липицкой (1216)—гдѣ самонадѣянные хвастливые суздальцы со своими князьями, Юріемъ и Ярославомъ, были разбиты на голову ростовскимъ княземъ Константиномъ (припомнимъ, что Алеша Поповичъ — соратникъ именно этого князя). Такимъ образомъ, намѣчается рядъ преданій исто-

---

[1]) Тексты: А. В. Маркова, № 81; Былины старой и новой записи, № 8; П. В. Кирѣевскаго, IV, стр. 108.

[2]) Въ былинахъ объ Алешѣ и Тугаринѣ онъ названъ Екимомъ Ивановичемъ; но въ старинной (XVII в.) записи этой былины названъ онъ также Торопомъ.

рическаго характера, при помощи которыхъ, весьма вѣроятно, развивалось, осложняясь подробностями, преданіе о битвѣ на Калкѣ, постепенно дойдя до того состоянія, въ которомъ оно стало источникомъ былины о гибели богатырей. Анализъ разныхъ былинъ о гибели богатырей въ связи съ преданіями, такъ или иначе отмѣченными въ старинной письменности, приводятъ въ результатѣ къ такимъ любопытнымъ и для общаго развитія нашего былевого эпоса выводамъ: отсутствіе Ильи Муромца въ отдѣльныхъ версіяхъ былины, неорганичность его въ другихъ, съ одной стороны, выдающаяся роль Алеши Поповича въ этихъ пересказахъ, а также въ сказаніяхъ, занесенныхъ въ лѣтопись,—съ другой, все это взятое вмѣстѣ, заставляетъ предполагать, что въ основной пѣснѣ, (отъ которой идутъ дошедшія до насъ версіи былинъ) Илья Муромецъ не игралъ заглавной (какъ обычно) роли въ разсказѣ или даже вовсе отсутствовалъ; отсюда слѣдуетъ, что пѣсни эти въ своемъ первоначальномъ видѣ сложились не тамъ, гдѣ центромъ мѣстнаго преданія былъ Илья, или еще въ то время, когда Илья не успѣлъ занять первенствующее мѣсто въ боевомъ старомъ эпосѣ (какъ это стало позднѣе), оттѣснивъ на второй планъ другихъ богатырей, а въ числѣ ихъ и Алешу, героя мѣстнаго ростовскаго преданія. Послѣднее предположеніе, повидимому, слѣдуетъ счесть болѣе близкимъ къ истинѣ, такъ какъ оно опирается на приведенныя выше старыя записи преданія о Калкскомъ боѣ, занесенныя въ лѣтописи (сложившіяся не позднѣе XV вѣка). Роль главнаго богатыря въ пѣснѣ о Калкской битвѣ, такимъ образомъ, принадлежала первоначально Алешѣ, неумѣстная похвальба котораго, по представленію слагателя, и вызвала небесную кару, результатомъ которой было пораженіе богатырей и ихъ гибель; стало быть, и конецъ, пѣсни, соотвѣтственно дѣйствительности (и такъ же, какъ въ первоначальной пѣснѣ о Василіи пьяницѣ) былъ трагическій. Со временемъ, однако, именно конецъ постепенно смѣняется болѣе утѣшительнымъ для народнаго самолюбія: татары перестаютъ быть торжествующей стороной, и, если богатыри несутъ наказаніе за свой необдуманный поступокъ и сходятъ со сцены, то не отъ руки своихъ враговъ (они окаменѣваютъ или кончаютъ жизнь въ монастыряхъ), при чемъ гибнутъ и татары, до удаленія богатырей ими избитые, и Кіевъ освобождается, т.-е., получается тоже, что мы видѣли въ былинѣ о Василіи пьяницѣ, о Калинѣ царѣ и въ рядѣ другихъ. Такая постепенная переработка пѣсни, надо полагать, вызвана тѣми же условіями: измѣненіемъ отношеній и взглядовъ на татаръ, которое со временемъ и подъ вліяніемъ главнымъ образомъ побѣды на Куликовомъ полѣ надъ Мамаемъ произошло къ концу XIV в. (о чемъ была рѣчь выше); этимъ объясняется появле-

ніе въ былинахъ о Калкской битвѣ Мамая въ качествѣ главнаго врага Руси. Второй процессъ—общій для боевого стараго эпоса—вноситъ дальнѣйшія измѣненія и въ пѣсни о Калкской битвѣ: это—перенесеніе роли главнаго героя на Илью, вслѣдствіе чего мѣняются и различныя детали, которыя въ различныхъ мѣстахъ бываютъ различны. Въ результатѣ, повидимому, исторію былины о гибели богатырей надо представлять себѣ такъ: основная пѣсня съ заглавной ролью въ ней Алеши, сложенная вскорѣ послѣ событія, можетъ быть, въ ростовскомъ краѣ (откуда она передвинулась на югъ, въ Кіевскій циклъ), подвергалась ряду переработокъ введеніемъ новыхъ эпизодовъ, измѣненіемъ комбинацій ихъ (ср. былину о «Камскомъ» побоищѣ). Поэтому, наиболѣе архаичной, близкой по типу къ первоначальной пѣснѣ слѣдуетъ признать такой текстъ былины, гдѣ Алеша еще не оттѣсненъ Ильей Муромцемъ [1]). Дальнѣйшія стадіи развитія такой пѣсни, мы видимъ, такимъ образомъ, въ былинахъ о «Камскомъ» побоищѣ и объ Ильѣ и Мамаѣ.

Далѣе, довольно характерными для исторіи былинной обработки сюжетовъ, надо счесть былины о Дюкѣ Степановичѣ, Потокѣ Михайловичѣ и Чурилѣ Пленковичѣ: всѣ онѣ, повидимому, должны быть отнесены по мѣсту созданія къ югу или юго-западу, т.-е., должны считаться, подобно Кіевскимъ, пришедшими на сѣверъ.

VIII. Дюкъ. Былина о Дюкѣ [2]) представляетъ въ своей основѣ сюжетъ иноземнаго происхожденія, переработанный въ русскую былину. Тотъ иноземный разсказъ, который далъ тему для былины, напоминаетъ въ основныхъ чертахъ извѣстное «Сказаніе объ Индіи богатой», повидимому, уже XII—XIII в. перешедшее въ русскую литературу черезъ нашъ юго-западъ. Основная мысль разсказа—превосходство въ культурѣ Іоанна индійскаго передъ византійскимъ царемъ (въ «Сказаніи»), сохранена и нашей былиной; это превосходство доказывается изображеніемъ несмѣтныхъ богатствъ и роскоши Дюка, которыми онъ обладаетъ у себя дома, и пренебрежительнымъ его отношеніемъ къ обстановкѣ въ Кіевѣ; поэтому и въ былинѣ отразились детали описанія, находимыя въ сказаніи объ Индіи богатой: какъ весь блескъ византійскаго царя блѣднѣетъ передъ богатствами индійскаго царя Ивана, такъ и Дюковы богатства совершенно затмѣваютъ собою кажущуюся роскошь двора Владимира; отразились и другіе мотивы: императоръ Мануилъ («Сказаніе») посылаетъ спеціальныхъ пословъ къ царю индійскому опи-

---

[1]) Такова была та былина, которую слышалъ гдѣ то въ зап. Сибири Л. Мей (см. Кирѣевскаго, IV, 108), изложившій ее по своему (около 1840 г.), при чемъ онъ исказилъ и форму и, повидимому, отчасти и содержаніе.

[2]) Текстъ: Гильфердингъ, III, № 225.

сать его сокровища и убѣждается въ своемъ безсиліи это сдѣлать; то же происходитъ и со Владиміромъ, который посылаетъ своего «дипломата», вѣжливаго Добрыню; даже ироническій совѣтъ царя Ивана почти буквально повторенъ Дюкомъ: продать царство на покупку бумаги для этой описи. Такимъ образомъ, сомнѣнія въ зависимости былины отъ популярнаго средневѣковаго описанія быть не можетъ. Но эта фабула была разработана подъ вліяніемъ уже мѣстныхъ условій и, такимъ образомъ, превратилась въ ту первоначальную пѣсню, которая, будучи переработана въ свою очередь, дала ту былину, которую мы теперь знаемъ. На мѣсто созданія и пути переработки этой первоначальной пѣсни даютъ нѣкоторыя указанія подробности и варіанты дошедшей до насъ былины. Такими указаніями служатъ наиболѣе устойчивыя въ варіантахъ (а стало быть, возможныя и для первоначальной пѣсни) имена и географическіе термины, прежде всего—имя самого богатыря Дюка и названіе Волынца-Галича, откуда этотъ Дюкъ пріѣзжаетъ въ Кіевъ: Дюкъ—популярное греческое имя рода, знаменитаго и въ Византіи (Дука—Δούκας); имя это извѣстно рано и изъ русскихъ памятниковъ переводныхъ (напр., изъ «Девгеніева дѣянія», романа византійскаго, уже не позднѣе XII в. существовавшаго на Руси: Девгеній—изъ рода Дуковъ); имя это могло попасть въ первоначальную пѣсню скорѣе всего въ Галицкой землѣ, бывшей въ тѣсныхъ связяхъ торговыхъ и отчасти и политическихъ съ Византіей въ XII—XIII в. Отчество этого Дюка, Степановичъ, также очень устойчиво въ былинахъ; оно также могло быть навѣяно сторонними вліяніями, именно, въ Галицкой землѣ, при ея связяхъ съ западными и южными странами, съ Венгріей, гдѣ нѣсколько королей носятъ имя Стефана, съ Сербіей, гдѣ то же имя весьма популярно; поводомъ къ такому притяженію предполагается значеніе и употребленіе термина «дука» (дуксъ) въ качествѣ сана многихъ знатныхъ людей, извѣстное и въ Византіи, и на Балканѣ, т.-е. дуксъ Стефанъ могъ превратиться въ Дюка Степановича, притомъ боярина, безъ особаго труда. Повидимому, надо предполагать, что въ первоначальной пѣснѣ былъ разсказъ о какомъ-то Дюкѣ, знатномъ человѣкѣ, пріѣхавшимъ въ Галичъ изъ Индіи, такъ какъ и наши былины упоминаютъ, что Дюкъ пріѣхалъ не только изъ Галича богатаго, но изъ Индіи богатой въ Кіевъ; конечно, первоначальнѣе будетъ въ пѣснѣ Индія, такъ какъ пріуроченіе Дюка къ Галичу и Кіеву есть результатъ уже позднѣйшаго развитія былины. Богатство и могущество Галича въ XII—XIII вв., одновременно съ ослабленіемъ Кіева, и заставило Дюка ѣхать изъ Галича въ Кіевъ похвастать своимъ богатствомъ. Такимъ образомъ, первоначальная пѣсня, по всѣмъ вѣроятіямъ, сложилась въ Галицко-Волынской землѣ; здѣсь разсказывалось о пріѣздѣ изъ Индіи

въ Галичъ (вмѣсто вѣроятнаго Царьграда, какъ въ «Сказаніи») богача; здѣсь онъ получилъ имя Дюка Степановича; съ привлеченіемъ пѣсни въ кіевскій циклъ, произошла перемѣна: Дюкъ не только ѣдетъ изъ Галича, но и живетъ онъ въ Галичѣ (хотя былина иногда и помнитъ его происхожденіе изъ Индіи). За галицкое происхожденіе былины о Дюкѣ въ ея древнѣйшемъ видѣ говоритъ и вторая ея половина: соперникъ Дюка—Чурило, также происхожденія галицко-волынскаго скорѣе, чѣмъ кіевскаго или иного. Въ 15—16 в. подъ вліяніемъ московской обстановки, былина принимаетъ черты московскія, но фабулу сохраняетъ: описаніе дворца Дюка начинаетъ напоминать обстановку то царскаго дворца, то богатаго боярскаго терема.

IX. Потыкъ. Большая былина о Михайлѣ Потыкѣ [1]) въ основѣ своей произведеніе сложное: съ одной стороны, это—сказка съ широко распространеннымъ международнымъ мотивомъ о невѣрной женѣ, съ другой—легенда о змѣеборцѣ со страннымъ прозвищемъ Потыка-Потока. Не имѣя возможности прослѣдить исторію появленія на русской почвѣ ходячаго сказочнаго мотива (вѣроятно, весьма ранняго), можно для второго элемента—змѣеборства—указать на довольно близкую параллель даже съ именемъ былиннаго героя: имя Потыка (Потока) соотвѣтствуетъ имени св. Михаила изъ Потуки, болгарина, который, по разсказу о немъ легенды (занесенной въ такъ называемый Синаксарь, или Прологъ, извѣстный не позднѣе XIII в., на русской почвѣ, переводный сборникъ житій), обративши въ бѣгство полчища агарянъ, напавшихъ на грековъ, избавилъ свой родной городъ Потуку отъ змія, который выходилъ изъ близъ лежащаго озера и пожиралъ дѣтей, которыхъ ему выставляли къ озеру: выставленную на съѣденіе дѣвицу спасъ Михаилъ, убивши змія, но самъ раненый имъ, вскорѣ умеръ, погребенъ въ родномъ городѣ, гдѣ и сталъ мѣстнымъ почитаемымъ святымъ. Такимъ образомъ, въ легендѣ о Михаилѣ изъ Потуки, болгаринѣ, мы имѣемъ передъ собой ходячій, только локализированный, мотивъ, давно извѣстный въ другихъ пріуроченіяхъ и на Руси (ср. Ѳеодора, Георгія, Добрыню—змѣеборцевъ). Въ результатѣ составъ былины предположительно можетъ быть представленъ такъ: легенда о змѣеборцѣ, получившая для героя имя изъ болгарской такой же легенды, въ соединеніи съ сказочнымъ мотивомъ о невѣрной женѣ, стала источникомъ пѣсни, получившей въ дальнѣйшемъ новыя наслоенія. Такое представленіе оправдывается и условіями, при которыхъ до извѣстной степени локализируется и сама пѣсня: проникновеніе имени болгарскаго Михаила изъ Потуки въ русскую пѣсню могло совершиться

---

[1]) Текстъ: Гильфердингъ, I, № 52.

тамъ, гдѣ болгарское вліяніе было наиболѣе возможно и дѣйствительно было: такой областью была область Галицко-Волынская въ XII—XIII в., тѣсно соприкасавшаяся съ Болгаріей; вліяніе, именно, въ это время было особенно интенсивно: это—время расцвѣта второго болгарскаго царства (и какъ разъ въ это время—1206 г.—мощи Михаила прославлены перенесеніемъ въ Тырновъ), его культурно-литературнаго вліянія на русскую литературу (для сѣверо-востока эти вліянія нѣсколько позднѣе—XIV—XV вв.). На ту же Галицкую землю, какъ на мѣсто созданія первоначальной пѣсни, быть можетъ, указываетъ и намекъ былины на происхожденіе жены Потыка: она «подоленка», т.-е. изъ Подоліи. Подтверждается такое представленіе о происхожденіи (или, во всякомъ случаѣ, объ извѣстности) былины въ юго-западной Руси и тѣмъ, что самое имя Потока, неизвѣстное до сихъ поръ въ Кіевской и сѣверо-восточной устной поэзіи, извѣстно, однако, именно, изъ галицкихъ пѣсенъ. Дальнѣйшая судьба старой пѣсни—внесеніе ея въ кіевскій циклъ, результатомъ чего явились новыя измѣненія прежняго текста—особенности сравнительно съ другими былинами не представляетъ; имена Кощея, Вахрамѣя, упоминаніе Золотой Орды принадлежатъ въ отдѣльныхъ варіантахъ отзвукамъ послѣдующаго времени: вліянію сказочныхъ сюжетовъ, эпохи татарщины.

X. Чурило. Помимо упоминанія въ другихъ былинахъ, ему посвящены отдѣльно двѣ пѣсни: о пріѣздѣ Чурила ко двору Владимира и о любовной его связи съ женой Бермяты Сорожанина и объ его смерти [1]). Часто обѣ пѣсни соединяются въ одну, онѣ довольно популярны (извѣстно около 30 записей) преимущественно среди женщинъ. Указать опредѣленный фактъ, къ которому бы восходила первая былина, до сихъ поръ не удается; но, несомнѣнно, можно предполагать, что случаи перехода полунезависимаго, богатаго владѣтельнаго дружинника на службу къ кіевскому князю бывали не разъ и въ дѣйствительности, такъ что былина не выходитъ въ этомъ отношеніи изъ ряда остальныхъ; на современномъ текстѣ былины видимъ уже слѣды обработки подъ вліяніемъ уже московской обстановки, хотя изъ-подъ нея сквозитъ сще старшая, по всей вѣроятности, южная: отецъ Чурилы—Пленко Сорожанинъ, что намекаетъ на торговыя и вообще культурныя связи Кіева съ богатымъ городомъ Суражемъ (Судакъ). За южное происхожденіе былинъ о Чурилѣ говоритъ косвенно и то, что онъ играетъ видную роль, органически входитъ въ юго-западную былину о Дюкѣ, а самое имя Чурило (изъ имени Кириллъ—Кѵриллъ (съ ижицей), по старому написанію) съ давняго времени пользуется извѣстностью въ южной полосѣ

---

[1]) Тексты: Кирша Даниловъ, № 17; Гильфердингъ, III, № 224.

Руси, чаще всего въ устной поэзіи. Если принять подобное происхожденіе былинъ о Чурилѣ [1]), то основы пѣсенъ-новеллъ о Чурилѣ придется признать довольно древними.

XI. Михаилъ Казаринъ (Казариновъ, Козарушка Петровичъ, Казаренецъ). Это имя встрѣчается только въ былинѣ о немъ [2]), довольно теперь популярной (до 30 записей) въ Архангельскомъ краѣ, западной Сибири и Донской области (въ Олонецкомъ краѣ она до сихъ поръ не встрѣчена). Исходя изъ прозвища богатыря—Казаринъ,—есть нѣкоторое основаніе предполагать, что въ основѣ былины лежитъ отзвукъ галицкаго мѣстнаго преданія XII в., отмѣченнаго и лѣтописью, именно: объ удачномъ отраженіи нашествія половцевъ на Зарѣчьскъ (на Волыни, 1106 г.); въ этомъ отраженіи видную роль играетъ посланный Святополкомъ воевода Казаринъ, которому удалось перебить половцевъ, отбить у нихъ взятый ими полонъ. Роль былиннаго Михаила Казарина, аналогична: онъ также исполняетъ порученіе князя, выручаетъ изъ полона свою сестру, мѣсто подвига былиннаго Казарина также Волынь, отчество (Петровичъ) тоже, что у историческаго Казарина. Былина, повидимому, сложилась, подобно былинамъ о Дюкѣ и Потыкѣ, на Волыни, затѣмъ втянута въ центральный кіевскій циклъ, испытала на себѣ вліяніе татарщины, а, можетъ быть, и московскаго времени (типъ Владимира—скопидома), а, возможно также, и другихъ былинъ (о птицѣ-воронѣ, ср. королевичей изъ Кракова; пріѣздъ съ Волыни, ср. былины о Дюкѣ).

Произведенный пересмотръ былевыхъ пѣсенъ указываетъ въ общемъ на то, что, если теперь на югѣ Россіи мы не встрѣчаемъ болѣе былинъ, то, объясняя это особыми мѣстными условіями, мы узнаемъ эту южную пѣсню въ ея сѣверныхъ обработкахъ, сохранившихъ отчасти и слѣдъ ея путешествія на сѣверъ: отраженіе той средне-русской (московской) среды, черезъ которую эта южная пѣсня прошла на пути къ сѣверу. Другое наблюденіе, которое мы можемъ получить изъ сдѣланнаго обзора, то, что почти вся южная пѣсня, поскольку мы съ ней познакомились, подверглась группировкѣ около главнаго культурнаго центра—Кіева: первоначально мѣстная, то черниговская, то галицкая, то даже ростовско-суздальская, она втягивается въ кругъ пѣсенъ съ Кіевомъ, какъ ареной дѣйствія; это заставляетъ предполагать рядомъ съ этой централизаціей другой процессъ—мѣстнаго зарожденія и развитія пѣсенъ; слѣды этой «мѣстной» окраски находимъ и въ «центра-

---

[1]) Изслѣдователи (часто одинъ и тотъ же) колеблются между южнымъ и сѣвернымъ происхожденіемъ былины и различно опредѣляютъ время ея появленія, отъ XII в. и до XV-го.

[2]) Текстъ: Кирша Даниловъ, № 21.

лизированной» пѣснѣ. Помимо этого, есть и пѣсни, которыя уцѣлѣли отъ этого централизирующаго процесса; одну изъ нихъ мы видѣли въ былинѣ о Саурѣ, разновидность которой, однако, втянулась уже въ кіевскій кругъ. Но есть основаніе предполагать, что и кромѣ пѣсенъ о Саурѣ, до насъ дошли южныя пѣсни, также не вошедшія въ кіевскій центральный циклъ. Изъ нихъ можно назвать пѣсни про Глѣба Володьевича и про князя Романа, южное происхожденіе которыхъ весьма вѣроятно.

XII. Глѣбъ Володьевичъ. Былина про него [1]) представляетъ, вѣроятно, сравнительно позднюю переработку пѣсни, довольно, однако, древней, отразившей въ содержаніи своемъ событіе конца XI вѣка: походъ на Корсунь (Херсонесъ) новгородскаго князя Глѣба Святославича и Владимира Всеволодича (Мономаха) въ 1077 г., походъ, вызванный притѣсненіями, чинившимися русскимъ торговцамъ властями города. Слѣды этой пѣсни (представляющіе искаженное начало былины) видимъ въ пѣснѣ терскихъ казаковъ о Маринѣ Кайдановнѣ, а также въ малорусской пѣснѣ объ Иванѣ Богуславцѣ, извѣстной еще съ XVII в. Въ имени героя былины видятъ встрѣчающееся въ народно-эпической поэтикѣ объединеніе (противоположный процессъ «расщепленію») двухъ лицъ въ одно: Глѣбъ поглотилъ другого участника, получивъ его отчество Всеволодьевичъ (Володьевичъ); на былинѣ этой видны и слѣды татарщины (отчество Марины—Кайдановна, Кайдаловна), и Смутнаго времени (имя отчасти и общій обликъ Марины), и книжныхъ элементовъ (повѣстей о Басаргѣ—загадка, о Соломонѣ—рукавички). Пріуроченія къ Кіеву въ былинѣ нѣтъ; упоминаніе о Москвѣ—слѣдъ прохода пѣсни съ юга на сѣверъ.

XIII. Князь Романъ. Три пѣсни [2]), объединяемыя именемъ Романа, по характеру своему должны быть отнесены къ той же группѣ, къ которой мы отнесли пѣсню объ Алешѣ и Аленушкѣ, съ одной стороны, къ группѣ пѣсенъ, представляющихъ чисто-мѣстную легенду (имѣю въ виду наиболѣе содержательную пѣсню первую: князь Романъ и Ливики). Въ Романѣ приходится видѣть имя историческое; но болѣе точное пріуроченіе его къ имени одного изъ извѣстныхъ князей Романовъ затруднительно, въ виду малоизвѣстности того факта, который лежитъ въ основѣ пѣсни: ближе другихъ подходятъ либо знаменитый Романъ Галицкій (умеръ 1205 г.), Мстиславичъ, либо менѣе извѣстный Романъ Брянскій (XIII—XIV в.), Михайловичъ; отъ того или иного пріуроченія будетъ зависѣть и опредѣленіе времени созданія пѣсни—бо-

1) Текстъ: А. В. Марковъ, № 80.

2) Текстъ: Рыбниковъ, II, № 152; П. В. Кирѣевскій, V, стр. 92; Кирша Даниловъ № 48.

лѣе раннее или болѣе позднее. Упоминаніе о Ливикахъ (ср. въ лѣтописи «литовники»—литовцы), литовскихъ королевичахъ (одинъ изъ нихъ дѣйствительно племянникъ «короля» Миндовга), съ которыми имѣлъ дѣло былинный Романъ (историческій, брянскій также воевалъ съ Литвой), географическая номенклатура (упоминаніе о Березинѣ, городъ Романа «Серебрянскій», возможно искаженіе изъ «Дебрянска», т.-е. Брянска) заставляютъ (вмѣстѣ съ А. В. Марковымъ) склоняться на сторону Романа брянскаго, и считать пѣсню, связанной съ эпизодомъ борьбы этого князя съ Литвой (вторая половина XIII вѣка). Вторая пѣсня—о похищеніи жены Романа Марьи Юрьевны—также даетъ какіе-то намеки на отношенія къ Литвѣ (Ягайло—похититель ея, хотя носитъ онъ отчество «Мануйловъ»: можетъ быть, намекъ на византійскія сношенія, что̀ скорѣе указываетъ на Волынь).

Третья пѣсня—о томъ, какъ Романъ убилъ жену—повидимому, и не должна входить въ кругъ пѣсенъ о Романѣ: та же самая пѣсня извѣстна намъ (да еще въ лучшихъ по сохранности текстахъ) безъ имени Романа (здѣсь находимъ: то «казака», то «молодого майора», то просто «добраго молодца»), т.-е., это безымянная пѣсня, получившая въ отдѣльныхъ варіантахъ имя популярнаго героя (ср. пѣсни объ Алешѣ и Аленушкѣ).

Пѣсни о Романѣ (гдѣ это имя на своемъ мѣстѣ), подобно предыдущимъ, даютъ образецъ мѣстной былины, не втянувшейся въ общій циклъ, сохранились (несмотря на измѣненія) независимо рядомъ съ кіевской былиной.

Такимъ образомъ, для юга Руси мы можемъ предполагать, кромѣ Кіева, болѣе слабые центры пѣсенъ—Черниговскую область, Галичъ съ Волынью, Брянскую область и др., т.-е., получаемъ картину развитія былевой пѣсни на почвѣ мѣстнаго преданія. Среди этихъ пѣсенъ мы видимъ былины и боевого характера и новеллу, но боевая былина преобладаетъ: это—сообразно съ общимъ характеромъ кіевскаго времени, гдѣ боевые интересы—борьбы и самозащиты—играли преобладающую роль въ жизни населенія, начиная сверху и кончая низами общества.

Другимъ, крупнымъ, и притомъ оказавшимся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ жизни, былъ, мы знаемъ, въ древнемъ періодѣ нашей исторіи Новгородъ: и онъ, съ его областью сталъ мѣстомъ созданія былины, достигшей здѣсь значительнаго развитія. Сообразно съ характеромъ жизни этого края въ былинѣ, здѣсь культивировавшейся, если не отсутствовалъ боевой интересъ, всеже преобладалъ колоритъ жизни большого торговаго города, отливавшійся въ былину-новеллу. Пересмотромъ нѣсколькихъ новгородскихъ былинъ, присоединивъ сюда и

такія, которыя могли зародиться и въ Москвѣ, закончимъ нашъ обзоръ былины.

XIV. Садко [1]). Довольно характерной для исторіи сложенія былины представляется былина о Садкѣ новгородскомъ. Различаясь, иногда довольно замѣтно, въ деталяхъ записи этой былины даютъ возможность усмотрѣть болѣе или менѣе отчетливо основу былины, и тѣмъ самымъ предположительно представить себѣ ту основную пѣсню, отъ которой идутъ современныя намъ записи. Наиболѣе полный и въ то же время стройный текстъ даетъ запись Гильфердинга. Схема былины по этому разсказу такова въ общихъ чертахъ. Живетъ въ Новгородѣ бѣдный, но талантливый гусляръ Садко, который зарабатываетъ деньги тѣмъ, что играетъ на гусляхъ на пирахъ у богатыхъ купцовъ новгородскихъ. Наступила для Садка плохая пора: не зовутъ его играть на пирахъ, онъ въ грустномъ настроеніи. Садко, поэтъ въ душѣ, ищетъ утѣшенія себѣ въ своемъ искусствѣ: онъ отправляется на берегъ Волхова и тамъ начинаетъ играть на своихъ гусляхъ. Во время игры, онъ замѣтилъ, что рѣка вздулась, вода замутилась пескомъ и стала плескать на берегъ. Это его поразило, но онъ не сталъ смотрѣть дольше и пошелъ домой. На второй день повторяется то же самое; но на третій разъ послѣ игры Садка появляется изъ воды самъ водяной царь и благодаритъ Садка за его игру, доставившую ему удовольствіе. Въ благодарность за это удовольствіе, водяной царь желаетъ выручить его изъ бѣды: онъ ему говоритъ, что его скоро позовутъ на пиръ купцы играть, и предлагаетъ ему побиться о закладъ о свою буйную голову съ богатыми гостями новгородскими о томъ, что въ Волховѣ водится рыба—золотое перо. Конечно, Садко слѣдуетъ этому совѣту и, дѣйствительно, только что онъ вернулся домой, его приглашаютъ на пиръ играть, увеселять гостей. Онъ тамъ подымаетъ разговоръ о золотой рыбѣ въ р. Волховѣ. Подпившіе гости говорятъ ему, что это неправда; онъ утверждаетъ противное, и кончается тѣмъ, что они бьются о закладъ: Садко ставитъ свою жизнь, буйную голову, а новгородскіе купцы—шесть лавокъ, полныхъ товаромъ. Идутъ на берегъ, закидываютъ неводъ, и, дѣйствительно, попадается рыба—золотое перо. Это повторяется до трехъ разъ. Тогда Садко сразу разбогатѣлъ, онъ сталъ владѣльцемъ лавокъ, полныхъ товаромъ. Расторговался Садко, выстроилъ палату бѣлокаменную, женился и зажилъ припѣваючи. Войдя въ число богатѣевъ, купцовъ новгородскихъ, Садко зазнался и на пиру бьется о закладъ, что онъ богаче самого Великаго Новгорода; начинается опять пари, и онъ ставитъ условіемъ 30 бо-

[1]) Текстъ: Гильфердингъ, I, № 70.

чекъ золота, а купцы новгородскіе предлагаютъ ему выкупить всѣ товары, привезенные въ Новгородъ. Садко въ первый день посылаетъ своихъ приказчиковъ, и они скупаютъ весь товаръ, на второй день то же самое, на третій день одолѣлъ Великій Новгородъ. Онъ уплачиваетъ проигранное золото. Съ тѣмъ, чтобы поправить свои дѣла, онъ снаряжаетъ 30 кораблей и ѣдетъ въ заморскіе края, ѣдетъ по рѣкѣ Волхову, оттуда въ Варяжское (Балтійское) море и, добавляетъ одинъ изъ варіантовъ былины, оттуда отправляется въ Золотую Орду [1]. Счастливо поторговавши, Садко возвращается обогащенный назадъ. Его корабли полны золотомъ и серебромъ, но тутъ-то и случается несчастье: на морѣ начинается штиль (безвѣтріе), корабли не могутъ двинуться съ мѣста. Причину этого корабельщики видятъ въ томъ, что забыли при отплытіи уплатить дань морскому царю. Тогда бросаютъ бочку съ серебромъ, затѣмъ съ золотомъ и жемчугомъ, а корабли все не двигаются. Видно, думаетъ Садко, этого недостаточно: морской царь требуетъ жертвы человѣческой. Начинаютъ метать жребій, и онъ выпадаетъ три раза на Садка. Тогда берутъ дубовую доску, опускаютъ въ ютъ въ море, и на эту доску садится Садко съ своими гуслями. Тотчасъ появляется благопріятный вѣтеръ, корабли трогаются и скрываются изъ глазъ. Садко остается на морѣ и, утомленный, засыпаетъ. Просыпается онъ на днѣ моря въ палатахъ морского царя. Морской царь объясняетъ ему, что онъ вытребовалъ его къ себѣ за тѣмъ, чтобы тотъ потѣшалъ его своей музыкой, такъ ему когда-то понравившейся. Садко начинаетъ играть, морской царь развеселился и начинаетъ плясать. Эта пляска отзывается на поверхности моря: происходитъ буря, корабли разбиваются въ щепки. Въ одинъ изъ дней является ему во снѣ св. Николай (называетъ его былина: Николой Можайскимъ), который ему говоритъ, какое несчастье эта прихоть морского царя приноситъ людямъ, и совѣтуетъ прекратить игру, оборвавши струны на гусляхъ и сломавши колышки (на которыя натягиваются эти струны). Дѣйствительно, Садко начинаетъ играть, у него какъ бы нечаянно обрываются струны, и больше играть нельзя. Морской царь обманутъ. Онъ въ благодарность за игру предлагаетъ ему жениться на одной изъ своихъ дочерей. Тотъ же Никола является во снѣ и совѣтуетъ выбрать въ жены самую некрасивую дѣвушку, Чернавку, что̀ Садко и дѣлаетъ. Садко засыпаетъ и просыпается уже на берегу Волхова, при впаденіи въ него рѣчки Чернявы. Садко понялъ, что его спасъ изъ морской глубины св. Никола, и строитъ бѣлокаменную церковь въ

[1] Географія былинъ, какъ извѣстно, на точность не претендуетъ; географич. именамъ значенія точнаго иногда не придается.

честь Николая Чудотворца. Въ то же время прибываютъ полные всякими богатствами его корабли· тѣ самые, съ которыхъ онъ былъ брошенъ въ море, и Садко зажилъ опять, какъ богатый гость, переталъ хвастаться и больше уже не хвалился передъ Великимъ Новымъ-городомъ.

Вотъ содержанiе былины. Присматриваясь ближе къ этому разсказу, мы, прежде всего, видимъ, что вокругъ основного сюжета былины—спасенiе человѣка при помощи святого изъ воды отъ власти морского царя—наросъ цѣлый рядъ чисто-бытовыхъ подробностей. Во-первыхъ, передъ нами гусляръ, типъ довольно распространенный; это историческiй гусляръ, котораго знаетъ старая Русь, котораго имѣетъ въ виду письменность въ свидѣтельствахъ, приведенныхъ выше; этотъ профессiональный пѣвецъ Садко, однако, не скоморохъ; поэтому въ разсказанномъ эпизодѣ о спасенiи Садка Николаемъ Чудотворцемъ нельзя видѣть указанiя на скоморошье происхожденiе былины (какъ это мы могли предполагать иногда для былинъ съ инымъ содержанiемъ). Типъ пѣвца, пѣнiе котораго чудесно дѣйствуетъ на окружающихъ и окружающую природу, намъ хорошо извѣстенъ: припомнимъ хотя бы знаменитаго классическаго Орфея. Несомнѣнно, что это—одинъ изъ ходячихъ, сказочныхъ сюжетовъ, которые широко распространены въ мiровой литературѣ. Затѣмъ, несомнѣнно, какъ показало изслѣдованiе В. Ѳ. Миллера, можно найти и ближайшiй прототипъ Садка, гусляра-музыканта, именно—въ «Калевалѣ» [1]). В. Ѳ-чъ, правда, съ большой осторожностью указываетъ па возможность влiянiя сосѣдняго эпоса финскаго. Въ финскомъ эпосѣ есть, дѣйствительно, нѣчто подобное нашему Садку: этотъ гусляръ оказывается приблизительно въ тѣхъ же отношенiяхъ къ морскому царю, какъ то мы видимъ въ былинѣ о Садкѣ: это—знаменитый герой финскаго эпоса, Вейнемейненъ, пѣвецъ и игрокъ на кантеле (гусли); морскому царю былины соотвѣтствуетъ морской же царь этого эпоса Ахто. Затѣмъ, можемъ выдѣлить другое наслоенiе на фабулѣ, чисто-мѣстное: вся фабула былины прiурочивается къ Великому Новгороду: жизнь новгородская описывается очень реальными чертами, мѣстная номенклатура выдержана замѣчательно точно, что̀ показываетъ, что самое преданiе, легшее въ основу былины о Садкѣ, спасенномъ изъ морской глубины, если не возникло, то, во всякомъ случаѣ, прочно было прикрѣплено къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ находится Новгородъ. Дѣйствительно, Новгородъ съ его знатными, богатыми, порой заносчивыми, но всегда чувствующими свою силу куп-

---

[1]) См. „Калевалу", финскiй народный эпосъ, переводъ Л. П. Бѣльскаго, изд. 2 (М. 1915), руна 41.

цами, какимъ является впослѣдствіи самъ Садко, явленіе историческое, бытовое. Если припомнимъ отношенія Новгорода къ Москвѣ, когда въ XV—XVI в. онъ ведетъ борьбу съ нею не на жизнь, а на смерть, то убѣдимся, что типъ новгородца рѣзко отличается отъ типа москвича, и въ былинѣ онъ выдержанъ исторически-правдиво: это—человѣкъ, не обладающій никакими военными добродѣтелями, но гордый, знающій цѣну богатства и при помощи этого богатства защищающій свои интересы, свою политическую независимость. Новгородъ является, прежде всего, какъ извѣстно, крупнымъ пунктомъ иноземной торговли. Самый характеръ поѣздки Садка, путь, по которому онъ ѣдетъ,—путь, несомнѣнно, историческій, традиціонный. Черезъ Новгородъ шелъ великій путь «изъ Варягъ въ Греки»: изъ Новгорода по озеру Ильменю, въ р. Волховъ, оттуда въ Варяжское (Балтійское) море черезъ Финскій заливъ. Вплоть до XV в. Новгородъ является главной факторіей торговой Руси для западной Европы, и торговля идетъ главнымъ образомъ этимъ путемъ. Въ XVI в., съ разореніемъ Новгорода, съ паденіемъ его торговаго значенія, когда Москва окончательно покорила его, торговый путь идетъ уже мимо Новгорода: онъ направляется уже сухимъ путемъ на западъ къ Рижскому заливу, выходитъ южнѣе Рижскаго залива на Балтійское море. Никогда этотъ второй путь «Рижскій», не достигалъ такого значенія, какое имѣлъ въ свое время путь черезъ Новгородъ. Несомнѣнно, что вся обстановка былины взята прямо реальная изъ эпохи, когда Великій Новгородъ, дѣйствительно, былъ еще такимъ виднымъ представителемъ сношеній съ западной Европой. Если Садко оттуда ѣдетъ въ Золотую Орду, которая, какъ извѣстно, находится на югѣ, по нижнему теченію Волги, на Каспійскомъ морѣ, то это понятно: мы упоминали о непритязательности былинной географіи. Золотая Орда, какъ извѣстно, играетъ видную роль въ былинахъ боевыхъ, напримѣръ, въ былинѣ объ Ильѣ и Калинѣ царѣ, объ Идолищѣ поганомъ, и другихъ. «Золотая невѣрная Орда» есть отраженіе другой области фактовъ, органически не связанной съ основной былиной о Садкѣ; здѣсь, ясно, эта подробность запосная изъ другихъ былинъ, считаться нарушающей точность отраженія быта новгородскаго не можетъ, не принадлежа основной былинѣ. Самое имя Садка есть переиначенное библейское имя Садокъ. Имена, заимствованныя изъ ветхаго завѣта, какъ замѣчено изслѣдователями, встрѣчаются въ сѣверной Руси часто, можетъ быть, чаще, въ Новгородской области, нежели въ центральныхъ: Илья, Моисей, Аврамъ—имена видныхъ дѣятелей новгородскихъ (владыкъ, напр.). Къ числу ихъ принадлежитъ и имя Садко (Сътько, по старинному начертанію). Дѣйствительно, мы знаемъ историческаго Садка: это—богатый купецъ; съ его именемъ подъ 1167 г. въ Новгородской лѣтописи связано

построеніе перваго въ Новгородѣ каменнаго храма въ честь Бориса и Глѣба [1]). Эта замѣтка, естественно, наводитъ на мысль о томъ, что былинный Садко, который точно такъ же строитъ храмъ (по пересказу Кирши Данилова) «бѣлокаменный», получилъ свое имя отъ историческаго Садка; во всякомъ случаѣ, можно привести въ связь имя былиннаго Садка съ Садкомъ историческимъ, о которомъ, какъ храмоздателѣ, могла сохраниться память. Такимъ образомъ, цѣлый рядъ мелкихъ чертъ былины, не говоря про бытовыя особенности (хвастовство, пиры, торговля), можетъ быть пріуроченъ къ историческому Новгороду; самое дѣйствіе былины также локализировано этой мѣстностью. Это даетъ намъ возможность счесть и самую былину новгородской и попытаться ближе подойти къ источникамъ ея.

Фабулой, центромъ разсказа, нашей былины является, какъ мы видѣли, интересный случай о томъ, какъ человѣкъ, въ море спущенный на доскѣ, былъ спасенъ святымъ, въ ознаменованіе чего построилъ храмъ въ честь этого святого. Такимъ святымъ въ былинѣ является Никола (по варіантамъ, Можайскій). Появленіе именно Николая Чудотворца въ качествѣ спасителя Садка изъ моря объясняется безъ труда. Николай Чудотворецъ, какъ одинъ изъ популярныхъ святыхъ, сыгралъ видную роль въ народномъ міросозерцаніи. Припомнимъ, что въ народномъ міросозерцаніи Николай, какъ великій чудотворецъ, въ частности, въ легендѣ занимаетъ второе мѣсто въ числѣ великихъ печальниковъ о русскомъ человѣкѣ послѣ самого Бога [2]). Что въ былинѣ явился Никола Чудотворецъ, а ни какой-либо иной святой, это представляется тѣмъ болѣе возможнымъ, что въ числѣ чудесъ Николая извѣстны чудеса спасенія на водѣ [3]); существуетъ даже икона Николы «Мокраго» (это—та икона, которая была привезена, по преданію, кн. Владиміромъ послѣ крещенія изъ Корсуни, гдѣ Николай, кажется, былъ патрономъ приморскаго города). Почему въ былинѣ Никола именуется Можайскимъ, также понятно: икона Николая въ городѣ Можайскѣ—одно изъ популярнѣйшихъ изображеній Николая Чудотворца на Руси. Кромѣ того, въ старинной житійной литературѣ есть разсказъ, могущій нѣсколько разъяснить былину со стороны фабулы ея. Такой разсказъ, на первый взглядъ, очень близкій къ былинѣ, извѣ-

---

[1]) Событіе отмѣчено потому, что каменный храмъ въ древней Руси при преобладаніи дерева, какъ строительнаго матеріала, явленіе не частое, стоилъ большихъ расходовъ.

[2]) Культу Николая Чудотворца въ народномъ сказаніи посвящена отдѣльная монографія Е. В. Аничкова „Микола-угодникъ и св. Николай“ (Записки Нео-филолог. Общ. II, 2, Спб. 1892), особенно см. стр. 32 и сл.

[3]) А они вмѣстѣ съ житіемъ его уже съ XI в. извѣстны въ русской письменности.

стенъ намъ изъ книжныхъ источниковъ, именно въ числѣ чудесъ русскаго святого—Исидора Твердислова, юродиваго ростовскаго (Ростова Великаго, сѣвернаго). Исидоръ Твердисловъ—довольно рѣдкій среди русскихъ святой по своему происхожденію: онъ, по житію, человѣкъ первоначально не «русской» вѣры и происхожденія, а латинянинъ, т.-е. католикъ, выходецъ изъ западной Европы. Какими-то судьбами онъ былъ занесенъ (въ XV в.) въ отдаленный Ростовъ, тамъ онъ принялъ православіе, началъ юродствовать (юродство признавалось одинъ изъ видовъ подвига, и юродиваго считаютъ божьимъ человѣкомъ, одареннымъ даромъ провидѣнія). Въ числѣ чудесъ, имъ совершенныхъ, и есть чудо, которое настолько близко къ основной фабулѣ былины о Садкѣ, что невольно является мысль о томъ, не есть ли это въ сущности одна и та же легенда, которая одинъ разъ разработана въ житіи святого и стала чудомъ, а другой разъ разработана былиннымъ слагателемъ и стала эпизодомъ изъ былины? Такъ какъ этотъ текстъ довольно короткій, то я его приведу цѣликомъ по выпискѣ, сдѣланной А. Н. Веселовскимъ [1]).

«Сотворися чудо дивно и незабвенія достойно: купци нѣціи по морю съ куплею своею въ кораблѣ плаваніе творяхуть, и внезапу на нѣкоемъ мѣстѣ корабль ста и не можаше двигнутися оттуда и разбивающеся волнами; вси же въ немъ бывшіе отчаяшася живота своего и ожидаху смерти; даже умыслиша метнути жребій, кого ради корабль ста и волнами разбиваемъ есть [2]). И паде жребій на единаго отъ нихъ купца изъ града Ростова, идѣже святы Исидоръ жительствова. Посадиша убо купца на доску и пустиша въ море. И двинуся скоро корабль отъ оного мѣста, а человѣкъ той, на доскѣ волнами носимый, уже во вратѣхъ смертныхъ бѣ, ни отъ кого чающи помощи; и се внезапу предста ему угодникъ Божій Исидоръ, по морю, яко по суху, ходяй, и глагола ему: знаеши ли мя, человѣче? Купецъ же едва проглаголати возмогъ, рече: О рабе Божій Исидоре, въ нашемъ градѣ жительствуяй, не остави мене, въ мори семъ погружаема, но помози мнѣ, окаянному, и избави мя отъ горькія смерти. Святый же взя его за руку и на доскѣ оной посади; и бяще ему доска, аки ладія, вверху воды непогрязновенно плавающая. Святый же, управляя ю, погналъ скоро вслѣдъ корабля и достигъ того, всади въ корабль человѣка цѣла, здрава и ничимъ не врежденна. Запрети ему глаголя: никому же повѣдай о мнѣ, но сказуй, яко божественная сила избави тя отъ глубины морскія».

---

1) Изъ рукоп. XVII в. гр. Уварова, № 164; см. статью А. Н. Веселовскаго, спеціально посвященную нашей былинѣ: „Былины о Садкѣ"—Ж. М. Н. П., 1886, ноябрь, стр. 251—284.

2) Ср. библейскій разсказъ объ Іонѣ пророкѣ.

Этотъ отрывокъ, несомнѣнно, чрезвычайно близокъ къ нашей былинѣ: какъ разъ налицо будто тѣ же элементы, которые мы видимъ въ былинѣ въ соотвѣтствующемъ ея эпизодѣ: видимъ и остановку корабля, и метаніе жребія, и спусканіе на доскѣ, наконецъ, спасеніе человѣка. Отсюда было бы легко заключить, что былина есть ни что иное, какъ только пересказъ, перелицовка, примѣнительно къ былинному стилю и народному воззрѣнію, сказанія о чудѣ Исидора Твердислова: легенда о немъ, извѣстная, вѣроятно, не только въ одномъ Ростовѣ, могла послужить темой для слагателя былины, которымъ этотъ сюжетъ и переработанъ съ пріуроченіемъ къ Новгороду и личности Садка, человѣка въ Новгородѣ, какъ мы видѣли, памятнаго, богатаго купца, строителя церкви Бориса и Глѣба. Если бы это можно было доказать, то вопросъ о происхожденіи былины рѣшался бы чрезвычайно просто: мы имѣли бы тогда, одинъ изъ самыхъ ясныхъ, отчетливыхъ случаевъ, показывающихъ, какимъ образомъ становится былина, произведеніе устно-народное, въ зависимость отъ опредѣленнаго книжнаго памятника. Тогда мы бы получили и другой выводъ—хронологію созданія былины: если бы былина въ самомъ дѣлѣ создалась на основаніи прочитаннаго эпизода изъ житія Исидора Твердислова, то, разумѣется, она раньше, чѣмъ возникло сказаніе объ Исидорѣ Твердисловѣ, создаться не могла бы; а Исидоръ Твердисловъ относится, по времени его житія, къ первой половинѣ двадцатыхъ годовъ 15 столѣтія; поэтому былина о Садкѣ создалась не ранѣе половины 15 в., а быть можетъ и позднѣе. Но такого рода простой выводъ будетъ нѣсколько поспѣшенъ. Присматриваясь къ этой легендѣ, мы видимъ, что здѣсь не хватаетъ того, что̀ играетъ существенную роль въ былинной фабулѣ, связано съ ней органически, именно: морского царя, мотивировки для остановки корабля, также нѣтъ разговора о построеніи церкви. Если бы наша легенда кончалась тѣмъ, что вернувшись въ Ростовъ, купецъ, спасенный Исидоромъ, построилъ храмъ въ честь Исидора или что-нибудь въ этомъ родѣ, тогда еще такое предположеніе было бы возможно. Если же изъ былины откинуть морского царя и финалъ былины—построеніе храма въ честь Николы, спасителя изъ воды—тогда самая цѣльность былины будетъ нарушена. Поэтому, несмотря на видимое совпаденіе частей сюжетовъ, житійнаго и былиннаго, мы все-таки не можемъ увѣренно сказать, что былина зародилась, именно, изъ легенды объ Исидорѣ Твердисловѣ. Тутъ возникаетъ еще одинъ вопросъ, который (какъ это бываетъ всегда въ области легенды) вполнѣ естественъ, и который разрѣшить довольно трудно: сама-то легенда объ Исидорѣ Твердисловѣ насколько оригинальна? Поставить такой вопросъ насъ заставляетъ то обстоятельство, что такихъ легендъ о спасеніи на водѣ свя-

тыми, мы знаемъ цѣлый рядъ: мы знаемъ нѣсколько такихъ легендъ о св. Николаѣ, такія же чудеса приписываются и другимъ святымъ. Одно то, что мѣстная легенда объ Исидорѣ Твердисловѣ ростовскомъ говоритъ о морскомъ путешествіи ростовскаго купца [1]), эта географія легенды заставляетъ насъ съ подозрительностью относиться къ автентичности легенды объ Исидорѣ, т.-е., приходится предположить, что самый разсказъ о чудѣ Исидора Твердислова не связанъ органически съ мѣстностью ростовской, а что эта легенда къ имени Исидора также примкнула, какъ она прицѣпилась къ имени Садка въ нашей былинѣ, т.-е., что самая исидоровская легенда есть такая же устно-народная, не закрѣпленная съ самаго ея возникновенія письменностью, странствующая, ходячая, которая одинъ разъ была прикрѣплена къ былинѣ, а другой разъ къ имени мѣстнаго ростовскаго святого, тѣмъ болѣе, что онъ выходецъ изъ латинской земли, а «латинская» земля всегда находится, по народному представленію, за моремъ: термины «заморскій» и «иноземный» близки одинъ къ другому въ пониманіи народной массы. Все это заставляетъ предполагать, что легенда объ Исидорѣ не объясняетъ вполнѣ исторіи былины, а лишь указываетъ на возможность общаго источника житія и былины въ сказаніи о святомъ, спасителѣ на водахъ, при чемъ въ этомъ сказаніи (судя по былинѣ) былъ въ заключеніи эпизодъ о построеніи храма въ памятъ избавленія отъ моря; поэтому приходится искать другихъ объясненій для созданія нашей былины, если мы пожелаемъ выяснить тѣ детали фабулы, которыя не получаютъ освѣщенія изъ легенды въ томъ ея видѣ, какъ она передана въ чудѣ Исидора, несмотря на то, что легенда объ Исидорѣ Твердисловѣ цѣнна для насъ, такъ какъ указываетъ на существованіе подобныхъ устныхъ народныхъ легендъ, которыя даютъ отчасти объясненія сказанію о Садкѣ. Обратимъ поэтому вниманіе на другія детали въ ихъ сочетаніи въ былинѣ, детали, которыя, па основаніи варіантовъ, можно считать принадлежностью первоначальной пѣсни.

Передъ морскимъ царемъ находится не просто купецъ Садко богатый, а гусляръ Садко; начало былины и разсказъ о пребываніи Садка у морского царя также показываютъ, что тамъ дѣло сводится къ отношенію морского царя къ гусляру. Это заставляетъ предполагать въ основной былинѣ соединеніе, контаминацію даже трехъ фабулъ: съ одной стороны, споръ о богатствѣ Новгорода и спасеніе погибающаго въ морѣ, а съ

---

[1]) Ростовъ, какъ извѣстно, стоитъ при озерѣ того же имени (мелкомъ, не судоходномъ), своей заграничной (морской) торговлей никогда не славился; путешествіе же Садка по морю—обычное явленіе въ жизни Новгорода, члена Ганзы въ XIII—XIV в.

другой стороны, какое-то сказаніе объ игрецѣ, пѣвцѣ, музыкантѣ и отношеніяхъ его къ какому-то морскому царю. Морской царь былины приводитъ къ вопросу: откуда онъ взялся въ былинѣ? Скорѣе всего, казалось бы связать этого морского царя съ образомъ «водяного», хорошо извѣстнымъ нашей устной словесности и народнымъ представленіямъ.

Въ народныхъ вѣрованіяхъ (еще отражающихъ въ себѣ весьма старыя анимистическія представленія) давно уже существовало представленіе о какомъ-то «водяномъ», существѣ, завѣдующимъ водами; народная поэзія даже даетъ опредѣленный внѣшній обликъ этого «водяника», «водяного дѣдушки», рисуя его старикомъ съ травянистой, зеленой иногда бородой. Но этотъ водяной, какъ онъ рисуется въ народномъ представленіи, кромѣ того, что онъ завѣдуетъ водами, ничего общаго не имѣетъ по типу съ тѣмъ морскимъ царемъ, о которомъ говорится въ былинѣ. Водяной нашъ является существомъ злымъ, существомъ неказистымъ, часто чудовищнымъ, грубымъ, примитивнымъ; морской же царь въ былинѣ, это—существо въ значительной степени развитое, благодушное, онъ цѣнитъ пѣніе, умѣетъ имъ восторгаться, готовъ помочь пѣвцу выбраться изъ труднаго положенія, именно, за то, что онъ доставилъ ему такое эстетическое удовольствіе. Этотъ морской царь, когда къ нему попадаетъ Садко, смотритъ на него, какъ на придворнаго гусляра, и искренно увлекается его игрой, не соображаетъ, развѣ, того, что людямъ приходится отъ этого плохо. Въ награду онъ предлагаетъ ему жениться на одной изъ своихъ дочерей. Это не то неопредѣленное представленіе о «водяномъ», который ловитъ къ себѣ, топитъ неосторожнаго пловца изъ желанія удовлетворить своему злому нраву, старый, косматый старикъ, который пугаетъ, появляясь изъ воды, рыболововъ, покушающихся лишать его подданныхъ—рыбъ, и т. п. Если и есть сходство между морскимъ царемъ и водянымъ, то только чисто-внѣшнее [1]). Такимъ образомъ, при помощи нашего «водяного», мы не сумѣемъ подойти къ объясненію типа морского царя въ былинѣ о Садкѣ.

Въ поискахъ за болѣе удовлетворительнымъ объясненіемъ типа, В. Ѳ. Миллеръ наталкнулся на финскія сказанія о водяномъ богѣ Ахто и знаменитомъ пѣвцѣ-гуслярѣ, музыкантѣ Вейнемейненѣ въ «Калевалѣ». Въ финнскомъ эпосѣ Вейнемейненъ играетъ очень видную роль: онъ главный защитникъ и устроитель родной земли—Калевы,

---

[1]) Подробности представленія о водяномъ см. у Аѳанасьева „Поэтич. воззрѣнія славянъ на природу“ по указателю („водовикъ“, „морской царь“); онъ сближается тамъ съ темной силой, чертями и т. п.

добывающій сокровище Сампо (какая-то чудесная мельница, отъ которой зависитъ благополучіе страны), борецъ противъ темной силы, вѣдьмы Лоухи, похитившей это сокровище. Разсказъ объ этой борьбѣ за Сампо составляетъ основное ядро финнскаго эпоса [1]). Въ числѣ приключеній Вейнемейнена мы и видимъ, что онъ встрѣчается съ водянымъ богомъ Ахто, владыкой моря и рыбъ, который такъ же, какъ морской царь былины, загоняетъ рыбу въ сѣти Вейнемейнена, такъ же большой любитель музыки. Въ награду за игру богъ Ахто переходитъ со стороны вѣдьмы Лоухи на сторону Вейнемейнена и помогаетъ ему добыть чудесное сокровище, отъ котораго зависитъ благосостояніе Калевы. Между финнской легендой и разсказомъ русской легенды В. Ѳ. Миллеръ усматриваетъ нѣкотораго рода точки соприкосновенія. Мы имѣемъ передъ собою водяного царя, любителя игры на гусляхъ, видимъ передъ собой Вейнемейнена, такого же искуснаго игреца, какъ Садко, и результатъ такой же: своей игрой, какъ Садко, и Вейнемейненъ достигаетъ благопріятныхъ результатовъ. Конечно, эта аналогія по содержанію вполнѣ возможна; но она требуетъ для того, чтобы превратиться въ нашемъ сознаніи въ дѣйствительную связь этихъ двухъ эпизодовъ русскаго и финнскаго эпосовъ, еще обоснованія, доказательства возможности взаимной связи между самими эпосами, иначе: нужно найти такія условія въ жизни двухъ народовъ, которыя дѣлаютъ эту связь допустимой. Эти условія В. Ѳ. Миллеръ и старается найти. Они таковы: онъ указываетъ, что такая связь между финнскимъ и русскимъ эпосомъ можетъ быть прослѣжена и въ другихъ случаяхъ; финнскій эпосъ отчасти отражается на русскомъ эпосѣ, давая ему матеріалъ для отдѣльныхъ эпизодовъ, въ томъ числѣ и въ былинѣ; а это было возможно въ виду давняго географическаго сосѣдства племени русскихъ и финновъ. Въ числѣ такихъ эпизодовъ, которые могли войти изъ финнскаго эпоса въ русскій, съ большой вѣроятностью В. Ѳ. Миллеръ указываетъ на былину о Колыванѣ, которая по самому имени богатыря указываетъ на заимствованіе изъ финнскаго: имя Колыванъ восходитъ къ финнскому имени «Калева», т.-е., названію самой страны, заселявшейся финнами [2]). Перенесеніе имени въ русскій эпосъ и указываетъ на возможность вліянія финнскихъ сказаній даже въ такихъ былинахъ, какъ былина о Святогорѣ: былина о Святогорѣ тѣсно перекрещивается съ былиной о Колыванѣ, указываетъ на «свя-

---

[1]) Эпосъ этотъ, если и дошелъ до насъ въ позднѣйшей обработкѣ (главн. обр. ученаго Леирота), въ основѣ своей считается очень древнимъ, архаичнымъ по возрѣніямъ.

[2]) Это имя богатыря можно сопоставить съ старымъ названіемъ города Ревеля— Колывань, встрѣчающимся въ историческихъ документахъ.

тыя горы», но не Аѳонъ, на тѣ «Святыя горы», которыя находятся около Пскова [1]). Миллеръ указываетъ на точки соприкосновенія и въ деталяхъ между русскимъ эпосомъ и финнскимъ также въ другихъ случаяхъ. Въ виду этого дѣлаются вѣроятными точки соприкосновенія и по отношенію къ былинѣ о Садкѣ. Это сопоставленіе находитъ себѣ подтвержденіе отчасти въ исторической номенклатурѣ сѣверной окраины русскаго племени: многія названія мѣстностей, занятыхъ теперь русскимъ населеніемъ, носятъ названія финнскія; это объясняется тѣмъ, что финны, которые еще не въ столь отдаленное отъ нас время простирались гораздо дальше на востокъ и югъ отъ своей теперешней территоріи, постепенно были оттѣснены русскими на западъ и на сѣверъ, слѣдомъ чего и остались финскія названія мѣстностей, рѣкъ русской теперь территоріи; такого рода смѣшанную номенклатуру представляютъ теперь мѣстности не только около Пскова, но и во всей центральной полосѣ и на сѣверѣ русскаго племени. Наконецъ, здѣсь же въ окрестностяхъ Пскова, на берегу Великой, до сихъ поръ встрѣчаются остатки финнскаго населенія. Эти исчезнувшіе и исчезающіе до сихъ поръ финны этихъ мѣстностей, жившіе одновременно здѣсь съ русскими колонистами, и могли передать имъ въ области народныхъ сказаній отдѣльные элементы своего эпоса, какъ они оставили свой слѣдъ, кромѣ того, и въ языкѣ здѣшняго русскаго населенія (главнымъ образомъ въ словарѣ, названіяхъ бытовыхъ предметовъ). Въ результатѣ, наличность связи между русскимъ и финнскимъ эпосомъ [2]) даетъ В. Ѳ. Миллеру возможность объяснить интересующую насъ деталь въ былинѣ о Садкѣ такимъ образомъ: легенда о морскомъ царѣ и Садкѣ есть ничто иное, какъ та легенда (конечно, въ русской переработкѣ и приспособленная къ мѣстнымъ условіямъ), которую мы знаемъ въ болѣе древней обработкѣ въ финнскомъ эпосѣ объ Ахто и Вейнемейненѣ. Этимъ можно объяснить сходство, какъ въ положеніи Садка, такъ и въ обстановкѣ, даваемыхъ былиной и финнскимъ эпосомъ. Стало быть, дѣло можно представить такъ: къ сказанію о русскомъ разбогатѣвшемъ гуслярѣ (типъ бытовой), получившемъ изъ отзвуковъ преданія о храмоздателѣ Садкѣ свое имя и деталь о построеніи храма, присоединилось финнское сказаніе объ замѣчательномъ музыкантѣ, почему въ сказаніи о Садкѣ оказался эпизодъ съ морскимъ царемъ, идущій, такимъ образомъ, изъ финнской же легенды. Наконецъ, пришлымъ же элементомъ въ фабулѣ о былинномъ Садкѣ придется признать и

---

[1]) Это извѣстный теперь Святогорскій монастырь, мѣсто могилы А. С. Пушкина.

[2]) Эта мысль В. Ѳ. Миллера нашла себѣ подтвержденіе и въ другой работѣ по русскимъ былинамъ; см. С. К. Шамбинаго, Старины о Святогорѣ и поэма о Калеви—поэгѣ (Ж. М. Н. П., 1902, I).

подробности о Николѣ чудотворцѣ, какъ святомъ, спеціально извѣстномъ въ качествѣ спасителя на водахъ; деталь же о томъ, какъ онъ обманулъ морского царя, могла быть даже домысломъ, творчествомъ слагателя былины. Эпизодъ о женитьбѣ Садка на морской царевнѣ въ объясненіи не нуждается: это распространенный сказочный мотивъ.

Въ одной изъ старыхъ записей былины, не позднѣе XVIII в. (находится въ сборникѣ Кирши Данилова, который, какъ извѣстно, составленъ не позднѣе 60-хъ гг. XVIII в.), былина о Садкѣ представляетъ сравнительно съ принятымъ нами за основу текстомъ рядъ такихъ разночтеній, которыя показываютъ, что былина о Садкѣ въ былое время представляла нѣсколько иную композицію, и эпизодъ съ морскимъ царемъ не всегда былъ присущъ былинѣ: въ этомъ варіантѣ Садко, прежде всего, не новгородецъ и не пѣвецъ-гусляръ, а купецъ пришлый. Такое превращеніе его въ новгородца и гусляра (чему примѣры мы знаемъ и по другимъ былинамъ, локанизирующимъ героя) могло быть дѣломъ вліянія мѣстныхъ условій, равно какъ творчества пѣвца-слагателя былины. Это можетъ указывать и на не первичность образа новгородца, гусляра Садка. Въ виду этого понятно, почему Садко въ текстѣ Кирши является не новгородцемъ, а безымяннымъ добрымъ молодцомъ, пришедшимъ съ Волги: онъ приходитъ въ Новгородъ искать себѣ счастья, приходитъ на озеро Ильмень и передаетъ ему поклонъ и привѣтствіе отъ его родной сестры Волги; за это ему выпадаетъ счастье, по вѣроятной концепціи былины. Наличность такого варіанта былины о Садкѣ, каковъ у Кирши, даетъ нѣкоторое право предполагать, что мотивъ о морскомъ царѣ и Садкѣ, встрѣчаемый въ лучшихъ пересказахъ былины, не всегда былъ въ этой былинѣ, хотя очень рано вошелъ въ ея составъ и тѣсно сплелся съ самой личностью Садка — лица историческаго. Такимъ образомъ, въ связи русскаго эпоса съ финскимъ, мы вправѣ видѣть подтвержденіе того, что въ былину типа Кирши могъ привзойти впослѣдствіи эпизодъ о морскомъ царѣ, какъ новая поэтическая подробность разсказа о спасеніи изъ морской глубины, которая могла занять мѣсто, которое въ былинѣ или еще не было занято, или занято было какимъ-нибудь другимъ, менѣе популярнымъ, интереснымъ сюжетомъ. Слѣдовательно, самый сюжетъ основной былины о Садко въ значительной степени съужается: это—разсказъ о купцѣ, который спасся изъ пучины морской отъ потопленія, благодаря чуду; за это онъ строитъ церковь въ честь того святого, который выручилъ его изъ пучины морской. Такимъ образомъ уясняется для насъ процессъ постепеннаго развитія былины о Садкѣ. Въ основѣ ея—общій по характеру, странствующій разсказъ, который

мы видѣли и въ легендѣ объ Исидорѣ Ростовскомъ, который мы, кромѣ того, знаемъ въ эпосѣ другихъ народовъ, напр., во французскомъ средневѣковомъ романѣ (Tristan le Léonois), гдѣ разсказывается о героѣ его Садокѣ (и имя то же, что въ нашей былинѣ), съ которымъ происходитъ нѣчто подобное; въ нѣмецкомъ эпосѣ точно также есть странствующій разсказъ о спасеніи на водахъ, такой же приблизительно, какой легъ въ основу нашей былины, подвергшись цѣлому ряду переработокъ. Если бы мы хотѣли заглянуть въ самый древній видъ этой легенды, мы, можетъ быть, вспомнили бы извѣстную библейскую легенду объ Іонѣ во чревѣ китовѣ. Но это сопоставленіе ничѣмъ не можетъ быть подтверждено, а остается сопоставленіемъ, изъ котораго реальной пользы для объясненія нашей былины извлечь мы не можемъ, такъ какъ непосредственной связи между библейской легендой и ходячимъ сюжетомъ средневѣковья, не говоря уже о связи между ней и былиной, установить не можемъ, да, повидимому, и нѣтъ надобности въ этомъ: основного мотива—спасеніе отъ погибели святымъ, притомъ чудеснымъ образомъ—въ сказаніи объ Іонѣ нѣтъ, а таковымъ представляется основной сюжетъ нашей легенды.

Дальнѣйшая исторія этого сюжета—осложненіе его; осложненіе это выразилось прежде всего въ томъ, что герой пѣсни подъ вліяніемъ чисто реальныхъ условій постепенно получилъ опредѣленное соціальное положеніе: это—богатый купецъ, ѣдущій съ товарами по морю. Это отраженіе морской торговли, въ свою очередь, явилось подъ вліяніемъ, вѣроятнѣе всего, нашей сѣверной новгородской торговли, какъ явленія чисто историческаго. Какой святой былъ первоначально въ былинѣ о Садкѣ, сказать трудно, но, вѣроятнѣе всего, это былъ популярный русскій святой, но не Исидоръ, а, скорѣе всего, святой Николай Чудотворецъ (см. выше). Слѣдующее осложненіе фабулы можно видѣть въ появленіи въ ней имени Садка, опять-таки отзвука личности исторической; эта контаминація въ былинѣ въ видѣ эпизода о построеніи храма въ честь Николы, замѣнившаго, такимъ образомъ, св. Бориса и Глѣба съ историческимъ преданіемъ о Садко, была тѣмъ легче, что оба эти святые князя не могли въ своей популярности (именно, по «водяной части») сравниться съ Николаемъ Чудотворцемъ. Еще, вѣроятно, позднѣе надо признать осложненіе мотива спасенія потопающаго новымъ мотивомъ — участіемъ морского царя, чѣмъ мотивируется остановка корабля и все послѣдующее. Такимъ образомъ, здѣсь новое осмысленіе прежней легенды при помощи другой легенды—разсказа о морскомъ царѣ и гуслярѣ. Эта легенда, очень возможно, какъ старая въ финнскомъ эпосѣ, стала извѣстна въ сосѣднемъ рус-

скомъ. Она, весьма вѣроятно, превратила Садка купца въ гусляра, чѣмъ и вызвала развитіе сюжета, которое мы видимъ въ первой части былины (о Садкѣ-гуслярѣ, Садкѣ бьющемся о закладъ съ Новгородомъ). Такимъ образомъ, послѣдняя обработка опять лежитъ уже въ области бытовой исторіи Новгорода: типичныя черты купеческаго быта, зазнавшагося человѣка, гордящагося своимъ богатствомъ, которыя, постепенно налегали на эту былину,—слѣдъ этой обработки. Такъ, повидимому, создалась наша былина. Что она создалась не случайно, отлилась въ ту сложную форму, какъ ее передаетъ лучшій пересказъ Гильфердинга, видно изъ того, что другими варіантами, которые мы знаемъ у Кирши Данилова, у Рыбникова, указывается на то, что далеко не всѣ элементы записи Гильфердинга встрѣчаются обязательно въ другихъ былинныхъ записяхъ. Особенно настаивать на такой послѣдовательности созданія былины о Садкѣ, конечно, не приходится, въ виду другого общаго наблюденія надъ жизнью былины, которое дѣлаетъ возможнымъ и иное предположеніе, именно: первоначальная былина растериваетъ, переходя изъ вѣка въ вѣкъ, свои подробности, которыя забываются; всеже предпочтительнѣе надо признать первое предположеніе о процессѣ созданія былины о Садкѣ, какъ болѣе мотивированное и обычное для развитія русской былины, представляющей въ теперешнемъ ея видѣ и въ другихъ случаяхъ явленіе сложное, результатъ процесса наростанія подробностей на первоначальную канву.

Если мы попробуемъ подойти къ хронологіи этой былины, опредѣлить, к о г д а могла сложиться подобная былина, то должны, къ сожалѣнію, сказать, что у насъ опредѣленныхъ данныхъ нѣтъ. Если, дѣйствительно, Садко былинный есть тотъ Садко историческій, на котораго указываетъ лѣтопись подъ 1167 г., то, конечно, мы должны сказать, что былину, разумѣется, къ доисторической древности отнести нельзя, и что она сложилась не ранѣе XII вѣка. Съ другой стороны, твердой опоры для такого пріуроченія въ лѣтописномъ извѣстіи мы не получимъ, потому что Садко, какъ мы видѣли изъ анализа былины, привзошелъ въ ранѣе слагавшуюся пѣсню тогда, когда былина, или ея основа, получила мѣстное пріуроченіе. Мы можемъ говорить, что хронологія имени историческаго Садко указываетъ на то, что не ранѣе XII в. произошло осложненіе старой основы былины именемъ Садка и разсказомъ о построеніи церкви имени Николы. Есть у насъ другой путь подойти къ хронологіи, если не самой былины въ ея основѣ, то, по крайней мѣрѣ, къ хронологіи былины въ томъ видѣ, какъ мы ее знаемъ теперь въ цѣломъ рядѣ записей у современныхъ намъ пѣвцовъ: это—бытъ Новгорода.

Присматриваясь ближе къ быту Новгорода [1]), мы должны признать, что въ былинѣ отразился не самый древній бытъ Новгорода, а та эпоха, когда торговля Новгорода достигла особаго напряженія. Эта эпоха совпадаетъ съ жизнью Новгорода въ качествѣ виднаго члена Ганзейскаго союза въ XIII-мъ и до конца XIV в.: это была самая цвѣтущая пора Новгорода. Весьма возможно, что воспоминаніе объ этой блестящей эпохѣ XIII—XIV в. нашло себѣ выраженіе въ описаніи того стараго хорошаго прошлаго быта, черты котораго налегли на былину. Такимъ образомъ, время сложенія былины въ томъ видѣ, какъ мы ее знаемъ, мы должны отнести ко времени не ранѣе конца XIV в., когда обстановка блестящаго времени Новгорода стала уже отходить въ область дорогихъ воспоминаній.

Такимъ образомъ, обобщая разные элементы, которые мы находимъ въ былинѣ о Садкѣ въ теперешнемъ ея видѣ, мы должны сказать, что обработка былины, повидимому, не восходитъ къ очень глубокой древности. Вѣроятнѣе всего, самое старое, что̀ можно указать для нея, это XIV-ый, а, можетъ быть, и XV вѣкъ. Съ другой стороны, тотъ анализъ, который мы произвели, ясно показываетъ, изъ какихъ источниковъ слагалась былина; они оказались чрезвычайно разнообразны: и международныя, и сосѣднія финнскія, и мѣстныя преданія новгородскія историческаго характера. Изъ этого пестраго матеріала въ концѣ-концовъ получилась та стройная былина о Садкѣ, которую мы теперь знаемъ.

XV. Вольга и Микула. Волхъ. Любопытный матеріалъ для уясненія характера и исторіи сложенія нашихъ былинъ, подобно разсмотрѣннымъ до сихъ поръ, находимъ мы также въ былинахъ о Вольгѣ и Микулѣ [2]). Я останавливаюсь на нихъ именно потому, что относительно этого круга былинъ давно уже высказывался цѣлый рядъ различныхъ предположеній, и еще потому, что эти былины по своему составу покажутъ намъ тѣ элементы, изъ которыхъ, если не слагалась, то, во всякомъ случаѣ, могла возникнуть былина и могла отлиться въ концѣ-концовъ въ ту форму, въ какой мы ее теперь знаемъ. Что касается разныхъ представленій объ этомъ кругѣ былинъ, то надо замѣтить, что эти былины давно интересовали изслѣдователей. Еще старые изслѣдователи миѳологической школы обращали вниманіе на былины о Вольгѣ и Микулѣ: они относили ихъ къ устанавливаемому ими

[1]) Для ознакомленія съ бытомъ Новгорода можно рекомендовать изслѣдованія И. Бѣляева, Исторія Новгорода Великаго (М. 1866), А. Никитскаго, Исторія экономич. быта Новгорода (1893), Н. Костомарова, Сѣверныя народоправства, I—II (въ собр. соч.).

[2]) Тексты: Гильфердингъ, II, № 156, 91; Кирша, № 6.

разряду былинъ о богатыряхъ «старшихъ», т.-е. такихъ, которые являются отраженіемъ старшаго слоя нашихъ эпическихъ преданій, содержащихъ въ себѣ религіозныя, миѳологическія представленія. Другіе изслѣдователи относились къ этимъ былинамъ совсѣмъ иначе: они видѣли въ нихъ, наоборотъ, доказательство того, что въ основѣ былиннаго эпоса въ общемъ должны лежать историческія воспоминанія, что Вольга и Микула (по крайней мѣрѣ, первый) — отраженіе опредѣленныхъ историческихъ личностей [1]). Наконецъ, представители направленія въ истолкованіи былинъ болѣе новаго [2]) стараются установить еще иную точку зрѣнія на эти былины, которая, однако, не упраздняетъ «исторической»: они держатся отчасти теоріи заимствованія въ ея простѣйшемъ видѣ, указывая, что въ основѣ былины лежитъ сказочная, странствующая фабула, которая только потомъ получила опредѣленную историческо-бытовую окраску. Подвергся сомнѣнію и вопросъ о мѣстѣ, гдѣ могла возникнуть былина о Вольгѣ и Микулѣ: имѣя въ виду санъ Вольги (онъ—князь, воевода, получаетъ отъ кн. Владимира въ управленіе три города, по которымъ онъ ѣздитъ собирать дань, гдѣ и встрѣчается съ Микулой), указываютъ на то, что эта былина возникла въ южной Руси и представляется эпическимъ наслѣдіемъ кіевскимъ, какъ и другія былины о цѣломъ рядѣ богатырей. Другіе изслѣдователи, наоборотъ, склонны видѣть въ этихъ былинахъ отраженіе другой мѣстности—сѣверной, новгородской, и въ пріуроченіи сюжета былиннаго о Вольгѣ къ Кіеву они усматриваютъ болѣе позднее явленіе, обычное въ исторіи былинъ, притяженія къ Кіеву темъ некіевскихъ. Что касается взгляда старой школы миѳологической, то мѣстное пріуроченіе былинъ для нихъ не играло важной роли; наоборотъ, отсутствіе точнаго пріуроченія былины къ опредѣленной мѣстности миѳологи разсматривали, по своему обыкновенію, какъ доказательство древности самой былины, какъ признакъ ея доисторическаго происхожденія. На непрочность этого взгляда было уже указано раньше (стр. 200); съ нимъ поэтому теперь считаться особой надобности нѣтъ. Остаются взгляды изслѣдователей исторической школы, болѣе научные и объективные. Прежде всего надо рѣшить вопросъ о томъ, кіевскія или новгородскія былины о Вольгѣ и Волхѣ, т.-е., мѣстомъ зарожденія этихъ былинъ нужно ли считать мѣстности южной Россіи, или мѣстности Россіи сѣверной? Что касается рѣшенія этого вопроса, то, повидимому, надо склониться на сторону сѣвернаго проис-

---

[1]) Таково воззрѣніе М. Е. Халанскаго, Къ исторіи поэтич. сказаній объ Олегѣ Вѣщемъ (Ж. М. Н. П. 1902, VIII; 1903, XI).

[2]) Напр., С. К. Шамбинаго, Къ былинамъ о Вольгѣ и Микулѣ (Ж. М. Н. П. 1905, XI).

хожденія, именно потому, что былины, которыя отмѣчены своимъ южнымъ происхожденіемъ, естественно должны быть тѣснѣе связаны съ бытовой исторіей, съ фактической исторіей, съ типичными чертами, именно, южно-русской жизни; слѣды этого должны сохраниться и въ былинѣ, извѣстной теперь только на сѣверѣ; а въ былинахъ о Вольгѣ и Микулѣ такихъ чертъ не находимъ, черты же, на первый взглядъ южныя, находимыя въ былинѣ, получаютъ иное объясненіе, если мы внимательнѣе къ нимъ присмотримся въ связи съ композиціей самой былины. Въ южныхъ по происхожденію былинахъ играетъ, хотя и внѣшнюю, всеже центральную роль кн. Владимиръ, и самый типъ богатыря—преимущественно богатыря боевого; онъ въ военныхъ былинахъ характеризуется чертами южно-русской военной жизни (борьба съ врагами Русской земли, со степью). Съ этой точки зрѣнія Вольга, тѣмъ болѣе, Микула, не подходятъ подъ этотъ шаблонъ боевыхъ богатырей. Это заставляетъ подозрѣвать, что былина о нихъ едва ли могла создаться въ той боевой обстановкѣ, гдѣ создались былины объ Ильѣ Муромцѣ, объ Алешѣ Поповичѣ и погибели русскихъ богатырей. Съ другой стороны, подтверждается это тѣмъ, что такого прочнаго пріуроченія дѣйствія былинъ о Вольгѣ къ Кіеву, какъ въ другихъ былинахъ, гдѣ дѣйствіе начинается въ Кіевѣ, около кн. Владимира (какъ, напр., въ былинахъ о Калинѣ царѣ) мы не видимъ. Кн. Владимиръ не выступаетъ въ своей обыкновенной роли, какъ выступалъ въ былинахъ, которыя мы имѣли возможность пріурочить къ Кіеву; онъ здѣсь не центръ богатырской дружины; правда, Владимиръ въ какомъ-то «свойствѣ» находится съ Вольгой, онъ даетъ ему въ управленіе три города: Коростовецъ, Орѣховецъ и Гурчевецъ; но этимъ второстепеннымъ намекомъ и исчерпывается связь Вольги и былинъ о немъ съ личностью Владимира. Здѣсь, такимъ образомъ, имя Владимира можно считать служебнымъ, появившимся, можетъ быть, позже, и поэтому значенія въ интересахъ пріуроченія былины оно имѣть не можетъ. Такимъ образомъ, былина о Вольгѣ и Микулѣ, повидимому, не кіевская по характеру, не связана тѣсно съ Кіевомъ, а могла создаться гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, хотя эта былина и знаетъ кн. Владимира.

Въ настоящее время былины о Вольгѣ сохранились только на сѣверѣ; здѣсь онѣ не принадлежатъ къ числу былинъ, часто встрѣчающихся у пѣвцовъ былинъ. Главнымъ образомъ, можно намѣтить два типа разсказовъ о Вольгѣ: въ однихъ—біографія Вольги, разсказъ о происхожденіи его, воспитаніи, характеристика его, какъ богатыря-охотника и оборотня, а затѣмъ его удачное путешествіе съ 40 дружинниками въ какое-то Индійское царство, гдѣ онъ совершаетъ и главный свой подвигъ—завоеваніе Индійскаго царства, но не храбростью, а

хитростью, при помощи своего оборотничества; второй типъ былинъ—о Вольгѣ и Микулѣ: по этимъ былинамъ, встрѣчаются Вольга и Микула въ полѣ, гдѣ между ними происходитъ состояза́ніе, при чемъ Вольга оказывается уступающимъ Микулѣ, который сверхъ того славится своимъ хорошимъ хозяйствомъ, обѣщается пива наварить, собрать весь крещеный міръ и угостить пивомъ, за что будутъ мужики похваливать богатыря Микулу Селяниновича. Есть еще третій сюжетъ, встрѣчающійся отдѣльно, который является какъ будто второстепеннымъ: это—кусокъ, повидимому, второго сюжета, развитый въ отдѣльное цѣлое: это—состязаніе между Вольгой и Микулой въ быстротѣ коня; этотъ сюжетъ самостоятельнаго значенія не имѣетъ, но все же даетъ намъ возможность гадать о томъ, гдѣ могли сложиться подобныя былины. Весь центръ тяжести для полученія указаній на мѣстность приходится перенести на ту бытовую обстановку, въ которой разыгрывается дѣйствіе былины о Вольгѣ и Микулѣ. Если эта обстановка проходитъ, дѣйствительно, черезъ всю былину, если она составляетъ основной фонъ былины, то, разумѣется, говорить о ней, какъ объ отраженіи лишь только той мѣстности, изъ которой происходитъ пѣвецъ (т.-е., говорить о ней, какъ о наслоеніи), въ такомъ случаѣ не приходится. Въ данномъ случаѣ какихъ-нибудь чертъ, которыя бы указывали на возможность другой обстановки, не сѣверной, мы не видимъ. Дѣйствительно, въ былинѣ о Вольгѣ и Микулѣ это особенно ярко выражено: Вольга ѣдетъ со своей дружиной по полю, издали слышитъ голосъ пахаря, ѣдетъ онъ три дня и подъѣзжаетъ къ этому пахарю; это былъ Микула Селяниновичъ. Здѣсь, съ одной стороны, можно заподозрить, что такое необъятное распаханное пространство, которое приходится проѣзжать цѣлыхъ три дня, можетъ напоминать скорѣе южно-русскія степи, въ противоположность сѣверному, ограниченному лѣсами и частью горами и болотами пейзажу пашни; а, съ другой стороны, самая обстановка пахоты, характеристика земледѣльческой работы Микулы Селяниновича и другія подробности ландшафта указываютъ не на югъ. Но это кажущееся противорѣчіе объяснить не трудно: громадное пространство пашни, вдоль борозды которой приходится богатырю ѣхать три дня до пахаря, голосъ котораго слышенъ за три дня пути, не что иное, какъ гипербола, которая встрѣчается часто въ эпической поэзіи; она здѣсь имѣетъ совершенно опредѣленную поэтическую же цѣль: указать на грандіозность работы Микулы, подготовить фактъ встрѣчи съ Вольгой, который долженъ въ концѣ-концовъ признать превосходство Микулы; стало быть, эта картина для опредѣленія мѣстности (сѣверной или южной) не показательна. Что же касается самой картины пахоты, то эта картина нарисована настолько реальными чертами, что невольно является мысль о томъ, что

она писана съ натуры, отражаетъ обыкновенную дѣйствительную обстановку обработки земли въ довольно опредѣленной мѣстности: эта мѣстность—сѣверная. Микула пашетъ, прежде всего, сохой съ лемешами, какъ разъ орудіемъ, которое является распространеннымъ на сѣверѣ: соха является типичнѣйшимъ земледѣльческимъ орудіемъ для сѣверной и средней полосы Россіи; тяжелаго плуга (которымъ пашутъ на волахъ, или парѣ, или тройкѣ коней на югѣ) сѣверный и средне-русскій крестьянинъ не знаетъ, или, по крайней мѣрѣ, долго не зналъ; плугъ на сѣверѣ является мало примѣнимымъ въ силу условій самой почвы, гдѣ нужна легкая соха съ лопатками (лемешами), приспособленная къ обработкѣ сѣверной засоренной почвы: типичное поле сѣвера Россіи представляетъ пространство, на которомъ раскиданы корни, мелкіе и крупные камни, которые пахарю приходится вытаскивать, опахивать, удалять, выкидывая въ борозды, обходить. Такое поле по былинѣ пашетъ и Микула:

Какъ оретъ въ полѣ оратай, посвистываетъ,
Сошка у оратая поскрипливаетъ,
Омешики по камешкамъ почиркиваютъ,
А бороздочки онъ да пометываетъ,
А пенье-коренье вывертываетъ,
А большіе-то каменья въ борозду валитъ.

Конечно, это не черноземная, мягкая, безлѣсная пашня юга. Онъ сѣетъ не пшеницу, обычный хлѣбъ русскаго юга, а рожь и ячмень, опять-таки типичные сѣверные хлѣба, которые культивируются здѣсь, и то иногда съ большимъ трудомъ. Ясное дѣло, что вся обстановка пахоты сѣверная. Тотъ же Микула указываетъ, что вотъ онъ поле распашетъ и поѣдетъ за солью, привезетъ эту соль и будетъ продавать своимъ односельчанамъ. Это упоминаніе о соли, точнѣе о процессѣ ея покупки (за солью приходилось ѣхать довольно далеко, добывать ее приходится съ трудомъ), все это опять-таки указываетъ не на югъ, богатый солью, гдѣ много соляныхъ озеръ, и близки Черное и Азовское моря, богатыя солью, а на сѣверъ, гдѣ соль представляется цѣннымъ продуктомъ, гдѣ соли не хватаетъ, и гдѣ соль являлась и является крупнымъ предметомъ торговли, предметомъ покупки, обмѣна. Заглянувши въ исторію Новгорода, мы видимъ также, что соляные промыслы давно заботили новгородцевъ: они старались, гдѣ возможно, устроить соляныя варницы, но онѣ недостаточно обезпечивали свой край, и торговля солью въ Новгородѣ была торговлей заграничной, играла видную роль въ жизни края, была даже орудіемъ политической борьбы: когда иноземные купцы, привозившіе соль по Балтійскому морю изъ Остзейскаго края, хотѣли прижать новгородцевъ, сдѣлать имъ не-

пріятность, поставить въ затрудненіе, они задерживали соляные караваны, и новгородцамъ приходилось командировать цѣлыя военныя экспедиціи, чтобы добыть соли. Легко догадаться, почему въ былину попало упоминаніе о соли: соль играла довольно видную роль въ сѣверномъ быту, и добываніе ея вносило еще новую черту въ положительный обликъ Микулы. Разсмотрѣнная нами и такъ объясненная обстановка былины можетъ указывать на то, что и былина, скорѣе всего, создалась на сѣверѣ. Такія же указанія, какъ былина о Вольгѣ и Микулѣ, даетъ и былина о походѣ Вольги въ Индійское царство, хотя не столь опредѣленныя, рисуя богатыря лишь общими сказочными чертами и создавая вокругъ него мало реальную фантастическую обстановку. Въ этихъ послѣднихъ былинахъ, не говоря объ отличіяхъ въ самомъ типѣ богатыря, онъ носитъ и отличное имя—Волха; предполагая это имя результатомъ измѣненія (въ связи съ характеромъ богатыря-оборотня) того же имени Вольги, можно допустить, что Вольга первой группы былины и Волхъ—второй одно и то же лицо. Былина о Вольгѣ и его походѣ въ Индійское царство (наиболѣе полный ея пересказъ—у Кирши Данилова) представляется уже, повидимому, результатомъ контаминаціи (сводки) двухъ отдѣльныхъ былинныхъ сюжетовъ; въ ней выдѣляется совершенно ясно разсказъ о рожденіи Вольги. Вольга, какъ чудесный герой, рождается необыкновеннымъ образомъ: княгиня, мать будущаго Вольги, пошла гулять въ садъ, результатомъ было зачатіе Вольги отъ появившагося въ саду змѣя. Дѣйствительно, этотъ Вольга по своему типу напоминаетъ сказочнаго богатыря: онъ растетъ не по днямъ, а по часамъ, отличается, очевидно, по наслѣдству, необыкновенными способностями; кромѣ того, онъ страстный, искусный охотникъ; только что онъ научился всякимъ хитростямъ, оборотничеству (онъ оборачивается то звѣремъ, то птицей, то рыбой), сейчасъ же набираетъ дружину и отправляется въ темные лѣса съ тѣмъ, чтобы заниматься охотой и рыбной ловлей. Охота и рыбная ловля представляются въ былинѣ необыкновенно удачными, благодаря хитрости и оборотничеству Волха. Такимъ образомъ, эта часть былины разсказываетъ біографію богатыря Вольги, главнымъ образомъ, какъ оборотня. Далѣе, въ этой былинѣ про Вольгу совершенно неожиданно начинается разсказъ о томъ, какъ онъ собрался съ своей дружиной въ царство Индійское, съ тѣмъ чтобы завоевать это удивительное царство; это, очевидно, совершенно другой сюжетъ, который только механически прицѣпленъ къ имени Вольги и спаялся съ нимъ въ одной былинѣ, которую мы знаемъ у Кирши Данилова: единственной связью между частями былины является оборотничество Вольги. Въ другихъ записяхъ былины мы видимъ тѣ же слѣды контаминаціи.

Прежде всего, переходя къ анализу второй группы былинъ о Вольгѣ, ставимъ себѣ вопросъ о томъ, кто такой Вольга? Откуда взялось его имя въ нашихъ былинахъ? Имя Вольги въ былинахъ варіируется: въ лучшихъ записяхъ (Кирши Данилова) мы находимъ имя его не въ формѣ Вольги (какъ былинахъ первой группы), а «Волха»: Волхъ Всеславичъ или Святославовичъ. Онъ рисуется въ этой группѣ былинъ въ видѣ знатнаго человѣка, князя или воеводы, который стоитъ во главѣ дружины. Тотъ же самый Вольга, или Волхъ, въ былинѣ о Вольгѣ и Микулѣ, имѣетъ тотъ же самый опредѣленный типъ: онъ ѣздитъ съ дружиной и собираетъ дань по тѣмъ городамъ, которые даны ему Владиміромъ (кое-гдѣ называемомъ его дядей) въ управленіе. По типу герой той и другой группы былинъ очень близки между собой; принимая же во вниманіе близкое созвучіе именъ Вольги и Волха и отчество послѣдняго, подчеркивающее его русское, княжеское происхожденіе, можно признать, что въ обѣихъ группахъ былинъ мы имѣемъ передъ собой одну и ту же личность, лишь освѣщаемую съ различныхъ сторонъ: въ первой подчеркнуто его знатное происхожденіе, положеніе могущественнаго князя-дружинника, во второй—его хитрость, находчивость. Можно допустить вмѣстѣ съ тѣмъ, что имя «Волхъ» появилось изъ имени «Вольги» черезъ форму «волхвъ», какъ осмысленіе мало уже употребительнаго Вольга, на основѣ представленія свойствъ оборотня (волхва) героя былины. Можетъ быть, здѣсь, какъ увидимъ, сыграло нѣкоторую роль и названіе рѣки Волхова. Если сюда присоединить изъ біографіи Вольги его необыкновенное происхожденіе отъ змѣя и женщины, какъ попытку объяснить его хитрость, оборотничество, то это дополнитъ образъ этого князя или боярина, Волха Всеславича. Наконецъ, въ нѣкоторыхъ былинныхъ пересказахъ о Вольгѣ [1]) естъ разсказъ о его смерти, который до извѣстной степени можетъ служить для характеристики Вольги. Жизнь Вольги кончается тѣмъ, что Вольга встрѣчаетъ огромный камень съ надписью:

Скакать черезъ этотъ же камешокъ
Тому же богатырю,
Тому Вологѣ Всеславьеву:
Дружинушкѣ его въ поперечь каменя,
Ему Вольгѣ вдоль камешка;
Не скочитъ Вольга Всеславьевичъ,
Тутъ будетъ Вольрѣ скора смерть.

Ясно, что необычная смерть Вольги предсказапа; Вольга прыгаетъ вдоль камня, конь его задѣваетъ за камень подковой, Вольга разбива-

[1]) Таковъ у Гильфердинга, I, № 2.

ется на смерть; дружина хоронитъ его въ «свое мѣсто великое» [1]. Если только здѣсь мы не имѣемъ дѣло съ смѣшеніемъ Вольги съ Василіемъ Буслаевымъ (а такое смѣшеніе наблюдается въ другихъ пересказахъ былинъ о Вольгѣ, который даже отчество получаетъ Богуславича—отъ В. Буслаева), то это, можетъ быть, черта, которая пристала къ Вольгѣ изъ какого-нибудь историческаго воспоминанія, уже легендарнаго, устно-народнаго. Всѣ эти черты въ образѣ Вольги—крупный въ соціальномъ отношеніи, видный человѣкъ, князь, начальникъ дружины, совершающій походъ въ Индійское царство, которое онъ завоевываетъ хитростью, оборотень, хитрый, мудрый, чародѣй, въ концѣ-концовъ умирающій необычной смертью, заранѣе ему предсказанной, но въ то же время неизбѣжной, погребеніе его на «своемъ великомъ мѣстѣ»,—всѣ эти черты настолько опредѣленно рисуютъ образъ Вольги-Волха, что и заставляетъ предполагать, что, можетъ быть, подъ Вольгой скрывается болѣе или менѣе опредѣленная, знакомая намъ и по другимъ источникамъ личность. М. Е. Халанскій, одинъ изъ изслѣдователей былинъ о Вольгѣ (см. выше, примѣч. на стр. 295), собравши всѣ эти черты, приходитъ къ выводу, что подъ Вольгой скрывается никто иной, какъ извѣстный историческій кн. Олегъ [2]. Наличность же въ древней Руси рядомъ съ мужскимъ именемъ и личностью «Ольгъ» (=Вольга) и женскаго имени «Ольга» (въ фонетическомъ отношеніи тождественнаго «Ольгу») и личности исторической, ставшей предметомъ и народнаго преданія, притомъ отмѣчаемой тѣми же качествами, что и «вѣщій» Олегъ, заставляетъ М. Е. Халанскаго дѣлать дальнѣйшее предположеніе, что въ образѣ былиннаго Вольги отразился не только Олегъ, но и Ольга, которая по лѣтописи славилась своей незаурядной мудростью, замѣчательной хитростью: такимъ образомъ, по мнѣнію М. Е. Халанскаго, былинный образъ Вольги отразилъ въ себѣ историческія преданія о кн. Олегѣ и княгинѣ Ольгѣ. Въ преданіяхъ о нихъ, занесенныхъ въ лѣтопись, разсказывается цѣлый рядъ такихъ эпизодовъ, которые такъ или иначе могутъ быть сближены съ былиной, и потому былинные разсказы о Вольгѣ-Волхѣ можно считать отзвукомъ тѣхъ народныхъ сказаній о кн. Олегѣ и Ольгѣ, которыя намъ извѣстны въ болѣе древнемъ видѣ въ лѣтописи. Такое сходство, по мнѣнію изслѣдователя, и можно найти въ отдѣльныхъ эпизо-

---

1) Пѣвецъ названіе этого мѣста, по его словамъ, забылъ.

2) На такое сопоставленіе наталкиваемъ М. Е. Халанскаго прежде всего полное тождество въ фонетическомъ отношеніи формъ „Вольга" и „Ольгъ" (старая форма, соотвѣтствующая теперешней—Олегъ): отличіе первой отъ послѣдней лишь въ обычномъ (ср. осень—восень, осьмь—восемь и т. п.) приставномъ „*в*". Конечное „*а*", конечно, дѣла не мѣняетъ приналичности цѣлаго ряда именъ мужескаго рода съ этимъ окончаніемъ.

дахъ лѣтописной біографіи Олега. Про Олега разсказывается, какъ про того русскаго князя, который совершилъ необыкновенно удачный походъ на Византію: Олегъ дошелъ до Царьграда, но, чтобы подойти къ Царюграду на ладьяхъ, ему нужно было пройти сквозь цѣпь, заграждавшую входъ въ Золотой Рогъ, гавань города. Олегу помогаетъ его хитрость, его «вѣщая» мудрость: онъ придѣлываетъ подъ свои ладьи колеса, ставитъ на доски, намазанныя саломъ, и такимъ образомъ по сушѣ перетаскиваетъ свои ладьи при попутномъ вѣтрѣ, и совершенно неожиданно появляется на другой сторонѣ города. Византія должна уступить, и въ знакъ своей побѣды Олегъ прибиваетъ свой щитъ на вратахъ Царяграда. Этотъ лѣтописный разсказъ, какъ показало критическое его изученіе, внѣ всякаго сомнѣнія долженъ быть признанъ устно-народнымъ преданіемъ, лишь закрѣпленнымъ письменностью: это—одинъ изъ фактовъ поэтической біографіи лица, ставшаго предметомъ легенды. Онъ Халанскому напоминаетъ удачный походъ [1]), про который разсказывается въ былинѣ про Волха, или Вольгу, въ Индійское царство, которое онъ беретъ хитростью, при чемъ, однако, пускаетъ въ ходъ и свое оборотничество. Имя Вольги въ былинѣ и сходство общаго мотива заставляетъ Халанскаго предполагать, что въ основѣ былины о Вольгѣ и его походѣ въ Индійское царство въ сущности лежитъ одно и то же народное преданіе, что́ и въ разсказѣ о походѣ Олега на Византію.

Такимъ образомъ, въ былинахъ о Вольгѣ, по мнѣнію М. Е. Халанскаго, мы имѣемъ дѣло съ отраженіемъ не только историческихъ личностей Олега и отчасти Ольги, но и легендарныхъ сказаній о нихъ. Если предположеніе Халанскаго и представляется заслуживающимъ вниманія по своей стройности и естественности, то, съ другой стороны, оно оказывается недостаточно убѣдительнымъ потому, что оно, если оно и даетъ опредѣленный отвѣтъ касательно имени Вольги, и, какъ будто объясняетъ одно изъ свойствъ его облика (хитрость), то не можетъ удовлетворительно объяснить и вовсе не объясняетъ (такъ, какъ для этого нѣтъ данныхъ въ легендахъ объ Олегѣ и Ольгѣ) другихъ, а въ томъ числѣ и существенныхъ, частностей въ обликѣ Вольги-Волха, главнымъ образомъ въ былинахъ о немъ второй группы: его оборотничества, необычнаго его происхожденія, появленія въ былинѣ фантастическаго Индійскаго царства (по варіантамъ—Турецкаго), вмѣсто ожидаемаго Царяграда, хорошо знакомаго устному, въ томъ числѣ и былинному, преданію. Все это заставило В. Ѳ. Миллера искать иныхъ параллелей для уясненія содержанія былинъ объ Вольгѣ-Волхѣ. Онъ обратилъ вниманіе главнымъ образомъ на сказочный характеръ былинъ о Волхѣ,

[1]) Впрочимъ, это сопоставленіе похода Вольги—Волха и Олега было сдѣлано давно уже—П. А. Безсоновымъ, но оно прошло не замѣченнымъ въ литературѣ.

оставляя въ сторонѣ (и совершенно справедливо) былины о Вольгѣ и Микулѣ, какъ могущія имѣть иное происхожденіе. Въ былинѣ о Волхѣ прежде всего обращаетъ на себя вниманіе разсказъ о рожденіи его отъ знатной женщины (княгини) и змѣя-дракона: этотъ сказочный мотивъ В. Ө. Миллеръ находитъ возможнымъ сближать съ аналогичнымъ въ извѣстной переводной повѣсти объ Александрѣ Македонскомъ («Александріи»), гдѣ Александръ считается сыномъ царицы Олимпіады и египетскаго волхва-царя Нектанава, явившагося къ царицѣ въ видѣ дракона и зачавшаго отъ нея будущаго завоевателя Индіи. Это сопоставленіе представляется тѣмъ возможнѣе, что можно намѣтить и въ дальнѣйшихъ эпизодахъ былины точки соприкосновенія съ популярной на Руси книжной повѣстью объ Александрѣ Македонскомъ. Такимъ образомъ, въ числѣ источниковъ былины намѣчается книжный источникъ для ея отдѣльныхъ мотивовъ. Для объясненія же другой основной черты облика Волха и содержанія былины о немъ—оборотничества—В. Ө. Миллеръ, сближая имя Волха съ названіемъ рѣки Волхова, съ одной стороны, и привлекая возможное народное осмысленіе и сближеніе этого имени со словомъ «волъхвъ»—съ другой, находитъ возможнымъ искать объясненія оборотничества Волха въ мѣстныхъ новгородскихъ преданіяхъ о происхожденіи названій рѣкъ: онъ и привлекаетъ одно изъ такихъ преданій, дающихъ, кромѣ созвучія въ именахъ, и кое-какія, общія съ былиннымъ Волхомъ детали въ содержаніи. Поэтому онъ обращаетъ вниманіе на преданіе о р. Волховѣ, самое имя которой, естественно, по созвучію должно быть поставлено въ связь съ именемъ Волха. Рѣка Волховъ—это есть рѣка нѣкоего «Волха», и объ этомъ Волхѣ есть рядъ разсказовъ, которые даютъ намъ типъ этого Волха, какъ рѣчного бога, давшаго свое имя рѣкѣ, объясняя происхожденіе этой рѣки. Такъ, въ одномъ рукописномъ сборникѣ въ числѣ статей лѣтописнаго характера [1]), есть нѣсколько разсказовъ квазиисторическаго характера; въ числѣ этихъ разсказовъ мы видимъ разсказъ «изъ исторіи Кіевской» о какомъ-то Словенѣ и Волхвѣ, чародѣѣ, кудесникѣ, получудовищѣ. Разсказъ представляетъ, несомнѣнно, записанное мѣстное новгородское преданіе. Этотъ-то разсказъ В. Ө. Миллеръ находитъ возможнымъ сопоставить съ былиной о происхожденіи Волха и о первомъ его походѣ, охотѣ и о первыхъ поѣздкахъ. Вотъ этотъ небольшой разсказъ, какъ онъ читается въ рукописи:

«Въ лѣто отъ сотворенія свѣта 3099 Словенъ и Русь съ роды своими отлучишася отъ Скифенопонта и идоша отъ рода своего и отъ

---

[1]) Часть статей этого замѣчательнаго „Цвѣтника“ 1665 г. (онъ принадлежитъ Моск. Синод. библ.) издана, а въ томъ числѣ и интересующій насъ разсказъ, Ө. И. Буслаевымъ въ приложеніи къ его актовой рѣчи о народности (Отчетъ Моск. Ун. 1859 г).

братіи своей, и хождаху по странамъ вселенныя, яко орли острокрилатіи перелетаху сквозѣ пустыня, много ищуще себѣ на вселеннѣй мѣста благопотребна, и во многихъ мѣстѣхъ почиваху мечтующе, нигдѣ же тогда обрѣтше вселенныя по сердцу своему. Четыре на десять лѣтъ пустыя страны обхождаху, дондеже дошедше езера нѣкоего велика, «Моиска» зовомаго, послѣди отъ Словена «Илмеръ» прозменовася во имя сестры ихъ Илмеры. И тогда волхованіе повелѣ имъ на всякомъ мѣстѣ онаго, и старѣйши Словенъ съ родомъ своимъ и со всѣми, иже подъ рукою его, сѣде на рѣцѣ, зовомой тогда «Мутная», послѣди же Волъховъ проименовася во имя старѣйшаго сына Словена Волъхва зовома, и поставиша градъ, именоваша его по имени князя «Словенскъ Великій» (а иже нынѣ Новъ градъ) отъ устія великаго озера Илмера, внизъ по велицѣй рѣцѣ, проименованнѣй Волховѣ, полпята [1]) поприща. И отъ того времени новопришельцы Скифстіи начаша именоватися Словяне, и рѣку нѣкую, во Илмеръ впадшую, назваше во имя жены Словеновы—«Шелони». во имя же меньшаго сына Словенова Волховца поименоваша оборотную протоку, иже течетъ изъ великія рѣки Волхова и паки обращаетъ въ него.—Болшій сынъ оного князя Словена Волховъ бѣсоугодный и чародѣй лютъ въ людехъ тогда бысть, и бѣсовскими ухищреніи и мечты творя и преобразуяся во образъ лютаго звѣря коркодѣла [2]), и залегаше въ той рѣцѣ Волховѣ водный путь и непоклоняющихся ему овыхъ пожираше, овыхъ извергая потопляше; сего же ради люди, тогда невѣгласи, сущимъ богомъ окаяннаго того нарицаху и Грома его, или Перуна, нарекоша (бѣлорусскимъ бо языкомъ громъ «перунъ» нарицается). Постави же онъ окаянный чародѣй нощныхъ ради мечтаній и собранія бѣсовскаго градокъ малъ на мѣстѣ нѣкоемъ, зовомомъ Перыня, идѣже и кумиръ Перунъ стояше. И баснословятъ о семъ волхвѣ невѣгласи, глаголюще: «Въ боги сѣлъ». Наше же христіанское истинное слово... о семъ окаянномъ чародѣи и волхвѣ, яко зло разбіенъ бысть и удавленъ отъ бѣсовъ въ рѣцѣ Волховѣ, и мечтанми бѣсовскими окаянное тѣло несено бысть вверхъ по оной рѣцѣ Волхову и извержено на брегъ противъ волховнаго оного городка, иже нынѣ зовется «Перыня». И со многимъ плачемъ отъ невѣгласъ ту погребенъ бысть окаянный съ великою тризною поганскою, и могилу ссыпаша надъ нимъ вельми высоку, яко естъ поганымъ. И по трехъ убо днехъ окаяннаго того тризнища просядеся земля и пожре мерзкое тѣло коркодѣлово, и могила его просыпася надъ нимъ купно во дню адово, иже и донынѣ, якоже повѣдаютъ, знакъ ямы твоя стоитъ не наполняяся».

---

1) Т.-е. четыре съ половиной.

2) Т. е. крокодила; въ общемъ смыслѣ—водяное чудище.

Приведенный разсказъ имѣетъ, очевидно, своей цѣлью объяснить «исторически» происхожденіе названій въ мѣстной новгородской топографіи; объясненіе ведется на основаніи преданій, частью народно-устныхъ; эта легенда, можетъ быть, и старая, могла попасть въ число историческихъ документовъ только въ 17 в.: какъ разъ въ это время подъ вліяніемъ западныхъ историческихъ идей, подъ вліяніемъ интереса къ фантастическимъ разсказамъ стали появляться и русскіе такіе разсказы о старинѣ, несомнѣнно, почерпнутые изъ устныхъ народныхъ сказаній, и заносились въ лѣтописные сборники особаго типа. Появился, напримѣръ, въ это время разсказъ и о Гостомыслѣ, цѣлый рядъ разсказовъ объ Олегѣ и Ольгѣ, которые и были закрѣплены письменностью. По приведенному разсказу мы видимъ, что это—мѣстное преданіе, которымъ стараются дать объясненіе названію р. Волхова, Шелони, Перыня-городка, озера Ильменя. Въ этомъ своего рода поэтическомъ объясненіи названій урочищъ, мы и встрѣчаемся какъ разъ съ именемъ и личностью Волха-Волхова [1]). Онъ—также оборотень, чародѣй («волхвъ»), также онъ играетъ извѣстную роль въ качествѣ водяного, существа; то же самое мы находимъ, говоритъ Миллеръ, въ былинѣ о Волхѣ Всеславичѣ: онъ получеловѣкъ, полузвѣрь по своему происхожденію, онъ чародѣй, оборотень, во время охоты онъ оборачивается въ звѣря (льва) и нагоняетъ дикихъ звѣрей на свою дружину, которая ихъ избиваетъ; если идетъ охота на водѣ, онъ обращается въ щуку-рыбу и также загоняетъ рыбу въ сѣти своей дружины. Такимъ образомъ, можно бы допустить, что кудесникъ отслоился на первоначальной легендѣ объ князѣ русскомъ Олегѣ историческомъ, который, однако, въ народномъ преданіи сталъ также до нѣкоторой степени «кудесникомъ» (Олегъ вѣщій), но не оборотнемъ; въ былинѣ онъ сталъ оборотнемъ подъ вліяніемъ мѣстнаго новгородскаго преданія, приводимаго разсказомъ, т.-е.,: придется признать, допуская тожество Олега и Волха, еще второе отложеніе, слѣдующій этапъ въ трансформаціи образа историческаго Олега. Но для Миллера эта легенда имѣетъ другое значеніе: она является поводомъ къ мѣстному пріуроченію, будучи сама строго локализирована, т.-е., даетъ возможность предположить, что былины о Вольгѣ-охотникѣ мѣстнаго новгородскаго происхожденія [2]). Такимъ образомъ, выводъ В. Ѳ. Миллера говоритъ о возможности пріуроченія къ Новгороду всего цикла былинъ о Микулѣ Селяниновичѣ и Вольгѣ и Волхѣ. Изъ всего этого дѣлается выводъ приблизительно такой: въ темы о Вольгѣ и Микулѣ, разработанныя глав-

[1]) Сближеніе этихъ именъ указано выше.

[2]) Что касается былинъ о Вольгѣ и Микулѣ, то, какъ мы видѣли выше, также новгородское ихъ происхожденіе принято В. Ѳ. Миллеромъ за вполнѣ возможное.

нымъ образомъ на основаніи мѣстныхъ сѣверныхъ преданій, вошли преданія о князѣ Олегѣ и, можетъ быть, о княгинѣ Ольгѣ, которыя также играли извѣстную роль въ народныхъ преданіяхъ сѣвера: еще псковская лѣтопись указываетъ, какъ мѣстное преданіе, на ловы той же княгини Ольги (т.-е., на тѣ мѣста, гдѣ она охотилась), въ Псковѣ же, по словамъ той же лѣтописи, показывали сани княгини Ольги. Такимъ образомъ, на основаніи близости, созвучія именъ и родства образовъ произошло скрещеніе преданій о кн. Олегѣ-кудесникѣ, можетъ быть, мудрой княгинѣ Ольгѣ и мѣстнаго преданія о Волхѣ-волхвѣ, что̀ дало въ результатѣ былину о Вольгѣ въ первой ея части. Обработка этой былины, по всей вѣроятности, произошла на сѣверѣ. Что касается разсказа второй половины этой же былины, который до сихъ поръ не былъ нами анализированъ—разсказа о путешествіи Вольги въ Индійское царство, то по отношенію къ этой части былины дано было изслѣдователями нѣсколько толкованій. Одно изъ нихъ (Халанскаго-Безсонова) мы знаемъ. Толкованіе, предлагаемое В. Ѳ. Миллеромъ, повидимому, будетъ наиболѣе соотвѣтствовать общей исторіи былины и потому будетъ наиболѣе удовлетворительнымъ объясненіемъ происхожденія этого сюжета. Въ этой части былины повѣствуется, что Волхъ, оборотившись мелкимъ звѣремъ (горностаемъ), прокрадывается черезъ подворотню со своей дружиной во дворецъ индійскаго царя, пробирается въ тѣ чуланы, гдѣ сложено оружіе, перегрызаетъ всѣ тетивы на лукахъ; обернувшись опять людьми, Волхъ и дружина избиваютъ обезоруженныхъ индіянъ, убиваютъ царя, Волхъ женится на индійской царицѣ. Допуская сопоставленіе Халанскаго съ походомъ Олега 905 г., Миллеръ позднѣе предложилъ, однако, другія сопоставленія, потому что его не могъ удовлетворить лѣтописный разсказъ о походѣ Олега на Царьградъ, такъ какъ онъ въ подробностяхъ не будетъ совпадать съ былиннымъ: въ лѣтописи ничего объ оборотничествѣ кн. Олега не говорится, а только о хитрости, въ былинѣ же говорится и о хитрости, и объ оборотничествѣ, которое является органической подробностью былиннаго разсказа; кромѣ того, оборотничество отъ Вольги неотъемлемо, какъ одинъ изъ характерныхъ его признаковъ въ этой группѣ былинъ о немъ. Поэтому, В. Ѳ. Миллеръ сперва указалъ на возможность сопоставленія въ другой области. Когда онъ увлекался сближеніемъ русскаго эпоса съ эпосомъ иранскимъ (въ своихъ «Экскурсахъ»), онъ въ иранскомъ эпосѣ (дошедшемъ въ переработкѣ персидскаго поэта Фирдоуси—«Шахъ-Наме») нашелъ нѣсколько эпизодовъ, которые отчасти напоминаютъ былину о Вольгѣ: такъ, тамъ нашелся разсказъ, который до извѣстной степени представляетъ схему добыванія чужого царства при помощи хитрости, оборотничества. Но разсказъ этотъ настолько своеобразенъ, даетъ такія подробности, которыя въ

персидскомъ разсказѣ являются органической необходимостью, тогда какъ у насъ онѣ отсутствуютъ, что самъ В. Ѳ. Миллеръ ограничился однимъ сопоставленіемъ, не рѣшившись дѣлать изъ этого сопоставленія опредѣленный выводъ о происхожденіи сюжета былины. Впослѣдствіи В. Ѳ. Миллеръ перешелъ къ иному, представляющемуся ему болѣе убѣдительнымъ объясненію. Онъ, обративъ вниманіе на то, что Вольга отправляется въ Индійское царство, счелъ это отзвукомъ извѣстнаго въ древней русской письменности книжнаго «Сказанія объ Индійскомъ царствѣ», тѣмъ болѣе, что это сказаніе (оно появилось у насъ не позднѣе XIII в.) было популярно и не осталось безъ вліянія и на другіе былинные сюжеты (напр., въ былинахъ о Дюкѣ, гдѣ, несомнѣнно, есть отзвуки этого «Сказанія») [1]. Можетъ быть, по отношенію къ былинѣ о Вольгѣ и нѣтъ надобности указывать прямо на «Сказаніе объ Индійскомъ царствѣ», которое является въ русской литературѣ однимъ изъ многихъ упоминаній о фантастическомъ загадочномъ Индійскомъ царствѣ; Индійское царство, давно уже извѣстное, какъ отдаленная страна, не только въ русской, но и въ восточной и западно-европейской средневѣковыхъ литературахъ, представляется страной чудесъ, окружена цѣлымъ ореоломъ легендъ; терминъ, «индійское царство» по представленію приближается къ термину «волшебное» царство, лежащее гдѣ-то далеко, далеко. Съ такимъ же (пожалуй, даже съ бо̀льшимъ) правомъ можно увидать въ былинѣ отраженія и другихъ сказаній и представленій объ Индійскомъ царствѣ. В. Ѳ. Миллеръ обратилъ на упоминаніе объ индійскомъ царствѣ только потому, что оно давало возможность указать на болѣе или менѣе близкіе книжные источники сказанія о путешествіи Вольги въ это царство. Въ индійское царство ходилъ и другой герой, который какъ разъ и завоевалъ это царство: это—Александръ Македонскій, о походѣ котораго въ далекую Индію, о видѣнныхъ тамъ чудесахъ, о борьбѣ съ Поромъ, царемъ индійскимъ, существовали, помимо «Александріи», ходячіе разсказы, закрѣпленные и не закрѣпленные письменностью почти у всѣхъ народовъ стараго свѣта. У насъ положено основаніе знакомству съ Александромъ еще до перевода извѣстнаго романа объ Александрѣ Македонскомъ («Александріи»). Въ лѣтописи, у Даніила Заточника, мы находимъ упоминанія объ этомъ великомъ завоевателѣ, который посѣтилъ далекія восточныя страны и въ частности чудесную Индію. Такимъ образомъ, если мы здѣсь видимъ упоминаніе объ Индійскомъ царствѣ, (что даетъ поводъ Миллеру сопоставить сюжетъ о Волхѣ съ разсказомъ объ Александрѣ), то представленіе о немъ, какъ о знаменитомъ завоева-

[1]) См. выше, стр. 273 и сл.

телѣ, путешествовавшемъ на востокъ, конечно, не даетъ намъ права связывать только съ легендой объ Индійскомъ царствѣ («Сказаніе») нашу былину. Если и есть совпаденіе со схемой разсказа въ «Александріи», то разсказомъ объ Александрѣ не ограничивается источникъ былины: здѣсь могли сыграть роль и другіе бродячіе сюжеты, осложнившіе въ былинѣ эту схему. И самъ В. Ѳ. Миллеръ не особенно настаиваетъ на сопоставленіи былины съ разсказомъ романа объ Александрѣ Македонскомъ: въ романѣ объ Александрѣ Македонскомъ мы не находимъ того элемента, который играетъ такую видную и характерную роль въ былинѣ о Вольгѣ, именно: все того же оборотничества [1]); по роману, Александръ Македонскій, одержавъ побѣду надъ индіанцами, берется, во что бы то ни стало, проникнуть въ далекую Индію, спускается по рѣкѣ, ведущей въ Индію, во мракѣ, выходитъ на берегъ Индійскаго царства, идетъ пустыней, страдаетъ отъ голода и жажды, находитъ въ пустынѣ самоцвѣтные камни, самородки золота, видитъ различнаго рода чудеса: людей безъ головы, съ двумя головами, съ глазами на груди, людей на трехъ ногахъ, гигантовъ, карликовъ, удивительныхъ звѣрей и т. д.—ясно, что центръ разсказа заключается не въ завоеваніи Индіи, а въ описаніи ея чудесъ. Тѣмъ не менѣе, это сопоставленіе не лишено своего значенія: оно указываетъ, что былина въ данномъ случаѣ разработала одинъ изъ международныхъ сюжетовъ, который извѣстенъ въ западно-европейской и восточной писменности о чудесной странѣ, о путешествіяхъ и завоеваніи чудеснаго царства, однимъ словомъ—это распространенный сказочный сюжетъ. Вотъ все, что, собственно говоря, можно вывести по отношенію къ сближенію сюжета былины о Вольгѣ съ разсказами объ индійскомъ царствѣ. Что же касается эпизода оборотничества Волха во второй части былины о немъ, то онъ, повидимому, можетъ получить совершенно удовлетворительное объясненіе изъ самой композиціи былины: Волхъ первой части былины—оборотень, имъ, естественно, онъ остается и во второй части; поэтому и его подвигъ—завоеваніе чудеснаго царства—могъ быть совершонъ при помощи того же его главнаго качества; а эта концепція создателя былины и могла при-

[1]) Впрочемъ, сближеніе романа объ Александрѣ съ былиной возможно и въ другихъ ея частяхъ: такъ, разсказъ былины о происхожденіи Волха (отъ женщины и змія, слабо мотивированный въ извѣстныхъ намъ пересказахъ) напомнитъ разсказъ „Александріи“ о происхожденіи Александра: онъ рожденъ Олимпіадой отъ волхва египетскаго Нектонава, сочетавшаго съ нею подъ видомъ ливійскаго бога Аммона, явившись къ ней подъ видомъ змія („Александрія“ 3-ей ред., I, 6 по изданію В. М. Истрина). И въ дальнѣйшемъ разсказъ о необыкновенномъ развитіи Волха можетъ быть сопоставленъ (разумѣется, въ самыхъ общихъ чертахъ) съ разсказомъ о дѣтствѣ Александра.

тянуть въ былину мотивъ о заблаговременномъ обезоруженіи врага: мотивъ же этотъ намъ извѣстенъ и изъ другихъ устныхъ произведеній (напр., изъ былинъ о Романѣ, продѣлывающемъ совершенно то же съ братьями Ливиками, и также въ видѣ горностая; см. выше, стр. 278).

Наконецъ, представленіе о Вольгѣ-Волхѣ, какъ необычномъ охотникѣ, также получило отчасти свое объясненіе въ статьѣ С. К. Шамбинаго: оно восходитъ, по весьма правдоподобному мнѣнію изслѣдователя, къ отдѣльнымъ пѣснямъ объ удачливомъ охотникѣ, привзошедшимъ въ сказанія о Вольгѣ-оборотнѣ или Вольгѣ-дружинникѣ [1]. Собравши все вмѣстѣ, сказанное до сихъ поръ о былинахъ про Вольгу-Волха, мы должны представить себѣ происхожденіе этихъ былинъ приблизительно такимъ образомъ. Въ основѣ этихъ былинъ не лежитъ какой-нибудь одинъ опредѣленный сюжетъ, а здѣсь сплелись по всей вѣроятности и русскіе сюжеты, и сказочные, т.-е. международные, перешедшіе на русскую почву (въ родѣ разсказовъ о происхожденіи отъ чудовища и человѣка; отсюда необыкновенныя сказочныя качества Вольги). Это—одинъ элементъ. Другой элементъ—тѣ мѣстныя преданія, которыми старались объяснить происхожденіе названія или характеръ мѣстности (названіе р. Волхова, озера Ильменя и провалья, которое образовалось около Новгорода); стало быть, это мѣстное новгородское преданіе, вошедшее въ композицію былины. Третій элементъ—отзвуки старыхъ легендарныхъ сказаній объ историческихъ лицахъ (фантастическіе разсказы о вѣщемъ Олегѣ и о мудрой, хитрой княгинѣ Ольгѣ). Все это, взятое вмѣстѣ, послѣ ряда контаминацій, образовало отдѣльный рядъ сказаній о чудесномъ оборотнѣ, охотникѣ, гдѣ объединились въ мозаичной картинѣ разнородные элементы. Вся эта исторія сложенія, весьма характерная для процесса сложенія былинъ вообще, развертывалась, повидимому, на сѣверѣ русскаго племени, въ Новгородской области. Послѣднимъ этапомъ въ этомъ процессѣ было включеніе части былинъ о Вольгѣ въ кругъ былинъ съ кіевскимъ княземъ Владиміромъ.

XVI. Сорокъ каликъ. Что касается былины «О сорока каликахъ съ каликой», то эта былина [2]) также даетъ намъ любопытныя указанія на счетъ своего происхожденія, композиціи отдѣльныхъ мотивовъ былины. Содержаніе этой былины таково: идутъ мимо Кіева во Святую землю сорокъ каликъ съ каликою, во главѣ ихъ «атаманъ» Касьянушка, встрѣчаютъ князя Владиміра, ѣдущаго на охоту, останавливаются, просятъ Христовой милостыни. Владиміръ отсылаетъ ихъ въ Кіевъ къ женѣ, княгинѣ Апраксѣ. Здѣсь ей приглянулся предводитель каликъ,

---

1) См. Ж. М. Н. П. 1905, № 11.

2) Текстъ: Кирша Даниловъ, № 23.

Касьянушка, и она его желаетъ соблазнить. Но у каликъ—«уговоръ», какъ вести себя по дорогѣ: этотъ уговоръ предписывалъ вести себя строго, нравственно; если кто-нибудь согрѣшитъ противъ седьмой заповѣди, попадется въ кражѣ или разбоѣ, то въ наказаніе онъ долженъ быть закопанъ по горло въ сырую землю. Затѣя Апраксы не удается. Тогда она, желая отомстить неуступчивому предводителю каликъ, прибѣгаетъ къ хитрости: она велитъ положить тайно въ сумку Касьянушки серебряную чашу Владимира, а затѣмъ отпускаетъ каликъ. Вслѣдъ за уходомъ каликъ возвращается и Владиміръ домой. Апракса сообщаетъ, что калики были и украли любимую чару князя. Посылается погоня, по предложенію атамана осматриваются всѣ сумки, и какъ разъ у самого атамана находятъ пропавшую чашу. Такимъ образомъ, Касьянъ оказывается повиненъ въ воровствѣ, его по «уговору» закапываютъ по самыя плечи въ землю, и калики своимъ путемъ уходятъ дальше. Въ это время Апракса слегла, заболѣла и такой болѣзнью, что ничто не помогаетъ. Тогда она, предчувствуя смерть, кается въ томъ, что она оклеветала Касьянушку. Къ этому времени калики возвращаются въ Кіевъ. Отправляются въ степь, гдѣ закопанъ Касьянъ, и къ удивленію находятъ его живымъ и невредимымъ, несмотря на то, что прошло много времени съ той поры, какъ его закопали. Его освобождаютъ, онъ идетъ въ Кіевъ, возлагаетъ свою «святую руку» на больную Апраксу, и она исцѣляется. Вотъ краткое содержаніе этой былины.

Присмотрѣвшись даже къ этому краткому пересказу, очень легко догадаться, откуда идетъ основной сюжетъ этой былины: несомнѣнно, что этотъ сюжетъ библейскій, скелетъ того разсказа (или лучше—двухъ), который намъ извѣстенъ изъ исторіи объ Іосифѣ Прекрасномъ [1]). Этотъ сюжетъ, дѣйствительно, принадлежитъ къ числу популярныхъ въ народномъ устномъ и книжномъ обиходѣ: какъ указаніе на его популярность, можно напомнить цѣлый рядъ духовныхъ стиховъ, правда, произведеній, сравнительно болѣе поздняго времени; но въ этихъ духовныхъ стихахъ мы не находимъ ряда подробностей, которыя мы встрѣчаемъ въ былинѣ. Это показываетъ, что былина свой сюжетъ разработала иначе, нежели духовный стихъ, т.-е., былина не зависитъ отъ духовнаго стиха. Поэтому, духовные стихи, которые могли бы дать намъ основанія для хронологіи былины, не могутъ указывать на ея сравнительно позднее происхожденіе. Въ то же время основныя черты былины

---

[1]) Въ былинѣ соединены въ одно два эпизода изъ одной исторіи: Іосифъ и жена Пентефрія и Іосифъ и Веньяминъ (исторія, какъ Іосифъ открылся братьямъ, исторія съ кубкомъ).

и духовнаго стиха сходны; это говоритъ за то, что былина, независимо отъ духовнаго стиха, разработала тотъ же сюжетъ. Существуютъ и сказки, которыя разсказываютъ съ разными варіантами ту же самую тему: тема очень житейская, которая очень хорошо входитъ въ кругъ разсказовъ о женской хитрости, играющихъ видную роль, какъ въ устной, такъ и въ старой письменной литературѣ, такъ что нѣтъ ничего удивительнаго, что разсказы объ Іосифѣ Прекрасномъ и женѣ Пентефрія перешли въ народную литературу, въ лубочную литературу (гдѣ исторія Іосифа Прекраснаго печаталась въ большомъ количествѣ даже въ XIX столѣтіи). Въ самой церковной письменности сказанія объ Іосифѣ Прекрасномъ, какъ высокомъ образцѣ цѣломудрія, добродѣтели, также получили большое распространеніе: въ популярномъ «Златоустникѣ» (который представляетъ сборникъ поученій, пріуроченныхъ ко днямъ Великаго поста) въ великую среду есть сказаніе Ефрема Сирина объ Іосифѣ Прекрасномъ. «Златоустникъ» же памятникъ довольно древній и весьма популярный въ нашей письменности (не моложе XIV вѣка). Такимъ образомъ, вполнѣ естественно, что и былина использовала такой популярный разсказъ, который держится въ литературѣ книжной и устной въ теченіе цѣлаго ряда столѣтій. Сопоставляя былину съ библейскимъ разсказомъ, мы находимъ, однако, лишь общее сходство въ фабулѣ, что вполнѣ понятно, такъ какъ библейскій разсказъ является только первоисточникомъ былинной фабулы; мы замѣчаемъ въ то же время рядъ и отличій, которыя не покрываются и библейскимъ разсказомъ. Для этихъ отличій (собственно говоря, и сдѣлавшихъ былину самостоятельнымъ произведеніемъ) приходится искать объясненія уже за предѣлами библейскаго разсказа. Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе въ былинѣ то, что она носитъ названіе «40 каликъ съ каликой», о которыхъ въ ней и говорится, что главная роль въ ней принадлежитъ не обыкновенному русскому богатырю, представителю силы или богатства, ума или находчивости, а калик ѣ, и этотъ калика рисуется довольно опредѣленно: это — Кассіанъ, атаманъ каличьяго круга; каличій «кругъ»—также очень опредѣленный: эти 40 каликъ съ каликой рисуются, правда, въ чертахъ до извѣстной степени богатырскихъ: разсказывается, что они, увидя проѣзжающаго на охоту князя Владиміра со свитой, встали въ кругъ, воткнули свои посохи въ землю, на нихъ повѣсили сумочки и такимъ «зычнымъ» голосомъ стали просить у кн. Владиміра Христовой милостыни, что конь подъ Владиміромъ опустился на заднія ноги; стало быть, калики не совсѣмъ простые люди, а нѣсколько напоминающіе богатырей (въ родѣ того Соловья разбойника, свистъ котораго производитъ такое же дѣйствіе при дворѣ Владиміра). Несомнѣнно, что черты богатырскія

нанесены на первоначально не богатырскій типъ. Съ другой стороны, возможность перенесенія богатырской черты на калику-странника естественно вытекаетъ изъ самого характера древняго калики: это—не теперешній нищій, убогій, а человѣкъ сильный и волей и физически, которому при тогдашней трудности и опасности путешествій особенно въ далекую страну невѣрныхъ, нельзя было быть убогимъ, слабымъ; это могъ быть человѣкъ крупный и въ соціальномъ отношеніи, каковы, напримѣръ, извѣстный калика игуменъ Даніилъ или Василій, впослѣдствіи ставшій епископомъ Новгородскимъ и др. Таковы же, очевидно, и другіе былинные калики: каличище Иванище (былина объ Ильѣ и Идолищѣ), несомнѣнно, человѣкъ богатырскаго склада: у него клюка подорожная въ 40 пудовъ, онъ хватаетъ для опроса татарина, послѣ чего кидаетъ его такъ, что тотъ разбивается вдребезги; Васька Буслаевъ, ходящій на богомолье (каликой), тоже богатырь. Поэтому можно полагать, что и въ нашей былинѣ на типѣ каликъ отложились (конечно, съ поэтической гиперболизаціей) дѣйствительно историческія черты древне-русскаго калики, путника во Св. землю. Каличій «кругъ» былина опредѣляетъ, какъ стройную организацію. Калики идутъ въ Святую землю, лапотки на паломникахъ семи шелковъ, шапки на нихъ «земли греческой» (та самая шапка, которая играетъ роль въ былинѣ о Калинѣ царѣ: Илья, переодѣтый каликой, убиваетъ этой шляпой Калина царя), калики съ дубинкой, въ которой, по былинамъ, ни много, ни мало, 90 пудовъ; у каликъ есть свой уставъ: они идутъ стройной толпой (ихъ сорокъ человѣкъ), они имѣютъ своего «атамана», имѣютъ извѣстный «уговоръ»—не красть, не воровать, не блудить по дорогѣ; у нихъ есть опредѣленный кодексъ наказаній — закапываніе въ землю провинившихся. Идутъ они во Святую землю съ опредѣленной цѣлью: «къ Святому гробу приложитися, нетлѣнной ризой утеретися, въ Іорданъ-рѣкѣ искупатися», какъ разъ та цѣль, которую обыкновенно преслѣдуютъ въ хожденіяхъ своихъ наши паломники, оставившіе письменныя описанія своихъ путешествій: такъ, въ хожденіи одного паломника (Іоны Маленькаго), какъ разъ встрѣчается и эта фраза (можетъ быть, она и заимствована изъ былины). Та же самая цѣль путешествія во Св. землю указана въ былинѣ о Васькѣ Буслаевѣ. Обратившись къ историческимъ даннымъ, мы находимъ, что типъ калики паломника по святымъ мѣстамъ довольно отчетливо опредѣлился и въ русской жизни съ ранняго времени. Уже такъ называемый «Уставъ кн. Владимира» (который, впрочемъ, относится къ болѣе позднему времени, но не позднѣе XI—XII в.) знаетъ уже «каликъ», которые имѣютъ совершенно опредѣленныя гражданскія права: они питаются отъ церкви, ходятъ по святымъ мѣстамъ, приписаны къ извѣстной церкви, въ цѣ-

ломъ рядѣ случаевъ они подлежатъ духовному суду (не судятся мірскимъ судомъ, а судомъ владычнымъ). Можно добавить, что въ XII вѣкѣ каличество настолько уже было развито, что противъ него церковной администраціей принимались мѣры: въ извѣстныхъ «Вопросахъ» Кирикъ (половина XII в.) спрашиваетъ своего архіерея, можно ли давать благословеніе, отпускать людей, которые отправляются въ Святыя земли? Ему Нифонтъ (еп. Новгородскій) отвѣчаетъ, что не надо отпускать, а надо всячески препятствовать этому: это губитъ людей, потому что многіе люди, отправляясь въ Святую землю, идутъ не съ религіозной цѣлью, а чтобы удовлетворить своимъ скитальческимъ наклонностямъ («абы по розну пити и ясти»). Изъ изложеннаго ясно, что на былинѣ отложилась русская бытовая дѣйствительность и отложилась при томъ довольно точно. Такимъ образомъ, эта историческая культурная подкладка, несомнѣнно, можетъ дать объясненіе тому, почему библейская легенда облеклась въ форму разсказа о каликахъ. Это даетъ намъ возможность до извѣстной степени заглянуть въ самое происхожденіе нашей былины: сама былина, гдѣ героями являются калики, былина, которая отразила на себѣ съ полнотой и точностью историческій высокій идеальный обликъ калики [1]) и историческія условія каличьей обстановки, сама былина, скорѣе всего, вышла изъ каличьей среды древняго времени.

Кромѣ того, въ частности, самый сюжетъ о 40 каликахъ, идущихъ или ходившихъ во Святую землю, т.-е. тотъ, который налегъ на сюжетъ объ Іосифѣ Прекрасномъ, засвидѣтельствованъ, какъ существовавшее на Руси преданіе о дѣйствительномъ событіи. Это преданіе сохранилось въ записи, правда, довольно поздняго времени (въ отрывкѣ изъ Торжковской мѣстной лѣтописи по рукописи XVI вѣка), но относится къ XII в. съ продолженіемъ въ XIV-мъ; здѣсь разсказывается: «Въ лѣто 6671 (1163) поставиша Іоанна архіепископомъ Новгороду [2]). При семъ ходиша въ Іерусалимъ калици и при князѣ русстемъ Ростиславѣ. Се ходиша изъ Великаго Новогорода отъ святой Софѣи 40 мужъ калици ко граду Іерусалиму...» Эти калики, говоритъ дальше лѣтописная запись, вернувшись, встрѣчены были съ почетомъ новгородцами, принесли съ собой мощи, которыя затѣмъ разносятъ по цер-

---

[1]) Нравственная высота Касьянушки въ былинѣ подчеркнута; онъ исцѣляетъ Апраксу, возложивъ на нее свою святую руку.

[2]) Для того, чтобы отмѣтить ту атмосферу, гдѣ эта запись появилась, напомнимъ, что Іоаннъ архіеп., это—тотъ Іоаннъ Новгородскій, около имени коего вращается цѣлый рядъ мѣстныхъ легендъ, вошедшихъ въ нашу письменность. Замѣтимъ также, что въ числѣ легендъ объ этомъ Іоаннѣ, есть и разсказъ о чудесномъ (въ одну ночь) его путешествіи въ Іерусалимъ.

квамъ, между прочимъ, въ Торжокъ, гдѣ ими дана была замѣчательная чаша «притворянамъ» (причту) за прокормъ. Въ 1329 г. Иванъ Калита, бывши въ Торжкѣ, получилъ эту, принесенную въ XII вѣкѣ, каликами чашу въ подарокъ, за что далъ отъ себя кормы «притворянамъ». Совпаденіе этой записи съ тѣмъ, что находимъ въ былинѣ, позволяетъ поставить эту запись въ связь съ былиной и видѣть въ «40 каликахъ» былинныхъ тѣхъ каликъ, которые въ 1163 г. ходили во Св. землю изъ Новгорода, иначе,—видѣть въ легендѣ, сохраненной записью, источникъ этой детали былины. Если это предположеніе является вѣроятнымъ (а сомнѣваться нѣтъ основаній), тогда до извѣстной степени объяснимо и все остальное въ былинѣ. Если эта былина сложилась въ каличьемъ кругу, тогда станетъ понятнымъ, почему сюжетъ былины взятъ изъ религіозной легенды объ Іосифѣ Прекрасномъ. Калики, какъ люди церковные, какъ болѣе близко стоящіе къ церкви, ютятся при церкви, присутствуютъ при богослуженіи, посвящаютъ себя разнаго рода духовнымъ подвигамъ, а въ свободное время принимаютъ участіе въ богослуженіи, въ качествѣ пѣвцовъ и чтецовъ. Люди они до извѣстной степени грамотные, во всякомъ случаѣ такіе, для которыхъ письменность и ея памятники являются болѣе доступными, чѣмъ для простыхъ міранъ. Это положеніе каликъ даетъ имъ возможность заимствовать и обрабатывать религіозныя легенды, идущія въ большинствѣ случаевъ изъ книжнаго источника. Такимъ образомъ, на былинѣ о 40 каликахъ мы довольно отчетливо видимъ, какимъ образомъ получается былинный сюжетъ: это—соединеніе книжнаго сюжета съ преданіемъ. Отъ книжнаго своего источника онъ отличается той переработкой, которая совершилась въ средѣ промежуточной между культурной, грамотной и народной устной, т.-е., въ средѣ въ родѣ каличьей, въ данномъ случаѣ. Намъ придется еще не разъ убѣдиться въ томъ, сколько въ нашу устную литературу вноситъ этотъ классъ полукнижныхъ, полународныхъ людей. При такомъ объясненіи происхожденія былины о 40 каликахъ станетъ понятнымъ и то, почему для нея взятъ, именно, такой сюжетъ (онъ популярный и религіозный), почему придана ему такая дидактическая окраска: легкомысленная, сластолюбивая Апракса поклепала на «святого» человѣка (какимъ является благочестивый калика), отправляющагося совершать свой богоугодный подвигъ, получаетъ суровое наказаніе за свой грѣхъ, получаетъ и исцѣленіе отъ руки того же «святого» человѣка, но только тогда, когда она призналась въ грѣхѣ, покаялась. Эта тенденціозность, которая сквозитъ въ нашей былинѣ, чужда большинству нашихъ былинъ; наконецъ, «богатырскій» характеръ каликъ по тому же самому не будетъ противорѣчить общему характеру «каличьей» былины: калика и теперь еще

поетъ боевую былину рядомъ съ религіознымъ духовнымъ стихомъ, не считая ее по содержанію противнымъ его преимущественно религіозному настроенію. Съ той же точки зрѣнія, религіозно-дидактической, понятенъ въ былинѣ элементъ чуда: Касьянъ чудеснымъ образомъ, какъ невинно пострадавшій, остается живъ, закопанный въ землю; онъ же совершаетъ чудо—исцѣленіе Апраксы. Такимъ образомъ, здѣсь само чудесное—иного, религіознаго, характера, нежели фантастика въ другихъ былинахъ. Калика богатырь своей физической силой не пользуется: будучи богатыремъ силы, онъ на дѣлѣ богатырь и духа.

Такимъ образомъ происхожденіе былины изъ особой среды объясняетъ намъ и особенность ея сюжета, и весь ея характеръ, отличный отъ боевой былины и отъ обычной былины-новеллы. Въ результатѣ мы должны представить процессъ созданія былины такъ: взятъ библейскій сюжетъ, подходящій, интересный, поучительный, обрабатывается онъ каликами въ каличью богатырскую былину на основѣ преданія о хожденіи каликъ изъ Новгорода въ 1163 г..

Одно еще въ нашей былинѣ остается не яснымъ: если пріуроченіе дѣйствія былины къ Кіеву, роль Владимира и Апраксы понятны, какъ шаблонъ, данный въ цѣломъ рядѣ былинъ, то не ясно, откуда взялось имя героя: Касьянушка [1])? почему такое, не совсѣмъ обыкновенное, имя дано главному лицу былины? Имѣя въ виду сказанное о былинѣ до сихъ поръ, естественно поискать объясненія этого имени въ той же религіозной (устной или письменной, безразлично) легендѣ. Что касается Касьяна, то святыхъ Касьяновъ мы знаемъ нѣсколько. Есть Касьянъ, который живетъ и въ народной легендѣ, Римлянинъ, милостивый и жалостливый, по извѣстной легендѣ о Николѣ и Касьянѣ [2]). Есть и другой Касьянъ—святой русскій (собственно, грекъ подвизавшійся въ Россіи). На сѣверѣ въ Ярославской губерніи была Касьянова пустынь на Учмѣ-рѣкѣ, недалеко отъ Углича. Этотъ святой подвижникъ, основатель монастыря въ XV в., находится въ довольно тѣсныхъ сношеніяхъ съ другимъ мѣстнымъ святымъ Даніиломъ Переяславскимъ. И въ житіи Даніила Переяславскаго, и въ сказаніяхъ о Касьянѣ Учмен-

---

[1]) Оно, какъ встрѣчаемое при томъ въ лучшихъ записяхъ, должно быть признано основнымъ для былины въ томъ ея видѣ, какъ мы ее знаемъ; въ нѣкоторыхъ пересказахъ встрѣчаемъ имя Михайлушки, въ иныхъ—соединеніе того и другого: Касьянъ Михайловичъ.

[2]) Легенда разсказываетъ о томъ, какъ Касьянъ отказался помочь вытащить изъ грязи возъ, боясь запачкать нарядную свою одежду; а это сдѣлалъ св. Никола, будучи въ полномъ облаченіи; за это, говоритъ легенда, Николѣ празднуютъ 2 раза въ годъ, а Касьяну въ 4 года разъ (29 февраля). Ясно, что приведенная легенда, такъ оцѣнивающая Касьяна сравнительно съ Николой, кромѣ того по содержанію не имѣющая ничего общаго съ былиной, не могла дать послѣдней имени Касьяна.

скомъ мы находимъ довольно любопытныя для насъ указанія. Тамъ какъ разъ про Касьяна (и отчасти съ нѣкоторыми подробностями про Даніила Переяславскаго) разсказывается почти то же самое, что разсказывается въ нашей былинѣ про Касьяна и Апраксу, т.-е., въ этомъ житейскомъ разсказѣ данъ, какъ одинъ изъ эпизодовъ изъ жизни святого, отзвукъ того же библейскаго сюжета, но уже пріуроченный къ данной мѣстности и къ данному лицу (Касьяну; здѣсь роль жены Пентефрія играетъ сосѣдняя помѣщица). Этотъ Касьянъ ближе подходитъ къ былинному Касьянушкѣ (подъ которымъ скрывается Іосифъ Прекрасный); отсюда можно заключать, что въ былинѣ имя Касьянушки явилось подъ вліяніемъ сказанія о Касьянѣ Учменскомъ. Считать же эпизодъ изъ житія Касьяна Учменскаго источникомъ былины нѣтъ никакого основанія: въ немъ лишь отдѣльный эпизодъ, который совпадаетъ съ эпизодомъ былины, и общее имя Касьяна. Это наблюденіе, если оно вѣрно, даетъ намъ возможность еще кое-что извлечь для литературной исторіи былины. Если допустимо въ данномъ случаѣ отложеніе имени именно Касьяна Учменскаго въ былинѣ, это дастъ намъ право предполагать и время появленія былины въ томъ ея видѣ, какъ мы ее знаемъ, и косвенно въ то же время дастъ указаніе на мѣсто происхожденія былины: Кассіянъ—святой сѣверной области, входившей въ составъ старой Новгородской; разсказъ торжковской лѣтописи о 40 каликахъ XII в.—также новгородскій. Все ведетъ къ тому выводу, что и первоначальный обликъ былина получила на сѣверѣ, а не на югѣ русскаго племени. Что же касается времени, то, если дѣйствительно сказаніе о Касьянѣ Учменскомъ оказало извѣстное вліяніе на былину, время появленія этого имени въ былинѣ опредѣляется приблизительно XV в., т.-е.: извѣстная намъ редакція былины не можетъ быть старше времени, къ которому относится жизнь Касьяна Учменскаго [1]).

[1]) На то же сѣверное происхожденіе былины указываетъ, вѣроятно, и ея географическая номенклатура: Евфиміева пустынь, Боголюбовъ монастырь, откуда идутъ калики, указываютъ на сѣверныя области (первая—Спасо-Евфиміевъ монастырь, близь Вологды, второй—близь г. Владимира на Клязьмѣ), рѣка Черега, на которой встрѣчаются калики Владимира, также на сѣверѣ. Имя каличьяго атамана Михайлушка, встрѣчаемое въ иныхъ пересказахъ былины, считается нѣкоторыми изслѣдователями (напр. А. В. Марковымъ) первоначальнымъ въ былинѣ и вмѣстѣ съ самой фабулой заимствованнымъ изъ житія сирійскаго святого Михаила Черногорца (IX в.), встрѣчающагося во второй редакціи русскаго Пролога (XV—XVI в.); въ житіи разсказывается эпизодъ, похожій на былинную фабулу и вѣроятно восходящій къ той же исторіи Іосифа Прекраснаго, какъ къ первоисточнику (см. Этногр. Обзор. кн. 41—42). Если это предположеніе и оправдается, и ему придется отдать предпочтеніе передъ изложеннымъ выше, то оно во всякомъ случаѣ не измѣнитъ предположенія о сѣверномъ происхожденіи былины и объ ея исторіи въ существѣ.

Пріурочивая извѣстную намъ редакцію былины ко времени не старше XV в. и къ району Новгородской области, этимъ самымъ мы допускаемъ неисконность пріуроченія мѣста ея дѣйствія къ Кіеву и кн. Владимира, т.-е.: кн. Владимиръ и Апракса не принадлежали первоначально этой былинѣ; и перенесеніе дѣйствія былины въ Кіевъ къ Владимиру должно быть сочтено уже явленіемъ вторичнымъ въ исторіи былиннаго текста. Такой взглядъ на роль г. Кіева и князя Владимира въ былинѣ первоначально не кіевской находитъ себѣ аналогію въ рядѣ другихъ случаевъ въ былинномъ же эпосѣ, какъ это показалъ давно В. Ѳ. Миллеръ. Но, можетъ быть, можно указать и ближайщій поводъ, мотивъ того, что былина получила пріуроченіе къ Кіеву: блудливая жена Пентефрія легенды объ Іосифѣ, общее книжное и полукнижное теоретическое представленіе о женщинѣ въ древней Руси невольно сближались съ былиннымъ представленіемъ о легкомысленной и нецѣломудренной женѣ князя Владимира. Княгиня Апракса въ былинѣ о Калинѣ Царѣ и другихъ (напр., Алешѣ и Тугаринѣ) не отличается высокой нравственностью: она очень падка на чужихъ мужей, очень любитъ кокетничать, и такой типъ Апраксы утвердился довольно прочно въ былинномъ эпосѣ. Стало быть, въ нашей былинѣ Апракса замѣнила собою какую-то другую личность, которая въ свою очередь восходитъ (если имѣть въ виду фабулу—основу былины) къ типу жены Пентефрія. А за Апраксой, попавшей въ былину о каликахъ, подтянулся, естественно, Владимиръ, какъ извѣстно, активной роли въ былинѣ не играющій, и лицо не необходимое въ ней; а за Владимиромъ и Апраксой естественно появилось и пріуроченіе къ Кіеву. Такимъ образомъ съ этой точки зрѣнія появленіе въ былинѣ Кіева и Владимира съ Апраксой—элементъ, привзошедшій въ первоначальную былину.

Передъ нами, т. о., довольно отчетливая, прозрачная картина созданія и развитія былины. Книжное преданіе религіознаго характера обрабатывается на основѣ преданія мѣстнаго историческаго (1163 г.), привлекаетъ элементы изъ мѣстнаго же новгородскаго преданія (о Касьянѣ), сближается съ мотивами старшаго эпическаго характера (Владимиръ и Апракса), въ результатѣ чего получается въ окончательномъ видѣ былины новое пріуроченіе ея—къ Кіеву. Въ отдѣльныхъ моментахъ былина о 40 каликахъ представляетъ, т. о., аналогію по происхожденію и по исторіи другимъ, выше разсмотрѣннымъ.

XVII. Василій Буслаевъ. Къ числу былинъ, отмѣченныхъ настолько яркимъ мѣстнымъ колоритомъ, что онъ, взятый самъ по себѣ, уже опредѣляетъ мѣстное—въ данномъ случаѣ, новгородское—происхожде-

ніе, относятся былины о Василіи Буслаевѣ [1]). Съ именемъ Василія Буслаева связано собственно два сюжета: о ссорѣ его съ новгородцами и о поѣздкѣ на богомолье и смерти. Особенно типичной является первая былина: она даетъ очень яркій эпизодъ изъ жизни Новгорода: Василій Буслаевъ набираетъ дружину (но это не княжеская дружина, а сбродъ, собравшійся къ Василію ради кутежа, соблазненный его обѣщаніемъ поить и кормить), затѣваетъ ссору съ новгородцами, производитъ ихъ избіеніе, пока не удержанъ матерью. По второй былинѣ Василій все тотъ же типичный искатель приключеній, безпокойный, заносчивый, необузданный человѣкъ, ни во что не вѣрящій, ѣдетъ съ дружиной во Св. землю на богомолье: много было побито, граблено—надо «своя душа спасти»—мотивъ путешествія; но и въ путешествіи ведетъ онъ себя не лучше; за все за это онъ платится жизнью при скаканіи черезъ камень на Ѳаворъ-горѣ. Имя Василія Буслаева съ надлежащей точностью не поддается опредѣленію: правда, оно встрѣчено въ Никоновскомъ лѣтописномъ сводѣ, какъ имя посадника Новгородскаго XII в., (что̀ давало бы возможность видѣть въ былинномъ Буслаевѣ, какъ мы то сдѣлали относительно Садка, отзвукъ имени посадника, убитаго во время одного похода новгородцевъ (1171 г.) на Югру); но самое имя «историческаго» Василія Буслаева не надежно: въ извѣстныхъ по Новгородскимъ лѣтописямъ спискахъ посадниковъ оно не помѣщено, въ другихъ лѣтописныхъ сводахъ самого событія похода на Югру не отмѣчено, стало быть, нѣтъ и имени Буслаева; Никоновскій же сводъ, сохранившій это имя, отличается между прочими особенностями тѣмъ, что охотно заноситъ на свои страницы устныя преданія, такъ что не исключена возможность предположенія о заносѣ имени Василія Буслаева сюда, какъ разъ, изъ нашей былины. Какъ бы то ни было ближайшій анализъ былинъ о Василіи Буслаевѣ даетъ указанія на то, что былины эти, сложившіяся м. б. въ XIV—XV в. (эпоха разцвѣта Новгородской жизни), дошли до насъ, можетъ быть, въ скоморошьей обработкѣ [2]), сильно окрашенныя чертами позднѣйшаго времени, главнымъ образомъ XVI в., что̀, м. б., служитъ своеобразнымъ отзвукомъ московско-новгородскихъ отношеній, особенно оживленныхъ въ это время [3]).

Оставляя въ сторонѣ другія былины новгородскаго происхожденія

---

[1]) Тексты: Кирша Даниловъ, № 9 и 18.

[2]) Мнѣніе Н. Н. Жданова: „Рус. былевой эпосъ“ (Спб. 1895), стр. 401 и сл.

[3]) Эти московскаго времени черты, отложившіеся на былинѣ, собраны С. К. Шамбинаго въ его изслѣдованіи „Пѣсни времени Грознаго“ (Серг. посадъ 1913). Предположеніе же его о томъ, что подъ Василіемъ Буслаевымъ скрытъ самъ Иванъ Грозный, остается недоказаннымъ.

(о Хотѣнѣ, (дающую рядъ параллелей и м. б. стоящую въ связи съ былиной о Василіи Буслаевѣ), гостѣ Терентьищѣ, Соловьѣ Будимировичѣ (прежде относившемся послѣдователями къ Кіеву или Галичу), и др.), мы всеже видимъ, что старый русскій центръ—Новгородъ—со своей областью не только сохранялъ старое южное наслѣдіе, но далъ эпосу и цѣлый рядъ своихъ темъ, отразившихъ такъ или иначе своеобразный бытъ Великаго Новгорода: представляя по своимъ источникамъ такую же пестроту, какъ и былина южная, былина новгородская, взятая во всемъ ея доступномъ намъ теперь ея объемѣ, въ общемъ даетъ любопытное отличіе отъ южной: въ ней преобладаетъ былина-новелла, немногія же былины боевого характера даютъ типъ не богатыря—военнаго, а скорѣе типъ богатыря силы, направленной на личную удаль, иногда просто буйнаго человѣка. Эта черта новгородской былины станетъ понятной, если вспомнить, что она явилась отраженіемъ быта, гдѣ городскіе, торговые интересы стояли на первомъ мѣстѣ, а идея защиты Русской земли, выдвинувшая военное сословіе на югѣ, стояла на заднемъ планѣ.

Говоря о былинахъ южныхъ и новгородскихъ, мы имѣли случаи указывать не только на роль мѣстныхъ преданій въ созданіи былины, но и на то, что въ южномъ кругѣ былинъ оказывались былины, зародившіяся внѣ этого круга (напр., былина объ Алешѣ, галицкія былины). Это предполагаетъ созданіе былинъ и въ другихъ менѣе видныхъ центрахъ стараго былиннаго преданія: ростовскомъ, суздальскомъ краѣ, куда впослѣдствіи на пути на сѣверъ проникала вмѣстѣ съ колонизацией и былина южная; слѣдомъ этого передвиженія, какъ мы видѣли, были отложенія позднѣйшаго времени—московскаго, главнымъ образомъ—на старшей былинѣ, какъ результатъ вліянія новаго культурнаго центра русской жизни. Естественно предположить, что въ Московской исторической области созидалась и своя былина. Дѣйствительно, образцы былины, скорѣе всего уже «московской», мы можемъ намѣтить. Правда, эта былина не многочисленна, да и не могла быть особенно обильна: Москва, съ одной стороны, восприняла старшее наслѣдіе, съ другой стороны стала центромъ сравнительно поздно (XIV—XV в.), а кромѣ того, какъ увидимъ, она главнымъ образомъ явилась создательницей того вида эпическаго творчества, который сталъ преемникомъ былины въ силу историческихъ условій жизни великорусскаго племени (о чемъ также ниже).

Къ числу «московскихъ» былинъ въ видѣ образчика, который подтвердитъ наши ранѣе сдѣланныя наблюденія надъ жизнью и композиціей былины, относимъ былины о Данилѣ Ловчанинѣ и Василіи Окуловичѣ.

XVIII. Данило Ловчанинъ. Былина о немъ [1]), встрѣчающаяся рѣдко, неизвѣстна до сихъ поръ сѣвернымъ пѣвцамъ: обѣ извѣстныя ея записи идутъ, одна изъ Нижегородской губ., другая изъ Симбирской, т.-е. изъ мѣстностей, колонизованныхъ изъ Московской (выражаясь осторожнѣе—Суздальской) области. Какъ предполагаетъ В. Ѳ. Миллеръ [2]), историческая основа этой былины о неудачной попыткѣ Владимира путемъ убійства мужа завладѣть чужой женой [3]) находится въ связи съ суздальско-московскими сказаніями объ убіеніи князя Даніила Александровича, на имя котораго перенесены черты убіенія Андрея Боголюбскаго; это подтверждаетъ возможность приписать сложеніе былины Суздальщинѣ, для которой преданіе о Данилѣ представляло мѣстный интересъ, и объяснить узкій районъ извѣстности былины. Другіе изслѣдователи былину о Данилѣ Ловчанинѣ ставятъ въ связь съ преданіемъ о рязанской княгинѣ Евпраксіи, мужа которой убиваетъ Батый, чтобы ею завладѣть, но неудачно: Евпраксія (подобно Настасьѣ Микуличнѣ, женѣ Данилы) кончаетъ самоубійствомъ; въ этомъ преданіи есть и рязанскій злой бояринъ, который, подобно Мишатычкѣ былины, указываетъ Батыю на красавицу Евпраксію. Въ такомъ случаѣ былину приходится связывать съ мѣстнымъ рязанскимъ преданіемъ, т.-е., точно также считать ее по происхожденію изъ центральной Руси (Рязань также подтянута къ Москвѣ). Какъ бы то ни было, вся бытовая окраска былины въ томъ видѣ, какъ мы ее знаемъ, выдаетъ свою тѣсную связь съ бытомъ и культурой уже московскаго времени и района (ср. Б. М. Соколова. Историческій элементъ въ былинахъ о Д. Л.—Рус. Фил. Вѣстн. 1910, III—IV).

XIX. Василій Окуловичъ. Другая былина, на которой мы сейчасъ остановимся [1]), еще прозрачнѣе по своему составу, но она даетъ нѣкоторые варіанты къ картинѣ о происхожденіи русской былины. Это былина о Соломонѣ и Василіи Окуловичѣ. Былина о Василіи Окуловичѣ разсказываетъ совершенно опредѣленную легенду, исторія которой намъ въ значительной степени извѣстна. Подъ Василіемъ Окуло-

---

[1]) Текстъ: П. В. Кирѣевскій III, стр. 28 и 32.

[2]) Этногр. Обозрѣніе, кн. XV (Матер. для исторіи былинныхъ сюжетовъ, XII).

[3]) Начало былины построено по образцу былины о Добрынѣ-сватѣ (см. выше, стр. 234), а самый сюжетъ разработанъ едва ли не подъ вліяніемъ извѣстнаго библейскаго сюжета о Давидѣ и Уріи, женой котораго, Вирсавіей, овладѣваетъ Давидъ, распорядившись послать Урію на войну и поставить его въ опасное мѣсто во время сраженія. Нельзя не замѣтить, что содержаніе былины окажется въ несогласіи съ обычнымъ представленіемъ о Владимірѣ и Апраксѣ, прочно установившемся въ старшей былинѣ, что говоритъ также объ иномъ мѣстѣ и времени созданія былины о Данилѣ.

[1]) Текстъ: Рыбниковъ, II, № 183.

вичемъ скрывается никто иной, какъ Поръ или Китоврасъ, врагъ Соломона. Сюжетъ этой былины не боевой, а своего рода новеллистическій, разсказанъ въ одной изъ нѣсколькихъ повѣстей о Соломонѣ, циркулировавшихъ въ русской письменности, преимущественно съ XV вѣка. Дѣйствующими лицами въ нихъ являются царь Поръ или Китоврасъ и Соломонъ. У царя Соломона жена Соломонія (имя это осталось и въ былинѣ). Эту женщину соблазняетъ и увозитъ въ свое царство Поръ или Китоврасъ. Соломонида уже успѣла приспособиться къ новому положенію, измѣнила мужу, и, когда Соломонъ является въ царство Китовраса къ ней подъ видомъ захожаго странника и открывается ей, она выдаетъ его головой своему новому мужу. Тотъ рѣшается расправиться съ нимъ, приказываетъ его казнить, и всѣ, т.-е., Соломонъ, Китоврасъ, Соломонія и родившійся отъ этого новаго брака сынъ, ѣдутъ на одной телѣгѣ въ поле, гдѣ Соломона должны повѣситъ. Тамъ на выборъ поставлены три петли: шелковая, шерстяная и пеньковая; въ одной изъ нихъ долженъ быть повѣшенъ Соломонъ. Передъ казнью Соломонъ проситъ позволенія проиграть послѣдній разъ на дудочкѣ, на что, несмотря на протестъ Соломоніи, соглашается Китоврасъ. Тотъ играетъ разъ, другой, третій; на дѣлѣ же это былъ условный знакъ, по которому появляется дружина Соломона, тайно приведенная и скрытая по сосѣдству, и разбиваетъ свиту царя, хватаетъ царя, и въ этихъ трехъ петляхъ вѣшаютъ самого Китовраса, Соломонію и ихъ незаконнаго сына. Содержаніе былины вполнѣ совпадаетъ съ разсказаннымъ, давая даже тѣ имена (кромѣ одного—Василія Окуловича); это ведетъ къ заключенію, что основной сюжетъ былины сохранилъ свой источникъ, который существенной переработкѣ не подвергся и не успѣлъ развить большого количества варіантовъ.

Какимъ образомъ слагатель былины нашелъ и обработалъ такой сюжетъ, также можно выяснить. Книжный разсказъ о Соломонѣ и Китоврасѣ пользуется широкимъ распространеніемъ въ нашей старой книжной литературѣ. Цѣлый рядъ сказаній съ разными подробностями о Соломонѣ и Китоврасѣ, Соломонѣ и царицѣ Южской, Соломоновыхъ судахъ, встрѣчается очень часто въ старой письменности въ отдѣльныхъ сборникахъ и въ связи съ другими произведеніями (напр., очень часто во второй редакціи т. н. «Толковой Палеи»). Разсказы о Соломонѣ и Китоврасѣ настолько были распространены въ старой еще югославянской литературѣ, что они, какъ противорѣчащіе библейскимъ, вызвали запрещеніе: они занесены въ списокъ книгъ апокрифическихъ (т.-е. негодныхъ для чтенія) еще въ XII вѣкѣ. Исторія этихъ сказаній книжныхъ о Соломонѣ, представляется въ общемъ въ такомъ

видѣ [1]). Прежде всего, эти сказанія по времени появленія въ русской литературѣ разновременны. Сказанія о премудрости Соломона, о томъ, какъ онъ перехитрилъ царицу Южскую, какъ остроумно отвѣтилъ на всѣ ея загадки, извѣстны въ славянскихъ и русскихъ текстахъ уже въ XIV—XV вв. Также древни, повидимому, и разсказы о судахъ Соломона, варіирующіе извѣстную библейскую тему о двухъ женщинахъ и ребенкѣ, дающіе такіе же образцы остроумія Соломона. Эти разсказы весьма популярны: отраженіе ихъ есть въ устной поэзіи, главнымъ образомъ, въ сказкѣ. Разсказы о Соломонѣ и Китоврасѣ, повидимому, ставшіе извѣстными у насъ нѣсколько позднѣе (въ XV—XVI в.), также весьма популярны и также оказали вліяніе на устную словесность. Китоврасъ—это какое-то чудовище, получеловѣкъ, полузвѣрь (его сосопоставляютъ съ кентаврами, гандарвами въ античныхъ и восточныхъ сказаніяхъ), но онъ мудръ; безъ него нельзя построить храмъ Соломона: Соломону нуженъ чудесный камень «шамиръ», который рѣжетъ самый твердый камень безъ всякаго труда, необходимъ для обтесыванія камней для храма. Добыть этотъ «шамиръ» можно только при помощи Китовраса, который знаетъ, гдѣ его найти. Соломонъ посылаетъ храбраго и въ то же время хитраго воеводу за Китоврасомъ. Бояринъ выкачиваетъ воду изъ колодца, изъ котораго привыкъ пить Китоврасъ, вкладываетъ туда мѣхъ съ виномъ и спратавшись поджидаетъ Китовраса. Китоврасъ пришелъ, захотѣлъ пить, догадался сразу, что тамъ вино, но удержаться не могъ, опьянѣлъ и заснулъ. Тогда на него бояринъ надѣваетъ заклинательный амулетъ съ именемъ Божіимъ. Безсильный Китоврасъ идетъ къ Соломону, по дорогѣ даетъ разнаго рода загадочныя, но сбывающіяся точно, предсказанія, и къ концѣ-концовъ бесѣдуетъ съ Соломономъ, указываетъ, какъ добыть этотъ камень. Но дружба между Соломономъ и Китоврасомъ продолжается не долго. Китоврасъ предлагаетъ показать, какъ нужно править царствомъ, и проситъ разрѣшенія сѣсть на престолъ Соломона. Соломонъ уступаетъ свое мѣсто. Китоврасъ махнулъ крыломъ и закинулъ Соломона за тридевять земель, и Соломонъ послѣ долгихъ странствій, благодаря своей хитрости, сумѣлъ вернуться на свое царство. Разсказы эти о Соломонѣ и Китоврасѣ въ XV в. входятъ уже въ Толковую Палею, той ея редакціи, которая сложилась въ это время.

Третій видъ разсказовъ—это, собственно, пространная біографія Соломона. Эти разсказы распространены въ особенности въ XVI и XVII вѣкахъ у насъ въ рукописяхъ. Соломонъ—сынъ Давида и Вирсавіи; онъ

---

[1]) Исторіи этихъ сказаній, м. пр. въ русской литературѣ, посвящены труды А. Н. Веселовскаго, И. Н. Жданова (Былевой эпосъ), Н. С. Тихонравова (Соч., т. I) и др.

растетъ, какъ необыкновенный ребенокъ, проявляетъ рано свою мудрость. Когда онъ доходитъ до болѣе или менѣе взрослаго возраста, къ нему начинаетъ питать нечистое чувство его же мать Вирсавія. Онъ отказывается уступить ея желанію, за что Вирсавія оговариваетъ его передъ Давидомъ, и Давидъ осуждаетъ Соломона на смерть, но дядька Соломона Ачкилъ, которому поручено убить Соломона, вынуть его сердце и принести царицѣ, оставляетъ его въ живыхъ: вмѣсто него убиваетъ собаку и собачье сердце приноситъ царицѣ, которая считаетъ себя удовлетворенной. Мальчикъ же оставленъ въ лѣсу; такимъ образомъ, Соломонъ нѣкоторое время скрывается, живетъ пастушонкомъ, ходитъ по деревнямъ, но и здѣсь проявляетъ необыкновенную мудрость, и, наконецъ, слухъ о немъ доходитъ до Давида, который желаетъ видѣть мудраго постушонка и въ концѣ-концовъ узнаетъ въ немъ собственнаго сына. Дѣло раскрывается, Вирсавія удалена и казнена, а Соломонъ живетъ съ отцомъ. Когда онъ пришелъ въ мужественный возрастъ, онъ рѣшилъ жениться; но у Соломона была скверная привычка—заниматься соблазномъ чужихъ женъ; это донжуанство довольно злостнаго характера: соблазнитъ жену и обманутому мужу посылаетъ о томъ извѣщеніе. Теперь онъ нашелъ себѣ царицу Соломонію, которую тоже у кого-то сманилъ. Но тутъ ему приходится расплачиваться за собственное поведеніе. Эта Соломонія оказалась подъ пару Соломону, также неустойчива въ своихъ отношеніяхъ: ее сманиваетъ Поръ (или Китоврасъ)... [1]).

Такимъ образомъ сюжетъ былины заимствованъ изъ второй части приведеннаго сказанія о Соломонѣ, ставшаго у насъ популярнымъ въ XVI—XVII в.. Отзвуки того же разсказа мы встрѣчаемъ обработанными и въ сказкахъ. Вопросъ о томъ, непосредственно ли черпалъ изъ книжнаго источника составитель былины, или имѣлъ передъ собой уже народно-устную переработку, остается пока открытымъ. Пока можно сказать только то, что среди извѣстныхъ намъ текстовъ сказанія о Соломонѣ есть достаточно такихъ, которые по языку выдаютъ свое полукнижное, полународное происхожденіе; это до нѣкоторой степени объясняетъ, почему авторъ былины обратился за темой къ этому сказанію: оно было популярно. На вопросъ, гдѣ сложилась такая былина, приходится отвѣтить также предположительно: скорѣе всего въ московскомъ районѣ. Сказаніе ведетъ свое происхожденіе отъ талмудистскихъ разсказовъ, которые стали распространяться у насъ въ нашей литературѣ въ концѣ XV в. въ связи съ тѣми раціоналистическими движеніями, въ которыхъ при-

---

[1]) Далѣе и идетъ приведенный выше разсказъ.

нимали участіе и наши жидовствующіе, и евреи непосредственно. Отъ одного изъ этихъ разсказовъ и произошла наша былина. Этимъ опредѣляется отчасти ея хронологія: по времени созданія она не можетъ быть раньше XV в. Зато, что касается мѣста сложенія былины, условій, въ которыхъ она создалась, то здѣсь мы не имѣемъ даже такихъ данныхъ. Въ самой былинѣ нѣтъ опредѣленныхъ чертъ, которыя давали бы указанія на мѣсто и на среду ея возникновенія и развитія, мѣстныя черты, времени отложились на ней весьма слабо; какъ въ разсказѣ сказочнаго характера на заимствованную чужую тему, связь ея съ русской жизнью и бытомъ также слаба. Мы можемъ сказать только одно, что эта былина принадлежитъ, несомнѣнно, не къ южному репертуару. Въ настоящее время эта былина находится, главнымъ образомъ, въ репертуарѣ олонецкомъ и архангельскомъ. Это будетъ говорить только о томъ, что этотъ былинный сюжетъ получилъ распространеніе на сѣверѣ. То, что эта былина создалась въ болѣе позднее время, вѣроятно, въ XVI—XVII в., когда разсказы о Соломонѣ стали популярны въ нашей письменности, говоритъ косвенно за ея происхожденіе въ московскомъ районѣ, который въ это время уже окончательно и надолго сталъ центромъ русской жизни и производительности словесной; на сѣверѣ же, не говоря о югѣ Россіи, былинная традиція опредѣлилась уже точно, новыхъ сюжетовъ почти не создается въ этихъ краяхъ, тянущихъ теперь къ той же Москвѣ. Такимъ образомъ наша былина даетъ яркій примѣръ книжнаго вліянія на былину: она цѣликомъ есть устно-народное переложеніе книжнаго сказанія.

Если бы мы попробовали на основаніи анализа перечисленныхъ выше былинъ представить себѣ происхожденіе и отчасти исторію нашей былины вообще, то мы могли бы сказать слѣдующее. Теперешній былинный репертуаръ, которымъ мы располагаемъ, сохранился, главнымъ образомъ, на сѣверѣ, воспринявъ въ себя и репертуары другихъ мѣстностей, и русскаго юга и русскаго центра: онъ чрезвычайно сложнаго состава. Есть здѣсь сказанія, несомнѣнно, устно-народныя, которыя залегли въ основу значительной части былинъ; эти сказанія въ значительной степени находятъ себѣ оправданіе въ нашей исторіи: былины о Добрынѣ, Дунаѣ и др.; отдѣльныя части этихъ былинъ (напр., Владиміръ) восходятъ, несомнѣнно, къ южно-русскимъ княжескимъ преданіямъ; эти южные сюжеты вмѣстѣ съ былиной перешли на сѣверъ. Тамъ былины, вѣроятно, измѣнялись, въ видѣ первоначальномъ, какъ онѣ создались, онѣ не дошли до насъ, подвергшись переработкѣ въ позднѣйшее время и въ другихъ мѣстностяхъ. Есть въ на-

шей былинѣ не только южно-русскіе историческіе отзвуки, но и сѣверные русскіе, какова новгородская былина, и средне-русскіе: это такія сказанія, какъ о гибели русскихъ богатырей, объ Алешѣ Поповичѣ—изъ ростовскаго репертуара, такія сказанія, частью позднія былины объ Ильѣ, восходящія къ мѣстному суздальскому творчеству. Эти былины, первоначально не-кіевскія, позднѣе были втянуты въ репертуаръ кіевскій, но уже на сѣверѣ или въ центрѣ Россіи, получивъ пріуроченіе ко времени Владиміра и къ Кіеву, какъ мѣсту дѣйствія. Есть, повидимому, между былинами и не сѣверныя, и не кіевскія, а лишь со временемъ пріуроченныя къ Кіеву, какъ популярному центру: былины о Дюкѣ, Чурилѣ. Такимъ образомъ, теперешній былинный репертуаръ охватываетъ устныя историческія преданія, всей русской территоріи, за исключеніемъ запада. Такимъ образомъ объясняется пестрота въ былинѣ со стороны отраженія въ ней историческаго и мѣстнаго преданія, несмотря на то, что былина сохранилась лишь на сѣверѣ: сѣверъ наложилъ на нее свои черты, но не успѣлъ стереть черты иныхъ мѣстностей, даже сдѣлалъ типичнымъ, стилистическимъ въ значительной степени пріемомъ пріуроченіе къ Кіеву. Но въ основѣ былины, въ качествѣ главнаго источника и второстепеннаго, мы встрѣчаемъ не только эти историческія воспоминанія о русскомъ прошломъ, русской дѣйствительности: мы замѣчаемъ, несомнѣнно, сильное вліяніе книжное. Въ основу былины, иногда въ качествѣ отдѣльныхъ ея деталей, проникаютъ памятники книжные, носящіе преимущественно легендарный, популярный характеръ. Такъ, мы встрѣчаемся съ разсказами, взятыми изъ религіозныхъ сказаній, проникшихъ путемъ церкви, съ ходячими международными легендами, частью, можетъ быть, перенесенными устнымъ путемъ, частью закрѣпленными письменностью и оттуда уже перешедшими въ качествѣ матеріала для былинъ. Къ числу такихъ сюжетовъ относится былина «о Добрынѣ и Маринкѣ», «о сорока каликахъ съ каликой», о «Василіи Окульевичѣ». Въ другихъ былинахъ мы видимъ отдѣльный налетъ, эпизоды, которые стоятъ въ связи съ книжнымъ матеріаломъ, напримѣръ, въ былинѣ о Садкѣ (о роли Николая). Рядомъ съ книжнымъ источникомъ и вліяніемъ находимъ и вліяніе устное сосѣднихъ народовъ; таковы весьма возможные отзвуки финнскаго эпоса на отдѣльныхъ моментахъ былинъ о Колыванѣ, о Волхѣ и даже Садкѣ. Несомнѣнно, что въ нашемъ былинномъ эпосѣ, по крайней мѣрѣ, въ былинахъ южно-русскаго происхожденія, гдѣ идетъ разсказъ о борьбѣ со степью, мы имѣемъ отраженіе сказаній степняковъ (которыя мы знаемъ, впрочемъ, очень мало, но должны допустить теоретически); такими же отзвуками могутъ быть бытовыя черты татарскаго происхожденія и даже иранскаго (обликъ Владиміра иногда

не русскій, а татарскаго хана, видная роль татаръ, связь съ Рустеміадами).

Такимъ образомъ, въ нашей былинѣ есть не только свои, мѣстные, устные и книжные (въ русскомъ переводѣ) источники, но и устные элементы другихъ народовъ, какъ результатъ того взаимообщенія народовъ, которое такую видную роль играетъ въ литературной исторіи. Что касается времени происхожденія былинъ, условій ихъ происхожденія, то изъ изученія самой былины, ея сюжетовъ, мы можемъ получить приблизительно такого рода выводъ. Всѣ тѣ былины, которыя мы знаемъ, въ той формѣ, въ какой онѣ теперь сохранились, не принадлежатъ къ особенно древнему времени. Былинная форма, способъ разработки сюжета указываетъ на время болѣе позднее, т.-е.: говорить о былинѣ, какъ произведеніи доисторическаго времени, у насъ нѣтъ никакихъ основаній. Тѣмъ менѣе мы можемъ говорить о сознательныхъ миѳологическихъ отзвукахъ, которые желала видѣть въ этой былинѣ старая школа. Если есть въ былинѣ отдѣльныя детали, которыя могутъ быть сопоставлены съ международными миѳологическими представленіями арійцевъ, то и здѣсь приходится ихъ отнести не на долю сознательнаго сохраненія древнихъ миѳологическихъ преданій, а объяснять ихъ только старой окаменѣлой литературной формой: онѣ употребляются, только какъ стилистическое средство. Если мы не имѣемъ права говорить о религіозно-миѳологическомъ характерѣ даже такого памятника, какъ «Слово о полку Игоревѣ», то что же говорить про былину, которая сложилась не въ это, а большею частью въ болѣе позднее время? Остается, однако, не рѣшеннымъ точно вопросъ о томъ, когда былина приняла ту форму, въ какой мы ее знаемъ? Если мы говоримъ, что значительная часть былинныхъ сюжетовъ обязана своимъ происхожденіемъ болѣе позднему времени, то мы говоримъ только о содержаніи былины, не рѣшая вполнѣ вопроса о ея формѣ, которая, какъ мы видѣли, носитъ всѣ черты формы традиціонной (въ теперешнемъ видѣ былины). Когда же сложилась эта форма, мы сказать не можемъ; но одно только можно предполагать, что та форма былины, въ которой мы ее теперь знаемъ, стихъ былинный, поскольку онъ поддается изслѣдованію, несетъ въ себѣ довольно старые элементы. Изслѣдованія академика Ѳ. Е. Корша о былинномъ стихѣ показали довольно отчетливо, что въ былинномъ стихѣ мы встрѣчаемъ элементы арійской гаммы, т.-е., тѣ элементы стиха, которые по своей древности могутъ восходить къ доисторическому для насъ времени. Констатировавши присутствіе древняго элемента въ нашемъ былинномъ стихѣ, мы не получаемъ права говорить, что дѣйствительно, этотъ стихъ въ томъ видѣ, какой онъ имѣетъ теперь, восходитъ къ такому отдаленному времени. Элементы въ немъ могутъ

быть весьма древними, но самый стихъ можетъ быть очень не древенъ. Такимъ образомъ, взглядъ Корша не даетъ опредѣленныхъ хронологическихъ указаній. Что тотъ былинный стихъ, который мы знаемъ въ былинѣ, записанной въ XIX ст., не моложе XVI—XVII вв., на это доказательства у насъ есть. Въ началѣ XVII в., во второмъ десятилѣтіи были записаны устно-народныя пѣсни былевого характера извѣстнымъ англійскимъ путешественникомъ Ричардомъ Джемсомъ, бывшимъ въ началѣ XVII в. въ Архангельскѣ. Для него записали нѣсколько новыхъ пѣсенъ (въ томъ числѣ о Скопинѣ Шуйскомъ), и пѣсни въ основѣ имѣютъ тотъ же самый былинный стихъ, какой мы знаемъ въ нашей былинѣ по современной намъ записи. Это даетъ увѣренность полагать, что былинный стихъ во всякомъ случаѣ не моложе конца XVI и начала XVII в. Вѣроятнѣе всего нужно полагать, что онъ старше, потому что пѣсня о Скопинѣ отлилась въ форму уже традиціонную, готовую. Дальнѣйшихъ заключеній относительно ея формы мы дѣлать не можемъ. Что касается времени созданія самой былины, не говоря о сюжетѣ, то мы должны вывести такого рода заключеніе: былина, какъ видъ народной поэзіи, повидимому, очень давно уже существуетъ, существовала уже въ Кіевское время, съ теченіемъ времени обогащалась новыми сюжетами, вплоть до довольно поздняго времени, того же XVI—XVII в.; это видно изъ того, что событія русской жизни не только X—XII-го, но и послѣдующихъ вѣковъ, вплоть до XVI-го, получили мѣсто въ былинѣ, а также книжные источники приблизительно того же времени наложили на былину свой отпечатокъ. Это показываетъ, что по крайней мѣрѣ въ XVI в. былина жила и развивалась (если, можетъ быть, чѣмъ далѣе, тѣмъ слабѣе), постоянно осложняясь, пополняя свой репертуаръ новыми сюжетами.

Затѣмъ: сама былина, какъ видно изъ ея анализа, не представляетъ въ большинствѣ случаевъ воспроизведенія какого-нибудь одного опредѣленнаго сюжета: она есть въ результатѣ мозаика разнородныхъ, разновременныхъ элементовъ. Это все показываетъ, что былина долгое время существуетъ въ устномъ преданіи, и это устное преданіе постоянно разрабатываетъ детали, привлекая отдѣльные элементы въ прежній составъ. Что касается формы построенія былины, то искусственность этой формы исключаетъ возможность какого-то общаго народнаго творчества. Мы знаемъ носителей былинъ, отдѣльныхъ ея представителей, которые въ самой былинѣ оставили по себѣ слѣдъ: это—калики, скоморохи, можетъ быть, спеціальные народные пѣвцы, не принадлежащіе къ каликамъ и скоморохамъ. Кромѣ присутствія въ былинѣ международнаго элемента, устнаго, большое присутствіе въ нихъ книжнаго элемента довольно ясно показываетъ, что среди создателей былинъ мы

должны видѣть людей болѣе культурныхъ, болѣе грамотныхъ, нежели та простая масса, для которой поются теперь эти былины. Надо полагать (на это есть косвенныя указанія изъ XVI вѣка и прямыя изъ послѣдующаго), что въ болѣе раннее время слушателями былины были и люди образованные по своему времени; а это опять говоритъ въ пользу мнѣнія о спеціальныхъ носителяхъ былины, авторахъ, стоящихъ выше безграмотной толпы. Такимъ образомъ, наше теперешнее представленіе о былинѣ будетъ значительно отличаться отъ того традиціоннаго, которое мы находимъ въ большинствѣ нашихъ учебниковъ. Наконецъ, что касается дальнѣйшей исторіи былины, то она для насъ болѣе или менѣе ясна. Когда постепенно, въ силу измѣненій культурныхъ условій, измѣнился взглядъ на былину, измѣнились вкусы слушателей, когда не стало скомороховъ (т.-е., когда потребность и интересъ къ былинѣ въ среднемъ и высшемъ классѣ исчезаетъ), былина демократизуется, переходитъ въ народъ, пріобрѣтаетъ черты крестьянскія. Это совершилось, повидимому, только въ XVIII вѣкѣ.

Историческая пѣсня. Былина не умерла въ XVI—XVII в. окончательно: она развивалась дальше. Я имѣю въ виду болѣе поздній отпрыскъ старой былины, то, что называется *исторической пѣсней*.

До сихъ поръ мы занимались былинами, которыя, по крайней мѣрѣ, насколько можно было судить по теперешнимъ изслѣдованіямъ, представляютъ своего рода нѣчто цѣльное по характеру, довольно опредѣленный видъ устнаго художественнаго творчества, использовавшій цѣлый рядъ разнообразныхъ источниковъ, при чемъ главной задачей нашей было опредѣленіе историческо-литературной цѣнности былины, уясненіе историческихъ и литературныхъ отзвуковъ, нашедшихъ себѣ въ ней выраженіе. Теперь намъ предстоитъ пересмотрѣть другую группу памятниковъ того же характера, представляющую уже нѣсколько иной видъ, который старые историки литературы, и отчасти современные, для удобства выдѣляютъ въ отдѣльную группу, называя ее въ отличіе отъ былинъ *исторической пѣсней*. Такое выдѣленіе въ нѣкоторомъ отношеніи можетъ быть оправдано и по существу. Конечно, это названіе не будетъ точно выражать характеръ этого вида устной пѣсни, потому что, какъ мы видѣли при разборѣ былинъ, и старая былина является точно такъ же своего рода пѣсней исторической по своей основѣ; только отраженіе историческаго элемента тамъ будетъ менѣе замѣтно, менѣе рельефно, болѣе осложнено, и отношеніе къ факту у слагателя былины будетъ инымъ, нежели у автора исторической пѣсни, почему эти историческіе элементы вскрываются съ бо́льшимъ трудомъ; но,

конечно, это, какъ мы видѣли, не будетъ вести къ заключенію, чтобы, разъ мы не можемъ узнать или съ трудомъ узнаемъ, какое историческое событіе или лицо, или вообще какой фактъ скрывается въ данной бынѣ, чтобы эта былина не была пѣсней исторической. Названіе, терминъ «историческая пѣсня» ведетъ свое происхожденіе еще отъ старой теоріи изученія былинъ и остается, какъ условный, до сихъ поръ, представляя нѣкоторое практическое удобство, но мы этому термину придаемъ уже иной смыслъ. Когда въ былинѣ видѣли еще доисторическій миѳъ, старину, тогда совершенно ясно и естественно было эту былину, какъ заключавшую въ себѣ доисторическое, противополагать тому, что наглядно заключаетъ въ себѣ историческое. Но по самому существу, ходу разьитія такъ называемой исторической пѣсни, мы не имѣемъ ни малѣйшаго права отдѣлять ее отъ былины такъ рѣзко, какъ два разныхъ вида пѣсни: одна—историческая, другая—не историческая, миѳологическая, доисторическая и т. д. Но съ другой стороны, извѣстное основаніе выдѣлять группу пѣсенъ, называемыхъ нами теперь «историческими», изъ общей группы былинъ у насъ есть: эта пѣсня имѣетъ своеобразныя черты, хотя развивается изъ той же былины, съ которой мы познакомились. Эти своеобразныя черты должны быть выдвинуты и истолкованы, и тогда мы получимъ правильное представленіе о томъ, что такое такъ называемая «историческая» пѣсня, которая въ настоящее время насъ интересуетъ.

Дѣло заключается въ томъ, что, какъ мы видѣли при разборѣ былинъ и тѣхъ ихъ сюжетовъ, съ которыми мы познакомились, можно было замѣтить, что прежде всего былина слагалась въ довольно древнее время. Есть въ ней сюжеты по времени, можетъ быть, восходящіе къ Кіевскому времени, навѣрное, къ эпохѣ татарщины, есть сюжеты, которые отражаютъ и болѣе позднюю эпоху, болѣе позднія событія (бытъ Новгородской эпохи, борьбы Новгорода съ Москвой, т.-е. XV—XVI в.). Историческая пѣсня отражаетъ, какъ разъ, прежде всего, болѣе поздній бытъ, начиная съ того же времени, XVI вѣка. Въ этомъ в н ѣ ш н е е ея отличіе отъ старшей группы пѣсенъ, называемыхъ былинами, старинами, въ точномъ смыслѣ этого слова, отличіе, такъ сказать, хронологическое по содержанію.

Другое внѣшнее же отличіе исторической пѣсни отъ былины заключается въ томъ, что то историческое событіе, та историческая личность, эпоха, которыя составляютъ предметъ пѣсни, въ исторической пѣснѣ въ большинствѣ случаевъ носятъ свое собственное настоящее имя, передаются исторически правдиво; поэтому пѣсня является болѣе такъ сказать, исторической, чѣмъ старина, былина. Это объясняется не только тѣмъ, что эта пѣсня создалась въ болѣе позднее, болѣе

близкое къ нашему время, когда самое событіе или личность лучше помнили, а потому и память сохранила ихъ лучше, но и тѣмъ, что историческая пѣсня является выраженіемъ нѣсколько иного отношенія къ историческому событію, которое служитъ предметомъ пѣсни, нежели былина. Если прежде въ былинѣ главный интересъ пѣвца заключался въ изображеніи настроенія, поэтическаго образа, при чемъ историческая личность или историческое событіе въ значительной степени не были для него цѣнны со стороны точности ихъ изображенія (это, вѣдь, «старина стародавняя»), въ значительной степени были лишь отправной точкой, канвой для создателя былины, то теперь, въ такъ называемой «исторической» пѣснѣ, отношеніе пѣвца къ событію уже иное. Для него важно не только поэтическое изображеніе личности или событія, но важна до извѣстной степени историческая правдоподобность, на лицо стремленіе воспроизвести самый фактъ въ своемъ пониманіи, т.-е., міросозерцаніе слагателя былины и міросозерцаніе слагателя исторической пѣсни въ этомъ отношеніи, конечно, не являются противоположными, но представляютъ извѣстную разницу, т.-е., это два лица, которыя различно относятся къ изображаемому ими событію или личности: у одного историческое самосознаніе развито слабѣе, у другого сильнѣе. Это стоитъ въ связи съ общимъ культурнымъ ростомъ русскаго общества: историческое самосознаніе XVI-го и слѣдующихъ вѣковъ, особенно въ центрѣ Руси, уже глубже, нежели въ предшествующіе, и на окраинахъ, и носитъ иной характеръ, нежели прежде. Съ этой точки зрѣнія мы должны представить себѣ былину въ двухъ ея періодахъ развитія: старшемъ, менѣе требовательномъ по отношенію къ исторической окраскѣ изображаемаго, и младшемъ, болѣе ее сохраняющемъ. Этотъ второй видъ былины мы и можемъ назвать исторической пѣсней въ собственномъ смыслѣ термина.

Почему же историческая пѣсня должна быть признана болѣе поздней, нежели былина? Историческая пѣсня, судя по событіямъ, которыя въ ней упоминаются и изображаются сравнительно точно, въ силу этого самаго относится къ болѣе или менѣе опредѣленному времени по своему происхожденію. Если въ пѣснѣ упоминаются Иванъ Грозный, Петръ Великій, Александръ Благословенный, французы, то этимъ самымъ, несомнѣнно, историческая пѣсня датируется: время ея возникновенія не можетъ быть, разумѣется, ранѣе того событія, которое засвидѣтельствовано ею: служа выраженіемъ интереса къ факту или личности опредѣленнаго времени, пѣсня эта создается, естественно, довольно близко по времени къ этой эпохѣ, пока событіе или лицо продолжаетъ интересовать общество и слагателей; примѣръ этого мы видимъ на пѣсняхъ, записанныхъ для Джемса (пѣсня о Скопинѣ). Такимъ образомъ, пѣсня

объ Иванѣ Грозномъ не можетъ быть старше XVI в., о Петрѣ Великомъ—старше конца XVII и начала XVIII в., пѣсня о Наполеонѣ и Александрѣ Благословенномъ не могла быть ранѣе 1812 года; съ другой стороны, пѣсни эти и немного моложе этихъ эпохъ по времени созданія. Пересматривая сюжеты исторической пѣсни, мы замѣтимъ, что главные сюжеты этой исторической пѣсни въ общемъ не восходятъ раньше конца XV и начала XVI вв.; затѣмъ пѣсни идутъ почти сплошь до нашего времени: послѣднія пѣсни историческаго характера, относимыя нами къ тому же кругу историческихъ пѣсенъ, могутъ быть отнесены чуть ли не ко времени японской войны. Такимъ образомъ, передъ нами цѣлая вереница историческихъ пѣсенъ, начинающаяся съ XVI вѣка и доходящая почти до нашего времени.

Возникаетъ естественный вопросъ, почему же старшая историческая пѣсня опредѣляется именно эпохой XV—XVI в. по времени своего возникновенія, или, по крайней мѣрѣ, по времени своего содержанія? На это дадутъ отвѣтъ тѣ условія, въ которыхъ развивается народная пѣсня, при чемъ мы должны помнить, что народная пѣсня, какъ и всякое литературное произведеніе, прежде всего, есть отраженіе дѣйствительной жизни, воззрѣній своего времени. Стало быть, объясненій, почему былевая поэзія въ XV—XVI в., когда она болѣе внимательно начинаетъ относиться и болѣе точно отражать историческія событія и лица, получаетъ это новое направленіе, нужно искать въ исторіи той среды, которая культивировала эту пѣсню, т.-е., надо обратиться къ составу и міросозерцанію русскаго общества въ XV—XVI в. Дѣйствительно, если мы заглянемъ въ русскую политическую исторію и въ исторію литературы времени, начиная съ XV—XVI вѣковъ, то мы увидимъ, что это время, дѣйствительно, является временемъ знаменательнымъ въ исторіи русской жизни. Это—время перелома, окончательнаго сложенія новаго міросозерцанія, которое постепенно созидалось, начиная съ XII—XIII в., со времени передвиженія русскаго племени на сѣверо-востокъ и осѣданія его около новаго центра, около Москвы. Новая, отличная отъ кіевской, государственная идеологія достигаетъ въ XV—XVI в. полнаго своего выраженія въ жизни и литературѣ: народное самосознаніе въ это время уже проникнуто государственными воззрѣніями, въ отличіе отъ прежняго, преимущественно этническаго, племенного. Въ это время уже окончательно сложилось ясное представленіе о томъ, что такое Московское государство, опредѣлилось воззрѣніе на каждое колесо въ этой сложной государственной машинѣ, что такое царь, что такое церковь, что такое отдѣльный представитель власти. Обыватель средней Руси мыслитъ себя, прежде всего, членомъ Московскаго государства, для него понятіе «русскій» сливается съ по-

нятіемъ «московскій». Это сознаніе выразилось въ цѣломъ рядѣ литературныхъ книжныхъ произведеній, нашло себѣ отраженіе въ народной массѣ, получило свой отзвукъ и въ устной поэзіи [1]). Въ литературѣ книжной пришлое «Сказаніе о Вавилонскомъ царствѣ» перерабатывается въ это время въ русскомъ патріотическомъ духѣ; здѣсь изображается наслѣдственность царской власти въ видѣ добыванія и перенесенія въ Россію царскихъ регалій: шапки Мономаха, бармъ и другихъ признаковъ царской власти. Въ религіозномъ отношеніи первенство и наслѣдственность Москвы, какъ единственнаго христіанскаго государства, сохранившаго чистоту вѣры отъ стараго, истиннаго христіанства, выражаются въ поэтическомъ сказаніи о такъ называемомъ «бѣломъ клобукѣ». «Сказаніе о Вавилонскомъ царствѣ» изъ книги переходитъ въ народную сказку съ тѣмъ же патріотическимъ мѣстнымъ тономъ: Борма Ярыжска, русскій человѣкъ, является главнымъ героемъ, замѣнившимъ собою какого-то иноземнаго героя, добывающаго царскія регаліи; посылается онъ царемъ Грознымъ, добытыя регаліи приноситъ въ Москву (а не Царьградъ, какъ въ первоначальной повѣсти). Затѣмъ въ народной поэзіи, главнымъ образомъ, въ сказкѣ, мы точно такъ же видимъ и другія отраженія этой эпохи [2]). Цѣлый рядъ сказокъ про Ивана Грознаго уцѣлѣлъ до настоящаго времени [3]); цѣлый рядъ пословицъ, несомнѣнно, восходитъ къ этому же времени. Такимъ образомъ, очевидно, что въ извѣстной степени сознаніе себя государствомъ, оцѣнка этого государства во главѣ съ царемъ, своего значенія міроваго проникали въ народныя массы. Конечно, что это не то представленіе, которое мы знаемъ въ идейномъ настроеніи старой домосковской Руси. Тамъ идея русской земли—идея племеннаго единства, взглядъ на князя, какъ на носителя власти единой русской земли, ограниченнаго цѣлымъ рядомъ наслѣдственныхъ учрежденій въ родѣ удѣльнаго строя, права перехода изъ одного княжества въ другое,— все это теперь отошло въ область преданій. Теперь царь мыслится не только какъ носитель власти, но и какъ владѣлецъ русскаго государства, какъ такое лицо, въ которомъ воплощается, находитъ свое осуществленіе это государство. Послѣдніе удѣлы сѣверо-восточные въ концѣ XV вѣка падаютъ. Послѣдній обломокъ старой Руси, наиболѣе энергично отстаивающій свою самостоятельность, Новгородъ, въ концѣ XV вѣка падаетъ подъ ударами Ивана III, Василія IV. Это дѣло при-

---

[1]) Нѣсколько подробнѣе объ этомъ см. въ моей „Исторіи древней русской литературы“, изд. 2, стр. 432 и сл.

[2]) Подробнѣе см. у И. Н. Жданова, „Былевой эпосъ“ (Спб. 1895), глава I.

[3]) О нихъ см. А. Н. Веселовскаго, „Сказки объ Иванѣ Грозномъ“, Древн. и новая Россія, 1876, № 4, стр. 313.

соединенія Новгорода, окончательнаго его разоренія и включенія въ составъ московскаго государства заканчиваетъ Иванъ Грозный. Строеніе русскаго государства идетъ и дальше. Теперь, если интересы объединенія слабо осуществляются на сѣверо-западѣ, въ борьбѣ съ Литвой, Польшей, шведами и нѣмцами, то на востокѣ русское государство продолжаетъ энергично не только это объединеніе, но и расширеніе своихъ владѣній: покореніе царства Казанскаго, завоеваніе царства Сибирскаго, подчиненіе Астрахани, окончательный разгромъ татарской Орды, продвиженіе русскихъ въ степи на югъ—и границы русскаго, теперь Московскаго, государства уже подходятъ къ тѣмъ предѣламъ, гдѣ начинается старая южная Русь Кіевская. Все это показываетъ, что государство и масса народная вышли на новый путь, и что въ это время окончательно завершился тотъ процессъ созданія новаго міросозерцанія, которымъ характеризуется московская Русь XVI—XVII в. Это міросозерцаніе, возникновеніе новыхъ идеаловъ, новаго отношенія къ личности государя, къ самому строю государства и государственно-народный патріотизмъ, несомнѣнно, не могли не оказать вліянія на народное самосознаніе, углубили его, подняли цѣну событія, какъ событія Московскаго государства; а это должно было, конечно, найти себѣ выраженіе въ народной литературѣ, въ народной поэзіи. Этимъ объясняется, почему и та историческая пѣсня, которую мы знаемъ подъ именемъ «старины», «былины», должна была испытать на себѣ вліяніе этого новаго склада мысли, этого новаго міросозерцанія.

Это новое міросозерцаніе уже гораздо глубже проникнуто историческимъ самосознаніемъ, нежели въ эпоху предшествующую. Ясно, почему историческій фактъ, лежащій въ основѣ пѣсни, какъ старой, такъ и новой, въ новой пѣснѣ является предметомъ бо́льшого вниманія, предметомъ болѣе сознательнаго отношенія. Такимъ образомъ, изъ самой исторической обстановки мы должны вывести заключеніе, что тотъ видъ «старинъ», который мы знаемъ подъ именемъ историческихъ пѣсенъ, отражаетъ нѣсколько иное міросозерцаніе, нежели былина, въ своей основѣ старшая. Такимъ образомъ, мы можемъ сказать, что въ исторической пѣснѣ мы должны видѣть продолженіе литературной исторіи той же былины, но только при измѣнившихся условіяхъ. Подъ вліяніемъ этихъ условій измѣнилось, какъ самое содержаніе, такъ и характеръ прежней народной былевой пѣсни. Стало быть, по своему строю историческая пѣсня не представляетъ чего-нибудь совершенно отдѣльнаго, самостоятельнаго, а даетъ только слѣдующую стадію развитія той же самой былины. Дѣйствительно, присматриваясь къ исторической пѣснѣ вмѣстѣ съ былиной, мы видимъ, что старая былина существуетъ попрежнему, даже чуть-

чуть развивается, увеличивая число сюжетовъ, она передается изъ устъ въ уста, воспроизводится въ XV—XVI—XVII вв.; но отношеніе къ ней уже нѣсколько иное; она—«старина», старинка по времени своего происхожденія, возникновенія, является предметомъ чисто поэтическаго творчества, и она сохраняетъ извѣстный интересъ, но не злободневный, а интересъ уже чисто-художественный, поэтому она существуетъ рядомъ съ исторической пѣсней. Но и для старой былины не проходитъ даромъ эта эпоха. Новое отношеніе къ историческимъ сюжетамъ, къ исторической личности должно было отразиться и отразилось, дѣйствительно, на старой былинѣ, поскольку она въ прежнемъ своемъ обликѣ не удовлетворяла интересамъ современности: старая былина начинаетъ испытывать на себѣ вліяніе новой своей вѣтви—такъ называемой исторической пѣсни. Историческіе элементы, которые являются предметомъ спеціальной культивировки поэзіи, зародившейся въ XV—XVI в., и историческіе мотивы проникаютъ въ старую былину. Тамъ они, не нарушая ея основного сюжета, отливаются въ видѣ отдѣльныхъ подробностей примѣнительно къ тѣмъ новымъ болѣе историческимъ воззрѣніямъ, которыя теперь уже становятся все болѣе и болѣе господствующими. Такъ, былина объ Ильѣ Муромцѣ, старая по времени своего созданія, въ томъ видѣ, какъ мы ее узнаемъ, по времени своей переработки должна быть относима къ XVI—XVII в. Только въ XVI—XVII в. старый богатырь кіевскій, по типу боевой богатырь-дружинникъ, могъ превратиться въ «стараго казака» Илью Муромца: это совершилось подъ вліяніемъ въ русской жизни той роли казачества, которая принадлежитъ ему въ XVI—XVII в. во время казацкихъ походовъ на востокъ, во время московской смуты, во время самозванщины и т. д. Есть былина, напримѣръ, которая, несомнѣнно, перелицована подъ вліяніемъ болѣе позднихъ событій: это—рѣдкая былина болѣе поздняго образованія или, лучше сказать, болѣе поздней передѣлки XVI—XVII в., о борьбѣ между собою Ильи и Добрыни. Это ничто иное, какъ старая былина объ Ильѣ и Сокольничкѣ (т.-е. о битвѣ отца съ сыномъ), только она приняла черты борьбы между двумя богатырями, между которыми по старымъ эпическимъ традиціямъ битвы быть не могло: Добрыня и Илья—младшій и старшій «названные» братья. Здѣсь мы видимъ отраженіе историческаго событія уже болѣе поздняго времени, вѣроятнѣе всего отраженіе розни XIV—XV в. между Москвой и Рязанью. Затѣмъ, существуютъ и отдѣльныя былины, которыя должны бы быть относимы къ болѣе поздней эпохѣ по времени своего созданія. Совершенно въ старомъ былевомъ духѣ отражается борьба Москвы съ Новгородомъ на былинѣ о Василіи Буслаевичѣ и его путешествіи въ Святую землю. Здѣсь мы

имѣемъ дѣло со старыми элементами, изъ которыхъ получилась почти новая былина: до того густо налегли на нее элементы XVI вѣка; поэтому истинный ея смыслъ вскрывается болѣе или менѣе съ трудомъ. Такимъ образомъ ясно, что и съ точки зрѣнія взаимоотношеній былины и исторической пѣсни рѣзкой грани даже въ содержаніи между ними класть не можемъ. Насколько мы можемъ судить по дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ и по репертуарамъ отдѣльныхъ пѣвцовъ, слагатели и сказатели былины также не представляютъ историческую пѣсню чѣмъ-нибудь отдѣльнымъ, обособленнымъ отъ старой былины. Если старая былина мыслилась, какъ нѣчто старое, старинное, поэтому интересное и дорогое, то это не значитъ, что историческая пѣсня есть что-нибудь чуждое этой былинѣ. Съ другой стороны, та идеологія, то новое міросозерцаніе, которое мы считаемъ поводомъ къ образованію исторической пѣсни, конечно, не могло сразу проявиться въ народномъ самосознаніи. Оно проникало сюда постепенно, историческій элементъ въ немъ усиливался, и только въ концѣ XV-го и въ началѣ XVI-го вѣка оно отлилось въ болѣе или менѣе опредѣленную форму. Стало быть, тѣ историческіе элементы, которые характеризуютъ историческую пѣсню, могли встрѣчаться и раньше. Но мы не имѣемъ передъ собою яснаго сознанія исторической цѣнности событія, какъ это послѣднее отражалось въ былинѣ, потому что это сознаніе само еще не опредѣлилось отчетливо въ средѣ. Этимъ объясняется, почему въ ряду историческихъ пѣсенъ мы встрѣчаемъ, правда рѣдко, пѣсни, которыя по своему историческому моменту или по той обстановкѣ, которую они характеризуютъ, должны относиться ко времени болѣе раннему. Старѣйшія историческія пѣсни, т.-е., пѣсни уже съ проблескомъ того пониманія исторической обстановки, съ тѣми отзвуками на историческія событія, которыя характерны для исторической пѣсни, мы встрѣчаемся еще въ эпоху татарщины. Если эта эпоха въ былинахъ отразилась въ довольно значительномъ объемѣ, хотя и подъ именами не историческаго Калина-царя, Кудреванка, еще менѣе историческаго Идолища, если пѣсня о погибели русскихъ богатырей должна быть признана отраженіемъ историческихъ фактовъ, погибели русской силы въ Калкскомъ побоищѣ и побѣды на Куликовскомъ полѣ, то вполнѣ естественно, если въ исторической пѣснѣ мы встрѣтимъ отраженіе другихъ событій татарской эпохи. Такъ, обыкновенно приводятъ въ примѣръ такого отраженія одну пѣсню, которая, по всей вѣроятности, если не возникла, то во всякомъ случаѣ сохравила на себѣ отзвуки исторической обстановки эпохи татарщины, именно, пѣсню о похищеніи женщины татарами: похититель татаринъ увозитъ ее въ свой улусъ, гдѣ на ней женится; она отъ этого татарина рожаетъ сына и,

причитая надъ нимъ, поетъ пѣсню: «по отцу ты злой татарченокъ, а по матери ты русеночекъ». Такого рода пѣсня, конечно, отражаетъ событіе довольно опредѣленное, т.-е., во время татарскихъ набѣговъ захватъ женщинъ. Но такіе факты—явленія общаго характера, говорить объ отраженіи опредѣленной эпохи они не могутъ: такое событіе, какъ похищеніе женщины, конечно, не фиксируется опредѣленнымъ временемъ, оно имѣло мѣсто въ теченіе всей эпохи татарщины и послѣ нея и продолжается до сихъ поръ на окраинахъ, гдѣ соприкасаются двѣ культуры русская и старая, дикая, азіатская; ничего типичнаго для эпохи татарщины, да еще ранней (какъ представляютъ, вѣковъ XIII—XIV) въ этомъ упоминаніи нѣтъ. Но есть и другая пѣсня, которая относится къ эпохѣ татарщины и которая уже съ большимъ правомъ можетъ быть относима къ группѣ историческихъ пѣсенъ: это—извѣстная пѣсня про Щелкана Дудентьевича. Она изображаетъ довольно опредѣленное историческое событіе, отмѣченное и лѣтописью. Щелканъ Дудентьевичъ, или Шевкалъ нашей лѣтописи,—татарскій баскакъ, на обязанности котораго лежитъ собираніе дани-выхода. Эти баскаки, какъ сборщики податей, не могли, разумѣется, оставить по себѣ доброй памяти; пользуясь своимъ правомъ сильнаго, побѣдителя, они собирали не только подати, но и занимались грабежомъ, утѣсняли всячески населеніе. Поэтому типъ баскака одинъ изъ тѣхъ непріятныхъ, возбуждающихъ отвращеніе своей дерзостью, своей жестокостью типовъ, который могъ остаться въ народной памяти. Одинъ изъ такихъ баскаковъ, Шевкалъ, въ 20-хъ гг. XVI вѣка и явился въ Тверь для того, чтобы собирать дань. Тамъ онъ велъ себя настолько вызывающе, настолько сталъ притѣснять жителей и тверскихъ князей, что населеніе возмутилось; Шевкала (по пѣснѣ) заманили въ баню попариться и тамъ вмѣстѣ съ свитой сожгли его. Это событіе (1327 г.) и вспоминается въ исторической пѣснѣ. Передана она довольно подробно, довольно близко къ исторіи, какъ она отмѣчена лѣтописью. Все это даетъ намъ право думать, что пѣсня создалась въ XIV в., когда страхъ передъ татарами былъ еще великъ, и только крайняя необходимость заставляла прибѣгать къ такой расправѣ. Такимъ образомъ, это будетъ старѣйшая изъ извѣстныхъ намъ пѣсенъ, такъ называемаго, историческаго характера; большинство же пѣсенъ относится къ событіямъ XVI в. Это представляется понятнымъ: XVI в. чрезвычайно богатъ крупными, важными для народнаго сознанія событіями, которыя идутъ быстро одно за другимъ, одно рѣзче другого, что сказалось и въ сильномъ напряженіи и всего общества; поэтому онъ долженъ былъ отразиться гораздо большимъ количествомъ историческихъ воспоминаній въ народномъ изображеніи,

нежели какая-нибудь другая эпоха. Это время главнымъ образомъ связано съ замѣчательной личностью Грознаго и ближайшихъ его сподвижниковъ. И, дѣйствительно, Грозному и его времени посвященъ рядъ дошедшихъ до насъ пѣсенъ.

Пѣсни эпохи Грознаго. Пѣсни, касающіяся Грознаго, вращаются около немногихъ событій его царствованія и личной жизни, но зато событій, которыя съ одной стороны представляются довольно характерными для личности Грознаго, съ другой,—выдающимися въ это царствованіе. Это, прежде всего, пѣсни о взятіи Казани: онѣ по самому своему сюжету указываютъ на то, что въ нихъ отмѣчено одно изъ крупнѣйшихъ по своему значенію событій эпохи Грознаго. Фактъ взятія Казани, несомнѣнно, фактъ чрезвычайной исторической важности для исторіи московской Руси. Это была первая рѣшительная побѣда надъ татарами, это было не только отраженіе (какъ, напримѣръ, при Дмитріи Донскомъ) нападенія татаръ, но и первое завоеваніе татарской территоріи. Какъ извѣстно, взятіе Казани подготовлялось постепенно, и совершенное Грознымъ оно было только концомъ цѣлаго длиннаго ряда событій, отражавшихъ наше отношенія къ Казани. Еще Иванъ III ходилъ на Казань, еще сынъ его Василій убѣдился въ въ томъ, что взятіе Казани необходимо для дальнѣйшаго движенія русскаго государства по направленію къ востоку; поэтому Василій и Иванъ III хорошо подготовили Грозному рѣшительный шагъ; къ этому времени относятся, напр., основаніе Васильсурска на Волгѣ, который представлялъ ближайшій пунктъ, съ котораго можно было постоянно угрожать Казани, и въ которомъ можно было всегда укрыться, поддерживая сношенія съ Москвой. Цѣлый рядъ событій, которыми сопровождалась осада Казани, естественно, останавливалъ вниманіе на себѣ; создался, поэтому, отдѣльный Казанскій лѣтописецъ [1]). Лѣтописная «Исторія взятія Казани» (иначе: «Исторія о Казанскомъ царствѣ», «Казанскій лѣтописецъ») написана до извѣстной степени подъ вліяніемъ другой громкой исторіи—взятія Царьграда Турками, представляетъ довольно объемистое сочиненіе. Тамъ сообщается объ основаніи Казанскаго царства такъ же, какъ разсказывается объ основаніи Царьграда въ названной «воинской» повѣсти. Это служитъ предисловіемъ; затѣмъ разсказывается шагъ за шагомъ вся исторія взятія Казани. Присматриваясь къ отдѣльнымъ страницамъ этой исторіи, мы замѣчаемъ въ ней довольно любопытный элементъ: имѣя въ виду тогдашній книжный языкъ

---

[1]) Изданъ въ Полномъ собраніи русскихъ лѣтописей, т. 19-й; ему посвящено спеціальное изслѣдованіе Г. З. Кунцевича, „Исторія о Казанскомъ царствѣ, или Казанскій лѣтописецъ" (Спб. 1905; иначе: Лѣтопись занятій Археографич. Ком., вып. 16-й).

и стиль воинскихъ повѣстей, мы замѣчаемъ, что здѣсь народный элементъ сравнительно съ обычнымъ значительно усиленъ, встрѣчаются цѣлые разсказы (напр., объ удаломъ наѣздникѣ Япанчѣ), которые отличаются, если внимательнѣе въ нихъ вчитаться, ритмическимъ складомъ. Это заставляетъ предполагать, что «Исторія о взятіи Казани», какъ «воинская» повѣсть, явившаяся, вѣроятнѣе всего, значительное время спустя, въ самомъ концѣ XVI в. (Казань взята въ 1563 г.), создалась не безъ вліянія на автора народнаго преданія и той народной пѣсни, которая къ этому времени уже сложилась. Въ этой «Исторіи» самый рѣшительный моментъ взятія Казани описанъ такъ: Царь велитъ поджечь подкопъ, подведенный подъ стѣну города, а самъ слушаетъ обѣдню, и когда дьяконъ доходитъ до словъ евангелія: «Да будетъ едино стадо и единъ пастырь»—подкопъ взрывается, въ проломъ бросаются русскія войска, и городъ—въ рукахъ Грознаго. Пѣсня про взятіе Казани ограничила свой разсказъ только этимъ послѣднимъ эпизодомъ—взрывомъ стѣны и лишь отмѣчаетъ самый фактъ—взятія города, объясняя его значеніе, важность. Вся характеристика Грознаго въ «Исторіи» сведена къ его благочестію, а эффектный моментъ взрыва приведенъ въ связь съ религіозной мыслью евангельской цитаты. Въ пѣснѣ разсказывается иначе: Иванъ Грозный приказалъ сдѣлать подкопъ, велѣлъ поставить свѣчи на бочки съ порохомъ, но онъ недоволенъ, что взрывъ не произошелъ въ тотъ моментъ, когда онъ это находилъ возможнымъ. Подозрительный, вездѣ видѣвшій измѣну, покушенія, царь призываетъ пушкарей къ отвѣту, не хочетъ выслушать ихъ объясненій и приказываетъ ихъ казнить. Тогда одинъ изъ пушкарей подходитъ къ царю и смѣло объясняетъ, что-де на вѣтру свѣчи горятъ скорѣе, а въ подкопѣ безъ достаточнаго притока воздуха—медленнѣе. Лишь онъ кончилъ рѣчь, раздается взрывъ. Казань взята. Царь награждаетъ пушкарей, особенно того, который ему говорилъ: тѣхъ за исполнительность, этого, кромѣ того, за смѣлость—говорить безъ спроса съ царемъ. Въ пѣснѣ не сказано, что взрывъ произошелъ во время обѣдни и одновременно съ чтеніемъ знаменательныхъ словъ евангелія: такимъ образомъ, въ пѣснѣ данъ тотъ же эффектъ, но построенъ на другомъ: царь недогадливъ, горячъ, вспыльчивъ, поспѣшенъ въ своихъ рѣшеніяхъ, его вразумляетъ простой пушкарь, но въ то же время царь благороденъ, великодушенъ, отходчивъ. Такимъ образомъ дана и жизненная, правдивая психологически и исторически характеристика Грознаго, и на ней построенъ эффектъ, полный драматизма. Деталь же на счетъ евангелія, включенная въ «Исторію», повидимому, риторическая прикраса ея автора. За исключеніемъ этого совпаденія въ разсказѣ о взрывѣ между «Казанской исторіей» и исторической пѣсней

сходство ограничивается только подкопомъ. Это сходство естественно ставитъ вопросъ: историческая ли пѣсня заимствовала эпизодъ изъ «Исторіи взятія Казани», воспроизвела его въ поэтической формѣ, или мы должны предполагать обратное: уже готовой сложившейся исторической пѣсней въ качествѣ источника воспользовался авторъ книжной повѣсти о взятіи Казани? Вопросъ приходится рѣшать, повидимому, въ послѣднемъ смыслѣ. На это указываютъ нѣкоторые народно-поэтическіе обороты рѣчи въ книжной «Исторіи», которые указываютъ на то, что автору ея были извѣстны нѣкоторыя историческія пѣсни. Это вполнѣ будетъ согласно и съ исторіей «Повѣсти о Казанскомъ царствѣ»: эта воинская повѣсть создана самое раннее въ самомъ концѣ царствованія Грознаго—въ 80 гг. XVI ст., а къ этому времени, несомнѣнно, уже существовала устно-народная пѣсня о взятіи Казани. Что, именно, пѣсня въ это время могла существовать, въ нашемъ распоряженіи есть доказательство, правда, общаго характера; мы знаемъ, какъ быстро достояніемъ народной поэзіи становилось то или другое событіе. Въ началѣ XVII в. въ Смутное время одинъ изъ видныхъ героевъ эпохи Скопинъ-Шуйскій, какъ извѣстно, былъ отравленъ на пиру своими соперниками; двадцать лѣтъ спустя послѣ самого событія на сѣверѣ въ Архангельской губерніи для Ричарда Джемса уже записана пѣсня о смерти Скопина-Шуйскаго; въ Хронографѣ, который восходитъ къ началу XVII в., мы находимъ запись объ этомъ же событіи, основанную уже на пѣснѣ о немъ.

Если пѣсня о взятіи Казани, только что отмѣченная, показала, что она сложилась вскорѣ послѣ событія, то и иныя пѣсни о Грозномъ подтверждаютъ, что ставшее воспріимчивымъ къ современности народное творчество, дѣйствительно, слѣдитъ за всѣми событіями этого важнаго царствованія. Историческая пѣсня, насъ интересующая, не ограничивается разсказомъ о томъ, какъ Грозный взорвалъ башню и вошелъ въ г. Казань: она касается и послѣдующихъ событій и опять въ такомъ же сжатомъ видѣ, при чемъ раскрываетъ и здѣсь самый смыслъ событія, какъ оно понималось въ массѣ, смыслъ правильно понятый, но отлитый въ образную поэтическую форму: въ пѣсняхъ о Казани сообщается, что царь Иванъ Грозный, войдя въ Казань, вывелъ оттуда Симеона (Едигея) царя Казанскаго, отнялъ у него царскій жезлъ и царскую порфиру и сѣлъ на его престолъ; а заканчивается эта пѣсня словами: «И въ то время князь воцарился и насѣлъ на Московское царство». Такимъ образомъ, событіе взятія Казани поставлено народной пѣснью въ связь съ принятіемъ Иваномъ Грознымъ царскаго титула. Въ этомъ мы видимъ отраженіе дѣйствительныхъ тогдашнихъ взглядовъ не только народныхъ, но и

государственныхъ; дѣйствительно, Иванъ Грозный, который до сихъ поръ во внутреннихъ сношеніяхъ именовалъ себя только великимъ княземъ московскимъ, послѣ взятія Казани (но не потому, что взялъ ее) сталъ именовать себя *царемъ* и отмѣтилъ это фактомъ своего коронованія, возложивши на себя шапку Мономаха и бармы.

Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ народная пѣсня отразила на себѣ не только историческій фактъ, но и связала прагматически два событія—воцареніе Ивана Грознаго со взятіемъ Казани. Мало того: эта пѣсня о Грозномъ не только связала эти событія, она также связываетъ происхожденіе царской власти со сказаніемъ о Вавилонскомъ царствѣ въ той его редакціи, которая, какъ извѣстно, возникла подъ вліяніемъ сложившейся уже «идеологіи» великаго московскаго царства въ XVI в. Въ пѣснѣ разсказывается, что самымъ поводомъ къ взятію Казани для Ивана Грознаго было завоеваніе царства, т.-е., стремленіе получить право на царскій титулъ. Конечно, не практическія, не территоріальныя соображенія московскаго правительства, руководившія Грознымъ въ его походѣ на Казань, здѣсь выдвинуты, а основная идея, которой руководилось современное общество въ своихъ воззрѣніяхъ на Московское государство. Такимъ образомъ, концепція пѣсни будетъ такова: Иванъ Грозный желалъ стать царемъ, убѣжденный, что ему подобаетъ царскій титулъ (владѣльцемъ котораго является Казанскій царь), отправляется на Казань, беретъ ее и, такимъ образомъ, достигаетъ своей цѣли. Стало быть, здѣсь перспектива историческаго событія является преломленной сквозь призму идейныхъ стремленій Московскаго правительства, при чемъ средствомъ для выраженія этого преломленія взята народно-поэтическая повѣсть о Вавилонскомъ царствѣ съ той же тенденціей [1]). Если здѣсь мы видимъ нѣкоторое искаженіе исторической перспективы, зато довольно точно и вѣрно передана самая мысль, самый смыслъ событія.

Слѣдующая пѣсня объ Иванѣ Грозномъ касается частнаго семейнаго событія въ его жизни—женитьбы. Если принять во вниманіе общее значеніе государя, его личности, то все семейное въ глазахъ постороннихъ принимаетъ значеніе далеко не частное, а болѣе общее. Эту оцѣнку болѣе общаго характера частныхъ событій въ царской семьѣ и имѣла въ виду историческая пѣсня *о женитьбѣ Ивана Грознаго*. Извѣстна своеобразность Ивана Грознаго въ этомъ отно-

[1]) Связь именно съ подобной повѣстью осталась въ видѣ обмолвки въ одномъ изъ варіантовъ, гдѣ Грозный заявляетъ, что цареніе свое онъ вынесъ изъ Царягорода (а оттуда перенесены бармы и шапка Мономаха, по повѣсти о Вавилонскомъ царствѣ), т.-е., въ нашей пѣснѣ Казань замѣнила собой Вавилонъ (подробнѣе см. въ моей Исторіи древней лит., стр. 439—442).

шенія: Иванъ Грозный до крайности довелъ въ своей жизни ту практику, которая существовала до него. Считая себя обладателями большого государства, главными о немъ печальниками, московскіе князья въ особенности внимательно относились къ вопросу о престолонаслѣдіи, и прежніе московскіе князья Иванъ III, Василій III этому вопросу придавали большое значеніе: имѣть наслѣдника по себѣ, преемника для продолженія своего дѣла, было предметомъ особой заботы въ эпоху созданія Московскаго государства. Это въ значительной степени подчиняло интересы государя семейные государственнымъ. Князья московскіе разводятся съ своими женами въ случаѣ ихъ безплодія, заточаютъ въ монастырь, женятся на другихъ съ тѣмъ, чтобы получить наслѣдника для Московскаго государства. Такъ поступали Иванъ III, Василій III. Иванъ Грозный довелъ этотъ принципъ заботы о наслѣдникѣ до виртуозности, у него эта идея на дѣлѣ служитъ уже для удовлетворенія его собственной прихоти (если не похоти), его болѣзненной психической организаціи; онъ мѣняетъ женъ, какъ башмаки: извѣстно, что Грозный, несмотря на то, что самъ былъ представителемъ самаго строгаго исполненія церковныхъ правилъ, былъ женатъ не менѣе 7 разъ (тогда, какъ по каноническимъ правиламъ третья жена уже не есть настоящая жена, она наложница, третій бракъ—«блуда ради»). Несомнѣнно, что такая страсть царя, его похотливость, не могли пройти мимо вниманія окружающихъ. Существуетъ въ письменности даже отдѣльный трактатъ, можетъ быть, въ извѣстной степени секретный, о свадьбахъ Ивана Грознаго, гдѣ разсказывается съ большой откровенностью, что̀ въ какой женѣ ему нравилось и не нравилось, и какъ онъ съ этой женой расправился. Эта же черта царя отмѣчена и историческими компиляціями. Эта черта царя, офиціально признаваемая за важную въ государственномъ и общественномъ смыслѣ, обращала на себя вниманіе: женитьба царя была дѣломъ не только семейнымъ; состояніе семейной обстановки, вліяніе на Грознаго жены отражалось въ государственныхъ дѣлахъ; такъ, сравнительно мягкій режимъ начала царствованія Грознаго общественное мнѣніе приписывало умиротворяющему вліянію на него царицы Анастасіи Романовны. И это мнѣніе не прошло незамѣченнымъ исторической пѣсней, давши вступительныя строки пѣснѣ о женитьбѣ Грознаго на иноземкѣ («литвинкѣ» или черкешенкѣ) Марьѣ Темрюковнѣ, женитьба на которой послужила темой для одной изъ самыхъ распространенныхъ пѣсенъ про Грознаго. Марья Темрюковна была одной изъ тѣхъ кавказскихъ кабардинскихъ мелкихъ княженъ, которыхъ довольно много перебывало у насъ въ Москвѣ въ то время, когда наши сношенія съ ближайшимъ востокомъ, съ Кавказомъ, стали особенно оживленными. Москва, добравшись до Астра-

хани, не могла оставить безъ вниманія близь лежащей страны, заводить сношенія съ кавказскими народностями, желая такъ или иначе закрѣпить свои владѣнія на крайнемъ югѣ своей территоріи. Возникаютъ своеобразныя дипломатическія сношенія между московскимъ правительствомъ и отдѣльными удѣльными кавказскими князьками, съ Грузинскимъ царствомъ. Предкавказье вмѣстѣ съ дикой Кабардой представляется хорошимъ орудіемъ для постояннаго поддержанія броженія противъ татаръ, уже оттѣсненныхъ на край русской степи. Эти князьки кабардинскіе, частью остатки разсыпавшейся, раззоренной Золотой Орды, устанавливаютъ довольно своеобразныя отношенія къ Москвѣ. Когда нужна имъ помощь Москвы, они за Москвой ухаживаютъ, являются въ Москву, нѣкоторые принимаютъ крещеніе, вступаютъ въ число родовитыхъ бояръ московскихъ, иногда играютъ даже видную роль въ дѣлахъ Москвы. А когда имъ было выгодно, они пользовались смутой въ Московскомъ государствѣ, подчасъ заводили ее сами, являясь на границу московскаго государства, производили грабежи, разоряли населеніе и старались скорѣе вернуться въ свои улусы и отсиживались тамъ, пока опять въ нихъ не оказывалось надобности московскому правительству въ качествѣ своего рода цѣпной собаки противъ татаръ же и другихъ болѣе сильныхъ кавказскихъ народностей. Такова была, повидимому, и семья той Маріи Темрюковны, на которой пожелалъ жениться Иванъ Грозный. Черкешенка, вѣроятно, сумѣла понравиться похотливому Грозному, а съ другой стороны, Грозный и самъ хотѣлъ на этомъ бракѣ построить и политическую аферу: ему въ это время нужны были болѣе или менѣе мирныя сношенія съ черкесской ордой. Въ Москву является ея братъ Мастрюкъ Темрюковичъ, поступаетъ на московскую службу, и дѣло кончается тѣмъ, что Марья Темрюковна становится московской царицей, хотя и не надолго. Вотъ то событіе—женитьба Ивана Грознаго на Маріи Темрюковнѣ—которое послужило предметомъ пѣсни. Странной и необыкновенной эта женитьба представлялась современникамъ: великій царь московскій женится на иноземкѣ, татаркѣ, бывшей недавно магометанкѣ; это, прежде всего, представляло какой-то диссонансъ съ установившимися воззрѣніями на иноземцевъ, а съ другой стороны, въ Москвѣ очень хорошо оцѣнивались тѣ отношенія, которыя были у московскаго правительства съ кабардинской ордой: съ одной стороны—своего рода недовѣріе или неодобреніе подобнаго рода союза, съ другой—сознаніе совершившагося факта, и, наконецъ, сознаніе, что въ сущности всѣ эти кабардинскіе, татарскіе князьки могутъ быть поставлены на одну доску съ разными разбойниками, насильниками, которые грабятъ московское государство. Этимъ и объясняется то глухое недовольное настроеніе, которое должно было господствовать въ

это время въ московскомъ государствѣ по отношенію къ этому браку. Слагатели пѣсни о женитьбѣ воспользовались этой темой для другихъ цѣлей: чтобы подчеркнуть то величіе, которымъ отличались представители московскаго государства, подчеркнуть свое нерасположеніе и презрѣніе къ инородцу, высказать свою національную гордость, и косвенно объяснить заслуженную неудачу Грознаго съ этой женитьбой. Пѣсня объ этомъ говоритъ такъ: умираетъ царица Анастасія (симпатіи пѣсни всецѣло на ея сторонѣ) и передъ смертью беретъ съ царя слово, что онъ либо не будетъ больше жениться, либо, если ужъ ему будетъ невтерпежъ (а это предвидѣла умирающая царица), то возьметъ невѣсту въ каменной Москвѣ, а не иноземку; пуще всего остерегаетъ она его отъ «литвинки» [1]) Марьи Темрюковны. Вскорѣ по смерти благочестивой царицы царь задумалъ жениться, и какъ разъ, на «литвинкѣ», иноземкѣ Марьѣ Темрюковнѣ. Играется свадьба, на свадебномъ пиру присутствуетъ многочисленная родня Маріи Темрюковны, въ томъ числѣ сидитъ и братъ царицы, стало быть, царскій шуринъ, Мастрюкъ Темрюковичъ [2]); рисуется онъ удальцомъ храбрецомъ, безшабашнымъ, знаменитымъ борцомъ, соперниковъ которому нѣтъ. Сидитъ Мастрюкъ Темрюковичъ на пиру пригорюнившись. Иванъ Грозный обратилъ вниманіе на то, что всѣ пьютъ, одинъ Мастрюкъ не пьетъ, не ѣстъ, все молчитъ. Подозрѣвая какой-то недобрый умыселъ, онъ обращается къ нему и спрашиваетъ о причинѣ его печали. Мастрюкъ заявляетъ, что огорченъ тѣмъ, что нѣтъ ему супротивничка, съ кѣмъ бы потѣшить удаль молодецкую, побороться. Этимъ самымъ онъ бросаетъ тѣнь на русскихъ, что-де въ цѣлой Москвѣ нѣтъ человѣка, который могъ бы потягаться съ нимъ. Задѣтый за живое, царь Иванъ Грозный велитъ прежнему своему шурину, Никитѣ Романову, кликнуть кличъ, вызвать поединщика. Послѣ долгихъ розысковъ, находятся два борца, которые называются уменьшительными именами: Тимошей, Гришей, Мишей, Потанюшкой хроменькимъ, даже шутами—одинъ хроменькій, другой слѣненькій. Выступаютъ, стало быть, кротивъ Мастрюка Темрюковича русненькій. Выступаютъ, стало быть, противъ Мастрюка Темрюковича рус-гда, они—«мужики подмосковные») какъ будто не могутъ быть противниками бойцу-удальцу, аристократу, черкесскому князю. Тѣмъ не менѣе Тимошка хроменькій вдрызгъ разбиваетъ этого татарина, да еще раздѣваетъ его до нага, срамитъ. Царь очень обрадованъ и озабоченъ. Обрадованъ онъ тѣмъ, что русакъ себя въ обиду не далъ, доказалъ поганому татарину, какъ опасно связываться съ русскими, а огорченъ тѣмъ,

---

[1]) Ср. отношенія къ Литвѣ, исконному врагу Московской Руси; въ былинахъ— „Литва поганая", „невѣрная", некрещеная".

[2]) Личность историческая; настоящее его имя—Мамстрюкъ Темгрюковичъ.

что шуринъ его, братъ Маріи Темрюковны, побитъ. Марія Темрюковна, заступаясь за поруганнаго брата, выражаетъ гнѣвъ на Грознаго, допустившаго обиду. Все-таки патріотизмъ беретъ верхъ; на упрекъ обиженной Марьи Темрюковны, царь отвѣчаетъ:

Не то-то намъ дорого,
Что татаринъ похваляется,
А то-то намъ дорого,
Что русакъ потѣшается.

Въ нѣкоторыхъ варіантахъ есть продолженіе: Марья покидаетъ Москву, или даже ее размыкиваютъ копями въ чистомъ полѣ. Ясное дѣло, что здѣсь вся суть пѣсни не столько въ изложеніи событія, сколько въ томъ, что татаринъ, къ которому привыкли относиться, какъ къ врагу, а теперь относятся съ презрѣніемъ, вздумалъ поломаться, показать свое преимущество надъ русскимъ человѣкомъ и за это жестоко поплатился, несмотря на то, что онъ шуринъ царскій; и симпатіи самого царя не на сторонѣ своего татарина-родственника: здѣсь налицо своеобразная тенденція, которую мы отчасти видѣли въ пѣснѣ о взятіи Грознымъ Казани. Есть здѣсь и еще одинъ отзвукъ современныхъ взглядовъ на событія: рядомъ съ патріотической, такъ сказать, тенденціей видно и неодобрительное отношеніе къ поступку самого царя—женитьбѣ его на поганой татаркѣ, кромѣ того, чуть ли не колдуньѣ, которая приворожила царя (какъ характеризуется Марія Темрюковна въ иныхъ варіантахъ): самая, вѣдь, свадьба совершается вопреки завѣщанію умирающей хорошей царицы Грознаго. Царь завѣта не послушался, женится на чужеземкѣ, и добра изъ этого не вышло. Такъ разсказываютъ наиболѣе полные варіанты, кончающіеся смертью Марьи Темрюковны и новой женитьбой Грознаго, на этотъ разъ уже «въ каменной Москвѣ, на святой Руси», а не на сторонѣ.

Третья пѣсня изъ отразившихъ эпоху Грознаго—пѣсня о томъ, какъ Иванъ Грозный выводилъ на Руси измѣну. Эта тема, повидимому, когда-то составляла отдѣльную пѣсню; но въ такомъ видѣ не дошла, а входитъ въ видѣ составной части въ другія пѣсни про Ивана Грознаго: она присоединяется то къ пѣсни о взятіи Казани (рѣже), то къ пѣснямъ объ убіеніи Грознымъ своего сына (обычно) [1]. Изъ содержанія пѣсни о взятіи Казани, намъ уже знакомаго, ясно, что этотъ мотивъ является въ этихъ пѣсняхъ присоединеннымъ изъ другого источника, изъ другой пѣсни. Тамъ разсказывается о томъ, какъ Иванъ Грозный взялъ Казань, какъ онъ сталъ царемъ и (въ концѣ

[1]) Она носитъ иногда названіе нѣсколько не обычное: „Никитѣ Романову дано село Преображенское".

пѣсни, совершенно безъ связи съ основной мыслью) онъ хвастается: «сталъ я царемъ, и вывелъ я измѣну на Руси», будто воцареніе Грознаго имѣло своимъ результатомъ уничтоженіе крамолы. Нѣсколько лучше мотивировано присутствіе мотива о крамолѣ въ пѣсняхъ о томъ, какъ Иванъ Грозный убилъ своего сына: царевичъ Иванъ обвиненъ подозрительнымъ отцомъ въ сочувствіи тѣмъ крамольникамъ, противъ которыхъ боролся Иванъ Грозный: царь на пиру хвастаетъ тѣмъ, что вывелъ онъ измѣну на Руси; всѣ выражаютъ свою радость, одинъ царевичъ молчитъ. Этого достаточно, чтобы вспыльчивый, подозрительный Грозный распорядился Малютѣ Скуратову убить царевича, но Никита Романовичъ нагоняетъ Малюту, отбиваетъ царевича, вмѣсто котораго казнятъ конюха Никиты Романова, а царевича Никита прячетъ. Когда Грозный отправляется, будучи вполнѣ увѣренъ, что сынъ его убитъ по его порученію Малютой Скуратовымъ, въ Архангельскій соборъ, чтобы служить по немъ панихиду, всѣ являются въ траурныхъ одеждахъ, только одинъ Никита Романовъ приходитъ въ парадной одеждѣ съ веселымъ лицомъ, и этимъ обращаетъ вниманіе Грознаго. Царь недоволенъ, видитъ въ этомъ неуваженіе къ нему, къ его горю по убитомъ, рѣзко запрашиваетъ Романова, почему онъ не исполнилъ его царскаго повелѣнія, явился въ свѣтлой одеждѣ, и почему у него такое веселое лицо? Романовъ ему смѣло отвѣчаетъ, что печалиться ему нечего. Царь сердится, Романовъ распахиваетъ полы своего кафтана, и изъ-подъ нихъ выходитъ царевичъ. Тогда царь назначаетъ награду Романову (по варіантамъ, даетъ село Преображенское; см. предыд. прим.). Въ основѣ пѣсни лежитъ, разумѣется, извѣстный фактъ изъ жизни Грознаго—убіеніе имъ въ запальчивости сына Ивана. Настроеніе Грознаго передано въ пѣснѣ точно: извѣстное раскаяніе Грознаго, посылка во Святую землю съ милостыней за упокой сына (хожденіе Трифона Коробейникова) и т. д. сопровождали, какъ извѣстно, это событіе. Роль Малюты также соотвѣтствуетъ, если не данному факту, то исторической роли этого придворнаго палача. Финалъ пѣсни, однако, смягченъ: Грозный убійцей сына не оказался; онъ, герой пѣсни, царь, не могъ по народной этикѣ, быть убійцей.

Помимо указаннаго, эпоха Грознаго и самъ онъ нашли себѣ отраженіе и въ цѣломъ рядѣ другихъ пѣсенъ. Такъ, мы знаемъ пѣсни о покореніи Сибирскаго царства и Ермакѣ, о походѣ царя на Псковъ, о завоеваніи Астрахани, объ опричнинѣ и др. [1]). Не касаясь ихъ подроб-

[1]) Большое собраніе пѣсенъ эпохи Грознаго вошло въ сборникъ П. В. Кирѣевскаго (Пѣсни, собранныя К-имъ, изд. О. Л. Р. С. подъ ред. Безсонова, вып. 6). Еще болѣе полный, почти исчерпывающій по полнотѣ матеріалъ находимъ въ новомъ

нѣе, можно сказать, что всѣ крупныя событія и явленія эпохи Грознаго такъ или иначе отразились въ пѣснѣ. Этотъ матеріалъ пѣсенный настолько великъ и опредѣлененъ, что его, кажется, достаточно для того, чтобы судить о томъ, какъ историческая пѣсня представляла себѣ Грознаго.

Общее впечатлѣніе отъ этихъ пѣсенъ, прежде всего, то, что идеализація личности Грознаго проходитъ въ нихъ совершенно послѣдовательно; несомнѣнно, во всѣхъ этихъ пѣсняхъ видно большое сочувствіе Грозному. Грозный для пѣсни—герой положительный; даже такіе поступки, какъ осужденіе на смерть сына, до извѣстной степени затушеваны, смягчены: этимъ, вѣроятно, и объясняется, почему пѣсня о Никитѣ Романовѣ имѣетъ такой конецъ. Царь готовъ пожертвовать сыномъ для блага государства, но, хотя вспыльчивъ, отходчивъ, сознаетъ свою ошибку, благородно награждаетъ Никиту: тоже мы видѣли въ пѣснѣ о взятіи Казани. Этотъ же положительный взглядъ на Грознаго повторился въ цѣломъ рядѣ сказокъ, т.-е., этотъ взглядъ, весьма естественно, выражаетъ общее народное воззрѣніе на Ивана, какъ на царя. Самая жестокость Грознаго толкуется, какъ соотвѣтствующая тому облику грознаго царя, который грозенъ для враговъ. Какъ извѣстно, въ теченіе своего царствованія Грозный употреблялъ всѣ усилія, чтобы расправиться съ той боярской аристократіей, которая стремилась сначала къ ограниченію власти Грознаго, а потомъ всячески дискредитировать его въ глазахъ народа и общества [1]). Несомнѣнно, при выборѣ между царемъ и боярами, симпатіи у пѣвцовъ должны были склониться въ сторону Грознаго, потому что, если Грозный былъ и тяжелъ для народа, то для него была гораздо тяжелѣе та боярская аристократія, которая непосредственно соприкасалась съ народомъ, и господство которой въ народныхъ массахъ особенно тяжело отзывалось въ видѣ поборовъ и кормленій. Такимъ образомъ, тяжесть боярскаго гнета народъ чувствовалъ непосредственно и въ лицѣ Грознаго видѣлъ противовѣсъ этому боярскому засилью, хотя на дѣлѣ Грозный расправился съ боярами, преслѣдуя иныя цѣли и интересы. Такого рода пониманіе эпохи до извѣстной степени было правильно. Если мы обратимся къ книжной литературѣ, преимущественно публицистическаго типа, эпохи Грознаго и посмотримъ, поскольку въ ней выразилось настроеніе

изданіи В. Ѳ. Миллера „Историческія пѣсни русскаго народа“, т. I. (Сборн. отд. рус. яз. и сл. И. А. Н., т. 93). Историческимъ пѣснямъ времени Грознаго посвящено нѣсколько монографій; изъ нихъ слѣдуетъ назвать: Вейнберга: „Рус. нар. пѣсни объ Иванѣ Грозномъ“ (изд. 2, Спб. 1908), и Шамбинаго „Пѣсни времени Грознаго“ Серг. пос. 1914).

[1]) Ср. полемику кн. Курбскаго съ Грознымъ, его „Исторію князя Московскаго“ и др.

общества, то мы увидимъ почти то же самое. Многіе представители общественной и политической мысли, наиболѣе вдумчиво относившіеся къ окружающей обстановкѣ, въ родѣ Максима Грека, Ивана Пересвѣтова и др., даютъ картину нѣсколько аналогичную той, которую мы можемъ получить изъ пѣсенъ. Они стоятъ за непреложную, безграничную царскую власть и представляютъ себѣ царя, какъ защитника народа противъ тѣхъ нестроеній, которыя своей тяжестью ложатся на народъ, и въ которыхъ виновато несовершенство правленія при участіи стараго боярства, а главнымъ образомъ, благодаря хищничеству, властолюбію тѣхъ же боярскихъ правящихъ классовъ, которые преслѣдовали свои личные меркантильные или свои династическіе интересы бывшихъ самостоятельныхъ владѣтелей. Такимъ образомъ, въ пѣсняхъ о Грозномъ довольно правдиво отразились современныя, XVI вѣка, воззрѣнія на личность Грознаго. Конечно, здѣсь большей объективности мы ожидать не можемъ. Освѣщеніе можетъ быть нѣсколько неправильно исторически, но, несомнѣнно, что въ этомъ освѣщеніи есть своя доля правды, если взглянуть съ точки зрѣнія тѣхъ слагателей пѣсни, которымъ мы обязаны возникновеніемъ этихъ пѣсенъ: слагатели пѣсенъ въ большинствѣ случаевъ выходили изъ средняго и низшаго классовъ; стояли и по воззрѣніямъ и по своему положенію въ обществѣ ближе къ народной массѣ, нежели къ правящимъ классамъ.

Пѣсни Смутнаго времени. Изъ слѣдующихъ цикловъ историческихъ пѣсенъ, которые можно прямо опредѣлять по тѣмъ центральнымъ личностямъ и событіямъ, которыя служатъ предметомъ этихъ пѣсенъ, мы должны, прежде всего, назвать одну групу болѣе позднихъ—конца XVII вѣка и начала XVIII в. Правда, что въ промежуткѣ мы видимъ Смутное время, первые годы царствованія Михаила Ѳедоровича, Алексѣя Михайловича, Ѳедора Алексѣевича съ довольно живой политической и общественной жизнью; но эти эпохи не получили такого яркаго выраженія именно въ исторической пѣснѣ, какъ время Грознаго. Почему это такъ произошло, мы до извѣстной степени можемъ угадать.

Прежде всего, наступившая послѣ Грознаго эпоха Смутнаго времени не была такой благопріятной эпохой, когда устное творчество могло развиваться. Всякая смутная эпоха въ жизни общества, можетъ быть, сама по себѣ и оживленная, отвлекаетъ интеллектуальныя силы и вниманіе общества въ другія области: въ жизнь политическую, активную самозащиту и не можетъ особенно обильно отозваться на художественной литературѣ. Это мы можемъ сказать и про Смутное время конца XVI-го и начала XVII-го вѣка: несмотря на свое оживленіе, эпоха дала литературѣ этого времени меньше, сравнительно съ тѣмъ, что она могла бы дать, если сравнить ее со временемъ непосредственно предшествующимъ.

То же надо сказать и про историческую пѣсню. Въ то же время нельзя сказать, чтобы Смутное время осталось неотмѣченнымъ и не затронутымъ въ исторической пѣснѣ: мы знаемъ отдѣльныя пѣсни, повидимому, восходящія къ этому времени. Къ числу такихъ пѣсенъ относится, напримѣръ, не разъ упомянутая пѣсня про смерть Скопина-Шуйскаго (1610), пѣсни о Ксеніи Годуновой, о первомъ и второмъ Самозванцахъ, о Маринѣ, женѣ Лжедмитрія, объ осадѣ Троицкой лавры поляками, о Лисовскомъ. Несомнѣнно, что отдѣльныя пѣсни должны были возникнуть и коснуться событій эпохи, притомъ наиболѣе крупныхъ событій этого времени, насколько они охватывались сознаніемъ массъ; въ то же время, присматриваясь къ нимъ ближе, мы должны сказать, что эти пѣсни отмѣтили собой лишь отдѣльные, разрозненные мотивы этой эпохи, не передавая общаго представленія о ней, какъ пѣсни эпохи Грознаго. Видимо, пестрота интересовъ, характеръ броженія, партійныя теченія помѣшали цѣльности впечатлѣнія современникамъ, а это отразилось и въ пѣснѣ. Если пѣсня этого времени оказалась слабѣе, чѣмъ въ предшествующую эпоху, то событія Смутнаго времени нашли себѣ отзвукъ и помимо исторической пѣсни: прежде всего въ былинѣ, и затѣмъ въ развитіи особой исторической пѣсни—казацкой, отъ которой идетъ пѣсня разбойничья. Въ былинѣ въ качествѣ такого отзвука слѣдуетъ отмѣтить вліяніе того же казачества, игравшаго, какъ извѣстно, такую видную роль въ эпоху Смуты. Какъ разъ въ это время старый богатырь эпоса, Илья Муромецъ, получаетъ окраску казачества, онъ становится «старымъ, матерымъ казакомъ Ильей Муромцемъ». Несомнѣнно, что ко времени Грознаго и Смутнаго времени, когда казачество начинаетъ играть все болѣе и болѣе видную роль въ событіяхъ, относятся пѣсни, которыя по содержанію восходятъ къ эпохѣ Грознаго, но уже отмѣчены характеромъ казачьей среды. Таковы упомянутыя пѣсни про Ермака, которыя сложились въ казачьей средѣ, вѣроятно, въ Смутное время. Покореніе Сибири Ермакомъ было событіемъ въ казачьей средѣ болѣе, пожалуй, знаменательнымъ, нежели въ остальной Руси, и поэтому не могло не отразиться въ народной пѣснѣ. Но интеллектуальныя силы эпохи были отвлечены въ другую сторону, и потому дѣло ограничилось въ значительной степени перелицовкой на новый ладъ, приспособленіемъ къ событію покоренія Сибири стараго былевого матеріала. Поэтому, типъ Ермака совпадаетъ съ типомъ казака Ильи Муромца и взаимодѣйствіе между пѣсней о покореніи Сибири, о царѣ Кучумѣ, и объ Ильѣ Муромцѣ несомнѣнное; даже можно сказать болѣе: былина объ Ильѣ Муромцѣ служитъ источникомъ, матеріаломъ для перелицовки, въ результатѣ которой получилась пѣсня о завоеваніи Сибири. Этотъ «перелицованный» Илья въ

эпоху Смуты является обратно въ былинѣ. Элементъ Смутнаго времени оказывается, такимъ образомъ, наноснымъ элементомъ на эпосѣ старшаго времени. Это примѣненіе казачьяго элемента въ старой былинѣ расширяетъ наше представленіе объ отраженіи Смутнаго времени въ пѣснѣ. Такого же происхожденія, какъ мы видѣли, и личность Марины въ старой былинѣ о Добрынѣ. Наконецъ, настроенія Смутнаго времени нашли себѣ выходъ въ развитіи цѣлой вѣтви исторической пѣсни, именно, въ пѣснѣ казачьей: она, какъ было сказано, стала намѣчаться, какъ продуктъ специфической въ соціальномъ и бытовомъ отношеніи среды, еще въ эпоху Грознаго; Смутное время въ значительной степени способствовало ея обособленію изъ круга исторической пѣсни вообще. Это, какъ мы могли видѣть, объясняется особой ролью въ русской жизни казачества Смутнаго времени. Съ прекращеніемъ смуты, эта роль не кончилась, она нашла себѣ выходъ на окраинахъ Московскаго государства, гдѣ, чѣмъ далѣе, тѣмъ чаще принимала характеръ протеста, защиты того произвола, которые не терпимы были въ центрѣ государства. Пѣсня этого «вольнаго» казачества, постепенно принимаетъ характеръ пѣсни разбойничьей, культивируетъ, главнымъ образомъ, идеалы удалого казака, часто прикрѣпляя ихъ къ той или иной дѣйствительно существовавшей и оставившей по себѣ слѣдъ личности. Не распространяясь подробно и нѣсколько забѣгая впередъ, можно характеризовать эту казацко-разбойничью пѣсню, какъ историческую по преимуществу: въ ней реальное и реалистическое содержаніе преобладаетъ надъ идеальнымъ, очень ярко отраженіе быта; съ другой стороны, пѣсни эти, какъ вышедшіе изъ специфической среды, окраиннаго населенія, не богаты разнообразіемъ историческихъ отзвуковъ и содержанія. Въ такомъ масштабѣ живетъ эта пѣсня и въ XVII и въ XVIII вѣкахъ. Наиболѣе типичными казацко-разбойничьими пѣснями можно назвать пѣсни про Стеньку Разина, Пугачева и самыя позднія про Ваньку Каина [1]).

Пѣсни середины XVII вѣка. Эпоха первыхъ Романовыхъ, Михаила и Алексѣя, въ силу характера общественной жизни, направленной главнымъ образомъ на упорядоченіе расшатавшагося за Смутное время уклада жизни и государства, небогатая событіями громкаго характера, не выдвигавшая яркихъ для общаго сознанія массъ дѣятелей, не богата и исторической пѣсней. Здѣсь, повидимому, сыграла роль и значительно намѣтившаяся перемѣна въ культурѣ — именно, вліяніе все усиливавшагося западнаго теченія—съ другими интересами. Рели-

[1]) Объ этихъ пѣсняхъ см. Н. Аристова „Объ историческомъ значеніи разбойничьихъ пѣсенъ" (Воронежъ, 1875, изъ Филол. Записокъ).

гіозное движеніе (расколъ) въ старообрядческихъ разсказахъ и легендахъ всеже оставило свой слѣдъ въ пѣснѣ, не только религіозной, но и исторической; такъ, мы знаемъ пѣсни объ осадѣ Соловецкаго монастыря. Во всякомъ случаѣ, надо замѣтить, что расцвѣтшая въ эпоху Грознаго пѣсня, чѣмъ далѣе, тѣмъ все больше обнаруживаетъ стремленія къ своего рода специализаціи, отражая все чаще групповые, а не общенародные интересы—процессъ, который мы видѣли на казачьей и разбойничьей пѣснѣ, и который, чѣмъ далѣе, тѣмъ становится замѣтнѣе. Этому «паденію» старой пѣсни способствуютъ и общія измѣненія въ нравахъ общества, повидимому, уже меньше предъявлявшаго требованій на историческую пѣсню.

Поэтому, возможно, что самое крупное событіе середины XVII в.—присоединеніе Малороссіи—какъ актъ высшей государственной политики, ближайшимъ образомъ не коснулось народнаго быта и міросозерцанія массъ и не вызвало обильной исторической пѣсни. Присоединеніе Малороссіи нашло свое отраженіе въ книжной литературѣ, которая была удѣломъ класса грамотнаго, образованнаго, но было мало доступно и мало интересно для широкихъ народныхъ массъ. Только съ конца царствованія Алексѣя Михайловича мы видимъ опять циклъ историческихъ пѣсенъ. Эти пѣсни группируются, главнымъ образомъ, около такой личности, которая, несомнѣнно, должна была оставить большой слѣдъ въ народномъ представленіи. Это—личность Петра Великаго.

Пѣсни эпохи Петра. Личность Петра Великаго нашла очень ласковый пріемъ въ устахъ слагателей историческихъ пѣсенъ. Почти вся біографія Петра Великаго проходитъ (конечно, безъ большихъ подробностей) въ нашихъ историческихъ пѣсняхъ. Уже самое рожденіе Петра Великаго, которое сопровождалось взрывомъ стрѣлецкаго бунта, оставило память въ исторической пѣснѣ: мы знаемъ пѣсни о рожденіи Петра Великаго, о радости царя Алексѣя Михайловича по этому поводу. Конечно, это—антиципація своего рода: царь радуется тому, что у него родился сынъ, который впослѣдствіи сталъ знаменитымъ. Это показываетъ, что пѣсня сложилась не тотчасъ послѣ событія, а спустя нѣкоторое время, когда личность Петра выяснилась, т.-е., не раньше самаго конца XVII или начала XVIII вѣка. Затѣмъ идутъ историческія пѣсни, которыя рисуютъ Петра, какъ государя, какъ великаго завоевателя. Грандіозный обликъ Петра, та шумная дѣятельность, которая разливалась въ это время при непосредственномъ участіи Петра, особенно наиболѣе понятныя и видныя проявленія личной воли и вліянія должны были въ значительной степени сближать его съ крупной исторической, пожалуй, даже богатырской личностью. Тѣ непосредственныя сношенія, которыя были у Петра съ народными массами во время

его дѣтства, когда онъ находился въ Преображенскомъ, когда онъ началъ совершать свои путешествія, когда онъ постоянно приходилъ въ общеніе съ народной средой, поражая ее своей фигурой, своимъ простымъ (для царя) отношеніемъ, непосредственнымъ, дѣловымъ характеромъ, все это не могло не оставить впечатлѣнія среди слагателей историческихъ пѣсенъ. Если онъ рисуется слагателю могучимъ государемъ, то, съ другой стороны, подобно Грозному, представляется царемъ, который любитъ народъ, сближается съ этимъ народомъ, относится опасливо къ тѣмъ боярамъ и князьямъ, къ которымъ далеко не симпатично относятся и народныя массы. Такимъ путемъ образъ Петра Великаго въ народномъ представленіи до извѣстной степени сближается съ образомъ Ивана Грознаго. Это сказалось и въ пѣснѣ: мы видимъ тѣсное взаимодѣйствіе между пѣснями о Петрѣ Великомъ и Иванѣ Грозномъ; цѣлый рядъ мотивовъ и отдѣльныхъ характерныхъ эпизодовъ, какъ царь становился на сторону народа съ тѣмъ, чтобы защитить его отъ князей и бояръ, встрѣчается въ пѣсняхъ объ Иванѣ Грозномъ и о Петрѣ Великомъ, и въ послѣднихъ детали эти обязаны своимъ происхожденіемъ пѣснямъ объ Иванѣ Грозномъ; сказалось это и внѣшнимъ образомъ: поется пѣсня о Петрѣ, и вдругъ проскользнетъ имя царя Грознаго, или Петру приписываются тѣ особенности, которыя закрѣплены въ историческихъ пѣсняхъ за Иваномъ Грознымъ. Особенно часто въ пѣсняхъ о Петрѣ Великомъ отмѣчается анекдотическая сторона сближенія Петра Великаго съ народомъ, его путешествій по Россіи—то, что особенно бросалось въ глаза: простота обращенія, справедливость и непринужденность въ отношеніяхъ, дѣловитость. Такія крупныя событія, какъ шведская война и цѣлый рядъ другихъ событій, а тѣмъ болѣе реформы Петра Великаго, не нашли себѣ богатаго отраженія въ историческихъ пѣсняхъ. Стало быть, личность Петра Великаго отразилась въ народномъ сознаніи въ исторической пѣснѣ одной своей стороной, какъ разъ той стороной, которая была ближе, доступнѣе и понятнѣе для народныхъ массъ [1]).

Солдатская пѣсня. Но со времени Петра Великаго въ исторіи исторической пѣсни мы замѣчаемъ опять выдѣленіе новой вѣтви узко-соціальнаго характера за счетъ пѣсни общаго характера. Это, несомнѣнно, стоитъ въ связи съ еще разъ къ XVIII вѣку измѣнившимися условіями въ общественной и народной жизни. Какъ извѣстно, Петръ Великій обращалъ очень много вниманія на созданіе правильной арміи. Солдатчина со

---

[1]) Подробнѣе о петровскихъ пѣсняхъ см. П. Лавровскаго „Критическій обзоръ пѣсенъ Петровской эпохи“. (Филолог. Зап. 1872 г., № 1—2.); ср. также: Е. В. Барсовъ „Петръ В. въ народныхъ преданіяхъ сѣвернаго края“ (Бесѣда, 1872 г., кн. 5), П. К. Симони „Сказки о Петрѣ В. въ записяхъ 1745—54 гг.“ (Живая старина, 1903 г., вып. 1—2).

времени Петра стала замѣтнымъ явленіемъ въ народной жизни. Со времени Петра Великаго одной изъ популярныхъ личностей въ народѣ является военный человѣкъ, солдатъ: и мы видимъ уже въ пѣснѣ о Петрѣ Великомъ участіе этого специфическаго **с о л д а т с к а г о** элемента: то Петръ Великій борется съ своимъ гренадеромъ, то стоящій на часахъ гренадеръ оплакиваетъ смерть Петра Великаго, который ему милѣе отца родного и ярче солнца свѣтлаго. Появленіе такого рода героевъ въ исторической пѣснѣ даромъ не прошло для остальной пѣсни: этотъ специфическій солдатскій слѣдъ долженъ былъ отложиться и на исторической пѣснѣ XVIII вѣка и начала XIX в. Такимъ образомъ, пѣсни эти все дальше и дальше отходятъ отъ старыхъ образцовъ, отъ прежнихъ воззрѣній и все больше пріобрѣтаютъ черты новой специфической военной исторической пѣсни, постепенно превращаются въ историческую солдатскую пѣсню, въ значительной степени благодаря искусственности обстановки, въ которой теперь приходится жить человѣку, попавшему въ солдаты, взятому изъ народа: человѣкъ одѣтъ уже въ другой костюмъ, ведетъ другой образъ жизни, которая ставитъ ему совершенно иную цѣль его существованія, надолго, иногда и навсегда, уноситъ изъ родной среды [1]). Историческая пѣсня, постепенно, превращается въ типично солдатскую, порываетъ традиціи со старой пѣсней (которая по своимъ образцамъ восходитъ къ старшему виду народнаго творчества, именно къ былинѣ). Можно смѣло сказать, что старая историческая пѣсня обрывается въ XVIII в., и мы имѣемъ уже новую разновидность исторической пѣсни, пѣсню солдатскую, не претендующую уже на вниманіе тѣхъ широкихъ круговъ, которымъ еще въ XVII в. и XVIII в. служитъ старая пѣсня. Въ солдатской пѣснѣ мы видимъ событія, которыя освѣщаются именно съ точки зрѣнія военной среды, тѣхъ тенденцій, которыя проводятся въ специфической этой средѣ. Интересъ къ борьбѣ, къ войнѣ, къ жизни солдата, подвигамъ полководцевъ, любимыхъ командировъ составляютъ предметъ пѣсенъ. Вотъ приблизительно та эволюція, которую мы должны были намѣтить по отношенію къ исторической пѣснѣ въ ея позднее время: мы видимъ своего рода расщепленіе, обособленіе отдѣльныхъ видовъ пѣсни за счетъ общеисторической прежняго времени. Что касается самыхъ событій, воспѣваемыхъ пѣсней, то въ позднѣйшихъ историческихъ пѣсняхъ XVIII в., эти событія опредѣляются самымъ подборомъ отдѣльныхъ сюжетовъ. Наиболѣе полно отразилась въ солдатской исторической пѣснѣ Екатерининская эпоха, когда тѣ военныя событія, которыя имѣли мѣсто въ это время (рядъ турецкихъ войнъ, рядъ побѣдъ), получали все-таки бо-

[1]) Припомнимъ, что солдатская служба прежняго времени (вплоть до введенія общей воинской повинности) была очень продолжительна—30—35 лѣтъ.

лѣе или менѣе широкое значенiе въ глазахъ массы, посылавшей толпы своихъ членовъ на военную службу, на войну. Пѣсни про турецкiя войны Екатерининской эпохи напоминаютъ старыя пѣсни 30—40-хъ годахъ XVII в. (напр., о взятiи Азова) и носятъ характеръ до извѣстной степени полуказачiй, полувоенный. Отличiе ихъ отъ прежнихъ будетъ заключаться въ томъ, что главными героями выдвинуты тѣ же громкiя имена, которыми отмѣчены событiя Екатерининскаго царствованiя—графъ Румянцевъ, князь Потемкинъ; такiя событiя, какъ взятiе Очакова, Измаила, составляютъ предметъ подобныхъ историческихъ пѣсенъ.

Слѣдующая эпоха, которую мы должны отмѣтить для исторической пѣсни, это 1812-ый годъ. Это—такая эпоха, когда событiя не могли не затронуть широкихъ народныхъ массъ: война приняла народный характеръ, стала популярна, поэтому пѣсня про смерть Александра Благословеннаго, какъ одного изъ героевъ эпохи 12-го года, встрѣчается довольно часто среди историческихъ пѣсенъ, хотя военное происхожденiе этой пѣсни не подлежитъ никакому сомнѣнiю; главными же героями являются Кутузовъ, Барклай-де-Толли, ген. Платовъ, кн. Паскевичъ Эриванскiй и др. дѣятели этой боевой эпохи. Что касается самыхъ позднихъ пѣсенъ и отраженiй болѣе позднихъ событiй въ этихъ пѣсняхъ, то эти пѣсни большого интереса въ данномъ случаѣ не представляютъ. Они касаются событiй Николаевскаго царствованiя: есть отраженiе событiй 1825 года 14 декабря въ видѣ какого-то покушенiя на жизнь императора Николая, противъ котораго злоумышляютъ «господа-сенаторы». Наконецъ, есть пѣсни, которыя еще съ меньшимъ основанiемъ могутъ быть отнесены къ разряду историческихъ: это—пѣсни эпохи русско-турецкой войны, и, наконецъ, пѣсня, которая въ настоящее время получаетъ почему-то особенное распространенiе—о смерти Александра II [1]). Всѣ эти пѣсни, если мы къ нимъ присмотримся, очень мало имѣютъ общаго съ военными историческими пѣснями.

Такой бѣглый обзоръ развитiя исторической пѣсни долженъ повести къ такого рода выводу. Историческая пѣсня, какъ выраженiе народнаго историческаго самосознанiя, довольно рано зародилась, въ XV—XVI вв. она представляется уже болѣе или менѣе опредѣлившейся. Въ исторической пѣснѣ самосознанiе это получило болѣе опредѣленную, болѣе тѣсную связь съ эпохой, нежели въ былинѣ. Эта историческая пѣсня не порывала связи съ старшимъ видомъ творчества—былиной до XVIII в. Подъ влiянiемъ измѣнившихся культурныхъ усло-

[1]) Она была записана не разъ, главн. образомъ въ городской части великорусскаго говора.

вій жизни не только верхнихъ, но и низшихъ и среднихъ классовъ, подъ вліяніемъ реформъ Петра Великаго, и историческая пѣсня измѣняетъ свой видъ и становится то казацко-разбойничьей, то специфической солдатской пѣсней и тѣмъ самымъ порываетъ непосредственную органическую связь съ старой исторической пѣсней XVI в. и подвигается въ сторону бытовой пѣсни. Такимъ образомъ эта пѣсня доживаетъ до настоящаго времени; въ нее проникають все болѣе и болѣе искусственные элементы, все болѣе и болѣе отражаются специфическія, условныя черты того быта, въ которомъ эти пѣсни главнымъ образомъ культивируются: это—военная, солдатская среда, гдѣ на пѣсню налегаетъ малограмотная рука какого-нибудь полуученаго, полуграмотнаго фельдфебеля, немного читавшаго искусственную поэзію, кое-что еще помнящаго изъ народныхъ пѣсенъ. Такова исторія развитія нашей исторической пѣсни.

Остается сдѣлать нѣсколько замѣчаній объ исторической пѣснѣ со стороны ея формы: мы видѣли, какую услугу иногда оказываетъ изученіе формы произведеній народной словесности; форма иногда даетъ намъ не безполезныя хронологическія указанія и намекаетъ иногда на процессъ развитія пѣсни, иногда даже самого созданія устнаго народнаго произведенія. Съ точки зрѣнія формы историческая пѣсня (я буду имѣть въ виду главнымъ образомъ пѣсню старшую, тѣсно связанную съ прежними литературными традиціями) по формѣ своей тѣсно связана съ старой былевой пѣсней; но въ то же время разница будетъ между ними довольно значительная; историческая пѣсня имѣетъ форму старой былины, но всеже своеобразна. Чувство стараго поэтическаго стиля въ XVI в. значительно, повидимому, ослабѣло. Самое желаніе поскорѣе изложить самую сущность пѣсни—выраженіе уже повышеннаго интереса къ событію—ведетъ къ тому, что пѣсня излагается сжато, нѣтъ въ ней широкаго поэтическаго размаха, посторонніе поэтическіе мотивы привлекаются слабѣе; все это отражается на объемѣ пѣсни: исторической пѣсни въ нѣсколько сотъ стиховъ, какъ это встрѣчается въ былинѣ, мы не знаемъ; это—въ большинствѣ случаевъ, короткія пѣсни (рѣдко въ 150—200 строкъ), въ которыхъ изобразительныя средства примѣнены скупо; часть этихъ изобразительныхъ средствъ взята изъ стараго эпоса, но уже въ очень незначительномъ количествѣ: типичныя былинныя повторенія (ретардація) въ исторической пѣснѣ тщательно избѣгаются; этимъ и объясняется, что историческая пѣсня въ 100—150 строкъ уже считается большой. Историческая пѣсня—уже захудалый со стороны формы потомокъ старой пѣсни. Все это показываетъ, что на горизонтѣ эпическаго творчества происходитъ извѣстное видоизмѣненіе, или, пожалуй, извѣстное замираніе, постепенное паденіе

старой традиціи и въ области формы, и паденіе это, несомнѣнно, должно было произойти. Литературные вкусы въ зависимости отъ измѣненій культурныхъ условій значительно мѣняются въ XVI—XVII вв., они переносятся на западную литературу въ высшихъ классахъ, прежде охотно слушавшихъ былину и другіе виды устнаго творчества: поэтому старая поэзія все больше и больше отходитъ на второй планъ, опускаясь въ менѣе культурные слои общества. Потребность трезваго и точнаго отчета въ совершаемыхъ событіяхъ отодвигаетъ старыя произведенія съ художественно-фантастическимъ характеромъ.

Этотъ же процессъ по мѣрѣ образованія такъ называемой интеллигенціи европейскаго типа опускаетъ все ниже и ниже и историческую пѣсню, начиная съ XVII-го, и въ XVIII вѣкѣ. Это постепенное паденіе старыхъ традицій въ связи съ измѣненіями быта мы и видимъ въ дальнѣйшемъ развитіи пѣсни, которая въ концѣ-концовъ въ одной своей части превращается въ нехудожественную, безвкусную солдатскую и вовсе почти не народную пѣсню.

Въ другой же своей части, составляющей удѣлъ широкихъ народныхъ массъ, эта пѣсня, вмѣстѣ съ старой былиной, постепенно превращается въ такъ называемую условно «низшую эпическую» пѣсню. Подъ этимъ названіемъ подразумѣваемъ пѣсню повѣствовательнаго характера, въ отличіе отъ пѣсни лирической, какъ выражающей преимущественно настроеніе. Эта низшая эпическая пѣсня—прежде всего бытовая: она представляетъ отраженіе быта чаще всего семейнаго, рѣже общественнаго, чаще домашняго, рѣже государственнаго; источники этой пѣсни чрезвычайно разнообразны, но прежде всего это попытка въ художественномъ обобщеніи дать пережитое, реальное, иногда изложить поразившее вниманіе выходящій изъ ряда вонъ случай, иначе сказать: и низшая эпическая пѣсня, подобно казачьей и разбойничьей, реалистична по своему настроенію и источникамъ. Съ этой-то пѣсней сливается постепенно старшая эпическая пѣсня—былина и историческая пѣсня, или уступая ей сюжеты, или же сама обобщаясь и обезличиваясь подъ ея вліяніемъ. Образцомъ такого рода эволюціи пѣсни въ ту и другую сторону могутъ служить отмѣченныя выше пѣсни объ Алешѣ и Аленушкѣ, князѣ Романѣ: въ нихъ, если припомнимъ (см. стр. 266, 279), на бытовую пѣсню налегли черты (главнымъ образомъ имена) былинныя; въ пѣсняхъ же о сестрѣ и семи братьяхъ разбойникахъ мы видимъ вывѣтрившуюся старую разбойничью, историческую пѣсню [1]).

[1]) Значительное количество пѣсенъ въ извѣстномъ семитомномъ сборникѣ А. И. Соболевскаго „Великорусскія пѣсни“ (Спб. 1895—1902) должны быть отнесены къ этимъ низшимъ эпическимъ.

Малорусская дума. Нѣсколько иную эволюцію эпической пѣсни мы наблюдаемъ на югѣ русскаго племени—у малоруссовъ. Здѣсь она тѣсно связана, какъ и на сѣверо-востокѣ, съ историческими судьбами малорусскаго племени, и въ нихъ находитъ себѣ объясненіе. Не входя въ подробности этой исторіи и отраженія ея на южно-русской эпической пѣснѣ [1]), ограничимся лишь общими чертами этой исторіи, какъ она рисуется научнымъ ея изслѣдователямъ. Они различаютъ пять періодовъ въ развитіи этой пѣсни: 1) пѣсни дружиннаго вѣка и княжескаго, соотвѣтствующія до нѣкоторой степени нашей кіевской былинѣ; существованіе такихъ пѣсенъ лишь предполагается теоретически, на дѣлѣ же они на югѣ не сохранились, оставивъ слѣды, и то не всегда неоспоримые, въ пѣсняхъ другого рода, главнымъ образомъ въ бытовой и обрядовой: колядкахъ и щедривкахъ. 2) Пѣсни вѣка казацкаго, 3) пѣсни гайдамацкія, 4) пѣсни рекрутскія и крипацкія (крѣпостного права), 5) пѣсни современныя, воспѣвающія событія послѣдняго времени. Изъ всѣхъ этихъ группъ пѣсенъ для насъ болѣе интересны группы вторая и третья, тогда какъ послѣднія двѣ группы, соотвѣтствуя бытовой пѣснѣ и пѣснѣ низшей эпической великоруссовъ, особенностей въ смыслѣ типа пѣсни не представляютъ. Думы эпохи казацкой (извѣстно около 50 сюжетовъ) посвящены, главнымъ образомъ, описанію борьбы и ея отдѣльныхъ эпизодовъ съ татарами и турками (XV—XVI вв.), хотя есть и болѣе позднія пѣсни; въ нихъ, помимо казацкихъ боевыхъ подвиговъ, нашли себѣ выраженіе грустныя картины «невольницкой» жизни (въ плѣну у невѣрныхъ) съ подробнымъ, подчасъ жуткимъ, описаніемъ тѣхъ страданій и жалкой доли, которыя выпадали на долю невольниковъ; описанія проникнуты глубокимъ лиризмомъ и иногда драматизмомъ, и въ то же время тоской по родинѣ, патріотизмомъ, проклятіями по адресу угнетателей. Въ основѣ этихъ думъ лежатъ, какъ и въ нашей исторической пѣснѣ, подлинные факты, которые иногда могутъ быть точно установлены; чаще же такому опредѣленію не поддаются: повидимому, ходячее мѣстное преданіе (какъ это бываетъ и въ пѣснѣ великорусской) прикрѣпляется къ популярному имени, чѣмъ пѣсня пріобрѣтаетъ видъ вполнѣ исторической. Такова, напр., одна изъ старшихъ и лучшихъ думъ о Самойлѣ Кошкѣ (Самійло Кішка, 1575—1600, гетманъ), побывавшемъ въ турецкой неволѣ на галерахъ и освободившемъ, по пѣснѣ, нѣсколько сотъ такихъ же несчастныхъ невольниковъ, прибѣгнувъ къ

---

[1]) Сжатая, но въ тоже время вполнѣ достаточная для ознакомленія съ малорусской исторической пѣсней статья К. П. Арабажина помѣщена въ „Ист. Рус. Лит.“ подъ ред. Аничкова, Бороздина и Куликовскаго, т. I, вып. 4 (М. 1908), стр. 301—334; здѣсь же соотвѣтствующая литература въ концѣ статьи.

хитрости: притворно принявъ турецкую вѣру, онъ съ турками кутитъ; когда турки перепились, ихъ избиваютъ, завладѣваютъ судномъ и возвращается на Сѣчь, дѣлятъ добычу. Къ числу такихъ же думъ относится пѣсня, возникшая вѣроятно въ XVI—XVII вв., про Марусю Богуславку, принявшую насильно магометанство, но любящую свою родину и земляковъ, которыхъ она выпускаетъ изъ темницы; близка къ этой пѣснѣ и дума, правда, скомканная, объ Иванѣ Богуславцѣ, попавшемъ въ плѣнъ, но освобожденнымъ съ помощью Семиры, жены турецкаго паши. Особенно популярна дума объ Алексѣѣ Поповичѣ (общаго съ богатыремъ ничего не имѣющаго) и бурѣ на Черномъ морѣ, въ основѣ которой можно узнать отзвуки похода запорожскаго кошевого Зборовскаго (80-е годы XVI ст.). Наконецъ, сюда же относится дума о трехъ братьяхъ, бѣжавшихъ изъ Азовскаго плѣна: они не дошли до родины, на границѣ степи умерли [1]).

Отдѣльную по содержанію группу пѣсенъ, историческая достовѣрность которыхъ не подлежитъ сомнѣнію, составляютъ думы эпохи національныхъ войнъ времени Богдана Хмельницкаго; здѣсь сплетаются національные интересы и духовно-религіозные XVII в.: борьба съ Польшей, крестьянскія войны, казацкіе подвиги составляютъ главное содержаніе этихъ пѣсенъ; государственные и политическіе интересы въ этихъ пѣсняхъ задѣты, однако, слабо; даже такой крупный фактъ, какъ присоединеніе Малороссіи къ Москвѣ, не отмѣченъ ни одной цѣльной пѣсней: видимо, ближайшіе, болѣе понятные мѣстные интересы, частью соціальнаго характера, поглотили вниманіе пѣвцовъ и слагателей; поэтому, въ этихъ думахъ ярко подчеркнута ненависть къ угнетателю, «рендарю»—еврею. Изъ именъ въ этихъ думахъ слѣдуетъ назвать Богдана Хмельницкаго (его война съ Молдавіей, смерть, выборы Юрія Хмельницкаго); изъ типовъ, жизненно и художественно очерченныхъ этой думой, слѣдуетъ припомнить фигуры: «жида» (обрисованъ юмористически), ляха (тоже), мужика (хлопа, простоватъ), типъ казака (таковы, напр., популярныя думы о Ѳедорѣ Безродномъ, о неудачникѣ Ганжѣ Андыберѣ).

Гайдамацкія пѣсни по типу соотвѣтствуютъ великорусскимъ казацко-разбойничьимъ: онѣ—порожденіе того же протеста противъ сложившагося уклада жизни, того соціальнаго неравенства, угнетенія, которыя загоняли мирнаго поселянина въ разбойники, дѣлали его мстителемъ народа за неправду, заставляли бить «жидовъ» и «пановъ»; таковы

---

[1]) Эти пѣсни, какъ и самое полное собраніе другихъ историческихъ пѣсенъ, находятся въ изданіи В. Б. Антоновича и М. И. Драгомонова „Историч. пѣсни малорусск. народа“ (Кіевъ, 1874—5).

герои гайдамацкой пѣсни: Тараненко (въ Херсонской губ.), Кармелюкъ (въ Подольской).

Дума, хотя и сохранила пріемы стараго эпическаго творчества въ достаточной степени (изобразительныя средства, повторенія, сравненія, постоянные эпитеты), отлилась въ иную форму, нежели великорусская историческая пѣсня: дума усвоила риѳму (которой, какъ мы знаемъ, нѣтъ въ великорусской старой поэзіи), примѣняя ее, какъ необходимое завершеніе стиха; стихъ думы, по размѣру разнообразный: въ одной и той же думѣ рядомъ и десятисложный и двадцатисложный. Исполняется дума, въ отличіе отъ сѣверной пѣсни, подъ аккомпанементъ инструмента (бандура, лира, торбанъ), музыкальная ея форма—преимущественно речитативъ [1]). Несмотря на рядъ отличій въ судьбѣ, малорусская дума можетъ по типу быть сопоставлена съ исторической пѣсней сѣвера: обѣ создавались приблизительно въ одно и то же время, обѣ выражаютъ историческое самосознаніе среды, обѣ въ своемъ развитіи шли по пути расщепленія, приспособленія къ условіямъ специфическихъ круговъ общества.

Духовный стихъ.

Такъ называемый духовный стихъ въ своемъ древнѣйшемъ доступномъ намъ видѣ долженъ быть отнесенъ къ группѣ эпической поэзіи: съ ней его соединяетъ не только основной характеръ—повѣствовательный—но также форма и отчасти содержаніе, одинаковость поэтики; онъ связанъ съ эпической поэзіей и исторически, и по своей жизни въ устахъ пѣвцовъ: одни и тѣ же пѣвцы исполняютъ и былины и духовные стихи, при чемъ, однако, замѣчается, что пѣвцы былинъ чаще знаютъ и духовный стихъ, нежели пѣвцы духовныхъ стиховъ—былину. Причины этого мы увидимъ. Во всякомъ случаѣ, духовный стихъ и былины представляются въ сознаніи ихъ носителей очень близкими другъ къ другу. Что касается содержанія духовнаго стиха, то, не смотря на свое духовно-религіозное основное содержаніе, онъ представляетъ также непосредственную связь съ той же самой былиной: съ одной стороны, мы замѣчаемъ иногда въ былинѣ цѣлый рядъ мотивовъ (правда, въ качествѣ второстепенныхъ), аналогичныхъ духовному стиху, что̀ объясняется личностью сказателя (калики или нищаго), а иногда и создателя былины (ср. былину о сорока каликахъ), и,

[1]) Нѣкоторыя подробности объ этомъ можно найти у П. И. Житецкаго „Мысли о малорусскихъ думахъ“ (Кіевъ, 1893) и въ моей статьѣ „Южно-русская пѣсня и ея носители“ (Сборн. И. Ф. Общ. при Нѣжинск. Инст., в. V).

наоборотъ, среди духовныхъ стиховъ мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ такихъ, которые построены по образцу былины съ сохраненіемъ часто специфическихъ особенностей исторической или былевой пѣсни.

Съ другой стороны, въ исторіи нашего духовнаго стиха мы замѣчаемъ и нѣкоторыя своеобразныя черты. Эти черты настолько своеобразны, оригинальны, настолько отличны отъ былинныхъ, что заставляютъ насъ, признавая родственныя отношенія духовнаго стиха къ былинѣ, все-таки выдѣлить духовные стихи въ отдѣльную группу. Необходимость такого выдѣленія мы видимъ въ томъ, что эти стихи, прежде всего, имѣютъ довольно однообразное, специфическое содержаніе: это—поэзія въ значительной степени и по преимуществу религіозная, даже церковная, стоящая въ связи, прежде всего, съ духовной христіанской литературой. Иногда духовный стихъ расширяетъ свои границы и затрагиваетъ и другія темы, но эти темы опять-таки являются родственными темамъ духовной литературы, религіознаго мышленія: эти темы—общеэтическаго, общенравственнаго характера. Связываетъ съ церковной и духовной вообще литературой, съ религіознымъ міросозерцаніемъ, какъ оно сложилось постепенно подъ вліяніемъ литературы въ русской жизни, и то, что духовный стихъ до извѣстной степени или явно, или косвенно является поэзіей тенденціозной. Если былина, главнымъ образомъ, интересуется поэтической стороной сюжета, если она преслѣдуетъ, какъ историческая пѣсня, болѣе узкія цѣли—изложить то или другое историческое интересное событіе, объяснить его,—то духовный стихъ, рядомъ съ чисто эпическимъ разсказомъ, преслѣдуетъ цѣль нравоучительную, дидактическую, желаніе дать удовлетвореніе религіозной настроенности слагателя или слушателя. Эта тенденція въ духовномъ стихѣ является результатомъ того вліянія, которое на міросозерцаніе русскаго человѣка оказала религіозная, въ частности, церковная литература. Такимъ образомъ, и по своему настроенію, по характеру духовный стихъ долженъ представлять нѣчто отдѣльное.

Источники духовнаго стиха. Затѣмъ, духовный стихъ въ значительной степени будетъ отличаться отъ собственно эпической поэзіи (хотя и не будетъ противополагаться ей) по своимъ источникамъ. Если мы, разбирая тѣ или другія былины, въ ихъ содержаніи могли вскрывать ихъ источники, которыми оказывались или устныя мѣстныя и международныя преданія, или памятники книжнаго происхожденія, которые стали популярными, то зависимость духовнаго стиха отъ этихъ книжныхъ источниковъ не будетъ подлежать сомнѣнію въ громадномъ большинствѣ случаевъ. Самое существованіе духовнаго стиха тѣсно связано съ существованіемъ духовно-религіозной книжной литературы. Что касается матеріала народныхъ легендъ и устныхъ преданій, то

по отношенію къ духовнымъ стихамъ эта народная легенда находится въ обратномъ отношеніи сравнительно съ былиной: въ былинѣ, исторической въ своей основѣ, напластовывается легендарное фантастическое преданіе, иногда книжный источникъ, который оказываетъ вліяніе на созданіе былины, при чемъ они играютъ въ большинствѣ случаевъ второстепенную роль, внося новые эпизоды, помогая формулировать основное содержаніе былины (исключеніе въ этомъ случаѣ представляетъ былина сравнительно поздняя, напр., о Василіи Окуловичѣ, но такія былины—рѣдкость); наоборотъ, безъ книжнаго источника, безъ матеріала, идущаго отъ письменности, духовный стихъ немыслимъ, и устные народные мотивы, основные для былины, являются лишь средствомъ для разработки, прежде всего, книжныхъ, заимствованныхъ сюжетовъ. Что касается круга сюжетовъ духовнаго стиха, то по объему онъ гораздо у́же былиннаго: онъ будетъ отражать преимущественно одну сторону народнаго міросозерцанія — религіозную. Такимъ образомъ, разсматриваемый съ разныхъ сторонъ духовный стихъ—по содержанію, по характеру и по источникамъ—представляется отличнымъ отъ былины; но, съ другой стороны, онъ не можетъ быть органически оторванъ отъ этой былины, потому что онъ связанъ съ нею своей исторіей, частью и по источникамъ, по формѣ и по своему употребленію.

Возникновеніе духовнаго стиха. Что касается времени возникновенія духовнаго стиха, то, какъ это обычно въ памятникахъ устнаго народнаго творчества, мы не знаемъ ближайшихъ обстоятельствъ самаго созданія произведенія, не знаемъ и автора, а имѣемъ передъ собою въ рукахъ запись стиха, уже результатъ болѣе или менѣе продолжительной жизни этого духовнаго стиха; поэтому, конечно, точный анализъ духовнаго стиха, какъ и былины, въ смыслѣ хронологическомъ произведенъ быть не можетъ. Но, все-таки, нѣкоторыя общія соображенія по этому поводу возможны; можно рѣшать вопросъ, насколько древенъ самый духовный стихъ, какъ отдѣльная форма выраженія народнаго міросозерцанія. Апріористически, имѣя въ виду то, что духовный стихъ есть выраженіе религіознаго самосознанія, мы бы могли заключить, что духовный стихъ заключаетъ въ себѣ хотя бы отчасти доисторическій элементъ религіознаго вѣрованія. Но на дѣлѣ мы видимъ, что онъ тѣсно связанъ съ крупнымъ историческимъ событіемъ—принятіемъ христіанства; въ жизни народа онъ, какъ выраженіе христіанскаго міросозерцанія, могъ появиться только послѣ водворенія у насъ христіанства. Идя дальше по этому пути, мы должны еще ближе къ нашему времени пододвинуть эпоху возникновенія духовнаго стиха, какъ отдѣльнаго вида творчества. Для того, чтобы из-

вѣстное религіозное міросозерцаніе сложилось и нашло себѣ соотвѣтствующее выраженіе (а это необходимо для переложенія его въ художественную форму), для этого необходимо время. Исторія распространенія христіанскихъ идей среди русскихъ въ значительной степени должна дать матеріалъ для опредѣленія времени возникновенія духовнаго стиха. Мы знаемъ, что христіанское міросозерцаніе въ русской массѣ распространялось чрезвычайно медленно и вплоть до нашего времени не можетъ совершенно и исключительно овладѣть народнымъ сознаніемъ: рядомъ съ элементомъ чисто-христіанскимъ въ нашемъ міросозерцаніи мы до сихъ поръ въ видѣ пережитковъ встрѣчаемся съ элементомъ дохристіанскимъ, хотя уже густо покрытымъ христіанской оболочкой въ сознаніи народныхъ массъ (это то, что мы называемъ часто суевѣріемъ). Этотъ элементъ мы можемъ встрѣтить и въ духовномъ стихѣ. Но духовный стихъ, какъ тѣсно связанный съ книжными источниками, предполагаетъ уже извѣстную степень культурности, хотя бы въ видѣ простой грамотности въ той народной массѣ, которая выдвинула создателей духовнаго стиха. Это насъ заставляетъ отодвигать духовный стихъ по времени его возникновенія еще дальше отъ эпохи появленія у насъ христіанства и пододвигать ближе къ современной намъ эпохѣ. Нѣкоторыя отрывочныя данныя, которыя даютъ намъ возможность ближе подойти къ опредѣленію, хотя бы приблизительному, времени созданія духовнаго стиха, заключаются, главнымъ образомъ, въ тѣхъ данныхъ сравнительно-этнографическаго характера, которыми мы располагаемъ по отношенію къ другимъ народамъ, прошедшихъ тѣ же стадіи развитія религіознаго міросозерцанія: аналогія между русскимъ племенемъ и другими здѣсь вполнѣ возможна; она превращается иногда въ полный параллелизмъ. Если мы обратимся къ другимъ народамъ европейскимъ, то увидимъ, что духовный стихъ въ настоящее время является преимущественно удѣломъ народовъ славянскихъ. Среди этихъ славянскихъ народовъ особенно широко распространенъ онъ среди племени русскаго; но это не мѣшаетъ утверждать, что духовный стихъ имѣлъ мѣсто въ устной народной литературѣ всѣхъ европейскихъ народовъ, перешедшихъ отъ языческаго міросозерцанія къ христіанскому: стихъ возникалъ у нихъ точно такъ же, какъ и у насъ, вслѣдъ за принятіемъ христіанства. Въ силу различія условій въ отношеніяхъ церковнаго христіанскаго міросозерцанія къ народному, народившійся на востокѣ и на западѣ духовный стихъ у народовъ латинской и вообще католической культуры быстро исчезаетъ: онъ замѣняется здѣсь церковной пѣсней, созидаемой и сознательно проводимой въ массы католическимъ духовенствомъ для вытѣсненія духов-

наго стиха, въ которомъ болѣе образованные люди (каковы духовные) видѣли приспособленіе къ новымъ понятіямъ христіанскимъ старыхъ вѣрованій, искорененіе которыхъ составляло ихъ задачу, какъ проповѣдниковъ христіанства, видѣли, иначе сказать, смѣшеніе христіанскаго съ языческимъ, во всякомъ случаѣ, неправильное, не полное пониманіе новой религіи. Проводимая планомѣрно съ развитіемъ культуры эта борьба и привела къ исчезновенію почти полному остатковъ стараго міросозерцанія, а съ нимъ и одного изъ его выраженій (частичнаго, разумѣется)—духовнаго народнаго стиха. У насъ подобной борьбы не видимъ: наше духовенство ограничивалось лишь отрицательнымъ отношеніемъ ко всему, что связано было съ дохристіанскимъ воззрѣніемъ, принимало мѣры для искорененія его, но слабо вліявшія на сознаніе: оно ничего не давало въ замѣнъ упраздняемаго, а будучи само не высоко по культурѣ, не могло даже до своего уровня поднять массы, часто даже само безсознательно подчиняясь народному воззрѣнію, не всегда умѣя и само отчетливо различать чистое христіанство отъ осложняемаго или искажаемаго народнымъ міросозерцаніемъ. Поэтому эта борьба, если она и велась, она не достигала цѣли или, если достигала, то крайне медленно. Духовенство вѣритъ въ то, что насаждаемое имъ новое ученіе само уже сдѣлаетъ ненужнымъ старыя вѣрованія, займетъ ту пустоту, которая отбразоваться должна съ отмѣной (теоретической въ значительной степени) стараго созерцанія. Поэтому между народами востока, главнымъ образомъ, у славянъ, отчасти другихъ народовъ восточной культуры, духовный стихъ существуетъ нѣсколько дольше; во всякомъ случаѣ пора активной жизни, созданія духовнаго стиха при болѣе благопріятныхъ условіяхъ продолжается и на востокѣ сравнительно не долго. И у славянъ духовный стихъ, только какъ переживаніе, доживаетъ до настоящаго времени. Такимъ образомъ, сравненіе условій развитія нашего духовнаго стиха съ западнымъ, аналогія въ его развитіи съ другими народами показываютъ, что нашъ духовный стихъ не могъ зародиться вскорѣ послѣ начала у насъ христіанства: само христіанское міросозерцаніе крайней медленно овладѣвало сознаніемъ массъ. Поэтому у насъ нѣтъ ближайшихъ фактическихъ данныхъ для доказательства того, чтобы духовный стихъ существовалъ уже въ первый же вѣкъ христіанства среди русскихъ; къ тому же наша старая письменность, относившаяся къ духовному стиху такъ же отрицательно, какъ ко всему, что исходило изъ народныхъ массъ, не могла иначе, какъ случайно, сохранить этотъ духовный стихъ. Правда, что есть у насъ косвенное указаніе на то, что духовный стихъ могъ существовать въ довольно раннее время: если здѣсь обратить вниманіе на форму стиха, то и она, аналогичная формѣ былины (стало быть,

древняя), можетъ вести къ предположенію, что зачатки духовнаго стиха могутъ восходить къ довольно древней эпохѣ. Но такое предположеніе не представляется единственнымъ, необходимымъ: былинная форма, древняя по своему́ происхожденію (можетъ быть, не моложе XI—XII в.) въ основѣ, существуетъ въ теченіе ряда вѣковъ, и такимъ образомъ сама по себѣ не можетъ дать желательнаго указанія: съ такимъ же правомъ мы можемъ предположить, что эта форма усвоена духовнымъ стихомъ и въ XIV, и въ XV, и въ XVI вѣкѣ. Во всякомъ, однако, случаѣ, мы вправѣ предполагать, что уже въ XV в. духовный стихъ въ той же формѣ, съ какой мы его узнаемъ теперь, существовалъ; на это у насъ есть прямое указаніе: въ рукописи XV вѣка мы встрѣчаемъ представляющій переложеніе аналогичной по содержанію церковной пѣсни стихъ объ Адамѣ. Онъ озаглавленъ очень интересно: «Стихъ—старина за пивомъ»: вѣроятно, замѣтка прибавлена «за пивомъ» потому, что этотъ духовный стихъ пѣлся во время обѣда, когда пили пиво по монастырскому уставу [1]). Этотъ стихъ, называемый уже въ XV в. «стариной» [2]) носитъ народную форму и совпадаетъ съ тѣмъ стихомъ объ Адамѣ, который мы до сихъ поръ слышимъ въ народныхъ устахъ. Съ другой стороны, присматриваясь ближе къ отдѣльнымъ сюжетамъ духовныхъ стиховъ, носящихъ преимущественно историческій характеръ, т.-е., поющихъ о русской святынѣ, о русскихъ святыхъ, мы получимъ такое наблюденіе: большинство темъ, задѣтыхъ въ такомъ духовномъ стихѣ, восходитъ къ тому же XV—XVI в. Такимъ образомъ эти косвенныя данныя, какъ будто, указываютъ на то, что XV—XVI в. было временемъ, если не появленія, то во всякомъ случаѣ развитія нашего духовнаго стиха въ той его формѣ, въ какой мы до сихъ поръ его знаемъ. Стало быть, мы получаемъ относительно духовнаго стиха приблизительно тоже самое наблюденіе, которое мы установили по отношенію къ формѣ исторической пѣсни сравнительно съ былиной.

Вотъ тѣ общія основанія, тѣ общіе взгляды, которые могутъ быть признаны или менѣе вѣроятными и во всякомъ случаѣ менѣе гадательными для времени возникновенія духовнаго стиха. Съ половины XVII в. мы имѣемъ уже довольно богатый фактическій матеріалъ для изученія этого духовнаго стиха: съ этого времени мы въ рукописяхъ встрѣчаемъ отдѣльныя записи духовныхъ стиховъ, а съ конца этого вѣка мы имѣемъ уже цѣлые старинные сборники духовныхъ стиховъ, которые продолжаютъ списываться и дополняться въ теченіе всего

---

[1]) Ср. выше, стр. 6, прим. въ концѣ.

[2]) Ср. названіе народное былины „ста́ринами“ „старинками“.

XVIII в. [1]). Такимъ образомъ всѣ данныя ведуть къ тому, что распространеніе нашего духовнаго стиха мы можемъ предполагать, начиная приблизительно съ XV в. Это будетъ какъ разъ совпадать съ тѣмъ представленіемъ, которое мы имѣемъ о духовномъ стихѣ, какъ выраженіи религіозной стороны народнаго міросозерцанія. Какъ разъ въ XV—XVI вв., едва ли раньше, наше народное міросозерцаніе до такой степени уже охристіанизировалось, что появилась потребность въ выраженіи этого міросозерцанія въ художественной формѣ [2]). Это опять-таки косвенно подтверждаетъ то наблюденіе, которое мы получаемъ изъ сопоставленія условій жизни духовнаго стиха у насъ и у другихъ народовъ.

Духовный стихъ старшій и младшій. Въ исторіи духовнаго стиха, до насъ дошедшаго, слѣдуетъ различать два періода: періодъ старшій и младшій подобно тому, какъ это мы наблюдали въ нашей эпической пѣснѣ. Матеріалъ духовнаго стиха распадается довольно отчетливо на двѣ группы по формѣ и содержанію: одна группа духовныхъ стиховъ можетъ быть признана старшей, потому что по своимъ источникамъ восходитъ къ болѣе раннему времени и по своей формѣ приближается къ старой формѣ былевой поэзіи; это—духовный стихъ преимущественно повѣствовательнаго, эпическаго характера, каковы, напр.: стихъ о Голубиной книгѣ, о Ѳедорѣ Тиронѣ, объ Егоріи Храбромъ, о Страшномъ судѣ. Самая форма этихъ стиховъ, близкая къ формамъ былевой поэзіи, говоритъ за то, что создавались они тогда, когда эта форма была общепринятой, привычной для стихотворныхъ повѣствовательныхъ произведеній (т.-е. въ XV—XVII в.), создавались въ средѣ близкой къ носителямъ и хранителямъ мірской эпической пѣсни. Другая группа стиховъ носитъ характерное названіе, въ старой письменности и до сихъ поръ въ устной рѣчи на югѣ Россіи, «кантовъ» или «псальмъ» [3]). Самое названіе «кантъ» (отъ латинскаго cantus—пѣсня) уже указываетъ на западное вліяніе по отношенію и къ самому стиху; точно такого же происхожденія и названіе «псальма» (ю.-рус. отъ лат.

---

[1]) Такихъ сборниковъ много находится въ собраніяхъ рукописей (въ существующихъ каталогахъ рукописей они отмѣчаются часто подробно, напр., въ Описаніи рукописей Тверскаго Музея (М. 1891), Публичной библіотеки); здѣсь духовные стихи помѣщаются въ перемежку съ иными народными и полународными, а также книжными произведеніями, ставшими популярными. Незначительная часть этихъ духовныхъ стиховъ вошла въ изданіе „Каликъ перехожихъ“ (подъ ред. П. Безсонова).

[2]) Тѣ упоминанія о „поганскихъ“ обрядахъ, „бѣсовскихъ“ пѣсняхъ, которыя мы встрѣчаемъ въ книжныхъ памятникахъ XVI—XVII в., (Стоглавъ, грамота Верхотурская) дѣла не мѣняютъ: это только переживанія старины.

[3]) Эти-то стихи являются преобладающими въ упомянутыхъ рукописныхъ сборникахъ.

psalmus). И дѣйствительно, они стоятъ въ связи съ западнымъ теченіемъ въ нашей литературѣ, а въ частности названіе ихъ «псальмами» указываетъ на ихъ характеръ: они—подражаніе церковнымъ псалмамъ, стало быть, какъ пѣсни не историческаго характера, а лирическаго, какъ сами псалмы, которые духовнымъ стихамъ этого сорта дали свое имя, хотя стихи эти и содержатъ иногда въ себѣ элементъ повѣствовательный. Иначе сказать: въ области духовнаго стиха мы различаемъ двѣ группы: лирическую и эпическую, при чемъ лирическая группа будетъ моложе эпической; младше она будетъ потому, что мы довольно точно можемъ прослѣдить и указать ея ближайшіе источники и время ея возникновенія.

Формы духовнаго стиха. На это даетъ намъ довольно ясное указаніе самая форма этихъ псальмовъ и кантовъ: тогда какъ старшіе духовные стихи сближаются въ своей формѣ съ былиной, канты и псальмы имѣютъ иную форму: эта форма не устно-народная, а книжная, преимущественно с и л л а б и ч е с к а я съ р и ѳ м о й. Самое построеніе силлабическаго стиха въ псальмѣ и кантѣ, присутствіе въ нихъ риѳмы указываютъ и на мѣсто ихъ происхожденія—на югъ Россіи. Силлабическая поэзія по своему происхожденію относится къ югу Россіи и при томъ къ довольно позднему времени. Еще въ началѣ XVII в. русскій сѣверо-востокъ въ литературѣ не знаетъ ни силлабы, ни риѳмы, какъ самостоятельной формы для литературнаго произведенія [1]). Одинъ изъ первыхъ, кто воспользовался стихотворной формой на сѣверо-востокѣ, былъ діаконъ Антоній Подольскій въ 30-хъ гг. XVII ст., но и онъ оказывается воспитанникомъ того же самаго юга Россіи. Силлабическая пѣсня получаетъ у насъ на сѣверо-востокѣ распространеніе главнымъ образомъ уже во второй половинѣ XVII в. и водворяется, правда, на короткое время въ нашей литературѣ, благодаря усердію юго-западныхъ ученыхъ во главѣ съ такими лицами, какъ Семеонъ Полоцкій, Сильвестръ Медвѣдевъ и тѣ юго-западные писатели, книги которыхъ читались въ Москвѣ. Эту-то форму мы и находимъ въ нашихъ кантахъ и псальмахъ. Сама же южно-русская силлабическая пѣсня сложилась по формѣ, несомнѣнно, подъ вліяніемъ польской литературы и осталась чуждой духу русскаго языка. Присматриваясь внимательно къ кантамъ, мы видимъ, что они находятся въ тѣснѣйшей связи съ той искусственной силлабической пѣсней, которая культивировалась въ нашей южно-русской духовной школѣ (братскія училища, средняя школа, академія). Мы зна-

---

[1]) Да и вообще стихотворной формы не признавала наша старая, византійско-юго-славянская по типу, книжность; попытки ввести стихотворный (византійскій средневѣковый) размѣръ не привились.

емъ, съ другой стороны, что главными носителями и распространителями такого духовнаго стиха на югѣ Россіи стараго времени являются бурсаки, воспитанники духовной школы: та картина, которую рисують не разъ въ своихъ сочиненіяхъ Гоголь и Нарѣжный, какъ бурсаки ходятъ и поютъ духовные канты въ домахъ богатыхъ людей въ честь праздника или хозяина, за что получаютъ подачки, точно соотвѣтствуетъ дѣйствительности, показывая, какъ псальмы и канты, эти издѣлія русской школы западнаго типа, постепенно изъ стѣнъ школы въ своей искусственной формѣ переходили въ народную массу. Время расцвѣта этой духовной школы въ сѣверной Россіи вторая половина XVII в., т.-е.: самое происхожденіе кантовъ и псальмъ будетъ указывать на эпоху сравнительно болѣе позднюю, нежели эпоху старшаго эпическаго стиха [1]).

Прежде, чѣмъ перейти непосредственно къ пересмотру болѣе крупныхъ, характерныхъ въ литературномъ отношеніи духовныхъ стиховъ, ознакомимся въ общихъ чертахъ съ духовнымъ стихомъ въ его цѣломъ въ настоящее время: съ его носителями, географическимъ распредѣленіемъ, какъ это мы сдѣлали выше при ознакомленіи съ былинной и исторической пѣсней.

Носители духовнаго стиха. Въ настоящее время духовный стихъ распространенъ по всей русской территоріи. Стихъ старшаго поколѣнія, преимущественно эпическаго склада, болѣе близкій къ былинѣ, распространенъ преимущественно на сѣверѣ, стихъ же поздняго склада, лирическаго характера, сосредоточенъ главнымъ образомъ въ южныхъ областяхъ великорусскаго и среди малорусскаго племени. Это распаденіе на двѣ группы въ значительной степени объясняется исторически. Самыя же условія существованія стиха на сѣверѣ и югѣ, хотя и должны быть признаны болѣе или менѣе однородными въ общемъ, въ частностяхъ представляютъ нѣкоторые пункты различія, которые небезынтересны въ отношеніи историческомъ. Сѣверный духовный стихъ не представляетъ теперь чего-нибудь строго профессіональнаго. Если духовные стихи поютъ преимущественно калики, слѣпцы, нищіе, то, во всякомъ случаѣ, стихи не составляютъ какъ бы «монополіи» этихъ нищихъ, поющихъ у церкви и тѣмъ зарабатывающихъ пропитаніе: они поются и обыкновенными обывателями, у которыхъ является извѣстная потребность выразить свое религіозное и этическое настроеніе въ полурелигіозной, въ полународной формѣ; сказатели былинъ почти всѣ знаютъ большее или меньшее количество этихъ стиховъ. На югѣ мы видимъ нѣсколько иную картину.

---

[1]) Подробности—въ указанной выше монографіи П. И. Житецкаго о думахъ.

На югѣ Россіи, главнымъ образомъ у малороссовъ, отчасти на западѣ у бѣлоруссовъ, пѣвцами духовныхъ стиховъ являются лица, которыя носятъ яркій отпечатокъ профессіоналовъ. Это—тѣ общины, артели («гурты») людей, которые специально посвятили себя этому занятію, смотрятъ на него, какъ на одинъ изъ источниковъ своего существованія, поддержанія своей семьи, наравнѣ съ другими домашними занятіями. Самое устройство этой артели носитъ довольно опредѣленныя черты, закрѣпляемыя уставомъ, однако, не писаннымъ. Центръ артели обыкновенно какая-нибудь мѣстная уважаемая святыня или просто даже какая-нибудь сельская церковь. Въ этой церкви у этой общины есть часто своя икона, своя лампада, которая поддерживается на счетъ артели, есть общественная касса, выборный казначей, который обязанъ отсчитываться передъ всѣмъ обществомъ. Это общество имѣетъ свои собранія, пріурочиваемыя преимущественно къ какому-нибудь празднику, когда народъ собирается на богомолье. На этихъ собраніяхъ обыкновенно старшины, болѣе почетные члены общества, даютъ отчетъ о дѣятельности общества, провѣряютъ кассу, тутъ же отчисляется извѣстная сумма изъ этой кассы на общія дѣла, напримѣръ, на случай, если членъ этого кружка заболѣваетъ. Здѣсь же совершается довольно своеобразный ритуалъ — пріемъ новыхъ членовъ въ кругъ пѣвцовъ. Самое ремесло является преемственнымъ, традиціоннымъ и до извѣстной степени регламентированнымъ. Духовные стихи передаются ученикамъ слѣпцами, которые получаютъ отъ своего «гурта» званіе мастеровъ. Не всякій пѣвецъ имѣетъ это почетное званіе, дающее ему право имѣть учениковъ: чѣмъ знаменитѣе пѣвецъ, чѣмъ искуснѣе, тѣмъ большее количество у него учениковъ. Ученики становятся пѣвцами только послѣ утвержденія въ этомъ званіи ихъ артелью и послѣ экзамена въ присутствіи всего собранія. Учитель ставитъ своего ученика на экзаменъ; здѣсь другіе мастера, представители общины, производятъ допросъ. Допросъ этотъ довольно характерный: они опрашиваютъ сперва учителя, а не ученика о поведеніи ученика, насколько онъ хорошо себя ведетъ (извѣстныя нравственныя качества и порядочность являются необходимымъ условіемъ), не любитъ ли ругаться скверными словами, не напивался ли, не совершалъ ли какихъ-нибудь безнравственныхъ поступковъ, уважалъ ли старшихъ, достаточно ли онъ умѣетъ благодарить слушателей за подаяніе милостыни и т. д. Послѣ такого экзамена учителя и ученика, совершается обрядъ возведенія. Учитель къ этому времени подготовляетъ новую бандуру или лиру (инструментъ, подъ аккомпаниментъ котораго поютъ южные, отчасти западные, слѣпцы). Эта лира вручается передъ собраніемъ ученику, вѣшается ему черезъ плечо на ремнѣ, на

лиру кладется нѣсколько денегъ, на первое, такъ сказать, обзаведеніе; но за то ученикъ обязанъ благодарить своихъ новыхъ коллегъ; посвященіе заканчивается торжественнымъ поминовеніемъ хоромъ родителей, милостивцевъ, начальства, кончая иногда и царствующей фамиліей. Затѣмъ идетъ пирушка, и весь гуртъ гуляетъ, пьетъ за счетъ новопроизведеннаго [1]). Такого рода организація предполагаетъ уже нѣчто сложившееся исторически; корень ея, повидимому, угадать можно. Не даромъ она явилась на югѣ Россіи: на югѣ Россіи, въ отличіе отъ сѣвера, есть цѣлый рядъ своеобразныхъ узаконеній, частью исторически унаслѣдованныхъ, частью развившихся въ силу народныхъ условій жизни здѣсь. Главнымъ отличіемъ сѣвернаго обывателя отъ южнаго является въ томъ, что южный обыватель долгое время культивировалъ этотъ артельный бытъ и въ другихъ областяхъ жизни. Въ большинствѣ южно-русскихъ и западныхъ городовъ во время господства Польши было введено магдебургское право, которое устанавливало ассоціаціи (цехи), давая имъ права, преимущества, главнымъ образомъ промышленныя, торговыя, ремесленныя. Отъ такого рода организаціи, побидимому, ведетъ свое начало и пѣвческій «гуртъ»: порядки, должности (напр., «мастера»), совпадаютъ съ цеховыми стараго времени XVI—XVIII вв. Территоріально эти общества слѣпцовъ представляютъ, повидимому, остатки также организаціи цеховъ. Всѣ мѣста, гдѣ слѣпцы работаютъ, строго распредѣлены, и бѣда тому слѣпцу, который зайдетъ за подаяніемъ и съ пѣснями не въ свою область. Это сейчасъ узнаютъ и расправятся съ нимъ довольно жестоко—отберутъ весь заработокъ и иногда даже и поколотятъ. Стало быть, пѣвческая южная организація типичное профессіональное учрежденіе, для котораго пѣсня является уже не только удовлетвореніемъ личныхъ потребностей членовъ организаціи, но и промысломъ, ремесломъ. Такіе пѣвцы въ различныхъ мѣстахъ зарабатываютъ въ различномъ размѣрѣ, и заработокъ этотъ, по крайней мѣрѣ до послѣдняго времени, былъ довольно значительнымъ, во всякомъ случаѣ, настолько значительнымъ, что пѣвецъ-слѣпецъ жилъ съ своей семьей въ деревнѣ, имѣлъ возможность имѣть даже работника, оплачивать себѣ поводыря мальчика, котораго онъ, кромѣ того, обязанъ кормить и одѣвать [2]), могъ имѣть добавочное занятіе, которое доступно для слѣпого (напримѣръ, витье веревокъ). Такимъ образомъ, разница между сѣвернымъ и южнымъ пѣвцомъ въ самой организаціи. Эта организація въ значительной степени оказала вліяніе на самый репертуаръ

---

[1]) Подробности—въ указанной выше моей брошюрѣ „Южно-русская пѣсня и ея носители“; см. стр. 358, прим.

[2]) Изъ этихъ поводырей б. ч. выходятъ ученики „мастера“, впослѣдствіи его товарищи по „гурту“.

пѣсенъ на сѣверѣ и на югѣ. Какъ заинтересованный въ заработкѣ, смотрящій на пѣсню, какъ на источникъ дохода, южный пѣвецъ внимательно прислушивается къ тому, что нужно слушающей публикѣ, старается приноровиться къ ея вкусамъ, потому что только въ этомъ случаѣ его трудъ наиболѣе выгодно оплачивается. Этимъ и объясняется, почему въ репертуарѣ южныхъ пѣвцовъ духовныхъ стиховъ мы видимъ постоянное его измѣненіе, примѣнительно къ тому общественному настроенію, которое всплываетъ то тамъ, то сямъ. Точно такъ же и сѣверные калики до извѣстной степени сдѣлали промысломъ пѣніе духовныхъ стиховъ, но только до извѣстной степени. Этимъ и объясняется то явленіе, которое мы видимъ на югѣ особенно бросающимся въ глаза, но котораго почти не замѣчаемъ на сѣверѣ: рядомъ съ духовными стихами южные пѣвцы знаютъ такія произведенія, которыя ничего общаго не имѣютъ съ духовными стихами: рядомъ съ духовнымъ стихомъ объ Алексѣѣ, Божіемъ человѣкѣ, или объ исходѣ души отъ тѣла, или похвальнымъ гимномъ въ честь Николая Чудотворца, они поютъ шутливую пѣсню о Ѳомѣ и Еремѣ, довольно сомнительнаго нравственнаго содержанія, поютъ думу, если въ ней есть потребность (чаще всего, про вдову и трехъ сыновей), поютъ и сатирическія пѣсни, подчасъ съ своеобразнымъ политическимъ оттѣнкомъ, плясовую или игровую пѣсню и т. п. На сѣверѣ мы этого почти не видимъ. Тамъ калики, слѣпцы, которые продолжаютъ сохранять архаическій типъ нищихъ, смотрятъ на милостыню, какъ на святое дѣло, считаютъ для себя неприличнымъ пѣть хороводныя, веселыя и плясовыя пѣсни. Если и встрѣчаются люди, которые поютъ рядомъ съ духовными стихами и веселыя пѣсни, то это будутъ въ большинствѣ случаевъ не просто калики, не нищіе, а тѣ любители пѣсни вообще, которые знаютъ иногда и былину, и чаще, цѣлый рядъ какихъ-нибудь лирическихъ и историческихъ пѣсенъ. Вотъ положеніе духовнаго стиха въ настоящее время.

Географическое распространеніе духовнаго стиха. Географическій районъ распространенія духовнаго стиха, какъ мы сказали,—вся территорія русскаго племени. Въ силу этой громадности распространенія, духовный стихъ изученъ меньше, нежели былина; поэтому репертуаръ духовныхъ пѣсенъ далеко не выясненъ въ деталяхъ и поэтому же, кромѣ приведенныхъ общихъ замѣчаній, сдѣлать болѣе подробныя указанія о жизни стиха едва ли представляется возможнымъ въ настоящее время.

Выше отчасти было уже указано на то коренное различіе, которое существуетъ между стихами старшаго и младшаго образованія, между стихами сѣверными и южными; для полноты обзора нужно выдѣлить еще одну группу, которая можетъ представлять нѣкоторую особенность по характеру и по исторіи: это—такъ называемые сектантскіе, старообряд-

ческіе духовные стихи. Это явленіе въ области духовныхъ стиховъ до извѣстной степени своеобразно, условія ихъ созданія для насъ представляются довольно знакомыми. Само сектантство, старообрядчество представляютъ въ культурномъ отношеніи нѣчто своеобразное и въ силу религіознаго принципа обособившейся группы часто становятся во враждебное отношеніе къ окружающему, къ господствующему теченію религіозной мысли, за чѣмъ слѣдуютъ и особенности въ бытовомъ отношеніи сравнительно съ остальнымъ, т. о. получается до извѣстной степени замкнутый кругъ, который, чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе развиваетъ свои индивидуальныя особенности, что̀, однако, не мѣшаетъ развиваться внутри этого круга большой пестротѣ въ жизни и воззрѣніяхъ отдѣльныхъ группъ (сектъ); но у всѣхъ старообрядцевъ замѣчается и общая черта: въ этомъ кругѣ религіозная идея имѣетъ особенно большое значеніе, потому и сектантскій и старообрядческій духовный стихъ представляютъ преимущественно религіозный интересъ, являясь выраженіемъ подчасъ очень своеобразнаго міросозерцанія его носителей. Тѣ преслѣдованія, которымъ подвергались старообрядцы, сектанты, нашли свое выраженіе въ ихъ духовныхъ стихахъ. Поэтому духовный старообрядческій стихъ—преимущественно лирическій, или же молитвенный, рѣже онъ носитъ характеръ историческій. Этотъ стихъ, какъ принадлежащій замкнутой самодовлѣющей средѣ, стремится сохранить старыя формы, но въ то же время сложныя условія жизни старообрядческой среды переработали, отчасти исказили эту форму довольно сильно. Поэтому, въ художественномъ отношеніи, въ отношеніи сохраненія исторической формы старообрядческій стихъ далеко не всегда представляетъ цѣнный элементъ для изучающаго исторію устно-народной поэзіи. По своему содержанію онъ также, естественно, богатъ быть не можетъ, отражая односторонніе интересы замкнувшейся въ себя группы [1]). Но старообрядческій стихъ въ рѣдкихъ случаяхъ выходитъ и за предѣлы этого узкаго кружка старообрядцевъ и сектантовъ. Онъ подчасъ выражаетъ настолько общее лирическое настроеніе, что специфическія черты его старообрядческія, рѣже сектантскія, не бросаются въ глаза; поэтому, нѣкоторая часть духовныхъ стиховъ не признается за спеціально старообрядческіе, и они одинаково распѣваются, какъ православными, такъ и сектантами и старообрядцами; такіе стихи: о Прекрасномъ Іоси-

---

[1]) Наиболѣе обширное собраніе старообрядческихъ, главнымъ образомъ сектантскихъ стиховъ—„Пѣсни русскихъ сектантовъ мистиковъ“, сборникъ, составл. Т. С. Рождественскимъ и М. И. Успенскимъ (Зап. И. Г. О. по отд. этногр., т. XXX, Спб. 1912); аналогичный матеріалъ есть въ изд. В. Бончъ-Бруевича: „Матеріалы къ исторіи и изученію русскаго сектантства и раскола“, вып. II (Спб. 1909) и IV (Спб. 1911). Пѣсни скопческія отдѣльно были изданы за границей (Пѣсни скопческія духовныя, Лейпцигъ 1879).

фѣ, о Прасковіи-Пятницѣ, объ Іоасафѣ царевичѣ и пустынѣ и т. д. Въ общемъ же старообрядцы въ широкихъ размѣрахъ культивируютъ общерусскій духовный стихъ.

Отдѣльные духовные стихи. Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній общаго характера переходимъ къ содержанію наиболѣе крупныхъ, наиболѣе показательныхъ для исторіи духовнаго стиха. отдѣльныхъ стиховъ. При этомъ напомню еще разъ про ту связь, которая существуетъ между этимъ видомъ устной словесности и книжной литературой, съ одной стороны, и старой былиной въ отдѣльныхъ случаяхъ— съ другой: это значительно упроститъ и облегчитъ намъ анализъ отдѣльныхъ духовныхъ стиховъ. Если мы попробуемъ и къ духовному стиху приложить тотъ методъ, какимъ мы пользовались при анализѣ былинъ, то получимъ такого рода картину для исторіи отдѣльныхъ духовныхъ стиховъ. Эпическій (повѣствовательный) духовный стихъ до извѣстной степени охватываетъ своимъ содержаніемъ всю новозавѣтную исторію. рѣже ветхозавѣтную библейскую, и чаще житія [1]. Стихъ лирическій до извѣстной степени обнимаетъ собою церковныя пѣснопѣнія, передѣланныя на народный ладъ созданныя, или въ подражаніе этимъ церковнымъ пѣсни.

Изъ духовныхъ старыхъ стиховъ, которые имѣютъ наибольшій интересъ для представленія объ исторіи духовнаго стиха вообще, нужно прежде всего отмѣтить такіе: стихъ о Голубиной книгѣ, стихъ объ Аникѣ воинѣ (иначе, Смерть Аники воина), стихъ о Өедорѣ Тиронѣ, стихи объ Егоріи, стихъ объ Алексѣѣ Божіемъ человѣкѣ, о богатомъ и Лазарѣ и т. д., затѣмъ, всѣ стихи евангельскаго цикла. Всѣ перечисленные стихи тѣсно связаны съ церковными и литературными памятниками, въ которыхъ дается содержаніе стиха или цѣликомъ, или частью.

1. Такъ, извѣстный еще въ спискахъ XVII в. и распространенный преимущественно на сѣверѣ, отчасти въ средней полосѣ Россіи (на югѣ, у малороссовъ, онъ не извѣстенъ), стихъ о Голубиной книгѣ въ содержаніи своемъ покоится на популярномъ легендарно-апокрифическомъ текстѣ, такъ называемой «Бесѣды трехъ святителей». Стихъ этотъ имѣетъ своимъ содержаніемъ разсказъ о происхожденіи всего существующаго на землѣ, начиная съ самаго свѣта и кончая знаменитыми святынями, заключаетъ его образнымъ разъясненіемъ существованія на землѣ Правды и Кривды [2]. Самая внѣшняя форма его нѣ-

---

[1]) Это и дало поводъ редактору „Каликъ перехожихъ", П. А. Безсонову, расположить свое изданіе по такому же приблизительно плану, хотя не вездѣ выдержанному.

[2]) Подробно исторія этого стиха у В. Н. Мочульскаго „Историко-литературный анализъ стиха о Голубиной книгѣ" (Варшава, 1887 г., изъ Рус. Фил. Вѣстн.); **см.** въ частности стр. 37 и сл.

сколько необычна: вмѣсто повѣствованія онъ даетъ діалогъ и состоитъ изъ ряда вопросовъ (Волотомана Волотомановича) и отвѣтовъ (Давыда Іессеевича). Форма эта уже даетъ указаніе на зависимость этого стиха отъ книжнаго источника: средневѣковая, въ томъ числѣ и наша переводная, литература давно облюбовала эту «вопросно-отвѣтную» форму въ популярныхъ легендарныхъ, въ значительной степени апокрифическихъ, толкованіяхъ, касающихся религіозныхъ вопросовъ, каковы: «Вопросы Іоанна Богослова на горѣ Ѳаворской», «Вопросы Авраама о душахъ праведныхъ», цѣлый рядъ анонимныхъ вопросо-отвѣтовъ; къ числу подобныхъ произведеній принадлежитъ и та «Бесѣда трехъ святителей» (Іоанна Златоуста, Григорія Богослова и Василія Великаго), которая дала содержаніе значительной части стиха о Голубиной книгѣ. Эта «Бесѣда» по содержанію сложная апокрифическая книга—родъ апокрифической Библіи,—явившаяся по всей вѣроятности не позднѣе XI в., постепенно въ разныхъ редакціяхъ пополняла свой составъ, увеличивая число и дробность вопросо-отвѣтовъ, черпая главнымъ образомъ изъ аналогичныхъ по содержанію и по формѣ памятниковъ (какой-то не дошедшей до насъ «книги Бытія» (но не канонической), апокрифа «Отъ сколькихъ частей созданъ Адамъ», апокрифической книги «Адамъ» и др.). Такой-то сложный по составу памятникъ сталъ отправной точкой для созданія Голубиной книги [1]). Въ дальнѣйшемъ, этотъ скелетъ осложняется новыми вопросо-отвѣтами, часто получившими отзвуки изъ дѣйствительности; такъ, вопросъ о Кривдѣ, оставшейся на землѣ, и Правдѣ, взятой на небеса, ставятъ въ связь съ настроеніемъ конца XV в., когда ждали Страшнаго суда при концѣ 7000-лѣтія отъ сотворенія міра (Н. С. Тихонравовъ). Сравнивая «Бесѣду трехъ святителей» и нашу Голубиную книгу, мы убѣждаемся, что духовный стихъ стоитъ въ тѣсной зависимости отъ нея; это—одинъ изъ характерныхъ случаевъ для указанія генезиса духовнаго стиха вообще. Что же касается самой внѣшней формы—стиха въ собственномъ смыслѣ—то онъ указываетъ своей близостью къ эпическому стиху на то, что стихъ духовный о Голубиной книгѣ создался довольно рано, когда эти формы поэтической рѣчи были еще въ ходу; поэтому, если принять во вниманіе мнѣніе Н. С. Тихонравова объ отзвукахъ въ Голубиной книгѣ настроенія конца XV вѣка, можно предположить, что и самый этотъ духовный стихъ создался около этого времени, т.-е., приблизительно въ концѣ XV-го или въ началѣ XVI вѣка, т. о. принадлежитъ къ

---

[1]) **Самое ея названіе, въ общемъ не ясное, считаютъ испорченнымъ изъ „Глубинной“ книги, т.-е. книги—глубины (по мыслямъ); это названіе носитъ иногда, между прочимъ, псалтирь.**

числу старшихъ по времени среди извѣстныхъ намъ. Онъ по своему назначенію, если судить на основаніи его содержанія, долженъ былъ явиться, какъ популярное объясненіе міроздания и интересныхъ явленій въ мірѣ, т.-е., выражать современное ему пониманіе окружающаго: оно, ясно, было христіанское, но примитивное, представляя причудливую смѣсь новыхъ христіанскихъ и старыхъ, не христіанскихъ элементовъ въ видѣ пережитковъ.

2. Другія стороны взаимоотношеній книжной и устной словесности, а также отчасти и международныхъ литературныхъ отношеній мы можемъ наблюдать на стихахъ объ Аникѣ воинѣ. Стихъ этотъ связанъ съ цѣлымъ рядомъ представленій о борьбѣ жизни со смертью не только въ книжной литературѣ, но и въ устной, не только русской, но и иноземной. Существуетъ греческая устная былина, разсказывающая про центральнаго богатыря средневѣковаго греческаго историческаго эпоса Дигениса (въ русской старой письменности—Девгенія) Акрита, считавшаго себя непобѣдимымъ, но котораго, однако, побѣдила Смерть (греч.—Харонъ). Этотъ Дигенисъ, или Девгеній, былъ чрезвычайно популярной личностью не только въ греческомъ народномъ эпосѣ (до сихъ поръ есть народныя устныя пѣсни про Дигениса), но и за предѣлами греческаго народа. Еще въ старое время (XI—XII в.) въ русской письменной литературѣ намъ извѣстенъ рядъ «воинскихъ» повѣстей, и среди нихъ «Девгеніево Дѣяніе», которое основано на этихъ народныхъ греческихъ пѣсняхъ. И въ этой повѣсти находимъ, какъ разъ, эпизодъ о борьбѣ Девгенія со Смертью, аналогичный нашему духовному стиху. Повидимому, и самое имя Аники въ нашемъ стихѣ происхожденія также не русскаго: Аника это есть греческое Aniketos (по значенію то же, что Arkitas), т.-е. непобѣдимый. Все это показываетъ, что нашъ стихъ не оригиналенъ, а представляетъ заимствованіе. Однако, откуда произошло это заимствованіе, опредѣленно сказать въ настоящее время довольно трудно; но всеже высказанное давно предположеніе о томъ, что онъ есть переработка эпизода изъ старой воинской повѣсти о Девгеніи, довольно сомнительно. Повидимому, мы здѣсь должны предположить другой путь перехода сюжета изъ греческой литературы въ русскую: тѣ устныя непосредственныя сношенія, которыя долгое время были у насъ съ греками (торговыя, паломническія), принесли съ собою эту популярную греческую тему устнымъ путемъ. Когда могъ появиться этотъ стихъ объ Аникѣ-воинѣ также опредѣлить довольно трудно. Онъ является стихомъ почти исключительно сѣвернымъ: даже средняя Россія знаетъ этотъ стихъ случайно и въ довольно рѣдкихъ случаяхъ. Во всякомъ случаѣ, однако, иноземный источникъ этого стиха не подлежитъ сомнѣнію. Но если даже

допустить «устное» происхожденіе этого духовнаго стиха, то всеже придется допустить вліяніе на него и источниковъ уже книжныхъ, которые объяснятъ намъ современное содержаніе этого духовнаго стиха. Съ другой стороны, у этого духовнаго стиха замѣчаются очень интересныя точки соприкосновенія съ эпической, не духовной поэзіей, съ былиной, отчасти съ исторической пѣсней.

Содержаніе этого стиха въ немногихъ словахъ заключается въ слѣдующемъ: ѣдетъ храбрый воинъ Аника, непобѣдимый, по чистому полю, хвастается тѣмъ, что никто его до сихъ поръ не побѣдилъ, и думаетъ онъ, что ему конца не будетъ. Какъ разъ послѣ этой похвальбы появляется неопредѣленное чудовище—человѣкъ не человѣкъ, скелетъ не скелетъ, которое упрекаетъ Анику въ томъ, что онъ хвастается напрасно, что онъ своимъ хвастовствомъ произноситъ хулу на Бога. Разсерженный Аника сперва отнесся очень пренебрежительно къ этой незнакомой фигурѣ и спрашиваетъ, кто она такая. Оказывается, что это Смерть, которая перечисляетъ ему, какихъ сильныхъ людей она погубила: тоже-де будетъ и съ Аникой. Послѣ этого Аника вызываетъ Смерть на бой, но тотчасъ начинаетъ чувствовать, что тѣло его быстро слабѣетъ. Онъ понялъ, что его дѣло пропало, смиряется, обращается съ мольбой къ Смерти, проситъ дать отсрочки для того, чтобы ему распорядиться своимъ имуществомъ, покаяться, сначала три года, потомъ три мѣсяца, три недѣли, три дня, три часа, наконецъ, три минуточки; но неумолимая Смерть не соглашается ни на какія уступки, и Аника умираетъ [1]). Стихъ этотъ въ разныхъ варіантахъ былъ разработанъ и даетъ цѣлый рядъ новыхъ деталей, заставляющихъ искать еще источниковъ для его развитія. Прежде всего, въ самой фабулѣ не все можно объяснить греческой извѣстной намъ пѣсней о Дигенисѣ или переработкой ея въ романѣ «о Девгеніевѣ дѣяніи». Самый образъ Смерти въ стихѣ очень своеобразенъ и рисуется довольно опредѣленно: это двигающійся скелетъ, у котораго за плечами цѣлая сумка, въ которой всевозможные инструменты—косы, пилы, шилья, крючья, въ рукахъ громадная коса; Смерть въ духовномъ стихѣ объясняетъ назначеніе этихъ инструментовъ: пилой она подпиливаетъ жилы, вслѣдствіе чего суставы человѣка слабѣютъ и двигаться не могутъ; при помощи косы она скашиваетъ, какъ добрый косецъ коситъ траву, людей; крючья назначены для того, чтобы вынимать изъ человѣка душу. Всѣ эти подробности, отсутствующія въ пѣсняхъ о Дигенисѣ, извѣстны намъ изъ книж-

---

1) Дигенису-Аникѣ посвящены статья: А. Н. Веселовскаго, „Отрывки византійскаго эпоса въ русскомъ“ (Вѣстн. Евр. 1875, IV), и И. Н. Жданова, „Изъ исторіи русской былевой поэзіи“ (Сочиненія, I, 554 и сл.).

ныхъ довольно популярныхъ источниковъ. Существуетъ старинная цѣлая литература о жизни и о смерти, въ которую входятъ: трактатъ «объ исходѣ души отъ тѣла», разсказы о смерти праведнаго и о смерти грѣшнаго, и, наконецъ, разсказъ довольно поздняго западнаго происхожденія, не ранѣе XVI в. «Пренія живота со смертью» [1]). Изъ послѣдней статьи всѣ эти черты внѣшняго облика смерти и заимствованы. Несомнѣнно, что съ книжной словесностью связаны и тѣ слова, которыя произноситъ Смерть, желая запугать и доказать свою силу передъ заносчивымъ Аникой: она разсказываетъ, сколькихъ царей она погубила, которые, на что были сильные и славные цари, и то должны были раздѣлить общую участь, подчиниться ей: это опять-таки цѣликомъ взято изъ «Пренія живота со смертію», но въ варіантахъ стиха дополнено перечнемъ богатырей. Такимъ образомъ, участіе книжныхъ источниковъ въ разработкѣ этого стиха несомнѣнно. Время его созданія датируется (terminus post quem) заимствованіемъ изъ «Пренія живота со смертію», т.-е. не ранѣе XV—XVI в., скорѣе послѣдняго. Форма стиха—былевая, хорошо выдержанная. Другой стихъ объ Аникѣ воинѣ, пожалуй, представляется еще болѣе любопытнымъ: у этого духовнаго стиха есть несомнѣнныя точки соприкосновенія съ былевой поэзіей. Въ нѣкоторыхъ варіантахъ духовнаго стиха объ Аникѣ и Смерти мы видимъ въ началѣ эпизодъ о «земной тягѣ». Этотъ эпизодъ идетъ изъ отдѣльнаго стиха. Непобѣдимый Аника ѣдетъ по полю, ему встрѣчается человѣкъ, несетъ сумочку, кладетъ ее на землю у дороги. Аника съ пренебреженіемъ хочетъ эту сумочку отшвырнуть, поддѣваетъ ее сначала концомъ копья,—сумочка не поддается; тогда онъ слѣзаетъ съ лошади, пробуетъ пихнуть ногой,—сумочка не поддается; тогда онъ хватаетъ ее рукой,—она оказалась не въ подъемъ. Это задѣло его за живое, онъ схватываетъ ее въ обѣ руки, упирается въ землю и начинаетъ тянуть, но, чѣмъ больше онъ напрягается, тѣмъ все глубже и глубже самъ уходитъ въ землю. На этомъ стихъ по однимъ варіантамъ обрывается: «такъ и пришла смертъ Аникѣ», по другимъ—Аника ѣдетъ дальше и встрѣчаетъ Смерть. Изображеніе «земной тяги» въ видѣ сумочки, которая не въ подъемъ богатырю, въ стихъ попало изъ сходныхъ по сюжету былинъ о Святогорѣ и земной тягѣ. Въ другихъ версіяхъ разсмотрѣннаго быта духовнаго стиха мы видимъ такую по-

---

[1]) Статьи эти обычно помѣщаются въ различной группировкѣ во вводныхъ частяхъ „Синодика“ (помянника; ср. Е. В. Пѣтухова, Очерки изъ литерат. исторіи Синодика (изд. О. Л. Д. II., CVIII, Спб. 1895 г.), особенно очеркъ второй]. Послѣдней изъ указанныхъ статей посвящена работа A. Croiset-van-der Kopp, Altrussische Uebersetzungen aus dem polnischen I. De morte dialogus (Berlin, 1907); ср. Д. Ө. Батюшкова „Споръ души съ тѣломъ“ (Спб. 1891 г.).

дробность: Смерть, на вопросъ Аники, кто она, разсказываетъ о томъ, что она сильная Смерть, кого и кого она побѣдила, и въ свой перечень включаетъ такихъ лицъ: Самсона-богатыря, Святогора-богатыря, Полкана-богатыря, какого-то Егора-богатыря (вѣроятно, того же Святогора), т.-е., здѣсь мы видимъ опять отзвуки народнаго эпоса съ именами Самсона, Святогора, Полкана (героя поздней переводной сказки о Еруcланѣ, перешедшаго также въ былину). Повидимому, этотъ перечень (внесенный изъ былинъ, изъ подобнаго перечня, какіе встрѣчаются и въ самыхъ былинахъ, напр., о гибели богатырей) въ первомъ стихѣ (Аника и Смерть) съ упоминаніемъ имени Святогора, самаго сильнаго изъ богатырей, не справившагося съ земной тягой и потому умершаго (ср. былину о смерти Святогора), далъ толчокъ къ перелицовкѣ былины о Святогорѣ въ стихъ объ Аникѣ. Если это такъ, то и стихъ объ Аникѣ и земной тягѣ слѣдуетъ признать довольно позднимъ примѣнительно къ позднему происхожденію былины о Святогорѣ, послужившей источникомъ для стиха.

3. Что касается другихъ перечисленныхъ выше духовныхъ стиховъ, то они будутъ представлять приблизительно ту же самую картину, но съ нѣкоторыми отличіями, которыя еще тѣснѣе свяжутъ повѣствовательный стихъ съ его книжными источниками. Такъ, очень распространеннымъ стихомъ являются стихи о Николаѣ Чудотворцѣ; ихъ нѣсколько: есть духовный стихъ о Николаѣ и о Василіи, сынѣ Агриковѣ, стихъ о Николѣ и попѣ Христофорѣ. Эти стихи, кажется, наиболѣе распространены. Они прямо восходятъ къ книжнымъ источникамъ. Что касается стиха объ Агриковѣ сынѣ Василіи, то это—пересказъ одного изъ чудесъ Николая Чудотворца, давно извѣстныхъ въ русской письменности. Какъ извѣстно, Николай Чудотворецъ—одинъ изъ самыхъ популярныхъ святыхъ, и, повидимому, популярность его началась чрезвычайно рано: уже въ концѣ XI в. мы имѣемъ русское похвальное слово въ честь Николая Чудотворца по случаю перенесенія его мощей изъ Малой Азіи въ южную Италію въ градъ Баръ, приписываемое еписк. Переяславля (южнаго) Ефрему. Повидимому, около этого времени уже существуетъ переводное съ греческаго житіе Николая Чудотворца. Это житіе само по себѣ очень не велико, но значительную часть этого произведенія, во много разъ превышающую самую біографію Николая, занимаютъ разнообразныя чудеса, которыя постепенно пополняются новыми уже русскаго происхожденія (напр., чудо о Половчинѣ) [1]. Въ

---

[1]) Тексты этого житія и чудесъ изданы были не разъ (см. Пам. древн. письм., изд. О. Л. Д. П. (арх. Леонида), СПБ. 1881, 1888). О Николаѣ Чуд. см. указ. выше (стр. 284, прим. 2) статью Е. В. Аничкова.

одномъ изъ чудесъ разсказъ, соотвѣтствующій духовному стиху, передается приблизительно такъ: во время нашествія сарацинъ у нѣкоего Агрика, человѣка, особенно почитающаго Николая Чудотворца (онъ часто молился передъ его чудотворнымъ образомъ), похищенъ былъ сынъ и уведенъ въ плѣнъ. Огорченный этимъ Агрикъ молится Николаю Чудотворцу, а утромъ онъ видитъ своего сына у себя: сынъ стоитъ передъ нимъ съ кувшиномъ и чашей въ рукахъ. Оказывается, что сарацинскій владѣтель, который взялъ себѣ сына Агрика, назначилъ его слугой, и Василій, Агриковъ сынъ, прислуживалъ ему во время обѣда, наливалъ вино. Въ то самое время, когда онъ исполнялъ свои обязанности, онъ подхваченъ былъ невѣдомой силой и поставленъ около постели своего отца. Это произошло какъ разъ въ то время, когда тотъ, помолившись Николаю Чудотворцу, вернулся домой и легъ спать. Этотъ разсказъ съ незначительными сокращеніями вошелъ въ содержаніе духовнаго стиха.

Другой стихъ—о Николаѣ Чудотворцѣ и попѣ Христофорѣ—также воспроизводитъ одно изъ чудесъ изъ той же самой серіи чудесъ Николы. Разсказывается здѣсь о томъ, что невѣрные захватили въ плѣнъ христіанъ и рѣшили изъ ненависти къ христіанской вѣрѣ подвергнуть ихъ смертной казни; въ числѣ ихъ находился попъ Христофоръ. Онъ взмолился Николаю Чудотворцу, и когда онъ молился, то произошло чудо: палачъ замахнулся мечемъ съ тѣмъ, чтобы отсѣчь голову; въ это время невѣдомая сила (какъ потомъ оказалось, Николай Чудотворецъ) удержала руку палача. Послѣ нѣсколькихъ попытокъ палачъ въ концѣ-концовъ узнаетъ, что удерживаетъ его Николай Чудотворецъ, обращается въ христіанство. Точно въ такихъ же словахъ разсказывается въ духовномъ стихѣ; но здѣсь сравнительно съ предыдущими духовными стихами нужно обратить вниманіе на форму; эта форма будетъ искусственная, съ риомой въ концѣ (преимущественно глагольной), силлабическая. Это показываетъ, что стихъ о попѣ Христофорѣ въ томъ видѣ, въ какомъ мы знаемъ, болѣе поздняго происхожденія, чѣмъ первый, либо подвергся позднѣе переработкѣ.

Остальные стихи о Николаѣ Чудотворцѣ, пользующіеся распространеніемъ, носятъ характеръ лирическій. Такихъ стиховъ извѣстно нѣсколько; они иногда сливаются въ одинъ, иногда поются порознь. Обычно стихъ начинается словами:

Кто, кто Николая любитъ,
Кто, кто Николаю служитъ,
Тому святый Николае
На всяки часъ помогае.

Другой стихъ имѣетъ такое начало:

Тебе похваляю,
Чудный Николаю,
Патріархомъ слава,
И царемъ держава.

Третій—такое:

Мироточныхъ струй обильныя рѣки
Туне точитъ во вся нынѣ человѣки.

Одна уже эта форма, лирическій характеръ выдаютъ позднее и южно-русское происхожденіе этихъ стиховъ [1]). Наконецъ, въ видѣ духовнаго стиха встрѣчается просто церковный тропарь Николаю чудотворцу («Правило вѣры и образъ кротости...»), нѣсколько искаженный. Такимъ образомъ, всѣ стихи о Николаѣ, повѣствовательные и лирическіе, находятся въ полной зависимости отъ книжныхъ источниковъ. Что касается времени происхожденія этихъ стиховъ, то они, какъ видимъ, разновременны. Старшимъ изъ нихъ нужно признать объ Агриковѣ сынѣ Василіи, но точно пріурочить его не представляется возможнымъ, потому что источники его очень древни и въ теченіе своей долгой жизни пользуются популярностью. Форма стиха довольно архаическая, но, во всякомъ случаѣ, очень большой древности этому стиху приписывать нельзя. Присматриваясь къ исторической пѣснѣ и къ былинѣ, мы нашли, несмотря на общность формы, извѣстную разницу въ примѣненіи этой формы, соотвѣтственно разницѣ хронологической: историческая пѣсня сохранила въ общемъ форму традиціонную, былинную, но въ значительной степени упростила ее; опуская детали, она лишала ее тѣхъ условностей, поэтическихъ осложненій, которыя составляютъ внѣшнюю поэтическую сторону былиннаго стиля; съ этой стороны историческую пѣсню пришлось признать моложе. Въ такую же упрощенную форму мы видимъ одѣтымъ стихъ объ Агриковѣ сынѣ Василіи. Это даетъ намъ возможность предполагать, что скорѣе всего этотъ стихъ образованія сравнительно поздняго, восходитъ къ эпохѣ, можетъ быть, XVI—XVII в., когда форма исторической пѣсни уже получила распространеніе.

4. Интереснымъ по своему содержанію и структурѣ является стихъ о Ѳедорѣ Тиронѣ. Что касается личности самого Ѳедора Тирона, то это—одинъ изъ популярныхъ въ народѣ святыхъ; впрочемъ, онъ путается въ представленіи съ другимъ святымъ, Ѳедоромъ Стратила-

[1]) Слѣдъ южнаго происхожденія сквозитъ и въ самомъ языкѣ стиха; въ немъ остались малоруссизмы (помогае, Николаю—зват. пад.).

томъ, потому что оба святые другъ на друга, дѣйствительно, по типу похожи: одинъ изъ нихъ, Ѳедоръ Тиронъ,—воинъ, другой, Ѳедоръ Стратилатъ,—тоже, стало быть, военный (стратилатъ—воинскій офицерскій чинъ византійской арміи). Но всеже Ѳедоръ Тиронъ пользуется большей извѣстностью. Въ византійской и русской церкви, именно, Ѳедору Тирону приписывается чудо, которое оказало вліяніе на ритуалъ богослуженія православной церкви: съ его именемъ связана такъ называемая Ѳедоровская субота (1-я субота Великаго поста) и употребленіе колива (кутьи, рисовой каши), въ этотъ день освящаемаго въ церкви. Поводомъ къ установленію Ѳедоровской суботы послужило, по преданію, слѣдующее: во времена Юліана Отступника, разсказываетъ житіе, во время ожесточенной борьбы между христіанствомъ и язычествомъ, язычники рѣшили посрамить христіанъ, сдѣлавъ ихъ невольными участниками языческаго жертвоприношенія: императоръ распорядился тайно окропить жертвенной кровью идольской всѣ припасы, которые продаются на рынкѣ: христіане, покупая припасы, вкушая, такимъ образомъ окажутся участниками идольской жертвы. Христіане совсѣмъ было попались въ эту ловушку, но Ѳедоръ Тиронъ ночью въ видѣніи явился къ начальнику христіанской общины, сообщилъ о козняхъ, которыя придумали язычники. Въ этотъ день никто изъ христіанъ не пошелъ на рынокъ покупать припасы, а собрали, что можно было достать, главнымъ образомъ рисъ и просо, сварили изъ него кашу и такимъ образомъ питались въ теченіе этого дня, не прикоснувшись къ оскверненнымъ язычниками съѣстнымъ припасамъ. Въ память этого и установлено поминовеніе Ѳеодора Тирона кутьей (коливомъ). Несомнѣнно, что Ѳедоръ Тиронъ, благодаря церковному обряду, который принесенъ былъ изъ Византіи и къ намъ, и который долгое время соблюдался и отчасти и теперь находится въ обиходѣ церковномъ, сдѣлался популярнымъ. О Ѳедорѣ Тиронѣ есть нѣсколько сказаній другого содержанія и въ томъ числѣ одно, которое очень рано было занесено въ разрядъ апокрифическихъ: это—сказаніе о Ѳедорѣ Тиронѣ и зміи, примѣненная къ Ѳедору Тирону одна изъ многочисленныхъ международныхъ легендъ о змѣеборцахъ. Ѳедоръ Тиронъ—молодой юноша, сынъ царя. Змѣй-чудовище похитилъ прекрасную мать Ѳедора. Царь, отецъ Ѳедора Тирона, опечаленный этимъ событіемъ, обращается ко всѣмъ придворнымъ, предлагая отправиться выручать похищенную царицу, но никто не рѣшается итти. Тогда вызывается мальчикъ лѣтъ 12, сынъ Ѳедоръ. Царь его всячески отговариваетъ, боясь лишиться и сына, но сынъ настаиваетъ, отправляется въ логовище къ змѣю, находитъ тамъ свою мать, окруженную всякими гадами-змѣенышами, перебиваетъ ихъ всѣхъ.

Завязывается борьба со страшнымъ змѣемъ, Ѳедоръ убиваетъ его, но истекающая кровь змѣя начинаетъ затоплять пещеру, въ которой происходила борьба и находится мать Ѳедора Тирона. По молитвѣ Ѳедора земля разступается, поглощаетъ драконову кровь, и онъ выходитъ изъ пещеры съ матерью и толпой другихъ заключенныхъ, похищенныхъ змѣемъ. Царь съ боярами встрѣчаетъ его съ почестями. И съ тѣхъ поръ, неожиданно прибавляетъ легенда, установлена Ѳедорова субота. То же самое разсказывается въ духовномъ стихѣ. Образъ святого Ѳедора Тирона, типъ святого змѣеборца, несомнѣнно, привлекъ на него черты изъ русскаго богатырскаго эпоса. Въ русскомъ богатырскомъ эпосѣ мы знаемъ, напр., былины о Добрынѣ, которыя даютъ намъ типъ богатыря, также змѣеборца. На обликѣ святого Ѳедора Тирона и отложились, можетъ быть, черты частью Добрыни: въ духовномъ стихѣ Ѳедоръ не только святой, но и, прежде всего, юноша-богатырь. Первый его подвигъ по стиху—борьба и побѣда надъ какимъ-то жидовскимъ поганымъ царемъ. Мать пошла поить къ колодцу богатырскаго коня Ѳедора, вернувшагося домой съ побѣдой, и тутъ-то ее похищаетъ змѣй. Въ отличіе отъ предыдущихъ стиховъ о Николѣ, мы видимъ здѣсь то же, что въ стихѣ объ Аникѣ воинѣ: самый образъ святого до извѣстной степени переработанъ подъ вліяніемъ боевой былины. Съ этимъ совпадаетъ и внѣшняя форма стиха о Ѳедорѣ Тиронѣ: стихъ этотъ и отлился въ былинную форму и сохранилъ ее, пожалуй, въ большей степени, нежели тѣ эпическіе стихи, былинные по формѣ, съ которыми мы имѣли до сихъ поръ дѣло. Это все показываетъ, что стихъ о Ѳедорѣ Тиронѣ глубже вошелъ въ народное сознаніе и во всякомъ случаѣ по времени происхожденія не долженъ считаться стихомъ позднимъ среди другихъ. Въ немъ, пожалуй, больше эпическихъ, типичныхъ былинныхъ чертъ, чѣмъ въ любой исторической пѣснѣ. Это даетъ намъ право считать стихъ о Ѳедорѣ Тиронѣ довольно старымъ по типу и времени появленія.

5. Очень близко къ стиху о Ѳедорѣ Тиронѣ по типу, по характеру главнаго героя подходитъ стихъ объ Егоріи Храбромъ. Въ содержаніи этого послѣдняго мы видимъ много аналогіи къ стиху о Ѳедорѣ Тиронѣ. Здѣсь источникомъ духовнаго стиха является также апокрифическій эпизодъ изъ жизни и мученичества св. Георгія; здѣсь же мы видимъ цѣлый рядъ и такихъ добавленій, которыя показываютъ вліяніе на стихъ былинной поэзіи; наконецъ, въ типѣ обоихъ святыхъ есть сходство: оба они змѣеборцы. Если внимательно прочесть стихъ объ Егоріи Храбромъ, то не трудно замѣтить, что онъ состоитъ изъ двухъ частей, обѣ части будутъ имѣть каждая свою тему: въ одной части разсказывается о мученичествѣ Егорія, въ другой—о подвигахъ Егорія, т.-е.,

мы имѣемъ передъ собой т. н. «сводный» стихъ [1]). Георгій Великомученикъ (или—въ народной формѣ—Егорій) считается въ стихѣ жившимъ при царѣ Діоклетіанѣ, ставшемъ въ народной легендѣ образомъ типичнаго мучителя, преслѣдователя христіанъ [2]). Духовный стихъ не щадитъ энергичныхъ словъ для этой личности. Онъ изображается въ самыхъ некультурныхъ, грубыхъ чертахъ фанатика-язычника, облеченнаго властью: онъ—«злой царище», «Дектіанище». Для него доставляетъ удовольствіе мучить христіанъ, онъ передъ пыткой отъ Егорія требуетъ, чтобы онъ повѣрилъ въ «поганую», языческую вѣру. Егорій отказывается; тогда Діоклетіанъ подвергаетъ его всевозможнымъ мученіямъ: велитъ пилить его пилами, надѣваетъ на ноги сапоги съ гвоздями, велитъ жечь огнемъ, въ смолѣ варить. Но ничто не беретъ Егорія: по его молитвѣ то зубы у пилы подламываются, то острые гвозди въ сапогахъ подгибаются, огонь тухнетъ, даже въ котлѣ съ смолой остается Егорій невредимъ. Наконецъ, царь велитъ опустить Егорія въ глубокій погребъ, заложить дубовыми досками, засыпать желтымъ пескомъ и успокаивается въ томъ, что не видать Егорію солнца краснаго и свѣта бѣлаго, что онъ, наконецъ, извелъ Егорія. Но черезъ 30 лѣтъ и 3 года по Егорьеву моленію поднимается съ востока туча грозная, раздуваетъ песокъ, раскидываетъ дубовыя доски, и Егорій выходитъ на свѣтъ Божій, и притомъ прямо на Русь. Здѣсь, повидимому, начинается часть другого стиха о Егоріи, вставленная въ стихъ о мученіи. Разсказываются подвиги Егорія па Руси: какъ онъ, «на Руси поѣзжаючи, святую вѣру утверждаючи», раздвигаетъ непроходимыя горы, лѣсамъ дремучимъ приказываетъ разступиться, образуетъ дороги прямоѣзжія, какъ онъ встрѣчаетъ стадо волковъ, запрещаетъ имъ ѣсть скотъ и велитъ только ѣсть, по божьему повелѣнію, Господомъ указанное и разойтись по два, по три, по единому. Послѣ цѣлаго ряда такихъ подвиговъ на Руси Егорій находитъ въ Іерусалимѣ свою мать и сестеръ: оказывается, что мать находится во власти Діоклетіанища, а сестры утратили человѣческій образъ, покрылись корой и пасутъ дикихъ звѣрей. Егорій молится, открывается матери, молится съ нею, купаетъ сестеръ въ Іорданѣ, послѣ чего къ нимъ возвращается человѣческій видъ, и является не-

---

[1]) Сверхъ того, обѣ части этого стиха встрѣчаются въ устахъ пѣвцовъ и порознь, что еще болѣе говоритъ о томъ, что стихъ, какъ онъ обычно встрѣчается, есть сводный; наконецъ, какъ увидимъ, и источники обѣихъ частей стиха различны.

[2]) Представленіе это возникло въ связи съ распространенной и въ византійской (за ней въ нашей переводной) церковной и апокрифической литературой мученій; самымъ суровымъ гоненіемъ, утонченнымъ въ своей жестокости, было, какъ разъ, гоненіе Діоклетіана: таково мнѣніе средневѣковой легенды.

ожиданно къ Діоклетіану, убиваетъ его. Кровь Діоклетіана льется въ такомъ количествѣ, что затопляетъ Георгія по самую шею; здѣсь Георгій дѣлаетъ то же самое, что Өедоръ Тиронъ (по варіантамъ, и Добрыня): ударяетъ копьемъ въ землю, поганая кровь поглощается разсѣвшейся отъ удара землей. Этимъ кончается стихъ. Въ нѣкоторыхъ (правда, худшихъ по сохранности) стихахъ царь Діоклетіанъ поселился уже на Руси, онъ находится чуть ли не въ градѣ Черниговѣ, гдѣ въ соборной церкви Егорій и встрѣчаетъ свою мать. Таково содержаніе стиха. Что касается перваго эпизода—мученія Георгія, то онъ такого же книжнаго происхожденія, какъ тема въ сказаніи о Өедорѣ Тиронѣ: въ числѣ апокрифическихъ текстовъ житія Георгія (отмѣчаемыхъ индексами «ложныхъ» книгъ) мы находимъ «Георгіево мученіе», которое шагъ за шагомъ повторяетъ всѣ тѣ виды пытокъ, которымъ подвергался Егорій въ стихѣ; только нѣтъ закапыванія Егорія въ темный погребъ [1]), мученія идутъ въ иномъ порядкѣ и ихъ больше. Основой этого духовнаго стиха является, слѣдовательно, книжный эпизодъ изъ житія Георгія. Что касается этого книжнаго эпизода изъ житія Георгія, то его литературная исторія въ русской литературѣ еще не выяснена [2]). «Георгіево мученіе» въ юго-славянскихъ и русскихъ текстахъ не старше XV в. по рукописямъ; оба текста—и юго-славянскій и русскій—значительно разнятся другъ отъ друга; какой изъ нихъ первоначальнѣе, можетъ рѣшить лишь греческій текстъ, съ котораго сдѣланъ переводъ. Но въ греческой письменности такого текста, который бы вполнѣ покрывалъ собою тотъ или другой славянскій, до сихъ поръ еще не найдено; поэтому и судить о болѣе точномъ соотношеніи между первоисточникомъ и духовнымъ стихомъ трудно, а это было бы необходимо, въ виду разницы между собою текстовъ славянскихъ, которыми мы владѣемъ, а также потому, что поздніе русскіе тексты Георгіева мученія заставляютъ подозрѣвать уже вліяніе на нихъ духовнаго стиха. Какъ бы то ни было, остается несомнѣннымъ то, что въ той части, гдѣ идетъ рѣчь о мученіяхъ Георгія, стихъ нашъ восходитъ къ книжному источнику, похожему на дошедшіе до насъ старые русскіе рукописные тексты; ближайшій же источникъ коихъ, а, стало быть, и точный для нашего стиха остается пока не выясненнымъ; поэтому мы пока не можемъ опредѣлить вполнѣ

---

[1]) Эта черта м. б. идетъ изъ былевого эпоса, гдѣ засаживаніе въ погребъ богатыря (Сухмана, Дуная, Ильи и др.)—обычное общее мѣсто.

[2]) Основныя монографіи, касающіяся легендъ и стиховъ объ Егоріи: А. Н. Кирпичниковъ, „Св. Георгій и Егорій храбрый“ (Спб. 1879 г.), А. Н. Веселовскій, „Св. Георгій въ легендѣ, пѣснѣ и обрядѣ“ (Разысканія въ обл. русск. дух. стиха, II); А. Рыстенко, „Легенда о св. Георгіи и драконѣ“ (Одесса, 1901 г.).

точно, что сдѣлала народная фантазія со своимъ книжнымъ источникомъ, насколько она переработала этотъ первоисточникъ. Въ связи съ этимъ увеличивается затрудненіе въ выясненіи источниковъ и того стиха—о подвигахъ Егорія на Руси,—который далъ вставку для стиха о мученіи Егорія: мы, не зная точныхъ отношеній этого послѣдняго стиха къ его прототипу, будемъ колебаться и по отношенію къ вставкѣ: что отнести на счетъ стиха о подвигахъ Егорія на Руси, что на счетъ греческаго прототипа и его подражанія въ стихѣ о мученіи. Въ видѣ предположенія можно видѣть въ стихѣ о подвигахъ Егорія на Руси отзвуки русской легенды о первоначальныхъ временахъ христіанства на Руси, когда новые порядки христіанской жизни могли разсматриваться, какъ устроеніе русской жизни на новыхъ культурныхъ началахъ; а такой смыслъ, вѣдь, имѣютъ и подвиги Егорія и финалъ борьбы его съ Діоклетіаномъ, превращеннымъ, очевидно (какъ и змій), въ символъ язычества; не даромъ финалъ этотъ заимствованъ, внѣ сомнѣнія, изъ змѣеборческой легенды (о Егоріи же или, напр., Добрынѣ, или Θедорѣ Тиронѣ,—безразлично).

Другой стихъ объ Егоріи—о немъ и царицѣ Александрѣ (иначе—о Егоріи змѣеборцѣ)—принадлежитъ къ числу такихъ же стиховъ, какъ стихъ о Θедорѣ Тиронѣ, съ которымъ онъ и смѣшивается въ народномъ сознаніи. Эпизоды изъ стиха о Θедорѣ Тиронѣ могли быть перенесены на Егорія или цѣликомъ, или частью, потому что оба святые, какъ мы видѣли, оказались близкими по типу. Духовный стихъ объ Егоріи и царицѣ Александрѣ представляетъ варіантъ къ тому же типу легендъ о змѣеборцѣ, который мы имѣемъ въ основѣ стиховъ о Θедорѣ Тиронѣ [1]). Причины популярности Георгія въ духовномъ стихѣ слѣдуетъ искать въ общей популярности этого святого въ русской жизни, простотѣ его образа, а потому и близости къ народному міросозерцанію. Одна изъ первыхъ церквей Кіевскихъ, основанныхъ въ XI в., была въ честь Георгія Побѣдоносца, имя Георгія носятъ знаменитый Ярославъ и цѣлый рядъ русскихъ князей; чудеса Георгія въ народной легендѣ, отчасти въ письменности, пріурочиваются къ русскимъ мѣстностямъ; Георгій оказывается имѣющимъ опредѣленную функцію: онъ, если можно такъ выразиться, преимущественно «лошадиный» святой: онъ покровитель рабочихъ лошадей (въ отличіе отъ западной версіи, гдѣ Георгій является покровителемъ рыцарства), покровитель скота вообще (ср. обычай 23 апрѣля—день св. Георгія—выгонять скотъ, кропить его св. водой послѣ молебна Георгію). Популярностью Георгія

---

[1]) О змѣеборческой легендѣ и ея значеніи см. выше: анализъ былинъ о Добрынѣ (стр. 231), Потыкѣ (стр. 275).

объясняется, повидимому, тѣсное сліяніе Егорія съ типомъ святыхъ русскихъ богатырей, перенесеніе его подвиговъ на Русь.

Но въ стихахъ объ Егоріи есть еще одна любопытная черта, показательная не только по отношенію къ этому стиху, но и по отношенію вообще къ источникамъ народной поэзіи. Въ стихѣ объ Егоріевомъ мученіи разсказывается въ началѣ біографія Егорія, начиная съ рожденія; и тутъ же описывается его наружность. Оказывается, что Егорій былъ необыкновенный ребенокъ: онъ родился то въ Черниговѣ, то въ Іерусалимѣ, голова у него была изъ чистаго золота, по колѣна онъ былъ изъ чистаго серебра, ноги опять изъ чистаго золота. Этотъ образъ Георгія находитъ себѣ точное объясненіе въ иконописи: икона св. Георгія, покрытая ризой,—источникъ описанія наружности Егорія въ стихѣ: это—воспоминаніе о популярной, часто встрѣчающейся иконѣ Георгія, выраженное словами пѣсни. Можетъ быть, и «спеціальность» Егорія, какъ преимущественно «конскаго» святого, стоитъ въ связи съ его традиціоннымъ иконнымъ изображеніемъ—воина на бѣломъ конѣ. Это не является только чѣмъ-то случайнымъ для легенды объ Егоріи: есть и другіе духовные стихи, въ особенности стихи евангельскіе, которые въ своемъ составѣ получили детали изъ иконописи, фрески; напримѣръ, стихъ о Благовѣщеніи Богородицы создался подъ вліяніемъ тѣхъ фресокъ, которыя изображены въ церквахъ.

6. Къ числу стиховъ, которые группируются около переводныхъ темъ, какъ своего источника, можно указать еще два стиха—объ А л е к с ѣ ѣ, Б о ж і е м ъ ч е л о в ѣ к ѣ, и о б о г а т о м ъ и Л а з а р ѣ. Что касается стиха объ Алексѣѣ, Божіемъ человѣкѣ, то намъ извѣстны въ устахъ пѣвцовъ двѣ версіи его, которыя восходятъ, надо полагать, къ двумъ разнымъ источникамъ. Одинъ стихъ, повидимому, по происхожденію западно-русскій, восходитъ къ тому житію Алексѣя, Божія человѣка, которое появилось у насъ въ западной Россіи подъ вліяніемъ латинскихъ легендъ: это житіе изъ Legenda aurea Якова де-Ворагине въ XV в., благодаря вліянію католической Польши, появляется въ западно-русскомъ переводѣ, и западно-русскій (бѣлорусскій) духовный стихъ объ Алексѣѣ, Божіемъ человѣкѣ, въ своемъ первоначальномъ видѣ восходитъ къ этому источнику. Позднѣе появляется другая версія въ южной или центральной Руси. Существуетъ греко-византійскій сборникъ житій и нравственныхъ поученій и изреченій, который былъ переведенъ въ 1661 г. Арсеніемъ Грекомъ, однимъ изъ выходцевъ изъ Византіи черезъ южную Россію; въ Москвѣ этотъ сборникъ былъ отпечатанъ подъ названіемъ «Анѳологіона» (т.-е. Цвѣтника). Къ переводу изъ этого сборника и восходитъ другой стихъ объ Алексѣѣ, Божіемъ человѣкѣ. Такимъ образомъ, получаются два духовныхъ стиха объ Алек-

сѣѣ, Божіемъ человѣкѣ. Эти стихи ходятъ въ народѣ отчасти въ первоначальномъ видѣ, отчасти они представляются скрещеніемъ этихъ двухъ версій, впрочемъ, весьма близкихъ одна къ другой, такъ какъ и оба ихъ источника расходятся лишь въ мелочахъ и несущественныхъ подробностяхъ. Такимъ образомъ, происхожденіе стиха «объ Алексѣѣ, Божіемъ человѣкѣ» для насъ является яснымъ. Хронологія этого стиха, благодаря тому, что мы знаемъ о времени появленія оригиналовъ этого стиха, намъ извѣстна: одинъ стихъ не будетъ старше XV в., другой стихъ не старше 1661 г. (времени появленія западно-русскаго перевода латинской версіи житія и Анѳологіона). Что касается содержанія этого стиха, то оно довольно подробно передаетъ свой оригиналъ. Разсказывается, что въ Римѣ при царяхъ Гоноріи и Аркадіи жилъ одинъ знатный бояринъ-князь, Ефиміанъ, женатый на Аглаидѣ. Живутъ они по-божески, но дѣтей у нихъ нѣтъ (это—ходячій мотивъ, который намъ извѣстенъ изъ цѣлаго ряда другихъ разсказовъ, изъ Библіи). Они молятся Богу, родится у нихъ сынъ Алексѣй, который съ самаго ранняго возраста обнаруживаетъ аскетическія наклонности. Онъ рано усваиваетъ грамоту и очень рано начинаетъ подвиги благочестія. Когда онъ пришелъ въ совершенный возрастъ, родители желаютъ женить его, находятъ благочестивую богатую невѣсту и устраиваютъ свадьбу. Алексѣй все время сидитъ печальный. Свадьба окончилась, и когда молодыхъ отводятъ въ опочивальню, онъ передаетъ женѣ свой обручальный перстень, снимаетъ съ себя дорогую одежду, надѣваетъ плохую и объявляетъ женѣ, что онъ ее покидаетъ. Онъ приходитъ на берегъ моря, встрѣчается тамъ съ нищимъ, мѣняется съ нимъ одеждой и, подъ видомъ нищаго, попадаетъ на корабль, который отвозитъ его въ Эфесъ. Въ Эфесѣ онъ подвизается нѣкоторое время, затѣмъ отправляется въ Іерусалимъ, поселяется при храмѣ и особенно усердно молится Богу, который далъ ему силу совершать аскетическіе подвиги добровольнаго нищенства. Князь Ефиміанъ, узнавъ о томъ, что сынъ его исчезъ, разсылаетъ во всѣ концы гонцовъ; гонцы приходятъ въ Эфесъ, встрѣчаютъ Алексѣя, но не узнаютъ его: онъ сильно измѣнился не только въ одеждѣ, но и въ лицѣ, подвергая себя всевозможнымъ лишеніямъ. Слуги подаютъ ему милостыню во имя Алексѣя, сына Ефиміанова; онъ беретъ эти деньги и тотчасъ же раздаетъ нищимъ. Гонцы возвращаются, не найдя его. Затѣмъ, по прошествіи 20—25 лѣтъ (по разнымъ стихамъ различно) онъ возвращается къ себѣ на родину въ Римъ, приходитъ къ родительскому дому неузнаннымъ и проситъ подать ему милостыню во имя сына Алексѣя и дать ему пристанище. Старикъ отецъ даетъ ему помѣщеніе въ своемъ домѣ, приказываетъ слугамъ служить ему, но слуги относятся съ презрѣніемъ къ нищему,

обижаютъ его, оскорбляютъ. Такъ живетъ онъ много лѣтъ, заболѣваетъ, проситъ дать ему бумаги и чернилъ, описываетъ всѣ свои похожденія и со свиткомъ въ рукахъ умираетъ. По всему Риму распространяется необыкновенное благоуханіе; всѣ догадываются, что совершилось что-то необычайное. Узнаютъ откуда идетъ это благовоніе, идутъ въ домъ Ефиміана, гдѣ и находятъ Алексѣя почившимъ со свиткомъ въ рукѣ. Тогда собираются всѣ знатные люди, духовенство, приходитъ самъ царь, съ тѣмъ чтобы хоронить новоявленнаго святого. Хотятъ взять рукописаніе изъ рукъ, но рука не разгибается ни царю, ни патріарху; а когда приходитъ приложиться къ мощамъ отецъ, рука сама протягивается и даетъ ему рукопись (подобный эпизодъ съ грамотой мы находимъ въ житіи Александра Невскаго, который уже мертвый самъ беретъ разрѣшительную грамоту). Изъ этого писанія узнаютъ, кто это былъ. Начинается плачъ родителей, покинутой жены и великое ликованіе, что изъ рода Ефиміана въ Римѣ появился новый святой. Вотъ содержаніе стиха. Такимъ образомъ, мы видимъ типичное житіе, которое разсказываетъ въ видѣ духовнаго стиха одну изъ любимыхъ темъ на Руси: подвигъ великаго аскетизма, дѣвственности, воздержанія и всѣ чудесные элементы, которые такъ любятъ въ житіяхъ—романическій моментъ узнанія, описаніе блаженной кончины святого, сопровождающейся чудомъ.

7. Въ другомъ духовномъ стихѣ «о царевичѣ Іосафѣ», который особенно часто у насъ встрѣчается, одинаково распространенный и у старообрядцевъ, и не старообрядцевъ, прославляется тотъ же аскетизмъ, отреченіе отъ благъ земныхъ. Но, не измѣняя его содержанія, старообрядцы считаютъ его особенно для себя интереснымъ: онъ получаетъ въ ихъ глазахъ символическое значеніе—удаленіе въ пустыню отъ прелестей міра, «никоніянъ», т.-е. господствующей церкви съ ея новшествами. Основа стиха хорошо извѣстна: это—старый духовный переводный романъ, превратившійся у насъ въ житіе объ Іоасафѣ царевичѣ и пустынникѣ Варлаамѣ. Духовный стихъ использовалъ не все это большое сложное житіе, а взялъ только центральный пунктъ, до извѣстной степени общій мотивъ житія. Въ этомъ романѣ-житіи разсказывается, что у Авенира, царя индійскаго, язычника, родился сынъ, относительно котораго существуетъ предсказаніе, что онъ нарушитъ дѣдовскую вѣру. Отецъ принимаетъ всѣ мѣры, чтобы предотвратить это, воспитываетъ сына въ закрытомъ дворцѣ: до него не должна доходить мірская молва, людскія горести. Но промыслъ Божій разрушаетъ его планы: царевичъ Іоасафъ постепенно знакомится съ тѣмъ, что такое старость, болѣзнь, смерть. Вопросы заронены, пытливость возбуждена, онъ не можетъ быть спокоенъ въ своемъ обставленномъ

всѣми «утѣхами» заключенiи. Однажды приходитъ къ нему купецъ съ предложенiемъ продать какой-то замѣчательный драгоцѣнный камень. Когда купецъ остается одинъ на одинъ съ царевичемъ, царевичъ спрашиваетъ: гдѣ же этотъ драгоцѣнный камень? Купецъ (это былъ посланный Богомъ великiй аскетъ Варлаамъ) объясняетъ, что это нужно понимать духовно, что онъ принесъ ему драгоцѣннѣйшiй въ мiрѣ камень— ученiе Христово. Царевичъ увлеченъ, увѣровалъ во Христа, и въ концѣ-концовъ онъ бѣжитъ изъ своего замка и уходитъ въ пустыню съ купцомъ. Въ пустынѣ царевичъ вполнѣ постигаетъ христiанство и особенно его аскетическую сторону. Возвратившись домой и ставши царемъ, онъ обращаетъ въ христiанство свой народъ, а самъ уходитъ окончательно въ пустыню. Такимъ образомъ, Iоасафъ является человѣкомъ, котораго неудержимо влечетъ къ аскетической жизни—яркое доказательство величiя и преимуществъ такой жизни передъ всѣмъ, что считается въ мiрѣ цѣннымъ: пустыня—дороже царства, подвигъ, лишенiя—дороже всѣхъ благъ, богатства, власти. Вотъ фабула житiя. Духовный стихъ взялъ только одинъ эпизодъ—удаленiе царевича въ пустыню, и обработалъ эту тему очень оригинально. Очень можетъ быть, что здѣсь повлiяла на обработку сюжета та южно-русская поэзiя, которая развивалась подъ влiянiемъ школы, проникала и въ Москву. На эту мысль наводитъ самое содержанiе стиха, оно излагается такимъ образомъ: царевичъ Iоасафъ идетъ въ пустыню, его встрѣчаетъ сама «мати Пустыня» т.-е. олицетворенiе аскетизма (поэтическiй прiемъ, охотно усвоенный изъ духовной западной поэзiи и нашими южно-русскими писателями, напр., въ драмѣ, проповѣди). Эта Пустыня убѣждаетъ царевича не поселяться въ пустынѣ, потому что онъ молодъ, юнъ, неопытенъ, избалованъ роскошной жизнью и не вынесетъ тяжелыхъ лишенiй: не будетъ онъ тамъ ѣсть хлѣба сладкаго, пить сладкiя питiя, не будетъ тамъ цвѣтущихъ деревьевъ, а встрѣтитъ его пустыня холодомъ, голодомъ, жаждой, всякими опасностями. Но увлеченный аскетизмомъ царевичъ обращается къ «Пустынѣ», называя ее матерью, и усиленно ее проситъ принять его, своего сына, въ свои объятiя. Этимъ кончается духовный стихъ. Дiалогическая форма выдержана стройно; это опять черта, кажется, преимущественно южная. Въ данномъ случаѣ мы не видимъ полнаго соотвѣтствiя между книжнымъ сказанiемъ и духовнымъ стихомъ, но связь между ними несомнѣнна не только въ имени, но и въ концепцiи: изъ большого сложнаго житiя усвоена общая мысль; она-то и иллюстрирована въ драматической формѣ въ стихѣ. Стихъ пользуется большимъ распространенiемъ въ средѣ старообрядцевъ, какъ указано, особенно дорожащихъ аскетической идеей, приравнивающихъ ее къ общей идеѣ христiанской,

какъ высшее проявленіе этой идеи. Но происхожденія стихъ не старообрядческаго; судя по той концепціи, которая положена въ основу его, онъ долженъ быть признанъ старше времени появленія старообрядчества это, скорѣе,—конецъ XVI и начало XVII в., какъ разъ то время, когда въ консервативныхъ кругахъ общества аскетическія идеи получаютъ особенное распространеніе, тенденціозное примѣненіе въ русской жизни подъ давленіемъ борьбы съ новыми (западными) формами жизни. Какъ разъ на это время падаетъ и усиленіе популярности и безъ того давно любимой въ письменности повѣсти о Варлаамѣ и Іоасафѣ. Само же сказаніе это по происхожденію греческое, довольно рано появилось въ славянской и русской церковной письменности: уже въ XIII в. оно было использовано въ качествѣ источника для правоучительной части русской редакціи Пролога. По всей вѣроятности, отъ этого текста житія, въ его отдѣльномъ видѣ, особенно распространеннаго въ XVI—XVII в., идетъ нашъ духовный стихъ по своей идеѣ. О популярности житія Іоасафа царевича и взятой изъ него темы духовнаго стиха можно судить по тому, что житіе это было одной изъ старшихъ печатныхъ книгъ, не узко богослужебно-церковныхъ, вышедшихъ въ Московской типографіи (1680 г.); въ концѣ книги приложенъ нашъ духовный стихъ, въ обработкѣ Симеона Полоцкаго.

8. Близко по характеру къ духовному стиху объ Іоасафѣ царевичѣ подходитъ еще стихъ о Прасковіи-Пятницѣ. «Пятница»—олицетвореніе названія дня недѣли: Прасковія—греч. παρασκευή—то же; это олицетвореніе понятія такое же, какъ св. Софія, Вѣра, Надежда, Любовь (греч. Σοφία, Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη), давнишнее въ византійской литературѣ, книжной и устной, превращало, такимъ образомъ, въ реальный образъ отвлеченное понятіе, стало въ концѣ-концовъ именемъ дѣйствительнаго лица. Такъ было и съ Прасковіей-Пятницей: св. Параскева—она св. Петка Тырновская, одна изъ популярныхъ личностей у юго-славянъ, она же популярна и у насъ. Но тѣсная связь ея съ пятницей, названіемъ дня недѣли, отложилась и на сказаніяхъ о св. Параскевѣ-Пятницѣ. Поэтому съ именемъ Прасковіи у насъ соединенъ цѣлый рядъ народныхъ повѣрій, обычаевъ, напр.: въ пятницу нельзя прясть, ткать, заниматься женской работой, потому что кострика (пыль, отдѣляемая отъ пряжи льняной или конопляной) засыплетъ глаза ткачихѣ. Эта-то Прасковія-Пятница и стала достояніемъ духовнаго стиха. Этотъ духовный стихъ интересенъ подобно стиху объ Егоріи, отмѣченному выше, въ томъ отношеніи, что почти все содержаніе духовнаго стиха отразило не литературный, не словесный источникъ, а, повидимому, источникъ живописный. Въ иконописи очень рано появилось изображеніе Прасковіи-Пятницы; она изображается здѣсь довольно молодой

женщиной, одѣтой въ полумонашеское платье съ большимъ крестомъ въ рукахъ (какъ мученица). Изображеніе это до сихъ поръ довольно часто встрѣчается и на иконахъ, и въ скульптурномъ видѣ въ церквахъ. Это популярное изображеніе и послужило толчкомъ къ созданію духовнаго стиха. Духовный стихъ является до извѣстной степени попыткой непосредственно изложить въ словесной формѣ то, что видимъ на иконѣ, въ статуэткѣ. Стихъ получается довольно безсодержательный, ничего общаго съ обширнымъ житіемъ св. Пятницы не имѣющій. Суть этого коротенькаго стиха заключается въ слѣдующемъ: жилъ пустынникъ и усердно молился Богу. Случилось съ нимъ несчастье, онъ заболѣлъ: отнялись у него руки и ноги; во снѣ является къ нему святая Прасковія-Пятница, осѣняетъ его крестомъ, и этотъ пустынникъ исцѣляется. Если присмотрѣться поближе къ этому стиху, то легко замѣтить, что здѣсь все содержаніе заключается въ изображеніи Прасковіи, прицѣпленномъ къ ходячему безцвѣтному мотиву исцѣленія силой креста.

9. Хронологически ко времени распространенія общерусскихъ народныхъ духовныхъ стиховъ, т.-е. къ XVI—XVII в., близокъ стихъ старообрядческій—конца XVII в., начала XVIII в.. Старообрядческіе стихи, ближайшимъ образомъ, пожалуй, и не должны бы входить въ исторію русской народной поэзіи: они являются выраженіемъ тѣхъ сектантскихъ взглядовъ, которые отнюдь не общенародныя воззрѣнія, а составляютъ принадлежность только специфической, опредѣленной, замкнутой группы. Но не сказать о нихъ нѣсколько словъ нельзя потому, что они въ значительной степени являются интересными показателями тѣхъ условій, при которыхъ сохраняется старый духовный стихъ, и той среды, гдѣ этотъ духовный стихъ нашелъ себѣ, хотя одностороннее, но всетаки литературное продолженіе. Старообрядческій духовный стихъ въ значительной части усвоилъ себѣ формы старшаго духовнаго стиха (эпитеты, самый размѣръ) и самый его характеръ, преимущественно религіозный, аскетическій. Но, съ другой стороны, старообрядческій стихъ долженъ быть признанъ вѣтвью отдѣльной, такъ какъ отражаетъ не общерелигіозное настроеніе, а специфическое, сектантское. Собранные за послѣднее время въ большомъ количествѣ эти духовные стихи сектантскіе, въ особенности стихи наиболѣе замкнутыхъ, отошедшихъ отъ общей старообрядческой группы сектъ (духоборовъ, хлыстовъ, скопцовъ, такъ назыв. «новаго израиля» и др., преимущественно мистически настроенныхъ группъ), эти духовные стихи даютъ интересный матеріалъ не только для исторіи самого сектантства, какъ религіознаго явленія, но и для чисто-литературныхъ наблюденій въ области исторіи духовнаго стиха вообще. Пересматривая эти духовные стихи, мы ви-

димъ слѣдующее. Тамъ духовный стихъ стараго происхожденія, тотъ, который мы знаемъ въ общемъ употребленіи, представленъ въ очень незначительной степени. Громадное же количество стиховъ, которые пользуются распространеніемъ среди сектантства, образованія уже своего, чисто-сектантскаго. Тамъ описывается кончина или преслѣдованіе того или другого изъ сектантовъ-подвижниковъ, то «апостола», то того или другого «великомученика», то, наконецъ, того или иного «Христа», все это—въ очень мало поэтическихъ чертахъ, сильно модернизированныхъ (фигурируютъ и полицейскіе, и чиновники, и московскіе казематы—«титы»). Другая особенность этого стиха та, что этотъ стихъ слился окончательно съ другими духовными пѣснями, которыя поютъ сектанты въ своихъ радѣніяхъ, богослуженіяхъ; это ничто иное, какъ подобіе псалма (но не «псальмы», «канты»), стихотвореніе, но съ довольно слабымъ чувствомъ ритма, переложеніе отдѣльныхъ мотивовъ, часто общеупотребительныхъ и въ православной средѣ, но только примѣненныхъ къ взглядамъ сектантовъ. Все это довольно далеко отвело сектантскій стихъ отъ стараго не только по содержанію, но и по формѣ, что̀ и отличаетъ сектантскіе стихи отъ старообрядческихъ общихъ, все еще сохранившихъ и болѣе архаичную форму и отчасти воспринявшихъ цѣликомъ общій народный русскій стихъ.

10. Наконецъ, есть еще одна группа духовныхъ стиховъ, которая имѣетъ для насъ значительный историческій интересъ. Это—тѣ стихи, которые вызваны фактомъ самаго существованія духовныхъ стиховъ и главнымъ образомъ той обстановки, въ которой старый духовный стихъ существуетъ: эта группа стиховъ пробуетъ, въ поэтической формѣ, объяснить самое существованіе, право на существованіе того класса людей, которые являются или профессіоналами, или же исполнителями духовныхъ стиховъ. Эту группу, пожалуй, можно озаглавить стихами о томъ, что калики и нищіе поютъ про самихъ себя, какъ ее назвалъ П. А. Безсоновъ. Такой темой является происхожденіе и общественное значеніе каличества-нищенства. Одинъ изъ самыхъ распространенныхъ стиховъ на эту тему—стихъ о милостынѣ (иначе, о вознесеніи Христовомъ). Его очень любятъ распѣвать «калики перехожіе», какъ особенно рельефно оправдывающій ихъ положеніе. Разсказывается въ немъ такъ: еще при жизни Христа собрались нищіе калики на горѣ Ѳаворѣ, гдѣ Христосъ собирается возноситься на небо. Нищая братія съ горечью спрашиваетъ Его, на кого Онъ ихъ оставляетъ? Прощаясь съ нищей братіей, Христосъ желаетъ имъ оставить что-нибудь на память: такъ какъ они прославляютъ, несутъ имя Христово народу, Христосъ сулитъ имъ горы золотыя, чтобы нищая братія жила въ довольствѣ и богатствѣ. Нищая братія, однако, отказывается отъ это-

го дара и объясняетъ: «не сули ты намъ горы золотыя», потому что горы золотыя бояре и князья у насъ отнимутъ, и намъ, каликамъ, отъ этого никакого облегченія не будетъ, а дай ты свое «святое имячко», котораго никто отнять не можетъ; за то святое имячко мы будемъ прославлять Тебя, милостивца, Отца небеснаго, и будемъ сыты». Выходитъ, будто самъ Христосъ освящаетъ своимъ именемъ каличество-нищенство, поэтому и калика—человѣкъ, во всякомъ случаѣ, заслуживающій всякаго почтенія, какъ носитель Христова имени: онъ собираетъ свою «святую» милостыню съ благословенія самого Христа. Здѣсь уже проходитъ, такимъ образомъ, соціальный взглядъ на каличество.

Есть и другіе стихи, которые калики поютъ, до извѣстной степени примѣняя ихъ къ себѣ. Таковъ стихъ очень распространенный, называемый стихомъ «о Лазарѣ», потому что Лазарь, это—типичный бѣднякъ-нищій, который является евангельскимъ идеаломъ калики, носителемъ идей этого каличества и нищенства. Стихъ построенъ, разумѣется, на извѣстной евангельской притчѣ о богатомъ и Лазарѣ. Главная идея стиха—значеніе, необходимость для людей милостыни, какъ средства для спасенія души; въ этомъ отношеніи калика и нуженъ обычному человѣку (ср. выраженіе: «пѣть Лазаря» въ смыслѣ просить милостыни, уподоблять себя Лазарю). Идея о милостыни—одна изъ самыхъ яркихъ общественно-религіозныхъ популярныхъ идей христіанства и старой Руси: здѣсь лежитъ источникъ этихъ стиховъ.

Вотъ тѣ главныя группы духовныхъ стиховъ, съ которыми намъ нужно было познакомиться. Здѣсь мы встрѣчаемся съ обильнымъ пользованіемъ книжной христіанской литературой, преимущественно популярной, евангельской (библейской вообще), житійной, апокрифической. Но мотивы эти обрабатываются примѣнительно и въ связи съ матеріаломъ остальной устной словесности, отсюда связь духовнаго стиха съ былиной, со сказкой. Какъ явленіе историческое и историко-культурное, духовный стихъ даетъ видный матеріалъ для изученія исторіи нашего христіанскаго міросозерцанія, показывая, что процессъ, впервые нами отчетливо наблюдаемый съ XV или XVI столѣтія, процессъ поглощенія христіанскимъ міросозерцаніемъ стараго народнаго еще не вполнѣ законченъ, нося на себѣ замѣтныя черты двоевѣрія.

Къ числу духовныхъ стиховъ, какъ поэзіи религіозной, можно отнести отчасти и такія произведенія, которыя, собственно говоря, въ настоящемъ смыслѣ слова духовными стихами не являются, но которые, съ другой стороны, не могутъ быть прямо причислены къ разряду чисто

повѣствовательной, эпической, свѣтской литературы. Таковъ, напримѣръ, стихъ о Горѣ и Долѣ, который, помимо народной устной пѣсни, въ художественно-литературной, книжной переработкѣ XVII в., дошедшей до насъ, извѣстенъ подъ именемъ «Повѣсти о Горѣ-злочастіи». Тамъ, главнымъ образомъ, въ эпической формѣ развивается этическая тема объ основахъ человѣческой жизни; основа эта—религіозная. Добрый молодецъ съ молоду жилъ, кутилъ, веселился, увлекался всякими излишествами, но прицѣпилась къ нему злая доля, несчастье, которое его преслѣдуетъ. Онъ во всемъ терпитъ неудачу, никакъ не можетъ отдѣлаться отъ Горя-злочастія, которое говоритъ, что оно не оставитъ его до гробовой доски. Но юноша находитъ возможнымъ избавиться отъ него. Онъ послѣ цѣлаго ряда неудачъ, скитаній, приходитъ къ мысли о покаяніи и остатки дней своихъ посвящаетъ Богу, поступаетъ въ монастырь. Итакъ: добраго молодца Горе-злочастье привело въ иноческій чинъ. Это панегирикъ иноческому житію, которое играло такую важную роль въ XVI—XVII вв. Духовный стихъ о Горѣ-злочастіи, помимо того, что извѣстенъ въ книжной обработкѣ, поется и нашими каликами перехожими, хотя и рѣдко; источникъ его безъ сомнѣнія книжный, но до сихъ поръ онъ не установленъ окончательно; кажется, что такимъ было одно изъ чудесъ отъ иконы Тихвинской Богородицы.

Такимъ образомъ, обзоръ духовнаго стиха, сдѣланный нами, можетъ дать такое представленіе объ этомъ родѣ устной поэзіи: тѣсно связанный съ книжной литературой, стихъ является преимущественно религіозной, этической поэзіей, популяризуя темы религіозной легенды (въ широкомъ смыслѣ), выражая религіозное настроеніе, подъемъ его, чувство, проникнутое уже христіанскими идеями. Время его расцвѣта надо отнести къ XVII вѣку, какъ къ вѣку перелома въ русской жизни: въ этомъ переломѣ онъ остался на сторонѣ старой жизни, а не новой.

Сказка.

Однимъ изъ самыхъ распространенныхъ, цѣнныхъ съ научной стороны видовъ народной литературы устной является сказка, главная представительница нестихотворной повѣствовательной поэзіи. Съ другой стороны, сказка представляется наиболѣе изъ всѣхъ видовъ устной поэзіи трудной въ дѣлѣ изученія исторіи устной народной словесности. Трудна она потому, что по внѣшнему своему объему матеріалъ, ею представляемый, чрезвычайно великъ. Трудна она и потому, что сказка, какъ прозаическій разсказъ, не заключенный въ опредѣ-

ленную болѣе или менѣе устойчивую форму, является подвижной по отношенію не только къ формѣ, но и къ содержанію. Сказка является трудной для изученія и потому, что она въ своемъ составѣ, подобно другимъ видамъ устной литературы, отличается большой сложностью, разнообразіемъ источниковъ; въ этомъ отношеніи она, быть можетъ, должна быть сочтена наиболѣе сложнымъ видомъ поэзіи, въ виду того, что сказка, какъ повѣствованіе не связанное строгой формой и имѣющее на первомъ планѣ интересъ разсказа, спаиваетъ въ одномъ сюжетѣ не только отдѣльные сюжеты, часто весьма разнородные по источникамъ и по времени, но и отдѣльные мотивы, сохраняя ихъ часто въ видѣ намека, стереотипной фразы и т. п.; поэтому изученіе сказки не можетъ еще до настоящаго времени, при сравнительной молодости самого изученія русской устной поэзіи, какъ науки, дать болѣе или менѣе ощутительныхъ результатовъ. Кромѣ того, самое изученіе сказки въ міровой литературѣ (что̀ могло бы облегчить изученіе и русской сказки) точно также въ значительной степени находится еще въ періодѣ колебаній, поисковъ направленій. Рѣшается еще вопросъ о самомъ происхожденіи сказки, и на него даются отвѣты, противорѣчащіе другъ другу, часто исключающіе другъ друга. Сказка, подобно былинѣ и другимъ видамъ повѣствовательной литературы, въ наукѣ разсматривалась подъ вліяніемъ тѣхъ общихъ литературныхъ теорій [1]), которыя господствовали въ то или другое время. Эти колебанія въ области изученія устной словесности особенно отражались на представленіи о сказкѣ. Поэтому результатовъ болѣе или менѣе надежныхъ, точныхъ по отношенію къ исторіи русской сказки, мы ожидать пока не можемъ; поэтому то, что̀ придется сообщить о сказкѣ, будетъ, во-первыхъ, болѣе или менѣе отрывочно; во-вторыхъ, это будетъ рядъ предположеній, которыя въ значительной степени будутъ отличаться теоретичностью; и только въ очень не многихъ случаяхъ можно говорить объ исторіи опредѣленной сказки въ связи съ фактами болѣе или менѣе положительными и строго обоснованными.

Начнемъ съ внѣшней стороны исторіи сказки, попробуемъ представить себѣ матеріалъ для этой исторіи. Сказка является общераспространенной не только въ Россіи, но и на всемъ земномъ шарѣ, мы ее встрѣчаемъ и у культурныхъ народовъ, и у дикарей. Несомнѣнно, что періодъ процвѣтанія сказки переживали и переживаютъ до сихъ поръ всѣ наро̀ды, когда находятся на извѣстной степени культуры. Сказку какъ отдѣльный видъ словесности, мы встрѣчаемъ у культурныхъ народовъ преимущественно въ среднихъ и низшихъ классахъ; она здѣсь

---

[1]) О нихъ была рѣчь выше, стр. 62 и сл.

распространена не только среди дѣтей, но и взрослыхъ. Это объясняется тѣмъ, что сказка по своему существу, основѣ служитъ преимущественно удовлетворенію одной изъ наиболѣе насущныхъ потребностей художественной стороны человѣческой психики, именно, потребности въ фантазіи, фантастическомъ вымыслѣ, противуполагаемыхъ, какъ поэтическое по преимуществу, дѣйствительному, какъ прозаическому. Если мы считаемъ не удовлетворяющей насъ ту фантазію, которая развлекаетъ ребенка, какъ еще мало развитаго человѣка, живущаго мало реальной жизнью, или малограмотнаго человѣка, то отсюда, конечно, нельзя дѣлать вывода, что мы, люди культурные, считаемъ себя свободными отъ потребности фантастическаго. Разница только будетъ въ томъ, что мы будемъ удовлетворять нашей потребности въ фантазіи иначе, чѣмъ человѣкъ, состоящій на болѣе низкой ступени развитія, но все-таки эта потребность фантазіи, вымысла, какъ одного изъ основныхъ потребностей поэтическаго настроенія, присуща была всегда и вездѣ и будетъ присуща всему человѣчеству. Этимъ и объясняется, почему болѣе легкій и простой способъ удовлетворенія этой потребности въ фантастикѣ, именно сказка, имѣла и имѣетъ такое большое распространеніе. Современные этнографы констатируютъ существованіе сказки у народовъ, которые они называютъ «безкультурными» или «первобытными», т.-е., находящимися на низшей, доступной нашему наблюденію степени развитія. Историки литературы признаютъ присутствіе сказки также у народовъ высшей культуры: эта потребность въ сказкѣ, какъ въ фантастическомъ, дающемъ возможность погрузиться въ міръ, столь отличный отъ окружающаго насъ, сказывается рядомъ такихъ сказокъ въ современной художественной литературѣ, независимо отъ ея направленій: релистическаго, символическаго, декадентскаго и т. п.; подобно писателямъ другихъ національностей, и русскіе писатели культивировали и культивируютъ до сихъ поръ сказку; мы знаемъ художниковъ сказки въ недавнемъ прошломъ (Жуковскій, Пушкинъ, напр.) и въ современной литературѣ (напр., Ремизовъ). Такимъ образомъ, въ силу такого значенія фантастическаго въ психологіи человѣка, сказочный матеріалъ естественно долженъ представляться громаднымъ. Но самые законы, которымъ подчиненъ этотъ видъ творчества, настолько еще мало изслѣдованы, настолько являются съ другой стороны связанными съ общими, вытекающими изъ основныхъ, элементарныхъ особенностей обще-человѣческой психики, что точные законы для развитія сказки, какъ таковой, устанавливаются съ большимъ трудомъ, и до сихъ поръ мы еще вращаемся въ значительной степени въ области гипотезъ, при томъ даже болѣе, нежели по отношенію къ другимъ видамъ творчества. Доказательство этого у насъ налицо. Въ разное время

исторія, какъ иноземныхъ, такъ и русской литературы выставляла, казалось, окончательныя рѣшенія, придавая имъ значеніе, цѣну закона, напр., относительно зарожденія, развитія сказки; но появлялась новая гипотеза и прежнее, якобы окончательноее представленіе, лишалось своего значенія или вовсе, или низводилось на степень частнаго вывода или наблюденія. Было время, 30—40 г. прошлаго столѣтія, когда господствовала у насъ, напр., миѳологическая теорія, когда въ устной поэзіи, и главнымъ образомъ въ сказкѣ, видѣли прежде всего отраженіе религіозныхъ отдаленныхъ доисторическихъ вѣрованій, того состоянія человѣческой культуры, которая близка къ культурѣ первобытной. Подвергая сказку изученію съ этой точки зрѣнія, видѣли въ ней богатое отраженіе миѳологіи, религіозныхъ вѣрованій, видѣли по преимуществу то, что̀ мы называемъ миѳомъ, разсказомъ о божествѣ и т. д. Принимая во вниманіе то, что сказка въ настоящее время сохраняется въ силу закона переживанія старины, хотя и эпоха накладываетъ на нее свою руку, миѳологи преувеличивали дѣйствіе этого закона, считая сказку особенно устойчивой въ своей сохранности, болѣе, нежели дозволяла исторія, а потому полагали, что научная критика подъ этими наслоеніями можетъ вскрыть древнѣйшія основы міросозерцанія, миѳъ. Поэтому миѳологи очень цѣнили сказку (какъ и былину) въ качествѣ богатѣйшаго матеріала для возсозданія доисторическихъ вѣрованій народа. На такомъ пониманіи сказки построенъ, напр., извѣстный громадный трудъ А. Н. Афанасьева «Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу». Тамъ сказка употреблена въ качествѣ матеріала для иллюстраціи религіозныхъ воззрѣній человѣка на природу, который въ этой окружающей природѣ всюду видѣлъ проявленіе божества, стоялъ еще на ступени анимизма въ своихъ вѣрованіяхъ [1]), иначе—на одной изъ низшихъ ступеней человѣческой культуры. Когда же наступила эпоха новой школы, бенфеевской (50—60-ые годы), сказка получаетъ опять новое освѣщеніе. Если представители старой миѳологической школы, основываясь на сходствѣ сказочныхъ сюжетовъ у цѣлаго ряда народовъ, объявляли тѣ или другіе сюжеты общими индоевропейскими (напримѣръ, въ сказкѣ о Лихѣ одноглазомъ, сюжетъ которой мы знаемъ, помимо русской, и въ литературѣ западно-европейской, и въ античной греческой), а, стало быть, приписывали имъ доисторическую древность, то бенфеевская школа, стоящая на почвѣ культурныхъ историческихъ заимствованій, старалась указать на то, что въ сказкѣ, которая теперь является устной, мы видимъ чрезвычайно разнообразные элементы, и прежде всего эле-

[1]) Объ анимизмѣ см. выше, стр. 118—120.

менты заимствованные, переносные, ставшіе достояніемъ сказки уже позднѣе, иногда очень поздно, и являющіеся результатомъ взаимообщенія между отдѣльными народами уже въ историческое время, независимо отъ ихъ расоваго или языковаго сродства. Исторія сказки получаетъ, такимъ образомъ, новое толкованіе, и это толкованіе дало, если и менѣе грандіозные, то зато болѣе прочные выводы для будущей исторіи сказки. Дѣйствительно, въ цѣломъ рядѣ сказокъ можно констатировать слѣды элементовъ различнаго происхожденія: есть элементы, которые пока не поддаются объясненію, происхожденіе которыхъ для насъ не ясно; но, съ другой стороны, есть элементы, происхожденіе которыхъ для насъ несомнѣнно: это—тѣ странствующіе разсказы, которые въ различныхъ комбинаціяхъ постоянно входятъ въ сказку, составляя ея детали, а иногда и основное содержаніе, т.-е., тоже самое, что мы видѣли въ былинѣ и другихъ видахъ устной народной повѣствовательной поэзіи [2]). Главная трудность въ опредѣленіи генезиса сказки, ясно, заключается въ томъ, что она, въ отличіе отъ другихъ видовъ творчества, въ чертахъ квази-реальныхъ не даетъ реальнаго содержанія или вовсе, или очень мало; а отраженіе именно реальной жизни, подчиненной законамъ исторіи, и могло бы дать отправную точку для изученія, какъ исторіи сказки, такъ въ частности ея происхожденія, иначе говоря: въ сказкѣ не находимъ достаточно опредѣленно выраженной хронологіи и національности, какъ въ продуктѣ творчества международнаго. Въ настоящее время въ направленіи изученія сказки мы находимъ опять-таки нѣчно новое. Старая миѳологическая теорія, какъ и при господствѣ воззрѣній Бенфея, не отвергается вполнѣ и теперь, но съ ней не считаются, какъ съ основной, примѣняя ее въ отдѣльныхъ случаяхъ, когда самый матеріалъ, оцѣниваемый съ другихъ точекъ зрѣнія, самъ ведетъ въ эту сторону. Бенфеевская теорія точно также, хотя сохраняетъ свое значеніе основной при примѣненіи къ исторіи сказки, но все-таки теперь не играетъ роли господствующей, единственнаго метода для изученія исторіи сказки. Выступаютъ новыя теоріи, примѣняемыя чаще именно къ изученію сказки, нежели къ другимъ видамъ устнаго творчества. Въ настоящее время выдвигается новая психолого-антропологическая теорія изученія литературы и законовъ ея развитія. Суть этого ученія состоитъ въ слѣдующемъ. Если извѣстная часть сходныхъ сюжетовъ въ сказкѣ можетъ быть объясняема доисторическимъ родствомъ данной группы народовъ, то такое объясненіе въ цѣломъ рядѣ случаевъ доказало свою непригодность, какъ это выяснилось въ трудахъ Бенфея и его послѣдователей. Но и бен-

---

[1]) Такова сказка о Перреттѣ, приведенная выше (стр. 86 и сл.).

феевская теорія, основой которой является взаимное культурное вліяніе отдѣльныхъ группъ народа другъ на друга, точно также не можетъ всегда дать объясненіе сходству сказочныхъ сюжетовъ у отдѣльныхъ народовъ. Одинаковые сюжеты встрѣчаются у такихъ неродственныхъ народовъ, культурной связи между которыми мы констатировать не можемъ за время, доступное для изученія историка, и относительно которыхъ мы въ правѣ предполагать, что ея и не было въ историческое время. Напримѣръ, мы замѣчаемъ сходство въ основномъ сюжетѣ между русской сказкой и сказкой австралійской, южно-американской и южно-африканской; объяснять это сходство доисторическимъ родствомъ мы не имѣемъ права, такъ какъ эти народы ни въ отношеніи языка, ни въ антропологическомъ отношеніи не представляются родственными, какъ этого требуетъ теорія «миѳологовъ»; съ другой стороны, если приложить теорію Бенфея, то результаты будутъ столь же неудовлетворительны: австралійцы, южно-американцы и южно-африканцы въ культурныхъ взаимоотношеніяхъ (да и ни въ какихъ) не состоятъ и не состояли, раздѣленные громадными пространствами, непреодолимыми для людей низкой культуры препятствіями (океана, напр.), и при томъ въ расовомъ отношеніи различные.

Очень хорошимъ примѣромъ, иллюстрирующимъ положеніе дѣла въ данномъ случаѣ, можетъ служить извѣстная сказка о построеніи Карѳагенскаго кремля Дидоной (она проситъ разрѣшенія у мѣстнаго царя занять для поселенія столько земли, сколько займетъ воловья кожа, и, получивъ такое разрѣшеніе, рѣжетъ шкуру на тоненькіе ремешки и, связавши ихъ, охватываетъ пространство земли, достаточное для постройки кремля) [1]); мотивъ ея—овладѣніе землей посредствомъ воловьей кожи—встрѣчаемъ, помимо латинской литературы (у Іустина и Вергилія), въ Индостанѣ (объ основаніи Калькутты), Индокитаѣ, на Балканскомъ полуостровѣ (основаніе Пэры), въ Герцеговинѣ, у норманновъ, англосаксовъ (основаніе Іорка, Лундунаборга, гор. Висби на Готландѣ), у насъ (о Псково-Печерскомъ монастырѣ), у Зырянъ (основаніе Москвы), на Кавказѣ, въ Китаѣ, въ сѣв. Америкѣ и т. д. Такимъ образомъ здѣсь о родствѣ носителей сказки рѣчи быть не можетъ, говорить, что всѣ перечисленные народы могли получить сказку одинъ отъ другого, также нельзя. Не находя такимъ образомъ объясненія ни въ исторіи, ни въ данныхъ, которыя могутъ быть констатированы путемъ непосредственныхъ наблюденій надъ реальнымъ современнымъ и прошлымъ

---

[1]) Примѣръ взятъ изъ статьи В. О. Миллера „Всемірная сказка въ культурно-историческомъ освѣщеніи" („Рус. Мысль" 1894 г. XI) и повторенъ имъ въ литогр. его курсѣ по нар. слов. 1910—1911 г.

бытомъ, ни въ доисторическомъ прошломъ, психолого-антропологическая теорія пробуетъ искать этого объясненія, восходя къ самымъ общимъ основамъ исторической антропологіи и психологіи человѣка. Антропологія утверждаетъ съ своей стороны, что точное изслѣдованіе физическаго строенія человѣческаго тѣла, скелета, мягкихъ частей тѣла, отдѣльныхъ физіологическихъ функцій человѣческаго организма доказываетъ единство происхожденія человѣческаго рода. Какъ бы мы не объясняли происхожденіе человѣка отъ болѣе простого организма путемъ эволюціи въ теченіе многихъ и многихъ тысячелѣтій (по теоріи дарвинизма, или иначе, совершенно безразлично), но мы должны признать, что человѣкъ, какъ таковой, одинъ и тотъ же въ извѣстныхъ отношеніяхъ на всемъ земномъ шарѣ: гдѣ бы онъ ни появился, вездѣ онъ имѣетъ общія, одинаковыя свойства физіологическія и психическія; таковы, напримѣръ: вертикальное положеніе его тѣла, способность рѣчи и т. п. Эта одинаковая физіологія и одинаковая психика одинаково реагируютъ на всемъ земномъ шарѣ на окружающія явленія; такія частыя понятія, какъ о боли, о теплѣ, о холодѣ и т. п., такія понятія, которыя не находятся въ зависимости отъ того или другого расоваго происхожденія человѣка, являются общими свойствами всѣхъ человѣческихъ расъ. Приблизительно такъ говорятъ (разумѣется, въ самыхъ общихъ чертахъ) антропологи, намѣчая связь между физіологической стороной человѣка и его психикой, опираясь при этомъ на то, что современная физіологія стремится многія психическія явленія объяснить, какъ результатъ извѣстныхъ явленій физіологическихъ. Такая теорія, антрополого-психологическая, была примѣнена и къ объясненію происхожденія устной народной поэзіи, и въ частности къ объясненію сказки, въ соединеніи съ тѣмъ, что для изученія психики даетъ сравнительная историческая этнологія, имѣющая своей задачей широкое изученіе быта, человѣческой культуры вообще. Эта этнологія до настоящаго времени, если и не сдѣлала крупныхъ, неоспоримыхъ обобщеній, то собрала и старается классифицировать громадный бытовой матеріалъ и уже успѣла сдѣлать нѣкоторыя важныя наблюденія надъ эволюціей человѣческой культуры. Мы имѣемъ передъ собою рядъ наблюденій, собранныхъ со всѣхъ странъ земного шара, отъ людей всѣхъ ступеней культуры. Въ послѣднее время, начиная съ XVIII в., изученіе первобытныхъ расъ ведется энергично и всесторонне, собирается тщательно фиксированный матеріалъ бытовой, литературный, въ томъ числѣ и сказочный. Этотъ громадный матеріалъ и пробуютъ обработать сообща такіе представители антропологіи, этнографіи и физіологіи, какъ извѣстный основатель современной этнографіи Бастіанъ, народовѣдъ Ратцель и философъ Вундтъ. Каждый изъ нихъ

пробовалъ дать подходящія объясненія этому собранному матеріалу. Всѣ они замѣчали въ этомъ собранномъ матеріалѣ, правда, въ самыхъ общихъ чертахъ рядъ точекъ соприкосновенія и совпаденій. Оказывается, что часть сказочныхъ сюжетовъ, мотивовъ пользуется всемірнымъ распространеніемъ, другіе мотивы пользуются громаднымъ распространеніемъ, что̀ даетъ возможность заключить, что эти мотивы когда-то были также общеміровыми, но въ настоящее время они либо исчезли въ одномъ мѣстѣ, сохранившись въ другомъ, либо до сихъ поръ еще не найдены. Пытаются объяснить на основаніи воззрѣній антропологопсихологической школы общность этихъ мотивовъ. Эти мотивы представляются настолько общими, простыми, настолько тѣсно связанными съ простѣйшими функціями элементарныхъ законовъ логической мысли, человѣческой психики, что представители науки, въ родѣ Бастіана, готовы были ихъ объяснить, какъ результатъ дѣйствія законовъ общечеловѣческой психики, т.-е., представляютъ дѣло такъ: извѣстный разсказъ проявляется обязательно вездѣ и всегда тамъ, гдѣ для этого есть одинаковыя внѣшнія условія, т.-е., сходство жизни, быта, внѣшнихъ условій этого быта; а такія условія въ основныхъ своихъ элементахъ одинаковы для всѣхъ группъ человѣчества, разъ они стоятъ на одной и той же ступени развитія. Къ числу такихъ сюжетовъ отнесенъ, напримѣръ, извѣстный сюжетъ о Сандрильонѣ (Золушкѣ); пробовали найти другіе сюжеты такого же свойства: сначала было найдено такихъ сюжетовъ очень немного, кажется, 16; они были объявлены общеміровыми, т.-е., такими, которые сами зародились независимо отъ постороннихъ вліяній, отъ родства народныхъ группъ между собою. Эти 16 сюжетовъ долго считали международнымъ источникомъ для ознакомленія съ исторіей сказки. Впослѣдствіи пробовали часть этихъ сюжетовъ свести къ еще меньшему числу, доходили до 3—4. Это выдѣленіе міровыхъ сюжетовъ сказокъ какъ будто ведетъ къ рѣшенію вопроса въ томъ духѣ, что существуетъ какой-то извѣстный фондъ, который образовался самъ собою и обязательно долженъ существовать у всѣхъ народовъ. Если бы этотъ фондъ въ 16 (или 3—4) сюжетовъ дѣйствительно покрывалъ собою все содержаніе нашихъ сказокъ, тогда, конечно, мы приблизились бы къ рѣшенію; но бѣда заключается въ томъ, что эти 16 сюжетовъ являются каплей въ морѣ между сотнями и тысячами тѣхъ сюжетовъ, которые не поддаются такому объединенію, если мы не хотимъ повторить ошибку миѳологовъ, чисто-логически, отвлеченно построившихъ свою миѳологическую формулу, свое миѳологическое «предложеніе» и т. д.; есть много сюжетовъ, намъ уже извѣстныхъ, которые не могутъ быть признаны лишь простой комбинаціей того или иного числа этихъ міровыхъ мотивовъ.

Ясное дѣло, что то наблюденіе, которое было сдѣлано, и которое представляется, какъ-будто, съ перваго взгляда, до извѣстной степени общимъ, не даетъ еще права утверждать, что мы имѣемъ уже удовлетворительное объясненіе для происхожденія сказки, какъ таковой. Поэтому, не останавливаясь на полученныхъ выводахъ, научное народовѣдѣніе продолжаетъ разысканія, считая собранный матеріалъ все еще недостаточнымъ для общаго построенія; такимъ образомъ наука опять обращается къ собиранію матеріала и къ обработкѣ этого матеріала въ интересахъ будущихъ обобщеній; а каковы будутъ эти обобщенія, и когда мы ихъ будемъ въ состояніи сдѣлать,—не извѣстно. Очень типичнымъ представителемъ этого рода направленія является, какъ, разъ, современная западно-европейская школа, изучающая сказку. Эта школа имѣетъ отчасти своихъ представителей у насъ, среди русскихъ ученыхъ. Эта школа пока оставляетъ въ сторонѣ всякіе общіе выводы, считая ихъ преждевременными, она только стремится при помощи осторожной аналогіи дѣлать сопоставленія, группировать матеріалъ. А этотъ матеріалъ международной сказки такъ громаденъ, что самая его группировка представляется большимъ трудомъ, непосильнымъ часто для одного человѣка; поэтому за эту группировку берутся или люди, цѣликомъ посвящающіе этому дѣлу свои силы и время, или ассоціаціи и группы, объединенныя одной, именно, такой задачей. Это въ большинствѣ случаевъ люди и общества, ставящія себѣ цѣлью широкое изученіе культуры массъ—фольклоръ. Такъ, шведскій ученый Antti Aarne пробовалъ сгруппировать сказки, собранныя со всѣхъ концовъ міра по одинаковой заранѣе установленной имъ схемѣ общихъ сюжетовъ. Какой будетъ результатъ изученія матеріала, собраннаго Антти Аарне, сказать трудно: дѣло еще далеко до окончанія. Прежде всего, возбуждаетъ нѣкоторую неувѣренность та группировка, подъ которую желаетъ подвести сказку Аарне: она является по схемѣ близкой къ тѣмъ же самымъ сказочнымъ міровымъ мотивамъ; стало быть, получается нѣкоторымъ образомъ логическій кругъ. Дальнѣйшія обобщенія этой группы дѣлаются путемъ непосредственнаго изученія сказки, путемъ логической отвлеченной обработки того матеріала, который извлеченъ изъ сказки; стало быть, индивидуальный принципъ вводится въ самую схему, а это даетъ далеко не точную, научную основу. Дѣйствительно, то дѣленіе сказки—на сказки бытовыя, на сказки животныхъ, которое предлагаетъ Анти Аарне, принято далеко не всѣми. Поэтому противъ схемы Антти Аарне выставленъ цѣлый рядъ другихъ схемъ, преимущественно нѣмецкими учеными. Представители этой фольклористической школы въ Германіи въ послѣднее время подходятъ къ новому построенію схемы сказочныхъ сюжетовъ, которая отличается тѣмъ,

что въ ней построенія собственно никакого нѣтъ: самое отрицаніе построенія они ставятъ въ основу своихъ построеній. Недавно появился одинъ изъ замѣчательныхъ трудовъ въ этомъ направленіи: это, именно, трудъ двухъ ученыхъ—большого знатока славянской сказки и знатока міровыхъ сказокъ, преимущественно, западно-европейскихъ—пражскаго профессора Ю. И. Поливки и проф. берлинскаго университета І. Больте. Они задались цѣлью дать научный комментарій къ сказкамъ, собраннымъ въ началѣ XIX ст. братьями Гриммами, и первый томъ этого труда вышелъ (1913) [1]. Онъ представляетъ собою довольно яркое выраженіе новѣйшаго метода въ изученіи сказки. Больте и Поливка пріурочили свою систему къ опредѣленному собранію сказокъ извѣстныхъ собирателей братьевъ Гриммовъ, т.-е., взяли въ основу внѣшній принципъ—подборъ сказокъ, которыя были въ первомъ и второмъ изданіи сказокъ Гриммовъ. Братья Гриммы, какъ извѣстно, составили сборникъ германскихъ сказокъ (Deutsche Kinder-und Haus-Märchen) по стариннымъ записямъ, по современнымъ имъ, по пересказамъ устнымъ, частью ими самими сдѣланнымъ, числомъ 100; эти сказки и были напечатаны въ 1813 г. Тѣми же братьями Гриммами, главнымъ образомъ Яковомъ, были даны комментаріи, которые заключались въ томъ, что Гриммы, какъ представители миѳологической теоріи, постарались подыскать у родственныхъ народовъ параллели къ своимъ сказочнымъ сюжетамъ; параллели нужны были имъ, прежде всего, для доказательства родства сказочныхъ сюжетовъ у индо-европейскихъ народовъ и сопоставленія этого индо-европейскаго сюжета съ сюжетомъ нѣмецкой сказки, т.-е., въ концѣ-концовъ они имѣли цѣлью указать на глубокую древность существованія того или другого сказочнаго сюжета у нѣмецкаго народа, сохраненнаго имъ на пространствѣ вѣковъ. Эту внѣшнюю схему взяли и Больте съ Поливкой цѣликомъ, измѣнивъ ее механически: подъ каждую изъ 100 гриммовскихъ сказокъ они подбираютъ параллели, которыя собраны со всѣхъ странъ свѣта. Въ результатѣ у насъ получается извѣстное сопоставленіе, подборъ, нанизываніе подъ одной рубрикой, напр., сказокъ о царевнѣ Лягушкѣ, которую мы видимъ у русскихъ, нѣмцевъ, французовъ, славянъ, новозеландцевъ, американцевъ, африканцевъ и др. Какой выводъ изъ этого сдѣлать можно, сказать пока трудно. Единственный выводъ, который болѣе или менѣе ясенъ для изслѣдователей сказокъ этого направленія, это—то, что по этимъ сопоставленіямъ мы будемъ имѣть возможность судить о степени распространенія того или другого сказочнаго сюжета въ томъ или другомъ мѣстѣ земного

---

[1]) Полныя заглавія труда А. Аарне и труда Ю. Поливки и І. Больте см. въ указателѣ литературы въ концѣ книги; тамъ же и остальная литература о сказкѣ.

шара. Эти наблюденія цѣнны тѣмъ, что мѣсто нахожденія сказки отмѣчено точно. Слѣдующій шагъ приходится сдѣлать съ цѣлью объяснить, откуда это сходство, и чѣмъ объяснить это сходство. Тутъ мы опять попадаемъ въ ту же область гаданій, въ которой блуждаютъ до сихъ поръ представители антрополого-психологической теоріи. Такимъ образомъ, даже новѣйшій трудъ, который я отмѣтилъ, какъ одно изъ послѣднихъ, несомнѣнно, крупныхъ методологическихъ явленій въ области науки, не даетъ возможности рѣшить общій вопросъ о происхожденіи сказки. Тѣмъ не менѣе, изучая сказку отдѣльныхъ народовъ, мы въ значительной степени можемъ стоять на научной точкѣ зрѣнія, именно, благодаря такой группировкѣ матеріала. Мы можемъ себѣ поставить задачей изученіе сказки у отдѣльной народности (въ данномъ случаѣ русской сказки), изученіе отдѣльныхъ сказочныхъ сюжетовъ, обратившись къ русской жизни, къ устной литературѣ, и съ этой точки зрѣнія мы можемъ получить болѣе точные исторически-литературные факты для русской народной словесности, которые отвѣтятъ намъ на основной вопросъ, откуда и какимъ образомъ произошла т а и л и и н а я русская сказка. Но при этомъ мы почти оставимъ въ сторонѣ почву международную, сосредоточивъ вниманіе на почвѣ русской, и, останавливаясь всякій разъ тамъ, гдѣ кончается исторія русской сказки, какъ русской, мы можемъ констатировать принадлежность того или иного сюжета этой сказки къ сюжетамъ международнымъ или даже міровымъ; но опредѣлять роль и значеніе этого сюжета въ международной исторіи его или міровой пока воздержимся. Мы желаемъ сначала прослѣдить эту исторію въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ позволяютъ наши точныя историческія данныя. Въ этихъ границахъ въ значительной степени и вращается современное изученіе сказки и сказочныхъ сюжетовъ отдѣльныхъ національностей. Такого рода изученіе сказки— отдѣльной народности—конечно, противорѣчить не будетъ задачамъ фольклористовъ, изучающихъ (или желающихъ изучать) міровую сказку: изученіе исторіи сказки опредѣленной народности есть только частичное изученіе исторіи той же міровой сказки, подготовляющее матеріалъ для этой исторіи. Кромѣ того, самые методы изученія сказки отдѣльной народности въ сущности остаются тѣми же, что и при изученіи международной, да и наблюденія, сдѣланныя надъ этой послѣдней, естественно, привлекаются и при изученіи частномъ, но лишь въ качествѣ подсобнаго матеріала для ближайшей нашей задачи.

Русская сказка. Конечно, обозрѣть весь репертуаръ сказочной литературы, которая извѣстна въ русской наукѣ, нѣтъ возможности. При всемъ томъ, нужно сказать, что, если мы можемъ констатировать, что сказка является общераспространенной на всей тер-

риторіи русскаго племени, одного этого констатированія недостаточно для знакомства съ исторіей русской сказки. Мы должны познакомиться съ содержаніемъ сказочной русской литературы, но и въ этомъ направленіи у насъ матеріалъ далеко не исчерпанъ и еще менѣе изученъ. Это видно изъ постояннаго появленія отдѣльныхъ собраній сказокъ [1]), работа въ этомъ направленіи продолжается энергично до сихъ поръ. Во всякомъ случаѣ, и тотъ матеріалъ, который до сихъ поръ собранъ, дастъ намъ возможность найти, по крайней мѣрѣ, отдѣльные моменты въ исторіи русской сказки. Первый и самый важный изъ этихъ моментовъ, касается характера нашей сказочной литературы, т.-е., сюжетовъ русской сказки. Главные сказочные сюжеты и выводы по отношенію къ нимъ представляется уже теперь возможнымъ включить въ общій курсъ по исторіи русской устной словесности.

Но прежде, чѣмъ перейти къ ознакомленію съ главнѣйшими русскими сказочными сюжетами, будетъ полезно нѣсколько ознакомиться съ самымъ матеріаломъ, отчасти исторіей его накопленія, состояніемъ сказки въ современной и прошлой нашей жизни: этотъ, хотя бы и краткій обзоръ данныхъ касательно нашей сказки уяснитъ кое-что и въ исторіи самой русской сказки и отдѣльныхъ ея сюжетовъ [2]).

Сказка у насъ давно примѣнялась, какъ матеріалъ для уясненія другихъ видовъ народной литературы, народной поэзіи. Это мы видѣли на тѣхъ примѣрахъ, которые мы разбирали по отношенію къ былинѣ. Теперь у насъ начинается болѣе серьезное, болѣе непосредственное отношеніе къ сказкѣ, за то уже не преслѣдующее такихъ широкихъ цѣлей, какъ это было у миѳологовъ: у насъ изучается теперь исторія сказки преимущественно за историческое время ея жизни. Новѣйшіе изслѣдователи стараются въ памятникахъ литературы, письменности, въ старыхъ записяхъ разыскивать слѣды той народной сказки, которая появилась задолго передъ тѣмъ, какъ она стала предметомъ вниманія изслѣдователей. Этимъ и объясняются тѣ страницы исторіи литературы, которыя посвящены источникамъ, напримѣръ, нашихъ лѣтописей. Въ лѣтописи, несомнѣнно, есть отзвуки, занесенные на ея страницы въ видѣ квази-историческихъ фактовъ, сказочныхъ сюжетовъ, каковы, напримѣръ, разсказы о княгинѣ Ольгѣ, о Бабьемъ городкѣ; эти сюжеты оказываются иногда международными; таковъ разсказъ о Бабьемъ город-

---

[1]) Перечень крупнѣйшихъ собраній см. въ концѣ книги.

[2]) Для болѣе обстоятельнаго ознакомленія съ исторіей собиранія и изученія русской сказки существуетъ монографія С. В. Савченка „Русская народная сказка“ (Кіевъ, 1914 г.). Для русской и иноземной научной лит. о сказкѣ можно указать Antti Aarne, Uebersicht der Märchenlitteratur (F. F. Communications, № 14. Hamina. 1914).

кѣ: онъ встрѣчается также на островахъ Эгейскаго моря и у другихъ народовъ. Вотъ краткое его содержаніе: всѣ мужчины ушли на войну, остались одни бабы и рабы; бабы захватили власть и взяли въ качествѣ мужей рабовъ, и когда настоящіе мужья вернулись съ войны, то эти временные мужья и ихъ потомство не хотѣли пускать ихъ въ городъ. Долго не могли путемъ оружія совладать съ этими рабами и рабьими дѣтьми, захватившими власть. Пришла тогда мысль показать этимъ рабамъ кнутъ. Какъ только увидали рабы кнутъ, они испугались, побросали свое оружіе, и, такимъ образомъ, бабье царство съ рабами во главѣ было уничтожено: рабья порода сказалась. Этотъ сюжетъ занесенъ въ нашу лѣтопись XI—XII в. уже въ качествѣ преданія. Такимъ образомъ, изслѣдователи получили сюжетъ сказки, который былъ извѣстенъ на Руси уже въ столь отдаленное время. Такимъ же приблизительно способомъ разыскиваются сказочные сюжеты, застрявшіе въ другихъ памятникахъ письменности въ видѣ отзвуковъ. Изъ такихъ же сказокъ съ международнымъ сюжетомъ попала въ число квази-историческихъ свѣдѣній подъ 997 г. извѣстная сказка о Бѣлогородскомъ киселѣ; сюда же относится сказаніе объ Усмошевцѣ, поборовшемъ печенѣжскаго богатыря—также въ лѣтописи. Параллели послѣдней сказкѣ нашлись въ устныхъ русскихъ сказкахъ (о Никитѣ или Кириллѣ Кожемякѣ), въ кавказскихъ и бессарабскихъ сказкахъ.

Старинныя извѣстія о бахаряхъ, идущія вплоть до второй половины XVII в., указы и запрещенія противъ разсказывающихъ и слушающихъ сказки, разсѣянныя въ старой письменности [1]), ясно говорятъ за то, что во весь древній періодъ нашей исторіи сказка пользовалась популярностью не только среди простого народа, но и среди князей, бояръ и даже въ царскихъ палатахъ, видимо, служа тѣмъ же цѣлямъ, что позднѣе фантастическая повѣсть, переводная или подражательная, эпохи XVIII ст., печатная или въ наше время романъ—для развлеченія. Затѣмъ, если обратимся къ болѣе поздней литературѣ—къ литературѣ XVIII вѣка, когда у насъ впервые появился интересъ къ народной литературѣ, хотя не научный, а скорѣе патріотическій, какъ выраженіе нашего самосознанія, то увидимъ, что писателямъ первой половины XVIII в. сказки народныя, сказочные сюжеты были мало доступны и мало говорили ихъ воображенію, увлеченному водвореніемъ началъ и содержанія западной литературы. Во второй же половинѣ XVIII в., когда начинается увлеченіе народнымъ и стариной, появляется первое собраніе народныхъ сказокъ, хотя и не

---

[1]) Рядъ такихъ указаній собранъ въ статьѣ о сказкѣ М. Е. Халанскаго (Ист. рус. лит. подъ ред. Аничкова, Бороздина и О.-Куликовскаго, I, гл. 6, стр. 141—172).

въ подлинныхъ ихъ текстахъ, а съ произвольными измѣненіями редактора; таковы русскія народныя сказки, собранныя М. Д. Чулковымъ въ 80-хъ гг. [1]). Къ этого рода матеріалу и обращаются современные изслѣдователи сказки съ критическими пріемами, стараются изъ текста произведеній XVIII в. угадать, чѣмъ была народная сказка въ этомъ столѣтіи, какіе сюжеты были въ этихъ народныхъ сказкахъ въ ходу. Наконецъ, въ новое время группа изслѣдователей занимается уже приведеніемъ въ порядокъ, изученіемъ и матеріала, научно собираемаго, который появился въ нашей литературѣ подъ вліяніемъ идей народничества въ началѣ 40-хъ и въ особенности въ 60—70-хъ гг. XIX ст.: сборники Аѳанасьева, Худякова, Рудченка, Бѣлорусскій Романова, Смоленскій Добровольскаго и многіе другіе теперь служатъ предметомъ обработки нашихъ изслѣдователей сказки. Они стараются по принципу или Гримма, или Антти Аарне такъ или иначе группировать русскія сказки съ тѣмъ, чтобы выяснить, какъ при настоящихъ средствахъ можно себѣ представить отношеніе русской сказки со стороны богатства и распространенія сюжетовъ въ сказкѣ міровой. Результатомъ этой работы надъ русскимъ сказочнымъ матеріаломъ является наше современное научное представленіе о сказкѣ, представленіе далеко не полное и въ частностяхъ дающее поводъ къ спорамъ.

Форма сказки. Прежде всего попробуемъ подойти къ сказкѣ съ той же стороны, съ которой мы подходили къ былинѣ, т.-е., съ внѣшней ея стороны; для наглядности возьмемъ сказку и былину сравнительно. Былина съ внѣшней стороны представляетъ форму болѣе ясную: содержаніе ея заключено въ опредѣленную ритмическую форму, которая, въ свою очередь, вліяетъ косвенно на содержаніе и дѣлаетъ содержаніе это болѣе устойчивымъ и сохраннымъ (разумѣется, относительно); сказка, какъ разсказъ прозаическій, не будетъ обладать въ такой степени законченной формой, поэтому не будетъ и такъ устойчива въ текстѣ. Отсюда выясняется, что сказка по своему изложенію, по своей формѣ, будетъ болѣе близка къ живой рѣчи, нежели стихотворная ритмическая былина; но отсюда не будетъ слѣдовать, что сказка по формѣ вполнѣ совпадаетъ съ нашей обычной рѣчью. Ближайшее изученіе сказки со стороны формы, по крайней мѣрѣ по тому матеріалу, которымъ мы располагаемъ (по записямъ, которыя наиболѣе точно воспроизводятъ сказку въ томъ видѣ, какъ она разсказывается), приводитъ къ заключенію, что, если сказка, дѣйстви-

---

[1]) Вотъ полное заглавіе этого перваго по времени изданія русскихъ сказокъ: „Русскія сказки, содержащія повѣствованія о славныхъ богатыряхъ, сказки народныя и прочія, оставшіяся черезъ пересказываніе въ памяти приключенія“ (Москва, 1780—1783 гг.), 10 частей. Сюда вошли въ пересказѣ и нѣкоторые былинные тексты.

тельно, не обладаетъ такой законченной, строго опредѣленной формой, какъ былина, пѣсня, то всеже у нея есть своя привычная форма, какъ въ построенiи разсказа, такъ и въ его изложенiи. Форма эта имѣетъ, въ сущности то же самое эстетическое и стилистическое назначенiе въ глазахъ сказателя и слушателя, что и стихотворная форма былины или пѣсни. Если мы возьмемъ сказку въ хорошей записи изъ мѣстности, которая не подвергалась сильному влiянiю книги и школы, то мы увидимъ, что въ большинствѣ случаевъ въ сказкѣ есть довольно опредѣленное типичное начало и довольно типичный конецъ: «Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ», или: «Много лѣтъ тому назадъ»; есть и другое начало: «Это было тамъ, гдѣ насъ нѣтъ», «Это было тогда, когда насъ не было», «Жилъ-былъ». Тутъ мы видимъ нѣчто аналогичное «зачину» былины. Сказка заканчивается, въ большинствѣ случаевъ, также типичными словами: если сказка кончается разсказомъ о свадьбѣ, то говорится: «И я тамъ былъ, пиво, медъ пилъ», и т. д.; если сказка иного содержанiя, кончается она словами: «И стали они жить да поживать, да добра наживать». Это окончанiе можетъ быть сопоставлено съ «исходомъ» былины. Уже наблюденiе надъ началомъ и и концомъ сказки заставляетъ насъ предполагать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ простой прозаической разговорной рѣчью, а съ искусственнымъ стилистическимъ прiемомъ по характеру приблизительно тѣмъ же самымъ, что мы имѣемъ въ былинѣ; только въ былинѣ это будетъ болѣе устойчиво, болѣе рѣзко, болѣе опредѣленно выражено. Въ сказкѣ «зачинъ» и «исходъ» примѣняются далеко не такъ строго, потому что самая форма сказки далеко не такъ строга, какъ форма былины. Присматриваясь къ тѣмъ сказкамъ, которыя собиратели называютъ хорошими сказками, т.-е., хорошо сохранившими свою традицiонную форму, въ передачѣ лицъ, которые мастера разсказывать сказки, мы видимъ и нѣчто другое: увидимъ еще нѣкоторую аналогiю съ былиной, отчасти тѣ же самыя изобразительныя средства, о которыхъ мнѣ приходилось говорить, какъ объ одной изъ особенностей процесса творчества въ былинѣ. Опять-таки это—репертуаръ «изобразительныхъ» средствъ, главнымъ образомъ, «украшающихъ эпитетовъ», въ родѣ: красная дѣвица, добрый молодецъ, борзый конь, ясное солнышко, вѣтеръ буйный и др.; они будутъ и въ сказкѣ, только не такъ богаты, не такъ фиксированы, не такъ детально разработаны, какъ въ былинѣ. Обычнымъ прiемомъ изложенiя въ сказкѣ является также повторенiе одного мотива (чаще всего три раза) съ послѣдовательной градацiей въ подробностяхъ, напр.: если въ первый разъ герой получилъ блестящее перо, то вторичнымъ моментомъ сказки служитъ разсказъ отысканiя птицы, потерявшей перо, третiй — овладѣнiе красавицей, облада-

тельницей жаръ-птицы; если молодецъ бьется со змѣемъ, то первый разъ этотъ змій—одноглавый, второй разъ—трехглавый, третій—уже съ девятью головами, и т. д. Въ иныхъ случаяхъ, сказка любитъ разнообразить содержаніе, вставляя пѣсню или переходя ритмическую пѣвучую прозу (сказка объ одноглазкѣ, двуглазкѣ и трехглазкѣ). Любитъ сказка и «созвучія» и аллитерацію: «былъ себѣ человѣкъ Яшка, на немъ сѣрая сермяжка, на затылкѣ пряжка», «носъ крючкомъ, бородка клочкомъ, носъ въ потолокъ вросъ» и т. д. [1]). Ясно, что мы имѣемъ здѣсь передъ собою какую-то традицію, приблизительно такую же поэтику, какъ это мы могли констатировать для былины. Подойдя къ сказкѣ съ ея формальной стороны, мы уясняемъ еще одну ея важную сторону, въ данномъ случаѣ для ея исторіи, именно отношеніе ея къ былинѣ. Представляясь болѣе простымъ видомъ творчества, менѣе сложнымъ и потому не требующимъ такого искусства со стороны слагателя или разсказчика, сказка стоитъ въ такомъ отношеніи къ былинѣ: мы часто видимъ, какъ былина переходитъ въ сказку, забывается ритмическая форма ея, и былина, какъ говорятъ, «разлагается» (это то, что называется «побывальщиной»). Обратные случаи переработки сказки въ былину будутъ рѣдки: сказочные сюжеты чаще переходятъ въ былину лишь въ качествѣ матеріала для ея деталей. Громадное большинство сказокъ, представляетъ пересказъ о какомъ-либо событіи, бытовомъ наблюденіи или разсказъ о какомъ-либо фантастическомъ сюжетѣ; отдѣльные мотивы, часто сюжеты, въ большинствѣ сказокъ причудливо между собою соединены; въ этомъ сочетаніи заключается главная привлекательность сказки для слушателей; поэтому интересъ содержанія во много разъ превышаетъ вниманіе къ формѣ; поэтому же разсказчикъ сосредоточиваетъ на немъ свое вниманіе, менѣе удѣляя его формѣ. Этимъ объясняется, почему стройная форма и правильное пользованіе ею въ сказкахъ часто, и даже очень часто, отсутствуютъ, во всякомъ случаѣ чаще, чѣмъ нарушеніе формы въ былинѣ. Если сказка въ тѣхъ записяхъ извѣстной группы, гдѣ есть эта довольно устойчивая форма, на которую мы сейчасъ указали, является чѣмъ-то стройнымъ, проникнутымъ опредѣленнымъ планомъ, обладаетъ стилемъ, тогда мы въ правѣ и по отношенію къ сказкѣ строить дальнѣйшія предположенія, ставя вопросъ: откуда эта искусственная, необычная форма, выполненіе ряда правилъ сказочной поэтики? Это ведетъ насъ къ вопросу о носителяхъ и отчасти, можетъ быть, о создателяхъ, слагателяхъ сказки. Въ этомъ случаѣ мы можемъ наблюдать до извѣстной степени аналогію между цѣлымъ рядомъ народно-устныхъ произведеній и сказкой.

---

[1]) Примѣры взяты изъ упомянутой выше статьи М. Е. Х. (143—144).

Носители сказки. Что касается того, кто въ прежнее время передавалъ сказку, въ этомъ случаѣ опять-таки приходится въ значительной степени, какъ по отношенію былины, ограничиться болѣе или менѣе вѣроятными предположеніями. Памятники старой письменности въ этомъ отношеніи даютъ намъ нѣкоторыя указанія, и они до извѣстной степени будутъ аналогичны тѣмъ, которыя мы получили по отношенію къ былинѣ: повидимому, въ древности такъ же, какъ по отношенію къ пѣснѣ, были спеціалисты и по части сказки, т.-е. люди, которые спеціально культивировали сказку и, можетъ быть, до извѣстной степени были профессіоналами въ этомъ направленіи. Такъ, мной уже раньше (см. стр. 126) приводились указанія на существованіе въ довольно отдаленное время (не позднѣе XII в.) «бахарей», вѣроятно, спеціалистовъ по части сказки. Эти свѣдѣнія о такихъ сказочникахъ-спеціалистахъ проходятъ черезъ всю древнюю нашу литературу и въ тѣ документы, которыми характеризуется наша сказка. Отдѣльныя артели сказочниковъ были, напримѣръ, при дворѣ Ивана Грознаго, у царя Алексѣя Михайловича; когда на этого послѣдняго находило особенно религіозное настроеніе, когда ему показалось, что онъ черезъ мѣру увлекся западными новшествами, свѣтской жизнью, Алексѣй Михайловичъ, подъ вліяніемъ консервативнаго духовенства, хочетъ привести въ порядокъ свой потѣшный дворъ; начинается это съ того, что разгоняютъ всѣхъ потѣшниковъ, которые до сихъ поръ кормились около двора. Въ числѣ этихъ забавниковъ, которыхъ приходилось удалять за штатъ, мы видимъ спеціалистовъ «бахарей», т.-е., опять тѣхъ же лицъ, которые спеціально занимаются сказочнымъ дѣломъ: терминъ «бахарь» (отъ слова «баяти»—сказывать) не примѣняется ни къ пѣвцамъ, ни къ музыкантамъ, а только къ разсказчикамъ, сказочникамъ. Что классъ такихъ людей существовалъ, показываетъ и та традиція, которая сохранилась до болѣе поздняго времени. Если мы вспомнимъ описанія помѣщичьяго быта въ XVIII—XIX вв. (хотя бы по изображенію у нашихъ романистовъ), то встрѣтимъ дворянскую помѣщичью среду, живущую до извѣстной степени еще старинной жизнью, сохранившую многое изъ стараго по инерціи: здѣсь сказочники играютъ довольно видную роль въ частномъ быту. Можно напомнить и то, что съ представленіемъ о нянѣ всегда связывается мастерица разсказывать сказки. Это показываетъ, что передъ нами есть какая-то традиція спеціалистовъ по части сказокъ, профессіоналовъ, что̀ вполнѣ возможно при тѣхъ условіяхъ, о которыхъ говорилось только что. Разъ дѣло со сказкой обстоитъ такъ, тогда становится до извѣстной степени понятной и та искусственная форма, которой отличаются опредѣленныя группы сказокъ. Про-

фессіоналъ—человѣкъ специализировавшійся, заинтересованный тѣмъ, чтобы хорошо передать сказку—излагаетъ ее въ той формѣ, которая представляется болѣе художественной и болѣе интересной для его слушателя; говоря иначе: тѣ сказки, которыя имѣютъ болѣе или менѣе развитой зачинъ и исходъ, которыя являются болѣе или менѣе устойчивыми въ смыслѣ изобразительныхъ средствъ, вѣроятно, должны считаться, если не по происхожденію, то по сохраненію принадлежностью специалистовъ или просто мастеровъ-любителей по части сказки [1]).

Въ числѣ современныхъ носителей сказки мы видимъ еще отдѣльную группу лицъ: это—дѣти. Нѣкоторые изслѣдователи признаютъ даже отдѣльный видъ сказки, ими называемой дѣтской. Что сказки занимаютъ дѣтей, что дѣти особенно любятъ сказки, преимущественно фантастическія, замысловатыя, конечно, не нуждается въ объясненіи, и поэтому естественно, что та сказка, которая переходитъ къ дѣтямъ отъ старшихъ, въ концѣ-концовъ можетъ становиться удѣломъ людей, стоящихъ на той ступени міросозерцанія, которое мы называемъ міросозерцаніемъ дѣтскимъ; пока человѣкъ находится въ дѣтскомъ возрастѣ, онъ слабо реагируетъ на окружающую дѣйствительность, его непосредственно интересуетъ только фабула; до тѣхъ поръ онъ является носителемъ сказки; придя въ совершенный возрастъ, онъ опредѣляетъ иначе свое отношеніе къ окружающему, и сказка для него или утрачиваетъ значеніе, или получаетъ иной смыслъ—чистой фантазіи (сказка-складка) или прямо художественнаго произведенія и т. д.. Дѣтская сказка какъ будто отдѣльной стилистической формой не отличается, наоборотъ, она отличается отсутствіемъ формы; а если эта форма и есть, то она бываетъ часто плохо прилажена къ самому содержанію сказки. До сихъ же поръ масса сказокъ разсказывается людьми взрослыми, людьми старыми, и сказка во многихъ мѣстахъ имѣетъ большее значеніе въ смыслѣ развлеченія, занимая центральное положеніе среди другихъ видовъ поэзіи. Въ такомъ случаѣ она можетъ быть совершенно уподоблена разсказу объ интересномъ событіи, разсказу художественному, является параллелью тому пріему, который для этихъ же цѣлей существуетъ въ болѣе культурномъ классѣ—чтенію книгъ. Среди безграмотныхъ людей или при отсутствіи книгъ, сказка, несомнѣнно, является такимъ ходячимъ видомъ литературы, за которымъ коротаютъ свое время, развлекаются люди взрослые, т.-е. тѣ, для которыхъ поэтическій вымыселъ не утратилъ своего значенія. Этимъ и

---

[1]) Допуская такую роль специалистовъ по отношенію къ сказкѣ, мы должны допустить и вліяніе ихъ на содержаніе самой сказки (ср. о былинѣ, выше). Ср. Н. Л. Бродскаго, „Слѣды профессіональныхъ сказочниковъ въ русскихъ сказкахъ“—Этногр. Обозр., 1914 г. № 2.

объясняется, почему разсказчиками сказокъ являются люди чрезвычайно разнообразнаго положенія, разнообразнаго возраста. Люди, которые умѣютъ разсказывать сказки хорошо, не принадлежатъ къ тѣмъ профессіоналамъ, о которыхъ говорилось выше, такъ что и между непрофессіоналами путемъ добровольнаго отбора получается своеобразный кругъ сказочниковъ. Напримѣръ, на сѣверѣ, гдѣ грамотность до сихъ поръ сравнительно слабо развита, сказка вмѣстѣ съ былиной, какъ художественныя произведенія, играютъ извѣстную роль въ бытѣ народа; но сочетаніе въ одномъ лицѣ любителя сказокъ и любителя былинъ встрѣчается довольно рѣдко. Ясное дѣло, что въ сознаніи сказка и былина до извѣстной степени разграничивается по степени своей цѣнности въ глазахъ населенія, и только тогда, когда былина перестаетъ удовлетворять, какъ пѣсня, либо становится не подъ силу своей формой, она превращается, разлагается въ сказку съ былиннымъ сюжетомъ. Несомнѣнно, съ другой стороны, что при теперешнемъ положеніи сказки, интересъ къ фантастической сказкѣ, какъ таковой, въ значительной степени стирается; разница между сказкой и интереснымъ забавнымъ разсказомъ постепенно сглаживается. Новѣйшіе собиратели сказокъ даже на сѣверѣ, гдѣ старинные виды народной поэзіи представляются болѣе сохранившимися, и тамъ замѣчаютъ нѣкоторую нивеллировку. Если мы возьмемъ одинъ изъ болѣе полныхъ сборниковъ сказокъ, записанныхъ въ недавнее время, именно; «Сѣверныя сказки» Ончукова, то мы увидимъ это довольно отчетливо: одинъ и тотъ же разсказчикъ, одна и та же разсказчица (сказки все-таки являются дѣломъ чаще женскимъ, потому что женщина гораздо болѣе консервативна въ своихъ привычкахъ и больше проводитъ времени дома въ обстановкѣ болѣе удобной для разсказыванія, напр., во время пряжи, тканья) съ одинаковымъ интересомъ разсказываютъ «дѣтскія» и фантастическія старинныя сказки и новѣйшій, ходячій, привезенный изъ Питера анекдотъ, иногда просто какой-нибудь скандальный, полуприличный случай, происшедшій сравнительно недавно въ томъ же селѣ. Самое отношеніе къ сказкѣ, какъ къ продукту художественной фантазіи, въ значительной степени выдыхается, значительно утратилось ея значеніе, какъ фантазіи художественной, предназначенной для удовлетворенія эстетическихъ потребностей человѣка. Этимъ и объясняется, почему все чаще и чаще среди теперешнихъ собирателей сказокъ, мы видимъ записанными сказки, можетъ быть, и стараго характера, рядомъ съ ходячими анекдотами, и самый характеръ сказки значительно измѣняется въ устахъ современнаго сказочника. Здѣсь часто играетъ роль з а б а в н о с т ь вымысла, отсутствіе серьезнаго отношенія къ самому разсказу. Въ связи съ этимъ порнографическіе разска-

зы представляются явленіемъ въ современной сказкѣ довольно распространеннымъ. Причины этого лежатъ въ общихъ вѣяніяхъ современной культуры, развращающемъ дѣйствіи города, обмѣнѣ населенія, солдатчинѣ и т. д.

Такимъ образомъ изъ знакомства нашего съ носителями русской сказки въ связи съ ея характеромъ выясняется и тѣсная связь между бытомъ и условіями существованія самой сказки и ея содержанія. Измѣненія, происходящія въ стилистическомъ строѣ сказки, находятся въ прямой зависимости отъ тѣхъ условій, при которыхъ должна жить эта сказка; поэтому-то сказкой на сѣверѣ дорожатъ больше, чѣмъ въ центральныхъ губерніяхъ, въ деревняхъ больше, чѣмъ въ городѣ. Чѣмъ культурнѣе населеніе, тѣмъ больше оно отрывается отъ стариннаго поэтическаго вымысла, замѣняя его вымысломъ иного характера, взятымъ часто изъ книги. Въ центральныхъ районахъ, въ родѣ московскаго, въ большихъ промышленныхъ центрахъ Владимирской и Нижегородской губерніяхъ, сказка въ значительной степени представляетъ видъ литературы, несомнѣнно, клонящійся къ упадку. Въ Московской губ. хорошаго сказочника со стариннымъ репертуаромъ уже не найти, сказочницы еще есть, но ихъ очень немного. Сказки центральныхъ губерній далеко не отличаются въ большинствѣ случаевъ строгостью композиціи; онѣ, какъ мало интересныя для массы слушателей, частью грамотныхъ, частью полуграмотныхъ, теряютъ свой непосредственный интересъ и для самого разсказывающаго, и сказка является такимъ образомъ на нѣкоторое время удѣломъ ребятъ, какъ наиболѣе доступная ихъ пониманію; но эта сказка забывается, выходитъ изъ употребленія, какъ только начинаетъ ребенокъ ходить въ школу, и какъ только его міросозерцаніе подъ ея вліяніемъ начинаетъ измѣняться въ сторону книжной, популярной литературы, даваемой въ обиліи школой. Сказка, повидимому, переживаетъ ту же стадію въ своей жизни, что и остальная чисто-народная литература.

Содержаніе сказки. При такихъ сравнительно мало благопріятныхъ условіяхъ, сказка не защищена устойчивой формой, подобно пѣснѣ, а потому и подвержена большимъ измѣненіямъ въ зависимости отъ этихъ условій; поэтому и самый сказочный матеріалъ долженъ быть признанъ въ особенности неустойчивымъ въ смыслѣ сохранности въ немъ старыхъ традицій или, по крайней мѣрѣ, болѣе старыхъ элементовъ. Вотъ теперешнее положеніе сказки. О чемъ же она говоритъ? До сихъ поръ, несмотря на то положеніе, въ которомъ находится сказка, она представляетъ громадное количество сюжетовъ въ своемъ содержаніи. Подразумѣвая подъ сюжетомъ отдѣльный разсказъ, состоящій изъ точно опредѣленныхъ мотивовъ, которые встрѣчаются въ различныхъ комбинаціяхъ въ сказкѣ и составляютъ такимъ образомъ ея содержаніе, мы

поймемъ, что теорія соединенія по отношенію отдѣльныхъ сказочныхъ мотивовъ въ различныхъ комбинаціяхъ должна давать громадное количество сказокъ. Это соединеніе мотивовъ, вмѣстѣ съ типическими мѣстами стилистическихъ условностей, въ значительной степени можетъ выражать собой и индивидуальность того или другого разсказчика, и традиціонную, историческую сторону сказки. Если мы видимъ въ былинѣ вліяніе личности пѣвца, его вкуса, его талантливости, его умѣнія использовать традиціонный матеріалъ, связать нѣсколько сюжетовъ и создать изъ нихъ нѣчто цѣлое, то еще большую свободу въ этомъ отношеніи представляетъ сказка. Поэтому научное ознакомленіе со сказкой, пожалуй, всего лучше можетъ быть сдѣлано въ томъ случаѣ, если мы будемъ знакомиться не съ самой сказкой, какъ съ законченнымъ литературно-художественнымъ цѣлымъ, а со сказочными мотивами и сюжетами, и указывать, какіе сказочные сюжеты и мотивы распространены въ русской литературѣ, и какія комбинаціи этихъ сюжетовъ и мотивовъ встрѣчаются въ русской сказкѣ. Такое изученіе сказочныхъ мотивовъ и сюжетовъ представляется единственно возможнымъ и цѣлесообразнымъ, если мы захотимъ выяснить себѣ въ общемъ содержаніе русской сказки. Дѣйствительно, изслѣдователи, въ особенности сосредоточившіе свое вниманіе на изученіи русской сказки, какъ таковой, должны были почти оставить въ сторонѣ международное, міровое значеніе русской сказки, сосредоточивъ ея изслѣдованіе, какъ литературнаго произведенія, около изученія главнымъ образомъ сюжетовъ, которые встрѣчаются въ русской сказкѣ, прибавляя постоянно, что они встрѣчаются тамъ въ различныхъ комбинаціяхъ, и указывая наиболѣе обычныя комбинаціи, въ то же время оцѣнивая и сюжетъ, и мотивъ по ихъ распространенности, ихъ характеру, происхожденію (гдѣ это можно), отношенію къ быту (гдѣ эта связь можетъ быть установлена), наконецъ, уже по отношенію къ міровому и международному сказочному мотиву и сюжету (если есть возможность дать сопоставленіе). Одинъ изъ изслѣдователей русской сказки, покойный профессоръ П. В. Владиміровъ во «Введеніи въ исторію русской словесности» [1]), попробовалъ подвести итогъ русскимъ сказочнымъ сюжетамъ. Онъ попробовалъ перечислить сюжеты, которые пользуются наибольшимъ распространеніемъ въ русской сказкѣ, и которые наиболѣе часто входятъ въ ту или другую комбинацію въ большинствѣ русскихъ сказокъ. Такихъ популярныхъ сюжетовъ П. В. Владимировъ насчи-

[1]) Кіевъ 1896 г.; начало книги см. также Ж. М. Н. П. 1895, I, IV, VI. Ср. также указ. выше статью М. Г. Халанскаго (стр. 146—156), а также А. М. Смирнова, „Систематич. указатель темъ и варіантовъ русскихъ и народныхъ сказокъ“ (Изв. XVI, 1901 г. отд. рус. яз. и слов. А. Н., не окончено).

талъ свыше 40; нѣкоторые изъ нихъ являются, несомнѣнно, весьма распространенными, общими съ другими народами. Такимъ образомъ, путемъ перечня онъ приводитъ насъ къ опредѣленію содержанія нашей сказки въ общемъ. Но помимо этого пути, рядомъ съ нимъ есть и еще средство познакомиться со сказкой: ее можно опредѣлять по характеру сюжетовъ, мотивовъ, по отношенію къ быту и дѣйствительности.

Изслѣдователи сказочныхъ сюжетовъ стремятся на основаніи характера ихъ разбить и самыя сказки на отдѣльныя группы, по признаку главнаго сюжета. Они различаютъ между сюжетами основные, древнѣйшіе народные мотивы, которымъ они приписываютъ происхожденіе отъ древнихъ религіозныхъ вѣрованій и представленій о природѣ, коренящихся въ анимистическомъ міросозерцаніи; такіе мотивы можно назвать миѳическими (откуда сказка-миѳъ), изображающими явленія и дѣйствія олицетворенныхъ силъ природы, свѣтилъ небесныхъ, духовъ стихійныхъ, ихъ отношенія между собой и къ людямъ; теперь эти миѳологическіе мотивы стали мотивами лишь художественно-поэтическими. Второй разрядъ сказочныхъ мотивовъ содержитъ въ видѣ словеснаго переживанія слѣды примитивнаго быта людей (ихъ дикость, жестокость, грубость нравовъ, слѣды человѣческихъ жертвъ, каннибализма, примитивности семейныхъ началъ—матріархатъ, бракъ съ похищеніемъ и т. д.); эти мотивы, можно назвать этнологическими. Третья группа мотивовъ—это такіе, источникомъ которыхъ могли быть личныя переживанія первобытнаго человѣка; сюда относятся, между прочимъ, сновидѣнія, экстатическое состояніе, содержаніе коихъ первобытный человѣкъ приводилъ въ связь съ дѣйствительностью и не отличалъ отъ нея, напр., полагая, что душа во время сна покидаетъ тѣло, странствуетъ по разнымъ мѣстамъ, совершаетъ на дѣлѣ то, что ему привидѣлось; стало быть, содержанію сновидѣнія придавалось значеніе реальное; отсюда чудесность, гиперболизмъ въ сказочномъ мотивѣ [1]); эту группу мотивовъ не совсѣмъ точно называютъ гипнотической (отъ греч. ὕπνος). Четвертая группа можетъ быть обозначена, какъ психологическая: она содержитъ результатъ наблюденія человѣка надъ характерами другихъ людей, надъ самимъ собой, надъ одушевленнымъ окружающимъ міромъ, главнымъ образомъ животныхъ; здѣсь уже фантастическое—форма, а суть реально-психологическое, напр.: мотивы о глупыхъ великанахъ (мальчикъ съ пальчикъ), о продѣлкахъ лисы (одаренной человѣческой рѣчью), объ отношеніяхъ человѣка и животнаго (ихъ разговоры другъ съ другомъ).

---

[1]) Этому мотиву сновидѣній нѣкоторые ученые приписываютъ (преувеличенно) роль главнаго мотива, источника сказки; изъ него выводятъ самое возникновеніе ея.

На основаніи такого характера самыхъ сюжетовъ (какъ сочетанія мотивовъ) разбиваютъ на три группы: а) сказки съ чудеснымъ содержаніемъ, б) сказки бытовыя, или народные анекдоты, в) сказки о животныхъ [1]. Конечно, извѣстныя намъ сказки комбинируютъ обычно эти категоріи мотивовъ, и сказка можетъ быть отнесена условно въ ту или иную изъ трехъ категорій лишь по преобладающему въ сказкѣ мотиву.

Таковы основы древнѣйшаго предполагаемаго нами вида сказокъ. Но составъ той сказки, которую мы знаемъ, гораздо сложнѣе: помимо этихъ первичныхъ моментовъ въ ней обращаетъ на себя вниманіе бытовая сторона (но не первобытная, а историческая), которая собственно и прикрѣпляетъ сказку къ извѣстной народности, напр., дѣлаетъ сказку русской, независимо отъ происхожденія основного мотива; самая основа сказки, основной мотивъ (если въ концѣ-концовъ его и можно подвести подъ ту или иную изъ указанныхъ категорій) можетъ быть различнаго происхожденія: туземный (самозародившійся), заимствованный, можетъ быть отзвукомъ дѣйствительно древнѣйшей поры, или же отзвукомъ исторической жизни. Для историка русской сказки, какъ таковой, указанный бытовой элементъ, вмѣстѣ съ элементами историческаго характера, литературнаго представляетъ особый интересъ при изученіи сказки въ томъ ея видѣ, какъ она дошла до насъ. Такая сказка является отраженіемъ, характеристикой быта извѣстной среды, извѣстнаго времени; но это не мѣшаетъ ей быть въ то же время и фантастической по характеру сюжета, т.-е., противополагать бытовую сказку сказкѣ фантастической на этомъ основаніи нельзя. Разница между ними будетъ въ различномъ пользованіи сюжетами, мотивами. Въ сказкѣ бытовой фантастическій сюжетъ, если онъ въ ней присутствуетъ, будетъ средствомъ для изображенія бытовой картины или передачи воззрѣнія сказочника на то или другое бытовое явленіе. Въ сказкѣ «фантастической», въ собственномъ смыслѣ слова эти же сюжеты и мотивы будутъ средствомъ для осуществленія или вымысла разсказчика, или фантастической же картины, имѣющей цѣлью дать удовлетвореніе потребности въ поэтическомъ вымыслѣ, сохраняя связь его въ представленіи съ реальнымъ. Есть, наконецъ, сказки бытовыя совершенно безъ фатастическаго сюжета и сказка «историческая», которая можетъ заключать и фантастическіе элементы. Онѣ въ этомъ

---

[1]) Такое дѣленіе предложено В. Ѳ. Миллеромъ въ его лекціяхъ (откуда и заимствовано мною). Старые „миѳологи" дали дѣленіе, которое держится отчасти до сихъ поръ: 1) сказки миѳическія; 2) бытовыя съ нравоучительнымъ, сатирическимъ содержаніемъ; 3) сказки о животныхъ. В. Вундтъ предложилъ болѣе дробное дѣленіе: 1) сказки миѳологическія, 2) басни—сказки, 3) сказки о животныхъ, 4) сказки біологическія, 5) сказки шутливыя, анекдоты.

случаѣ, пожалуй, ближе всего могутъ быть сопоставлены съ тѣмъ, что мы называемъ, съ одной стороны, анекдотомъ, «сагой»—съ другой [1]). Соединеніе ряда анекдотовъ, которые не претендуютъ на исторически точное воспроизведеніе событій, составляетъ цѣлое, характеризующее какое-нибудь общее или частное положеніе. Они напоминаютъ иногда то, что мы находимъ въ фабулѣ басни. Такимъ образомъ, съ этой оговоркой сказки могутъ быть дѣлимы по характеру на фантастическія и бытовыя, принимая это дѣленіе, разумѣется, условно; сказка о животныхъ войдетъ въ ту или иную категорію, смотря по преобладающему характеру основной фабулы.

Послѣ этого замѣчанія можно указать тѣ главные мотивы и сюжеты, съ которыми намъ приходится имѣть дѣло въ русскихъ сказкахъ. Разумѣется, всѣ 40 сюжетовъ, которые выдѣлилъ П. В. Владимировъ, перечислять нѣтъ надобности въ нашемъ общемъ обзорѣ: достаточно обратить вниманіе только на наиболѣе крупные, наиболѣе характерные для представленія о сказкѣ.

1. Такъ, одной изъ наиболѣе крупныхъ и характерныхъ группъ сюжетовъ, являются такъ называемыя сказки о животныхъ, т.-е. такія сказки, гдѣ главными дѣйствующими лицами являются животныя. Сказки о животныхъ являются результатомъ тѣхъ наблюденій надъ окружающей природой, которыя скопились съ теченіемъ времени у человѣка, и благодаря которымъ, онъ такъ или иначе имѣетъ возможность характеризовать для себя встрѣчающіяся ему явленія въ окружающей природѣ и, прежде всего, въ мірѣ животныхъ. Поэтому «животныя сказки» могутъ быть признаны по своимъ сюжетамъ сказками изъ числа такимъ міровыхъ, общераспространенныхъ сюжетовъ, о которыхъ мы говорили. Отношеніе къ животнымъ во всѣхъ сказкахъ міровыхъ такъ же, какъ въ русскихъ, опредѣляется довольно однообразно. Прежде всего, представленіе о животныхъ получается путемъ самоанализа: человѣкъ, зная, изучая свои личныя качества, находитъ тѣ же качества выраженными въ окружающемъ животномъ мірѣ: ему кажется, что тамъ происходятъ явленія аналогичныя тѣмъ, которыя испытываетъ онъ самъ или можетъ наблюдать въ болѣе доступномъ ему

---

[1]) „Сагой“, по опредѣленію В. Ѳ. Миллера (въ его лекціяхъ 1910—11 г.), называется повѣствованіе, пріуроченное къ опредѣленному мѣсту и лицу; она—начало исторіи; но такъ какъ вымыселъ и дѣйствительность различались слабо или вовсе не различались, то сага, естественно, приближается къ сказкѣ, передаетъ такія quasi—историческія событія, которыя намъ кажутся невозможными. Сказка, получая по временамъ имена и пріуроченіе мѣстное, формально сходится съ сагой; наоборотъ, сага, утрачивая со временемъ связь съ лицомъ, именемъ и мѣстностью, превращается въ сказку; иначе: сага и сказка стоятъ въ отношеніяхъ взаимодѣйствія.

человѣческомъ обществѣ. Поэтому-то въ сказкѣ о животныхъ видимъ въ качествѣ мотива въ значительной степени послѣдовательно проведенною параллель между человѣкомъ и животнымъ: животное, такъ сказать, «очеловѣчивается». Животныя обладаютъ въ значительной степени тѣми же свойствами, что и человѣкъ. Съ другой стороны, человѣкъ, смотря на животное, какъ на подобное себѣ въ психологическомъ отношеніи существо, опредѣляетъ свои къ нему отношенія, исходя изъ своихъ отношеній къ людямъ. Есть рядъ сказокъ, гдѣ животныя не только ведутъ себя, какъ люди, но есть и такія, гдѣ дѣйствуютъ одновременно и люди и животныя. Здѣсь въ значительной степени помогаетъ фантастическій элементъ сказки. Въ сказкѣ, гдѣ фигурируютъ люди и животныя, естественно, должна бросаться основная разница между человѣкомъ и животными: человѣкъ, обладающій даромъ слова, и животное, этимъ даромъ не обладающее. Что касается ума, смѣтливости, силы, то это, какъ нѣчто не наглядное, не бросающееся въ глаза, не нуждается въ извѣстномъ примиреніи; это примиреніе достигается тѣмъ, что сказка получаетъ характеръ фантастическій. Въ результатѣ, животныя награждаются тѣми свойствами человѣка, которыми человѣкъ отличается отъ животнаго: они начинаютъ говорить, они разговариваютъ другъ съ другомъ, съ людьми; получается несоотвѣтствіе съ дѣйствительностью, но оно допустимо въ области фантазіи. Несомнѣнно, какъ сказка, вышедшая изъ наблюденій окружающаго, животная сказка по своему характеру будетъ въ то же время бытовая Наиболѣе крупные персонажи этихъ сказокъ всѣмъ хорошо извѣстны. На первомъ мѣстѣ—хитрая лиса, которая появляется въ цѣломъ рядѣ сказокъ: мотивъ о хитростяхъ лисы—одинъ изъ самыхъ распространенныхъ въ сказкѣ. Сказки о пѣтухѣ и курицѣ, львѣ-царѣ, хорошо извѣстны. За лисой идутъ глуповатый, но добродушный волкъ, трусливый заяцъ, простоватый медвѣдь, сорока-воровка и т. д. Если въ однихъ сказкахъ чисто животныхъ лиса обманываетъ дурака волка или глуповатаго мужика, или курицу, или пѣтуха, въ другихъ—эта же лиса, благодаря своей хитрости или ради личныхъ выгодъ, помогаетъ человѣку, устраиваетъ его судьбу, то все-таки мысль о томъ, что животный міръ и міръ человѣка остаются различными, не можетъ быть окончательно устранена. Но есть рядъ сказокъ, изъ міра животныхъ, которыя такъ или иначе помогаютъ рѣшить эту проблему о сходствѣ и разницѣ между животнымъ и человѣкомъ потому, что если, съ одной стороны, представляется, что животныя въ сказкѣ могутъ обладать такимъ же даромъ рѣчи, какъ и человѣкъ, то, съ другой стороны, человѣкъ, обладающій даромъ рѣчи, можетъ стать настолько близко къ животному, что можетъ его понимать, можетъ входить въ общеніе, овладѣвши свойствомъ животнаго.

Это—особая группа сказокъ, которая имѣетъ своимъ мотивомъ «звѣриный» и «птичій» языкъ. Вотъ одна изъ нихъ: охотникъ ушелъ въ лѣсъ, встрѣчается ему тамъ змѣя, онъ хочетъ ее убить; но змѣя вдругъ проговорила человѣчьимъ голосомъ (змѣя, хитрая и мудрая, еще по Библіи, одаренная рѣчью, такъ что это представляется вполнѣ возможнымъ). Она проситъ не убивать ее, обѣщая за это охотнику дать свойство понимать животный и птичій языкъ. Онъ отпускаетъ змѣю, но она ставитъ ему условіемъ, чтобы онъ объ этомъ своемъ новомъ знаніи не промолвился женѣ, иначе онъ тотчасъ умретъ (здѣсь намекъ на женское любопытство—мотивъ, въ другихъ комбинаціяхъ также частый въ сказкахъ). По возвращеніи домой, охотнику хочется подѣлиться съ женой тѣмъ, какой необыкновенный случай былъ съ нимъ въ лѣсу, и этимъ самымъ раззадориваетъ любопытство жены. Онъ говоритъ ей, что не смѣетъ разсказать, потому что иначе по условію ему придется умереть. Но жена такъ любопытна, что готова пожертвовать мужемъ, лишь бы узнать секретъ. Тогда онъ велитъ приготовить себѣ все къ погребенію, ложится на столъ, и собирается уже разсказать все женѣ, съ тѣмъ чтобы сейчасъ же умереть, какъ въ это время входитъ въ избу пѣтухъ и начинаетъ самъ съ собой вслухъ разговаривать. Такъ какъ охотникъ теперь понимаетъ птичій языкъ, онъ понимаетъ, о чемъ говоритъ пѣтухъ; а рѣчь пѣтуха заключается въ слѣдующемъ: пѣтухъ ругаетъ дуракомъ своего хозяина за потворство и неумѣніе справиться съ женою: у него, пѣтуха, много куръ, и онъ со всѣми справляется, а у хозяина одна только жена, и то съ ней не справится. Тогда мужъ, уязвленный упрекомъ, вскакиваетъ, задаетъ потасовку женѣ и тѣмъ отучаетъ ее отъ любопытства. Это—типичная животная сказка: женское любопытство—одна изъ ходячихъ популярныхъ бытовыхъ темъ, расправа мужа съ женой тоже бытовая черта. Съ другой стороны, сказка даетъ намъ извѣстнаго рода этическій элементъ: человѣкъ вознагражденъ за свою доброту по отношенію къ змѣѣ.

Сказки о животныхъ, повидимому, выросшія на непосредственныхъ наблюденіяхъ и впечатлѣніяхъ, которыя идутъ отъ окружающаго къ человѣку, должны быть признаны сказками, которыя распространены повсюду; поэтому они и могутъ быть названы до извѣстной степени сказками міровыми. Они, можетъ быть, болѣе чѣмъ иныя, являются результатомъ общей психологіи, хотя и по отношенію къ нимъ вполнѣ возможно допустить предположеніе, что среди этихъ сказокъ у отдѣльныхъ народовъ есть рядъ и такихъ, которыя явились путемъ перенесенія сюжетовъ отъ одного народа къ другому. Что касается времени происхожденія этихъ сказокъ, то оно (какъ вообще относительно сказокъ) чрезвычайно трудно опредѣлимо или даже не опредѣлимо. Несомнѣнно

одно, что эти сказки, повидимому, очень рано появляются въ видѣ отдѣльныхъ наблюденій надъ міромъ животныхъ и продолжаютъ возникать въ теченіи очень долгаго времени; подобнаго рода сказки могутъ возникать и въ настоящее время. Такая неопредѣленность хронологіи этой группы сказокъ неизбѣжна въ виду простоты ихъ состава и возможности привести эти сказки въ связь съ простѣйшими фактами психологіи человѣка, каково повседневное наблюденіе окружающаго. Что касается русской литературы, то слѣдъ сказки о животныхъ можетъ быть отмѣченъ очень рано. Слѣдъ этотъ можетъ быть усмотрѣнъ въ такихъ уподобленіяхъ, упоминаніяхъ, которыя встрѣчаются въ книжной литературѣ, гдѣ животныя характеризуются въ тѣхъ же самыхъ чертахъ, которыя мы находимъ въ нашихъ устныхъ сказкахъ. Очень возможно, что значительная часть нашихъ устныхъ сказокъ имѣетъ свое происхожденіе сравнительно позднее уже въ связи съ книжностью. Интересъ къ животному міру, къ изученію его съ точки зрѣнія параллелизма основныхъ свойствъ животнаго психологіи человѣка, какъ мотивъ общій, очень рано появляется и въ нашей письменности, въ особенности въ письменности переводной. Къ числу такихъ памятниковъ, которые могутъ быть поставлены въ связь съ нашими сказками, относятся тѣ сочиненія по естественнымъ наукамъ, гдѣ описываются свойства отдѣльныхъ животныхъ; таковы, напримѣръ, извѣстные не позднѣе XI в. разсказы изъ Шестоднева (пространное изложеніе исторіи сотворенія міра), гдѣ въ разсказѣ о шестомъ днѣ творенія сообщается рядъ разсказовъ о животныхъ. Правда, эти свойства описываемыхъ животныхъ иногда фантастическія, но, несомнѣнно, эта же фантастика широко проходитъ и въ народныхъ сказкахъ; особенно близки между собой сказка и символика животныхъ въ Шестодневѣ и подобныхъ памятникахъ (каковы, кромѣ Шестодневовъ: Физіологъ, Толковые тексты ветхаго завѣта (Палея), Псалтири и др.). Взаимодѣйствіе между подобными сказками и подобнаго рода памятниками представляется въ силу сходства сюжетовъ вполнѣ возможнымъ. Дальше этихъ наблюденій мы, конечно, итти не можемъ [1]).

Въ значительной (даже въ большей) степени то же надо сказать и о другихъ сказочныхъ сюжетахъ. Вотъ нѣкоторые изъ наиболѣе распространенныхъ сказочныхъ сюжетовъ.

2. Одинъ изъ наиболѣе распространенныхъ сказочныхъ сюжетовъ группируется около популярной личности Бабы Яги. Баба Яга представляется существомъ хитрымъ, злымъ, но въ то же время въ концѣ-

---

[1]) Сказкамъ о животныхъ въ числѣ другихъ посвящены работы Колмачевскаго и Боброва; см. указатель литературы въ концѣ книги.

концовъ побѣждаемымъ; она въ нѣкоторыхъ случаяхъ напоминаетъ какого-то звѣря, получеловѣка, чудовище, миѳическій образъ; однако, есть ли въ нашей Бабѣ Ягѣ остатки доисторическихъ религіозныхъ вѣрованій, этого рѣшительно утверждать не можемъ; во всякомъ случаѣ, по теперешней намъ доступной сказкѣ мы не можемъ доказать, что Баба Яга первоначально существо миѳическое, обозначающее какое-нибудь злое божество нашей анимистической религіи, олицетвореніе какой-нибудь злой стороны природы: въ ней выдвинуто теперь начало этическое и бытовое. Баба Яга въ томъ видѣ, въ какомъ она фигурируетъ въ нашихъ сказкахъ, въ тѣхъ сюжетахъ, гдѣ она является дѣйствующимъ лицомъ, она, несомнѣнно, сохранила довольно опредѣленный, устойчивый по типу, характеръ: это — существо отъ природы злое, которое обладаетъ особенными, откуда-то унаслѣдованными данными, качествами. Баба Яга по своему существу и смыслу типа значительно сближается съ колдуньей, чаровницей. Главнымъ образомъ при помощи колдовства она и совершаетъ свои подвиги. Ея дѣйствія направлены безусловно злыми помыслами, осуществленіе зла, какъ таковаго, служитъ ея цѣлью: у нея какой-нибудь опредѣленной реальной цѣли нѣтъ. Она прежде всего заманиваетъ къ себѣ героя сказки, старается помѣшать ему осуществить его, во всякомъ случаѣ, симпатичное, доброе предпріятіе, не интересуясь тѣмъ, насколько это предпріятіе справедливо или заслуживаетъ поощренія или противодѣйствія: творить зло, мѣшать, гадить людямъ—это ея настоящее дѣло и цѣль ея жизни. Она характеризуется съ внѣшней стороны старой, отталкивающаго вида старухой, иногда нѣсколько своеобразно: Баба Яга—костяная нога, сидитъ на ступѣ, помеломъ свой слѣдъ заметаетъ, иногда у нея носъ въ потолокъ вросъ—до того онъ великъ. Обладаетъ она оборотничествомъ, стало быть, примыкаетъ къ очень распространенному типу въ сказкахъ объ оборотняхъ. Что касается расраспространенныхъ сюжетовъ съ Бабой Ягой въ видѣ дѣйствующаго лица, то, несомнѣнно, Баба Яга является однимъ изъ популярныхъ коллективныхъ персонажей среди нашихъ сказочныхъ героевъ. Кромѣ того, можно указать, что образъ и имя Бабы Яги не принадлежитъ исключительно только русской литературѣ: тотъ же образъ съ аналогичнымъ именемъ Яги встрѣчается въ сказкахъ польскихъ и въ югославянскихъ: часто съ другимъ именемъ, но съ тѣмъ же самымъ содержаніемъ является этотъ образъ однимъ изъ ходячихъ сюжетовъ въ западно-европейской сказкѣ (Берхта), и среди сказокъ восточныхъ (Шамусъ-баба), поскольку мы ихъ знаемъ. Надо ли связывать нашу Бабу Ягу съ представительницей злого начала у другихъ народовъ, это—вопросъ, который остается до сихъ поръ безъ разрѣшенія. Что касается

отношенія сказокъ о Бабѣ Ягѣ къ другимъ видамъ литературы, то, повидимому, надо признать, что это спеціально сказочный сюжетъ: Баба Яга очень рѣдко встрѣчается, какъ отзвукъ, въ другихъ видахъ литературы; можетъ быть, есть отзвукъ этого сюжета и въ нашей былинѣ: указаніе на такіе сюжеты въ былинѣ мы видимъ въ нѣсколькихъ записанныхъ Гильфердингомъ изъ устъ народа разсказахъ о томъ, какъ Добрыня Никитичъ бьется съ Бабой Ягой. Этотъ же сюжетъ является довольно распространеннымъ въ лубочныхъ картинкахъ, но лубочныя картинки довольно поздняго происхожденія XVIII—XIX в.; здѣсь Баба Яга приняла уже иной характеръ, нѣсколько сатирическій, шутливый, приближается къ тѣмъ темамъ, которыя касаются женской хитрости, женской прокудливости, которыя и подвергаются осмѣянію. Это все даетъ возможность заключить, что самое проникновеніе въ былину сказки о Бабѣ Ягѣ и соединеніе ея съ сюжетами о такихъ популярныхъ богатыряхъ, какъ Добрыня Никитичъ, есть дѣло довольно позднее и можетъ быть сочтено вліяніемъ въ народной литературѣ лубочной картинки, уже утратившей чувство пониманія былины, какъ таковой.

3. Къ числу такихъ же преимущественно «сказочныхъ» сюжетовъ нужно отнести такіе, гдѣ дѣйствующимъ лицомъ является Кощей Безсмертный. Это также злое существо, которое иногда даже теряетъ человѣческій обликъ: что-то среднее между звѣремъ, дракономъ и чудовищнымъ человѣкомъ, хотя онъ и обладаетъ всѣми человѣческими свойствами. Занимается Кощей Безсмертный тѣмъ, что устраиваетъ всякія бѣды героямъ сказокъ, но особенно излюбленнымъ его дѣломъ является похищеніе женщинъ; повидимому, онъ большой любитель женскаго пола, хотя обращается онъ съ женщинами довольно своеобразно: онъ ихъ собираетъ, запираетъ, и, повидимому, ему доставляетъ удовольствіе самое обладаніе женщиной, предназначенной другому или любящей другого. Поэтому варіантомъ къ этимъ сказкамъ являются тѣ сказки о Кощеѣ Безсмертномъ, гдѣ онъ является помѣхой для героя сказки въ достиженіи имъ своей цѣли—въ женитьбѣ: онъ похищаетъ невѣсту, запираетъ ее въ подвалъ; герой сказки, женихъ или молодой мужъ, отправляется отыскивать свою невѣсту или жену, находитъ ее въ Кощеевомъ жилищѣ и встрѣчается здѣсь съ Кощеемъ Безсмертнымъ; при этомъ различныя комбинаціи мотивовъ: то жена или похищенная невѣста помогаетъ своему жениху или мужу обойти Кощея, или (рѣже) жена или невѣста примирилась съ своей участью и выдаетъ головой своего мужа или жениха своему похитителю. Кончаются эти сказки въ первомъ случаѣ смертью Кощея Безсмертнаго и возвращеніемъ похищенной жены или невѣсты, во второмъ случаѣ также смертью Кощея, но и погибелью жены-измѣнницы. Въ сказкѣ о Кощеѣ Безсмертномъ обыкновенно довольно

точно опредѣляются, такъ сказать, условія существованія Кощея. Онъ называется Кощеемъ Безсмертнымъ, но на дѣлѣ онъ не безсмертенъ: онъ безсмертенъ только для тѣхъ, кто не знаетъ секрета его существованія; это-то обыкновенно или женщина, имъ похищенная, или какая-нибудь добродѣтельная старушка, или кудесникъ сообщаютъ герою, научаютъ его, какъ и гдѣ найти «смертъ» Кощея Безсмертнаго; она обыкновенно зависитъ отъ уничтоженія, поломки опредѣленнаго предмета (иглы, напр.). Этотъ предметъ, обусловливающій жизнь Кощея, обычно запрятанъ по возможности такъ далеко, что человѣкъ безъ посторонней помощи найти его не можетъ. Обыкновенно герой добирается до этого талисмана, и въ самый рѣшительный моментъ, когда Кощей готовъ поглотить свою жертву, онъ ломаетъ этотъ предметъ (чаще всего конецъ иголки), и Кощей умираетъ. Что касается этого образа, то, насколько до сихъ поръ можно себѣ представить, этотъ образъ, повидимому, принадлежитъ къ числу очень древнихъ въ міровой сказочной литературѣ. Насколько онъ является результатомъ самозарожденія, сказать трудно, но во всякомъ случаѣ соотношеніе между отдѣльными образами Кощея (называемаго другими именами у разныхъ народовъ) въ настоящее время представляется довольно неопредѣленнымъ. Сопоставленія образа нашего Кощея съ подобными у другихъ народовъ, дѣлавшіяся изслѣдователями восточныхъ литературъ, въ частности египетской [1]), въ значительной стапени остаются пока теоретическими построеніями: въ какомъ отношеніи этотъ сюжетъ египетской сказки находится къ сюжету русской, сказать опредѣленно едва ли возможно. Предполагаютъ такъ, что этотъ сюжетъ, уже существующій за 2000 л. до Р. Х., распространился преимущественно въ областяхъ по берегамъ Средиземнаго моря, откуда вмѣстѣ съ культурными вліяніями въ болѣе позднее время распространился по материку Европы. У насъ самое имя «Кощей» извѣстно рано уже въ качествѣ имени нарицательнаго (въ Словѣ о полку Игоревѣ—рабъ), происхожденіе его восточное [2]).

4. Затѣмъ, мотивомъ, распространеннымъ въ сказкахъ. является также и мотивъ о змѣеборствѣ. Этотъ мотивъ одинъ изъ популярныхъ, какъ мы видѣли, и въ былинѣ. Здѣсь—въ былинѣ,—повидимому, этотъ сюжетъ—сказочнаго происхожденія, какъ мы могли видѣть при анализѣ былинъ о Добрынѣ и Змѣѣ, объ Алешѣ Поповичѣ и Тугаринѣ Змѣевичѣ. Роль Кощея, злого начала, врага, принадлежитъ, какъ мы знаемъ, между прочимъ, дракону, образу чудовищному, который, однако, обладаетъ качествами, которыя отдаляютъ его отъ животнаго и сближа-

[1]) По египетскимъ памятникамъ, восходящимъ къ XV и даже XX ст. до Р. Х. въ сказкѣ найденъ образъ, вполнѣ соотвѣтствующій нашему Кощею.

[2]) Тюркское: кошчы: см. А. Преображенскій, Этимол. слов. рус. яз., стр. 375, s. v.

ютъ съ человѣкомъ; онъ говоритъ, онъ обладаетъ человѣческими страстями, онъ, подобно Кощею Безсмертному, является любителемъ женскаго пола и т. д. Точно также онъ является существомъ, которое обладаетъ неистощимой силой; когда Кощей Безсмертный ослабѣваетъ въ борьбѣ, онъ долженъ улучить минутку, глотнуть воды, и къ нему возвращается сила. И змѣй живетъ либо въ водѣ, или чаще, у воды. То же самое мы видимъ въ цѣломъ рядѣ сказочныхъ сюжетовъ о Змѣѣ. Повидимому, Змѣй Горынычъ, змѣй вообще, драконъ, будутъ родственны по идеѣ и по образу тому же Кощею. Эта близость образовъ, сказочнаго Кощея и змѣя, символа зла, язычества, повидимому, и была причиной привлеченія образа Кощея въ былину, и обратно—изображеніе Кощея въ видѣ дракона—въ сказкѣ. Какого происхожденія эти сюжеты со змѣеборчествомъ, какимъ образомъ создалась даже цѣлая группа ихъ въ литературѣ, остается не выясненнымъ. Несомнѣнно, что змѣеборческій элементъ, изображеніе героя спасителемъ при борьбѣ со змѣемъ является предметомъ распространенія съ довольно ранняго времени. Въ цѣломъ рядѣ житій святыхъ христіанскихъ, стало быть, вѣроятнѣе всего, на Востокѣ, въ Малой Азіи этотъ сюжетъ представляется распространеннымъ, какъ мѣстное сказаніе. Онъ имѣется и въ греческихъ житіяхъ извѣстнаго Георгія Побѣдоносца, Θеодора Тирона, которые получили у насъ свое выраженіе въ нашихъ духовныхъ стихахъ. Змѣеборцы являются христіанскими героями и другихъ странъ. Помимо житій и сказокъ змѣеборчество мы встрѣчаемъ и въ русской «сагѣ» (Никита Кожемяка). Очевидно, что это такой сюжетъ, который самъ по себѣ былъ международнымъ, и въ разныхъ мѣстностяхъ при разныхъ условіяхъ съ древняго времени онъ обрабатывался въ зависимости отъ среды. Попавши въ христіанскую среду, онъ понимался въ христіанскомъ духѣ, и подъ именемъ змѣя сталъ подразумѣваться въ концѣ-концовъ библейскій змѣй, источникъ зла—дьяволъ, и этотъ сказочный сюжетъ становился достояніемъ христіанской легенды. Въ бытовыхъ народныхъ сказкахъ онъ принималъ черты бытовыя въ данной мѣстности. Отсюда рядъ сказокъ, которыя иллюстрируютъ собою то или другое мѣстное преданіе: жители Кавказа, напр., указываютъ камень, говоря, что на этомъ мѣстѣ осетинскій герой убилъ змѣя, который не давалъ раскинуться аулу. Что касается времени возникновенія этого сюжета, мѣста, гдѣ онъ могъ возникнуть, то разные изслѣдователи говорятъ различное. Люди, придерживающіеся воззрѣній восточнаго происхожденія большинства произведеній сказочной литературы и ихъ сюжетовъ, склонны видѣть зарожденіе этихъ сюжетовъ на Востокѣ, вѣроятнѣе всего въ Азіи. Доказательствомъ для этого обыкновенно приводятъ то, что змѣеборческія легенды въ болѣе первобыт-

номъ, болѣе простомъ видѣ встрѣчаются какъ разъ въ передней Азіи; но и въ этомъ случаѣ точное рѣшеніе вопроса представляется въ значительной степени проблематическимъ. Мы не можемъ опредѣленно рѣшить, имѣемъ ли мы передъ собой въ азіатской легендѣ, дѣйствительно, простѣйшій, а потому и болѣе близкій къ первобытному видъ сказанія, мотивъ, или же только упростившійся, забывшій детали, стало быть, болѣе поздній видъ мотива, сказанія, получившій въ Азіи особую популярность; а отъ рѣшенія этого вопроса и зависитъ показательность даннаго наблюденія для опредѣленія мѣста происхожденія мотива.

5. Такими же общими сказочными мотивами, около которыхъ группируется цѣлый рядъ различныхъ сюжетовъ, является олицетвореніе «горя», «злочастія», «судьбы». Это олицетвореніе получаетъ въ сказкахъ различныя имена и образы: то это — «злыдень», олицетвореніе тѣхъ дурныхъ дней, въ которые не нужно начинать какого-нибудь нужнаго дѣла, то это—«нужда», «лихо», «кручина», «доля», то прямо «горе» и т. п. Главный интересъ этихъ образовъ заключается въ томъ, что отвлеченное, часто нравственное понятіе облекается въ конкретную форму, въ конкретную фигуру. Эти образы принимаютъ самыя разнообразныя формы: это—или костлявая старуха, которая по образу напоминаетъ ту костлявую смерть (про которую говорится въ русскихъ духовныхъ стихахъ), или это—какой-нибудь старикъ, сгорбленный, навязчивый; то это—какое-то темное существо въ родѣ лѣшаго, которое садится на шею человѣка, котораго никакъ человѣкъ не можетъ столкнуть, потому что онъ его не видитъ, но присутствіе котораго чувствуетъ во всемъ. Этика этого злого начала довольно иногда своеобразна: оно прицѣпляется къ тому человѣку, который по добротѣ сердечной дѣлаетъ ему добро. Если человѣкъ, нашедшій подъ кустомъ свое «горе-злочастіе», беретъ дубинку и охаживаетъ его, тогда оно бѣжитъ отъ этого человѣка и прилѣпляется къ бѣдняку, потому что этотъ бѣднякъ, несмотря на свою бѣдноту, оказался добрымъ человѣкомъ; или же оно привязывается къ богачу, который желая насолить изъ зависти своему сосѣду, принимаетъ къ себѣ это злочастіе, чтобы направить его къ сосѣду и этимъ удовлетворить своему недоброму чувству: тогда горе-злочастье привязывается къ нему самому, и кончается тѣмъ, что богачъ превращается въ нищаго. Это своего рода греческая Немизида, рокъ (по идеѣ), и не сомнѣнно, что этотъ образъ становится народнымъ религіозно-философскимъ обобщеніемъ, которое мы встрѣчаемъ въ довольно раннее время во всѣхъ литературахъ. Понятіе о горѣ очень близко къ понятію о долѣ. Эта злая доля (судьба — греч. μοῖρα, εἱμαρμένη) и есть горе-злочастіе. Это

своего рода выраженіе извѣстнаго представленія о фатализмѣ, неизмѣнномъ предначертаніи человѣку всей его жизни. Это «горе-злочастье» съ разнообразными оттѣнками встрѣчается въ нашихъ сказкахъ, помимо роли основного сюжета, въ качествѣ привходящаго элемента, дающаго объясненіе той части сюжета, которая логически не поддается объясненію. Такую роль «горе-злочастіе» играетъ въ извѣстной сказкѣ о Василіи Несчастномъ и Маркѣ Богатомъ, о бѣднякѣ и богачѣ. Этотъ образъ, какъ до извѣстной степени уже отвлеченный по мысли, очень легко облекается въ тѣ или другія фантастическія и религіозныя формы. Какъ носящій въ себѣ идею, и до сихъ поръ близкую къ религіозной, образъ этотъ, можетъ быть, стоитъ въ связи съ древнѣйшими вѣрованіями: вѣру въ судьбу отмѣчаютъ и у славянъ еще въ V в. (Прокопій).

6. Еще нужно остановиться на нѣкоторыхъ мотивахъ, которые довольно часто можно встрѣтить, и которые болѣе или менѣе нуждаются въ освѣщеніи. Однимъ изъ такихъ мотивовъ, которые являются довольно устойчивыми въ сказкѣ, является мотивъ о морскомъ царѣ или чудѣ. Это, можетъ быть, сюжетъ довольно древній, можетъ быть, индоевропейскій, можетъ быть, миѳологическій, но во всякомъ случаѣ очень рано онъ сталъ носить характеръ уже обыкновеннаго сказочнаго сюжета, въ смыслѣ сюжета фантастическаго. Главная схема этого разсказа въ сказкѣ о морскомъ царѣ довольно опредѣленна и проста. Существуетъ какой-то морской царь, который распоряжается подводнымъ царствомъ, отъ котораго въ зависимости находятся и плавающіе по морямъ, а иногда люди, живущіе у моря, и этотъ царь обыкновенно требуетъ себѣ дани. Иногда онъ является похитителемъ невѣсты, выручать которую герой отправляется въ морское царство, которое обыкновенно описывается въ фантастическихъ краскахъ. Морской царь обыкновенно предлагаетъ герою самому выбрать невѣсту или угадать свою. Герой, обыкновенно, угадываетъ такимъ образомъ, что выбираетъ самую некрасивую, оставляя въ сторонѣ болѣе интересныхъ, болѣе красивыхъ. Эта дурнушка и оказывается той самой, которая обладаетъ красотой, но только превращена въ дурнушку; или онъ узнаетъ её по какому-либо заранѣе условленному признаку (напр., родинкѣ, мухѣ на щекѣ). Что касается этого сюжета, то мы встрѣчались съ нимъ и въ былинѣ о Садкѣ, гдѣ она представляетъ въ нѣкоторой своей части не что иное, какъ обработку этого сказочнаго сюжета, примѣнительно къ былинѣ, къ ея требованіямъ, къ ея поэтикѣ. Откуда взялся этотъ сюжетъ, можно предполагать. Довольно твердо стоитъ предположеніе, что сюжетъ о морскомъ царѣ въ русской литературѣ, по всей вѣроятности, не русскаго происхожденія. Онъ поль-

зуется большимъ распространеніемъ у финскихъ народовъ, отчасти у народовъ тюркскихъ, гдѣ онъ легко могъ возникнуть въ связи съ устно-народными представленіями о роли воды въ ритуалѣ и жизни человѣка, которыя связаны съ населяющими эту воду существами. Очень можетъ быть, что эти сюжеты въ русской сказкѣ представляются древними, хотя заимствованными, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ можно предполагать относительно того сюжета, который вошелъ въ былину о Садкѣ, изъ сосѣдней финской народной сказки.

7. Затѣмъ, видную роль играетъ въ сказкѣ сюжетъ объ одноглазыхъ, о циклопахъ. Русскія сказки о Лихѣ Одноглазомъ (у Гомера о Полифемѣ) являются довольно типичными выраженіями этой схемы объ одноглазыхъ существахъ. Происхожденіе этого сюжета можно опредѣлять, какъ международный сюжетъ; но его международность можетъ имѣть различныя объясненія: или этотъ сюжетъ обошелъ цѣлую группу народовъ, примыкающихъ и примыкавшихъ къ Средиземному морю, или онъ восходитъ, какъ общее достояніе, къ тѣмъ отдаленнымъ индо-европейскимъ преданіямъ, которыя въ извѣстной части сохранились въ сказкѣ даже болѣе поздняго времени. При настоящихъ нашихъ свѣдѣніяхъ, мы этого не опредѣляемъ, лишь констатируя фактъ, что онъ былъ уже въ индо-европейскую пору у народовъ, принадлежащихъ къ этой семьѣ. Въ первомъ случаѣ онъ будетъ заимствованнымъ и болѣе позднимъ, во второмъ—доисторическимъ и для индо-европейцевъ исконнымъ. Первое, пожалуй, будетъ вѣроятнѣе, потому что распространеніе этого сюжета не ограничивается семьей индо-европейскихъ народовъ: его довольно часто мы встрѣчаемъ у неродственныхъ намъ народовъ тюркскихъ, а это заставляетъ насъ подозрѣвать, что мы имѣемъ дѣло хотя съ очень древнимъ, но заимствованнымъ сюжетомъ въ индо-европейскихъ литературахъ.

8. Къ числу такихъ мотивовъ, которые встрѣчаются въ нашихъ сказкахъ, принадлежатъ сказки о различныхъ чудесныхъ предметахъ. Чудесныя качества предмета заключаются въ томъ, что они обладаютъ особенными свойствами, и эти свойства въ значительной степени являются той пружиной и тѣмъ двигателемъ, которымъ и обусловлено развитіе сказочной фабулы: то это—какая-нибудь скатерть-самобранка, которая, ставши достояніемъ сказочнаго богатыря, помогаетъ совершать подвиги, изъ бѣдняка превращая его въ богача; при помощи этой скатерти-самобранки онъ доказываетъ иногда подлинность своего происхожденія и т. д.; то это—кнутъ, который по слову хозяина самостоятельно расправляется съ его врагами, то—ларчикъ, изъ котораго выходятъ молодцы, помогающіе хозяину справиться съ врагами и т. п. Къ числу такихъ же чудесныхъ предметовъ относится и

дудочка, сама по себѣ поющая безъ участія человѣка. Сюжетъ этотъ является, повидимому, также довольно древнимъ: его мы находимъ и въ греческихъ сказочныхъ сюжетахъ. Сюжетъ преимущественно облекается въ такую форму, что эта дудочка изобличаетъ тщательно большею частью скрытое преступленіе. Пошли дѣвушки въ лѣсъ за ягодами, среди нихъ героиня сказки, обладающая всѣми положительными качествами и за эти качества ненавидимая завистливыми подругами. Ей удается набрать ягодъ больше, чѣмъ другимъ; ея спутницы рѣшаются воспользоваться дремучимъ лѣсомъ, убиваютъ ее, закапываютъ. На могилѣ ея выростаетъ тростиночка. Когда проходитъ мимо нея пастушокъ или какое-нибудь близкое лицо, тростиночка начинаетъ издавать звуки и пѣть пѣсню. Изъ этой пѣсни узнаютъ, что здѣсь зарыто тѣло пропавшей безъ вѣсти дѣвушки. Тогда наступаетъ возмездіе за совершонное преступленіе. Сюжетъ этотъ очень распространенъ: мы знаемъ его изъ аналогичной греческой сказки (о царѣ Мидасѣ—ослиныя уши), изъ другихъ индо-европейскихъ сказокъ и въ томъ числѣ и русскихъ. Другіе чудесные предметы точно такъ же обладаютъ такого же рода свойствами, извѣстна, напр., сказка о нищемъ и сумочкѣ: бѣдный человѣкъ находитъ чудесную сумочку, которая по его слову раскрывается, изъ нея выскакиваютъ три молодца, которые исполняютъ то, что имъ велятъ, или прямо расправляются, бьютъ того, на кого указано. Всѣхъ чудесныхъ предметовъ перечислять нѣтъ надобности, но достаточно сказать, что надѣленіе предметовъ чудесными свойствами, которыя оказываются нужными для развитія фабулы сказки, и составляютъ тотъ мотивъ, который мы называемъ мотивомъ о чудесныхъ предметахъ.

9. Очень распространеннымъ мотивомъ, который принимаетъ чаще всего бытовой характеръ, является сказка о трехъ братьяхъ, изъ которыхъ два умныхъ и третій дуракъ. Въ концѣ-концовъ всегда оказывается, что дуракъ умнѣе умнаго. Этотъ мотивъ о трехъ братьяхъ обыкновенно носитъ нѣсколько уже дидактическій, поучительный характеръ: дуракъ, на дѣлѣ лучшій изъ своихъ братьевъ, презираемъ, гонимъ своими старшими братьями, въ концѣ-концовъ вознаграждается за тѣ обиды, за то несправедливое отношеніе, которое онъ испытываетъ въ семьѣ: онъ оказывается удачникомъ, умникомъ и достигаетъ той цѣли, которая дѣлается недостижимой для старшихъ. Такихъ сказокъ чрезвычайно много, такъ что этотъ сюжетъ можно счесть типичнымъ для русской сказки: непремѣнно, гдѣ говорится о старикѣ и его дѣтяхъ, то всегда у него будетъ три сына, изъ нихъ два умныхъ и третій дуракъ, и въ дальнѣйшей сказкѣ главнымъ образомъ идетъ рѣчь только объ одномъ—именно дуракѣ.

10. Видную роль играетъ въ цѣломъ рядѣ фантастическихъ сказокъ мотивъ о превращеніяхъ. Этотъ мотивъ стилизуется въ большинствѣ случаевъ изъ такого рода представленія: въ животное болѣе или менѣе отвратительное, непріятное, некрасивое, обращается при помощи колдовства, герой или героиня сказки, и только въ концѣ сказки происходитъ раскрытіе этого колдовства. Напомню извѣстную сказку про царевну Лягушку, о томъ, какъ три царскихъ сына по предложенію отца выбираютъ себѣ невѣстъ, при чемъ они стрѣляютъ въ разныя стороны стрѣлами. Стрѣла одного попадаетъ къ дочери княжеской, другого—къ дочери боярской, а третьяго оказывается въ болотѣ въ пасти у Лягушки. Приходится царевичу жениться на лягушкѣ, братья насмѣхаются надъ нимъ, но въ концѣ-концовъ оказывается, что это и есть самая лучшая красавица, которая составляетъ счастье своего мужа. Иногда этотъ сюжетъ осложняется: царевичъ, который долженъ жениться на какой-нибудь звѣрушкѣ, желаетъ избѣжать этого, но въ концѣ-кинцовъ лягушка или какая-нибудь звѣрушка заставляетъ его сдѣлать это; тогда онъ узнаетъ, что днемъ она имѣетъ видъ звѣрушки, а ночью она превращается въ женщину, въ красавицу. Онъ пробуетъ помѣшать ея превращенію въ животное и сжигаетъ лягушечью или звѣриную шкурку, тогда красавица пропадаетъ, и онъ, уже влюбленный, предпринимаетъ цѣлый рядъ подвиговъ, чтобы ее разыскать, заслуживаетъ такимъ образомъ прощенія за свой необдуманный проступокъ, и все кончается благополучно.

11. Часто встрѣчаются сказки съ сюжетомъ о мудрыхъ дѣвахъ: такова типичная сказка о Василисѣ Премудрой. Этотъ сюжетъ встрѣчается и не самостоятельно, а въ связи съ распространеннымъ сюжетомъ о состязаніяхъ въ мудрости при помощи загадокъ, рѣшенія хитрыхъ головоломныхъ задачъ. Герой, попавши въ непріятное положеніе къ вражескому царю или отправившись добывать какое-нибудь сокровище, обыкновенно, подвергается опасности быть убитымъ, если онъ не разгадаетъ нѣсколько (обычно 3-хъ) загадокъ или не выполнитъ трудныхъ, на первый взглядъ невозможныхъ, дѣлъ. Онъ обыкновенно падаетъ духомъ, но всегда находится благодѣтельница (дочка царская), которая влюбляется въ царевича (сама она вѣщая, мудрая дѣва), помогаетъ ему разрѣшить эти, на первый взглядъ, неразрѣшимыя задачи, и все кончается благополучно. Этотъ же сюжетъ часто соединяется съ мотивомъ о гонимыхъ дѣвушкахъ. У нея мачеха, у которой есть своя дочь, или ея родная мать выходитъ вторично замужъ за вдовца съ дочерью, и, такимъ образомъ, у нея оказывается дочь и падчерица; эту падчерицу, или дочь отъ перваго брака, жена всячески старается сжить со свѣта, но въ концѣ-концовъ эта добрая, хо-

рошая падчерица или гонимая дочь беретъ верхъ: добрые люди, иногда чудесныя существа, заступаются за нее, и она достигаетъ благополучія. Это—знаменитая сказка о Золушкѣ, сказка о Снѣгурочкѣ.

12. Можно еще указать нѣкоторые мелкіе сюжеты, которые часто являются эпизодами, входятъ въ сказку и въ качествѣ общаго мѣста, переносятся изъ одной сказки въ другую, осложняютъ собою другой сказочный сюжетъ:

а) къ такимъ мотивамъ можно отнести сюжетъ о мужѣ или женихѣ, попадающемъ на свадьбу къ своей невѣстѣ или къ своей женѣ, выходящей замужъ за другого. Въ большинствѣ случаевъ ее обманываютъ, сказавши, что ея мужъ или женихъ пропалъ. Обыкновенно онъ является переодѣтымъ (въ шута, придворнаго дурака), но онъ обладаетъ какимъ-нибудь признакомъ, какой-нибудь вещью, которую онъ показываетъ или передаетъ своей женѣ или нареченной невѣстѣ, и вся свадьба разстраивается. Это—тотъ сюжетъ, который въ былинной формѣ обработанъ въ разсказѣ о Добрынѣ и Алешѣ.

б) Изъ такихъ же мелкихъ сюжетовъ можно отмѣтить широко распространенный—о коварной женѣ, чаровницѣ, которая обыкновенно стремится погубить или своего мужа, или своего брата съ тѣмъ, чтобы воспользоваться чужимъ имуществомъ, или выйти замужъ за человѣка, который ее привлекаетъ различными матеріальными богатствами. У Аѳанасьева можно встрѣтить нѣсколько такихъ разсказовъ; интересенъ сюжетъ этой сказки тѣмъ, что онъ является засвидѣтельствованнымъ памятниками глубокой древности: точно такъ же, какъ сказки съ сюжетомъ о Кощеѣ Безсмертномъ, онъ встрѣченъ въ тѣхъ египетскихъ сказкахъ, древность которыхъ восходитъ ко временамъ чуть не за двѣ тысячи лѣтъ до Р. Х.

в) Сюда же слѣдуетъ причислить довольно распространенные сюжеты о ловкихъ ворахъ, мошенникахъ. Это—сюжеты, приближающіеся къ бытовымъ; въ нихъ главный интересъ представляетъ хитрая, сложная, запутанная фабула. Обыкновенно герой сказки имѣетъ друга или слугу, которому собственно и принадлежитъ главная, руководящая роль въ сказкѣ. Этотъ послѣдній въ общемъ—хитрый воръ, мошенникъ, но такой, который изъ преданности своему господину или своему другу, пускаетъ въ ходъ свои таланты вора, мошенника. Такимъ образомъ герой сказки, какъ герой, личность довольно безцвѣтная, мало активная, но ему, благодаря этой помощи, удается достигнуть тѣхъ результатовъ, къ которымъ онъ стремился.

Вотъ нѣкоторые изъ болѣе распространенныхъ сказочныхъ сюжетовъ, съ которыми намъ чаще приходится имѣть дѣло, изучая русскую сказку. Разумѣется, въ этотъ перечень вошла лишь незначительная

часть сказочныхъ сюжетовъ вообще. Эти отдѣльные сюжеты, отдѣльные мотивы въ значительной степени обусловливаются жизнью самой сказки. Повидимому, интересъ къ тому или другому сюжету—будетъ ли онъ фантастическій, бытовой, или тенденціознаго характера, безразлично—поддерживается не только занимательностью даннаго одного сюжета, но и тѣмъ, что сказка является результатомъ своеобразной творческой работы. Выборъ отдѣльнаго сюжета зависитъ часто отъ вкуса сказочника или сказочницы, отъ нихъ же зависитъ въ значительной степени самая комбинація отдѣльныхъ сюжетовъ и мотивовъ знакомыхъ уже раньше, т.-е., отъ умѣнья складывать болѣе или менѣе причудливую сказку изъ готоваго матеріала. Новая комбинація иногда бываетъ настолько интересна, что главный интересъ сказки переносится на эту комбинацію. Обыкновенный всѣмъ извѣстный, очень несложный сюжетъ, въ нѣкоторыхъ сказкахъ комбинируется такимъ образомъ, что получается довольно сложный, трудный, запутанный разсказъ. Этотъ хитрый, запутанный разсказъ въ значительной степени обусловливаетъ собою то, что тотъ или другой мотивъ, утратившій самъ по себѣ живой интересъ, продолжаетъ жить въ нашей сказкѣ, войдя въ композицію интересной сказки.

Что касается происхожденія русской сказки вообще, то изъ того, что мы до сихъ поръ говорили, видно, что этотъ вопросъ долженъ быть поставленъ, но что рѣшить его во всемъ объемѣ въ настоящее время пока еще невозможно; можно указать пока одно, что, если сказочные сюжеты большей частью не поддаются точному опредѣленію по ихъ времени возникновенія, по ихъ происхожденію и въ русской литературѣ, то, съ другой стороны, данная сказка, какъ цѣльное литературное произведеніе, въ сознаніи сказателя есть нѣчто болѣе или менѣе законченное; съ этой точки зрѣнія сказка эта можетъ быть опредѣляема болѣе или менѣе точно, потому что сюжетъ остается сюжетомъ, хотя его прошлое для насъ не ясно, но иногда комбинація мотивовъ и сюжетовъ, раскраска ихъ ясно можетъ указывать на время и среду, въ которыхъ могла возникнуть извѣстная намъ теперь сказка, какъ результатъ литературнаго процесса опредѣленной среды и времени. Такъ, нѣкоторые международные сюжеты, напримѣръ, о хитрыхъ, о мудрыхъ людяхъ, прицѣпляются къ извѣстной эпохѣ, къ извѣстной личности; напримѣръ, существуетъ отдѣльный циклъ сказокъ о томъ, какъ гордымъ боярамъ былъ данъ суровый урокъ простымъ, но яснымъ умомъ простого русскаго человѣка, и всѣ эти сказки пріурочены къ опредѣленной личности—къ личности Ивана Грознаго. Это указываетъ, что сказки, дающія комбинацію сюжетовъ съ такой тенденціей и бытовой окраской могутъ быть возведены къ эпохѣ Ивана Грознаго: тѣ отношенія между сословіями, которыя изоб-

ражаются въ сказкѣ, находятъ себѣ мѣсто и въ русской дѣйствительности XVI вѣка. Съ другой стороны, можно отмѣтить при изученіи происхожденія отдѣльныхъ сюжетовъ, отдѣльныхъ мотивовъ, которые входятъ въ составъ сказокъ, и такого рода явленія: иногда рядомъ съ международными (безъ времени и безъ лицъ) сюжетами, мы встрѣчаемъ вкрапленными такіе мотивы, которые носятъ на себѣ отпечатокъ опредѣленнаго времени и среды. Таковы сказки, которыя стали народными и которыя проникли въ письменную старую литературу, напримѣръ, сказки о Ершѣ Ершовичѣ, о Шемякиномъ судѣ. Онѣ пріурочиваются, если не къ опредѣленному году, то къ болѣе или менѣе точно опредѣляемой хронологически эпохѣ жизни русскаго общества. Сказка объ Ершѣ Ершовичѣ по своимъ бытовымъ особенностямъ отражаетъ бытъ нашихъ приказовъ, бюрократическихъ до крайности, развившихся въ XVII вѣкѣ, хотя ея мотивы восходятъ къ старой международной сказкѣ о животныхъ. Сказка о Шемякиномъ судѣ, повидимому, восходитъ къ тому же самому времени, при чемъ имя Шемяки есть наслоеніе на международный сюжетъ, отразившее на себѣ историческое воспоминаніе, которое идетъ еще отъ XV в., отъ времени князя Дм. Шемяки. Въ сказкѣ есть, несомнѣнно, такіе элементы, которые даютъ возможность опредѣлить складъ этой сказки, составъ ея, какъ относящейся къ болѣе или менѣе опредѣленному времени или по крайней мѣрѣ ко времени, не раньше котораго создалась эта сказка. Самые же отдѣльные мотивы сказки о Шемякиномъ судѣ восходятъ также къ международнымъ, засвидѣтельствованнымъ еще древне-индійской литературой. Эта возможность установить хронологію сказки дается и въ томъ случаѣ, когда въ устную сказку вкраплены книжные мотивы, происхожденіе которыхъ намъ извѣстно: исходя изъ литературной исторіи этихъ книжныхъ мотивовъ, мы можемъ сказать не ранѣе какого времени эти сюжеты проникли въ нашу сказку. Такъ, напримѣръ, есть сказка о добываніи чудесныхъ предметовъ, въ числѣ которыхъ играютъ роль царскія регаліи: сказка объ Ярыжкѣ Бармѣ. Эта сказка подъ разными наименованіями встрѣчается въ цѣломъ рядѣ народныхъ пересказовъ; но, зная происхожденіе первоначальной сказки о добываніи царскихъ сокровищъ—именно, сказаніе о Вавилонскомъ царствѣ—мы можемъ сказать, что эти сказки не могутъ восходить къ эпохѣ ранѣе XV вѣка или XVI в., потому что та концепція, которая положена въ основу сказки, включена въ повѣсть о Вавилонскомъ царствѣ, какъ разъ въ редакціи конца XV-го, начала XVI вѣка. То же самое можно сказать о той сказкѣ, которая цѣликомъ представляетъ перефразировку книжнаго сказочнаго сюжета. Въ числѣ народныхъ сказокъ о мудрыхъ людяхъ, мы находимъ такія, которыя указываютъ на свою

несомнѣнную связь съ книжными сказаніями о Соломонѣ: суды Соломона, разсказы о Соломонѣ и Китоврасѣ, о Соломонѣ и Соломонихѣ (т.-е. невѣрной женѣ Соломона). Эти разсказы въ народныхъ устахъ, несомнѣнно, книжнаго происхожденія; будучи переработаны въ сказку, они истолковали Соломона здѣсь, какъ образъ, символъ мудраго человѣка вообще, почему Соломонъ въ сказкѣ иногда утратилъ свое имя; но, несмотря на это обобщеніе, сохраняется тѣсная связь сказки съ ея первоисточникомъ. Источникъ этотъ опредѣляетъ хронологически, если не возникновеніе, то, по крайней мѣрѣ, распространеніе этой сказки въ русской литературѣ.

Такимъ образомъ, изъ этихъ немногихъ примѣровъ, можно вывести по крайней мѣрѣ одно наблюденіе, что сказка, до сихъ поръ существующая въ нашей устной литературѣ, такъ же, какъ и былина и другіе виды народной словесности, происхожденія безусловно чрезвычайно сложнаго, разнообразнаго по источникамъ. Она не представляетъ чего-нибудь цѣльнаго, сразу опредѣлившагося, а есть результатъ довольно долгой литературной работы, переработки въ различныхъ комбинаціяхъ отдѣльныхъ сюжетовъ. Въ свою очередь, эти сюжеты представляются чрезвычайно разнообразными по своему происхожденію: возможно, что одни изъ этихъ сюжетовъ придется признать тѣми міровыми легендами, которыя возникаютъ независимо другъ отъ друга, всюду и вездѣ, при дѣйствіи общихъ историческихъ законовъ, одинаковой культуры, при извѣстной одинаковости условій быта, переживаемыхъ всѣмъ человѣчествомъ въ зависимости отъ общихъ законовъ человѣческой психики. Число такихъ сюжетовъ въ русской сказкѣ, по крайней мѣрѣ, насколько можно судить по теперешнему собранному матеріалу, сравнительно невелико; но во всякомъ случаѣ возможно, что и въ русскихъ сказкахъ окажутся подобные сюжеты, т.-е.: придется признать часть сюжетовъ русской сказки самозародившимися, самостоятельно создавшимися. Есть, несомнѣнно, сюжеты и мотивы очень ранняго происхожденія и въ нашей литературѣ и давно пустившіе въ нее корни: это—частью пришлые сюжеты, частью объясняющіеся, можетъ быть, даже доисторическимъ родствомъ народовъ, а потому весьма древніе въ русской сказочной литературѣ. Эта ихъ древность (разумѣется, относительная) видна изъ того, что они сохранили на себѣ цѣлый рядъ наслоеній историческихъ, отражая историческую обстановку опредѣленнаго времени, и это время иногда очень отдаленное; но говорить, что въ этихъ сюжетахъ сохраняется какое-нибудь доисторическое вѣрованіе или представленіе, мы не имѣемъ права; если это допустимо и теоретически, то на дѣлѣ давно уже подобное представленіе не связывается съ сюжетомъ сказки въ гла-

захъ слагателей и сказателей, т.-е., эти сюжеты давно уже не имѣютъ своего первоначальнаго смысла, а являются чисто-литературными, которые, какъ всякое литературное поэтическое произведеніе, подчиняются всѣмъ тѣмъ законамъ, при которыхъ можетъ существовать, зарождаться, развиваться устное литературное произведеніе. Что касается другихъ элементовъ русской сказки, то, несомнѣнно, въ этой сказкѣ мы видимъ сильное отраженіе русскаго быта. Есть между сказками и своя бытовая сказка, которая, пользуясь старыми элементами, созидается на русской почвѣ, и притомъ въ довольно позднее время. Таковъ цѣлый рядъ сказокъ насмѣшливыхъ, сатирическихъ, чисто бытового характера; онѣ, несомнѣнно, являются отраженіемъ быта опредѣленнаго времени, выраженіемъ отношенія сказателя, составителя сказки къ тѣмъ или другимъ особенностямъ стараго или даже болѣе или менѣе современнаго намъ быта. Конечно, доказывать присутствіе въ сказкѣ элементовъ заимствованія, притомъ книжнаго происхожденія, надобности нѣтъ: въ этомъ сказка не составляетъ исключенія среди другихъ памятниковъ устной словесности.

Устная легенда.

Приблизительно въ тѣхъ же отношеніяхъ, въ какихъ мы намѣтили отношенія духовнаго стиха къ былинѣ и исторической пѣснѣ, стоитъ къ сказкѣ такъ называемая устная легенда: она — прозаическій разсказъ народно-религіознаго содержанія, подобно стихотворному духовному стиху (эпическому). Много общаго у нея и съ этимъ послѣднимъ: часто они, стихъ и легенда, представляютъ одинъ — стихотворную, другая—прозаическую обработку одного и того же источника. Сближаетъ легенду и духовный стихъ также и то, что, какъ тотъ, такъ и другая находятся въ сильной зависимости отъ книжныхъ источниковъ: и легенда, и стихъ представляютъ устно-народную обработку христіанской старой легенды, дошедшей въ русскую литературу большею частью въ видѣ письменныхъ памятниковъ, путемъ переводовъ, въ громадномъ большинствѣ случаевъ съ греческаго, рѣже съ языковъ западныхъ; рѣдко заносилась эта христіанская легенда устнымъ путемъ, какъ результатъ международныхъ непосредственныхъ сношеній (напр., путемъ паломничества). Какъ устно-народная, т.-е., примѣняющаяся къ уровню народнаго міросозерцанія обработка, устная легенда является вмѣстѣ съ духовнымъ стихомъ весьма цѣннымъ матеріаломъ для изученія процесса проникновенія христіанскихъ идей въ русскую жизнь, уясненія взаимоотношеній между ними и народнымъ

міросозерцаніемъ, слагавшимся раньше христіанства и на иныхъ совершенно основахъ.

Исторія христіанской легенды вообще, у всѣхъ народовъ, переходившихъ отъ нехристіанскихъ воззрѣній къ христіанскимъ, даетъ вездѣ болѣе или менѣе одинаковыя ступени развитія этой легенды, въ значительной степени разъясняетъ характеръ этой легенды и объясняетъ, почему именно такова была судьба этой легенды. Не вдаваясь въ ненужныя здѣсь подробности жизни христіанской легенды [1]), ограничимся указаніемъ на общій характеръ христіанской легенды и на главныя отраженія ея въ устной нашей словесности.

Христіанская легенда, какъ своего рода христіанскій народный эпосъ, является прежде всего популяризаціей христіанства (какъ міросозерцанія, ученія) и христіанской религіозной литературы [2]). Этотъ популярный характеръ христіанской легенды обусловилъ ея широкое распространеніе (главнымъ образомъ, съ востока, колыбели христіанства) среди новообращаемыхъ народовъ, невысокая культура которыхъ представляетъ много общаго съ культурой той среды, которая на родинѣ легенды была главной потребительницей этой легенды; этотъ же общедоступный характеръ христіанской легенды, упрощавшей и приспособлявшей христіанство къ народному пониманію, въ значительной степени опредѣлилъ ея судьбу у новыхъ народовъ и отношенія ея къ устной словесности ихъ, продолжавшей жить и въ христіанское время: она и на новой родинѣ вступаетъ въ тѣсное взаимоотношеніе съ устной словесностью, надѣляя ее своими упрощенными христіанскими мотивами и сама воспринимая элементы изъ этой словесности, такъ сказать, обмірщаясь. Поэтому и въ русской устной религіозной легендѣ мы встрѣтимъ и сказочные и былинные мотивы. Другая особенность христіанской легенды—ея стремленіе къ прикрѣпленію къ опредѣленной личности и пріуроченію къ опредѣленной мѣстности—также нашла отраженіе и въ русской легендѣ: дѣйствіе ея переносится на Русь, рядомъ съ общехристіанскими героями легенды въ ней фигурируютъ и совершаютъ тѣ же дѣйствія лица русскія; поэтому, напр., св. Егорій ѣздитъ по Русской землѣ, а про русскаго святого Сергія разсказывается тоже, что про сирійскаго Герасима, про русскаго Меркурія то же, что про св. Діонисія

---

[1]) Онѣ въ русской научной литературѣ разъяснены, главнымъ образомъ, въ трудахъ А. Н. Веселовскаго: „Опыты по исторіи развитія христіанской легенды“ (Ж. М. Н. П. 1875 г. IV и V; 1876 г., II, III, IV, VI; 1877 г., II, V), „Разысканія въ области духовнаго стиха“ (I — XXII, Спб. 1879 — 1881 гг.), „Калики перехожіе и богомильскіе странники“ („Вѣстн. Евр.“ 1872, IV) и др.

[2]) Подробнѣе о происхожденіи легенды, ея развитіи см. въ моемъ курсѣ „Древней русск. лит.“ (изд. 2), стр. 230 и сл.

или греческаго Меркурія; на этомъ же основаніи грозный врагъ Бога—сатана, постепенно превратился въ русскаго чорта, принялъ на себя черты русскаго быта. Иначе сказать: чужая первоначально и чуждая по воззрѣніямъ христіанская легенда акклиматизировалась на Руси, обогативъ содержаніе русской устной поэзіи и сама обогатившись элементами этой поэзіи.

Изъ сказаннаго ясно, что источникомъ русской легенды была легенда древняя христіанская, претерпѣвшая рядъ измѣненій еще до перехода на Русь; отсюда же будетъ слѣдовать, что источникъ этотъ будетъ въ большинствѣ случаевъ книжный, ставшій достояніемъ широкихъ массъ и потому превращавшійся въ устный разсказъ. Поэтому и объемъ содержанія христіанской русской устной легенды въ значительной степени опредѣляется исторіей книжной легенды въ русской литературѣ письменной, представляя въ то же время болѣе узкій кругъ сравнительно съ книжной русской легендой: не вся христіанская легенда стала достояніемъ русской письменности, не все изъ этой письменности стало достояніемъ массъ. Тѣмъ не менѣе, можно сказать, что главнѣйшіе сюжеты христіанской легенды (заключенной преимущественно въ письменности не канонической и апокрифической) нашли себѣ выраженіе и въ русской легендѣ. Такъ, легенды о мірозданіи, какъ разрѣшающія (по-своему, правда) одинъ изъ наиболѣе интересныхъ вопросовъ нашего бытія, есть и въ русской устной легендѣ. Эти легенды о мірозданіи любопытны для изслѣдователя между прочимъ и потому, что въ нихъ нашло себѣ выраженіе то дуалистическое представленіе объ окружающемъ, которымъ отмѣчено средневѣковое міросозерцаніе вообще; а у насъ оно окрашено сверхъ того тѣмъ рѣзко выраженнымъ дуализмомъ, которымъ отличалось богомильство, одно изъ змѣчательныхъ народно-христіанскихъ движеній югославянства (Болгаріи) X—XI вв. Впрочемъ, надо предупредить, что богомильской ереси, несмотря на ея популярность на югѣ славянства и даже въ западной Европѣ (катарры, патарены, альбигойцы), не слѣдуетъ придавать преувеличеннаго значенія: богомильство, какъ опредѣленная строго приведенная система дуализма, облекшаго въ своеобразныя реальныя формы даже соціальный и религіозный строй жизни своихъ сторонниковъ, отраженія, какъ вѣроученіе, у насъ не имѣла или почти не имѣла [1]; но, какъ идейное теченіе, сыгравшее значительную роль въ популяризаціи легенды, культивировавшее ее особенно охотно, богомильство явилось, повидимому, крупнымъ источникомъ и русской легенды,

---

[1]) О богомильствѣ существуетъ цѣлая литератора, съ именами Веселовскаго, Ягича, М. Соколова, Радченка; о ней см. въ моемъ курсѣ „Древней литерат.“, стр. 256 и сл.

перенося ее на нашу почву. Въ результатѣ, повидимому, оно, давши намъ много легендъ, однако, съ ними не успѣло привить своего тенденціознаго ихъ толкованія. Богомильская же легенда потому охотно усваивалась въ своемъ содержаніи нашей, что въ міросозерцаніи русскаго племени (какъ и вообще во всемъ средневѣковомъ, какъ указано было) элементы дуализма уже были даны еще въ дохристіанскую эпоху.

1. Русская устная легенда о мірозданіи представляетъ одно изъ такихъ отраженій дуалистическихъ христіанскихъ легендъ: когда Богъ рѣшилъ создать міръ, то еще ничего не было, кромѣ воды. Встрѣтивъ чорта, Богъ приказываетъ ему нырнуть и достать со дна моря песку, при чемъ чортъ долженъ сказать: «Во имя Отца и Сына и св. Духа». Только по третьему разу (два раза чортъ не хочетъ поминать имя Божіе, и песокъ уходитъ между пальцевъ) чортъ досталъ песку, при чемъ часть его укралъ, спрятавши за щеку. Получивъ песокъ, Богъ разбрасываетъ его по поверхности воды и приказываетъ ему расти, образуя материки. Но растетъ земля и у чорта за щекой; онъ долженъ сознаться въ кражѣ, выплюнуть землю; изъ этой «чортовой» земли Богъ образуетъ на землѣ топи, болота, непроходимыя горы. Дуализмъ въ твореніи міра ясенъ; онъ еще болѣе рѣзко выраженъ въ исходной богомильской легендѣ (Liber Ioannis): здѣсь Богъ и Сатанаилъ—братья, враждуютъ между собой, каждый творитъ свой міръ, и т. д. Но Богъ могущественнѣе и одолѣваетъ Сатану, забирая его твореніе.

2. Такая же дуалистическая легенда лежитъ и въ основѣ русской устной о созданіи человѣка и животныхъ: Богъ изъ земли создалъ человѣка, чортъ тоже, но не можетъ оживить его. Богъ идетъ въ рай за душой, чортъ этимъ пользуется, чтобы изгадить твореніе Божіе; Богъ выворачиваетъ человѣка на изнанку, и все, надѣланное чортомъ, оказывается внутри человѣка (это—болѣзни), влагаетъ душу. По богомильской легендѣ—душа человѣка принадлежитъ Богу, тѣло—сатанѣ.

3. Библейская легенда, переработанная въ рядѣ апокрифовъ, о мудромъ Соломонѣ и борьбѣ его съ Китоврасомъ, дала рядъ отраженій въ легендѣ, какъ и въ другихъ видахъ устной словесности (см. выше); такова легенда, какъ Соломонъ сходилъ въ адъ, откуда сумѣлъ выбраться, благодаря своей мудрости; эта легенда легла въ основу поздней, правда, сказки о томъ, какъ солдатъ былъ у чертей въ аду, куда онъ попалъ потому, что тамъ есть и водка и табакъ (чего въ раю нѣтъ).

4. Среди легендъ встрѣчаемъ не мало разсказовъ о «крестномъ древѣ», которые восходятъ къ извѣстнымъ (противобогомильскимъ) книжнымъ легендамъ о томъ же. Въ связи съ этими легендами стоитъ сказка «Грѣхъ и наказаніе», воспроизводящая легенду о Лотѣ, поли-

вавшемъ въ видѣ покаянной работы головешки (изъ нихъ позднѣе выросло крестное древо).

5. Очень обиленъ отдѣлъ легендъ о святыхъ. Среди нихъ стоитъ отмѣтить весьма распространенные разсказы о хожденіи (ср. апокрифъ «Хожденіе апостоловъ») по землѣ святыхъ съ Богомъ: Петръ и Павелъ, иногда Илья пророкъ или Никола, со Христомъ ходятъ по деревнямъ, гдѣ творятъ чудеса, на первый разъ непонятныя: то обидятъ вдовицу, оказавшую имъ гостепріимство, то награждаютъ прогнавшаго ихъ богача. Дѣло разъясняется въ концѣ: вдовица—въ раю, богачъ—въ аду. Особенно много, разумѣется, легендъ про популярнаго Николу, великаго чудотворца, милостиваго, покровителя скота и т. д. Напомню въ видѣ образчика приведенную выше (стр. 315) легенду о св. Касьянѣ и Николѣ. Популяренъ не только въ стихѣ, но и въ легендѣ св. Георгій-Егорій, превратившійся даже въ сказочнаго змѣеборца, св. Пятница и др. Приведенные образцы русской устной легенды ясно показываютъ, что въ ней мы видимъ превосходный образецъ международности сюжетовъ нашей устной словесности, а съ другой стороны, взаимодѣйствія между книжной и устной словесностью въ прошломъ [1]).

Заговоръ.

Намъ предстоитъ пересмотрѣть еще одинъ видъ литературы, на которомъ слѣдуетъ остановиться, потому что онъ является довольно хорошимъ показателемъ для сужденія объ общемъ характерѣ и условіяхъ жизни, источникахъ нашей народной устной литературы. Это—такъ назыв. заговоры, «наговоры». По отношенію къ заговорамъ нужно сказать то, что изученіе ихъ можетъ быть въ отличіе отъ сказки, отъ былины, поставлено въ довольно опредѣленныя точныя рамки. Такую опредѣленность въ изученіи заговора даетъ намъ самое положеніе этихъ заговоровъ, среди другихъ памятниковъ устной словесности. Это—такой видъ литературы, который, съ одной стороны, являясь чисто поэтическимъ видомъ, доставляющимъ прежде всего удовлетвореніе тѣмъ потребностямъ, которымъ должны

---

[1]) Изъ изданій русской устной легенды слѣдуетъ указать: 1) А. Н. Аѳанасьева, „Русскія народныя легенды" (первое изд. — Москва 1860 г. — было запрещено цензурой) Казань 1914 г. — лучшее изданіе, съ біографіей Аѳанасьева, статьей о легендѣ А. Н. Пыпина (хуже изданіе подъ ред. С. К. Шамбинаго, М. 1914 г.), 2) М. П. Драгоманова „Малорусскія народныя преданія" (Кіевъ, 1876). Есть легенды въ сборникахъ Романова, Добровольскаго, Чубинскаго — въ большомъ количествѣ. Общій очеркъ легенды—Е. В. Аничкова—въ Ист. рус. лит., подъ ред. Аничкова, Бороздина и О.-Куликовскаго, I, 2 (стр. 107 и сл.).

удовлетворять поэтическія произведенія, т.-е., эстетическимъ потребностямъ въ широкомъ смыслѣ слова, въ то же время является переходнымъ къ тому виду устной народной словесности, который тѣсно связанъ съ бытомъ, съ обрядами. Заговоръ, такимъ образомъ, имѣетъ двойное значеніе: съ одной стороны, онъ чисто литературное произведеніе, съ другой стороны, такое словесное произведеніе, которое имѣетъ опредѣленное бытовое назначеніе въ жизни человѣка, который знаетъ и пользуется этими заговорами. Сверхъ того, заговоръ отливается въ довольно устойчивую опредѣленную форму; въ силу этого онъ по своему составу, по своему характеру является настолько консервативнымъ и устойчивымъ въ своемъ содержаніи, что мы можемъ довольно точно въ рядѣ случаевъ опредѣлить его источники, освѣтить его со стороны содержанія. Это благопріятное для изслѣдователя положеніе заговора не предрѣшаетъ, однако, рѣшенія другихъ вопросовъ, связанныхъ съ исторіей заговора, начиная съ его происхожденія, какъ акта творчества: и онъ представляетъ до сихъ поръ въ своей исторіи рядъ еще не разрѣшенныхъ удовлетворительно вопросовъ и заставляетъ ограничиваться гипотезами. Этотъ видъ устной словесности, съ одной стороны, тѣснѣйшимъ образомъ представляется связаннымъ съ міросозерцаніемъ народа, въ частности съ той его стороной, которая входитъ въ составъ религіозныхъ представленій и вѣрованій массъ, и въ основѣ своего возникновенія долженъ быть сочтенъ весьма древнимъ продуктомъ человѣческой психики: основная мысль всякаго заговора—вѣра, широко еще распространенная среди людей, стоящихъ на низкой ступени культуры, въ дѣйственную силу человѣческаго слова: при помощи слова можно вызвать то или иное явленіе въ окружающемъ внѣшнемъ мірѣ, прекратить или предотвратить то или иное событіе въ жизни природы или человѣка. Поэтому заговоръ является распространеннымъ среди всѣхъ народовъ независимо отъ ихъ родства: есть онъ не только у насъ, но и у отдаленныхъ дикарей Новаго Свѣта, не только во времена намъ болѣе или менѣе близкія, но находимъ мы его и у древнихъ народовъ востока, ассиріянъ и вавилонянъ, и у древнихъ грековъ и римлянъ. При этомъ замѣчательно то, что основная форма, въ которую отливается этотъ заговоръ, въ общемъ оказывается въ основѣ тождественной на пространствѣ почти всего земного шара, что дѣлаетъ еще болѣе вѣроятнымъ предположеніе о тѣсной связи заговора по его происхожденію съ общими законами человѣческой психики вообще. Съ другой стороны, въ своемъ содержаніи заговоръ въ огромномъ большинствѣ случаевъ столь же тѣсно связанъ съ такимъ сравнительно позднимъ явленіемъ нашей культуры, какъ письменность и книжная словесность: онъ приписываетъ дѣйственную силу не только

сказанному, но и написанному слову (напр., въ амулетѣ), а изъ книжной словесности заимствуетъ не только рядъ образовъ для своего содержанія, но отчасти и идею: въ немъ фигурируютъ и имена христіанскихъ святыхъ (самъ Христосъ, Богоматерь, св. Сисиній, Никола и мн. др.), и самъ онъ сближенъ уже съ молитвой въ христіанскомъ смыслѣ. Наконецъ, заговоръ связанъ съ живымъ бытомъ его носителей и хранителей: онъ стоитъ на перепутьѣ между словеснымъ произведеніемъ въ собственномъ смыслѣ и обрядомъ. Онъ не служитъ для удовлетворенія только эстетическихъ потребностей человѣка, хотя и облекается въ формы художественнаго словеснаго произведенія: онъ имѣетъ характеръ утилитарный, употребляется, какъ средство для привлеченія или отстраненія тѣхъ или иныхъ обстоятельствъ въ жизни человѣка: долженъ избавлять человѣка отъ болѣзни или, наоборотъ, можетъ нагнать на него болѣзнь, возбудить въ другомъ чувство любви или избавить его отъ этого влеченія; заговоръ можетъ получить даже узко практическое назначеніе: онъ долженъ помочь найти пропавшую вещь, указать на вора, дать крѣпость и долговѣчность новому дому, сдѣлать человѣка невредимымъ со стороны оружія, дать ему успѣхъ на охотѣ и т. д. Поэтому, оставляя пока въ сторонѣ вопросъ о происхожденіи заговора, какъ результата общечеловѣческой психики, не поддающагося точному учету историка, мы изучаемъ заговоръ исторически со стороны связей его съ бытомъ и съ книжной и устной словесностью. И въ данномъ случаѣ, мы на это получаемъ право: до нашего времени не сохранились заговоры въ ихъ первичной, доисторической формѣ и содержаніи, а дошли, неся на себѣ уже слѣды своего многовѣковаго «бытованія» въ народномъ обиходѣ со всѣми послѣдствіями этого «бытованія».

При изученіи заговора, какъ мы можемъ видѣть, на первое мѣсто выдвигается утилитарная сторона памятника, по своему же характеру и по своей формѣ носящаго черты литературнаго произведенія. Тѣ образы, которыми пользуются заговоры, то построеніе содержанія, порядокъ изложенія, съ которыми живутъ эти заговоры, тѣсно связываютъ ихъ, какъ мы говорили выше, съ памятниками литературы, какъ устными, такъ и письменными. Съ другими произведеніями устной литературы заговоры связываютъ преимущественно тѣ образы, отдѣльныя картинки, изъ которыхъ составляется содержаніе заговора. Съ книжной литературой связываютъ заговоръ внѣшняя общая форма, детали «заговорной формулы». Заговоръ близко подходитъ къ книжной молитвѣ церковной, имѣлъ прежде и имѣетъ, несомнѣнно, въ значительной степени смыслъ религіозный, независимо отъ того будетъ ли это смыслъ христіанскій, или нехристіанскій, суевѣрный, будетъ ли

выражать собою переживанія отдѣльныхъ вѣрованій дохристіанской эпохи, или христіанской.

Что касается употребленія заговора, примѣненія его въ жизни, то здѣсь опять-таки мы видимъ нѣкоторую особенность, сравнительно съ другими намъ уже знакомыми видами устной словесности. Заговоръ стоитъ близко къ быту и потому, когда онъ читается (большею частью на память или произносится надъ человѣкомъ или надъ предметомъ), чтеніе заговора обставлено извѣстными дѣйствіями: заговоръ отъ кровотеченія, напримѣръ, произносится надъ коркой хлѣба или пишется на исподней коркѣ хлѣба, сопровождается какимъ-нибудь таинственнымъ (можетъ быть, символическимъ) рисункомъ, послѣ чего эту корку хлѣба заставляютъ съѣсть; другіе заговоры произносятся надъ чашей съ водой, надъ какимъ-нибудь отдѣльнымъ предметомъ (зеркаломъ, углемъ, камешкомъ), при чемъ заговоръ и здѣсь сопровождается дѣйствіемъ: передъ тѣмъ, какъ приступить къ заговору, необходимо, по мнѣнію потребляющихъ его, повернуться три раза на востокъ, перекреститься, или перевернуться три раза съ закрытыми глазами, или что-нибудь въ этомъ родѣ. При произнесеніи заговора есть и другія дѣйствія: опрыскиваніе съ уголька «наговорной» водой. Заговоръ употребляется, и какъ вещественный предметъ: онъ пишется на бумажкѣ, его зашиваютъ въ тряпочку, въ ладонку, и она надѣвается съ произношеніемъ опредѣленныхъ словъ на человѣка, для котораго заговоръ долженъ служить защитой, амулетомъ. Наконецъ, что касается употребленія заговора въ массѣ, то онъ до сихъ поръ является распространеннымъ въ значительной степени, до сихъ поръ имѣетъ ритуальное значеніе, какъ выраженіе вѣрованія. Несомнѣнно, что заговоръ, по крайней мѣрѣ, не въ особенно древнее время, требовалъ особаго умѣнія въ его примѣненіи, культивировался спеціалистами, знатоками этого заговора. Въ большинствѣ случаевъ заговоръ является удѣломъ лицъ, которыя спеціально посвятили себя этому; это—вѣдуньи, колдуны, или простые люди, которые, хотя не носятъ опредѣленнаго названія, не дѣлаютъ изъ этого своего главнаго занятія, но считаются спеціалистами по этой части. Иногда это занятіе соединяется съ другой профессіей—народнаго врача, знахаря, который умѣетъ распознавать болѣзнь и умѣетъ ее пользовать, примѣняя рядомъ и заговоръ, и какое-либо народное лѣкарственное средство. Самая передача заговора въ значительной степени традиціонна: заговоръ передается отъ одного лица другому совершенно опредѣленнымъ образомъ: иногда онъ не можетъ быть написанъ словами, потому что онъ тогда якобы теряетъ свою силу; старшій передаетъ его младшему, выбранному имъ способному человѣку, показавшему свою

способность пользоваться заговоромъ, передаетъ его устно, такъ что отъ старшаго поколѣнія слѣдующее поколѣніе получаетъ этотъ заговоръ путемъ усвоенія его памятью. Такимъ образомъ ясно, что заговоръ по своему положенію среди памятниковъ устной словесности представляетъ отдѣльный видъ литературы, при чемъ этотъ видъ литературы сохраняется отдѣльными группами, отдѣльными носителями. Если въ старое время для былины, для исторической пѣсни извѣстны отдѣльные специалисты, которые культивировали ихъ, то тоже самое нужно сказать по отношенію къ заговору. Эти наблюденія надъ современной или, по крайней мѣрѣ, болѣе близкой къ намъ по времени жизнью заговора находятъ себѣ подтвержденіе въ старинныхъ свидѣтельствахъ нашей письменности: здѣсь мы встрѣчаемъ упоминанія о волхвахъ, чародѣяхъ, ворожеяхъ съ довольно ранняго времени, напр., въ каноническихъ правилахъ митроп. Іоанна II (XI в. конца), въ разсказахъ лѣтописей о вѣщемъ Олегѣ, въ поученіяхъ извѣстнаго проповѣдника XIII в. Серапіона Владимирскаго, а позднѣе въ судебныхъ дѣлахъ XVI—XVII в., среди которыхъ находимъ прямо дѣла о колдовствѣ, при чемъ изъ дѣлъ ясно, что обвиняемые употребляли заговоры, которые иногда и прилагаются въ видѣ записи къ самому судному дѣлу. Эти волхвы, чародѣи, ворожеи, несомнѣнно,—предки современныхъ намъ носителей заговоровъ.

Есть еще одна характерная черта заговора. Современный, извѣстный намъ заговоръ интересенъ по своей формѣ тѣмъ, что онъ представляетъ часто большое сходство съ молитвой, въ немъ встрѣчаются имена христіанскихъ святыхъ; но роль этихъ святыхъ будетъ нѣсколько иная, нежели въ канонической церковной письменности, въ молитвахъ богослужебныхъ. Это все показываетъ, что заговоръ тѣсно связанъ въ настоящее время съ христіанскимъ міросозерцаніемъ, но этимъ христіанскимъ міросозерцаніемъ не ограничивается содержаніе заговора: рядомъ съ христіанскимъ элементомъ мы встрѣчаемъ элементы далеко не христіанскаго характера. Присмотрѣвшись къ заговорамъ внимательнѣе, мы замѣчаемъ совершенно опредѣленную развитую символистику, и, если раскрыть эти символы, онѣ представитъ народное религіозное вѣрованіе отнюдь не христіанскаго характера. Такимъ образомъ, въ самомъ заговорѣ по его характеру мы замѣчаемъ извѣстнаго рода двойственность: съ одной стороны, элементы христіанскіе, съ другой—нехристіанскіе. Двойственность эта должна получить то или другое объясненіе изъ исторіи заговора.

Что касается исторіи заговора, то она до настоящаго времени представляется далеко не разъясненной во всѣхъ своихъ деталяхъ. Несомнѣнно, можно указать одно, что, если въ основѣ заговора лежитъ сло-

весное выраженіе народнаго вѣрованія, то, съ другой стороны, современный намъ заговоръ, какъ онъ находится въ устахъ народа, подвергся сильному вліянію книжной и прежде всего церковной литературы. Стало быть, изъ этихъ наблюденій мы должны вывести заключеніе, что въ теперешнемъ нашемъ заговорѣ, несомнѣнно, есть элементъ болѣе поздній, христіанскій. Зная эпоху появленія у насъ христіанства, подходя къ ней болѣе или менѣе близко, мы должны будемъ сказать, что христіанскій элементъ въ нашемъ заговорѣ раньше X—XI в. появиться не могъ. Съ другой стороны, тотъ элементъ не христіанскій, который останется за выдѣленіемъ христіанскаго, нуждается въ хронологическомъ пріуроченіи, и здѣсь-то мы встрѣчаемся съ большой трудностью. Если мы допустимъ, что элементъ нехристіанскій восходитъ къ эпохѣ вѣрованій языческихъ, т.-е. до X—XI вв., то мы сможемъ опредѣлить его только тогда, когда хорошо узнаемъ то міросозерцаніе языческое, которое создало этотъ заговоръ. Къ сожалѣнію наши свѣдѣнія о нашихъ дохристіанскихъ вѣрованіяхъ ограничиваются очень немногими положительными данными, а въ значительной степени являются гадательными, лишь предположеніями. Эта трудность хронологическаго опредѣленія заговора объясняется тѣмъ, что заговоръ по своему характеру не есть что-нибудь индивидуальное, принадлежащее русской письменности, а является, какъ мы видѣли, чѣмъ-то международнымъ и, можетъ быть, даже общечеловѣческимъ и въ отношеніи времени лишеннымъ хронологіи.

Это невольно зарождаетъ вопросъ о томъ, какимъ образомъ могла получиться эта общность? Опять и здѣсь мы стоимъ передъ тѣмъ недоумѣннымъ до сихъ поръ вопросомъ, который намъ пришлось поставить по отношенію къ сказочнымъ сюжетамъ, т.-е.: можемъ ли мы доказать, въ видѣ общаго положенія, что нашъ заговоръ есть результатъ одинаковой психики, одинаковыхъ душевныхъ свойствъ человѣка, что всюду и вездѣ она будетъ отражаться въ одинаковомъ видѣ, какъ результатъ одинаковости отношеній человѣка къ окружающему? Самое простое рѣшеніе было бы среднее, т.-е., предположить, что въ современныхъ заговорахъ въ видѣ переживанія мы имѣемъ и элементы древнѣйшаго міросозерцанія, какъ выраженіе общечеловѣческой психики, и рядомъ съ этимъ элементы заимствованные. Но и такого рода отвѣтъ самъ по себѣ правильный, какъ соотвѣтствующій во второй своей части дѣйствительности и à priori не противорѣчащій ей въ первой, не много, конечно, насъ приближаетъ къ рѣшенію вопроса по существу о происхожденіи и времени возникновенія заговора, какъ таковаго, вообще.

Несомнѣнно одно, что, если мы не можемъ точными данными доказать, что въ нашемъ заговорѣ есть элементъ общечеловѣческой пси-

хики, какъ результатъ общечеловѣческихъ религіозныхъ воззрѣній, то съ другой стороны мы можемъ съ увѣренностью говорить о томъ, что нашъ заговоръ довольно долгое время былъ выраженіемъ религіозныхъ вѣрованій русскихъ дохристіанскихъ; въ то же время мы должны признать, что элементъ христіанскихъ вѣрованій, вошедшій въ заговоръ прежняго времени, элементъ пришлый, принесенный къ намъ изъ Византіи вмѣстѣ съ христіанствомъ, и что онъ глубоко проникъ въ нашъ заговоръ. Выдѣливши этотъ христіанскій элементъ, мы все же въ остаткѣ не получимъ, въ качествѣ дохристіанскаго элемента, только одинъ элементъ доисторическій, получающій объясненіе въ общечеловѣческой психикѣ: тутъ будутъ элементы народныхъ представленій и позднѣйшаго, хотя и дохристіанскаго времени (конечно, продуктами общечеловѣческой психики мы ихъ не сочтемъ), элементы не христіанскіе, а также заимствованные вмѣстѣ съ заговоромъ (напр., изъ той же Византіи, гдѣ заговоръ, хотя содержитъ ранніе, но не доисторическіе только элементы—античные, напр., нехристіанскія воззрѣнія, затѣмъ перенесенныя отчасти и къ намъ)— словомъ: выдѣленіе въ заговорѣ элементовъ, объясняемыхъ только общей психологіей человѣчества, представляетъ трудность, такъ какъ самые законы человѣческой психики далеко намъ не вполнѣ извѣстны, а другіе элементы также не всегда могутъ быть выдѣлены въ той позднѣйшей формѣ заговора, какая намъ теперь доступна.

Отказываясь отъ рѣшенія общаго вопроса о происхожденіи заговора вообще и обратившись къ русскому заговору, сохраненному въ русской литературѣ и до сихъ поръ въ значительной степени существующему въ народной массѣ, мы все-таки стоимъ уже на болѣе твердой исторической почвѣ, т.-е., мы можемъ сказать, что теперешній нашъ заговоръ уже поддается до извѣстной степени изученію историческому и, стало быть, становится доступнымъ для изученія и исторіи литературы. Что касается нашего заговора, то прежде всего слѣдуетъ (какъ и въ другихъ случаяхъ) обратить вниманіе на составъ нашего матеріала. По-видимому, заговоръ и въ прежнее время, и въ значительной степени и до настоящаго времени пользовался очень широкимъ распространеніемъ на русской почвѣ. Это видно изъ того, что попытка собрать эти заговоры съ устъ народа всегда давала очень обильный матеріалъ, даже въ сравнительно небольшомъ районѣ, гдѣ мы разыскиваемъ эти заговоры. Самая степень распространенія заговора въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ ясно показываетъ, что заговоры, находящіеся въ нашемъ распоряженіи, составляютъ лишь незначительную часть тѣхъ, которые существуютъ до сихъ поръ въ быту народа. Этотъ обильный матеріалъ увеличивается еще тѣмъ, который мы находимъ въ старинной письмен-

ности: въ народныхъ тетрадкахъ рѣдко XVII-го, но часто XVIII и XIX в. находимъ заговоръ даже въ видѣ отдѣльныхъ ихъ сборниковъ; встрѣчаемъ и старыя записи, какъ мы упоминали уже, даже въ судныхъ дѣлахъ. Повидимому, число заговоровъ бывшихъ въ употребленіи и до сихъ поръ употребляемыхъ такъ велико, что собранное до сихъ поръ надо признать только небольшой частью того, чѣмъ бы мы могли располагать. Къ числу такихъ сборниковъ русскихъ заговоровъ относится сборникъ, составленный Л. Н. Майковымъ и напечатанный въ Географическомъ Обществѣ (Спб. 1869 г.)—«Великорусскія заклинанія». Л. Н. Майковъ, какъ видимъ, ограничился только областью великорусскаго говора; собиралъ ихъ по тѣмъ записямъ, которыя были сдѣланы разными этнографическими экспедиціями и его корреспондентами, и получился у него сборникъ съ значительнымъ количествомъ великорусскихъ только заговоровъ: тамъ мы находимъ 372 заговора самаго разнообразнаго характера. Можно указать на другой сборникъ заговоровъ — П. С. Ефименка «Сборникъ малороссійскихъ заклинаній»; этотъ небольшой сравнительно сборникъ интересенъ тѣмъ, что онъ исключительно собранъ въ мѣстностяхъ съ малорусскимъ населеніемъ. Третій сборникъ — «Бѣлорусскій» Романова; здѣсь (вып. V) опять мы находимъ большое собраніе бѣлорусскихъ заговоровъ (числомъ 824). Если присоединить сюда еще сборникъ Н. Виноградова, который печатался въ «Живой старинѣ» (1907 г.) [1]), тогда эта цифра возрастетъ еще на нѣсколько сотъ; а если собрать отдѣльные заговоры, разсѣянные по разнымъ этнографическимъ изданіямъ, то, несомнѣнно, эта цифра увеличится въ нѣсколько разъ. Такимъ образомъ мы, ясно, обладаемъ уже очень большимъ матеріаломъ. Таковъ устный материалъ; но въ нашемъ распоряженіи есть матеріалъ и письменный, какъ мы отмѣтили. Заговоръ, какъ близкій по типу и въ сознаніи пользующихся къ молитвѣ, смыслъ которой далеко не всегда ясенъ для читающаго, для заговаривающаго, очень рано сталъ нуждаться въ записи. Иногда въ заговорѣ мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ такихъ словъ, которыя и намъ и носителямъ заговора совершенно непонятны, но которыя для носителей заговоровъ представляютъ собою цѣнный элементъ въ этомъ заговорѣ [2]). Такой заговоръ, какъ и всякій заговоръ, удержать

---

[1]) Вышло отдѣльно 2 выпуска подъ заглавіемъ: „Заговоры, обереги, спасительныя молитвы“ (Спб., 1908 г.).

[2]) Напр., очень часто въ смыслѣ заговора (отъ лихорадки) находимъ извѣстную въ старинной письменности „печать царя Соломона“ („магическій“ квадратъ: sator arepo, tenet, opera, rotas) — средневѣковое латинское заклинаніе Сатаны. Соломонъ, по легендамъ, какъ извѣстно, обладалъ чудеснымъ перстнемъ, дававшимъ ему власть надъ злыми духами.

въ памяти довольно трудно, во всякомъ случаѣ, труднѣе, нежели другіе виды литературы; поэтому заговоры начинають записывать довольно рано и записываютъ ихъ не ученые, а тѣ же самые знахари, тѣ же лица, которымъ нужны эти заговоры. Эти записанные заговоры являются подручными книгами для «колдуновъ», «знахарей», «вѣдуновъ». Они являются крупными источниками для ознакомленія съ заговорами и при томъ не въ современномъ составѣ, а временъ предшествующихъ (начиная съ XVII в.). Съ этой стороны старый письменный заговоръ изученъ въ значительно большей степени, чѣмъ устный. У Майкова, Ефименко и въ другихъ спеціальныхъ сборникахъ мы находимъ нерѣдко одинъ и тотъ же мотивъ и въ старой тетради, и въ записи, непосредственно сдѣланной; но только въ первомъ случаѣ онъ сохраненъ въ болѣе старомъ обликѣ и представляетъ поэтому для изслѣдователя бо́льшую цѣнность. Имѣя въ виду то, что заговоръ близко подходитъ по характеру къ молитвѣ, онъ подвергся вліянію канонической церковной молитвы. Заговоръ, принимая обычную формулу молитвы, встрѣчается даже въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ; напр., изданный въ 1641 г. въ Кіевѣ такъ наз. «Большой требникъ» Петра Могилы содержитъ рядъ молитвъ «на случай», которыя въ доброй половинѣ представляются ничѣмъ инымъ, какъ тѣми же заговорами, только нѣсколько прикрытыми обычной церковной оболочкой. Наконецъ, у насъ есть въ распоряженіи матеріалъ, который представляетъ, съ одной стороны, большую трудность для изученія, а съ другой—можетъ дать драгоцѣнныя указанія; это отзвуки употребленія заговоровъ въ нашей старой письменности, въ старой книжности. Если эти свидѣтельства собрать, имѣя въ виду то представленіе о заговорѣ, которое мы имѣемъ теперь, мы получимъ довольно опредѣленныя указанія на то, что заговоръ очень рано былъ уже въ употребленіи [1]) и проникъ въ нашу письменность, какъ отзвукъ нашего быта, нашей дѣйствительной жизни. Какъ рано мы можемъ констатировать примѣненіе у насъ заговора, на это есть у насъ довольно опредѣленныя указанія. Эти указанія восходятъ, повидимому, даже въ эпохѣ, непосредственно предшествующей христіанству. Такъ, напр., элементъ заговора встрѣчается впервые въ нашей лѣтописи, въ тѣхъ юридическихъ официальныхъ памятникахъ, которые извѣстны подъ названіемъ договоровъ русскихъ князей съ греками. Такъ, въ договорѣ Игоря съ греками въ 945 г., несомнѣнно, нужно видѣть, если

---

[1]) Теоретически, какъ мы видѣли, употребленіе заговора мы должны возводить ко временамъ до-историческимъ, но на дѣлѣ, въ историческое время существованіе заговора намъ приходится доказывать тѣмъ болѣе, что дошедшіе до насъ заговоры не восходятъ къ отдаленной эпохѣ.

не остатки, то указаніе на то, что заговоръ употреблялся въ половинѣ X в. Когда договаривались греки христіане съ язычниками варягами и русскими, пришедшими съ Игоремъ, то тѣ и другіе произносили извѣстную клятву въ подтвержденіе своего договора; эта клятва язычниковъ и содержитъ элементы заговора; въ клятву включены слова: «а елико ихъ (т.-е. русскихъ) не крещено есть, да не имутъ помощи отъ Бога, ни отъ Перуна, да не ущитятся щиты своими, и да посѣчени будутъ мечи своими и отъ стрѣлъ и отъ иного оружья своего». Подчеркнутыя слова—нѣчто въ родѣ заговора на оружіе, цѣлый рядъ которыхъ намъ извѣстенъ и по новымъ, и по старымъ записямъ. Можетъ быть, то же самое есть въ договорѣ Святослава 971 года; тутъ также передъ нами та формула, подобную которой мы также встрѣчаемъ въ дошедшихъ до насъ заговорахъ [1]), т.-е., уже въ X в. мы встрѣчаемъ тѣ заговоры, которые въ видѣ переживанія, въ измѣненной формѣ дошли до насъ другимъ путемъ. Если подобное пониманіе приведенныхъ мѣстъ лѣтописи правильно, мы можемъ предположить, что нашъ дохристіанскій заговоръ уже имѣлъ въ себѣ тѣ элементы, которые мы видимъ въ немъ и позднѣе: формулу заклинанія, сравненіе.

Если мы прослѣдимъ дальше нашу письменную литературу, разыскивая въ ней свидѣтельства по отношенію къ заговору, то мы найдемъ почти непрерывно изъ вѣка въ вѣкъ рядъ указаній на этотъ заговоръ. Эти указанія будутъ приблизительно въ томъ же родѣ, какъ и тѣ, которыя только что приведены. Все это показываетъ, что та традиція заговора, которую впервые мы можемъ констатировать въ X в., сохраняется въ теченіе всего древняго періода письменности, а затѣмъ естественно она же переходитъ въ новый періодъ нашей устной народной литературы, т.-е., болѣе близкій намъ, такъ какъ эта эпоха засвидѣтельствована для заговора нашими записями XVII, XVIII и XIX вв.

Такимъ образомъ эти чисто-внѣшнія данныя указываютъ, что заговоръ, какъ видъ литературы традиціонной, продолжаетъ существовать въ теченіе всего извѣстнаго намъ историческаго періода нашей литературы. При этомъ прежде всего выдвигается вопросъ: въ какой формѣ существовалъ заговоръ въ древнее время, и дѣйствительно тотъ ли это заговоръ, который мы знаемъ въ XVII—XIX вв.? Обращаясь къ условіямъ (насколько мы ихъ знаемъ), при которыхъ существовалъ заговоръ, по крайней мѣрѣ, въ эпоху уже христіанскую, и сопоста-

---

[1]) Именно: „да будемъ золотѣ, якоже золото се, и своимъ оружьемъ да по сѣчени будемъ, да умремъ". „Золотѣ" надо понимать—желты, т.-е., указаніе на болѣзнь (желтуха, которой должны быть поражены клятвопреступники).

вляя тѣ же условія существованія заговора въ настоящее время или въ болѣе близкое къ намъ, мы убѣждаемся въ томъ, что эти условія въ основныхъ своихъ чертахъ будутъ тождественными. И въ прежнее время онъ имѣлъ своихъ представителей и носителей такихъ же, какими являются теперь упомянутые нами колдуны, вѣдуны, знахари и т. д.: дѣйствительно, всякій разъ, какъ въ древней письменности встрѣчаемся съ упоминаніемъ о заговорѣ, мы встрѣчаемся и съ упоминаніемъ о специальныхъ носителяхъ—«обавникахъ», «вѣдающихъ и гадающихъ», «волхбахъ», «кобникахъ», которые вполнѣ соотвѣтствуютъ современнымъ [1]. Такимъ образомъ, условія употребленія заговора, существованія его можно счесть также традиціонными. Взявши же тѣ отрывки элементовъ заговоровъ, которые можно видѣть въ упомянутыхъ выше заговорахъ X в., мы можемъ указать, что эта формула встрѣчаетъ себѣ полное соотвѣтствіе въ современныхъ заговорахъ. Такимъ образомъ, совпаденіе со стороны отдѣльныхъ заговорныхъ формулъ и условій употребленія заговора между древними и болѣе поздними современными намъ показываетъ, что обликъ, формула заговора сохраняетъ форму древнюю, также традиціонную. Если мы теперь поставимъ вопросъ съ другой стороны: насколько содержаніе современныхъ заговоровъ сохранило въ себѣ такія же традиціонныя устойчивыя черты, которыя мы видѣли въ древнее время, то на этотъ вопросъ такъ опредѣленно отвѣтить не придется. Какъ всякое произведеніе устной словесности, хотя и закрѣпленное отчасти письменностью, заговоръ подвергался въ теченіи ряда вѣковъ большимъ измѣненіямъ. Необходимо допустить и то, что языческій и христіанскій элементы заговора стоятъ въ извѣстномъ противоположеніи по духу; поэтому, какъ только начало распространяться христіанство, все, имѣющее языческую форму и содержаніе съ упоминаніемъ божества (каково бы оно ни было, будетъ ли это Перунъ, или домовой, лѣшій), въ христіанское время терпимо быть не могло. Это имѣло своимъ слѣдствіемъ, какъ и въ другихъ областяхъ литературы, постепенное оттѣсненіе до-христіанскаго элемента христіанскимъ, а чаще лишь прикрытіе христіанской оболочкой до-христіанскаго элемента. Эти общія соображенія теоретическаго характера должны насъ привести къ тому выводу, что и заговоръ въ значительной степени измѣнился подъ вліяніемъ болѣе позднихъ условій. Продолжая развиватъ наше положеніе, мы должны сказать, что древній до-христіанскій заговоръ измѣнился въ томъ направленіи, что языческое содержаніе, или, по крайней мѣрѣ, напоминаю-

---

[1] Часть этихъ свидѣтельствъ можно найти у П. В. Владимирова (Введеніе въ исторію русской словесности, стр. 123).

щее языческое выраженіе, должно было измѣниться и стать въ соотвѣтствіе христіанскому міросозерцанію, въ зависимости, конечно, отъ того, насколько христіанское міросозерцаніе глубоко проникло въ массу тѣхъ носителей, которые являлись хранителями заговора. Иначе, въ древнемъ заговорѣ мы должны уже видѣть наслоеніе христіанскихъ элементовъ; и, дѣйствительно, въ заговорахъ фигурируетъ цѣлый рядъ святыхъ, замѣнившихъ собою, надо думать, языческія имена, притомъ наиболѣе популярныхъ святыхъ: это—Богородица, Іисусъ Христосъ, апостолы, популярные святые: Егорій, особенно часто Николай Чудотворецъ, Ѳеодоръ Тиронъ, Параскева Пятница, Никита, Зосима [1]) и др. При этомъ старая языческая основа, конечно, не могла совершенно исчезнуть: она только приняла христіанскую оболочку. Этимъ объясняется, почему нашъ современный заговоръ представляетъ смѣшеніе до-христіанскихъ и послѣ-христіанскихъ элементовъ. Таковы теоретическія разсужденія. Эти разсужденія были необходимы: они отчасти подтверждаются современными изученіями заговора [2]). Существуетъ, однако, извѣстное направленіе въ наукѣ, которое проводитъ взглядъ нѣсколько иной. Такъ, одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей русскихъ заговоровъ, В. П. Мансикка, далъ изслѣдованіе о русскихъ заклинательныхъ формулахъ (Ueber russische Zauberformeln. Helsingfors, 1909), гдѣ онъ довольно настойчиво указываетъ, что все содержаніе заговора, вся его форма есть не что иное, какъ искаженіе въ народныхъ устахъ чисто-христіанскаго элемента, молитвы. Такое рѣшительное утвержденіе, къ которому онъ пришелъ, конечно, послѣ тѣхъ теоретическихъ обще-культурныхъ соображеній, которыя мы привели только что, внушаетъ сомнѣ-

[1]) Объясненія появленія тѣхъ, а не другихъ именъ святыхъ на заговорахъ, помимо ихъ популярности, слѣдуетъ искать во взглядѣ на отдѣльныхъ изъ нихъ, отразившихся въ другихъ народныхъ памятникахъ; такъ, Никола считается покровителемъ охоты, какъ и Егорій, Никита муч. знаменитъ, какъ побѣдитель „трясовичной“ болѣзни (также св. Сисиній), Зосима Соловецкій — покровитель пчелъ, Антипа—цѣлитель отъ зубной боли и т. д. Въ лубочной, а отчасти и рукописной тетрадкѣ есть даже отдѣльная статья о томъ, какимъ святымъ отъ какихъ болѣзней молиться. Объясненіе дастъ также и легендарно-апокрифическая литература, богатая элементами для заговора (напр., сказанія о Сисиніи) и прямо молитвами-заговорами, часто прямо переходившими въ уста народныхъ знахарей, или же черезъ посредство упомянутыхъ выше тетрадокъ съ заговорами.

[2]) Изъ изслѣдованій о заговорѣ можно рекомендовать, кромѣ указаннаго ниже В. Мансикки, старинную работу Крушевскаго „Заговоры, какъ видъ русской поэзіи“ („Варшавск. Университ. Изв.“ 1878 г., кн. 3), Зелинскаго „О заговорахъ“ („Сборн. Харьк. Ист.-физ. Общ., т. X), В. Миллера „Ассирійскія заключенія и русскіе народные заговоры“ („Рус. Мысль“, 1896 г. VII). Библіографич. указатель научной лит. о заговорахъ (правда, теперь уже устарѣвшій) данъ Н. Ѳ. Сумцовымъ: „Заговоры“ (Харьковъ, 1892г.—въ „Сборн. Харьк. Ист.-фил. Общ.“, т. IV и V).

ніе въ своей правильности. Дѣйствительно ли мы можемъ говорить, что нашъ заговоръ цѣликомъ есть произведеніе христіанской эпохи. Среди нашихъ заговоровъ есть заговоры, въ которыхъ или нельзя вскрыть, или не осталось слѣда прежнихъ вѣрованій; но отсюда не будетъ вытекать то, чтобы въ другую группу заговоровъ этотъ христіанскій элементъ или совершенно не проникалъ, или проникалъ, не вытѣсняя окончательно языческій, оставаясь здѣсь хотя бы въ видѣ слѣдовъ двоевѣрія, въ видѣ переживанія языческой старины подъ христіанской оболочкой. Въ этомъ пришлось убѣдиться и самому Мансиккѣ, когда онъ попробовалъ проанализировать новую группу заговоровъ, которыми онъ не пользовался во время своего изслѣдованія [1]; тутъ онъ пришелъ къ оригинальному выводу. Устанавливая содержаніе заговоровъ, онъ натолкнулся на цѣлый рядъ такихъ элементовъ въ заговорѣ, которые не могутъ быть объяснимы изъ наличности христіанской литературы, изъ наличности христіанскаго міросозерцанія. Это, главнымъ образомъ, тѣ заговоры, въ которыхъ довольно ясно сквозитъ полурелигіозное, суевѣрное воззрѣніе человѣка на явленія природы, на окружающее. Онъ долженъ былъ прибѣгнуть къ извѣстнаго рода искусственной защитѣ своего прежняго положенія: хорошо знакомый съ заговорами у финновъ, гдѣ заговоры пользуются еще большимъ распространеніемъ, чѣмъ среди русскихъ народностей, онъ увидѣлъ здѣсь вліяніе финскаго заговора на русскій, въ основѣ якобы своей христіанскій. Противъ такого мнѣнія говоритъ то, что мы знаемъ до сихъ поръ о происхожденіи заговора съ точки зрѣнія его международнаго положенія, возможной связи его съ законами психологіи общечеловѣческой, отмѣченными выше; противъ этого же представленія говоритъ и то, что мы знаемъ о финскомъ вліяніи въ устной литературѣ вообще: оно ограничено по своимъ размѣрамъ и по своей территоріи (сѣверъ, мѣста соприкосновенія русской и финской народностей), а «финнскую» черту (обращеніе къ природѣ, ея силамъ) мы встрѣчаемъ повсемѣстно въ русскомъ заговорѣ, и тамъ, гдѣ рѣчи о финнскомъ вліяніи быть не можетъ. Эта же черта—обращеніе къ силамъ и явленіямъ природы—одна изъ существенныхъ частей цѣлой обширной группы заговоровъ. Если допускать финнское вліяніе, то можно допускать его въ опредѣленныхъ или опредѣляемыхъ каждый разъ случаяхъ. Наконецъ, противъ Мансикки въ данномъ случаѣ говоритъ и то, что заговоръ, если принять мнѣніе Мансикки, представитъ довольно исключительный по происхожденію видъ устной народной литературы, т.-е.: въ заговорѣ, какъ въ

[1] См. „Живую Старину“ 1909 г. IV—„Представители злого начала въ русскихъ заговорахъ“.

сказкѣ и въ былинѣ съ ея изобразительными средствами, эти черты мы должны признать не традиціонными, не унаслѣдованными, а принесенными извнѣ въ сравнительно болѣе позднюю эпоху, такъ какъ финское вліяніе на русскій народъ относится къ болѣе позднему времени. Всѣ эти соображенія въ значительной степени зарождаютъ подозрѣніе въ правильности вывода Мансикки. Спрашивается: откуда у В. П. Мансикки явилось подобнаго рода предположеніе? Мансикка, обращаясь къ изученію заговора, обратился къ тѣмъ старымъ записямъ заговоровъ, о которыхъ я только что говорилъ. Обратившись къ византійской литературѣ, какъ источнику нашего міросозерцанія христіанскаго, Мансикка въ ней нашелъ цѣлый рядъ заклинательныхъ молитвъ, которыя имѣются и у насъ; и исходя изъ общаго факта христіанскаго византійскаго вліянія на нашу литературу, онъ нашелъ возможнымъ указать, что самое возникновеніе (въ этомъ и заключалась ошибка), а не наслоеніе, заговора обязано своимъ происхожденіемъ греческому заговору, т.-е., онъ преувеличилъ и односторонне опредѣлилъ размѣры и характеръ византійскаго вліянія. Византійское вліяніе было, несомнѣнно, очень сильно въ нашей письменности. Оно было сильно и въ народномъ міросозерцаніи, но во всякомъ случаѣ не настолько сильно, чтобы безслѣдно изгнать прежнее или создать новый видъ устной народной литературы. Это мы видимъ хотя бы на томъ общемъ наблюденіи, которое показываетъ, что, если византійское вліяніе проникло широко въ нашу книжность, то все же оно въ народныхъ массахъ не могло справиться съ нашимъ прежнимъ міросозерцаніемъ и дало въ результатѣ двоевѣріе. Такимъ образомъ, съ какой бы стороны мы не подходили къ выводу В. П. Мансикки, мы должны этотъ выводъ подвергнуть значительному ограниченію. Это ограниченіе представляется въ такомъ видѣ. Несомнѣнно, въ заговорѣ христіанскій элементъ есть, и онъ весьма значителенъ, но этотъ элементъ христіанизаціи, проникновенія христіанскаго элемента, христіанскаго міросозерцанія въ среду народныхъ вѣрованій (которыя поэтому и приспособились къ христіанству, какъ болѣе культурному направленію) не былъ достаточно силенъ, и потому заговоры не утратили совершенно свой до-христіанскій характеръ.

Именно такое представленіе о заговорѣ больше всего намъ объясняетъ соединеніе элемента мірского и религіознаго, суевѣрнаго и христіанскаго. Это мы увидимъ, если присмотримся къ формѣ, къ литературной конструкціи заговора. Обыкновенно форма эта представляетъ не что иное, какъ расширенную формулу сравненія: это сравненіе или будетъ налицо, т.-е., оба члена сравненія будутъ стоять рядомъ, или оно будетъ скрыто подъ формой сопоставленія, или одинъ членъ сравненія

будетъ опущенъ, но во всякомъ случаѣ по смыслу сравненіе и здѣсь ясно. Обыкновенно, первая часть формулы заговора содержитъ первую часть сравненія, вторая, главная часть, содержитъ вторую часть сравненія. Первая половина формулы заключаетъ въ себѣ какой-нибудь образъ, положеніе, картинку, вторая—сравненіе съ этимъ положеніемъ частнаго случая или частнаго явленія, для котораго назначенъ заговоръ. Если мы возьмемъ наиболѣе простой заговоръ, наиболѣе ясный по своей формулѣ, то мы должны привести такой примѣръ: **какъ** солнце высушиваетъ росу, **такъ** пускай и любовь изсушитъ такого-то (заговоръ любовный), или: **какъ** руда сокрытая въ нѣдрахъ земли боится солнечнаго свѣта, **такъ** пускай скроется (перестанетъ течь) и кровь, текущая изъ раны (заговоръ отъ кровотеченія). Иногда это сравненіе бываетъ болѣе сложное. Оно начинается такого рода картинкой: «Встану я, рабъ Божій, перекрещусь, стану на востокъ, благословлюсь, выйду въ чистое поле, въ чистомъ полѣ стоитъ дубъ, на дубѣ сидитъ Мать Пресвятая Богородица, вокругъ нея (такіе-то) святые; **такъ** пускай будетъ мнѣ, рабу Божію, вездѣ участь добрая, встрѣча добрая». Здѣсь сравненіе выражено далеко не такъ ясно, но элементы сравненія находятся налицо: подобно тому, какъ положительное явленіе, хорошую встрѣчу представляетъ картина, которую я увижу (выйду я въ чистое поле или подойду къ морю, гдѣ на островѣ Буянѣ стоитъ дубъ),—такъ параллельно къ ней стоитъ и вторая половина. Очевидно, что такое сопоставленіе возможно только тогда, когда предполагается внутренняя связь; эта внутренняя связь и есть сравненіе въ широкомъ смыслѣ, сопоставленіе, аналогія. Такимъ образомъ, ясное дѣло, что главной формулой заговора слѣдуетъ признать сопоставленіе, аналогію. Между чѣмъ же происходитъ сравненіе? Между внѣшнимъ, опредѣленнымъ образомъ и положеніемъ человѣка и его желаніемъ. Вотъ то общее объясненіе смысла той формулы, въ которую укладываются всѣ заговоры: чего человѣкъ желаетъ, къ тому онъ и стремится; желаніе онъ выражаетъ, прежде всего, въ извѣстномъ образѣ, который напоминаетъ ему то, чего онъ желаетъ, затѣмъ выражаетъ и самое пожеланіе. Перейдя на отвлеченную формулировку, мы скажемъ: заговоръ представляетъ сопоставленіе существующаго (или считаемаго таковымъ) и желательнаго. Эта формула вытекаетъ изъ самаго характера заговора. Заговоръ существуетъ, возникаетъ для опредѣленной цѣли, для достиженія извѣстнаго результата. Если бы у заговора этой цѣли не было, тогда, конечно, не было бы вопроса о существующемъ и желательномъ и объ ихъ сопоставленіи. Эта формула построена въ свое время извѣстнымъ изслѣдователемъ народной словесности, А. А. Потебней. Эта-то формула повторяется въ болѣе или менѣе полномъ

видѣ во всѣхъ заговорахъ на всемъ земномъ шарѣ, и понятно почему: всѣ заговоры существуютъ, какъ средство получить желаемое. Такимъ образомъ въ заговорѣ его формула является до извѣстной степени обще-человѣческой, и потому естественно, что эта заговорная формула, какъ и самый заговоръ, имѣетъ права на признаніе своей доисторической древности и для русской литературы. Люди всегда желали, домогались, какъ бы низко ни стояли въ культурномъ отношеніи, того, чего имъ нужно, чего хочется. Самый важный элементъ для характеристики заговора, это именно то, что заговоръ есть словесная формула, словесный оборотъ, который долженъ произвести извѣстнаго рода реальное дѣйствіе. Здѣсь вскрывается новая сторона заговора, которая опять-таки должна возводиться къ очень глубокой древности по своему смыслу и по своему происхожденію. Подобнаго рода воззрѣніе на слово, какъ показываетъ намъ сравнительная этнографія, не является чѣмъ-либо новымъ, доступнымъ для человѣка, стоящаго на болѣе высокой степени культуры: вѣра въ то, что есть возможность оказать вліяніе на окружающее словомъ, особенно соединеннымъ съ дѣйствіемъ, присуща человѣку и на самой низшей степени религіозныхъ вѣрованій, даже при фетишизмѣ (когда приписывается неодушевленному предмету душа или способность совершать извѣстныя дѣйствія); она принадлежитъ къ числу такихъ же общечеловѣческихъ вѣрованій. Къ числу такихъ же вѣрованій человѣка, одареннаго даромъ слова, принадлежитъ и воззрѣніе на то, что человѣческое слово можетъ вліять на окружающее. Какъ человѣкъ вліяетъ на другого путемъ убѣжденія словомъ, приказаніемъ, словесной формулой опредѣленнаго содержанія (угроза, ласка), такое значеніе слова возможно и по отношенію къ явленіямъ природы. Человѣкъ путемъ слова можетъ оказать извѣстное вліяніе на окружающую его и нечеловѣкообразную природу. Что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ примѣненіемъ такого свойства человѣческой мысли вообще, заговоръ совершенно ясно даетъ на это указаніе: «Я заговариваю», значитъ, путемъ слова желаю достичь извѣстныхъ результатовъ въ дѣйствіяхъ. Теперь является вопросъ о томъ, какимъ образомъ при помощи слова можно заставить произойти извѣстное явленіе? Это и есть та словесная формула, въ которую облекается самый заговоръ: формула сравненія, формула параллелизма. Разъ заговоръ тѣсно связанъ съ религіозными вѣрованіями, то ясно, что эти сравненія чаще всего будутъ стоять въ связи, даже въ нашемъ заговорѣ, сохранившемъ по традиціи свой смыслъ, съ религіозной сферой человѣка; если эта религія языческая, не христіанская, то и мотивъ для сравненія будетъ находится въ связи съ не-христіанскими вѣрованіями. Въ концѣ-концовъ въ заговорѣ мы

должны видѣть все-таки проявленіе общепсихическихъ особенностей человѣка, и съ этой стороны основные элементы заговора могутъ быть признаны общечеловѣческими. Отсюда—это, на первый взглядъ, непонятное странное сходство между ассирійскимъ и русскимъ заговорами, хотя ассирійцы и русскіе не находились въ сношеніяхъ никогда другъ съ другомъ. Съ другой стороны, мы не хотимъ этимъ сказать, что заговоръ въ цѣломъ по отношенію къ своему словесному выраженію есть наслѣдіе общечеловѣческаго элемента культуры. Смыслъ, основа, идея заговора могутъ быть общечеловѣческіе, но отъ идеи нужно отдѣлять оболочку. Здѣсь, повидимому, и произошло то смѣщеніе, которое привело В. П. Мансикку къ такому одностороннему результату. Если мы допускаемъ общечеловѣческое происхожденіе идеи заговора, то этимъ самымъ мы допускаемъ существованіе заговора и въ до-христіанскую эпоху. Въ этомъ случаѣ Мансикка былъ не правъ; но что касается словесной формы, то имѣя заговоръ, который продолжаетъ существовать въ христіанскую эпоху, этимъ самымъ мы обязаны признать христіанское наслоеніе, христіанскій мотивъ для оболочки, для прикрытія основной идеи заговора. Такимъ образомъ становится ясно, почему нашъ заговоръ сплетается съ христіанской литературой, съ нашими христіанскими воззрѣніями. Тотъ же самый процессъ, который мы наблюдаемъ въ русскомъ заговорѣ, мы можемъ прослѣдить въ заговорахъ инородческихъ. Древне-христіанскій или византійскій заговоръ или заклинательная молитва, это—тотъ же самый заговоръ въ древнѣйшемъ видѣ. При примѣненіи религіозныхъ вѣрованій у восточныхъ народовъ, мы видимъ тѣ же самыя наслоенія. Въ персидскомъ заговорѣ смыслъ будетъ все тотъ же, но на немъ будетъ лежать отраженіе старыхъ персидскихъ вѣрованій. Русскій заговоръ въ этомъ отношеніи представляетъ то же самое, что и заговоръ любого народа, если онъ шелъ тѣмъ же самымъ путемъ, какимъ шелъ заговоръ всюду, т.-е., тѣмъ же путемъ, какимъ шла старая устная народная словесность. Мы знаемъ, что устная народная словесность дожила до нашего времени, вступая въ тѣ или другія отношенія съ нашими христіанскими воззрѣніями, и чѣмъ произведеніе дошло до насъ въ болѣе позднее время, тѣмъ больше оно проникнуто христіанскимъ міросозерцаніемъ.

Изъ сказаннаго до сихъ поръ о заговорѣ въ русской словесности мы можемъ составить себѣ такое о немъ представленіе. Зародившійся въ глубинѣ древности, какъ явленіе общечеловѣческое, заговоръ въ своемъ первоначальномъ видѣ не сохранился, но отдѣльные элементы первобытнаго міросозерцанія въ видѣ переживанія могутъ въ немъ сохранятся. Въ значительномъ же большинствѣ заговоровъ мы находимъ въ ихъ оболочкѣ—содержаніи—болѣе поздніе историческіе эле-

менты, преимущественно народно-поэтическіе и христіанско-книжные; послѣдніе должны быть признаны хронологически самыми поздними; но въ то же время и самыми въ количественномъ отношеніи обильными. Среди этихъ христіанскихъ элементовъ заговоровъ встрѣчаемъ и готовые заговоры, путемъ перевода усвоенные русской литературой, и христіанскую легенду, въ частности апокрифическую, въ качествѣ источника заговоровъ.

Какъ отдѣльный видъ устной словесности, заговоръ даетъ матеріалъ для сужденія о взаимоотношеніяхъ устной и книжной словесности весьма значительный, а по отношенію къ другимъ видамъ повѣствовательной устной словесности стоитъ на рубежѣ между ней и поэзіей обрядовой.

Пословица и поговорка.

Изъ мелкихъ по объему отдѣльныхъ произведеній, но очень распространенныхъ видовъ устной словесности повѣствовательнаго характера отмѣтимъ пословицу и поговорку. Въ старой литературѣ письменной они носили названіе «притчей», сближаясь въ представленіи съ такъ называемыми изреченіями, идущими въ большинствѣ случаевъ изъ чужихъ литературъ (сперва византійской, каковы «Пчелы», мелкіе «флорилегіи», позднѣе съ запада — фацеціи, жарты), иногда весьма популярными, а потому (уже можно заключать à priori) оказывавшими вліяніе и на туземную русскую пословицу и поговорку. Древность пословицы и поговорки засвидѣтельствована нашими письменными памятниками, охотнѣе, нежели другимъ видамъ устной поэзіи, дававшими ей доступъ на свои страницы, вѣроятно, въ виду близости ея къ переводнымъ пословицамъ, отсутствія въ нихъ чего-либо специфически непріемлемаго для книжника, а такъ же, какъ удобный, сжатый и красивый, обычный въ обиходѣ способъ выраженія мыслей въ значительной степени житейскихъ, близкихъ. Уже лѣтопись, разсказывая о старыхъ временахъ, вспоминаетъ «притчу»: «погибоша, аки Обри» (Авары); Владиміръ, по ея разсказу, отказываетъ магометанамъ въ принятіи ихъ вѣры шутливой поговоркой: «Руси есть веселіе пити — не можемъ безъ того быти». Въ XII в. «Слово о полку Игоревѣ» приводитъ пословицу: «Ни хытру, ни горазду, ни птицу горазду суда Божія не минути». Въ XIII-мъ Даніилъ Заточникъ въ своемъ «Моленіи» обильно пользуется не только книжнымъ изреченіемъ, но и народно-устной пословицей и поговоркой. Такъ обстоитъ дѣло во всемъ древнемъ періодѣ литературы вплоть до XVII вѣка, когда начинаютъ попадаться уже сборники народныхъ пословицъ, составлявшіеся, видимо, любите-

лями меткихъ и остроумныхъ выраженій [1]). Большинство сохраненныхъ старой письменностью пословицъ и поговорокъ, находитъ себѣ соотвѣтствіе въ тѣхъ, которыя въ недавнее время были записаны изъ устъ народа собирателями—доказательство ранняго существованія у насъ пословицы и устойчивости для нихъ традиціи. Что касается происхожденія пословицы, то, помимо заимствованныхъ изъ книжныхъ источниковъ и дошедшихъ изъ-чужа устнымъ путемъ (напр.: «не рой яму другому—самъ попадешь», идущая изъ св. Писанія), значительная доля ихъ должна быть сочтена самобытной, какъ результатъ наблюденія надъ окружающимъ, пережитого, выраженный въ видѣ обобщенія: не даромъ пословица представляетъ нѣчто въ родѣ своеобразной житейской «философіи» въ народномъ обиходѣ. Какъ отдѣльный видъ устнаго творчества, пословица представляетъ въ общемъ двѣ разновидности: однѣ—своего рода «сгущенное» обобщеніе разсказа, выражающее его главную мысль (ср. пословицу: «услужливый дуракъ опаснѣе врага» и сказку о дуракѣ), т.-е., имѣютъ своимъ источникомъ разсказъ; другія—обобщеніе частныхъ явленій жизни, получившее образный, иносказательный смыслъ, но не доразвившееся до цѣльнаго разсказа, басни («сухая ложка ротъ деретъ») [2]). Это опредѣленіе указываетъ, съ одной стороны, на источникъ пословицы, съ другой—на отношенія ея къ другимъ видамъ творчества: въ однихъ случаяхъ пословица стоитъ въ зависимости отъ разсказа, въ другихъ—она сама можетъ быть источникомъ его (она недоразвившійся разсказъ, тема). Какъ видъ словесности, тѣсно связанный съ житейскими сторонами быта, пословица отразила на себѣ этотъ бытъ въ разное время, а потому можетъ служить матеріаломъ для ознакомленія съ этимъ бытомъ (поскольку она не заимствована изъ готоваго источника, туземнаго или переводнаго, книжнаго); поэтому въ пословицѣ иногда можно найти отзвуки и историческаго характера и доисторическаго, напр., нашихъ дохристіанскихъ воззрѣній; таковы, напр., пословицы: «Который богъ вымочитъ, тотъ и высушитъ», «Жилъ въ лѣсу, молился пнямъ», «Моленый (т.-е. обреченный на жертвоприношеніе) баранъ отлучился, а гулящій прилучился», «Не все то русалка, что въ воду ныряетъ», и т. п.; «Словно шелъ Мамай войной», «Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день» (по поводу запрещенія перехода крестьянъ при Борисѣ), «Не въ пору гость—хуже татарина», «Голодный французъ и воронѣ радъ», и т. п. (ср. также приведенныя выше старинныя пословицы изъ книжной литературы).

---

[1]) Таковы не разъ упомянутые выше сборники, напечатанные П. К. Симони (см. выше, стр. 20).

[2]) Опредѣленіе А. А. Потебни (Изъ лекцій по теоріи словесности).

Съ внѣшней стороны—по формѣ—пословицы отливаются часто въ двухчленную форму, нѣчто въ родѣ стиха, при чемъ охотно пользуются созвучіемъ или въ начальномъ, или въ конечномъ словѣ всего изреченія, напр.: «Жни баба полбу, да жди себѣ по-лбу».

Что касается поговорки, то строго она не отличается отъ пословицы; можно, пожалуй, сказать, что, если пословица можетъ употребляться въ видѣ поговорки, всегда, то поговорка не всегда можетъ играть роль пословицы: поговорка—скорѣе сжатое, остроумное выраженіе, служащее украшеніемъ рѣчи, тогда какъ пословица въ той же сжатой формѣ есть обобщеніе, выводъ, имѣющій житейскій, философскій (этическій, чаще всего) характеръ [1]).

Загадка.

Загадки по формѣ, отчасти по содержанію и употребленію приближаются къ пословицѣ: та же краткость, сжатость изложенія, иногда стихотворно-ритмическая форма ея, репертуаръ темъ близкихъ къ быту и народной морали, то же назначеніе — развлеченіе, украшеніе рѣчи, съ претензіей на остроуміе. Съ этой стороны загадка можетъ быть по характеру сближена съ такъ называемой «вопросо-отвѣтной» книжной литературой (напр., «Бесѣда трехъ святителей»), гдѣ въ формѣ загадки и слѣдующей за ней отгадки дается объясненіе тому или другому явленію, предмету или случаю (большею частью, изъ области религіозной). Композиція загадки обычно такова: по отдѣльному признаку не называемаго предмета или по комбинаціи признаковъ другого предмета, аналогичныхъ не названному, надо назвать, опредѣлить этотъ предметъ; тутъ играетъ видную роль метафора, сравненіе, напр., «красная дѣвушка по небу ходитъ» (солнце), «постелю рогожку, настелю горошку, посреди хлѣба краюшку» (небо, звѣзды, мѣсяцъ), и т. д.

Подобно пословицѣ, и загадка можетъ играть своего рода служебную роль въ литературѣ, давая матеріалъ и форму для иныхъ сложныхъ произведеній; такъ, въ Голубиной книгѣ значительная часть содержанія (правда, заимствованнаго изъ книжнаго источника), отлилась въ форму загадокъ (напр., о правдѣ и кривдѣ, въ концѣ стиха); въ

[1]) Собранія пословицъ: Даль В., Пословицы русскаго народа" (1879 г.), И. Снегиревъ, „Русскія въ своихъ пословицахъ" (1834—38 гг.), его же, „Русскія народныя пословицы и поговорки" (1848 г.), Номис, „Украiньски приказки" (1864 г.), Носовичъ, „Бѣлорусскія пословицы" (1869 г), Иллюстровъ, „Жизнь русскаго народа въ его пословицахъ и поговоркахъ" (1910 г.).

сказкѣ загадка играетъ видную роль при развитіи фабулы, а иногда и сама сказка есть не что иное, какъ разработанная загадка [1]).

Загадка, какъ и пословица, явленіе общераспространеное въ міровой литературѣ, должна быть сочтена древнимъ явленіемъ и въ нашей словесности. Въ отличіе, однако, отъ пословицы, загадка оставила гораздо меньшій слѣдъ въ книжной литературѣ стараго времени; причина этого лежитъ, можетъ быть, въ менѣе серьезномъ отношеніи къ ней въ старое время, какъ къ предмету забавы, изощренія остроумія (тогда, какъ пословица—«мудрость»). Всеже слѣдъ употребленія загадки можно указать изъ довольно ранняго времени, въ лѣтописи: Ярославъ I съ новгородцами стоялъ на берегу Днѣпра противъ Святополка, «и бяше Ярославу мужь въ пріязнь у Святополка, и посла къ нему Ярославъ отрокъ свой нощію, рече къ нему: онъ сій—что ты тому велиши творити? Меду мало варено, а дружины много. И отрече ему мужь той: рци Ярославу тако: да аще меду мало, а дружины много, да къ вечеру дати. И разумѣвъ Ярославъ, яко въ нощь велитъ сѣчися». Здѣсь медъ—обычный образъ битвы (пира) [2]). Примѣненіе загадки въ литературномъ книжномъ произведеніи можетъ быть для стараго времени отмѣчено въ повѣсти о Петрѣ и Февроніи Муромскихъ; здѣсь мы встрѣчаемся съ загадками въ устахъ «мудрой дѣвы» Февроніи, которая посланнымъ отъ князя Петра говоритъ загадками; вотъ одна изъ нихъ: «не лѣпо есть быти дому безъ ушію, а храму безъ очію», что значитъ: плохо, если въ домѣ нѣтъ запора и оконъ. Самая повѣсть вся построена на народно-поэтическихъ сказочныхъ мотивахъ, вѣроятно, въ XVI—XVII в.; изъ этой же устной словесности попали въ нее и загадки вмѣстѣ со сказочнымъ образомъ «мудрой дѣвы» Февроніи. Но для уясненія соотношеній между загадкой и старой книжной литературой необходимо указать и на обратное явленіе: загадка устно-народная по источнику часто восходитъ къ книжнымъ «вопросо-отвѣтамъ», упомянутымъ выше.

Какъ тѣсно связанная съ бытомъ, откуда и заимствуются, главнымъ образомъ, содержаніе и образы въ загадкѣ, она отразила на себѣ различныя эпохи и даже событія русскаго прошлаго; поэтому можно говорить о загадкахъ, возникшихъ въ разное время, находить между ними и весьма древнія, какъ отразившія весьма древнія бытовыя черты. Къ числу такихъ древнихъ загадокъ, отразившихъ древнія представленія объ окружающемъ, слѣдуетъ отнести такія, гдѣ со-

---

[1]) Подробнѣе см. Е. Н. Елеонской „Нѣкоторыя замѣчанія о роли загадки въ сказкѣ“ (Этногр. Обозр. 1908 г.).

[2]) Примѣръ изъ П. В. Владимирова, Введеніе, стр. 129.

держаніе касается явленій природы (см. выше загадку о солнцѣ); древними также надо признать и такія загадки, гдѣ фигурируютъ уже давно исчезнувшія животныя, напр.: «Летитъ птица, не ѣстъ ни ржи, ни жита, а ѣстъ тура да оленя» (=оводъ). Такимъ образомъ въ составѣ загадки мы видимъ, какъ и въ пословицѣ, и оригинальныя древнія, и оригинальныя позднія, и заимствованныя то изъ книжной словесности, то изъ той же устной [1]).

Въ результатѣ и пословица, и загадка являются матеріаломъ для выясненія взаимоотношеній устной и книжной словесности: онѣ показываютъ, какъ и другіе, разсмотрѣнные нами памятники повѣствовательной по характеру устной словесности, тѣсную связь и постоянное взаимовліяніе между этими двумя отраслями единой русской словесности.

---

[1]) Собранія загадокъ: Д. Садовниковъ, „Загадки русскаго народа" (Спб. 1879 г.), Носовичъ, „Бѣлорусскія загадки" (Спб. 1869 г.), А. Сементовскій, „Малорусскія загадки" (Спб. 1872 г.).

Изъ литературы по устной словесности[1]).

Библіографія устной словесности.

1. Библіографич. указатель литературы по народной словесности на русскомъ языкѣ. Изд. Комиссіи по народной слов. при Этногр. отдѣлѣ И. Общ. Люб. Естествозн., Антрополог. и Этнографіи. Вып. I—1911, II—1912, III—1913.
2. Зеленинъ Д. К. Библіогр. указатель русской этногр. литературы о внѣшнемъ бытѣ народовъ Россіи.—Зап. И. Геогр. Общ. по отд. этнографіи, т. 40-й, вып. I. Спб. 1913.
3. — Описаніе рукописей Ученаго Архива И. Русск. Геогр. Общ. I—II, Птг. 1914—15.
4. Гринченко Б. Д. Литература украинскаго фольклора. Черниговъ. 1901.
5. Мезьеръ А. В. Русская словесность съ XI по XIX столѣтія включительно. Ч. I. (Спб. 1899) стр. 33—59.
6. Владимировъ П. В. Введеніе въ исторію русской словесности. Кіевъ. 1896; внизу, при началѣ каждой главы.
7. Указатели: А) Этнографич. Обозр. къ кн. I—15 (1892), 16—31 (1898), 32—51 (1903), 52—67 (1906); Б) Русск. Филол. Вѣстн. 1879—1913 гг., Варшава. 1913; Б) Извѣст. отд. русск. яз. и слов. И. А. Н., томы I—XII, Спб. 1911; Г) Кіевской Старины, 1882—1906 гг., изд. Полтавской Ученой Архивн. Комиссіи. Полтава. 1911.
8. Věstník slovanské filologie, I (Praha. 1901), стр. 171 и сл., II (Praha. 1902), стр. 219 и сл.
9. Pastrnek Fr. Bibliogr. Uebersicht über die slav. Philologie.—Arch. für. slav. Phil., Suppl-Band. (Berl. 1892).
10. Обозрѣніе трудовъ по славяновѣдѣнію, изд. И. А. Н. За годы: 1911, 1912 и 1913, подъ ред. В. Н. Бенешевича. Спб. 1913—1916.

I. Труды общаго характера.

1. Пыпинъ А. Н. Исторія русской этнографіи, четыре тома. Спб. 1890—2.
2. Вопросы теоріи и психологіи творчества, т. V. Харьковъ. 1914.
3. Владимировъ П. В. Введеніе въ исторію русской словесности. Кіевъ. 1896. Часть печаталась въ Ж. М. Н. П. 1895, №№ 1, 4 и 6.
4. Ефимовъ Н. И. Народная словесность. Программа-конспектъ. Юрьевъ. 1915.
5. Лобода А. М. Лекціи по народной словесности. Кіевъ. 1910. (На правахъ рукописи, ц. 1 р.).

---

[1]) Въ каждомъ отдѣлѣ указателя первая нумерація обнимаетъ изданія самыхъ текстовъ памятниковъ устной словесности, вторая—изслѣдованій о нихъ.

6. Буслаевъ Ѳ. И. Очерки русск. народ. словес. и искусства, I—II. Спб. 1861. То же. — Сочиненія, т. II. Спб. 1910.
7. Буслаевъ Ѳ. И. Народная поэзія. Спб. 1887.
8. Веселовскій Ал-дръ Н. Собраніе сочиненій, изд. И. А. Н., т. I (Спб. 1913). Поэтика, т. I.
9. Карскій Е. Ѳ. Бѣлорусы, т. III. Очерки словесности бѣлорусскаго племени. 1. Народная поэзія. М. 1916.
10. Исторія русской литературы, подъ ред. Е. В. Аничкова, А. К. Бороздина и Д. Н. Овсянико-Куликовскаго. Т. I (вып. 1—5). М. 1908.
11. Сиротининъ Н. Бесѣды о русской словесности. Спб. 1909 (попул. излож.). Сюда же должны быть отнесены и тѣ части общихъ обзоровъ исторіи русской словесности (Галахова, Порфирьева, Пыпина и др.), которыя касаются устной словесности, въ частности же В. А. Келтуяла, Курсъ исторіи русской литерературы, ч. I, изд. 2 (Спб. 1913).

Помимо приводимыхъ ниже указаній матеріаловъ и изслѣдованій, тѣ и другія разсѣяны въ главнѣйшихъ изданіяхъ ученыхъ обществъ, посвящаемыхъ или преимущественно, или частію этнографіи, каковы: „Этнографич. Обозрѣніе“ (въ Москвѣ), „Живая Старина“ и „Записки И. Геогр. Общ. по отд. этнографіи“ (въ Петроградѣ), а также: „Сборн. Харьковскаго И. Ф. Общества“ при у—ѣ, „Кіевская Старина“, „Записки Товариства імени Шевченка“ (Львовъ), Етнографични збірник“ (тамъ же), „Сборникъ“ Отд. рус. яз. и сл. И. А. Н. и др.

II. Былина. Историческая пѣсня. Дума.

1. Древнія русскія стихотворенія. М. 1804. (Ключаревъ).
2. Древнія россійскія стихотворенія, собранныя Киршей Даниловымъ. Изд. 2-ое. М. 1818. То же изд. 3-е. М. 1878. То же изд. А. Суворина („Дешовая библіотека“; Спб. 1893). То же (лучшее изд.) Спб. 1901, изд. Имп. Публ. Библ.
3. Рыбниковъ П. Н. Пѣсни, собранныя П. Н. Р—ымъ, въ четырехъ томахъ, 1861—67. То же, въ трехъ томахъ, подъ ред. А. Е. Грузинскаго, М. 1909.
4. Гильфердингъ А. Ѳ. Онежскія былины. Спб. 1873. То же, въ трехъ томахъ. Спб. 1894. Указатель къ нимъ, сост. Н. В. Васильевымъ. Спб. 1909.— Сборникъ отд. русск. яз. и словесности И. А. Н., томы: LIX, LX, LXIX.
5. Кирѣевскій П. В. Пѣсни, собр. П. В. К—имъ, десять выпусковъ, подъ ред. П. А. Безсонова. М. 1862—74.
6. Шейнъ П. В. Русск. народ. былины.—Чтенія въ Общ. Ист. Древн. Рос. 1859. № 3.
7. — Русскія народныя пѣсни.—Чтенія въ Общ. Ист. и Древ. Рос., 1869—70.
8. Русскія былины старой и новой записи, подъ ред. Н. С. Тихонравова и В. Ѳ. Миллера. М. 1894.
9. Марковъ А. В. Бѣломорскія былины. М. 1901.
10. Григорьевъ А. Д. Архангельскія былины и историческія пѣсни. Т. I (М. 1904) и т. III (Спб. 1910).
11. Ончуковъ Н. Е. Печорскія былины. Спб. 1904.
12. Былины новой и недавней записи, подъ ред. В. Ѳ. Миллера. М. 1908.
13. „Былины-старины богатырскія“. Спб. 1911.
14. Миллеръ В. Ѳ. Историческія пѣсни русскаго народа XVI—XVII вв. Птр. 1915.— Сборн. отд. русск. яз. и слов. И. А. Н., т. 93-й.
15. Истоминъ Ѳ. М. и Дютшъ Г. О. Пѣсни русскаго народа, собр. въ Архангельской и Олонецкой губ. въ 1886 г. Спб. 1894.

16. Истоминъ Ѳ. М. и Ляпуновъ С. М. Пѣсни русскаго народа, собр. въ Вологодск., Вятской и Костромск. губ. въ 1893 г. Спб. 1899.
17. Антоновичъ Вл. Б. и Драгомановъ М. П. Историч. пѣсни малорусск. народа, два тома. Кіевъ 1874—5.
18. Разбойничьи пѣсни. сообщ. Простосердовымъ и Мацкевичемъ.— Этнограф. сборн., вып. 6.
19. Гуляевъ Г. Былины или побывальщины. Извѣстія И. А. Н., т. III (1854).
20. Былины или побывальщины, собр. на Онегѣ Верещагинымъ. Изв. И. А. Н., т. IV (1855).
21. Озаровская О. Э. Бабушкины старины. Сказательница былинъ М. Д. Кривополѣнова. Птг. 1916.
22. Симони П. К. Пѣсни, записанныя для Ричарда Джемса въ 1619—20 гг.— Памятники старипнаго русск. яз. и словесности XV—XVIII ст., вып. II, I. Спб. 1907.
23. — Повѣсть о горѣ и злочастіи.—Памятн. старин. русск. яз. и слов. XV—XVIII ст., вып. VII, I. Спб. 1907.
24. Памятники міровой литературы. Русская устная словесность. Т. I, подъ ред. М. Сперанскаго, изд. М. и С. Сабашниковыхъ. М. 1916 (томъ второй печатается).
25. Козленицкая С. Старая Украина. Думы, пѣсни, легенды. Птг. 1916.

---

1. Аксаковъ К. С. Богатыри временъ кн. Владимира по русскимъ пѣснямъ.— Сочиненія, 1 (М. 1861).
2. Веселовскій Ал-дръ Н. Южнорусскія былины.—Сборн. отд. русск. яз. и слов. И. А. Н., т. XXII и XXVI.
3. — Мелкія замѣтки къ былинамъ.—Ж. М. Н. П. 1885, № 12; 1886, № 12; 1888, № 5; 1889, № 5; 1896, № 8.
4. — О сравнительномъ изученіи средневѣковаго эпоса.—Ж. М. Н. П. 1868, № 11.
5. — Отрывки византійскаго эпоса въ русскомъ.—Вѣстн. Евр. 1875, № 4.
6. Дашкевичъ Н. П. Къ вопросу о происхожденіи русскихъ былинъ. Кіевъ. 1883.—Университ. Извѣстія.
7. Ждановъ И. Н. Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи. Кіевъ. 1881. То же Сочиненія, т. I (Спб. 1904).
8. — Русскій былевой эпосъ. Спб. 1895.
9. Квашнинъ-Самаринъ Н. Д. О русскихъ былинахъ въ историко-географическомъ отношеніи. Бесѣда, 1871, №№ 4 и 5.
10. Костомаровъ Н. И. Преданія первоначальной русской лѣтописи.—Вѣстн. Евр. 1873, № 1—3.
11. Котляревскій А. А. Основной элементъ русской богатырской былины.— Сочин. Т. II.
12. Майковъ Л. Н. О былинахъ Владимирова цикла. Спб. 1863.
13. Миклошичъ Фр. Изобразительныя средства славянскаго эпоса.—Труды Славянск. Комиссіи И. Моск. Арх. Общ., I.
14. Миллеръ О. Ѳ. Илья Муромецъ и богатырство Кіевское. Спб. 1869.
15. Миллеръ В. Ѳ. Экскурсы въ область русскаго народнаго эпоса. М. 1892.
16. — Очерки русской народной словесности. Былины. I (М. 1897), II (М. 1910).

Другія работы Вс. Ѳ. Миллера (позднѣйшія), помѣщенныя главнымъ образомъ въ Этногр. Обозр. и Изв. отд. рус. яз. и сл. А. Н, см. въ спискѣ его трудовъ, въ его некрологѣ въ Отчетѣ И. Моск. Унив. 1913 г.

17. Погодинъ М. П. Замѣчанія о нашихъ былинахъ.—Ж. М. Н. П. 1870, № 12.
18. Петровъ Н. И. Слѣды сѣверно-русскаго былевого эпоса въ южно-русской народной литературѣ.—Труды Кіевск. Дух. Акад. 1878, № 5.
19. Потанинъ Г. Н. Восточные мотивы въ средневѣковомъ европейскомъ эпосѣ. М. 1899.
20. Соболевскій А. И. Къ исторіи русскихъ былинъ. Ж. М. Н. П. 1889. № 7.
21. Созоновичъ И. Пѣсни о дѣвушкѣ воинѣ и былина о Ставрѣ Годиновичѣ. Варшава. 1886.
22. Стасовъ В. В. Происхожденіе русскихъ былинъ.—Сочиненія, т. III.
23. Халанскій М. Е. Великорусскія былины кіевскаго цикла. Варшава. 1885 (изъ Русск. Филолог. Вѣстн.).
24. — Южно-славянскія сказанія о кралевичѣ Маркѣ въ связи съ произведеніями русскаго былевого эпоса. Варшава. 1893 (изъ Русск. Филолог. Вѣстн.).
25. Лобода А. М. Русскій богатырскій эпосъ. Кіевъ. 1896.
26. Александровскій Г. Критико-библіографическій обзоръ трудовъ по русскому богатырскому эпосу. Ревель. 1898. (Изд. „Гимназіи.“)
27. Лобода А. М. Русскія былины о сватовствѣ. Кіевъ. 1904. (изъ Кіевскихъ Университ. Извѣстій).
28. Карпинскій М. Русскій былевой эпосъ на Терекѣ.—Сборн. матеріал. для описанія мѣстостей и племенъ Кавказа, вып. 22 и 24.
29. Майковъ Л. Н. Матеріалы и изслѣдованія по старинной русской литературѣ, I. Спб. 1891.
30. Дашкевичъ Н. П. Отчетъ о 36-мъ присужденіи наградъ гр. Уварова. (Спб. 1894).—Отзывъ объ „Экскурсахъ“ В. Ѳ. Миллера; см. № 15.
31. Шамбинаго С. К. Древнерусское жилище по былинамъ.—Сборникъ въ честь Вс. Ѳ. Миллера. М. 1900.
32. Марковъ А. В. Бытовыя черты русскихъ былинъ.—Этн. Об., кн. 58 и 59.
33. — Изъ исторіи былевого эпоса. Этн. Об., кн. 61, 62, 67, 70, 71.
34. — Поэзія Великаго Новгорода и ея остатки въ сѣверной Россіи.—Сборн. Харьковск. Ист.-Филолг. Общ., XVIII (1909).
35. Аристовъ Н. Объ историческомъ значеніи русск. разбойничьихъ пѣсенъ.—Филологич. Записки 1874 (Воронежъ).
36. Вейнбергъ И. Русскія народныя пѣсни объ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ. Изд. 2-ое. Спб. 1908.
37. Шамбинаго С. К. Пѣсни времени царя Ивана Грознаго. Сергіевъ посадъ. 1914.—То же въ болѣе раннемъ изданіи подъ заглавіемъ: „Пѣсни-памфлеты XVI вѣка“. М. 1913.
38. Бѣляевъ И. Д. О скоморохахъ.—Временникъ Общ. Ист. и Древн. Рос. 1854.
39. Фаминцынъ А. С. Скоморохи на Руси. Спб. 1889.
40. Кирпичниковъ А. И. Къ вопросу о древнерусскихъ скоморохахъ. Сборн. отд. русск. яз. и словесн. И. А. Н., т. LII.
41. Андріевскій М. А. Козацкая дума о трехъ Азовскихъ братьяхъ. Одесса. 1884.
42. Житецкій П. И. Мысли о народныхъ малорусскихъ думахъ. Кіевъ. 1893.
43. Лавровскій П. А. Критическій обзоръ пѣсенъ Петровской эпохи.—Филолог. Записки. 1872 (Воронежъ).
44. Jagić. V. Die christlich-mythologische Schicht in der russischen Volksepik.—Arihiv für slav. Phil. (1876).
45. Máchal. J. O bohatyrském epose slovanském. I. Přehled látek. Praha. 1894.

III. Духовный стихъ.

1. Безсоновъ П. А. Калѣки перехожіе, 6 выпусковъ. М. 1861—64.
2. Варенцовъ В. Сборникъ русскихъ духовныхъ стиховъ. Спб. 1861.
3. Кирѣевскій П. В. Духовные стихи.—Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. Рос. М. 1848.
4. Якушкинъ П. И. Стихи духовнаго содержанія.—Сочиненія (Спб. 1884), стр. 481 и сл. То же—„Лѣтописи" Н. С. Тихонравова, кн. 2. (М. 1856) и Отеч. Зап. 1860, кн. 4.
5. Майковъ Л. Н. Былины и духовные стихи.—Зап. И. Геогр. Общ., т. III, стр. 523—628.
6. Романовъ Е. Р. Бѣлорусскій сборникъ. Вып. 5-й. Витебскъ. 1891.
7. Добровольскій В. Н. Смоленскій сборникъ, ч. IV, стр. 639—690. М. 1903.
8. Марковъ А. В., Масловъ А. Л. и Богословскій Б. А. Матеріалы, собр. въ Архангельской губ. лѣтомъ 1901 г., ч. I—II. — Труды Музыкальной Комиссіи Этн. Отд. Общ. Люб. Естеств. Антроп. Этногр. М. 1905—9.
9. Кілька духовних віршів з Галичини.—Зап. Товариства імени Шевченка, т. XIV.
10. Гнатюк Волод. Угроруськи духовни вірші.—Зап. Товариства імени Шевченка, т. XLVI, XLVII, XLIX.
11. Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ юго-западный край. И. Г. О. (Чубинскій), т. I. вып. I. Спб. 1872.
12. „Стихи духовные—словеса золотыя". Спб. 1912.

---

1. Буслаевъ Ѳ. И. Русскіе духовные стихи.—Народная поэзія. Спб. 1887. То же въ Русскомъ Вѣстникѣ 1861 г.
2. Веселовскій Ал-дръ Н. Разысканія въ области русскихъ духовныхъ стиховъ.—Сборникъ отд. русск. яз. и словесности И. А. Н., т. XX, XXI, XXVIII, XXXII и XLI.
3. Пыпинъ А. Н. Новыя разысканія въ народной старинѣ.—Вѣстн. Европы. 1890, VIII (рецензія на „Разысканія" А. Н. В-аго).
4. Веселовскій Ал-дръ. Н. Очерки по исторіи развитія христіанской легенды.—Ж. М. Н. П. 1875, № 4, 5; 1876, № 2—4; 1877, № 2 и 5.
5. — Калики перехожіе и богомильскіе странники.—Вѣстн. Евр. 1872. IV.
6. Кирпичниковъ А. И. Источники нѣкоторыхъ духовныхъ стиховъ.—Ж. М. Н. П. 1877, № 10.
7. — О духовныхъ стихахъ.—„Исторія русской словесности" А. Д. Галахова. Изд. 2-е и слѣд.
8. — Особый видъ творчества въ древнерусской литературѣ.—Ж. М. Н. П. 1890, № 4.
9. Карнѣевъ А. Д. Мелкія разысканія въ области духовнаго стиха.—Ж. М. Н. П. 1892, № 6.
10. Тихонравовъ Н. С. Калѣки перехожіе.—Сочиненія. I (М. 1898).
12. Срезневскій И. И. Русскіе калѣки древняго времени.—Зап. И. А. Н., т. I, кн. 2.
13. — Крута каличья.—Извѣстія И. А. Н., т. IX.
14. Максимовъ С. Бродячая Русь Христа ради. Спб. 1877.

15. Сахаровъ В. Эсхатологическія сочиненія и сказанія въ древнерусской письменности и вліяніе ихъ на духовные стихи. Тула. 1879.
16. Щаповъ А. Очерки народнаго міросозерцанія и суевѣрія. Ж. М. Н. П. 1863, №№ 1, 3, 4, 6 и 7.
17. Марковъ А. В. Опредѣленіе хронологіи русскихъ духовныхъ стиховъ въ связи съ вопросомъ объ ихъ происхожденіи.—Богословскій Вѣстникъ 1910, №№ 6, 7—8 и 10.
18. Сперанскій М. Н. Духовные стихи изъ Курской губ.—Этн. Обозр. Кн. 51 (1901 г.).
19. Кирпичниковъ А. И. Св. Георгій и Егорій храбрый. Спб. 1879.
20. Мочульскій В. Н. Историко-литературный анализъ стиха о Голубиной книгѣ. Варшава. 1887 (изъ Русск. Филолог. Вѣсти.).
21. Владимировъ П. В. Житіе св. Алексѣя, человѣка Божія, въ западно-русскомъ переводѣ конца XV вѣка.—Ж. М. Н. П. 1887, № 10.
22. Сумцовъ Н. Ф. Очерки исторіи южно-русскихъ апокрифич. сказаній и пѣсенъ.—Кіевская Старина, 1887, №№ 6, 7, 9 и 11.
23. Сперанскій М. Н. Южно-русская народная пѣсня и ея современные носители.—Сборникъ Ист. Филол. Общ. при Институтѣ въ Нѣжинѣ, т. V (Кіевъ. 1904).

IV. Сказка.

1. Афанасьевъ А. Н. Народныя русскія сказки. Изданія: М., 1855—63, восемь выпусковъ; М. 1873, въ четырехъ томахъ; М. 1897, въ двухъ томахъ; М. 1914, въ 5-ти томахъ.
2. Худяковъ И. А. Великорусскія сказки. Спб. 1860.
3. Садовниковъ Д. Сказки и преданія Самарскаго края.—Записки Русск. Геогр. Общ. по отд. этнографіи, т. XII. Спб. 1884.
4. Добровольскій В. Н. Сказки. Смоленскій Этногр. сборникъ, ч. I. Спб. 1891.
5. Ровинскій Д. А. Русскія народныя картинки, т. I.—Сборн. отъ. русск. яз. и словесн. И. А. Н., т. XXIII.
6. Романовъ Е. Р. Бѣлорусскій сборникъ, вып. 3-й, Кіевъ. 1887; вып. 4-й, Витебскъ, 1891; вып. 6-й, Могилевъ, 1901.
7. Рудченко И. Я. Народныя южно-русскія сказки, 2 вып. Кіевъ. 1869—70.
8. Сахаровъ И. П. Русскія народныя сказки. Ч. I. Спб. 1841.
9. Бѣлкинъ Ф. Сказки, записанныя въ Тимскомъ у. Курск. губ.—Труды Курскаго Статистич. Комитета. Вып. I.
10. Деруновъ С. Я. Сказки Пошехонскаго у.—Труд. Ярославск. губ. Статистич. Комитета. Вып. 5-й.
11. Русскія сказки Енисейской и Томской губ.—Записки Красноярскаго подъотдѣла Восточно-Сибирскаго Отдѣла. Геогр. Общ. по отдѣлу этнографіи, т. I, вып. 1—2.
12. Народныя историческія сказки.—Ж. М. Н. П. 1864. № 3.
13. Чудинскій Е. Русскія народныя сказки, прибаутки и побасенки. М. 1864.
14. Чулковъ М. Русскія сказки. М. 1780—1783, десять частей.
15. Шейнъ П. В. Бѣлорусскія сказки.—Сборникъ отд. русск. яз. и словесн. И. А. Н., т. LVII.
16. Эрленвейнъ А. Народныя русскія сказки, собр. сельскими учителями Тульской губ. Москва. 1883.
17. Чубинскій А. Малорусскія сказки.—Труды Этногр. Статистич. Экспедиціи въ Западно-русскій край, т. II (Спб. 1878).

18. Манжура И. Малорусскія сказки.— Сборникъ Ист. Филолог. Общ. при Харьковск. Унив., т. II и VI.
19. Сказки записанныя на Кавказѣ.—Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа, т. XV и XVI.
20. Зеленинъ Д. К. Великорусскія сказки Вятской губ.—Зап. Геогр. Общ. по отд. этнографіи, т. XLII. Птг. 1915.
21. — Великорусскія сказки Пермской губ.—Зап. Геогр. Общ. по отд. этногр., т. XLI. Птг. 1914.
22. Соколовы Б. и Ю. Сказки и пѣсни Бѣлозерскаго края. М. 1915.
23. Яворскій Ю. А. Памятники галицко-русской народной словесности.—Зап. Геогр. Общ. по отд. этногр., т. XXXVII, вып. 1-й. Кіевъ. 1915.
24. Ончуковъ Н. Е. Сѣверныя сказки.—Зап. Геогр. Общ. по отд. этногр., т. XXXIII. Спб. 1909.
25. Гнѣдичъ П. А. Сказки, легенды, разсказы.—Матеріалы по народной словесности Полтавской губ., Роменскій уѣздъ. Полтава. 1915.
26. Русскія сказки. М. 1820, четыре части.—То же, что № 14.
27. Гринченко Б. Д. Разсказы, сказки, преданія, загадки и др.—Этнографич. матеріалы, собр. въ Черниговск. губ. и сосѣднихъ. Вып. 1-й и 2-й. Черниговъ. 1895 и 1897.
28. -- Изъ устъ народа. Черниговъ. 1901.
29. Малинка А. Н. Сборникъ матеріаловъ по малорусскому фольклору (Черниг., Волынск., Полтавск. губ.). Черниговъ. 1902.
30. Старинныя диковинки, или собраніе простонародныхъ русскихъ сказокъ и повѣстей, въ стихахъ и въ прозѣ. Спб. 1830.—Сказки: объ „Ильѣ“, „Бовѣ“, „Еруслапѣ“.
31. „Сказки—утѣхи досужія“. Птг. 1915.

---

1. Савченко С. В. Русская народная сказка. Кіевъ. 1914.
2. Пыпинъ А. Н. Очеркъ литер. исторіи старин. повѣстей и сказокъ русскихъ.— Учен. Зап. второго отдѣл. И. А. Н., т. IV (Спб. 1858).
3. Халанскій М. Е. Сказки.—Исторія русск. литер., подъ ред. Аничкова, Бороздина и Овсянико-Куликовскаго (М. 1908). Т. I, вып. 2, гл. 6.
4. Владимировъ П. В. Введеніе въ исторію русск. словесн. Кіевъ. 1896, гл. 8.
5. Пыпинъ А. Н. Русская народная сказка.—Отечеств. Записки, 1856, кн. 4 и 5.
6. Миллеръ В. Ѳ. Всемірная сказка въ культорно-историческомъ освѣщеніи.— Русская Мысль, 1893, XI.
7. Котляревскій А. А. Русск. народн. сказка.—Сочиненія, II.
8. Буслаевъ Ѳ. И. Славянскія сказки.—Очерки (Спб. 1861), т. I.
9. Сумцовъ Н. Ѳ. Малорусскія сказки по сборникамъ Кольберга и Мошинской.— Этногр. Обозр. кн. XXII.
10. — Разысканія въ области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцахъ. Харьковъ. 1898.
11. Колмачевскій. Животный эпосъ на Западѣ и у Славянъ. Казань. 1882.
12. Бобровъ. Русскія народныя сказки о животныхъ.—Русск. Филолог. Вѣстн. 1906, 1—3; 1907, 1—3; 1908, 1—3.
13. Дашкевичъ Н. П. Происхожденіе и развитіе эпоса о животныхъ.—Кіевск. Университ. Извѣстія, 1883.
14. Бродскій Н. Л. Слѣды профессіональныхъ сказочниковъ въ русск. сказкахъ.—Этногр. Обозр. 1904, 2.

15. Перетцъ В. Н. Къ исторіи русской народной сказки.—Библіографъ, 1894.
16. Елеонская Е. Н. Къ вопросу о возникновеніи и сложеніи сказки.—Этногр. Обозр., кн. 72.
17. Шляпкинъ И. А. Сказка объ Ершѣ Ершовичѣ.—Ж. М. Н. П. 1904.
18. Сухомлиновъ М. И. Повѣсть о судѣ Шемяки.—Соч. I, 637 (Сборн. отд. рус. яз. и слов. А. Н., т. 85).
19. Веселовскій А. Н. Сказки объ Иванѣ Грозномъ. — Древн. и нов. Россія, 1876, № 4.
20. Сонни А. И. Горе и Доля въ народной сказкѣ.—Кіевск. Унив. Извѣстія 1906, № 10.
21. Веселовскій А. Н. Индѣйскія сказки.—Вѣстн. Европы, 1876, 3.
22. — Лорренскія сказки.—Вѣстн. Европы, 1876, 4.
23. Сперанскій Д. А. Изъ литературы древняго Египта. Спб. 1906.
24. Стасовъ В. В. Древнѣйшая повѣсть въ мірѣ.—Вѣст. Евр. 1868. X. То же.—Сочин., III, 1260.
25. Aarne Antti. Leitfaden der vergleichenden Märchenforschung. Hamina 1913. Ff. Commucations № 13.
26. — Uebersicht der Märchenliteratur. Hamina. 1914. Ff. Commucations № 14.
27. Aarne A. Vergleichende Märchenforschungen. Helsingf. 1907.
28. Bolte J. и Polivka J. Anmerkungen zu den Kinder-nnd Hausmärchen der Brüder Grimm, neu bearbeitet, I. Leipz. 1913.
29. Clouston W. A. Popular tales and fictions, their migrations and transformations. Lond. 1887.— В. А. Клоустонъ. Народні казки та вигадки, їх вандривки та переміни. Львовъ. 1896.
30. Van Gennep A. La formation des légendes. Paris. 1910.

V. Легенда.

1. Афанасьевъ А. Н. Народныя русскія легенды. М. 1859. То же: М. 1914 и Казань. 1914.
2. Драгомановъ М. И. Малорусскія народныя преданія и разсказы. Кіевъ. 1876.
3. Сборники: Шейна (Матеріалы), Добровольскаго, Романова.

---

1. Буслаевъ Ѳ. И. Историч. очерки русской народной словесности и искусства. 2 тома. Спб. 1861.
2. Веселовскій А. Н. Опыты по исторіи развитія христіанской легенды.—Ж. М. Н. П. 1875, №№ 4, 5; 1876, №№ 2—4, 6: 1877, №№ 2, 5.
3. — Изъ исторіи литерат. общенія Востока и Запада. Славянскія сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ. Спб. 1872.
4. — Талмудической источникъ одной Соломоновской легенды въ русской Палеѣ.—Ж. М. Н. П. 1880, № 4.
5. Сумцовъ Н. Ѳ. Легенда о грѣшной матери.—Кіевская Старина. 1893, № 5.

VI. Заговоръ.

1. Майковъ Л. Н. Великорусскія заклинанія.—Зап. И. Геогр. Общ. по отдѣленію этнографіи, II. Спб. 1869.
2. Романовъ Е. Р. Бѣлорусскій сборникъ. Вып. 5-й.

3. Ефименко П. Сборникъ малороссійскихъ заклинаній.—Чтенія въ Общ. Ист. и Др. Рос., 1874, I.
4. Добровольскій В. Н. Смоленскій этногр. сборникъ, т. I.
5. Шейнъ П. В. Матеріалы для изученія быта и языка русск. населенія сѣв.-зап. края, т. 2-й.
7. Виноградовъ Н. Заговоры, обереги, спасительныя молитвы. Вып. 1—2. Спб. 1908—9 (изъ „Живой Старины").
8. Новомбергскій Н. Колдовство въ Московской Руси XVII в. Спб. 1906.
9. Поповъ Г. Русская народно-бытовая медицина. Спб. 1903.

---

1. Сумцовъ Н. Ѳ. Заговоры. Библіографическій указатель. Харьковъ. 1892 (изъ Сборника Историко-Филогич. Общ. при Универ.).
2. — Колдуны, вѣдьмы и упыри. Библіограф. указатель. Харьковъ. 1891 (изъ Сборника Историко-Филолог. Общ. при Универ.).
3. Ветуховъ А. Заговоры, заклинанія, обереги и другіе виды народнаго врачеванія. Варшава. 1907 (изъ Филологич. Вѣстника).
4. Крушевскій. Заговоры, какъ видъ народной поэзіи.—Варшавск. Универ. Извѣстія, 1876, кн. 3-я.
5. Миллеръ В. Ѳ. Ассирійскія заклинанія и русскіе народ. заговоры.—Русская Мысль, 1896, № 7.
6. Сумцовъ Н. Ѳ. Пожеланія и проклятія. Харьковъ. 1896.—Сборн. Историко-Филолог. Общ. при Универ., кн. 9.
7. Елеонская Е. Н. Колдовство и заговоръ въ Московск. Руси XVII в.—Русскій Архивъ, 1912. IV.
8. Потебня А. А. Малорусская пѣсня по списку XVI вѣка.—Филолог. Записки 1877. То же, Харьковъ. 1914 (Слово о п. И.).
9. Mansikka V. J. Ueber russische Zauberformeln. Helsingfors. 1909 (Здѣсь же обширная библіографія).

VII. Пословица.

1. Даль В. И. Пословицы русскаго народа. М. 1862. То же Спб. 1879.
2. Снегиревъ И. М. Русскіе въ своихъ пословицахъ. 4 части. М. 1831.
3. — Русскія народныя пословицы и притчи. М. 1848.
4. — Новый сборникъ пословицъ и притчъ. М. 1857.
5. Буслаевъ Ѳ. И. Русскія пословицы и поговорки.—Архивъ историко-юр. свѣд., изд. Н. В. Калачевымъ, т. II, кн. 2.
6. Иллюстровъ I. И. Жизнь русскаго народа въ его пословицахъ и поговоркахъ. Изд. 3, М. 1915.
7. Кургановъ. Письмовникъ (Универсальная грамматика). Спб. 1769.
8. Собраніе 4291 древнихъ русскихъ пословицъ. Спб. 1770.
9. Симони П. К. Старинные сборники русскихъ пословицъ, поговорокъ, загадокъ и проч. XVI—XVIII столѣтій. Спб. 1899.
10. Носовичъ И. Сборникъ бѣлорусскихъ пословицъ.—Сборн. отд. русск. яз. и слов. И. А. Н., т. XII; Зап. И. Геогр. Общ. по отд. этногр., т. II. Спб. 1869.
11. Романовъ Е. Р. Бѣлорусскій сборникъ. Вып. 1—2.

12. Ровинскій Д. А. Русскія народныя картинки, т. III.—Сборникъ отд. русск. яз. и слов. И. А. Н., XXV.

13. Номис. Украінски приказки . . . . . см. ниже.

---

1. Тимошенко И. Литературные прототипы и первоисточники 300 русск. пословицъ. Кіевъ. 1897.

2. Буслаевъ Ѳ. И. Русскій бытъ и пословицы.—Историч. очерки, I.

3. Потебня А. А. Изъ лекцій по теоріи словесности. Басня, пословица, поговорка. Харьковъ 1884.

4. Владимировъ П. В. Введеніе . . . . . . гл. VII.

VIII. Загадка.

1. Садовниковъ Д. Сборникъ загадокъ, вопросовъ, притчъ и задачъ. Спб. 1876.

2. Сахаровъ И. П. Сказанія русскаго народа, т. I. Спб. 1849. То же въ изданіи А. Суворина. Спб. 1885.

3. Ждановъ Е. Загадки русскаго народа. М. 1887.

4. Иваницкій Н. Загадки, собранныя въ Вологодской губ.—Вологодскій Сборникъ, т. III. 1883.

5. Носовичъ И. Бѣлорусскія загадки.—Записки И. Геогр. Общ. по отдѣлу этнографіи, т. II. Спб. 1869.

6. Романовъ Е. Р. Бѣлорусскій сборникъ. Вып. I—II. Кіевъ. 1886.

7. Номис (М. Т. Симоновъ). Украінскі приказки, прислівя і таке инше. Спб. 1664.

8. Комаровъ М. Нова збирка народних малоруськихъ приказок, прислівів, помовок, загадок и замовлянь. Одесса. 1890.

9. Сементовскій А. Малороссійскія и галицкія загадки. Кіевъ. 1851. То же. Спб. 1872.

---

1. Владимировъ П. В. Введеніе въ исторію русской словесности. Кіевъ. 1896. Глава VI.

2. Миллеръ О. Ѳ. Опытъ историческаго обозрѣнія русской словесности. Спб. 1863.

Другія библіографическія указанія см. въ самой книгѣ.

Указатель.

Аарне Антти, 400, 401. 403. 405.
Авениръ 386.
Авраамій Ростовскій 257, 258.
Авраамъ Новгородскій 283.
Аглаида 385.
Агрикъ 376, 377, 378.
Адамъ 6, 363, 372.
Азбукинъ, П. 121.
Аксаковъ, И. С. 31.
Аксаковъ, К. С. 31, 97.
Аксаковъ, С. Т. 31.
Алауганъ 249.
Александра, царица 383.
„Александрія“, романъ 266, 307, 308.
Александръ I 28, 330, 331, 353.
Александръ II 33, 37, 353.
Александръ Македонскій 83, 266, 303, 307, 308.
Александръ Невскій 386.
Александръ Поповичъ 96, 134, 264, 265, 271.
Алексѣй Божій человѣкъ 369, 371, 384, 385, 386.
Алексѣй Михайловичъ, царь 16, 127. 347, 349, 350, 408.
Аленушка 264, 266, 278, 279, 355.
Алеша Поповичъ 26, 96, 134, 146, 170, 192, 195, 205, 210, 215, 224, 225, 228, 245, 246, 250, 252, 254, 261, 262, 264, 265, 266, 271—273, 278, 279, 296, 317, 319, 325, 355, 357, 421, 428,
Алыберское царство 267.
Аммонъ, богъ 308.
Анастасія Романовна, царица 341, 343.
Андрей Боголюбскій 268, 320.
Андрей, бояринъ 215.
Андрей, кн. 134.
Андрей Юродивый 269.
Андромеда 229, 231.
Аника 215, 371, 373—376, 380.
Аничковъ, Е. В. 121, 284, 356, 376, 404, 436.
Аннушка 266.
Антипа, св. 447.
Антоній Подольскій, діак. 365.
Антоновичъ, В. Б. 48, 357.
„Аноологіонъ“ 384, 385.
„Апокалипсисъ“ лицевой 68.
Апракса 234, 235, 237, 309, 310, 313—317, 320.
Арабажинъ, К. И. 356.
Аристовъ, Н. Я. 349.
Аркадій, царь 385.
Армури 267.
Арсеній Грекъ 384.
Ахто 282, 289, 290.
Ахтырская икона 173, 174.
Ачкилъ 323.
Ашикъ-Керибъ 246.
Аѳанасьевъ, А. Н. 32, 38, 39, 66, 70—73, 288, 395, 405, 428, 436.

Бабій городокъ 403.
Барклай-де-Толли 353.
Барсовъ, Е. В. 43, 351.
Басарга 278.
Бастіанъ 398, 399.
Баторій 247.
Батуръ 247.
Батюшковъ, Д. Ѳ. 110, 375.
Батыга 170, 204, 247, 248, 335.
Батый 225, 247, 248, 268, 269, 320.
Безбородко, кн. А. 60, 168.
Безродный Ѳедоръ 357.
Безсоновъ, П. А. 33, 34, 41, 70, 302, 306, 364, 371, 390.
Бенфей Ѳ. 80, 81—86, 88—90, 92—94, 99, 100, 103, 395—397.
Бермята, Сорожанинъ 276.
Берхта 419.
„Бесѣда трехъ святителей“ 371, 372, 455.
Бидпай 82, 83.
Бобровъ, В. А. 418.
Бова королевичъ 19.
Богдановичъ, И. Ѳ. 24.
Богомилъ Соловей 226.
Боеславичъ 180.
Боккачьо, Дж. 203.
Больте, I. 401.
Бончъ-Бруевичъ, В. 370.
Боппъ, Ф. 59.
Борисъ св. 169, 284, 286, 292.
Борисъ, царь 454.
Борма Ярыжка 332, 430.
Бороздинъ, А. К. 356, 404, 436.
Боянъ 132, 134, 215.
Брандтъ, Р. Ѳ. 60.
Бродовичи, бр. 264.

Бродскій, Н. Л. 409.
Будиловичъ, А. С. 60.
Буслаевъ, Ө. И. 3, 4, 54, 55, 62, 65—71, 78, 88, 92, 99, 100, 103, 104, 180, 303.
Бутманъ королевичъ 192.
Буянъ, островъ 450.
Бѣльскій, Л. П. 282.
Бѣляевъ, И. Д. 294.
Бѣлый, А. 193.
Бѣсъ хоромохитель 122.

Вавила скомор., 210.
Ванька Каинъ 349.
Варвара 173, 174.
Варлаамъ 386—388.
Василій Буслаевъ 183, 198, 205, 217, 225, 246, 301, 312, 317—319, 334.
Василій Великій 372.
Василій, еп. Новгород. 312.
Василій Іоанновичъ 337, 341.
Василій III 332.
Василій Казимировичъ 205, 225, 234, 247—250.
Василій Константиновичъ 269.
Василій Бесчастный 424.
Василій Окуловичъ 103, 215, 319, 320, 321, 325, 360.
Василій Пьяница 154, 205, 240, 268, 269, 271, 272.
Василій, сынъ Агриковъ 376—378.
Василиса Прекрасная 75.
Василиса Премудрая 427.
Васильевъ, Н. В. 42, 43
Вахрамѣй, царь 276.
Вейнбергъ И. 346.
Вейнемейненъ 282, 288—290.
Велесъ 222.
Веліаръ 123.
Веньяминъ, сынъ Іакова 310.
Вергилій 397.
Версавія 243, 244, 245, 320, 322, 323.
Верхотурскій воевода 16, 364.
Веселовскій, А. Н. 99—110, 127, 128, 145, 147, 230, 236, 267, 285, 322, 332, 374, 382, 433, 434.
Виноградовъ, Н. Н. 443.
Владимировъ, П. В. 120, 121, 133, 412, 415, 446, 456.
Владимиръ, кн. 26, 54, 94, 97, 104, 106, 129, 147, 152, 153, 165, 170, 179, 194, 195, 200—203, 207, 210, 211, 217, 218, 221, 225—229, 233—238, 240, 245—248, 253—256, 259, 261—265, 269, 273, 274, 276, 277, 284, 295, 296, 300, 309—312, 315, 317, 320, 324, 325, 453.
Владимиръ Мономахъ 132, 133, 239, 265. 278.
Воеводскій, Л. 111.
Володарь, кн. 264, 265.
Волотоманъ 372.
Волхвъ 303, 304.
Волхвы 440, 446.
Волховецъ, рѣка 304.
Волхъ 205, 294, 295, 299—303, 305—309, 325.
Вольга 192, 200, 217, 254, 294—297, 299—303, 305—309.
Востоковъ, А. Х. 65.
Вундтъ, В. 398, 414.
Вѣда 143.
Вѣра (имя) 388.

Галаховъ, А. Д. 159, 160.
Гали 260.
Гегель 56.
Ганжа Андыберъ 357.
Георгій Побѣдоносецъ 106, 110, 215, 229, 230, 231, 275, 380, 381—384, 422, 436.
Герасимъ Сирійскій 433.
Гильдебрандтъ 94, 260.
Гильфердингъ, А. Ө. 11, 12, 40—43, 46—48, 92, 146, 168, 170, 181, 183, 189—192, 209, 219, 225, 235, 237, 256, 257, 270, 273, 275, 276, 280, 293, 294, 300, 420.
„Гитопадеша“ 82, 83.
Глѣбовна, кн. 222.
Глѣбъ Володьевичъ 278.
Глѣбъ, св. 284, 286, 292.
Глѣбъ Святославичъ 278.
Гоголь, Н. В. 366.
Годунова Ксенія 348.
Головацкій, Я. Ө. 45.
Голохвастовъ П. Д. 139.
„Голубиная книга“ 25, 110, 173, 364, 371, 372, 455.
Гомеръ 117, 118, 143, 425.
Гонорій, царь 385.
Горе-злочастье 392, 423, 424.
Горислава 236.
Гориславичи, кн. 258.
Гостомыслъ 305.
Григорій Богословъ 372.
Григорьевъ, А. Д. 47, 181, 192, 225, 237, 240, 264, 269.
Гриммы, бр. 39, 65, 73, 79, 80, 401.
Гриммъ, Як. 61—64, 68, 70, 73, 401, 405.
Гриша 343.
Грузинскій, А. Е. 41, 145.
Гуляевъ 47, 182.
Гурчевецъ, гор. 296.

Давидъ, царь 243—245, 320, 322, 323.
Давыдъ Іесеевичъ 372.
Даль, В. И. 32, 455.
Данило Ивановичъ 106.
Данило Игнатьевичъ 205.
Данило Ловчанинъ 269, 319, 320.
Даніилъ Александровичъ, кн. 320.
Даніилъ Голицкій, кн. 215.
Даніилъ Заточникъ 112, 133, 307, 453.
Даніилъ Игнатьевичъ 267.
Даніилъ, игуменъ 312.
Даніилъ Переяславскій 315, 316.
Дашкевичъ, Н. П. 96, 97, 110.
Девгеній 274, 373, 374.
Девріенъ 189.

Дектіанище, см. Діоклетіанъ.
Демидовъ, П. А. 24, 25.
Демьянъ Куденевичъ 261.
Джемсъ, Р. 6. 327, 330, 339.
Дигенисъ Акритъ 373, 374.
Дидона 397.
Діоклетіанъ 231, 381, 382.
Діонисій св. 433.
Діонисъ 118.
Дмитрій Донской 337.
Добровольскій, В. Д. 46, 405, 436.
Добрыня Никитычъ 26, 54, 134, 146, 151, 169, 170, 179, 183, 192, 195, 205, 210, 211, 215, 224, 225—252, 254—256, 259, 260, 262, 264, 266, 270, 271, 274, 275, 320, 324, 325, 334, 349, 380, 382, 383, 420, 421, 428.
Довнаръ-Запольскій, М. В. 46.
„Домострой“ 135.
Донъ, рѣка, богат. 235, 269, 270.
Драгомановъ, М. И. 48, 111, 357, 436.
Дунай, богат. 146, 192, 205, 225, 234—238, 247, 249, 250, 264, 269, 270, 324, 382.
Дунай, бояр. 270.
Дюкъ Степановичъ 106, 170. 195, 205, 215, 225, 273—277, 307, 325.
Дютшъ, Г. О. 43.

Евпраксія, княгиня 269, 320.
Евтихіевъ Абрамъ, сказитель 190.
Егорій Храбрый 107, 230—232, 364, 388—384, 388, 433, 436, 447.
Егоръ, богатырь 376.
Едигей, царь. 339.
Екатерина II 180, 352, 353.
Елагинъ, И. П. 24, 176.
Елеонская, Е. Н. 456.
Екимъ Ивановичъ 271.
Епифаній Премудрый 11.
Ерема 369.
Еремѣевъ, сказитель 190.
Ермакъ 345, 348.
Еруславъ Лазаревичъ 19, 89, 376.
Ершъ Ершовичъ 430.
Ефименко, П. 46—48, 181, 443, 444.
Ефиміанъ, бояр. 385, 386.
Ефремъ еп. 376.
Ефремъ Сиринъ 311.

„Жарты“ 453.
Жаръ-Птица 89, 407.
Ждановъ, И. Н. 110, 111, 318, 322, 332, 374.
Житецкій, П. И. 358, 366.
Жуковскій, В. А. 55, 394.

Забава Путятишна 228.
„Задонщина“ 36.
Зарубскій старецъ 123.
Зборовскій, кошевой 357.
Зеленинъ Д. К. 38.
Зелинскій 447.
„Златоустникъ“ 311.
Змѣй Горынычъ 421, 422.
Золушка 399, 428.
Зорабъ 94.
Зосима, св. 447.

Иванище-каличище 312.
Ивановъ-Разумникъ, Р. И. 28.
Иванъ III 248, 249, 332, 337, 341.
Иванъ Богуславецъ 278, 357.
Иванъ Годиновичъ 205.
Иванъ, Гостиный сынъ 106, 205,
Иванъ Грозный 129, 318, 330—333, 337—351, 408, 429.
Иванъ Даниловичъ 252, 267.
Иванъ Калита 314.
Иванъ Пересвѣтовъ 347.
Иванъ, царь Индѣйскій, см. Іоаннъ
Игорь, кн. 254, 444, 445, см. Слово о п. Игоревѣ.
Идолище 192, 204, 218, 256, 261, 262, 265, 312, 335.
Изяславъ, кн. 211.
Иліада 95, 118.
Иллюстровъ, І. И. 455.
Илмера 304.
Илья архіеп. 125, 126.
Илья Муромецъ 11, 12, 19, 41, 55, 90, 94, 129, 145, 146, 149, 154, 165, 169, 170, 183, 192, 195, 199, 200, 202, 204—207, 217, 218, 225, 227, 228, 234, 242, 246. 250—265, 271, 272, 273, 296, 312, 325, 234, 348, 382.
Илья Новгород. 283.
Илья пророкъ 436.
Исидоръ Твердисловъ 285—287, 292.
Истоминъ, Ѳ. М. 43,
„Исторія о Казанскомъ царствѣ“ 337—339.
„Исторія о Царьградѣ“ 337.
Истринъ, В. М. 308.

Іаковъ, мнихъ 124.
Іафетъ 129.
Іоаннъ, архіеп. Новгород. 313.
Іоаннъ Богословъ 372.
Іоаннъ Златоустъ 372.
Іоаннъ Индѣйскій 273, 274.
Іоаннъ Іоанновичъ 344—346.
Іоаннъ II митроп. 123—126, 440.
Іона Маленькій 312.
Іона пророкъ 285, 292.
Іосафъ царевичъ 371, 386—388.
Іосифъ Прекрасный 215, 310, 311, 313, 314, 316. 317, 370, 371.
Іустинъ 397.

Казаринъ Михаилъ 277.
Калайдовичъ, К. Ѳ. 1, 25, 26, 40, 53, 54, 97.
Калева 288, 289, 290.
„Калевала“ 282, 288.
„Калила-ва-Димна“ 81—83.
„Калилагъ и Димнагъ“ 83.

Калинъ, царь 11, 147, 149, 165, 204, 218, 256, 260, 261, 271, 272, 312, 317, 335.
Карамзинъ, Н. М. 25.
Кармелюкъ 358.
Касьянъ св. 309—311, 313, 315, 317, 436.
Касьянъ Римлянинъ 315.
Касьянъ Учмепскій 315, 316.
Карлъ Великій 91, 95.
Квашнинъ-Самаринъ, Н. Д. 97.
Кейкаусъ 94.
Кивви-аль 260.
Кирикъ 125, 313.
Кириллъ Бѣлозерскій 10, 11.
Кириллъ Кожемяка 404.
Кирпичниковъ, А. И. 110, 127, 128, 230, 382.
Кирша Даниловъ 1, 24—26, 30, 40, 47, 53, 54, 112, 139, 180, 182, 192, 264, 266, 267, 276, 278, 284, 291, 293, 294, 299, 300, 309, 318.
Кирѣевскій, И. В. 27, 31.
Кирѣевскій, П. В. 27, 31, 32—35, 38, 40, 45, 47, 49, 70, 145, 155, 181, 182, 199, 266, 270, 271, 273, 278, 320, 345.
Китоврасъ 103, 215, 321—323, 431, 435.
Клизаморъ 260.
Ключаревъ, Ѳ. П. 24, 25.
Колмачевскій, Л. 418.
Колыванъ, богат. 205, 225, 289, 325.
Константинъ 7.
Константинъ Боголюбовичъ 261.
Константинъ, Ростов. кн. 265, 271.
Константинъ Сауровичъ 267.
Константинъ, тысяцкій 267.
Королевичи изъ Кракова 277.
Коростовецъ, гор. 296.
Коршъ, Ѳ. Е. 132, 139, 141, 142, 213, 326, 327.
Костомаровъ, Н. И. 44, 97, 130, 294.
Котляревскій, А. А. 73.
Кощей Безсмертный 75, 276, 420—422, 428.
Krek, Gr. 121.
Крестное древо 435.
Кривой кузнецъ 62.
Croiset-van-der-Kopp, А. 375.
Крушевскій, Н. В. 447.
Кудреванко 261, 268.
Кузьмищевъ, адмиралъ, собиратель пѣсенъ 47.
Кунцевичъ, Г. З. 337.
Купало 158.
Курбскій, кн. А. 346.
Кутузовъ, кн. 353.
Кучумъ, царь 348.

Лавровскій, Н. А. 351.
Лазарь 126, 156, 371, 384, 391.
Лассота, Эрихъ 253.
Латыгорка 260.
Латырь, камень 169.
Лафонтенъ 80, 82, 83, 86, 87.
Леваниловъ крестъ 169.
Левитовъ, А. И. 44.
Левъ, царь 416.
Леонидъ, архим. 376.
Лермонтовъ М. Ю. 8, 246.
Лжедимитрій, см. Самозванецъ.
„Liber Ioannis“ 435.
Ливики, бр. 278, 279, 309.
Лисовскій 348.
Литовскій король 234, 238.
Лихо одноглазое 62, 79, 395, 425.
Лобода, А. М. 111, 178, 180.
Лотъ 435.
Лоухи 289.
Лягушка-царевна 401, 427.
Ляпуновъ, С. М. 43.
Лэнгъ, А. 100.

Майковъ, Л. Н. 97, 443, 444.
Макарій митр. 11.
Максимовичъ, М. А. 31, 35, 48.
Максимъ Грекъ 347.
Малуша 236.
Малюта Скуратовъ 345.
Мамай 261, 271, 272, 273, 454.
Манджура, И. 49.
Мангардтъ 73.
Мансикка, В. П. 447—449, 452.
Мануилъ, имп. 273.
Марина 205, 225, 238—245, 325, 348, 349.
Марина Кайдановна 278.
Марина Мнишекъ 242, 243, 245, 278.
Марко Богатый 424.
Марковъ, А. В. 47, 110, 181, 192, 225, 271, 278, 279, 316.
Маркъ Кралевичъ 111.
Мартинъ Туровскій. 257.
Маруся Богуславка 357.
Марья бѣлая лебедь 142.
Марья Темрюковна 341—344.
Марья Юрьевна, кн. 279.
Масловъ, А. Н. 139.
Мастрюкъ Темрюковичъ 342—344.
Межовъ, В. Л. 178.
Мезьеръ, А. В. 178.
Мей, Л. А. 273.
Мережковскій, Д. С. 193.
Меркурій, богъ 434.
Меркурій, Смоленскій 433.
Метлинскій, А. Л. 48.
Меѳодій Патарскій 106.
Мидасъ 426.
Миклошичъ Фр. 144.
Микула Селяниновичъ 200, 205, 294—300, 303, 305.
Миллеръ, Вс. Ѳ. 3, 4, 92—99, 102, 109, 111, 114, 178, 182, 183, 192, 203, 204, 225, 239, 240, 242, 244, 246, 267, 269, 271, 282, 288—290, 302, 303, 305—308, 317, 320, 346, 397, 414 415, 447.
Миллеръ, Ор. Ѳ. 3, 4, 41, 66, 70, 78, 90—94, 98, 180, 260.
Милюковъ, П. Н. 28.
Миндовгъ 279.

Митуса, пѣвецъ 134, 215.
Михаилъ изъ Потуки, св. 229, 275, 276.
Михаилъ Казариновъ 205, см. Казаринъ.
Михаилъ Юрьевичъ 268.
Михаилъ Ѳеодоровичъ, царь 247, 347, 349.
Михайликъ, бог. 105, 267, 268.
Михайло Даниловичъ 106, 266, 267.
Михайло Потыкъ 205.
Михаилъ Черногорецъ (Черноризецъ) 316.
Михайлушка, атаманъ 315, 316.
Миша 343.
Мишатычка 320.
Мнишекъ, см. Марина.
Могута, разбойникъ 259.
Моисей Новгород. 283.
„Моленіе“ Даніила Заточн., см. Даніилъ.
Мономаховичи кн. 258.
Мономахъ 332, 340, см. Владимиръ Мон.
Морская царевна 291.
Морской царь 280, 281, 287, 288, 290—292, 424.
Мочульскій, В. Н. 110, 371.
Мстиславъ Храбрый 265.
Мусинъ-Пушкинъ гр., А. И. 10, 29.
Мякутинъ, А. И. 182.
Мякушинъ 182.
Мюллеръ М. 73, 79, 86—88.

Наполеонъ I 29, 30, 56. 331.
Нарѣжный, И. Т. 366.
Настасья, великанша 225, 234—237, 249, 270.
Настасья Микулишна 320.
Нектонавъ 303, 308.
Немезида 423.
Несторъ 211.
Нибелунги 15, 91.
Никита Кожемяка 404, 422.
Никита Романовичъ 246, 247.
Никита св. 447.
Никитскій, А. А. 294.
Никифоровскій, Н. Я. 46.
Николай I 38, 353.
Никола Чудотворецъ 167, 281, 282, 284, 286, 287, 291—293, 315, 325, 369, 376—378, 380, 436, 438, 447.
Нифонтъ еп. 125, 126, 313.
Новиковъ, Н. И. 23, 24, 58, 179.
Ной 129.
Номисъ 455.
Носовичъ, И. 46, 455, 457.
Нѣпра, рѣка 235, 269, 270.

Овсянико-Куликовскій, Н. Д. 356, 404, 436.
Одиссея 62, 95, 118, 246.
Одоевскій, В. Ѳ., кн., 33.
Олегъ Вѣщій 129, 254, 264, 295, 301, 302, 305, 306, 309, 440.
Олегъ, Рязанскій кн. 132.
Олимпіада, царица 303, 308.
Ольга кн. 129, 236, 301, 302, 305, 306, 309, 403.
Ольговичи кн. 256, 258.
Овчуковъ, Н. Е. 47, 181, 192, 410.
„Ортнитъ-сага“ 253, 256.
Орфей 282.
Орѣховецъ, городъ 296.
Островскій, А. Н. 161.

Павелъ ап. 436.
„Палея“ 321, 322, 418.
Палицынъ, Авр. 263.
„Панчатантра“ 80—83, 85, 86, 88.
Паскевичъ Эриванскій, кн. 353.
Пенелопа 246.
Пентефрія жена 215, 310, 311, 316, 317.
„Пересмѣшникъ“ 24.
Перетта 80, 87, 396.
Перетцъ, В. Н. 111.
Персей 229, 231.
Перунъ 304, 445, 446.
Петка Тырновская 388.
Петровичи бр. 264, 266.
Петръ ап. 436.
Петръ Великій 330, 331, 350—352, 354.
Петръ Могила 444.
Петръ Муромскій св. 456.
Пикте 73.
Платовъ, генералъ 353.
Пленко Сорожанинъ 276.
Пнинъ, И. П. 58.
„Повѣсть о Вавиловскомъ царствѣ“ 340, 430.
Погодинъ, М. П. 31.
Поленица 205.
Поливка, Ю. И. 401.
Полифемъ 425.
Полканъ, бог. 376.
Половчинъ 376.
Пономаревъ, А. И. 121.
Поржезинскій, В. К. 58.
Поръ 266, 307. 321, 323.
Потанинъ. Г. Н. 95.
Потанюшка 343.
Потебня, А. А. 145, 450, 454.
Потемкинъ кн. 353.
Потокъ Михайловичъ 146, 225, 273, 275—277.
„Поученіе“ Влад. Мономаха 132, 239.
Почайна-рѣка 232, 233.
Прасковія-Пятница 371, 388, 389, 436, 447.
„Преніе живота со смертью“ 375.
Преображенскій, А. А. 421.
Претичъ 261.
Прокопій 120, 424.
„Прологъ“ 275, 316, 388.
Пугачевъ, Ем. 349.
Пустыня-мати 387.
Путята 226—230, 235, 259.
Пучай, рѣка 229, 232.
Пушкинъ, А. С. 7, 31, 55, 159, 162, 394.
„Пчела“ 19, 453.
Пѣтуховъ, Е. В. 375.
Пятница, см. Прасковія.
Пыпинъ, А. Н. 178, 436.

Радищевъ, А. Н. 58.
Радловъ 89.
Радченко, К. Ө. 434.
Ратцель 398.
Ремизовъ, А. М. 394.
Ровинскій, Д. А. 51, 52.
Рогволодъ 236—238.
Рогнѣда 236—238.
Рождественскій, Т. С. 370.
Рожоница 123, 126.
Романовъ, Никита 343—346.
Романовъ, Е. Р. 45, 46, 405, 436, 443.
Романъ, кн. 278, 309, 355.
Романъ Михайловичъ, кн. Брянскій 278, 279.
Романъ Мстиславичъ, кн. Галицкій 278.
Ростиславъ кн. 313.
Рудченко, И. Я. 48, 405.
Румянцевъ, Н. П., гр. 1.
Румянцевъ-Задунайскій 353.
„Рустеміада“ 94, 326.
Рустемъ 94, 260.
Рябининъ, Ив. Т. 190, 219.
Рюрикъ кн. 254.
Рыбниковъ, П. Н. 39—43, 46—48, 91, 181, 191, 192, 256, 270, 278, 293, 320.
Рыстенко, А. В. 110, 230, 382.

Сабашниковы, М. и С. 225.
Савва, священникъ 125.
Савченко, С. В. 403.
Садко 54, 183, 198, 205, 215, 225, 280—294, 318, 325, 424, 425.
Садовниковъ, Д. 50, 457.
Садокъ 292.
Самозванецъ I 242, 243, 348.
Самозванецъ II 348.
Самойло Кошка 356.
Сампо 289.
Самсонъ 200, 205, 376.
Сандрильона 399.
Сауръ Леванидовичъ 266, 267, 278.
Сахаровъ, И. П. 35, 36, 40, 178.
Святогоръ 200, 205, 249, 289, 290, 375, 376.
Святополкъ кн. 277, 456.
Святославъ 261, 265, 445.
Святыя горы 200.
Семеновъ, П. П. 189.
Сементовскій, А. 457.
Симеонъ Полоцкій 365, 388.
Симеонъ, царь 339.
Семира 357.
Серапіонъ, еп. Владим. 440.
Сергій, св. 433.
Сильвестръ Медвѣдевъ 365.
Симони, П. К. 20, 23, 112, 351, 454.
„Синаксарь“ 275.
„Синодокъ“ 375.
Сисиній, св. 438, 447.
„Сказаніе о бѣломъ клобукѣ“ 332.
„Сказаніе о Вавилонскомъ царствѣ“ 332.
„Сказаніе объ Индіи богатой“ 106, 215, 273—275, 307—308.
Скопинъ-Шуйскій кн. 327, 330, 339, 348.
Скуратовъ, см. Малюта.
„Славенскія сказки“, см. „Пересмѣшникъ“
Словенъ, кн. 303, 304.
„Слово о полку Игоревѣ“ 9, 10, 18, 112, 128, 131—134, 144, 178, 213—216, 218, 222, 258, 270, 326, 421, 453.
„Слово о злыхъ женахъ“ 241.
Слѣпцовъ, В. А. 44.
Смирновъ, А. М. 412.
Снегиревъ, И. М. 36, 52, 455.
Снѣгурочка 428.
Соболевскій, А. И. 48, 355.
Созоновичъ, И. П. 111.
Соколовъ, Б. М. 183, 262, 320.
Соколовъ, М. Е. 182.
Соколовъ, М. И. 434.
Соколовъ, Ю. М. 183.
Сокольникъ 183, 192, 256, 260, 334.
Соловей Будимировичъ 205, 228, 253, 259, 319.
Соловей, жрецъ 259.
Соловей Разбойникъ 170, 199, 204, 206, 253, 256, 258, 259, 311.
Соловьевъ, С. М. 161.
Соломонія 321, 323, 431.
Соломонъ 103, 215, 278, 320—324, 431, 435, 443.
Сперанскій, М. Н. 1, 14, 114, 118, 168, 332, 340, 358, 368, 433, 434.
Ставръ Годиновичъ 205.
Стасовъ, В. В. 52, 70, 88—90, 92—94, 104.
Стенька Разинъ 349.
„Степенная книга“ 259.
„Стефанитъ и Ихнилатъ“ 82, 83.
Стефанъ Сербскій 274.
„Стоглавъ“ 16, 127, 135, 364.
Стрибогъ 222.
Сумцовъ, Н. Ө. 111, 239, 240, 447.
Суровецъ, бог. 179, 267.
Сурога, бог. 267.
Сухманъ, бог. 165, 192, 205, 225, 269—271, 382.

Тайлоръ, И. 110.
Тараненко 358.
Татищевъ, В. Н. 127, 170, 179, 226.
Терентьище, гость 205, 319.
Тимоша 343.
„Тидрекъ-сага“ 253.
Тихонравовъ, Н. С. 33, 121, 179, 182, 225, 322, 372.
Толстой, Л. Н. 159, 193.
Томсонъ, А. И. 58.
Торопъ 134, 265, 271.
Tristan le Léonois 292.
Трифонъ Коробейниковъ 345.
Тугаринъ 192, 215, 224, 238, 243, 244, 261, 262, 264—266, 271, 317, 421.
Тугорканъ 262, 265.

Уваровъ, С. С., гр. 3?, 92, 93.
Уваровъ, А. С., гр. 285.

Улоняй 226.
Урія 244, 320.
Усмошвецъ 404.
Успенскій, Г. И. 44.
Успенскій, М. И. 370.
Успенскій, Н. В. 44.

Фамицынъ, А. С. 128, 140.
„Фацеціи“ 453.
Февронія Муромская 456.
„Физіологъ“ 418.
Филопъ Кмита 253, 259.
Фирдоуси 91, 94, 306.
„Флорилегіи“ 453.
Фонъ-Визинъ, Д. И. 23.

Халанскій, М. Е. 97, 111, 295, 301, 302, 407, 412.
Хоронъ 373.
Хмельницкій, Б. 357.
Хмельницкій, Ю. 357.
„Хожденіе апостоловъ“ 436.
Хомяковъ, А. С. 33.
Хотѣнъ Блудовичъ 205, 319.
Христофоръ, попъ 376, 377.
„Хронографъ“ 339.
Худяковъ, И. А. 405.

„**Ц**вѣтникъ“ 303, 384.
Цертелевъ, Н. А., кн. 48.

Чернава 281.
Чубинскій, П. П. 44, 48, 436.
Чулковъ, М. Д. 23, 24, 179, 180, 405.
Чурило 105, 153, 205, 225, 266, 273, 275—277, 325.

Шамбинаго, С. К. 110, 290, 295, 309, 318, 346, 436.
Шамусъ-баба 419.
Шамтепи-де-ла-Соссей 118.
Шахъ-Наме 91, 94, 306.
Шевкалъ 336.
Шевыревъ, С. П. 31, 162.
Шевченко, Т. Г. 49.
Шейнъ, П. В. 44—46, 49, 159.
Шеллингъ 56.
Шелонь, рѣка 304.
Шемяка, Дмитрій, кн. 430.
Шереметевъ, П., гр. 183.
„Шестодневъ“ 418.
Шиффнеръ 89.
Шлейхеръ 59.

Щеголенокъ, сказитель 42, 191, 257.
Щелканъ Дудентьевичъ 336.

„**Э**дда“ 15, 16.

Южская царица 321, 322.
Юліанъ Отступникъ 379.
Юрій Ростовскій, кн. 265.
Юрій Суздальскій, кн. 271.

Яга-баба 72, 78, 418—420.
Ягайло Мануйловичъ 279.
Ягичъ, И. В. 110.
Языковъ, Н. М. 31.
Яковъ-де-Ворагине 384.
Якубовичъ, А. Ѳ. 25, 180.
Янъ Усмокшвецъ 265.
Япанча, наѣздникъ 338.
Ярополкъ Владиммровичъ 267.
Ярославичи кн. 238.
Ярославна кн. 132; см. Сл. о п. Игор.
Ярославъ кн. 383, 456.
Ярославъ Суздальск., кн. 271.
Яшка 407.

Ѳеодоръ Алексѣевичъ, царь 347.
Ѳеодоръ еврей 6.
Ѳеодоръ кн. 269.
Ѳеодоръ Стратилатъ 378, 379.
Ѳеодоръ Тиронъ 215, 229, 230, 232, 275, 364, 371, 378—380, 382, 383, 422, 447.
Ѳеодосій преп. 211.
Ѳома 369.

Указатель составленъ бывшимъ моимъ слушателемъ, нынѣ оставленнымъ при университетѣ *С. Ѳ. Елеонскимъ*, которому считаю долгомъ выразить свою признательность за его трудъ.
